АНАТОЛЬ ФРАНС

ПРЕСТУПЛЕНИЕ СИЛЬВЕСТРА БОНАРА
ОСТРОВ ПИНГВИНОВ
БОГИ ЖАЖДУТ

АНАТОЛЬ
ФРАНС

АНАТОЛЬ

ФРАНС

Библиотека
всемирной литературы

Серия третья ***

Литература XX века

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ
ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Абашидзе И. В.
Айтматов Ч.
Алексеев М. П.
Благой Д. Д.
Брагинский И. С.
Бровка П. У.
Бурсов Б. И.
Ванаг Ю. П.
Гамзатов Р.
Грабарь-Пассек М. Е.
Егоров А. Г.
Елистратова А. А.
Емельяников С. П.
Жирмунский В. М.
Ибрагимов М.
Кербабаев Б. М.
Конрад Н. И.
Косолапов В. А.
Лупан А. П.
Любимов Н. М.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б.
Неупокоева И. Г.
Нечкина М. В.
Новиченко Л. Н.
Нурпеисов А. К.
Пузиков А. И.
Рашидов Ш. Р.
Реизов Б. Г.
Рюриков Б. С.
Самарин Р. М.
Семпер И. Х.
Сучков Б. Л.
Тихонов Н. С.
Турсун-заде М.
Федин К. А.
Федосеев П. Н.
Ханзадян С. Н.
Храпченко М. Б.
Черноуцан И. С.
Шамота Н. З.

А. ФРАНС

ПРЕСТУПЛЕНИЕ СИЛЬВЕСТРА БОНАРА

●

ОСТРОВ ПИНГВИНОВ

●

БОГИ ЖАЖДУТ

ПЕРЕВОД С ФРАНЦУЗСКОГО

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА●1970

Вступительная статья
Валентины Дынник

И (Фр)
Ф83

Иллюстрации
Е. Ракузина

7-3-4
Подп. изд.

САТИРИК В ПОИСКАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПРАВДЫ

Обращаясь мыслями к облику современного Парижа, непременно вспомнишь и Эйфелеву башню: ее изображение словно подменило собой древний герб великого города — с кораблем, бегущим по волнам. Железные лари букинистов у парапетов Сены — тоже общеизвестная примета Парижа, своего рода туристическая достопримечательность. Упоминание о книжных ларях на парижской набережной стало общим местом, почти банальностью. Но если вглядишься повнимательней в содержимое этих ларей, то, среди стопок случайных книг, предназначенных для случайных покупателей, порою обнаружишь редкое издание, уникальную гравюру, любопытную старую рукопись. Как банальная популярность Эйфелевой башни не мешает ей быть своеобразным символом Парижа новых времен, так и банальная популярность букинистических ларей на набережной Сены не мешает им быть неким символом вековой духовной культуры Парижа, да и всей Франции.

Набережная Сены — это родные места Анатоля Франса. Еще безвестным отроком любил он здесь бродить, выискивая какую-нибудь книжку, доступную ему при его скромных средствах. Любил он здесь бродить и на старости лет, гонимый неутолимою жаждой пополнить еще какой-нибудь редкостью свои богатые собрания и встречаемый почтительными поклонами букинистов. Но парижские набережные были родными местами для Франса и в прямом, буквальном смысле — тут он родился (в 1844 г.), тут провел свое детство и молодость.

Родился будущий писатель в семье скромного книготорговца, державшего свою лавку на набережной Малакэ. Отец Франса, Франсуа-Ноэль Тибо (в повседневном обиходе — просто Франс, откуда и псевдоним его сына), в молодости даже как следует не знал грамоте. Он вырос

в многодетной семье анжуйского сапожника, работал батраком на ферме. Однако, способный самоучка, он приобрел некоторые познания, полюбил книги и, в конце концов, основал в Париже небольшую книжную лавку. Вот в квартирке за этой лавкой, а большею частью в самой лавке, среди старых и новых книг, и подрастал Жак-Анатоль Тибо — впоследствии Анатоль Франс.

Книжная лавка Франса-отца пользовалась немалой популярностью среди парижских писателей. Там бывали братья Гонкуры, известные литературные критики Поль де Сен-Виктор и Жюль Жанен, поэты-парнасцы, многие другие. Братья Гонкуры не раз упоминают в своем «Дневнике» книжную лавку на набережной Сены, с чувством симпатии говорят о ее владельце, а еще больше — о той атмосфере, которая ее отличала, как своего рода литературный клуб. Так, 1 января 1867 года они пишут: «Франс был последним книгопродавцем со стульями, его лавка была последней, где между делом можно было приятно провести время. Теперь книги покупаются стоя. Спрашиваешь книгу, тебе говорят цену,— и все. Вот до чего эта всепожирающая активность современной торговли довела продажу книги, прежде связанную с фланированием, ротозейством, бесконечным перелистыванием и дружеской беседой» [1].

Книгопродавец Франс придерживался реакционных взглядов и хотел, по-видимому, в том же духе воспитать своего сына. Но мальчика воспитывал не отец и не коллеж Станислава, где он учился,— его воспитывала отцовская книжная лавка. Именно здесь Анатоль Франс начал свое приобщение к передовой культуре прошлого, продлившееся у него до старости лет. Рано пробудился у него и интерес к историческому документу, к старинной рукописи, к памятникам и предметам искусства разных эпох. Работа молодого Франса в издательстве Лемерра, где он был постоянным рецензентом рукописей и автором предисловий к выпускаемым книгам, а затем — сотрудничество в газете «Тан» в качестве критика еще больше расширили и укрепили его литературные и исторические интересы.

Франс — художник слова — по справедливости мог себя считать наследником гуманистической культуры старой Франции. Причудливая сатиричность Франсуа Рабле, гармоническая ясность мысли и языка Расина, интеллектуальная смелость Вольтера и Руссо — все это вошло в его плоть и кровь. Но многочисленные и разнообразные литературные традиции не только не заглушили в нем творческой индивидуальности, но, напротив, еще способствовали ее выявлению. Только вопреки очевидности можно было бы отрицать, что Анатоль Франс, никогда не стремившийся оригинальничать,— одна из самых оригинальных фигур во

---

[1] Эдмон и Жюль де Гонкур, Дневник, т. I, «Художественная литература», М. 1964, стр. 551—552.

французской литературе конца XIX — начала XX века, столь богатой разнообразными дарованиями.

Приверженность литературным традициям и просвещенный интерес к истории не заглушили во Франсе острого чувства современности, напротив — только усилили его, и это чувство современности, все более конкретное и настойчивое, оказало могучее воздействие и на характер его гуманизма.

Сам Франс как бы сознавал себя полномочным представителем гуманистической культуры, гуманистических ценностей и убеждений перед лицом империалистической Франции. Недаром главные, излюбленные автором, персонажи его произведений — член Института Бонар, ученейший бродяга-аббат Жером Куаньяр, профессор Бержере и многие другие — все это различные человеческие варианты ученого-гуманиста, носителя высоких ценностей передовой мысли.

О том, до какой степени сам Франс сознавал себя наследником гуманистических традиций, свидетельствуют и так называемые «художественные автобиографии» писателя («Книга моего друга», 1885; «Пьер Нозьер», 1899; «Жизнь в цвету», 1922). Воспроизводя здесь многие подробности подлинной жизни, Франс, однако, решительно сместил весь житейский план своего собственного детства в повествовании о маленьком Пьере. Повседневная обстановка семейства Франсуа Тибо нашла лишь слабое отражение в этих книгах, и, самое главное, отец Пьера, доктор Нозьер, кабинетный мечтатель, высокообразованный мыслитель, с грустью наблюдающий жизненную борьбу и все же несвободный от некоторого интеллектуального гурманства, весьма мало напоминает полуобразованного отца маленького Анатоля. Перед нами — творимая писателем легенда о самом себе, о своем происхождении.

В этом же отношении характерно и одно обстоятельство, связанное с творческой историей книги Франса «На белом камне». Хранящаяся в парижской Национальной библиотеке рукопись этого произведения неоспоримо свидетельствует о том, что один из главных его персонажей, Николь Ланжелье, в уста которого Франс вложил много своих заветных мыслей, первоначально носил имя самого писателя, так что, восстановив исходный текст рукописи, можно, например, прочитать: «Анатоль Франс, отпрыск старинного рода Ланжелье, парижских книгопечатников и гуманистов». И здесь, как в книгах о маленьком Пьере,— даже еще более наглядно,— сказывается стремление Франса создать для себя вымышленные семейные связи. Однако в подобных вымыслах Франса скрыта большая внутренняя правда: сознавая себя наследником великих гуманистов и просветителей старой Франции, писатель при помощи этой ложной генеалогии поэтически закрепляет свою нерасторжимую связь с мыслителями и художниками Ренессанса и Просвещения,— связь поистине кровную, хотя и не в буквальном смысле.

Идейный потомок гуманистов и просветителей, Франс не сразу, впрочем, находит свою литературную тему, свой художественный язык, свою писательскую дорогу в условиях Третьей республики. Его первые стихотворные опыты, собранные в книге «Золотые поэмы» (1873), носят несомненные следы парнасских настроений, парнасского стиля. Все очень еще спокойно в мире молодого поэта. Здесь отражены материалистические взгляды Франса, его религиозный скептицизм, общегуманистические настроения, но боевой дух будущего великого сатирика еще никак не ощутим: искусством иронии Франс-поэт еще не владеет. Иронии нет и в его драматической поэме «Коринфская свадьба» (1876), где Франс прибегает к пафосу лирического убеждения, а не к сатирической дискредитации. Однако поэма принципиально отличается от предшествующей книги стихов всей идейной устремленностью. Недаром, прочтя поэму, Жорж Санд в письме к начинающему поэту отмечает ее злободневную направленность против «величайшей доктрины смерти» — имея в виду идеологию католической реакции, наступившей вскоре же после разгрома Коммуны 1871 года. Антихристианскую направленность почувствовал у Франса в эти годы и Поль Бурже. Он говорит о ней в сонете «Боги» (с подзаголовком — «К Анатолю Франсу»), но, в противоположность Ж. Санд, полемизирует с Франсом:

Нет, благородней, Франс, и, право же, мудрее
Чтить эти божества: они возникли, мрея
В мечтах у смертных душ среди житейских битв.
К усталым скептикам давно себя причисля,
Для сверженных божеств, хоть не творя молитв,
Все ж отведем приют в спокойном мире мысли [1].

Сонет П. Бурже прекрасно подтверждает воинствующее начало, присущее атеизму молодого Франса.

Об идейных позициях и политических настроениях Франса в середине 70-х годов дает возможность судить и запись, сделанная в «Дневнике» Эдмоном Гонкуром 27 ноября 1875 года по поводу помещенной в газете «Тан» статьи Франса «Современные романисты Э. и Ж. Гонкур». Обиженный этой статьею, Эдмон Гонкур пишет о Франсе: «Меня уверяют, что он просто поступил в соответствии со своей натурой, со своим темпераментом республиканца-иезуита и хотел выслужиться перед своей партией расправой с нами во имя передовых литературных доктрин и революционных принципов» [2].

Отмечаемые Эдмоном Гонкуром «революционные принципы» Франса, преодолевая его консервативные предрассудки и некоторую

---

[1] P. Bourget, La Vie inquiète, Paris, 1875. Думается, перевод мой довольно точен.

[2] Эдмон и Жюль де Гонкур, Дневник, т. II, «Художественная литература», М. 1964, стр. 210.

парнасскую ограниченность, в полную меру, и то лишь постепенно, раскрылись в его реалистической прозе, где главнейшее место заняла сатира. Именно в прозе с необычайным блеском проявились все творческие возможности Франса.

Если не считать его юношеского, еще незрелого романа «Желания Жана Сервьена» (1872), то начало деятельности Франса-прозаика следует отнести к 1879 году, когда вышли под одной обложкой две его небольшие повести — «Иокаста» и «Тощий кот». Здесь уже наметились многие характерные черты франсовской прозы — необычайно сильная, даже для французской литературы, интеллектуальная обаятельность, второстепенное место, отводимое фабуле, пристрастие автора к изображению чудаковатых ученых, к столкновению их книжного мира с практической жизнью, реминисценции далеких исторических эпох, глубоко органическое чувство культурных традиций, непримиримая, язвительная ненависть ко всяческим видам фанатизма, ханжества и мракобесия, смелость и почти педантичная точность иронического анализа изображаемого мира, в сочетании с неистребимой любовью к жизни и с убежденным признанием прав человека на счастье.

Все эти особенности, ощутимые уже в повестях «Иокаста» и «Тощий кот», с еще большей четкостью обнаружились в «Преступлении Сильвестра Бонара» (1881). Эта книга тридцатисемилетнего писателя и должна, по существу, считаться подлинным началом творческого пути Франса как зрелого, неповторимо оригинального художника. Она привлекла внимание публики и литературной критики новизной изображенного в ней материала, своим особым миром, непохожим на мир других французских романов того времени, своей особой творческой манерой. Современниками Франса были Гюго и Золя, Мопассан и братья Гонкуры, Флобер и А. Доде. Все они, за исключением В. Гюго, были по природе своей реалистами, с большей или меньшей примесью натурализма, каждый из них вносил в реалистическое изображение жизни свой дух, свою тематику, свой стиль, каждый из них отличался от своих собратий по реализму,— но насколько же резче отличался от них всех автор «Сильвестра Бонара»! (Только, пожалуй, Флобер в своей незаконченной, посмертно изданной книге «Бувар и Пекюше» сближается с франсовским реализмом в жанровом и, в частности, композиционном отношении.)

Признавая новизну и свежесть материала, внесенного «Сильвестром Бонаром» во французскую художественную прозу, критика почти единодушно отмечала в 80-е годы, да и значительно позже, какую-то якобы недовершенность его формы — слабость его фабульного построения. И. Тэн в письме к Франсу благодарит его за книгу,— очевидно, преподнесенную автором,— дает ей очень высокую оценку, но вместе с тем замечает: «Единственное возражение — то, что две ее части (...)

плохо скреплены одна с другой»[1]. Жюль Леметр, не вдаваясь в объяснения, говорит о первой и второй частях книги как о двух самостоятельных маленьких романах[2].

Да, действительно, перед нами две разные фабулы, но, если рассматривать «Преступление Сильвестра Бонара» только с этой стороны, то упустишь весь основной замысел этого оригинального произведения, упустишь и всю его оригинальность. Первая часть книги превратится в традиционный «рождественский рассказ». Ведь здесь есть и семейство бедняков, страдающих от стужи в сочельник (начало записок Бонара помечено 24 декабря), и состоятельный добрый человек, который, в своем благополучии, среди тепла и уюта удобной и чистой квартиры, узнаёт о страданиях бедняков и приходит им на помощь. Да и сама помощь — тоже в «рождественском» стиле: Бонар через дворника посылает бедствующим Кокозам не деньги, а вязанку дров, причем передает распоряжение своему посланцу: «И особливо пусть не забудет положить в вязанку большое полено — настоящее рождественское полено». Наглядным воспоминанием об этом полене — традиционном символе французских рождественских праздников — служит и футляр рукописи, преподнесенной Бонару. «Рождественский» смысл, таким образом, следует видеть и в самом заглавии — «Полено». По существу, в духе всех этих святочных мотивов и то, что Бонар получает в подарок «Златую легенду» накануне своих именин,— то есть дня св. Сильвестра, а этот день приходится на 31 декабря и связан у французов со встречей Нового года,— как видим, даже имя Бонара подчеркивает традиционную фабулу. Может быть, в связи с этим и опубликовано было впервые «Преступление Сильвестра Бонара» в двухнедельнике «Нувель ревю» с 1 декабря 1880 года по 1 января 1881 года (многие французские журналы того времени охотно предоставляли в декабре свои страницы святочной тематике).

Вторая часть «Сильвестра Бонара» — «Жанна Александр» — со святочной фабулой первой части никак не связана,— лишь в одном месте здесь Сильвестр Бонар называет себя дедом Морозом, но только для того, чтобы подчеркнуть свою старость. Однако и здесь фабула сводится к сентиментальному приключению доброго старика, спасающего от злых людей беззащитную сиротку. И ситуация, в которую попадает сиротка, и бездушные нравы пансиона для девиц, и отвратительно гротескный облик его содержательницы, и счастливый конец повествования — все это, если не выходить за пределы фабулы, позволяло бы видеть в Анатоле Франсе подражателя Ч. Диккенса, а Сильвестр Бонар мог бы рассматриваться как французский собрат мистера Пиквика, такой же смеш-

---

[1] J. M. Pouquet, Le salon de M-me de Caillavet, P. 1926, p. 62.
[2] Jules Lemaître, Les contemporains, t. II, P. 1896, p. 99—100.

ной и вместе с тем трогательно благородный, такой же мягкий — и способный вознегодовать при встрече с несправедливостью, коварством, злом, такой же наивный, часто беспомощный в практических вопросах, как Пиквик, столь же нуждающийся в опеке своей ворчливой домоправительницы Терезы, как Пиквик нуждался в почтительном покровительстве своего насмешливого слуги — Сэма Уэллера.

Но здесь-то и кончается сходство. Диккенс щедро наделил своего героя тем, что можно было бы назвать умом сердца, Франс же сделал Сильвестра Бонара обладателем высокоразвитого интеллекта и большой культуры, его природная доброта питается живительным настоем гуманистической философии. Критика отмечала связь между «Записками Пиквикского клуба» и «Дон Кихотом» (любимой книгой Диккенса еще с юности). Связь эту усматривали и в композиции «Записок», и, главное, в их основном персонаже. Но если мистер Пиквик унаследовал от Дон Кихота любвеобильное сердце и наивность практического поведения, то Сильвестр Бонар унаследовал и высокий идейный мир Дон Кихота (признавая все же и необходимость кое-каких практических, санчо-пансовских поправок в этом идейном мире). Словно желая подчеркнуть такое донкихотовское начало в своем герое, автор снабдил его, для прогулок по набережным Сены, тростью с резным изображением Дон Кихота в обществе его оруженосца. Мало того, Франс вложил в уста своего героя знаменательные слова в похвалу величию мысли Дон Кихота и жизнелюбию Санчо Пансы.

По выходе книги многие из читателей сочли Сильвестра Бонара автобиографическим персонажем (такая тенденция чувствуется иногда и сейчас). Эта трактовка, если говорить об автобиографичности в прямом смысле слова, имеет мало оснований. Тридцатисемилетний Анатоль Франс, создатель Сильвестра Бонара, своими манерами, всем своим житейским обликом, повседневным обиходом очень мало походил на своего престарелого героя. Можно сослаться, например, на впечатление Марселя Пруста, вынесенное из первой встречи с Франсом, когда Пруст был совершенно разочарован несоответствием между представлением о писателе, возникавшим при чтении его книг, и его действительным обликом,— некрасивого человека с улиткообразным носом, с гнусавым голосом и монотонной речью. Упорство прямолинейной автобиографической трактовки Сильвестра Бонара и однoприродных с ним франсовских персонажей более позднего времени объясняется тем, что писатель передоверял им многие свои идеи и размышления. Только в этом, более широком смысле подобным персонажам можно приписать, в известной мере, автобиографичность.

С такой, можно сказать — внутренней, автобиографичностью Сильвестра Бонара и связан вопрос о единстве книги при фабульной несвязанности двух ее частей между собою. Их связывает не фабула, а внут-

ренний сюжет и, прежде всего, личность основного персонажа, дорогой для него мир гуманистической мысли.

Люди мысли, ученые, знатоки истории, ценители литературы и искусства встречались и до «Сильвестра Бонара» в произведениях французских писателей. Даже кое в чем предвосхищалась там и франсовская манера подобных изображений, бытовые и психологические черты этих персонажей, их житейская наивность и т. п. Наиболее близки к франсовским некоторые образы в новеллах П. Мериме: например, ученый исследователь памятников старины в «Венере Илльской» или составитель жмудского словаря в «Локисе». Но все это — персонажи второго плана. Они — только рассказчики, свидетели происходящих событий, отчасти их комментаторы. На первый план выдвигаются сами события и непосредственно в них участвующие лица — то есть именно действующие лица. Бонар же — в центре художественного внимания писателя, с ним, Бонаром, с его размышлениями, оценками, поступками, прежде всего соотносится и основной замысел книги, и ее композиция.

Сильвестр Бонар — чудак и сумасброд, но его пренебрежение к требованиям практического смысла придает независимость и остроту его суждениям о жизненной практике (а это была жизненная практика Третьей республики, к 80-м годам уже достаточно обнаружившей свои язвы). На противоречия жизни Бонар откликается по-своему. Он не борец и не обличитель социальной неправды, но он и не примиряется с нею. Выражением этой непримиримости служат многочисленные парадоксы Бонара, переливающиеся всеми оттенками иронии.

Сильвестр Бонар сам признается в своем пристрастии к парадоксам, когда, вспоминая подслушанный им случайно разговор двух студентов в Люксембургском саду, отмечает в своих записках: «Поднявшись до умозрительных высот, они играли словами и говорили глупости, свойственные умным людям, иными словами — глупости ужасные. Нет нужды добавлять, что они изрекали самые чудовищные парадоксы. И в добрый час! Не люблю молодых людей чрезмерно рассудительных».

К «чудовищным парадоксам» постоянно прибегает и сам Бонар. Он это делает каждый раз, когда сталкивается с несправедливостью, ханжеством, бесчеловечностью, умственной ограниченностью, мещанским самодовольством — со всем тем, что оскорбляет его гуманистические убеждения и вкусы. Парадокс, объединяющий в себе игру слов и игру мысли, извлекающий художественные ценности из самой своей интеллектуальной природы, прекрасно согласуется и с общим характером книги о Бонаре, насыщенной, как это характерно и для последующих книг Франса, размышлениями и рассуждениями, философскими, филологическими и историческими замечаниями, диалогами на отвлеченные, казалось бы, темы, многочисленными обобщающими сентенциями.

Когда пройдоха-нотариус, защищая мертвенную, схоластически-ханжескую педагогику тупоумной воспитательницы, безапелляционно провозглашает, что «нельзя учиться, забавляясь»,— Бонар отвечает ему неожиданным суждением: «Учиться можно, только забавляясь»,— и за этим парадоксом ощущается весь его гуманистический мир, в котором знание — источник радости для человека, проявление победоносной силы жизни.

Ироническая критика действительности, осуществляемая Бонаром в виде парадоксов, еще мало связана с большими социальными вопросами тогдашней современности, еще мало касается ее основных социальных устоев. Наибольшей широты социального обобщения достигает эта критика в самом замысле книги. Ведь даже ее заглавие — «Преступление Сильвестра Бонара» — расшифровывается как обличительный парадокс. Преступление старого ученого, человека чистой души, заключается в том, что, защищая законные права Жанны на счастье и свободу, он похищает ее из пансиона и тем самым нарушает закон гражданского кодекса, строго карающий за похищение несовершеннолетних. В этом жизненном парадоксе отражены уже не частные противоречия, поставляемые буржуазной действительностью, а одно из основных — противоречие между официальной законностью и наизаконнейшими правами человека. Бонар вступился за эти права — и еле избегнул скамьи подсудимых. К концу книги он ушел от подобных коллизий на покой, он даже изменил свою научную специальность, увлекшись жизнью цветов и пчел, найдя в этом и философское обоснование своего неиссякаемого оптимизма.

Анатоль Франс, столкнувший гуманистическую мысль с социальною практикой, не мог удовлетвориться таким идиллическим покоем. Его первый роман был только началом социально-разоблачительной работы.

«Преступление Сильвестра Бонара» открывает собою целый этап франсовского творчества, отмеченный такими книгами, как «Таис» (1890), «Харчевня королевы Гусиные лапы» (1893) и «Суждения господина Жерома Куаньяра» (1893), «Красная лилия» (1894), «Сад Эпикура» (1894), множеством новелл, объединенных в сборники «Валтасар» (1889) и «Перламутровый футляр» (1892), «автобиографической» «Книгой моего друга», а также четырьмя томами «Литературной жизни» (1888—1892), где были собраны критические статьи Франса с 1886 по 1891 год. На этом этапе многое, по сравнению с «Сильвестром Бонаром», было углублено и конкретизировано в сатирической критике социальной действительности и в утверждении гуманистических идей. Жером Куаньяр, главный персонаж «Харчевни» и «Суждений», испытывает не два лишь приключения, как было с Сильвестром Бонаром, но множество их, что неизбежно при его авантюризме и бродяжнической жизни. Это дает возможность Франсу развернуть перед умными глазами своего едино-

мышленника аббата всю картину социального неблагополучия, характерного для Третьей республики: хотя действие здесь перенесено в королевскую Францию XVIII века, но Франс откликается на самые злободневные темы своего времени. В этом разоблачительном обзоре легко улавливается отклик на социальную практику Третьей республики — с колониальными экспедициями Ферри, с тактикой укрывательства, проявленной судом в «деле о Панаме», когда облеченные государственной властью спекулянты, казнокрады и взяточники были обелены и оправданы.

В этих произведениях 80-х и начала 90-х годов более широко и разнообразно проявился испытующий скептицизм Франса, более наглядно выразилось и присущее ему чувство истории, многоцветно засверкала его ирония. В эти же годы более твердо установился и жанр франсовского философского романа, намеченный уже в «Преступлении Сильвестра Бонара». Жанр этот продолжал традиции философской повести Вольтера, с ее авантюрной фабулой, поставляющей материал для суда над действительностью с точки зрения логики и принципиальных убеждений автора. Однако философский роман Франса существенно отличался вместе с тем от вольтеровской повести меньшей жесткостью своей логической основы, реалистической пластичностью испытуемого материала жизни, психологическими обертонами испытующей мысли.

Прозаическое творчество Франса на своем первом этапе противопоставляло социальной неправде, в сущности, только гуманистические идеи и идеалы. Хотя такому, несколько отвлеченному, рассмотрению жизненной неправды острая ирония Франса и придавала воинствующий, порою — резко памфлетный (как в книгах о Куаньяре) характер,— все же идеи и идеалы излюбленных персонажей Франса противопоставлялись действительности как бы со стороны, из некоего прекрасного далека.

«Современная история» знаменует собою существенный перелом и в характере социальной критики Франса, и в характере его гуманистических идей. Четыре тома этого произведения — «Под городскими вязами» (1897), «Ивовый манекен» (1897), «Аметистовый перстень» (1899) и «Господин Бержере в Париже» (1901) — складываются в обширную энциклопедию всех пороков буржуазного общества, с такою циничеcкой выразительностью заявлявших о себе во Франции конца XIX века. Если даже в книгах о Куаньяре наблюдения франсовского героя над жизнью высказывались по поводу пускай многочисленных, но все же довольно разрозненных эпизодов французской жизни, то профессор Бержере делается в своем городе сначала свидетелем яростной борьбы за епископский престол, выходящей далеко за пределы чисто церковных интересов и втянувшей в себя все силы реакции, а затем, особенно по приезде в Париж, попадает в самую гущу событий, связанных с «делом Дрейфуса» и всколыхнувших всю Францию 90-х годов. «Современ-

пая история», по сравнению с предшествующими книгами Франса, обогатилась множеством разнообразных человеческих типов — их в этой тетралогии наберется около полусотни, притом со многими из них Бержере встречается не случайно, а постоянно, самое же главное — эти образы живут более самостоятельной жизнью, чем в прежних книгах Франса.

Меняется здесь и привычный франсовский стиль. Ирония по-прежнему составляет его главную особенность, но сама ирония приобретает новые черты. Негодующий сарказм, обнаженная злободневность, острота и целеустремленность памфлета, злой гротеск, резкая, плакатно-наглядная пародия — вот эти новые черты.

Важные изменения претерпел и излюбленный франсовский герой — гуманист. Не утратив родства с Сильвестром Бонаром и Жеромом Куаньяром, столь же преданный идеям Ренессанса и Просвещения, такой же защитник человечности и враг всяческого мракобесия, профессор Бержере куда более решительно восстает против мрачных сил своей современности,— недаром в последнем томе тетралогии он, любитель книжной премудрости и комментатор античных авторов, выступает в газетах с публицистическими статьями, где возмущенно комментирует «дело Дрейфуса», как показатель глубокого нравственного и политического падения Третьей республики. Для борьбы с извращенным социальным строем уже мало было того общегуманистического идеала, каким довольствовался, например, Бонар,— и для профессора Бержере гуманистический идеал конкретизировался как идеал социалистический. Конкретизировался, правда, не до конца: социализм Бержере — это преимущественно мечта о будущем, притом довольно туманная. Однако очень существенно само обращение героя «Современной истории» к социализму. В этом отношении образ Бержере вполне автобиографичен,— статьи А. Франса в газетах 90-х годов с несомненностью свидетельствуют о пробудившихся в нем социалистических симпатиях.

Новый этап франсовского творчества, открывающийся «Современной историей», ознаменован выходом в свет таких его произведений, как «На белом камне», «Кренкебиль», «Остров пингвинов», «Боги жаждут», «Восстание ангелов» и др.

В книге «На белом камне» (1905) центральное место занимает новелла «Вратами из рога или вратами из слоновой кости», приписанная автором некоему Ипполиту Дюфрену и создающая картину социалистического будущего. Эта картина в основном воплощает то представление о социализме, какое несколькими годами раньше усвоил себе Бержере. В возможности социалистического будущего Дюфрен далеко не уверен. Свидетельством служит само заглавие новеллы: согласно греческой мифологии, сновидения, летящие к человеку через врата из рога,— пророческие, а через врата из слоновой кости — ложные. Знаменательно и то, что в книге «На белом камне» новелле Дюфрена предшествует

новелла «Галлион», вложенная в уста Ланжелье,— именно по поводу «Галлиона» Франс говорил, по свидетельству Н. Сегюра: «Что мне кажется удачным, это вывод рассказа, заключающийся в том, что никому не дано предвидеть будущее» [1].

Вместе с тем после «Современной истории» мысль о социализме все настойчивее вставала в сознании Франса — скептика, возжаждавшего социальной правды. Франс близок был в этот период с Жоресом и другими французскими социалистами. Он обращался к проблемам социализма в своих публицистических статьях, объединенных в двух книгах «Социальных суждений» (1902) и в книге «К лучшим временам» (1906).

Выросшие из гневного отрицания капиталистического строя, социалистические симпатии Франса, в свою очередь, укрепили его во враждебном отношении к капитализму, еще обострили в нем зоркость сатирика.

Зоркость и непримиримость сатирика поддерживались в нем и присущим ему издавна демократизмом, еще углубившимся в этот период. Если в «Литературной жизни» (1888—1892) Франс не раз высказывал уважение и любовь к своему народу, восхищался народным творчеством, то в «Жизни Жанны д'Арк» (1908) он преклоняется перед народным героизмом. Защита прав человека, которую Франс, вместе со своими излюбленными персонажами, всегда считал долгом каждого гуманиста, теперь приобретает характер борьбы против бесправия бедняка («Кренкебиль», 1903).

«Остров пингвинов» (1908) — это подлинный триумф франсовской сатиры. Писатель отважно атакует здесь моральное и политическое разложение, бесчеловечность, скудоумное ханжество в сочетании с наглым цинизмом, расистский и националистический дух, подменивший любовь к своему народу, атакует безудержный колониализм и многие другие отвратительные черты капиталистического строя, и делает это гораздо решительнее, чем раньше.

Не ограничиваясь современностью, Франс устремляет свое внимание к самым основам эксплуататорского строя, к его историческим истокам. Меньше, чем где-либо раньше в творчестве Франса, обращение к истории служит для него отдыхом от современности. В предисловии к «Острову пингвинов» писатель, якобы от лица Жако Философа, сам говорит о неразрывном единстве исторической и злободневной тематики этой книги.

Роман Франса осуществляет снятие всяких прикрас с истории и современности. По-прежнему Франс неистощим здесь в искусстве разоблачительной иронии. Она играет в «Острове пингвинов» всеми своими

---

[1] Nicolas Ségur, Dernières conversations avec Anatole France, P. 1927, p. 92.

алмазными гранями. К подтачивающей иронии Вольтера присоединяется сокрушительная ирония Рабле. Вольтеровский язвительный смешок не раз сменяется раблезианским раскатистым хохотом. Рабле был для Франса самым любимым писателем французского Возрождения. Автору «Гаргантюа и Пантагрюэля» посвящена статья 1889 года, вошедшая затем в «Литературную жизнь», ему посвящен и целый цикл лекций, прочитанных Франсом в Буэнос-Айресе в 1909 году. В своем художественном творчестве Франс еще до «Острова пингвинов» нередко отдавал дань сатирической традиции Рабле; особенно чувствуется это во вставном рассказе «Современной истории» — «О трублионах, объявившихся в государстве»,— рассказ якобы выписан профессором Бержере из книжки, опубликованной в 1538 году (напомним, что эта дата почти совпадает с выходом в свет двух первых книг «Гаргантюа и Пантагрюэля»).

Буффонная фантастика Рабле, его изобретательные издевательства над самыми, казалось бы, неприкосновенными понятиями, незыблемыми установлениями, его великолепное озорство при создании образов и ситуаций — все это нашло отражение во франсовском «Острове пингвинов», и уже не в отдельных эпизодах и некоторых особенностях стиля, а в основном замысле и во всей художественной природе книги.

Главные темы «Острова пингвинов» определяются уже в Предисловии, где Франс дает сжатую, как кулак, злую пародию на официальных историков. На последующих страницах Франс и подвергает безжалостной проверке весь набор их реакционных идей. Возникновение собственности, общественного порядка, сословий, религиозных легенд, войн изображается в «Острове пингвинов» так, что меткая насмешка сатирика рикошетом попадает в самые устои современного ему капиталистического общества.

Отвергнув собственнический строй своего времени и проникая в самую его суть, Франс сбрасывает с собственности все ее фарисейские покровы, изготовленные идеологами буржуазии, и изображает ее как добычу хищников, как результат самого наглого насилия. Наблюдая, как разъяренный человек кромсает зубами нос другого человека, кроткий старец Маэль в простоте душевной не может понять, в чем смысл подобных жестоких схваток,— и на помощь недоумению Маэля приходит его прозорливый спутник, объясняя, что в этой дикой борьбе закладываются основы собственности, а значит, и основы будущего общества и будущей государственности. В такого рода сценах франсовские парадоксы, воплощаясь в реальные образы, еще удваивают свою язвительную силу.

Так же наглядно франсовская ирония проявляет себя и по отношению к религии и церкви. Антихристианская тема проходит через все творчество Франса, начиная с «Коринфской свадьбы». В романе «Таис»

она занимает центральное место. Не однажды она возникает и в новеллах Франса. Однако нигде еще атеистические и антицерковные убеждения Франса не выражались при помощи такого жгучего сарказма, как в «Острове пингвинов». Само возникновение пингвинского общества изображается как результат смехотворной ошибки святого Маэля из-за его старческой подслеповатости. По этому поводу Франс инсценирует ученую дискуссию на небесах, в которой принимают участие отцы церкви, учители христианской веры, святые подвижники и сам господь бог. В темпераментной аргументации спорщиков Франс сталкивает между собою различные догматы христианства, демонстрируя их полную логическую несогласованность и абсурдность. Пародией на религиозную казуистику является решение, принятое в конце концов участниками дискуссии: так как пингвины крещены и, в качестве христиан, должны заботиться о спасении души, а между тем, в качестве птиц, душою не обладают, то необходимо устранить это противоречие, наделив их душою и превратив в людей.

В истории Орброзы, многочтимой пингвинской святой, культ которой возник из сочетания корыстного обмана и дремучего невежества, Франс дал еще больше простора своему антирелигиозному пафосу, чем в сценах небесного диспута. Здесь писатель восходит к истокам религиозных легенд. Когда Орброза, лежа в объятиях своего возлюбленного, прислушивается к словам глашатая о том, что страшного дракона, пожирателя пингвинов, может победить лишь невинная дева, тогда эта распутница решает объявить себя призванной на святой подвиг и при соучастии своего любовника, разбойничавшего в обличии дракона, разыгрывает перед толпой, запуганной драконьим маскарадом, инсценировку религиозного чуда.

Не только сама религиозная идея и догматы христианства, но и культ святых, легенды о чудесах подвергаются в «Острове пингвинов» гротескно-ироническому вышучиванию. Религия как орудие политической реакции, католическая церковь как союзница расистов и монархических авантюристов Третьей республики, как фабрикаторша чудес, притупляющих народное сознание, уже подвергалась саркастическому рассмотрению в «Современной истории». Да и тема Орброзы там уже намечена: развращенная девчонка Онорина тешит умиленных слушателей нелепыми россказнями о своих «видениях», чтобы выманивать подачки, которыми она делится с испорченным мальчишкой Изидором на очередном их любовном свидании. Однако тема развратницы и обманщицы, пользующейся религиозным почитанием, получает в «Острове пингвинов» куда более разветвленную и обобщенную трактовку. Культ святой Орброзы искусственно возрождается в «Острове пингвинов» светской чернью новых времен, чтобы служить делу реакции. Франс придает здесь религиозной теме самую острую злободневность.

Такое же соединение исторического обобщения и политической злобы дня наблюдается и в трактовке военной темы. Здесь особенно чувствуется идейно-художественная близость Анатоля Франса к Франсуа Рабле: то и дело за плечами пингвинских вояк старых и новых времен виднеется король Пикрохоль со своими советчиками и вдохновителями, отмеченные позорным клеймом в «Гаргантюа и Пантагрюэле». В «Острове пингвинов» тема войны, давно тревожившая Франса, получает резкую трактовку. Это прежде всего сказалось на изображении Наполеона. Издавна Наполеон был, если можно так выразиться, почти навязчивым образом для Франса,— словно Франс испытывал к нему неугасимую личную вражду.

В «Острове пингвинов» сатирик преследует прославленного полководца вплоть до его статуи на вершине гордой колонны, вплоть до аллегорических фигур Триумфальной арки. Франс, как всегда, зло наслаждается здесь демонстрацией его духовной ограниченности. Мало того, Наполеон утрачивает всякую презентабельность, приобретает шутейный облик, напоминающий персонажей какого-нибудь ярмарочного представления. Даже звучное имя его подменяется в «Острове пингвинов» дурашливым псевдонимом Тринко. При помощи подобного рода средств гротескного снижения образа Франс развенчивает не только Наполеона, но и связанную с ним идею военной славы. Противопоставляя военной славе самые насущные интересы народа, самые основные права человека, Франс трезво и горестно опровергает лживую патетику националистов и милитаристов. Задача эта осуществляется в виде краткого повествования о путешествии одного малайского властителя в страну пингвинов, что дает автору возможность столкнуть застарелые, традицией освященные представления о военных подвигах со свежим восприятием путешественника, не связанного европейскими условностями и, на манер индейца из вольтеровской повести «Простодушный» или перса из «Персидских писем» Монтескье, своим наивным недоумением помогающего автору проникнуть в самую суть дела. Прибегая к такому остранению, как к испытанному способу дискредитации, Франс заставляет читателя взглянуть на военную славу глазами махараджи Джамби, и, вместо героической гвардии, эффектных батальных сцен, победоносных жестов полководца, читатель со всей неопровержимой ясностью видит жалкие послевоенные будни, неизбежное физическое и моральное вырождение, которыми народ расплачивается за завоевательную политику своих правителей и полководцев.

В «Острове пингвинов» Франс с большой резкостью показал неразрывную внутреннюю связь между империалистической политикой и современным капитализмом. Когда ученый Обнюбиль отправляется в Новую Атлантиду (в которой без труда можно узнать американские Соединенные Штаты), он наивно полагает, что в этой стране развитой

и цветущей промышленности, уж во всяком случае, нет места позорному и бессмысленному культу войны, с которым он не мог примириться у себя в Пингвинии. Но, увы, все его прекраснодушные иллюзии сразу развеялись, когда он посетил заседание новоатлантидского парламента и стал свидетелем того, как государственные мужи, сидящие в парламентских креслах, положив ноги на пюпитры, голосуют за объявление войны Изумрудной республике из-за мировой гегемонии на торговлю окороками и колбасами.

Франс и здесь, как в эпизоде с махараджей Джамби, пользуется, подобно Вольтеру и Монтескье, наивностью своего персонажа (в данном случае двойной наивностью — кабинетного ученого и чужестранца), чтобы поставить все точки над «i».

Можно позабыть многие из эпизодов, входящих в «Остров пингвинов», но этого короткого эпизода не позабудешь,— с такой ювеналовской силой хлещет здесь Франс бичом сарказма.

Путешествие Обнюбиля в Новую Атлантиду помогает автору обобщить сатирическое обозрение современности, подчеркнуть, что он имеет в виду не одну только Францию, а всякое капиталистическое общество,— вспомним, кстати, что в предисловии к «Острову» Франс упоминает о Жако Философе, который, составляя историю деяний человеческих, «лишь позаимствовал многие черты из истории своей собственной страны».

То, что Жак-Анатоль Франс, подобно Жако Философу, заимствует многое «из истории своей собственной страны», объясняется не только его стремлением писать о хорошо ему известной жизни, но и той циинической обнаженностью всех пороков капитализма, какая была характерна для Третьей республики. Монархическая авантюра Буланже, «дело Дрейфуса», коррупция правителей и чиновников, предательство лжесоциалистов Мильерана и Аристида Бриана, заговоры роялистских молодчиков, которым потворствовала полиция Третьей республики,— всеобщая свистопляска реакционных сил так и напрашивалась на то, чтобы Франс запечатлел ее в своей книге. А любовь к Франции, к своему народу придала его иронии особенно сильную горечь негодования.

Деятели Третьей республики разыгрывают в «Острове пингвинов» гнусный фарс. Вымышленные названия и имена, к которым прибегает писатель, не скрывают связи франсовских персонажей и ситуаций с реальными, взятыми из самой жизни: эмирал Шатийон расшифровывается как генерал Буланже, «дело Пиро» — как «дело Дрейфуса», граф Дандюленкс — как граф Эстергази, которого надо было бы посадить на скамью подсудимых вместо Дрейфуса, Робен Медоточивый — как премьер-министр Мелин, Лаперсон и Лариве — как А.-Э. Мильеран и Аристид Бриан и т. п. Франс сочетает в своем изображении подлинный материал с вымышленным, нередко со смелыми эротическими мотивами,

придающими изображению еще более подчеркнутый фарсовый характер. Таково, например, участие обольстительной виконтессы Олив в подготовке заговора Шатийона. Такова и амурная сцена на «диване фаворитки» между женой министра Сереса и премьер-министром Визиром, повлекшая за собой падение министерства. Такова поездка роялистского заговорщика монаха Агарика в автомобиле принца Крюшо, в обществе двух девиц сомнительного поведения, из которых одну принц собирается посадить монаху на колени.

Расправляется Франс со своими персонажами и в подборе их имен, иногда разоблачительных, иногда уничижительно-смехотворных: фамилия эмирала Шатийона буквально означает мелкую миногу, фамилия лжесоциалиста Лариве — удачливого карьериста, имена монахов Агарика и Корнемюза — гриб и волынку и т. п.

Франс не оставил, кажется, ни одного уголка, куда могли бы укрыться от его зоркой бдительности сатирика позорная нечистоплотность, моральное и политическое разложение, корыстолюбие и опасная для человечества агрессивность реакционных сил.

Динамическая напряженность сатиры в «Острове пингвинов», гневно нарастающая в шестой и седьмой его книгах («Новые времена» и «Новейшие времена»), уверенность Франса в том, что капиталистическое общество неисправимо,— уже не позволяли ему здесь апеллировать, наподобие Бонара, к одним только заветам гуманизма или даже, наподобие Бержере, утешать себя мечтою о социализме, который изменит существующий строй «с милосердной медлительностью природы». Характерно, что давний излюбленный персонаж Франса — человек интеллектуального труда и гуманистических убеждений — в «Острове пингвинов» почти совсем стушевался, за исключением только отдельных эпизодов. Да и в таких эпизодах франсовский герой изображен совершенно иначе. Юмор, и прежде окрашивавший подобного рода фигуры, придавал им лишь особую трогательность, а в «Острове пингвинов» он выполняет другую, более горестную, функцию — подчеркивает их нежизнеспособность, туманность их идей и представлений, их бессилие перед напором грубой действительности. Таким юмором отмечены и сами имена этих эпизодических персонажей: Обнюбиль (*лат.* obnubilis) — окруженный облаками, окутанный туманом, Кокйй (*франц.* coquille) — раковина, скорлупа, Тальпа (*лат.* talpa) — крот, Коломбан (от *лат.* columba) — голубь, голубка, и т. п. И персонажи оправдывают свои имена. Обнюбиль действительно витает в облаках, идеализируя антарктидскую лжедемократию, летописец Иоанн Тальпа действительно слеп, как крот, и спокойно пишет свою летопись, не замечая, что вокруг него все разрушено войной, Коломбан (которого Франс изображает с особенно горьким юмором, так как под этим именем выведен Золя, снискавший огромное уважение Франса за свою деятельность в защиту Дрейфуса) дей-

ствительно чист, как голубь, но и беззащитен, как голубь, перед разъяренной сворой антипиротистов. Юмористическая переоценка такого рода персонажей на этом не останавливается — Бидо-Кокий представлен в наиболее шаржированном виде: из мира своих уединенных астрономических вычислений и размышлений, где Бидо-Кокий запрятан был, как в раковине, он, обуреваемый чувством справедливости, бросается в самую гущу борьбы вокруг «дела Пиро», но, убедившись в том, как наивно было тешить себя надеждой, что одним ударом можно утвердить справедливость во всем мире, он опять уходит в свою раковину. Эта краткая вылазка Бидо-Кокия в политическую жизнь демонстрирует всю его наивность. Франс не щадит своего героя, заставляя его пережить во время своей агитаторской деятельности балаганный роман с Манифлорой, престарелой кокоткой, вздумавшей украсить себя ореолом героической пиротистки. Не щадит Франс и себя,— ибо Бидо-Кокий многими чертами своего характера, несомненно, автобиографичен (заметим, кстати, что первая часть фамилии Бидо-Кокия созвучна с подлинной фамилией самого писателя — Тибо). Но именно способность с таким смелым юмором пародировать свои собственные гуманистические иллюзии — верный признак того, что Франс уже стал на путь их преодоления. Путь предстоял нелегкий.

В поисках реального общественного идеала Франсу не могли помочь французские социалисты того времени, когда создавался «Остров пингвинов» (1905—1908),— слишком явны были разногласия в их среде, их оппортунистические настроения, их слабая связь с народом, неспособность возглавить революционное движение рабочих и крестьян Франции. О том, как зорко видел Франс плачевный разброд, характеризовавший идеологию и политические выступления французских социалистов, свидетельствуют многие страницы «Острова пингвинов» (особенно VII глава 6-й книги) и такие персонажи этого романа, как Феникс, Сапор, Лаперсон, Лариве и др.

Доктор Обнюбиль, убедившись в том, что его мечта о справедливом и миролюбивом общественном строе неосуществима и в государствах, именующих себя демократическими, с горечью думает:

«Мудрец должен запастись динамитом, чтобы взорвать эту планету. Когда она разлетится на куски в пространстве, мир непримет но улучшится и удовлетворена будет мировая совесть, каковая, впрочем, не существует».

Мысль Обнюбиля о том, что Земля, взрастившая позорную капиталистическую цивилизацию, заслуживает полного уничтожения, сопровождается весьма важной скептической оговоркой — о бессмысленности такого уничтожения.

Этот гневный приговор и эта скептическая оговорка как бы предвосхищают мрачный финал всего произведения. Повествование Франса

приобретает здесь интонации Апокалипсиса, давая этим выход социальному гневу писателя. И вместе с тем последнее слово в «Острове пингвинов» остается за неистощимой иронией Франса. Книга восьмая, озаглавленная «Будущие времена», носит знаменательный подзаголовок: «История без конца». Пускай пингвины, возвращенные социальною катастрофой к первобытному состоянию, какое-то время ведут пастушескую мирную жизнь на развалинах былых гигантских сооружений,— в эту идиллию снова врываются насилие и убийство — первые признаки цивилизации. И снова человечество свершает свой путь по тому же историческому неразрывному кругу.

Подвергнув скептическому анализу свой собственный грозный вывод о том, что капиталистическая цивилизация должна быть стерта с лица земли, Франс сам же этот вывод опроверг.

Скептицизм Франса был скептицизмом творческим,— помогая писателю уразуметь не только противоречия жизни, но и противоречия своего внутреннего мира, скептицизм не позволил Франсу удовлетвориться анархической идеей всеобщего разрушения, как ни соблазнительна была она для автора «Острова пингвинов».

И через четыре года Франс выпускает в свет новый роман — «Боги жаждут».

С юношеских лет Франс проявлял интерес к истории, особенно к истории французской революции XVIII века. Редкие издания, относящиеся к революционной эпохе, составляли как бы специальность книгопродавца Франсуа Тибо — отца Анатоля Франса. Уже в юношеском романе «Алтари страха» и в более позднем сборнике новелл «Перламутровый футляр» (1892) писатель показал прекрасное знание мемуарной литературы и других источников, позволившее ему воссоздать французскую революцию в ее повседневных, бытовых чертах, воспроизвести исторический колорит революционной эпохи. Оставшиеся подготовительные материалы к роману «Боги жаждут» свидетельствуют о громадной работе по подбору исторических деталей, заключают в себе ряд собственноручных зарисовок Франса, сделанных с музейных экспонатов.

Но если бы даже о подготовительных работах к роману ничего не было известно, сам роман в законченном виде мог бы свидетельствовать с полной наглядностью, каким обширным запасом сведений — не только о событиях французской революции, но и о безымянных участниках и просто наблюдателях этих событий — располагал Франс. Тонкое знание революционного быта чувствуется в изображении толпы, присутствует ли она при казни или просто заполняет улицы. Не столь уж существенные, казалось бы, обстоятельства — разговор кумушек в хлебной очереди, реплики присутствующих на судебных заседаниях, уличные выкрики, обед художников в загородном кабачке, варка варенья из айвы, затруднения обывателей в связи с переходом на новый, револю-

ционный календарь — придают роману пластичность, реалистическую достоверность, заставляют читателя ощущать себя порою как бы современником давних исторических событий. В искусстве литературной реставрации прошлого новое произведение Франса превзошло даже его роман «Таис», где повседневная жизнь Александрии начала нашей эры воссоздана с такой же пластичностью, но далеко не с такой же широтой охвата.

Не без некоторых оснований, следовательно, в «Иллюстрированной истории французской литературы» Бедье и Азара книга «Боги жаждут» названа «восхитительным историческим романом». Но стоит вдуматься в этот роман, и станет ясно, что таким определением никак нельзя ограничиться. Если, в самом деле, восхитительны здесь своей живостью, характерностью, психологической и бытовой достоверностью имеющиеся в романе сцены и сценки прошлого, то весь роман в целом — произведение глубоко трагическое, что резко отделяет его от предшествующих книг Франса. Эпитет «восхитительный» к нему так же неприменим, как неприменим он к «Царю Эдипу» или «Гамлету». Судьба якобинца Эвариста Гамлена, составляющая сюжетную основу романа, освещена трагическим заревом. В предшествующих книгах Франса прославленный иронический стиль писателя приобретал все более и более мрачный характер, достигший своего апогея в гротескных образах «Острова пингвинов». В романе «Боги жаждут» ирония почти не находит себе места и лишь приглушенно, к тому же очень грустно, звучит в нескольких эпизодах.

Трагическое начало в судьбе и в личности Гамлена подчеркивает сам автор. Через весь роман своеобразным лейтмотивом проходит сопоставление Гамлена с Орестом — героем трагедии Еврипида. Характерно, что темой для своей картины художник Гамлен выбирает одну из сцен трагедии «Орест». Он сам разъясняет свой замысел в разговоре с гражданкой Рошмор, вспоминая, как вдохновила его та сцена из Еврипидовой трагедии, где молодая Электра отирает пену у рта своего несчастного брата, убирает волосы с его лба и просит выслушать ее, пока фурии его не терзают.

Франс не раз на протяжении романа указывает, что «Орест» — лучшая картина Гамлена, сам художник высказывает мысль, что если бы он закончил «Ореста», то это было бы, вероятно, наиболее удачное из его произведений. И писатель дает понять, что Орест и Гамлен связаны друг с другом не только потому, что Гамлен — создатель картины. В самом влечении художника к теме Ореста проявляется как бы чувство внутреннего родства с трагическим героем древности, и чтобы это внутреннее родство ощущалось читателем еще яснее, в романе говорится даже о внешнем сходстве Эвариста и Ореста: «Голова Ореста была трагически прекрасна, и в ней нетрудно было уловить сходство с лицом

художника». То же сходство замечает — но только не с состраданием, а со злобой — сестра Гамлена, возненавидевшая его революционную непримиримость. Улавливает сходство и Луиза Рошмор:

«— А Орест похож на вас, гражданин Гамлен.

— Вы находите? — с мрачной улыбкой заметил художник».

Одна из многозначительных сцен, раскрывающих отношение параллели Эварист — Орест ко всему замыслу романа, происходит в комнате Элоди, возлюбленной Гамлена. В этой сцене не только воспроизводится ситуация, заимствованная художником из Еврипида, не только упоминаются Эвмениды, виденные Гамленом во сне, спутанные пряди волос, падающие ему на глаза, и т. п.,— но сцена сопровождается размышлениями Эвариста, в которых он старается отстранить от себя зловещий смысл сопоставления с Орестом:

«И все-таки,— думал он,— я не убийца своей матери. Напротив, именно движимый сыновней любовью, я проливал нечистую кровь врагов моей родины».

Трагедия Гамлена — это, в трактовке Франса, трагедия якобинства. Роман воспроизводит очень короткий, но самый трагический период революции XVIII века — период якобинской диктатуры. Он был, как известно, ознаменован для нее большими победами, и внешними — над армиями интервентов, и внутренними — над контрреволюционерами, защитниками феодализма. Он, особенно к концу своему, был ознаменован также и поражениями якобинцев — постепенной утратой живых связей с народными массами, утратой революционно-демократической принципиальности в разрешении аграрной проблемы, в борьбе с голодом, с разрухой, с новыми видами эксплуатации и т. п.

Франс в своей книге отражает многие роковые противоречия деятельности Конвента, но вместе с тем полон уважения к его якобинским вождям. Марат и Робеспьер не занимают в романе центрального места, но нельзя назвать эти образы ни второстепенными, ни эпизодическими, потому что они величественны, как величественны бывают изображения на медалях. Франс понимал все значение революционных целей якобинцев, однако не мог примириться с якобинским террором,— отсюда и замысел его книги. Отсюда и трагический ее характер. Ведь роман был для автора не только историческим произведением: обращение к истории французской революции подсказано было Франсу все нарастающей тревогой за судьбы современного ему человечества. Показав в «Острове пингвинов», какой бессмысленной жестокостью было бы анархическое уничтожение всего цивилизованного мира, Франс в своих поисках социальной правды обратился мыслью к революции, к революционному преобразованию общества. Исторический роман «Боги жаждут» — в то же время роман философский, и хотя на первый взгляд он очень отли-

чается от «Острова пингвинов» художественной манерой изображения жизни, но всей сутью своей вплотную примыкает к нему.

Франсовский стиль еще до создания романа «Боги жаждут» постепенно утрачивал присущие ему поначалу холодноватость и спокойствие; теперь больше, чем когда-либо, в стиле этом чувствуется эмоциональность, даже страстность,— особенно на страницах, непосредственно посвященных Гамлену. Это связано и с психологической стороной повествования. Психологическое мастерство Франса находило прежде довольно ограниченное применение: он великолепно изображал духовный мир своих любимцев — ученых, книголюбов и т. п. Теперь, в романе «Боги жаждут», Франс раскрывает перед читателем душу революционера, якобинца. На своего Гамлена писатель смотрит не со стороны. Он вникает в его внутреннюю жизнь, отмеченную страстной мечтой о счастье человечества — и яростью борьбы за это счастье; верой в свое революционное дело — и отчаянием при гибели своих кумиров Марата и Робеспьера; природной добротой, готовностью помочь страдающему человеку — и озлобленностью фанатика. Благородство, бескорыстие, даже нежность Гамлена постоянно упоминаются и изображаются в романе. В воспоминаниях старушки матери возникает детство героя, когда маленький Эварист подвергался даже родительским наказаниям за свою чрезмерную доброту. Да и взрослый Гамлен не утрачивает этих свойств,— так, простояв долгие, утомительные часы в хлебной очереди, он, не раздумывая, отдает свой скудный паек исхудалой женщине с ребенком. В неизданных набросках к роману Гамлен носит другую фамилию — Клеман, что по-французски буквально означает «милосердный», и другое имя — Жозеф, то есть Иосиф, имя, вызывавшее у читателей ассоциации с Иосифом Прекрасным, избранным в Библии как воплощение душевной чистоты. В окончательном тексте Франс отказался от характеристики героя при помощи значащего имени, вероятно, из соображений художественных (то, что уместно было в «Острове пингвинов», показалось бы слишком прямолинейным для всего стиля нового романа). Однако это неосуществленное намерение еще более подтверждает, какое значение в замысле книги имеет доброта героя, его благородство, чистота его революционных намерений. Изображая революционную деятельность Гамлена, особенно в качестве присяжного судьи Трибунала, Франс от главы к главе все больше подчеркивает проявляющиеся в ней противоречия. Сам Гамлен сознает, что он поставил себя вне жизни, вне человечества, ожесточился не только против заговорщиков, против опасных и сильных врагов, но и против всякого, кто лишь покажется ему подозрительным. В парижской толпе, некогда осыпавшей бранью и проклятиями тех, кого Гамлен посылал на гильотину, теперь сам непреклонный судья вызывает ужас и отвращение,— народ устал от террора. Да и для Гамлена вся его жизнь стала кровавым кошмаром, не позволяющим ему наслаж-

даться никакими человеческими радостями; он сам говорит об этом в прощальной беседе со своей возлюбленной.

Иронических парадоксов, прежде столь любимых Франсом, в романе «Боги жаждут» осталось немного, но парадокс, лежащий в основе книги, полон трагической иронии: Гамлен из любви к человечеству становится бесчеловечным. «— Я принес в жертву родине и жизнь и честь,— говорит он своей Элоди.— Я умру опозоренным и ничего не смогу завещать тебе, несчастная, кроме всем ненавистного имени... Любить друг друга? Но разве меня еще можно любить?.. И разве я могу любить?»

Трагизм судьбы и личности Гамлена — это трагизм его революционной деятельности. Он осложняется и углубляется еще тем, что, по Франсу, Конвент не добился особенных перемен в жизни страны, в самих людях. Глава XXIX, заканчивающая книгу описанием народных увеселений, театральных зрелищ, уличных шуток, носит, в сущности, очень грустный характер,— в ней Франс прощается не только с Гамленом, но и с его революционной идеей. Герой погиб, а жизнь продолжается, словно его и не было никогда. Та же мысль о равнодушии вечно повторяющейся жизни подсказала Франсу и завершающую сцену романа: Элоди, бывшая возлюбленная Гамлена, ставшая после его казни возлюбленной его приятеля, повторяет тому, слово в слово, напутствие, каким она раньше провожала Гамлена.

Не менее горестно разрешается тема революции и в романе «Восстание ангелов» (1914), где Сатана, некогда восставший против бога-тирана Иалдаваофа и свергнутый за это с небес, отказывается покинуть бездну своего гордого одиночества и вести на штурм небесного престола ангельские воинства, избравшие его своим предводителем,— он не верит в то, что установление новой власти избавит мир от тирании.

Но Франс не был бы Франсом, если бы замкнулся в круг социального пессимизма. Для этого он слишком любил жизнь и человека. Уйти в идиллию, которую создал для себя Сильвестр Бонар, или в туманную мечту о далеком будущем, которой предастся Бержере,— Анатоль Франс уже не мог. Для этого он слишком ненавидел врагов жизни и врагов человека.

На протяжении всего творчества Франса его сатира была неразрывно связана со стремлением к социальной правде. Франсовская сатира возникла из этого стремления, вместе с ним росла, углублялась, становилась все более действенной.

К трагическим выводам романа «Боги жаждут» Франс мог прийти оттого, что прогрессивный исторический смысл французской революции был для него заслонен нагромождением противоречий и несуразностей, вакханалией пороков и преступлений — всей эксплуата-

торской сущностью нового французского общества XIX и начала XX века.

Помогла Франсу в поисках социальной правды Октябрьская революция. Еще и раньше Франс пристально вглядывался в революционную борьбу русского народа, в русскую передовую культуру. В 1913 году, во время своего краткого пребывания в Москве и Петербурге, французский писатель говорил о том, как он счастлив посетить великую страну, которая дала мировой литературе Пушкина, Тургенева, Толстого, особо упомянул о своей переписке с Горьким.

Франса связывали с Горьким не только литературные отношения. В Горьком он видел прежде всего революционера, чтил в его лице революционный русский народ. В 1905 году он одним из первых поставил свою подпись под протестом против ареста Горького. В многочисленных статьях и публичных выступлениях Франс приветствовал русскую революцию 1905 года, выражал горячее желание, чтобы благородная кровь русских революционеров была пролита не напрасно. «Вот где решаются ныне судьбы новой Европы и будущего человечества»,— писал он по поводу нашей революции 1905 года.

Октябрьская революция окончательно разорвала тот трагический круг, из которого упорно искал выхода создатель романа «Боги жаждут». Вся публицистическая деятельность и общественные выступления Анатоля Франса за последние годы его жизни определяются теми новыми надеждами и тем новым пониманием своего писательского долга, какие были внушены ему идеями и событиями Октября. Он участвует в борьбе против блокады Советской России, первым подписывает протест против блокады, помещенный в «Юманите» 26 октября 1919 года и отмеченный В. И. Лениным как одна из побед, «которую мы одержали над империалистической Францией внутри нее самой» [1]. Неоднократно высказывает Франс свое восхищение В. И. Лениным, глубокое уважение к нему как «крупнейшему политическому уму нашей эпохи». В 1920 году Франс примкнул к Французской коммунистической партии. 8 ноября 1922 года он опубликовал в «Юманите» свое приветствие СССР по поводу пятилетия Октябрьской революции. «Если в Европе есть еще друзья справедливости,— писал он в приветствии,— они должны почтительно склониться перед этой Революцией, которая впервые в истории человечества попыталась учредить народную власть, действующую в интересах народа. Рожденная в лишениях, возросшая среди голода и войны, Советская власть еще не довершила своего громадного замысла и не осуществила еще царства справедливости. Но она, по крайней мере, заложила его основы» [2].

---

[1] В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 39, стр. 399.
[2] А. Франс, Собр. соч., т. 8, М. 1959, стр. 756.

Так последние годы Франса озарились верой в социализм — уже не мечтой одинокого гуманиста, а именно верой в дело народа. Гуманистический идеал Франса нашел в социализме вторую, еще более полную жизнь.

Преклонный возраст не позволил писателю воплотить свои новые идеи в художественных произведениях,— он умер в 1924 году, восьмидесятилетним старцем. Однако он прекрасно завершил свой долгий и трудный путь — путь беспощадного сатирика и неустанного искателя социальной правды.

ВАЛЕНТИНА ДЫННИК

ПРЕСТУПЛЕНИЕ СИЛЬВЕСТРА БОНАРА, АКАДЕМИКА

ПЕРЕВОД Е. КОРША

ПОЛЕНО

24 декабря 1861 года.

Я переоделся в халат и надел туфли; отер слезу, выступившую мне на глаза от холодного, резкого ветра, задувавшего с набережной. В камине пылал яркий огонь, озаряя мой кабинет. На оконных стеклах распустились листьями папоротника ледяные узоры, скрыв от меня Сену, ее мосты и Лувр династии Валуа.

Придвинув кресло и столик к топке, я занял место, милостиво оставленное мне Гамилькаром. Перед решеткою камина, на перинке, клубком свернулся Гамилькар, уткнувшись носом в лапы. Густой и легкий мех его вздымался от ровного дыхания. Когда я подошел, он мягко глянул агатовыми зрачками сквозь полусомкнутые веки и тотчас их закрыл, подумав: «Ничего, это друг».

— Гамилькар! — обратился я к нему, вытягивая ноги.— Гамилькар, дремлющий принц обители книг и ночной страж, ты защищаешь от подлых грызунов рукописи и книги, приобретенные старым ученым благодаря его скромным сбережениям и неослабному усердию. Среди безмолвия библиотеки, хранимой твоею воинской доблестью, Гамилькар, спи в неге, подобно султанше: ибо ты сочетаешь в облике своем грозный вид татарского воина с ленивой грацией восточной красавицы. Героический и сластолюбивый Гамилькар, спи до того часа, как в лунном свете запляшут мыши перед *Acta Sanctorum* [1] ученых болландистов.

Начало этой речи понравилось Гамилькару, вторившему ей горловым звуком, похожим на клокотанье чайника. Но, как толь-

[1] «Жития святых» *(лат.)*.

ко я возвысил голос, Гамилькар, прижав к голове уши и морща полосатый лоб, предупредил меня, что декламация такого рода вовсе неуместна.

Он мыслил:

«Этот старокнижник говорит без толку, а вот наша Тереза произносит слова, всегда исполненные смысла и реального значения, то возвещая еду, то обещая порку. Знаешь, о чем идет речь. Этот же старик соединяет звуки, не значащие ничего».

Так думал Гамилькар. Предоставив ему свободу размышлять по-своему, я раскрыл книжку и стал читать с особым интересом, ибо то был каталог рукописей. Не знаю чтения более легкого, приятного и завлекательного, нежели чтение каталогов. Данный каталог, составленный в 1824 году библиотекарем сэра Томаса Ралея, господином Томпсоном, грешит, правда, чрезмерной краткостью и не дает той точности, какую архивисты моего поколения первыми ввели в палеографию и дипломатику. Он оставляет место для разных пожеланий и догадок. Вот почему, быть может, при чтении его я погружаюсь в состояние, какое в натуре, больше одаренной воображеньем, следовало бы назвать мечтательностью. Я мирно отдавался блужданью своих мыслей, когда моя домоправительница угрюмо доложила, что меня спрашивает г-н Кокоз.

Кто-то действительно проник за ней в библиотеку. Это был человек маленького роста — бледный, тщедушный человечек в поношенной визитке. Человечек направился ко мне, приветствуя меня улыбочками и кивками головы. Но он был очень бледен и, несмотря на молодость и живость, имел вид больного. При взгляде на него я мысленно представил себе раненую белку. Под мышкой он принес зеленый узел и водрузил его на стул, затем, развязав четыре конца свертка, открыл передо мною кипу желтых книжек.

— Сударь, я не имею чести быть вам знаком,— сказал он.— Я книжный агент, представитель главных столичных фирм, и в надежде, что вы почтите меня своим доверием, беру на себя смелость предложить вам несколько новинок.

Боги милостивые! Боги праведные! Что за новинки предложил мне гомункул Кокоз! Первый том, врученный мне, оказался «Историей Нельской башни» с любовными приключениями Маргариты Бургундской и капитана Буридана.

— Это книга историческая,— пояснил он, улыбаясь,— история правдивая.

— В таком случае она скучная,— ответил я,— ибо книги исторические, когда не лгут, бывают очень нудны. Я сам пишу

книги правдивые, и если б, на свое несчастье, вы стали предлагать любую по домам, то рисковали бы носить ее в вашей зеленой сарже до конца дней своих, не находя даже кухарки, способной по наивности купить такую книгу.

— Разумеется, сударь,— согласился человечек чисто из любезности.

И, продолжая улыбаться, показал мне «Любовь Элоизы и Абеляра», но я дал ему понять, что в моем возрасте не до любовных приключений.

Все еще с улыбкой, он предложил мне «Игры для развлечения общества»: правила игры в пикет, безик, экарте, вист, шашки, шахматы и кости.

— Увы,— сказал я,— если хотите мне напомнить правила безика, верните на землю старого друга моего Биньяна, с которым играл я в карты каждый вечер до той поры, когда все пять академий торжественно свезли его на кладбище, или низведите до вздорности игр человеческих серьезный ум Гамилькара, спящего перед вами на подушке, теперь единственного, кто разделяет со мною вечерние досуги.

Улыбка человечка стала бледной и тревожной.

— Вот,— сказал он,— новый сборник развлечений в обществе: шутки, каламбуры, а также способ превращать красную розу в белую.

Я ответил, что розы уже давно со мною не в ладах, а шуток с меня достаточно и тех, какие дозволяю я себе в научных изысканиях, помимо своей воли.

Гомункул протянул мне последнюю книгу с последней своей улыбкой:

— Вот «Сонник», разъясняющий всевозможные сны: о золоте, ворах, о смерти, о падении с высокой башни... Это самый полный.

Я взял каминные щипцы и, оживленно помахивая ими, ответил моему коммерческому гостю:

— Да, мой друг, но и эти сны, как тысяча других, веселых и трагичных, все сводятся лишь к одному — сну жизни; а даст ли ваша желтая книжонка его разгадку?

— Конечно, сударь,— ответил гомункул.— Книга самая полная и недорогая: франк двадцать пять сантимов.

Я не продолжил разговора с книгоношей. Не стану утверждать, что произнес именно те слова, какие привожу. Возможно, что в письменной передаче я их немного и распространил. Очень трудно соблюсти буквальную истину даже в дневнике.

Но если самые слова были не совсем те, то смысл их передан верно.

Я кликнул домоправительницу, так как звонков у меня в квартире нет.

— Тереза, проводите, пожалуйста, господина Кокоза; а впрочем, у него есть книга, быть может интересная для вас. Это «Сонник». Буду счастлив преподнести его вам.

Тереза ответила:

— Коли нет времени грезить наяву, так уж во сне-то и подавно, слава богу! У меня довлеет дневи злоба его, а злобе — день, и каждый вечер я могу сказать: «Господи, благослови меня, отходящую на покой». Не вижу снов ни стоя, ни лежа и не принимаю свой пуховик за черта, как то случилось с моей родственницей. А ежели позволите мне сказать, так, по-моему, книг здесь и без того достаточно: у вас, барин, их не одна тысяча, и от этих-то голова у вас идет кру́гом, а с меня хватит и моих двух — молитвенника да поваренной книги.

С этими словами Тереза помогла человечку запаковать в зеленую саржу его товар.

Гомункул Кокоз больше не улыбался. Его унылое лицо выражало такое страдание, что я раскаялся в своих насмешках над столь несчастным человеком. Я вернул его, сказав, что мельком подметил у него экземпляр «Истории Эстеллы и Неморена», что очень люблю пастухов и пастушек и охотно бы купил за сходную цену историю этих двух безупречных любовников.

— Я отдам вам эту книгу за франк двадцать пять,— ответил мне Кокоз с сияющим от радости лицом.— Это историческая книга, вы будете довольны. Теперь я знаю, что вам подходит. Вижу, вы знаток. Завтра принесу вам «Папские преступления». Отличная книга. Доставлю любительский экземпляр, с картинками.

Я попросил его не беспокоиться, но все же он ушел довольный. Когда зеленый узел вместе с книгоношей исчез во мраке коридора, я спросил домоправительницу, откуда к нам свалился этот жалкий человечек.

— Подлинно, что свалился,— ответила она.— К нам он свалился с крыши, где живет с женой.

— Вы говорите, Тереза,— у него жена? Чудно́! Женщины престранные создания. Наверно, это плохонькая женщина.

— Хорошо не знаю, какова она,— ответила Тереза,— но вижу каждый божий день, как она треплет по лестнице свои шелковые платья в сальных пятнах. Глаза у нее так и све-

тятся, а по чести говоря, разве такие глаза и шелковые платья подобают женщине, которую приютили тут из милости? И на чердак-то их пустили только на время, пока чинится крыша, лишь ради того, что муж болен, а жена в интересном положении. Привратница как раз сегодня говорила про нее, что она с утра почувствовала схватки, и сейчас ее уложили в постель. Очень им нужен этот ребенок!

— Тереза, он несомненно им не нужен. Но природа захотела, чтобы они произвели на свет ребенка; она поймала их в свою ловушку. Нужно примерное благоразумие, чтобы избегнуть хитростей природы. Так пожалеем их и не станем осуждать. А что до шелковых платьев, то нет женщины, которая бы не любила их. Дщери Евы любят наряды. Вы сами, Тереза, такая степенная, разумная,— а какой крик вы поднимаете, если не окажется у вас белого фартука, когда вам надо подавать к столу. Скажите-ка, есть ли у них на чердаке все необходимое?

— Ну, откуда у них быть? Муж, которого вы видели, был агентом по ювелирной части, как сказывала мне привратница, и неизвестно почему бросил торговать часами. Теперь торгует альманахами. Разве это приличное занятие? И никогда я не поверю, что бог дарует свое благословение торговцу альманахами. А между нами, жена его, судя по всему,— дрянь: где день — где ночь. Сдается мне, она годна воспитывать ребенка, как я — играть на гитаре. Невесть откуда взялись они, но только я уверена, что прибыли они по Нищей дорожке из Беззаботной стороны.

— Откуда бы ни прибыли, они несчастны, Тереза, а на чердаке холод.

— Еще бы! Крыша прохудилась в нескольких местах, и дождевая вода проходит на чердак. У них нет ни белья, ни мебели. Ни столяр, ни ткач не работают, думается мне, на эдаких христиан.

— Очень печально, Тереза. И вот вам — христианка, а обеспечена необходимым хуже, чем сей язычник Гамилькар. Что говорит она сама?

— С такими людьми я никогда не разговариваю. Не знаю, ни что она говорит, ни что она поет. А поет она целый день. Я слышу ее с лестницы и когда ухожу из дома и когда возвращаюсь.

— Ну что ж! Наследник Кокоза может сказать, как яйцо в деревенской загадке: «Мать произвела меня с песней». Подобный же случай был и с Генрихом Четвертым. Жанна

д'Альбре, почувствовав предродовые боли, запела старинное беарнское песнопение:

Божья матерь с конца моста,
Помоги мне в этот час.
За меня проси у бога,—
Чтоб не тяжки были роды,
Чтоб сыночка мне родить.

Конечно, производить на свет несчастных неразумно. Но, милая моя Тереза, это происходит ежедневно, и всем философам мира не удается изменить этот глупый обычай. Госпожа Кокоз ему последовала — и поет. И хорошо делает. Скажите-ка, Тереза, вы варите сегодня суп?

— Варю, и сейчас самое время снять пену.

— Очень хорошо! Но не преминьте, Тереза, отлить из котелка добрую мисочку бульона и отнести ее нашей сверхсоседке, госпоже Кокоз.

Моя домоправительница было ушла, но я добавил весьма кстати:

— Тереза, прежде всего будьте добры позвать вашего приятеля дворника: накажите ему взять у нас в сарае хорошую вязанку дров и отнести ее к Кокозам на чердак. И особливо пусть не забудет положить в вязанку большое полено — настоящее рождественское полено. Что же касается гомункула, прошу вас, если он придет опять, не пускать дальше моей двери — ни его самого, ни желтых его книжек.

Сделав эти мелкие распоряжения с утонченным эгоизмом старого холостяка, я снова принялся за чтение каталога.

С каким трепетом, с каким волнением, с каким смятением обнаружил я там заметку, которую я даже не могу сюда переписать без дрожи в руке:

«*Златая легенда* Иакова Генуэзца (Иакова Ворагинского), французский перевод, маленькое in quarto.

Эта рукопись XIV века, кроме довольно полного перевода известного сочинения Иакова Ворагинского, содержит: 1) жития святых Фереоля, Феруция, Жермена, Винцента и Дроктовея; 2) поэму «О чудесном погребении святого Жермена Осерского». Перевод, жития и поэма принадлежат перу клирика Жана Тумуйе.

Рукопись, на тонком пергаменте, заключает большое количество титульных букв и две миниатюры изящного письма, но плохой сохранности: одна изображает Сретенье господне, другая — Венчанье Прозерпины».

Какое открытие! Пот выступил у меня на лбу, и затуманились глаза. Я вздрогнул, покраснел и, не в силах говорить, испытывал потребность громко крикнуть.

Какое сокровище! Сорок лет я изучаю христианскую Галлию, в особенности — славное аббатство Сен-Жермен-де-Пре, откуда вышли короли-монахи, основатели нашей французской династии. И, несмотря на преступную неполноту такого описанья, мне было ясно, что рукопись исходит из этого великого аббатства. Об этом говорило все: жития, добавленные переводчиком, относились все к основанию аббатства благочестивым королем Хильдебертом. Особо знаменательно житие святого Дроктовея, первого аббата моего дорогого аббатства. Французская поэма, касающаяся погребения святого Жермена, вела меня в самый неф досточтимой базилики, этой колыбели всей христианской Галлии.

Златая легенда сама по себе является пространным и вместе с тем изящным произведением. Иаков из Ворагина, дефинитор ордена святого Доминика и архиепископ генуэзский, собрал в XIII веке предания о католических святых и составил такой богатый сборник, что по монастырям и замкам воскликнули: «Вот *Златая легенда!» Златая легенда* отличается особой полнотою в части итальянской агиографии. Галлам, алеманнам, Англии отведено там небольшое место. Великие святые Запада видны этому генуэзцу сквозь дымку холодного тумана. Поэтому аквитанские, германские и англо-саксонские переводчики этого прекрасного житийника взяли на себя заботу добавить к его рассказу жизнеописания своих святых.

Я прочел и сличил немало рукописей *Златой легенды.* Мне знакомы и те, что описал мой ученый коллега господин Полен Парис в отличном каталоге рукописей королевской библиотеки. Две из них особо привлекли мое внимание. Одна — XIV века, содержащая перевод Жана Беле; другая, веком моложе, заключает в себе извод Жака Винье. Обе из собрания Кольбера и помещены на полках славной Кольбертины заботами библиотекаря Балюза, чье имя я не могу произнести, не снявши свою шапочку, ибо даже в тот век гигантов эрудиции Балюз поражает нас своим величием. Мне известен очень любопытный свод из собрания Биго; я знаком с семьюдесятью четырьмя печатными изданиями, начиная с достопочтенного их предка, готического страсбургского издания, начатого в 1471 и законченного в 1475 году. Но ни одна из этих рукописей, ни одно издание не содержат житий святых Фереоля, Феруция, Жермена, Винцента и Дроктовея, ни в одном нет

имени Жана Тумуйе — словом, ни одна не исходит из аббатства Сен-Жермен-де-Пре. Все они в сравнении с рукописью, описанною господином Томпсоном,— солома рядом с золотом. И вот я видел своими глазами, осязал своими руками неопровержимое свидетельство о существовании этого памятника. Но что же сталось с самим памятником? Сэр Томас Ралей окончил дни на берегах озера Комо, взяв туда с собою часть благородных своих сокровищ. Куда ушли они по смерти этого тонкого любителя старины? Куда девалась рукопись Жана Тумуйе?

«Зачем,— подумал я,— зачем узнал я о существовании этой драгоценной книги, раз мне не суждено ею владеть или ее увидеть! Я устремился бы за ней в жгучую глубь Африки или во льды полярных стран, когда б узнал, что она там. Но я не знаю, где она. Не знаю, хранится ль под тройным запором в железном шкафу ревнивого библиомана или плесневеет на чердаке у невежды. Я содрогаюсь при мысли, что, может быть, вырванные из нее листы служат покрышкой для банок с огурцами у какой-нибудь хозяйки».

30 августа 1862 года.

Истомленный гнетущею жарой, я тихо шел по северной стороне набережных, у самых стен домов, и в теплой их тени лавки старинной мебели, гравюр и старых книг тешили мои глаза и говорили моему уму. Гуляя и разыскивая книги, я наслаждался мимоходом несколькими громкозвучными стихами поэта из Плеяды, смотрел на изящный маскарад Ватто, ощупывал глазами двоеручный меч, стальной подбородник, морион. Что за массивный шлем и какая тяжелая кираса, боги ты мой! Доспехи гиганта? Нет, панцирь насекомого. Тогдашние люди были одеты в панцирь, как майский жук: их слабость была внутри. В противоположность им — наша сила внутри, а душа наша, во всеоружии знания, живет в тщедушном теле.

Вот пастельный портрет старинной дамы: лицо в нем полустерлось и помутнело, словно тень, чему-то улыбается; видна рука в ажурной митенке, держащая на атласных коленях болонку в лентах. Чарующей грустью наполнил меня этот образ. Да посмеются надо мною те, кто в душе своей не носит полустершейся пастели!

Как лошадь, зачуявшая конюшню, я ускоряю ход, приближаясь к своей квартире. Вот человеческий улей,— там есть и у меня своя ячейка, и я откладываю в ней чуть горьковатый

мед науки. Тяжело взбираюсь по лестнице. Еще несколько ступенек — и я у своей двери. Но я не столько вижу, сколько угадываю по шуршанью шелка, что мне навстречу спускается женщина. Останавливаюсь и прижимаюсь к перилам. Идущая навстречу дама — без шляпы, молодая — и поет; в сумраке глаза и зубы ее сверкают, ибо она смеется ртом и взглядом. Верно, это какая-нибудь соседка, и одна из самых дружелюбных. На руках у ней хорошенький ребенок — мальчик, совершенно голый, точно сын богини; на шейке серебряная цепочка с образком. Я вижу, как сосет он большой палец и глядит на меня глазами, широко раскрытыми на старую, но для него новую вселенную. Мать в это время смотрит на меня лукаво и загадочно; останавливается, кажется краснеет и протягивает ко мне маленькое существо. У ребенка хорошенькая складочка на шее, на запястье, и с головы до ног по розовому телу смеющиеся ямочки.

Мать с гордостью показывает его мне и мелодично говорит:

— Сударь, не правда ли, хорош мой мальчик?

Она берет его ручку, прикладывает ему к губам и отводит розовые пальчики по направлению ко мне.

— Деточка, пошли господину поцелуй. Он добрый: он не хочет, чтобы маленькие дети зябли. Пошли же ему поцелуй.

И, прижав к себе ребенка, она с кошачьим проворством исчезает в глубине коридора, ведущего, судя по запаху, на кухню.

Вхожу к себе.

— Тереза, сейчас на лестнице я видел молодую мать с хорошеньким мальчишкой на руках, она без шляпы,— кто это может быть?

Тереза отвечает, что это г-жа Кокоз.

Смотрю на потолок, как бы ища там поясненья. Тереза напоминает мне о жалком книгоноше, приносившем альманахи в прошлом году, когда рожала его жена.

— А сам Кокоз? — спросил я.

Она ответила, что его я больше не увижу. Бедный человечек, без ведома моего и без ведома многих других, опущен в землю вскоре после благополучного разрешения г-жи Кокоз. Мне сообщили, что вдова утешилась; я последовал ее примеру.

— Однако, Тереза, быть может, там, на чердаке, госпожа Кокоз терпит в чем-нибудь нужду?

— Вы, сударь, крепко попали бы впросак,— ответила Тереза,— если бы стали заботиться об этой твари. Ее решили выдворить с чердака, когда починили крышу. Но она живет

там, не обращая внимания на управляющего, привратницу, судебного пристава и самого хозяина. Сдается мне, она их всех околдовала. С чердака она уедет, когда ей вздумается, да и уедет-то в карете. Помяните мое слово!

С минуту Тереза думала, затем изрекла такую сентенцию:

— Хорошенькое личико — небесное проклятье.

Твердо зная, что Тереза от юности своей была дурнушкой, без малейшей привлекательности, я покачал головой и с мерзостным лукавством сказал ей:

— Э! Э! Тереза, мне известно, что в свое время и у вас было хорошенькое личико.

Не подобает искушать ни единое созданье в мире, даже самое святое.

Тереза потупила глаза и отвечала:

— Хоть я и не была, что называется, красавицей, но и нельзя сказать, чтоб и не нравилась. И кабы захотела, могла бы поступить, как прочие.

— Ну, кто же в этом усомнится? Все-таки примите мою палку и шляпу. А я для отдыха прочту несколько страниц из Морери. Коль не обманывает меня мой старый лисий нюх, у нас сегодня на обед вкусно пахнущая пулярка. Займитесь этой почтенной птицей, дочь моя, и не судите ближнего, дабы не осудил он вас и вашего старого хозяина.

Сказав это, я принялся исследовать густые разветвления одной княжеской генеалогии.

7 мая 1863 года.

Зиму провел я в духе мудрецов — in angello cum libello [1], и ласточки с набережной Малакэ по возвращении своем вновь обретают меня почти таким же, каким оставили. Кто мало живет, мало меняется; а тратить дни свои на старые тексты — это еще не жизнь.

Однако сегодня, как никогда, я чувствую себя проникнутым той смутной грустью, какою веет сама жизнь. Равновесие моего ума (не смею в том признаться и самому себе) нарушено со знаменательного часа, когда мне открылось, что существует рукопись Жана Тумуйе.

Странно, из-за нескольких листков старого пергамента я утратил покой; но это истинная правда. Бедняк, не знающий желаний, владеет величайшим из сокровищ: он обладает са-

[1] В уголке и с книжкой *(лат.)*.

мим собою. Богач, желающий все большего,— жалкий раб. Таким рабом являюсь я. Самые приятные удовольствия — беседа с человеком тонкого и уравновешенного ума или обед с другом — не могут изгнать из моей памяти рукопись, отсутствие которой я чувствую с той минуты, как узнал, что она есть. Мне не хватает ее ни днем, ни ночью; мне не хватает ее ни в радости, ни в горе; не хватает ни в труде, ни в отдохновении.

Я невольно вспоминаю свое детство: как мне теперь понятны всемогущие желанья первых моих лет!

С особой четкостью я вижу куклу, выставленную в дрянной лавчонке на Сенской улице, когда мне было десять лет. Как произошло, что эта кукла мне понравилась,— не знаю. Я горд был тем, что я мальчик; я презирал девчонок и с нетерпеньем ждал поры (увы! наставшей), когда колючая бородка мне защетинит подбородок. Играл я лишь в солдатики, а для кормления своей деревянной лошадки истреблял цветы, взращенные моею матушкой на ее окне. То были мужские игры, думается мне. Однако я жаждал этой куклы. Бывают слабости и у Геркулесов! Но кукла, что полюбилась мне, была ли по крайности красивой? Нет. Я вижу и сейчас ее перед собой. На щеках — по красному пятну, короткие дряблые руки с ужасными деревянными кистями и длинные раскоряченные ноги. Цветастая юбка заколота на талии двумя булавками; как сейчас вижу их черные головки. То была кукла дурного тона, от нее отдавало предместьем. Хотя я был тогда совсем ребенок и лишь недавно стал носить штанишки, все же помню, как я по-своему, но очень живо чувствовал, что в кукле нет изящества и вида, что она груба, топорна. Но, несмотря на это, я любил ее,— любил именно за это. Любил только ее. Мечтал о ней. Солдатики и барабаны стали для меня ничем. Я больше не совал своей лошадке в рот стебельков гелиотропа и вероники. Эта кукла была для меня всем. Я измышлял достойные дикарей хитрости, чтобы заставить свою няньку Виргинию пройти со мною мимо лавки на Сенской улице. Там я прилипал носом к стеклу, а няньке приходилось оттаскивать меня за руку: «Господин Сильвестр, уж поздно, маменька вас забранит». В то время г-ну Сильвестру и брань и порка были нипочем. Но нянька поднимала его, как перышко, и г-н Сильвестр уступал силе. С возрастом он опустился и уступает страху. Тогда он не боялся ничего.

Я был несчастлив. Безотчетный, но непреоборимый стыд не позволял мне откровенно рассказать матери о предмете моей

любви. Отсюда все мои страданья. В течение нескольких дней кукла не выходила у меня из головы, плясала перед моими глазами, пристально смотрела на меня, раскрывала свои объятья и в моем воображении обретала своего рода жизнь, становясь от этого таинственной и страшной, а тем самым — еще более желанной и дорогой.

И вот в один прекрасный день, памятный мне навеки, я был отведен няней к дяде моему, капитану Виктору, пригласившему меня на завтрак. Я любовался дядей капитаном оттого, что при Ватерлоо он выпустил последний французский заряд, и оттого, что за столом у моей матери он собственноручно натирал кусочки хлеба чесноком и клал их в салат из цикорных листьев. Я находил это очень красивым. Большое уважение внушал мне дядя Виктор и сюртуками с брандебурами, а особенно своим уменьем ставить в нашем доме все вверх дном, как только он входил. До сей поры мне непонятно, чем достигал он этого, но утверждаю, что если дядя Виктор находился в обществе двадцати человек — было видно и слышно одного его. Мой замечательный отец не разделял, мне кажется, моего восторженного преклонения перед дядей Виктором, который отравлял его своею трубкою, по дружбе сильно стукал ему в спину кулаком и обвинял в отсутствии энергии. Матушка моя, при всей сестринской снисходительности к капитану, иногда просила его пореже выказывать свою любовь к графину с водкой. Но я был чужд всякому недовольству и упрекам: мне дядя Виктор внушал живой восторг. Поэтому с чувством гордости входил я в маленькую квартирку на улице Генего, где он проживал. Завтрак, накрытый на столике перед камином, состоял из закусок и сластей.

Капитан пичкал меня пирожными и неразбавленным вином, рассказывал мне о многих несправедливостях, коих стал жертвою. Он выражал особенное недовольство Бурбонами, но упустил сказать мне, кто такие были Бурбоны, а я, не знаю почему, вообразил, что Бурбоны — это лошадиные барышники, обосновавшиеся в Ватерлоо. Капитан, переставая говорить лишь для того, чтобы налить вина, обвинял множество еще каких-то стервецов, мерзавцев и пройдох, неведомых мне совершенно, но глубоко ненавистных. За сладким мне послышалось, что капитан отзывается о моем отце, как о человеке, которого водят за нос; но я не очень-то уверен, так ли понял. В ушах у меня шумело, и мне мерещилось, что столик пляшет.

Дядя надел сюртук с брандебурами, взял цилиндр, и мы спустились на улицу, чрезвычайно вдруг изменившуюся, на

мой взгляд. Мне казалось, что я давно здесь не был. Все же, когда мы очутились на Сенской улице, мысль о кукле вновь завладела мной и привела меня в необычайный восторг. Голова моя пылала. Я решился на великий шаг. Мы проходили мимо лавки; кукла была все там же, за стеклом, с теми же красными щеками и огромными ногами и в той же цветастой юбке.

— Дядя,— промолвил я с усилием,— не купите ли вы мне эту куклу?

И стал ждать ответа.

— Купить мальчишке куклу, черт возьми! — громовым голосом воскликнул дядя.— Ты хочешь осрамить себя! И это страстное желание вызвала в тебе такая баба! Поздравляю тебя, дружище! Если эти вкусы сохранятся у тебя и ты еще в двадцать лет будешь выбирать себе таких же кукол, предупреждаю: мало приятного получишь ты от жизни, а у товарищей своих прослывешь изрядным простофилей. Проси у меня саблю, ружье — я их куплю тебе, мой мальчик, на последний грош своей пенсии. Но купить куклу, тысяча громов! Покрыть тебя позором! Ни за что в жизни! Если бы я увидал, что ты играешь расфуфыренной на такой манер девкой, то, милостивый государь, хоть вы и сын моей сестры, я не признал бы вас своим племянником.

От его слов у меня так сжалось сердце, что лишь гордость, дьявольская гордость помешала мне заплакать.

Дядя, сразу успокоившись, вернулся к мыслям о Бурбонах, но я так и остался подавленный его негодованьем, чувствуя невыразимый стыд. Мое решенье созрело быстро. Я дал себе обет не терять чести: я отказался навсегда и твердо от куклы с красными щеками. В этот день я познал суровую отраду жертвы.

Капитан! Пусть вы при жизни ругались, как язычник, курили, как швейцарец, и пили, как сапожник, да будет все-таки почтенна ваша память,— не только потому, что и всегда вы были молодцом, но также потому, что вашему племяннику в коротеньких штанишках открыли чувство героизма. Высокомерие и лень сделали вас, о дядя Виктор, почти невыносимым, но под брандебурами вашего сюртука билось великое сердце. Мне помнится, что вы носили в петлице розу. Этот цветок, обычно преподносимый вами продавщицам в магазинах, этот цветок, с его великодушно открытым сердцем, облетающий по воле всех ветров, был символ вашей славной юности. Вы не пренебрегали ни вином, ни табаком, но вы пренебрегали своей жизнью. У вас нельзя было научиться, капитан, ни деликат-

ности, ни здравому смыслу, но меня, в том возрасте, когда мне нянька утирала нос, вы научили самоотречению и чувству чести, чего я не забуду никогда.

Вы давно покоитесь на кладбище Монпарнас под скромною плитою с эпитафией:

ЗДЕСЬ ПОГРЕБЕН АРИСТИД-ВИКТОР МАЛЬДАН
ПЕХОТНЫЙ КАПИТАН
КАВАЛЕР ОРДЕНА ПОЧЕТНОГО ЛЕГИОНА

Не такую надпись вы, капитан, готовили для вашей бренной оболочки, повидавшей столько полей битв и столько злачных мест. Среди ваших бумаг нашли вот эту горькую, но гордую эпитафию, которую, вопреки вашей последней воле, не решились поместить над вашею могилой:

ЗДЕСЬ ПОГРЕБЕН
ЛУАРСКИЙ РАЗБОЙНИК

— Тереза, завтра мы отнесем венок из иммортелей на могилу луарского разбойника.

Но Терезы здесь нет. Да и как ей оказаться близ меня на кругу Елисейских полей? Там, у конца аллеи, рисуется на фоне неба гигантский пролет Триумфальной арки, хранящей внутри на сводах имена соратников дяди Виктора. Под вешним солнцем зазеленели на деревьях первые, еще бледные и зябкие листочки. Мимо меня мчатся коляски в Булонский лес. Гуляя, я дошел до этой людной аллеи и безотчетно стал перед ларьком, где продают пряники и прохладительные напитки в графинах, заткнутых лимонами. Мальчик-нищий, в рубище на исцарапанном, проглядывающем сквозь лохмотья теле, смотрит широко раскрытыми глазами на эти роскошные сласти, предназначенные не для него. Свое желанье он выражает с бесстыдством невинности. Круглые глаза его уставились на большого пряничного человечка. Это — генерал, слегка похожий на дядю Виктора. Я плачу деньги, беру его и подаю бедняжке, но он не смеет протянуть руку, наученный преждевременным опытом — не верить в счастье; он смотрит на меня с тем видом, какой бывает у больших собак, и словно говорит: «С вашей стороны жестоко смеяться надо мной».

— Ну, глупыш,— сказал я своим обычным ворчливым тоном,— бери, бери и ешь; ты счастливее, чем я был в твои годы; ты можешь следовать своим наклонностям, не нанося себе бесчестья.

А вы, дядя Виктор, вы, чей мужественный облик напомнил мне этот пряничный генерал, придите достославной тенью и научите, как мне забыть теперь мою другую куклу. Мы — вечные дети и вечно тянемся за новою игрушкой.

В тот же день.

В моем уме семейство Кокоз причудливейшим образом сочеталось с клириком Жаном Тумуйе.

— Вот что, Тереза,— начал я, бросаясь в свое кресло,— расскажите мне, здоров ли маленький Кокоз, прорезались ли у него первые зубки, и дайте мне туфли.

— Зубкам полагалось быть уже давно, но я их не видала. В первый погожий весенний день мать исчезла вместе с ребенком, бросив мебель и все пожитки. На чердаке после нее нашли тридцать восемь банок из-под помады. Ну мыслимое ли это дело! За последнее время у нее бывали посетители; и надо думать, что она сейчас не в девичьем монастыре. Племянница привратницы сказывала, что повстречалась с Кокозихой где-то на Бульварах, и та ехала в коляске. Говорила я вам, что кончит она плохо.

— Тереза, эта женщина не кончила ни хорошо, ни плохо. Чтобы судить о ней, дождитесь конца ее жизни. И не болтайте слишком много с привратницей. Госпожу Кокоз я встретил лишь однажды на лестнице, и мне казалось, что своего ребенка она очень любит. Эту любовь надо ей зачесть.

— Правда, по этой части малыш не был обижен. Во всем квартале не сыскать другого, чтобы так был откормлен, обряжен и ухожен. Каждый божий день она повязывает ему чистый нагрудничек и с утра до вечера поет ему песенки, а он смеется.

— Тереза, один поэт сказал: «Ребенок, не видевший улыбки матери, не достоин ни трапезы богов, ни ложа богинь».

8 июля 1863 года.

Узнав о ремонте каменного настила в часовне богоматери в Сен-Жермен-де-Пре, я отправился туда, надеясь разыскать какие-нибудь надписи, вскрытые рабочими. И не ошибся. Архитектор указал мне на могильный камень, отставленный к стене. Намереваясь разобрать высеченную на нем надпись, я опустился на колени и в сумраке древнего амво-

на прочел вполголоса слова, от которых усиленно забилось мое сердце:

Здесь покоится инок обители сей Жан Тумуйе,
сотворивший оклад серебряный на бороду
святого Винцента и святого Аманта
и на ноги младенцев, невинно убиенных.
При жизни был мужем честным и храбрым.
Творите молитву по душе его.

Я осторожно стер носовым платком пыль, покрывшую это надгробие; мне хотелось его поцеловать.

— Он, он, Жан Тумуйе! — воскликнул я.

И это имя, отпрянув от высоких сводов, с грохотом, точно разбившись, упало мне на голову.

Заметив немое степенное лицо привратника, поспешившего ко мне, я устыдился своего восторга и шмыгнул меж двух причетников, собиравшихся окропить меня святой водой.

А все же это мой Жан Тумуйе! Нет более сомненья: переводчик *Златой легенды*, автор житий святых Жермена, Винцента, Фереоля, Феруция и Дроктовея был, как я и предполагал, монахом в Сен-Жермен-де-Пре. И каким еще хорошим монахом — благочестивым и щедрым! Он обложил серебром подбородок, голову и ноги, чтобы защитить надежной оболочкой драгоценные останки. Но смогу ли я когда-нибудь ознакомиться с его твореньем, или суждено и этому открытию только умножить мои печали?

20 августа 1869 года.

«Я нравлюсь немногим, а испытываю всех, я — радость добрых и ужас злых, я, порождающий и разрушающий заблужденья, готов расправить свои крылья. Если в полете быстром несусь я над годами, не ставьте мне этого в вину».

Кто это говорит? Старик, чересчур мне знакомый,— Время.

Шекспир, закончив третье действие «Зимней сказки», останавливается, чтобы маленькая Пэрдита успела «взрасти и в мудрости и в красоте», и, открыв снова сцену, поручает древнему Косоносцу дать зрителям отчет о днях, так долго тяготевших над головой ревнивого Леонта.

Подобно Шекспиру, я в этом дневнике предал забвенью длинный промежуток жизни и, следуя примеру поэта, вызываю Время для объяснения пробела за шесть лет. В самом деле, вот уже шесть лет, как мной не вписано ни строчки в эту тетрадь, и теперь, когда я снова взялся за перо, мне, увы, не приходится описывать Пэрдиту, «в прелести возросшую».

Молодость и красота — верные подруги поэта. Эти чарующие виденья нас, грешных, посещают лишь изредка. Мы не умеем удержать их. Когда бы тень какой-нибудь Пэрдиты силою неизъяснимого каприза задумала проникнуть в мою голову, она жестоко бы ушиблась о кучу заскорузлых пергаментов. Счастливцы поэты! Их седина не устрашает колеблющиеся тени Елен, Франческ, Джульетт, Юлий и Доротей. А одного носа Сильвестра Бонара достаточно, чтобы весь рой великих возлюбленных пустился в бегство.

Однако же прекрасное я чувствовал, как и любой другой,— я все же испытал когда-то таинственные чары, какими наделила одушевленные созданья непостижимая природа: живая глина вызывала во мне трепет, который создает любовников и поэтов. Но ни любить, ни воспевать я не умел. В душе моей, загроможденной грудой старинных текстов и древних форм, я обретаю вновь, как миниатюру в чердачном хламе, ясное личико с глазами цвета барвинка... Бонар! Друг мой! Вы старый сумасброд! Лучше читайте каталог, присланный вам сегодня утром от флорентийского книгопродавца. Это каталог рукописей, и он сулит вам описанье нескольких вещей, достойных внимания и сохраненных итальянскими и сицилийскими любителями старины. Вот что приличествует вам и подходит к вашему обличью.

Читаю и вскрикиваю. Гамилькар, с годами приобретя пугающую меня степенность, взирает на меня с упреком и как бы задает вопрос — есть ли в этом мире покой, ежели нельзя вкушать его возле меня, такого же старика, как и он сам?

Радость моего открытия нуждается в наперснике, и с излияниями счастливого человека я обращаюсь к безмятежному Гамилькару:

— Нет, Гамилькар, нет, покой не от мира сего; и то спокойствие, какого вы жаждете, несовместимо с трудами жизни. И кто сказал вам, что мы стары? Послушайте, что я читаю в этом каталоге, а после скажете, время ль отдыхать:

«Златая легенда Иакова Ворагинского; французский перевод XIV века, сделанный клириком Жаном Тумуйе.

Превосходная рукопись, украшенная двумя миниатюрами, замечательной работы и отличной сохранности, изображающими: одна — Сретенье господне, другая — Венчанье Прозерпины.

Вслед за *Златой легендой* идут жития святых Фереоля, Феруция, Жермена, Дроктовея, XXVIII страниц, и Чудесное погребение святого Жермена Осерского, XII страниц.

Эта драгоценная рукопись, входившая в собрание сэра Томаса Ралея, теперь хранится в кабинете рукописей г-на Микеланджело Полицци, в Джирдженти».

Гамилькар, вы слышите? Рукопись Жана Тумуйе находится в Сицилии, у Микеланджело Полицци. О, если б этот человек любил ученых! Напишу ему.

Я это тотчас же и сделал. В письме я просил синьора Полицци предоставить мне рукопись клирика Тумуйе, сообщая, на каком основании решаюсь я считать себя достойным подобной благосклонности. Одновременно я предлагал в его распоряжение кое-какие неизданные тексты, принадлежащие мне и не лишенные интереса. Я умолял его ответить поскорее и под своей подписью привел весь перечень своих почетных званий.

— Барин! Барин! Куда вы так бежите? — кричала испуганная Тереза, стремглав спускаясь по лестнице с моею шляпою в руке.

— Несу письмо на почту, Тереза.

— Господи боже! Ну можно ли так убегать — без шляпы, словно помешанный!

— Да, Тереза, я помешался. Но кто же не помешан? Давайте скорее шляпу.

— А перчатки, барин? А зонтик?

Я уже был внизу, но все еще слышал ее оханье и крики.

10 октября 1869 года.

Я ждал ответа от синьора Микеланджело Полицци, плохо скрывая нетерпенье. Мне не сиделось на месте; у меня появились резкие движенья; я шумно раскрывал и захлопывал книги. Однажды мне случилось сбросить локтем том Морери. Гамилькар, в то время умывавшийся, сразу остановился, подняв над ухом лапу, и глянул на меня сердитым оком. Такой ли шумной жизни мог ожидать он под моей кровлей? Не существовало ли между нами безмолвного условия — жить в тишине? А я нарушил этот договор.

— Мой бедный друг,— ответил я ему,— я жертва своевольной страсти, обуревающей меня и мной руководящей. Страсти — враги покоя, я согласен; но без них в мире не было бы ни промышленности, ни искусств. Всяк дремал бы голый

на навозной куче, а ты, Гамилькар, не спал бы каждый день в обители книг, на шелковой подушке.

Я не мог далее развить перед Гамилькаром теорию страстей, ибо Тереза подала письмо. На нем был штемпель Неаполя, и оно гласило:

«Высокославный синьор!

Действительно, я владею несравненным манускриптом *Златой легенды*, не ускользнувшим от вашего просвещенного внимания. Важнейшие причины повелительно и тирански противятся тому, чтобы я расстался с ним хоть на единый день, хоть на единую минуту. Для меня будет великой радостью и честью предоставить его вам в моем джирджентском скромном доме, украшенном и озаренном вашим присутствием. В нетерпеливой надежде на ваше прибытие осмеливаюсь назвать себя вашим, господин академик, покорным и преданным слугой.

Микеланджело Полицци, виноторговец и археолог в Джирдженти (Сицилия)».

Ну что ж! Поеду в Сицилию:
Extremum hunc, Arethusa, mihi concede laborem [1].

25 октября 1869 года.

Я принял решение и приготовился к отъезду, оставалось лишь уведомить Терезу. Должен признаться, что я долго не решался объявить ей о моем отъезде. Я опасался ее насмешек, попреков, слез и увещаний. Я думал: «Она добрая старушка, ко мне привязана; она станет удерживать меня; а богу одному известно, что если ей чего захочется, то за словами, жестами и криком она не постоит. В данном случае на помощь будут призваны — привратница, матрасница, семь сыновей фруктовщика и полотер; все станут на колени в круг у ног моих, начнется плач; и это будет так безобразно, что я им уступлю, лишь бы их не видеть».

Вот те ужасные картины, те больные думы, какие вызвал страх в моем воображении. Да, страх, страх плодовитый, как говорит поэт, породил всех этих чудовищ в моем мозгу. На этих задушевных страницах говорю, как на духу: я боюсь своей домоправительницы. Я знаю, что ей известна моя слабость, и это лишает меня мужества при столкновеньях с нею.

---

[1] Дай мне теперь, Аретуза, труд мой исполнить конечный *(лат.)*.

А столкновенья эти очень часты, и в них я уступаю неизменно.

Но все же приходилось объявить Терезе о моем отъезде. Она вошла в библиотеку с охапкой дров, чтобы развести огонь,— «вздуть огонек», как говорит она,— ибо по утрам свежо. Я искоса рассматривал ее, пока она сидела на корточках, скрыв голову под колпаком камина. Не знаю, откуда появилась во мне храбрость, но я не колебался. Я встал и, прохаживаясь по комнате, произнес небрежно, с особою лихостью, присущей трусам:

— Да-а! Кстати... кстати, Тереза... я уезжаю в Сицилию...

Сказав, я выжидал в большой тревоге. Ответа не было. Голова Терезы и большой чепчик оставались по-прежнему в камине; я наблюдал за ней: ничто в ее особе не выдавало ни малейшего волненья. Она совала щепки под дрова, только и всего.

Наконец я снова увидел ее лицо: оно было спокойно,— так спокойно, что в душе я даже возмутился. «Истинно, нет сердца у этой старой девы,— подумал я.— Она предоставляет мне уехать, даже не воскликнув «ах!». Неужели для нее отъезд ее старого хозяина такая малость?»

— Ступайте,— сказала наконец она,— но возвращайтесь к шести. У нас к обеду кушанье, которое не может долго ждать.

Неаполь, 10 ноября 1869 года.

— Co tra calle vive, magne e lave a faccia.

— Понимаю, мой друг: «За три сантима напьешься, наешься и умоешься», и все это можно совершить любым арбузным ломтем с твоего лотка. Но западные предрассудки, пожалуй, не позволят мне вкушать с должной невинностью это простое чувственное удовольствие. Да и как я буду сосать арбуз? В этой толпе мне уж и так стоит немало труда держаться на ногах. Какая шумная и сияющая ночь в Санта-Лючии! В лавчонках, освещенных многоцветными фонариками, вздымаются горы фруктов. Прямо на открытом воздухе топятся плиты, в котлах кипит вода, на сковородках шипит сало. Запах жареной рыбы и горячего мяса щекочет мне ноздри, и поневоле я чихаю. Тут замечаю, что из кармана сюртука исчез мой носовой платок. Меня толкает, несет и вертит во все стороны народ, самый веселый, самый болтливый, самый живой и самый юркий, какой можно себе представить; вот молодая кумушка,— как раз в то время, когда я любовался ее великолепными черными волосами, она толчком упругого и мощного плеча отбро-

сила меня на три шага назад, но невредимым, и прямо в объятия любителя макарон, подхватившего меня с улыбкой.

Я в Неаполе. Как я сюда добрался с бесформенными и изуродованными остатками багажа, сказать я не могу по той причине, что и сам того не знаю. Я путешествовал все это время в каком-то испуге, и охотно верю, что в этом светлом городе у меня еще недавно был вид филина на солнце. Но нынче вечером дело обстоит гораздо хуже! Собираясь наблюдать народные нравы, я пошел на Strada di porto [1], где и нахожусь сейчас. Вокруг меня жизнерадостные люди теснятся кучками перед съестными лавками, и я колышусь, как обломок кораблекрушения, по воле этих живых волн, ласкающих даже тогда, когда они вас заливают. Ибо в живости неаполитанского народа есть что-то мягкое и ублажающее. Меня не толкают, меня укачивают; и эти люди, качая меня и так и сяк, достигнут, думается мне, того, что я засну в стоячем положении. Попирая плиты из лавы на Strada, я любуюсь грузчиками и рыбаками, которые ходят, говорят, поют, курят, жестикулируют с поразительной быстротой, бранятся и целуются. Они живут всеми чувствами одновременно и в безотчетной мудрости соразмеряют свои желанья с быстротечностью нашей жизни. Я подошел к бойко торгующему кабачку и над его дверью прочел следующее четверостишие на неаполитанском наречии:

Amice, alliegre magnammo e bevimmo
Nfin che n'ce stace noglio a la lucerna:
Chi sa s'a l'autro munno n'ce vedimmo?
Chi sa s'a l'autro munno n'ce taverna?
Ешь, пей, мой друг, и позабудь печали,
Покуда в лампе масло остается:
Мы на том свете свидимся едва ли,
Да и едва ль таверна там найдется.

Подобные советы давал своим друзьям и Гораций. Ты их воспринял, Постум; и ты вняла им, Левконоя, прекрасная мятежница, хотевшая проникнуть в тайны будущего. Теперь это будущее стало прошлым и нам известно. Воистину — ты мучила себя напрасно из-за такой малости, и друг твой оказался умным человеком, советуя тебе быть мудрой и цедить твои греческие вина: «Sapias, vina liques» [2]. Да и сама прекрасная страна и ясное небо располагают к спокойным вожделениям. Но бывают души, терзаемые возвышенной неудовлетво-

---

[1] Портовая набережная *(итал.)*.
[2] Будь же мудра, вина цеди *(лат.)*.

ренностью: то наиболее благородные. Ты, Левконоя, была из их числа; и я, на склоне дней своих прибыв в тот город, где сияла твоя краса, почтительно приветствую твою меланхолическую тень. Души, подобные твоей, при христианстве стали святыми, и *Златая легенда* полна их чудесами. Твой друг Гораций оставил потомство менее благородное, и одного из его правнуков я вижу в этом кабатчике-поэте, который разливает вино в чаши под своей эпикурейской вывеской.

А все-таки жизнь доказывает правоту твоего друга Флакка, и философия его одна сообразуется с ходом вещей. Взгляните-ка на этого парня,— он прислонился к решетке, увитой виноградом, глядит на звезды и ест мороженое. Он не нагнулся бы поднять ту старую рукопись, которую я ищу с такими трудностями. Воистину человек, скорее, создан, чтобы есть мороженое, нежели копаться в древних текстах.

Я продолжал бродить среди пьющих и поющих. Встречались и влюбленные: обнявшись за талию, они ели красивые плоды. Очевидно, человек не добр от природы, ибо вся эта чужая радость вызывала во мне большую грусть. Толпа так простодушно и открыто вкушала жизнь, что свойственная мне, старому писаке, стыдливость приходила в трепет. К тому же я был в отчаянье, не понимая слов, звучавших вокруг меня. Для филолога это унизительное испытание. Итак, я находился в полном унынии, как вдруг слова, произнесенные за моей спиной, привлекли мое внимание.

— Димитрий, этот старик, наверное, француз. Мне его жаль, он такой растерянный. Поговорите с ним. У него добрая сутулая спина, не правда ли, Димитрий?

Какой-то женский голос произнес все это по-французски. Прежде всего мне было неприятно слышать, что я старик. Разве в шестьдесят два года бывают стариками? Не так давно на мосту Искусств коллега мой Перро д'Авриньяк сделал мне комплимент по поводу моей моложавости, а в возрастах он понимает, вероятно, лучше, чем эта молоденькая пеночка, поющая о моей спине, если только пеночки поют и по ночам. У меня сутулая спина, она сказала! Да! Да! Кое-что об этом я подозревал, но больше этому не верю, раз это мнение какой-то там пичужки. Я, разумеется, не поверну и головы, чтобы взглянуть на говорившую, хотя уверен, что эта женщина красива. Почему?

Да потому, что только голос женщин, которые красивы или были красивыми, нравятся или нравились, может иметь столько приятных модуляций и серебристое звучанье, где слышится и смех. Из уст дурнушки польется речь, быть может, мелодичнее

и слаще, но, конечно, не столь звучная и без такого милого журчанья.

Эти мысли возникли у меня меньше, чем в секунду, и тотчас же, убегая от этих незнакомцев, я бросился в самую гущу неаполитанской толпы, а из нее шмыгнул в извилистый vicoletto [1], освещенный лишь лампадкой перед Мадонною в нише. Тут, лучше поразмыслив на досуге, я осознал, что та красивая дама (она, наверное, была красива) высказала обо мне благожелательное мнение, и оно заслуживало моей признательности.

«Димитрий, этот старик, наверное, француз. Мне его жаль, он такой растерянный. Поговорите с ним! У него добрая сутулая спина, не правда ли, Димитрий?»

От этих милых слов не подобало мне пускаться в бегство. Скорее, надлежало учтиво подойти к звонкоречивой даме, склониться перед ней и молвить так: «Сударыня, помимо своей воли, я слышал сказанное вами. Вы желали оказать услугу бедному старику. Она уже оказана: само звучание французской речи мне доставляет наслажденье, за что и приношу вам благодарность». Конечно, мне следовало обратиться к ней с такими или подобными словами. Несомненно она француженка, потому что самый звук голоса у ней французский. Голос французских женщин самый приятный в мире. Он пленяет иностранцев не менее, чем нас. В 1483 году Филипп Бергамский сказал об Орлеанской деве: «Речь ее была нежна, как речь ее землячек». Спутника ее зовут Димитрием; он несомненно русский. Это богатые люди, влачащие по свету свою скуку. Богатых приходится жалеть: блага жизни их только окружают, но не затрагивают их глубоко,— внутри себя они бедны и наги. Нищета богатых достойна жалости.

К концу этих размышлений я очутился в проходе, или, выражаясь по-неаполитански, в sotto portico, шедшем под таким множеством арок и далеко выступающих балконов, что никакой свет с неба туда не проникал. Я заблудился и, по-видимому, был обречен всю ночь разыскивать дорогу. Чтобы спросить о ней, надо было встретить хоть одну живую душу, а я отчаялся кого-либо увидеть. С отчаянья свернул я наудачу в улицу или, вернее говоря, в ужасающую трущобу. Такой она была на вид, такой и оказалась, ибо, войдя туда, я через несколько минут увидел двух мужчин, пустивших в ход ножи. Нападение они вели больше языком, нежели клинком, и по их ругани между собой я понял, что это соперники в любви. Пока эти милые

---

[1] Переулочек *(итал.)*.

люди занимались своим делом, меньше всего в мире помышляя обо мне, я благоразумно свернул в соседнюю уличку. Некоторое время брел я наобум и, наконец, в унынии уселся на какую-то каменную скамейку, досадуя на себя за то, что столь нелепо по таким закоулкам бежал я от Димитрия и его звонкоречивой спутницы.

— Здравствуйте, синьор. Вы из Сан-Карло? Слышали диву? Так поют только в Неаполе.

Я поднял голову и узнал своего хозяина. А сидел я у фасада гостиницы, под собственным окном.

Монте-Аллегро, 30 ноября 1869 года.

Я, мои проводники и мулы отдыхали по дороге из Шьякки на Джирдженти в трактире бедной деревеньки Монте-Аллегро, жители которой, изнуренные малярией, дрожали на солнце от озноба. Но это всё еще греки, и жизнерадостность их противостоит всему. Некоторые из них с веселым любопытством толпились около трактира. Какой-нибудь рассказ, сумей я передать его, отвлек бы их от бедствий жизни. Вид у них смышленый, а женщины, увядшие и загорелые, изящно носят длинный черный плащ.

Вдали перед собой я вижу изъеденные морским ветром развалины, где не растет даже трава. Сумрачная грусть пустыни царит на этой чахлой земле, с трудом питающей своей растрескавшейся грудью несколько кактусов, ободранных мимоз и карликовых пальм. В двадцати шагах от меня по рытвине белеют камни, точно дорожка из рассыпанных костей. Проводник мне объяснил, что это был ручей.

Уже две недели, как я в Сицилии. Приплыв в Палермскую бухту, которая открылась с моря между двумя голыми могучими массивами — Пеллегрино и Кательфано, а дальше выгнулась вдоль «Золотой раковины», поросшей миртами и апельсинными деревьями, я так был восхищен всем этим видом, что решил побывать на острове, столь благородном по своим преданиям и столь красивом очертаньями своих холмов. Я, старый, поседелый на варварском Западе пилигрим, отважился ступить на эту классическую землю и, подрядив себе проводника, выехал из Палермо в Трапани, из Трапани в Селинонте, из Селинонте в Шьякку, которую покинул сегодня утром, направляясь в Джирдженти, где должен найти рукопись Жана Тумуйе. Красоты, виденные мною, настолько свежи в моей памяти, что старанье описать их считаю напрасным трудом. К чему мне

портить путешествие нагромождением заметок? Любовники, любящие истинной любовью, не описывают своего счастья.

Отдаваясь грусти настоящего и поэзии былого, под обаяньем прекрасных образов в душе и гармоничных, чистых линий перед глазами, я пил в трактире Монте-Аллегро густую влагу крепкого вина, как вдруг увидел, что в залу входит молодая красивая женщина в соломенной шляпке и в платье из небеленого фуляра. У нее темные волосы и черные блестящие глаза. По походке я признал в ней парижанку. Она села. Хозяин поставил перед ней стакан холодной воды и положил букет из роз. Когда она вошла, я встал, из скромности немного отдалился от стола и сделал вид, что разглядываю благочестивые картинки на стенах. В это время я хорошо заметил, как она, посмотрев на мою спину, выразила легким жестом изумление. Я подошел к окну и стал глядеть на расписные одноколки, проезжавшие по каменистой дороге, окаймленной кактусами и берберийскими смоковницами.

Пока она пила ледяную воду, я смотрел на небо. В Сицилии испытываешь неизъяснимое наслаждение, когда пьешь холодную воду и вдыхаешь дневной свет. Я тихо прошептал стихи афинского поэта:

О свет божественный,
Златого дня сияющее око.

Между тем дама-француженка разглядывала меня с особым любопытством, и я, хотя не позволял себе смотреть на нее более, чем допускало приличие, все же чувствовал на себе ее глаза. По-видимому, у меня есть дар угадывать направленные на меня взоры, даже когда они и не встречаются с моими. Многие считают себя обладателями этой таинственной способности; на самом деле тут нет ничего таинственного, а нам об этом говорит какой-нибудь признак, почти ускользающий от нас,— настолько он неуловим. Вполне возможно, что отраженье глаз красивой дамы я видел на оконных стеклах.

Когда я повернулся к ней, взгляды наши встретились.

Черная курица пришла поклевать в плохо подметенной комнате.

— Ты хочешь хлеба, колдунья,— сказала молодая дама, бросая ей крошки со стола.

Я узнал голос, который слышал ночью в Санта-Лючии.

— Простите, сударыня,— сказал я тотчас же.— Хотя мы с вами незнакомы, но я обязан выполнить свой долг, поблагодарив вас за вашу заботливость о старике-соотечественнике, блуждавшем в поздний час по улицам Неаполя.

— Вы узнаете меня,— ответила она.— Я вас узнала тоже.

— По спине?

— А! Вы слышали, как я сказала мужу, что у вас добрая спина. В этом нет ничего обидного. Мне будет очень жаль, если я огорчила вас.

— Наоборот, сударыня, вы мне польстили. И ваше наблюдение, по крайней мере в своей основе, мне кажется и справедливым и глубоким. Выражение бывает разное не только в чертах лица. Есть руки умные и руки, лишенные воображения. Есть лицемерные колени, эгоистические локти, плечи наглые и спины добрые.

— Верно,— сказала она.— Но я узнала вас и по лицу. Мы уже встречались, не знаю только где — в Италии или в других местах. Мы с князем много путешествуем.

— Не думаю, чтобы я имел счастливый случай встретить вас. Я старый отшельник. Всю жизнь провел за книгами и мало путешествовал. Вы это видели по моей растерянности, возбудившей ваше сочувствие. Я сожалею, что вел сидячую и замкнутую жизнь. Несомненно, кое-чему учишься из книг, но, странствуя, научаешься гораздо большему.

— Вы парижанин?

— Да, сударыня. Вот уже сорок лет, как я живу почти безвыездно в одном и том же доме. Правда, этот дом стоит на берегу Сены, на месте, самом знаменитом и самом красивом в мире. Из моего окна видны Тюильри и Лувр, башни собора Богоматери и Новый мост, башенки Дворца правосудия и стрелка Сент-Шапель. Все эти камни говорят: они рассказывают мне чудесную историю Франции.

Эти сведения, видимо, приятно удивили молодую женщину.

— Вы живете на набережной? — оживленно спросила она.

— На набережной Малакэ, в четвертом этаже, в доме торговца гравюрами. Меня зовут Сильвестр Бонар. Имя мало кому известное, но оно принадлежит члену Академии, и с меня довольно, что мои друзья его не забывают.

Она взглянула на меня с особым выраженьем изумления, симпатии, умиленности и грусти, но я не понимал, чем мог такой простой рассказ вызвать столь разные и столь живые чувства.

Я ждал, не объяснит ли мне она причину этого, но в залу вошел колосс, печальный, кроткий, молчаливый.

— Мой муж, князь Трепов,— представила она его. И, указав ему на меня, сказала: — Господин Сильвестр Бонар, член Французской академии.

Князь поклонился, чуть поведя плечами. Плечи у него были высокие, широкие и мрачные.

— Друг мой, я огорчен, что прерываю ваш разговор с академиком Бонаром,— сказал он,— но повозка готова, и нам необходимо поспеть в Мелло засветло.

Она встала, взяла розы, поднесенные хозяином, и вышла из трактира. Я последовал за нею, князь в это время присматривал за упряжкой мулов и пробовал, надежны ли подпруги и ремни. Остановившись под навесом из виноградных лоз, она сказала мне с улыбкой:

— Мы едем в Мелло; это отвратительная деревушка в шести милях от Джирдженти, и вам никогда не догадаться, зачем мы туда едем. Не пытайтесь. Мы едем за спичечным коробком. Димитрий собирает спичечные коробки́. Он перепробовал все виды коллекций: собачьи ошейники, форменные пуговицы, почтовые марки. Но теперь его интересуют только спичечные коробки — картонные коробочки с хромолитографиями. Мы уже собрали пять тысяч двести четырнадцать различных образцов. Найти некоторые из них нам стоило огромного труда. Так, например, мы знали, что в Неаполе выделывались коробки с портретами Гарибальди и Мадзини, но эти коробки полиция изъяла, а фабриканта посадили в тюрьму. Благодаря усиленным расспросам и розыскам мы нашли такую коробочку у одного крестьянина, который продал нам ее за сто лир и донес на нас полиции. Сбиры осмотрели наш багаж. Коробочки они там не нашли, но драгоценности мои забрали. С той поры и у меня явился интерес к этой коллекции. Чтобы ее пополнить, мы летом едем в Швецию.

Я испытывал (следует ли говорить об этом?) какую-то сочувственную жалость к этим упорным коллекционерам. Я бы, конечно, предпочел, чтобы супруги Треповы собирали в Сицилии античные мраморы, расписные сосуды или же медали. Мне бы хотелось, чтобы у них был интерес к развалинам Агригента и поэтическим преданиям Эрикса. Но в конце концов они составляли коллекцию, они были моими собратьями, и мог ли я подсмеиваться над ними, не осмеивая слегка и самого себя?

— Теперь вы знаете,— добавила она,— зачем мы путешествуем по этой ужасной стране.

От такого эпитета моя симпатия угасла, я даже почувствовал негодованье.

— Эта страна не ужасна, сударыня,— ответил я.— Эта земля — земля славы. Красота нечто столь благородное, столь величественное, что векам варварства не удается истребить ее

совсем — чтоб не осталось от нее следов, достойных преклонения. Величие античной Цереры еще реет над этими бесплодными холмами, и греческая Муза, огласившая своим божественным стихом Менал и Аретузу, еще поет мне здесь — на оголенной горе и в этом высохшем ручье. Да, сударыня, в последние времена земли, когда наш шар, необитаемый, подобно теперешней Луне, покатится в пространстве бледным трупом, Земля, несущая развалины Селинунта, сохранит, среди всеобщей смерти, остатки красоты, и тогда по крайности, тогда не будет празднословных уст, хулящих это одинокое величие.

Едва успев произнести эти слова, я почувствовал их глупость. «Бонар,— сказал себе я,— ты старый человек, изживший жизнь над книгами, ты не умеешь разговаривать с женщинами». По счастью для меня, все это рассуждение было понятно княгине Треповой не более, чем греческий язык.

Она мне ласково ответила:

— Димитрию скучно, и мне скучно. У нас есть спичечные коробки! Но и спичечные коробки надоедают. Когда-то у меня бывали горести, и тогда я не скучала; горести — это большое отвлечение.

Смягчившись перед духовной нищетой этой красивой женщины, я сказал:

— Мне жаль, что у вас нет ребенка, сударыня. Будь он у вас, была бы у вас цель жизни, ваши мысли стали бы серьезней и в то же время утешительней.

— У меня есть сын,— ответила она.— Мой Жорж большой, почти мужчина: ему уж восемь лет! Я люблю его не меньше, чем когда он был еще малюткой, но это все уже не то.

Она дала мне розу из своего букета, улыбнулась и сказала, садясь в повозку:

— Вы не можете себе представить, господин Бонар, как я рада, что встретилась с вами. Надеюсь, мы увидимся в Джирдженти.

Джирдженти, в тот же день.

Я устроился, как мог, в моей lettica. Lettica — повозка без колес, или, если угодно, носилки, стул, который несут два мула, один впереди, другой сзади. Способ старинный. Изображение таких носилок мне попадалось в рукописях XIV века. Тогда мне в голову не приходило, что когда-нибудь подобные носилки понесут меня из Монте-Аллегро в Джирдженти. Нельзя ручаться ни за что.

В течение трех часов мулы позванивали колокольчиками и постукивали копытами об известковую землю. Тем временем, пока в просветах живых изгородей из алоэ по обе стороны дороги медлительно тянулись пустынные виды, напоминавшие Африку, я мечтал о рукописи клирика Жана Тумуйе и жаждал ее с простодушной горячностью, умилявшей меня самого,— так много детской невинности и трогательного ребячества я находил в этом желании.

Запах розы, сильнее ощутимый к вечеру, напомнил мне о княгине Треповой. На небе засияла Венера. Я мечтал. Княгиня Трепова — женщина красивая, крайне простая и очень близкая к природе. У ней кошачьи понятия. Я не заметил в ней и признака какой-нибудь благородной любознательности, которая так волнует мыслящие души. И тем не менее она по-своему выразила глубокую мысль: «Когда есть горести, то не скучаешь». Значит, ей известно, что в этом мире самым надежным развлеченьем являются для нас тревоги и страдание. Великих истин не открывают без горя и труда. Через какие ж испытания дошла княгиня Трепова до этой истины?

Джирдженти, 1 декабря 1869 года.

Наутро я проснулся в Джирдженти, у Гелианта. Гелиант был некогда богатым гражданином в древнем Агригенте. Он славился щедростью, как и роскошью, и наделил родной город большим количеством даровых гостиниц. Гелиант умер тысяча триста лет тому назад, а теперь среди цивилизованных народов не существует дарового странноприимства. Но имя Гелианта стало названием гостиницы, где удалось мне благодаря усталости проспать всю ночь.

Современный Джирдженти построил над Акрополем античного Агригента небольшие и тесно сдвинутые домики, а среди них высится мрачный испанский собор. Из окна мне виден на половине склона к морю белый ряд полуразрушенных храмов. Лишь в этих развалинах есть некоторая жизненность. Все остальное — пустынно. Вода и жизнь покинули Агригент. Вода, божественная Нестис агригентца Эмпедокла, так необходима живому существу, что вдали от рек и родников нет жизни. Но порт Джирдженти, находящийся от города в трех километрах, ведет большую торговлю. «Итак,— думал я,— в этом-то угрюмом городе, на этой крутой скале находится рукопись клирика Жана Тумуйе». Я попросил указать мне дом синьора Микеланджело Полицци и направился туда.

Синьора Полицци я застал в то время, когда он, с головы до ног одетый во все желтое, варил в сотейнике сосиски. Увидав меня, он выпустил ручку сотейника, поднял руки вверх и вскрикнул от восторга. Угреватое лицо, нос горбом, выдающийся подбородок и круглые глаза придавали этому маленькому человечку необычайно выразительный облик.

Он назвал меня превосходительством, сказал, что этот день отметит белым камешком, и усадил меня на стул. Комната, где мы находились, служила одновременно кухней, гостиной, спальней, мастерской и кладовой. Тут были горны, кровать, холсты, мольберт, бутылки и красный перец. Я взглянул на картины, развешанные по стенам.

— Искусство! Искусство! — воскликнул синьор Полицци, снова воздевая руки к небу.— Искусство! Какое величие! Какое утешение! Я живописец, ваше превосходительство!

И показал мне незаконченного святого Франциска, который мог бы таким же и остаться без всякого ущерба для искусства и религии. Затем пришлось мне осмотреть несколько старинных картин получше, но реставрированных, как мне казалось, довольно грубо.

— Я восстанавливаю старинные картины,— сказал он мне.— О! Старые мастера! Какая душа! Какой гений!

— Значит, это верно: вы одновременно и антиквар, и живописец и торговец винами? — спросил я.

— И весь к услугам вашего превосходительства. Сейчас у меня есть такое zucco [1], что каждая его капля — пламенная жемчужина. Я хочу угостить им вашу милость.

— Я ценю сицилийские вина, но посетил вас, синьор Полицци, не ради бутылок.

Он: Значит, ради картин. Вы любитель. Для меня огромная радость принимать любителей живописи. Сейчас я покажу вам шедевр Монреалезе; да, ваше превосходительство, его шедевр: «Поклонение пастухов»! Жемчужина сицилийской школы!

Я: С удовольствием посмотрю на это произведение, но сначала поговорим о том, что привело меня сюда.

Его бегающие глазки с любопытством остановились на мне, и я, не без щемящей тоски в сердце, заметил, что о цели моего прихода он даже и не подозревает.

---

[1] Дзукко, сорт вина *(итал.)*.

Сильно волнуясь и чувствуя, как лоб мой покрывается холодным потом, я жалко промямлил нечто в таком роде:

— Я нарочно приехал из Парижа, чтобы ознакомиться с рукописью *Златой легенды,* принадлежащей, как вы писали, вам.

При этих словах он поднял руки вверх, непомерно раскрыл рот и глаза и выказал признаки сильнейшего волнения.

— О! Рукопись *Златой легенды!* Жемчужина, ваше превосходительство, рубин, алмаз! Две миниатюры такого совершенства, что открывают перед вами рай. Какая нежность! А краски, похищенные с венчика цветов, ведь это мед для глаз! Сам Джулио Кловио не создавал лучшего!

— Покажите мне ее,— сказал я, не имея силы таить свою тревогу и надежду.

— Показать! — воскликнул Полицци.— Как же я покажу ее, ваше превосходительство? Ее у меня уже нет. Уже нет!

Казалось, он готов был рвать на себе волосы. Если бы он выдергал их все, я бы не помешал. Но он остановился сам, не причинив себе ни малейшего вреда.

— Как? — сказал я в гневе.— Как? Вы заставили меня приехать в Джирдженти из Парижа, чтобы показать мне рукопись, а когда я приезжаю, вы говорите, что ее у вас нет. Это возмутительно! Предоставляю всем честным людям судить о вашем поведении.

Кто бы увидал меня тогда, имел бы довольно точное представленье о взбесившемся баране.

— Это возмутительно! Возмутительно! — повторял я, протягивая вперед дрожащие руки.

Микеланджело Полицци опустился на стул, приняв позу умирающего героя. Я видел, как глаза его наполнились слезами, а волосы, до той поры стремившиеся ввысь, беспорядочно поникли на лоб.

— Я отец, ваше превосходительство, отец! — воскликнул он, сжимая руки.

И сквозь рыдания добавил:

— Рафаэлло — мой сын, сын моей жены, смерть которой я оплакиваю пятнадцать лет,— Рафаэлло, ваше превосходительство, хотел устроиться в Париже; он снял там лавку на улице Лафит, чтобы торговать старинными вещами. Я отдал ему все ценное, что было у меня,— я отдал лучшие свои майолики, лучшие урбинские фаянсы, картины мастеров — и какие картины, синьор! Я ими ослеплен даже теперь, когда вижу их только в воображенье! Все подписные! Напоследок я дал ему рукопись

Златой легенды. Я отдал бы ему и плоть и кровь свою. Единственный сын! Сын моей святой жены!

— Итак, когда я ехал в глубь Сицилии за рукописью Жана Тумуйе, полагаясь на ваше слово, эта рукопись лежала в витрине на улице Лафит, в полутора километрах от моего дома!

— Она была там, святая истина! — ответил мне Полицци, вдруг просветлев.— И там находится еще и сейчас, ваше превосходительство, по крайней мере я так думаю.

Он взял со стола карточку и, подавая мне, сказал:

— Вот адрес моего сына. Ознакомьте с ним ваших друзей, и вы премного обяжете меня. Фаянс, эмали, картины, ткани — полный выбор художественно-бытовых вещей, вся roba и, клянусь честью, все — старинное. Зайдите к нему: он вам покажет рукопись *Златой легенды.* Две миниатюры чудесной сохранности!

По малодушию я взял протянутую мне карточку.

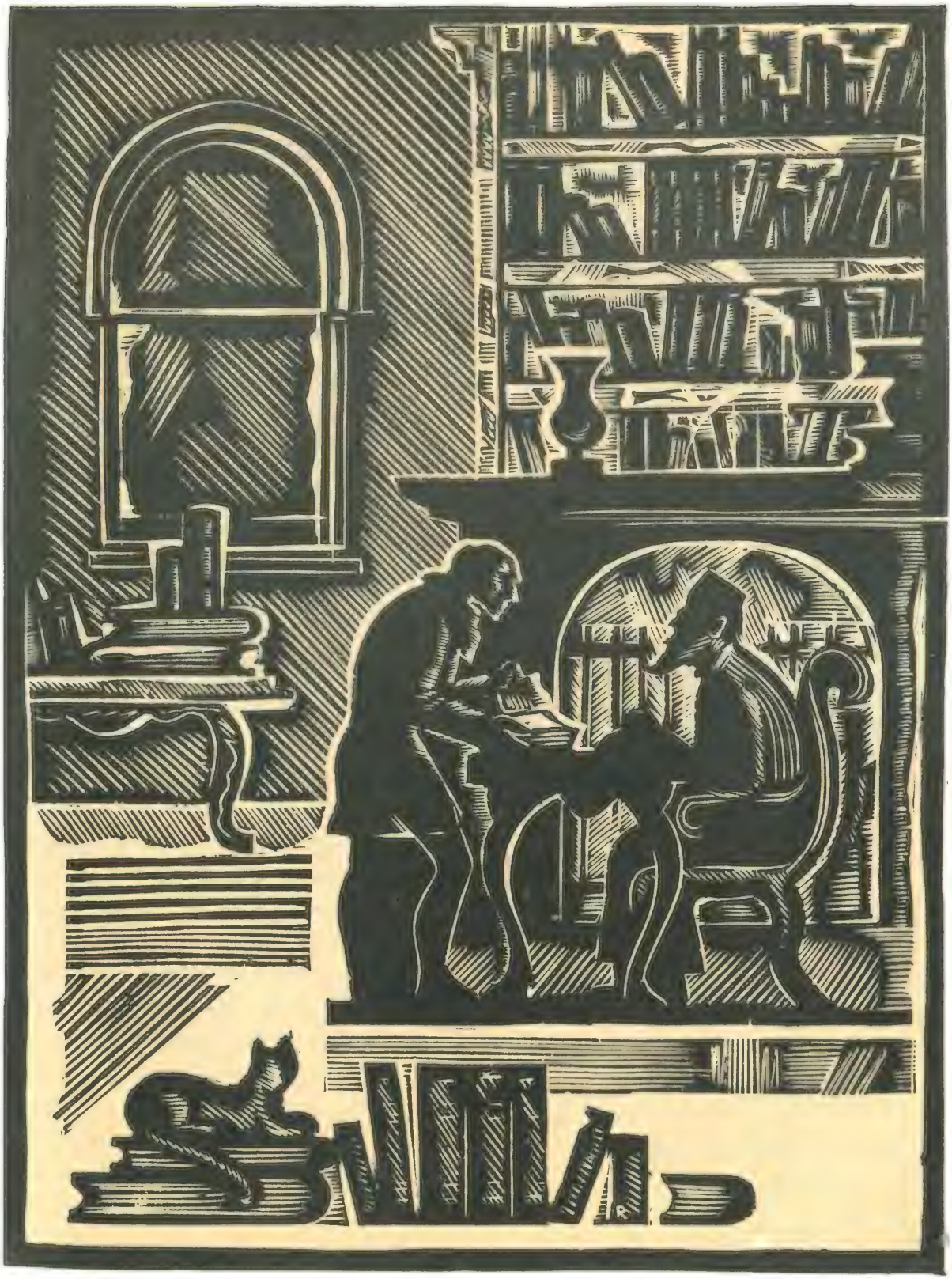
Этот человек злоупотребил моей слабостью, вторично предложив мне ознакомить общество с именем Рафаэлло Полицци.

Я уже коснулся дверной ручки, как мой сицилианец схватил меня за локоть. Вид у него был вдохновенный.

— Ах, ваше превосходительство! — сказал он.— Наш город — что это за город! Он породил Эмпедокла. Эмпедокл! Какой великий человек, какой великий гражданин! Какая смелость мысли, какая доблесть! Какая душа! Там, над портом, есть статуя Эмпедокла, перед которой я снимаю шляпу всякий раз как прохожу. Когда же сын мой Рафаэлло уезжал в Париж, чтобы открыть антикварный магазин на улице Лафит, я проводил его до порта и у подножия статуи Эмпедокла дал ему отцовское благословение. «Помни Эмпедокла!» — сказал я. Ах, синьор, как нужен теперь нашему злосчастному отечеству новый Эмпедокл! Хотите, ваше превосходительство, я провожу вас к статуе? Я буду вашим гидом при осмотре развалин. Я покажу вам храм Кастора и Поллукса, храм Олимпийского Юпитера, храм Юноны Лукинийской, античный колодец, могилу Феронта и Золотые ворота. Все гиды путешественников — ослы. Я хороший гид; не желаете ли вместе со мной заняться раскопками? И мы откроем сокровища. У меня есть уменье, настоящий дар раскапывать! Я открываю шедевры в отвалах рудников — там, где ученые не находили ничего.

Наконец мне удалось освободиться от него. Он побежал за мной по лестнице, остановил внизу и шепнул:

— Ваше превосходительство, послушайте: я сведу вас в город, я покажу вам наших джирджентинок! Сицилианки,



«Преступление Сильвестра Бонара»

синьор,— это античная красота! Хотите, я предоставлю вам крестьяночек?

— Подите вы к черту! — крикнул я в негодовании.

Я выбежал на улицу, он же остался у порога и развел руками.

Когда я был уже вне поля его зрения, я в изнеможении сел на камень и, охватив руками голову, стал размышлять.

«Для того ли,— думал я,— для того ли приехал я в Сицилию, чтобы выслушивать такие предложения?»

Полицци, разумеется, мошенник, сын его — такой же. Но что они замыслили? Я этого не мог распутать. Пока же чувствовал себя униженным и сокрушенным.

Услышав легкий шаг и шелест платья, я поднял глаза и увидел княгиню Трепову, идущую ко мне. Она мне не дала подняться с камня и, взяв мою руку, ласково сказала:

— Я вас искала, господин Бонар. Какая радость, что я вас встретила. Мне хочется, чтобы у вас осталось приятное воспоминание о нашей встрече. Правда, мне так бы этого хотелось!

Когда она произнесла это, мне померещилось, что под ее вуалью мелькнула улыбка и слеза.

Князь тоже подошел, накрыв нас своей огромной тенью.

— Покажите, Димитрий, покажите господину Бонару вашу драгоценную добычу.

И покорный гигант протянул мне коробок от спичек, безобразный картонный коробок, украшенный сине-красной головой — судя по надписи, головою Эмпедокла.

— Вижу, сударыня, вижу. Но мерзостный Полицци — не советую вам посылать к нему господина Трепова — навек меня поссорил с Эмпедоклом, а портрет не того сорта, чтобы этот древний философ стал мне любезней.

— Коробок некрасивый,— промолвила она,— но редкий. Таких не найти. Приходится их покупать на месте. В семь часов утра Димитрий был уже на фабрике. Как видите, мы не теряли даром времени.

— Конечно, вижу,— ответил я с досадой,— зато я потерял время и не нашел того, за чем приехал в такую даль.

Видимо, она заинтересовалась моей неудачей.

— У вас какая-нибудь неприятность? — спросила она с участием.— Не могу ли я помочь вам? Быть может, вы поделитесь со мною вашим горем?

Я стал рассказывать. Мое повествование было длинно, но, видимо, тронуло ее, ибо вслед за ним она мне задала ряд мелких вопросов, воспринятых мной как доказательство ее боль-

шого интереса. Ей захотелось знать точное заглавие рукописи, внешний вид ее, формат и век; она спросила адрес Рафаэлло Полицци.

Я дал его, исполнив этим (о судьба!) то самое, о чем просил меня мерзкий Микеланджело Полицци.

Иной раз трудно бывает остановиться. Я начал снова жаловаться и проклинать судьбу. На этот раз княгиня Трепова только засмеялась.

— Почему вы смеетесь? — спросил я.

— Потому что я злая женщина.

И, вспорхнув, оставила меня на камне, смятенного и одинокого.

Париж, 8 декабря 1869 года.

Мои нераспакованные чемоданы еще загромождали всю столовую. Я сидел за столом, уставленным теми вкусными вещами, какие производит французская страна для любителей покушать. Я ел шартрский паштет,— а одного его достаточно, чтобы любить отечество. Тереза, став против меня и сложив руки на белом фартуке, глядела на меня с благоволеньем, тревогой и жалостью. Гамилькар терся о мои ноги, от радости пуская слюни.

Мне пришел на память стих старого поэта:

Блажен, кто, как Улисс, прекрасный путь окончил.

«Ну что ж,— мне думалось,— я прогулялся зря и возвращаюсь с пустыми руками; но так же, как Улисс, я совершил прекрасный путь».

Выпив последний глоток кофе, я попросил у Терезы мою палку и шляпу, которые она дала мне недоверчиво: она боялась, что я опять уеду. Я успокоил ее, распорядившись, чтобы обед был приготовлен к шести часам.

Идти куда глаза глядят по улицам Парижа, где я благоговейно люблю все мостовые и каждый камень,— одно уж это большое удовольствие. Но у меня имелась цель, и шел я прямиком на улицу Лафит. Я не замедлил найти там лавку Рафаэлло Полицци. Она выделялась множеством старинных картин, подписанных художниками неравного значения, но, несмотря на это, имевших нечто родственное между собою, что наводило бы на мысль о трогательном братстве дарований, когда бы не свидетельствовало о проделках кисти Полицци-старшего. Лавку, полную этих сомнительных шедевров, оживляли мелкие предметы старины: кинжалы, кубки, кувшины, медное худо-

жественное литье, испано-арабские блюда с металлическим отсветом и терракотовые вазы.

На португальском кресле из тисненной гербами кожи лежал экземпляр часослова Симона Вотра, открытый на листе с астрологическим рисунком; старик Витрувий раскрыл на сундуке свои мастерские гравюры кариатид и теламонов. Весь этот кажущийся беспорядок, таивший нарочитое распределенье, этот мнимый случай, разбросавший вещи, чтобы подать их в благоприятном свете, могли бы увеличить недоверие мое, но сама фамилия — Полицци — внушала мне такое недоверие, что, будучи безграничным, оно не могло уже расти.

Синьор Рафаэлло, представлявший как бы единую душу всех этих противоречивых и несвязанных форм, показался мне флегматичным молодым человеком, чем-то вроде англичанина. Он ни в коей мере не выказывал тех исключительных способностей по части мимики и декламации, какие проявлял его отец.

Я объяснил, что привело меня к нему; он отпер шкаф, вынул оттуда рукопись и положил на стол, где я мог исследовать ее, как мне угодно.

Никогда в жизни я так не волновался, если не считать нескольких месяцев из моей юности, воспоминание о коих, живи я хоть сто лет, останется в душе моей до самого последнего мгновенья таким же свежим, как и в первый день.

Да! Это была рукопись, описанная библиотекарем сэра Томаса Ралея. Да, рукопись клирика Жана Тумуйе! Ее я видел, осязал! Сочинение самого Иакова Ворагинского было значительно сокращено, но это мало меня трогало. Неоценимые добавления монаха из Сен-Жермен-де-Пре были налицо. А это главное! Мне захотелось прочесть житие святого Дроктовея,— я не мог: я читал все строчки сразу, и в голове моей шумело, как на водяной мельнице в деревне ночью. Однако я установил, что написанье букв рукописи является неоспоримо подлинным. Два изображения — Сретенья господня и Венчанья Прозерпины — отличались грубостью рисунка и крикливостью тонов. Сильно попорченные в 1824 году, как то свидетельствует каталог сэра Томаса, они с тех пор вновь приобрели свежесть. Это чудо меня не поразило. Впрочем, какое мне было дело до двух миниатюр! Жития и поэма Жана Тумуйе — вот где сокровище. Из него я черпал взглядом все, что могли уловить мои глаза.

Приняв равнодушный вид, я спросил у синьора Рафаэлло о цене рукописи и в ожидании ответа молил небо, чтобы цена ее не превзошла моих сбережений, сильно пострадавших от дорого стоившего путешествия. Синьор Полицци ответил мне, что этой

вещью он располагать не может, так как она больше не его, а назначена к продаже с аукциона в Доме торгов вместе с другими рукописями и несколькими инкунабулами.

То был жестокий для меня удар. Я сделал усилие, чтобы прийти в себя, и смог ответить нечто вроде следующего:

— Вы удивляете меня. Ваш отец, которого я видел не так давно в Джирдженти, меня уверил, что вы являетесь владельцем этой рукописи. Не вам давать мне повод сомневаться в словах вашего отца.

— Действительно, я владел ею,— ответил совершенно просто Рафаэлло,— но я больше не владею. Эту драгоценную рукопись я продал одному любителю, не разрешившему мне называть его фамилию, а теперь, по причинам, тоже не допускающим огласки, он вынужден продать свое собрание. Почтив меня своим доверием, он поручил мне составить каталог и руководить продажей, имеющей быть двадцать четвертого декабря сего года. Если вы соблаговолите дать мне свой адрес, я буду иметь честь послать вам каталог, находящийся в печати, и описание *Златой легенды* вы найдете в нем под номером сорок вторым.

Я дал свой адрес и ушел.

Приличная степенность сына не нравилась мне так же, как и непристойное кривлянье отца. В глубине души я проклинал уловки этих низких торгашей. Мне было ясно, что два мошенника между собою сговорились и выдумали эту распродажу на аукционе через присяжного оценщика, чтобы взвинтить цену на рукопись, которую хотелось мне приобрести, но избежать при этом возможных нареканий. Я был у них в руках. Желанья, хотя бы и самые невинные, имеют ту плохую сторону, что подчиняют нас другому человеку и ставят нас в зависимость. Такая мысль была мучительна, однако она не отбила у меня охоты владеть твореньем клирика Тумуйе. Размышляя на эту тему, я собирался перейти через улицу, но остановился, чтобы пропустить карету, ехавшую мне навстречу, и сквозь стекло увидел княгиню Трепову, мчавшуюся на паре вороных, с кучером в мехах, похожим на боярина. Меня она не видела.

«Пусть она найдет то, что ищет,— подумал я,— или, вернее, что подойдет ей. Вот мое пожеланье в оплату за жестокий смех, каким она встретила мое злосчастие в Джирдженти. У нее душа синицы».

И, грустный, я добрался до мостов.

Вечно равнодушная природа, не торопясь и не опаздывая, привела и день 24 декабря. Я отправился во дворец Бюльон и занял место в зале № 4, у самого стола, где предстояло сидеть

присяжному оценщику Булузу и эксперту Полицци. Зала постепенно наполнялась знакомыми мне лицами. Я пожал руки нескольким старым букинистам с набережных; но осторожность, какую внушает людям, даже наиболее доверчивым, всякая большая заинтересованность, понудила меня скрывать причину моего необычного присутствия во дворце Бюльон. Наоборот, я расспросил этих господ о том, что в данной распродаже, организованной Полицци, могло привлечь их интерес, и слушал с удовольствием, как разговор шел совершенно о других предметах, а не о моем.

Любители и просто любопытные мало-помалу наполнили всю залу; опоздав на полчаса, присяжный оценщик, вооруженный молотком слоновой кости, секретарь, эксперт с каталогом и аукционист, снабженный деревянной чашей на длинной палке, появились на эстраде и с мещанской торжественностью заняли свои места. Служители выстроились около стола. Когда присяжный аукционист возвестил начало распродажи, все притихли.

Сначала продали по низким ценам довольно заурядное собрание «Preces piae»[1] с миниатюрами. Само собой разумеется, миниатюры отличались полнейшей свежестью.

Низкие надбавки ободрили толпу мелких торговцев стариной, которые смешались с нами и стали чувствовать себя непринужденно. В свой черед старьевщики, ждавшие, когда для них откроют соседнюю залу, тоже подошли, и оверньские шутки покрывали слова аукциониста.

Великолепный экземпляр «Иудейской войны» вновь оживил внимание. Эту вещь оспаривали долго. «Пять тысяч франков, пять тысяч»,— объявил аукционист среди молчания изумленных старьевщиков. Семь-восемь осьмигласников вновь низвели нас до дешевых цен. Толстая простоволосая старьевщица в широкой кофте, прельстившись величиною книги и скромностью надбавок, завладела одним из осьмигласников за тридцать франков.

Наконец эксперт Полицци выложил на стол и номер сорок два: *Златая легенда,* французская рукопись, неизданная, две превосходные миниатюры, оценка — три тысячи франков.

— Три тысячи! Три тысячи! — взвизгнул аукционист.

— Три тысячи,— сухо повторил присяжный оценщик.

В висках у меня гудело, я сквозь туман заметил, что множество серьезных лиц повертывается к рукописи, когда служитель носил ее по зале в раскрытом виде.

---

[1] «Благочестивые наставления», сборник проповедей *(лат.).*

— Три тысячи пятьдесят! — произнес я.

Я был испуган звуком собственного голоса и смущен, увидев, что взоры всех присутствующих обратились на меня.

— Три тысячи пятьдесят справа! — крикнул аукционист, подхватив мою надбавку.

— Три тысячи сто! — перебил Полицци.

Тут началась героическая схватка между мною и экспертом.

— Три тысячи пятьсот!

— Шестьсот!

— Семьсот!

— Четыре тысячи!

— Четыре тысячи пятьсот!

Затем чудовищным скачком Полицци сразу прыгнул на шесть тысяч.

Шесть тысяч франков — это было все, чем я располагал. Все, что я мог дать. Я рискнул на невозможное.

— Шесть тысяч сто! — крикнул я.

Увы, и невозможное оказывалось недостаточным.

— Шесть тысяч пятьсот,— спокойно откликнулся Полицци.

Я потупил голову и открыл рот, не решаясь сказать ни да, ни нет аукционисту, кричавшему мне:

— Шесть тысяч пятьсот, за мной; не за вами, справа, а за мной! Без недоразумений! Шесть тысяч пятьсот!

— Ясно! — подхватил присяжный оценщик.— Шесть тысяч пятьсот. Точно и ясно. Кто больше?.. Нет покупателя выше шести тысяч пятисот?

Торжественная тишина царила в зале. Вдруг я почувствовал, как трескается у меня череп: то стукнул молоток присяжного аукциониста, одним сухим ударом по столу безвозвратно оставив номер сорок два за Полицци. И тотчас перо секретаря забегало по гербовой бумаге, протоколируя одной строкой это великое событие.

Я был убит, мне нужен был воздух и покой. Однако с места я не тронулся. Мало-помалу ко мне вернулась способность рассуждать. Надежда упорна. И она явилась. Я подумал, что новым обладателем *Златой легенды* мог оказаться великодушный и образованный библиофил, который допустит меня к рукописи и даже позволит опубликовать ее существенные части. Вот почему, когда окончились торги, я подошел к эксперту, сходившему с эстрады.

— Господин эксперт,— спросил я,— вы купили номер сорок второй по поручению или для себя лично?

— По поручению. Мне было приказано не упускать его **ни** за какую цену.

— Не можете ли вы мне сказать имя покупателя?

— Крайне огорчен, что не могу исполнить вашей просьбы. Но это строго мне воспрещено.

Я отошел в отчаянии.

30 декабря 1869 года.

— Тереза, неужели вы не слышите, что уже четверть часа, как к нам звонят?

Тереза не отвечает. Она судачит в каморке у привратницы. Ну конечно! Так-то вы поздравляете старого хозяина с днем ангела? Канун святого Сильвестра, а вы бросили меня? Увы! Если в этот день я и услышу голоса сердечных пожеланий, то прозвучат они из-под земли, ибо все, кто некогда меня любил, давно покоятся в могиле. Сам не знаю, что делаю я в этом мире. Опять звонят! Я неохотно расстаюсь с камином и, сутулясь, иду отворять дверь. Что же я вижу на площадке? То не заплаканный Амур, и я не старик Анакреон,— то мальчуган лет восьми-девяти. Он один; он поднимает голову, чтобы меня увидеть. Щеки его краснеют, но вздернутый носик имеет плутоватый вид. На шляпе перья, на курточке широкий воротник из кружев. Хорошенький мальчишка! Обеими руками он держит сверток, не меньше, чем он сам, и спрашивает, я ли господин Сильвестр Бонар. Отвечаю: «Да». Он мне вручает сверток, говорит, что это посылает мама, и убегает вниз по лестнице.

Спускаюсь на несколько ступенек, перегибаюсь через перила и вижу, как вьется в спирали лестницы маленькая шляпа, словно перышко по ветру. Прощай, мальчуган! Я бы охотно с ним поговорил. О чем бы только я его спросил? Неделикатно расспрашивать детей. К тому же сверток разъяснит все лучше, чем посланец.

Сверток весьма большой, но не особенно тяжелый. У себя в библиотеке снимаю ленты и бумагу, в которую он запакован, и нахожу... Что это?.. Полено, отличное полено, настоящее рождественское полено, но легкое и, думается мне, пустое. В самом деле, я замечаю, что оно из двух кусков, соединенных крючками и открывающихся на шарнирах. Откидываю крючки... и меня засыпали фиалки. Они падают на мой стол, мне на колени, на ковер. Проскальзывают за жилет и в рукава. Я весь ими надушен.

— Тереза! Тереза! Подайте вазы, и с водой! Вот фиалки, присланные не знаю из какой страны и чьей рукой, но несом-

ненно из страны благоуханной и рукой прелестной. Старая ворона, вы слышите меня?

Я разложил фиалки на письменном столе, и они покрыли его весь душистым цветником. Но что-то есть еще в полене... книга, рукопись. Это... не смею верить, но нет сомненья... Это *Златая легенда,* рукопись клирика Жана Тумуйе. Вот Сретенье господне, а вот Венчанье Прозерпины, вот житие святого Дроктовея. Я созерцаю эту старину, благоухающую фиалками. Переворачиваю страницы, между которыми проникли бледные цветочки, и в том месте, где житие святой Цецилии, нахожу карточку, гласящую: *Княгиня Трепова.*

Княгиня Трепова! Ведь это вы так мило и прослезились и смеялись под ясным небом Агригента, ведь это вас угрюмый старец принял за маленькую сумасбродку! Я убежден сегодня в вашем прекрасном редкостном сумасбродстве! И старичок, обрадованный вами превыше меры, пойдет и поцелует ваши руки, возвращая такую драгоценность, а точным и роскошным изданием ее вам будут обязаны наука и он сам.

В эту минуту вошла ко мне Тереза; она была взволнована.

— Угадайте, сударь, кого я сию минуту видела в карете с гербами у нашего подъезда?

— Госпожу Трепову, кого же больше! — воскликнул я.

— Никакой госпожи Треповой я не знаю,— отвечала экономка.— Та женщина, что я сейчас видала, одета словно герцогиня, а с ней мальчишка, весь в кружевах. И эта дамочка — Кокоз! Вы еще послали ей полено, когда она рожала, тому восемь лет. Я сразу ее признала.

— Так это,— спросил я, оживившись,— так это госпожа Кокоз, вы говорите? Вдова торговца альманахами?

— Она самая! Дверца кареты была открыта, когда мальчишка выбежал от нас и влезал в карету. Она почти не изменилась. Да этаким-то женщинам с чего и стариться? Заботы у них нет. Кокозиха стала только подороднее. Тогда ее пустили в дом из милости... И такой женщине приезжать сюда в карете, разрисованной гербами, величаться бархатом да брильянтами! Это ли не срам!

— Тереза! — крикнул я страшным голосом.— Говорите об этой даме не иначе как с уваженьем, а не то мы с вами поссоримся. Несите севрские вазы для фиалок, дарующих обители книг прелесть, какой здесь не бывало никогда.

Пока Тереза, вздыхая, доставала севрские вазы, я созерцал рассыпанные по столу фиалки, разлившие кругом меня свое благоухание — как будто аромат пленительной души, и я спро-

сил себя, как мог я не узнать в княгине Треповой вдову Кокоз? Но слишком коротко было мое свиданье с молодой вдовой, когда она на лестнице показала мне голенького малыша. С бо́льшим основаньем я мог винить себя за то, что прошел мимо души пленительно красивой, ее не разгадав.

— Бонар,— сказал я про себя,— ты можешь разбираться в старинных текстах, но читать книгу жизни ты не умеешь. В княгине Треповой ты видел только птичью душу, а эта сумасбродка потратила из благодарности к тебе больше рвенья и ума, чем это ты делал ради услуги другому человеку. Она по-царски отплатила тебе за полено, посланное ей на роди́ны... Тереза, были вы сорокой, теперь становитесь черепахой! Дайте же воды для этих пармских фиалок!

ЖАННА АЛЕКСАНДР

I

Люзанс, 8 августа 1874 года.

Когда я сошел с поезда на станции Мелен, ночь разливалась тишиной над молчаливыми полями. От земли, нагретой за день палящим солнцем,— «тучным солнцем», как говорят жнецы в долине Вира,— шел крепкий, теплый запах. Над самой почвой медлительно струились ароматы трав. Я отряхнул с себя вагонную пыль и вздохнул ожившей грудью. Мой саквояж, набитый благодаря стараньям экономки бельем и туалетной мелочью — munditiis,— казался мне таким легким, что я помахивал им, как машет школьник сумкой с книжками, выходя из школы.

О, если бы я был еще приготовишкой! Но уже лет шестьдесят без малого прошло с тех пор, как моя мать-покойница, собственноручно намазав виноградным вареньем ломоть хлеба, положила его в корзиночку, надела ее мне на руку и, снарядив меня, отвела в пансион господина Дулуара, стоявший между садом и двором в углу Коммерческого проезда, хорошо знакомого воробьям. Огромный господин Дулуар приветливо улыбнулся нам и погладил меня по щеке — несомненно для лучшего выраженья нежности, которую я внезапно пробудил в нем помимо своей воли. Но как только матушка, вспугнув воробьев, пересекла двор, господин Дулуар перестал улыбаться, он уже не выказывал мне нежности, наоборот: казалось, он рассматривал меня как маленькое существо, крайне неприятное. После мне довелось узнать, что чувства такого рода он питал ко всем своим ученикам. Он наделял нас ударами ферулы с проворством, совершен-

по неожиданным при его грузной корпуленции. Однако нежность первого свиданья возвращалась к нему всякий раз, когда он разговаривал с матерями в присутствии детей и, хваля наши способности, окидывал нас всех любящим взглядом. Все же хорошим было время, проведенное на партах г-на Дулуара с маленькими товарищами, которые, подобно мне, и плакали и веселились от всей души, с утра до вечера.

Через полвека с лишком эти воспоминанья всплывают в моей душе совершенно ясными и свежими,— здесь под этим звездным, с тех пор ничуть не изменившимся небом, чьи неизменные и тихие светила увидят непреложно, как множество других таких же школьников, каким был я, станут такими же седовласыми и склонными к катарам учеными, каким стал я.

Вы, звезды, сиявшие над легкомысленными или тяжелодумными головами моих забытых предков, при вашем свете я чувствую, как просыпается во мне мучительное сожаленье. Мне бы хотелось иметь потомство, чтобы оно вас видело тогда, когда меня не станет. Я был бы и отцом и дедом, если бы того желали вы, Клементина, когда ваши щечки дышали юной свежестью под розовой шляпкой... Но вы вышли замуж за Ашиля Алье, богатого помещика из Ниверне, отчасти дворянина, ибо отец его, простой крестьянин, скупая национальные поместья, вместе с землей и замками своих господ купил их родовой архив. Я вас не видел с вашего замужества, но уверен, что ваша жизнь в деревенской усадьбе протекла благополучно, тихо и безвестно. Однажды я узнал случайно от друга вашего, что вы ушли из этой жизни, оставив дочь, похожую на вас. С этой вестью, против которой двадцать лет тому назад восстали бы все силы моей души, в меня вошло как бы великое молчание; чувство, охватившее меня всего, было не острой скорбью, а спокойной, глубокой грустью души, послушной великим наставлениям природы. Я постиг, что то, что я любил,— лишь призрак. Но память о вас всегда пребудет очарованьем моей жизни. Ваш милый образ, медленно увянув, сокрылся под густой травой. Юность вашей дочери прошла. Краса ее несомненно исчезла... А я всегда вас вижу Клементиной с белокурыми кудрями под розовою шляпкой.

Красавица ночь! С великодушной томностью царит она над миром животных и людей, освобождая их от повседневного ярма; и благотворное ее влиянье я ощущаю на себе, хотя в силу шестидесятилетней привычки воспринимаю вещи лишь по знакам, их представляющим. В этом мире для меня живут одни слова — настолько я филолог. Каждый по-своему свершает грезу жизни. Я творю ее в моей библиотеке, и когда пробьет мой час,

пусть бог возьмет меня к себе с моей стремянки, приютившейся у полок, забитых книгами.

— Э! Ей-богу, это он! Здравствуйте, господин Бонар! Куда это вы шествовали, пустившись наудачу, когда я ждал вас у станции с кабриолетом? Сойдя с поезда, вы как-то ускользнули от меня, и я ни с чем ехал домой в Люзанс. Давайте же ваш саквояж, влезайте и садитесь со мною рядом. Знаете ли вы, что отсюда до усадьбы добрых семь километров?

Кто это во всю мочь кричит мне из кабриолета? Г-н Поль де Габри, племянник и наследник г-на Оноре де Габри, пэра Франции с 1842 года, недавно скончавшегося в Монако. В самом деле, это г-н Поль де Габри; к нему-то я и ехал с чемоданом, упакованным моей домоправительницей. Этот превосходный человек вместе со своими двумя зятьями недавно получил в наследство именье дяди, происходившего из старого служилого рода и собравшего в люзанском замке библиотеку, богатую рукописями, из коих некоторые восходят к XIII веку. Именно для составленья их описи и каталога ехал я в Люзанс по просьбе Поля де Габри, отец которого, любезный человек и выдающийся библиофил, при жизни поддерживал со мной отменно вежливые отношения. Сын, правду говоря, не унаследовал высоких склонностей отца. Г-н Поль отдался спорту: он знает толк в лошадях и собаках, и думаю, что из всех знаний, способных утолить или обмануть неиссякаемую любознательность людей, знание псарни и конюшни — единственное, каким владеет он вполне.

Нельзя сказать, чтобы встреча с ним явилась для меня неожиданностью, раз наше свиданье было заранее обусловлено, но, признаюсь, я так увлекся естественным теченьем своих мыслей, что у меня вылетели из головы и люзанский замок, и его хозяева, а когда помещик меня окликнул в самом начале моего пути, который дальше стлался, как говорится, длинной лентой, то в первое мгновенье голос г-на Поля резанул мне уши, словно какой-то чуждый звук.

Опасаюсь, что моя физиономия выдала эту несуразную рассеянность тем выраженьем бестолковости, какое часто у меня бывает при общении с людьми. Саквояж мой водворился в кабриолете, и я последовал туда же. Хозяин мне понравился своею откровенностью и простотой.

— Я ничего не смыслю в ваших старых пергаментах,— сказал он мне,— но у нас найдется, с кем вам поговорить. Помимо здешнего священника, который пишет книги, и доктора, весьма любезного, хотя он и либерал, вы встретите кое-кого, кто с вами и поспорит: это моя жена. Ее нельзя назвать ученой, но, думает-

ся, нет той вещи, какой бы она не понимала. К тому же рассчитываю, с божьей помощью, удержать вас у себя подольше, и тогда вы встретитесь с мадемуазель Жанной, обладательницей волшебных пальчиков и ангельской души.

— Барышня, столь счастливо одаренная, ваша родственница? — спросил я.

— Нет,— ответил г-н Поль, устремив взгляд на уши лошади, стучавшей копытами по голубоватой от луны дороге.— Это юная подруга моей жены, круглая сирота. Ее отец вовлек нас в рискованное денежное предприятие, мы выпутались из него, но это обошлось нам дорого.

Затем он покачал головой и, меняя разговор, предупредил меня о той запущенности, в какой найду я парк и замок, совершенно необитаемый в течение тридцати двух лет.

От г-на Поля я узнал, что, живя здесь, его дядя, Оноре де Габри, был беспощаден к браконьерам и дядины сторожа по ним стреляли, как по кроликам. Один из браконьеров, мстительный крестьянин, получивший от самого помещика заряд дроби прямо в лицо, подстерег его однажды вечером из-за деревьев на аллее и только чуть-чуть промахнулся, задев пулей кончик уха.

— Мой дядя,— добавил г-н Поль,— пытался рассмотреть, откуда был направлен выстрел, но не увидел ничего и обычным шагом вернулся в замок. Наутро он вызвал управляющего и приказал запереть парк и дом, чтобы ни одна живая душа не могла туда войти. Он строго запретил чего-либо касаться, что-либо поддерживать или чинить в имении или постройках до своего возвращенья. В заключение он процедил сквозь зубы, что вернется к пасхе или к троице, как то поется в песне, но так же, как и в песне, троица прошла, а о нем ни слуху ни духу. В прошлом году он умер в Каннах, и мы с зятем первыми вошли в замок, заброшенный уже тридцать два года. Посреди гостиной мы увидали выросший каштан. А чтобы гулять по парку — в нем еще надо провести аллеи.

Спутник мой замолк, и среди шуршанья насекомых, копошившихся в траве, был слышен только мерный перестук копыт. В неясном лунном освещении копны хлеба, расставленные на полях по обе стороны дороги, походили на высоких белых женщин, стоявших на коленях, и я отдался великолепию наивных обольщений ночи. Проехав в густой тени проспекта, мы повернули под прямым углом и покатили по господскому проезду, в конце которого внезапно появился черной массой замок с башенками наверху. Мы ехали мощеной дорогой, подходившей к красному двору и пересекающей ров с проточной водой взамен дав-

но разрушенного подъемного моста. Потеря подъемного моста, думается мне, явилась тем первым унижением, какое претерпела эта воинственная усадьба, прежде чем приняла миролюбивый вид, с каким она встретила меня. Отраженье звезд в темной воде сверкало дивной чистотой. Г-н Поль, как вежливый хозяин, провел меня на самый верх, до моей комнаты, расположенной в конце длинного коридора, и, извинившись за то, что не может меня представить своей супруге в такой поздний час, пожелал мне доброй ночи.

Комната моя, побеленная и обитая бирюзовой тканью, носит отпечаток галантной прелести XVIII века. Еще теплая зола, свидетельствуя, с каким стараньем изгоняли сырость, наполняла камин, доска которого служила опорой фарфоровому бюсту королевы Марии-Антуанетты. На белой раме тусклого, в пятнах, зеркала два медных крючка, куда в старину дамы вешали свои цепочки, предлагали теперь свои услуги моим часам, которые я тщательно завел, ибо, вопреки положеньям телемитов, считаю, что человек только тогда хозяин времени, являющегося самой жизнью, когда разбил он время на часы, минуты и секунды — то есть на частицы, соответствующие кратковременности самой жизни человека.

И я подумал,— жизнь нам кажется короткой только потому, что мы бездумно прилагаем к ней мерило наших легкомысленных надежд. Всем нам, как старику в басне, во что бы то ни стало надо добавить к нашей постройке еще одно крыло. Прежде чем умереть, я хочу закончить историю аббатов Сен-Жермен-де-Пре. Время, даруемое богом каждому из нас, подобно драгоценной ткани, по которой мы вышиваем, кто как может. Я ткал своим утком различные цветы филологической науки. Так протекали мои мысли. И в тот момент, когда повязывал я голову фуляром, размышления о времени вернули меня к прошлому, и пока минутная стрелка вторично сделала оборот, я вспомнил вас, Клементина, дабы благословить вас в потомстве вашем, прежде чем загашу свечу и стану засыпать под кваканье лягушек.

II

Люзанс, 9 августа.

За завтраком не раз имел я случай оценить беседу г-жи де Габри, сообщившей, что замок посещают привидения, в частности дама «с тройною складкой на спине», при жизни отравительница, а после смерти — неприкаянная душа. Нет, мне не

передать, как много остроумия и жизни сумела вложить г-жа де Габри в это старинное повествование кормилиц. Мы пили кофе на террасе, где могучий плющ обвил и вырвал из каменных перил балясины, повисшие теперь среди сплетений сладострастного растения, как фессалийки в объятиях кентавров-похитителей.

Замок с башенками на углах, имевший очертания фургона, в результате последовательных перестроек утратил свой истинный характер. То было обширное, почтенное сооружение — и только. Мне показалось, что за тридцать два года запустения оно не потерпело особого ущерба. Но когда г-жа де Габри привела меня в большую гостиную нижнего этажа, я там увидел вспучившийся пол, гнилые плинтусы, потрескавшуюся обшивку стен, почернелую роспись простенков, на три четверти отставшую от рам. Выросший посреди гостиной каштан раздвинул паркетные дощечки и обращал к выбитым окнам широкие султаны своей листвы.

Не без тревоги взирал я на это зрелище, соображая, что богатая библиотека Оноре де Габри, находящаяся в соседней комнате, так долго подвергалась вредоносным влияниям. И все же, созерцая молодой каштан в гостиной, я не мог не подивиться великолепной мощи природы и непреоборимой силе, побуждающей каждый зародыш претвориться в жизнь. Зато я опечалился при мысли, что усилия, какие употребляем мы, ученые, чтобы сберечь и сохранить вещи умершие,— это усилия и многотрудные и тщетные. Все, что отжило, является необходимой пищей для новых видов бытия. Араб, построивший себе жилище из мрамора пальмирских храмов,— более философ, чем все хранители музеев Парижа, Лондона и Мюнхена.

Люзанс, 11 августа.

Слава богу! Библиотека, окна которой выходят на восток, избегла непоправимого ущерба. Кроме увесистого ряда старинного «Обычного права» in folio, насквозь проеденного сонями, книги в зарешеченных шкафах остались невредимы. Весь день я провел, классифицируя рукописи. Солнце вливалось в высокие незанавешенные окна, и я, не прерывая чтения, иной раз очень интересного, все время слышал, как грузно бились о стекла отяжелевшие шмели, трещала деревянная обшивка стен и мухи, пьяные от света и жары, жужжали, кружась у меня над головой. К трем часам гуденье их усилилось настолько, что я приподнял голову от документа, крайне ценного для истории Мелена

XIII века, и начал наблюдать за концентрическим полетом этих, по выражению Лафонтена, «животинок». Должен констатировать, что действие жары на крылья мухи совсем иное, чем на мозги архивиста-палеографа, ибо я испытывал большое затруднение в мыслях и довольно приятное оцепенение, из коего я вышел, лишь сделав резкое усилие. Колокол, возвестив обед, прервал на середине мою работу, и я наспех переоделся, чтобы явиться в приличном виде перед г-жою де Габри.

Обильная трапеза сама собою затянулась. У меня талант, пожалуй выше среднего, дегустировать вино. Хозяин, заметив мои способности, оценил меня настолько, что в мою честь раскупорил отборную бутылочку шато-марго. Я с уваженьем пил это вино высокой породы и благородных свойств, букет которого и вкус превыше всех похвал. Эта пылкая роса, проникнув в мои вены, воодушевила меня юношеским жаром. Сидя возле г-жи де Габри на террасе, в сумерках, окутывающих тайной расплывшиеся очертания деревьев, я имел удовольствие передавать умной хозяйке свои впечатления живо, с большим чувством, что крайне удивительно в человеке, каким являюсь я, то есть в человеке без всякого воображения. Свободно, не прибегая к старинным текстам, описал я ей нежную грусть вечера и красоту родной земли, которая питает нас не только хлебом и вином, но мыслями, верованиями и чувствами и примет всех нас в материнское свое лоно, как маленьких детей, уставших от длительного дня.

— Господин Бонар,— обратилась ко мне моя очаровательная собеседница,— видите эти старые башни, эти деревья, это небо; как естественно родились в такой обстановке персонажи сказок и народных песен! Вон тропинка, по которой Красная Шапочка шла в лес за орехами. Это изменчивое, всегда подернутое дымкой небо бороздили колесницы фей, а северная башня могла скрывать под островерхой крышей старуху пряху, веретеном которой укололась Спящая Красавица.

Я продолжал обдумывать ее прелестные слова, в то время как г-н Поль, попыхивая крепкою сигарой, рассказывал мне о некоей тяжбе, затеянной им с общиной из-за отвода какого-то ручья. Г-жа де Габри, почувствовав вечернюю прохладу, от которой не могла ее защитить шаль, простилась с нами и ушла к себе. Я решил не возвращаться в свою комнату, а вновь пойти в библиотеку и продолжить разбор рукописей. Несмотря на уговоры г-на Поля, побуждавшего меня лечь спать, я вошел в то помещение, какое назову по-старинному книгохранилищем, и взялся за работу при свете лампы.

Прочтя страниц пятнадцать, написанных, как видно, невежественным и рассеянным писцом, ибо мне было трудновато улавливать их смысл, я сунул руку за табакеркой в зияющий карман сюртука, однако это естественное и как бы инстинктивное движение на сей раз стоило мне известного труда и утомления; тем не менее серебряную коробочку я открыл и взял оттуда несколько крупинок пахучего порошка, но они разлетелись по манишке, оставив мой нос в дураках. Я уверен, что нос мой выразил негодованье, так как он очень выразителен. Он не раз выдавал самые сокровенные мои мысли, особенно в Кутанской публичной библиотеке, где я, под носом у коллеги моего Брну, выискал картуларий Нотр-Дам-дез-Анж.

Какая то была радость! Мои маленькие тусклые глаза в очках не выдали ее ничем. Но, увидав один мой нос картошкой, трепещущий от радости и спеси, Брну смекнул, что у меня находка. Он заприметил том, который я держал, запомнил место, куда я, уходя, его поставил, взял его сейчас же вслед за мной, тайком списал и наскоро издал мне на смех. Но, думая поддеть меня, поддел лишь самого себя. Его издание кишит ошибками, и я с удовлетворением отметил в нем ряд крупных промахов.

Возвращаюсь к исходному моменту: я заподозрил, что тяготит мой ум только гнетущая сонливость. Перед моими глазами лежал старинный договор, а его значение оценит всякий, если скажу, что в нем упоминается садок для кроликов, запроданный священнику Жану д'Эстурвилю в 1212 году. Чувствуя, насколько важен этот факт, я все-таки не уделил ему того внимания, какого требовал подобный документ. Что я ни делал, мои глаза всё обращались к концу стола, хотя там не было ни одного предмета, имеющего важность с научной точки зрения. На этом месте лежал лишь большой немецкий том, переплетенный в свиную кожу, с медными гвоздями на досках переплета и толстыми валиками на корешке. То был прекрасный экземпляр компиляции, достойной одобрения лишь за ее гравюры на дереве и хорошо известной под именем *Нюрнбергской летописи.* Том стоял на среднем своем обрезе благодаря чуть приоткрытым доскам переплета.

Не знаю, сколько времени этот старинный фолиант притягивал к себе без видимой причины мои взоры, как вдруг их захватило зрелище столь необычное, что даже человек, лишенный всякого воображенья,— вроде меня,— поразился бы им живейшим образом.

Я вдруг увидел, не заметив, когда она явилась, маленькую даму, сидевшую на книжном корешке, согнув в колене одну

ногу, другую свесив,— почти в той позе, какую принимают, садясь на лошадь, амазонки в Булонском лесу или в Гайд-Парке. Дама была такою маленькой, что ее болтавшаяся ножка не доходила до стола, где стлался змейкой шлейф ее платья. И все же ее лицо и стан могли принадлежать лишь взрослой женщине. Полнота груди, округлость талии не оставляли ни малейшего сомнения на этот счет,— даже у старого ученого вроде меня. Добавляю, без боязни ошибиться, что она была красавица и вида гордого, ибо занятия иконографией издавна приучили меня определять характер внешности и чистоту типа. Лицо дамы, так неожиданно усевшейся на корешке *Нюрнбергской летописи,* дышало благородством с примесью своенравия. У нее был облик королевы, и притом капризной; по одному выражению ее глаз я заключил, что где-то она пользовалась большою властью, и весьма прихотливо. Рот у нее был властный и иронический, а синие глаза под безукоризненными дугами бровей смеялись, но с каким-то внушающим тревогу выражением. Мне часто приходилось слышать, что темные брови весьма идут блондинкам,— а эта дама была блондинка. В общем, она производила впечатление величия.

Однако ж моя дама была с бутылку ростом, и если бы не мое благоговенье перед ней, я бы мог свободно ее спрятать в заднем кармане сюртука, поэтому должно казаться непонятным, чем же ее особа вызывала представление о величии. Но в самых пропорциях дамы, сидящей на *Нюрнбергской летописи,* была такая горделивая стройность, такая величавая гармония, в позе было столько свободы и благородства, что мне она представлялась большой. Чернильница, которую она разглядывала с насмешливым вниманием, как будто заранее читая в ней слова, готовые оттуда выйти на кончике моего пера,— могла бы оказаться для нее достаточно глубоким бассейном, чтобы зачернить вплоть до подвязок ее чулки из розового шелка с золотыми стрелками; но, несмотря на это, повторяю: при всей своей игривости она казалась мне большой и величавой.

Наряд ее, под стать наружности, был исключительно великолепен. Он состоял из серебряно-золотого парчового платья и красно-оранжевой бархатной мантии на беличьем меху. Головной убор на манер двурогой диадемы светился жемчугом чистой воды и сиял, как месяц. В белой ручке она держала палочку, привлекавшую мое внимание, тем более законное, что занятия археологией научили меня довольно точно распознавать по некоторым отличительным знакам действующих лиц сказаний и историй. В данном случае такое знание мне пригодилось. Раз-

глядев палочку, я установил, что она вырезана из веточки орешника. «Так это палочка феи,— сообразил я,— а следовательно, дама, держащая ее,— фея».

Радуясь тому, что наконец узнал, с кем имею дело, я попытался сосредоточить мысли, чтобы обратиться к ней с почтительным приветствием. Каюсь, мне было бы приятно научно рассказать этой особе о роли ей подобных как среди племен саксонских и германских, так и на латинском Западе. Такая речь мне мыслилась удачным способом выразить даме благодарность за появленье перед старым эрудитом, противно непреложному обычаю родственных ей созданий показываться лишь простодушным детям да темным мужикам.

«Но, становясь феей, не перестаешь быть женщиной,— подумал я.— И раз госпожа Рекамье, как говорил мне Ж.-Ж. Ампер, гордилась впечатлением, какое красота ее производила на мальчишек-трубочистов,— значит, и сверхъестественная дама, сидящая на *Нюрнбергской летописи,* будет польщена, услышав, как ученый станет научно трактовать ее, подобно образку, медали, фибуле или печати». Но это намерение, дорого стоившее моей застенчивости, оказалось и вовсе неосуществимым, когда я увидел, что дама, сидящая на *Летописи,* проворно вынула из сумочки, висевшей сбоку, орешки,— такие маленькие, каких не видывал я в жизни,— и стала грызть их зубками, бросая скорлупу мне в нос, а ядрышки жевать с сосредоточенностью ребенка, сосущего грудь матери.

В этом случае я поступил так, как того требовало достоинство науки,— я промолчал. Но скорлупа вызывала у меня неприятную щекотку, тогда я заслонил рукою нос и тут же убедился с великим изумленьем, что очки сидят на самом его кончике и даму вижу я не сквозь стекла, а поверх — вещь непостижимая, так как мои глаза, сильно пострадавшие от древних текстов, не могут без очков отличить дыню от графина, даже поставленного под самым моим носом.

Этот нос, столь замечательный своей массивностью, окраской и формой, вполне законно привлек внимание феи, и она, схватив гусиное перо, торчавшее султаном из чернильницы, провела мне по носу его бородкой. В компании мне случалось иной раз подвергаться безобидным проделкам барышень, которые, включив меня в свою игру, предлагали поцеловать их в щеку сквозь спинку стула или давали мне гасить свечу, но сразу поднимали ее так высоко, что я не мог ее задуть. До сей поры, однако, ни одна особа их пола не изощрялась надо мной в таких причудливых капризах и не щекотала мне ноздрей моим же соб-

ственным пером. По счастью, я вспомнил наставленье дедушки-покойника, обычно говорившего, что дамам все позволено и все идущее от них есть милость и благоволенье. Поэтому скорлупки и перо я воспринял как милость и благоволенье и попытался улыбнуться. Больше того — я заговорил!

— Сударыня,— произнес я с достоинством и вежливо,— вы посещением своим оказываете честь не мужику и не сопливому мальчишке, а библиофилу, который счастлив знакомством с вами и знает, что некогда вы посещали стойла и спутывали гривы кобылицам, пили молоко из пенящихся крынок, нашим дедам сыпали за шиворот колючки, из очага выбрасывали искры добрым людям прямо в нос,— короче говоря, вносили в дом веселье и сумятицу. Сверх того, вы можете похвастать, как вечерами очень забавно пугали в рощах загулявшиеся парочки. Мне казалось, что вы исчезли навсегда уже три столетия тому назад. Возможно ли, сударыня, что я вижу вас теперь, во времена железных дорог и телеграфа? Моя привратница, когда-то бывшая кормилицей, вашей истории уже не знает, а сосед-малыш, хотя нянька еще и утирает ему нос, стоит на том, что вы не существуете совсем.

— А вы на этот счет какого мнения? — серебристым голоском спросила она, молодцевато повернув свою королевскую фигурку и нахлестывая корешок *Летописи,* словно то был гиппогриф.

— Не знаю,— ответил я, протирая глаза.

Этот ответ, отмеченный глубоко научным скептицизмом, произвел на мою собеседницу весьма неблагоприятное впечатление.

— Господин Сильвестр Бонар,— сказала она,— вы тупица. Я и всегда подозревала это. Любой мальчишка, бегающий по улицам с торчащей из штанишек рубашонкой, знает меня лучше, чем все очкастые людишки разных ваших институтов и ваших академий. Знание — ничто, воображенье — все. Существует только то, что воображаешь. Меня воображают. По-моему, это и значит — существовать. Обо мне мечтают — я являюсь. Всё лишь мечта. И поскольку нет никого, кто бы мечтал о вас, Сильвестр Бонар, то это вы не существуете. Я зачаровываю мир; я везде: в луче лунного света, в журчанье скрытого ключа, в говоре трепещущей листвы, в белых парах, что по утрам поднимаются с низин лугов, в розовом вереске — повсюду!.. Всякий, кто меня видит,— меня любит. Люди вздыхают, люди дрожат, напав на легкий след моих шагов, шуршащих опавшею листвою. Я вызываю у детей улыбку, я наделяю остроумием кормилиц, даже

самых толстых. Склонясь над колыбелью, я шалю, я утешаю, я навеваю сон, а вы еще сомневаетесь в моем существовании! Сильвестр Бонар, под вашей фуфайкой — ослиная шкура!

Она умолкла; ее тонкие ноздри раздувались от негодованья, и покамест я, невзирая на свою досаду, любовался героическим гневом этой маленькой особы, она провела моим пером в чернильнице, как в озере веслом, и бросила перо мне в нос, острием вперед.

Я отер лицо, почувствовав, что все оно забрызгано чернилами. Она исчезла. Лампа погасла; лунный луч пронизывал окно и упадал на *Летопись*. Свежий ветер, поднявшись незаметно, развеял мою бумагу, перья и облатки для заклейки. Стол оказался весь в чернильных пятнах. Я не закрыл окна, пока была гроза. Какое упущенье!

III

Люзанс, 12 августа.

Согласно обещанию, я написал моей домоправительнице, что жив и невредим. Но о том, что заснул вечером при открытом окне в библиотеке и получил насморк, я воздержался сообщить, ибо эта превосходная женщина пощадила бы меня в своих укорах не больше, чем парламенты щадили королей. «В вашем возрасте — и быть таким неразумным»,— сказала бы она. По простодушию, она уверена, что с возрастом становишься разумнее. Я в этом смысле представляюсь ей исключением.

Не имея тех же оснований утаивать это приключенье от г-жи де Габри, я рассказал ей свой сон с начала до конца. Рассказал таким, каким я его видел и записал в этом дневнике. Искусство вымысла мне чуждо. Тем не менее возможно, что в рассказе, а также в записи я вставил там и сям некоторые обстоятельства и выражения, каких и не было сначала,— конечно, не ради извращения истины, а, скорее, по тайному желанию уточнить и прояснить все то, что оставалось темным или смутным, а может быть, и уступая тому влеченью к аллегориям, какое с детства я воспринял от греков.

Госпожа де Габри слушала меня не без удовольствия.

— Ваше видение очаровательно! — сказала она.— И для таких видений необходим очень живой ум.

— Значит, я умен, когда сплю.

— Когда мечтаете,— поправила она,— а вы мечтаете всегда.

Я понимаю, что, выразившись так, г-жа де Габри просто хотела мне доставить удовольствие, но само это намерение уже

заслуживает всей моей признательности, и я лишь из чувства благодарности и ради нежного воспоминанья отмечаю ее слова в этой тетради, которую я буду перечитывать до самой смерти, а кроме меня, никто читать не станет.

Последующие дни употребил я на окончание инвентаря рукописей люзанской библиотеки. Несколько слов, вырвавшихся у г-на де Габри в минуту откровенности, неприятно поразили меня, и я решил вести работу иначе, нежели начал. От него узнал я, что состояние Оноре де Габри, управляемое плохо с давних пор, особенно пострадало при разорении некоего — не названного мне — банкира и перешло наследникам бывшего пэра Франции лишь в виде заложенной недвижимости и безнадежных векселей.

Господин Поль, по соглашению с наследниками, решил продать библиотеку, мне же предстояло изыскать наиболее выгодные способы ее продажи. Как человек, совершенно чуждый торговым сделкам и денежным делам, я для совета решил привлечь одного из моих друзей-книгопродавцев. Я написал ему, чтоб он приехал ко мне в Люзанс, а в ожидании его приезда, взяв трость и шляпу, отправился в окрестности осматривать церкви, так как в некоторых из них сохранились надгробные надписи, еще не восстановленные должным образом.

С этой целью покинул я своих хозяев и стал паломником. Каждый день обследовал я кладбища и церкви, посещал священников и деревенских нотариусов, ужинал в трактирах вместе с разносчиками и прасолами, засыпал на простынях, надушенных лавандой, и так провел я целую неделю,— не забывал, конечно, о покойниках, но вместе с тем вкушал тихую, глубокую отраду, наблюдая, как живые совершают свой каждодневный труд. В области, составлявшей предмет моих исканий, я сделал лишь маловажные открытия, а следовательно, они порадовали меня радостью умеренной, зато здоровой и никоим образом не утомительной. Я восстановил несколько интересных эпитафий, присоединив к этому малому сокровищу ряд деревенских кухонных рецептов, любезно сообщенных мне добрым священником.

Обогащенный такими знаниями, вернулся я в Люзанс и шествовал по красному двору, с затаенным самодовольством буржуа, идущего к себе домой. В этом сказалась доброта моих хозяев; и то чувство, какое ощутил я на пороге, доказывает лучше всяких рассуждений всю прелесть их гостеприимства.

Я прошел до большой гостиной, не встретив никого, и молодой каштан, раскинувший свою широкую листву, мне пока-

зался другом. Но то, что я затем увидел на консоле, меня так сильно поразило, что я обеими руками поправил на носу очки, а себя ощупал с целью убедиться хотя бы внешним образом, что я еще живу. В одно мгновение у меня мелькнуло двадцать мыслей, и самой основательной из них была та, что я сошел с ума. Мне представлялось невозможным, чтобы видимое мной существовало, но и нельзя было не признать в этом нечто существующее. Поразивший меня предмет стоял, как было сказано, на консоле, под мутным и пятнистым зеркалом.

В этом зеркале я разглядел и, могу сказать, впервые увидал совершенный образ изумления. Но я сейчас же оправдал себя и согласился сам с собой, что изумила меня вещь, на самом деле изумительная.

Я продолжал рассматривать предмет все с прежним, не слабевшим от раздумья удивлением, тем более что сам предмет давал возможность изучать его в полной неподвижности. Устойчивость и неизменность этого феномена не допускали мысли о галлюцинации. Я совершенно не подвержен нервным недугам, расстраивающим зрение. Причиной их обычно являются неправильности в действии желудка, а у меня желудок, слава богу, работает отлично. К тому же обманам зрения сопутствуют обстоятельства особого, анормального порядка; они действуют на самих галлюцинирующих и внушают им какой-то ужас. Ничего подобного со мной не происходило, и предмет, который я видел, хотя сам по себе и невозможный, являлся мне в условиях естественной реальности. Я заметил, что он трехмерен, окрашен и отбрасывает тень. О! Как я рассматривал его! Слезы выступили мне на глаза, и я был вынужден протереть очки.

В конце концов пришлось мне покориться очевидности и констатировать, что передо мною фея,— фея, которая мне снилась вечером в библиотеке. Это была она, она, я утверждаю. Все тот же вид ребячливой королевы, гибкая и гордая фигурка, в руках ореховая палочка, на голове — двурогая диадема, и парчовый шлейф по-прежнему змеится у ее крошечных ножек. То же лицо, тот же рост. Это действительно она; и всякие сомнения устранило то, что она сидела на корешке старинной толстой книги, схожей с *Нюрнбергской летописью*. Ее недвижность ободрила меня только отчасти, и, говоря по правде, я боялся, как бы она не вынула из сумочки орешки и вновь не стала бы швырять скорлупки мне в лицо.

Так я стоял с открытым ртом и опустивши руки, когда до слуха моего донесся голос г-жи де Габри.

— Вы, господин Бонар, рассматриваете вашу фею? — сказала мне хозяйка.— Ну как? Похожа?

Речь короткая, но пока я слушал, я успел определить, что эта фея — статуэтка из цветного воска, вылепленная еще неопытной рукой. Феномен, получивший таким путем рациональное истолкование, все же озадачивал меня. Как и благодаря кому получила дама *Летописи* материальное бытие? Вот что не терпелось мне узнать.

Обернувшись к г-же де Габри, я заметил, что она не одна. Юная девица в черном стояла рядом с нею. Глаза, нежно-серые, как небо Иль-де-Франса, выражали одновременно смышленость и наивность. Руки, немного хрупкие, заканчивались беспокойными кистями, тонкими, но красными, как подобает рукам девочек. Затянутая в мериносовое платье, она напоминала молодое деревце, а большой рот свидетельствовал о прямоте ее души. Не могу выразить, до какой степени эта девочка понравилась мне с первого же взгляда. Нельзя было назвать ее красивой, но ямочки на ее подбородке и щеках смеялись, и во всей ее наивной и угловатой фигуре было что-то хорошее и честное.

Мой взор переходил от статуэтки к девочке, и я увидел, как зарделась она румянцем, откровенным, густым, нахлынувшим волной.

— Так что же? — вновь спросила хозяйка, уже привыкшая к тому, что я рассеян и что меня надо переспрашивать по нескольку раз.— Это в самом деле та особа, которая для свиданья с вами влезла в окно, оставленное вами незатворенным? Она была весьма дерзка, а вы весьма неосторожны. Словом, узнаёте ли вы ее?

— Да, это она,— ответил я.— И здесь, на консоле, я вижу ее вновь такою, какою видел на столе в библиотеке.

— Если это так,— ответила г-жа де Габри,— то в таком сходстве повинны прежде всего вы, человек, по вашим словам, безо всякого воображенья, однако способный описывать сны живыми красками; потом я — тем, что удержала в памяти и сумела верно передать ваш сон; наконец, и в особенности, мадемуазель Жанна — тем, что она по моим точным указаниям вылепила из воска эту статуэтку.

Говоря так, г-жа де Габри взяла девушку за руку. Но Жанна высвободилась и побежала в парк.

Госпожа де Габри окликнула ее:

— Жанна! Можно ли быть такой дикаркой! Идите сюда, я вас пожурю!

Но все напрасно — беглянка скрылась за листвою. Г-жа де Габри села в единственное кресло, уцелевшее в разрушенной гостиной.

— Уверена,— сказала мне она,— что мой муж уже говорил вам о Жанне. Мы очень ее любим, она замечательная девочка. Скажите правду, как вы находите эту статуэтку?

Я отвечал, что сделана она с большим умом и вкусом, но автору ее недостает и навыка и школы; впрочем, я крайне тронут всем тем, что сумели вышить юные персты по канве рассказа такого простака, так блестяще изобразив сновиденье старого болтуна.

— Я спрашиваю вашего мнения об этом потому, что Жанна бедная сирота,— сказала г-жа де Габри.— Как вы думаете, сможет ли она зарабатывать немного денег такими статуэтками?

— Нет! — ответил я.— Да тут не о чем особенно жалеть. Она девушка, вы говорите, любящая и нежная,— я верю вам и верю ее лицу. В жизни художника бывают увлеченья, которые выводят и благородные души из границ умеренности и порядочности. Это юное создание вылеплено из любвеобильной глины. Выдавайте ее замуж.

— Но у нее нет приданого,— возразила г-жа де Габри.

Затем, слегка понизив голос, продолжала:

— Вам, господин Бонар, я могу сказать все. Отец этой девочки был известный финансист. Он ворочал большими делами. Ум у него был предприимчивый и обольстительный. Его нельзя назвать бесчестным человеком: обманывая других, он прежде всего обманывался сам. В этом, пожалуй, и заключалось наибольшее его искусство. Мы находились с ним в близких отношениях. Он заворожил нас всех: мужа, дядю и моих кузенов. Крах его наступил внезапно. В этой беде погибло на три четверти и состояние дяди. Поль вам об этом говорил. Мы лично пострадали гораздо меньше, да у нас и нет детей!.. Отец Жанны умер вскоре после разорения, не оставив ровно ничего,— вот почему я говорю, что он был честным человеком. Имя его должно быть вам известно по газетам: Ноэль Александр. Жена его была очень мила и некогда, я думаю, была хорошенькой, только любила покрасоваться. Но когда супруг ее разорился, она вела себя с достоинством и мужеством. Через год после его смерти умерла и она, оставив Жанну круглой сиротой. Из собственно-

го состояния, довольно значительного, ей ничего не удалось спасти. Госпожа Ноэль Александр, в девицах Алье, была дочерью Ашиля Алье из Невера.

— Дочь Клементины! — воскликнул я.— Умерла Клементина, умерла и дочь ее! Почти все человечество состоит из мертвецов: так ничтожно количество живущих в сравнении со множеством отживших. Что это за жизнь — короче памяти людской!

И мысленно я сотворил молитву:

«Клементина! Оттуда, где вы находитесь теперь, взгляните в сердце, с годами охладевшее, но от любви к вам когда-то полное кипучей крови, и скажите, не оживает ли оно при мысли о возможности любить то, что остается на земле от вас? Все преходяще, как были преходящи вы и ваша дочь; но жизнь бессмертна,— вот эту жизнь в ее бесконечно обновляющихся образах и надлежит любить.

Роясь в своих книгах, я был ребенком, который перебирает бабки. Жизнь моя напоследок ее дней приобретает новый смысл, интерес и оправданье. Я — дедушка. Внучка Клементины бедна. Я не хочу, чтобы кто-нибудь другой, кроме меня, заботился о ней и наделил ее приданым».

Заметив, что я плачу, г-жа де Габри тихонько удалилась.

IV

Париж, 16 апреля.

Святой Дроктовей и первые аббаты Сен-Жермен-де-Пре уже лет сорок занимают мое внимание, но я не знаю, удастся ли мне написать историю их до того, как я приобщусь к ним. Я стар уже давно. В прошлом году один собрат мой по Академии жаловался при мне на мосту Искусств, как скучно стариться. «Но пока известно только это средство продления жизни»,— отвечал ему Сент-Бев. Я воспользовался этим средством и знаю ему цену. Горе не в том, что жизнь затягивается, а в том, что видишь, как все вокруг тебя уходит. Мать, жену, друзей, детей — эти божественные сокровища — природа и создает и разрушает с мрачным безразличием; в конечном счете оказывается, что мы любили, мы обнимали только тени. Но какие милые бывают среди них! Если бывает, что в жизни человека проскальзывает тенью живое существо, то у меня такою мимолетной тенью была девушка, которую я любил, когда и я был молод (хотя это

кажется теперь невероятным). А все-таки воспоминанье об этой тени до сей поры есть лучшая реальность моей жизни.

В римских катакомбах на одном из христианских саркофагов начертано заклятье, страшный смысл которого я понял лишь со временем. Там говорится: «Если нечестивец осквернит эту могилу, пусть он переживет всех своих близких». Как археолог, я раскрывал гробницы, тревожил прах, чтобы собрать смешавшиеся с прахом обрывки тканей, металлические украшенья, геммы. Я делал это из любознательности ученого, далеко не чуждой благоговейного почтения. Да не постигнет меня никогда проклятье, начертанное на могиле мученика одним из первых апостольских учеников! Да и как оно могло бы поразить меня? Мне не приходится бояться пережить близких: пока здесь на земле есть люди, всегда найдутся среди них достойные любви.

Увы! Способность любить слабеет и теряется с годами, как и другие силы человеческого духа. Так учит опыт — вот что меня приводит в ужас. Разве я уверен, что не понес и сам такой великой утраты? Разумеется, я и понес бы ее, когда б не эта счастливая встреча, вернувшая мне молодость. Поэты воспевают источник юности: он существует, он бьет из-под земли на каждом шагу. А люди проходят мимо, не вкушая из него!

Моя жизнь переставала быть полезной, но с той поры, как я нашел внучку Клементины, она приобрела вновь оправдание и смысл.

Сегодня я «набираюсь солнца», как говорят в Провансе,— набираюсь на террасе Люксембургского дворца, у статуи Маргариты Наваррской. Солнце весеннее, пьянящее, как молодое вино. Сижу и размышляю. Из головы моей бьют мысли, как пена из бутылки пива. Они легки и забавляют меня своею искрометностью. Я мечтаю,— думается, что это позволительно старичку, который издал тридцать томов старинных текстов и двадцать шесть лет сотрудничал в «Вестнике ученых». Я чувствую удовлетворение, выполнив свой жизненный урок настолько хорошо, насколько это было для меня возможно, и до конца использовав посредственные способности, отпущенные мне природой. Мои старания оказались не совсем напрасны, и — в скромной доле — я содействовал тому возрожденью исторических работ, какое пребудет славой этого неугомонного века. Я несомненно попаду в число десяти — двенадцати ученых, раскрывших Франции древние памятники ее литературы. Обнародование мной поэтических произведений Готье де Куэнси

заложило основу здравой методологии и стало вехой. Только в суровом старческом успокоении я присуждаю себе эту заслуженную награду, и богу, который видит мою душу, известно, причастны ли хоть в малой доле гордость и тщеславие той оценке, какую я даю себе.

Но я устал, в глазах у меня мутится, рука дрожит, и свой прообраз я вижу в тех гомеровских стариках, которые по слабости держались вдалеке от боя и, сидя на валах, стрекотали, подобно кузнечикам в траве.

Так протекали мои мысли, когда трое молодых людей шумно уселись по соседству от меня. Не знаю, приехал ли каждый из них в трех лодках, как обезьяна в басне Лафонтена, но верно то, что втроем они заняли двенадцать стульев. Я с удовольствием их наблюдал,— не потому, чтобы они представляли собою нечто из ряда вон выходящее, но в них я увидел то честное и жизнерадостное выраженье, какое присуще юности. То были студенты. В этом я убедился не столько по книгам в их руках, сколько по самому характеру их облика. Ибо все, кто занимается умственным трудом, узнают друг друга с первого же взгляда по какому-то признаку, общему им всем. Я очень люблю молодежь, и эти юноши мне нравились, несмотря на несколько вызывающие и диковатые манеры, поразительно напоминавшие мне время моего учения. Они, однако, не носили, как мы, длинных волос, ниспадавших на бархатные куртки; не разгуливали, как мы, с изображеньем черепа; не восклицали, как мы: «Проклятие и ад!» Одеты они были прилично, и ни в их костюмах, ни в речи не чувствовалось ни малейшего подражания средневековью. Следует добавить, что они не оставляли без внимания проходивших по террасе женщин и некоторым из них давали оценку в довольно ярких выражениях. Однако их суждения на эту тему не заходили так далеко, чтобы я был вынужден покинуть свое место. Впрочем, когда молодежь прилежна к занятиям, я не сержусь на ее шалости.

Один из них отпустил какую-то вольную шутку.

— Что это значит? — воскликнул с легким гасконским выговором самый низенький и самый черный из троих.— Это нам, физиологам, пристало заниматься живой материей. А вы, Жели, как все ваши собратья, архивисты-палеографы, живете только в прошлом, ну и занимайтесь вашими современницами — вот этими каменными женщинами!

И он указал пальцем на статуи женщин старой Франции, во всей своей белизне стоявшие полукругом под деревьями тер-

расы. Эта шутка, сама по себе пустячная, все же довела до моего сведения, что тот, кого звали Жели, был студентом Архивной школы. Из последующего разговора я узнал, что сосед его, блондин, бледный как тень, неговорливый и саркастичный, был его товарищем по школе и звался Бульмье. Жели и будущий врач (желаю ему со временем стать им) разглагольствовали с большой фантазией и жаром. Поднявшись до умозрительных высот, они играли словами и говорили глупости, свойственные умным людям, иными словами — глупости ужасные. Нет нужды добавлять, что они изрекали самые чудовищные парадоксы. И в добрый час! Не люблю молодых людей чрезмерно рассудительных.

Студент-медик, посмотрев заглавие книги, бывшей в руках у Бульмье, сказал:

— Вот как! Читаешь Мишле?

— Да, я люблю романы,— серьезно ответил Бульмье.

Жели, выделявшийся своей красивой стройной фигурой, властной манерой и бойкой речью, взял книгу и, перелистав, сказал:

— Это Мишле в его последней манере, лучший Мишле. Нет больше повествований. Есть только гнев, восторги, эпилептический припадок из-за фактов, которые он не удостаивает излагать. Детские выкрики, капризы беременной женщины! Воздыхания, и ни одной законченной фразы! Поразительно! — И он вернул книгу товарищу.

«Это дурачество занятно,— подумал я,— и не так уж бессмысленно, как может показаться. В последних писаниях нашего великого Мишле действительно есть некоторая взволнованность, я бы даже сказал — трепетность».

Но студент-провансалец начал утверждать, что история не что иное, как упражнение в риторике, достойное всяческого презрения. По его мнению, единственной и настоящей историей является естественная история человека. Мишле был на правильном пути, когда рассказывал о фистуле Людовика XIV, но тут же опять въехал в старую колею.

Высказав эту основательную мысль, юный физиолог присоединился к группе проходивших мимо приятелей. Оба архивиста, редкие гости в этом саду, чересчур отдаленном от улицы Паради-о-Маре, остались одни и повели беседу о своих занятиях. Жели, кончавший третий курс и готовивший диссертацию, тут же с юношеским восторгом изложил тему. По правде говоря, тема показалась мне удачной, тем более что я и сам поду-

мывал разработать в ближайшее же время ее существенную часть. Дело шло о Monasticon gallicanum [1]. Юный ученый (именую его так в виде предсказания) хотел дать объяснение ко всем доскам, гравированным в 1690 году для сочинения, которое Дом Жермен отпечатал бы и сам, когда бы не помеха, неустранимая, непредвидимая и неизбежная для всех. Умирая, Дом Жермен все же оставил рукопись законченной, в полном порядке. Доведется ли мне сделать то же со своей? Но не в этом дело. Как я понял, г-н Жели намеревался посвятить археологическую заметку каждому аббатству, изображенному скромными граверами для Дома Жермена.

Друг спросил Жели, все ли рукописные и печатные источники по этому предмету ему известны. Тут я насторожился. Они сначала обсуждали подлинные документы и, должен признаться, делали это с достаточною методичностью, несмотря на множество нескладных каламбуров. Затем они дошли до современных критических работ.

— Читал ли ты заметку Куражо? — спросил Бульмье.

«Хорошо»,— подумал я.

— Да,— отвечал Жели,— работа добросовестная.

— А ты читал в «Историческом обозрении» статью Тамизе де Ларока? — спросил Бульмье.

«Хорошо»,— подумал я вторично.

— Да,— отвечал Жели,— и я нашел там ряд полезных указаний.

— А ты прочел «Обзор бенедиктинских аббатств в тысяча шестисотом году» Сильвестра Бонара?

«Хорошо»,— подумал я в третий раз.

— Ей-богу, нет! — ответил Жели.— Да и не знаю, стану ли читать. Сильвестр Бонар — дурень.

Обернувшись, я заметил, что тень уже дошла до того места, где я сидел. Становилось свежо, и я почел нелепым получить ревматизм, слушая дерзости двух самонадеянных юнцов.

«Ну, ну! — сказал себе я, поднимаясь.— Пусть этот болтливый птенчик напишет диссертацию и защитит ее. Он попадет к коллеге моему Кишра́ или другому профессору, которые ему покажут, что он еще не оперился. Считаю его просто сквернословом. И на самом деле, все сказанное им о Мишле, как подумаю сейчас об этом, несносно и переходит всякие границы. Так говорить о старом талантливом учителе! Это гадко!»

---

[1] Галльские монастыри *(лат.)*.

— Тереза, дайте мне новую шляпу, лучший сюртук и палку с серебряным набалдашником!

Но Тереза глуха, как куль с углем, и медлительна, как правосудие. Тому причиной ее годы. Хуже всего то, что она воображает, будто хорошо слышит и легка на ногу, и, гордясь шестидесятилетней честной службой в доме, обслуживает старика хозяина с самым бдительным деспотизмом.

Что я вам говорил!.. Вот и теперь она не хочет дать мне палку с серебряным набалдашником, опасаясь, как бы я ее не потерял. Правда, я довольно часто забываю зонты и трости в омнибусах и книжных лавках. Но сегодня я имею полное основание взять мою старинную трость с серебряным чеканным набалдашником, где изображен Дон Кихот в тот момент, когда он, держа копье наперевес, стремится в бой с ветряными мельницами, а Санчо Панса, воздевая руки к небу, тщетно заклинает его остановиться. Эта палка — все, что получил я из наследства дяди, капитана Виктора, который при жизни больше походил на Дон Кихота, чем на Санчо Пансу, и так же любил драки, как другие их боятся.

Уже тридцать лет ношу я эту палку при каждом знаменательном или торжественном выходе своем из дома, и две фигурки — господина и оруженосца — вдохновляют меня и подают советы. Мне чудится, я слышу их. Дон Кихот мне говорит:

«Крепко размышляй о вещах великих и знай, что мысль — единственная реальность в мире. Возвышай природу до себя, и да будет для тебя вселенная лишь отблеском твоей героической души. Бейся за честь; только это достойно мужчины; а если тебе случится получить раны, лей свою кровь, как благодатную росу, и улыбайся».

А Санчо Панса говорит мне так:

«Оставайся, приятель, тем, чем создал тебя всевышний. Предпочитай корку хлеба, лежащую в твоей суме, жареным овсянкам на кухне господина. Повинуйся хозяину, умному и безумному, и не забивай свои мозги вещами бесполезными. Бойся драк: искать опасности — значит искушать бога».

Но, если несравненный рыцарь и бесподобный оруженосец пребывают как образ на моей палке,— они существуют как действительность в глубинах моей души. Во всех нас есть и Дон Кихот и Санчо Панса, и мы прислушиваемся к ним; но если даже нас убеждает Санчо Панса, то восхищаться должно только Дон Кихотом... Однако довольно болтовни... Пойдем к г-же де Габри по делу, выходящему из круга обычной жизни.

Я застал г-жу де Габри уже одетой в черное и надевающей перчатки.

— Я готова,— сказала она.

«Готова» — такой я находил ее всегда для добрых дел.

Мы сошли с лестницы и сели в карету.

Не знаю, какое тайное наитие боялся я рассеять, прервав молчанье, но вдоль широких пустых бульваров мы ехали, не проронив ни слова, лишь глядя на кресты, надгробья и венки, ждущие у продавца своих могильных потребителей.

Карета остановилась у последних пределов земли живых, перед воротами, где начертаны слова надежды.

Мы шли по кипарисовой аллее, затем свернули на узкую дорожку, проложенную среди могил.

— Здесь,— сказала г-жа де Габри.

На фризе, украшенном опрокинутыми факелами, была вырезана надпись:

СЕМЬЯ АЛЬЕ И СЕМЬЯ АЛЕКСАНДР

Вход к памятнику замыкала решетка. В глубине, над алтарем, покрытым розами, высилась мраморная доска с именами, среди которых я прочел имя Клементины и дочери ее.

То, что я почувствовал при этом, было нечто глубокое и смутное, что выразимо только звуками прекрасной музыки. В старой душе моей я услыхал мелодию небесно-нежных инструментов. С величавой гармонией похоронного гимна мешались приглушенные звуки песнопения любви, ибо душа моя сливала в одно чувство и мрачную серьезность этой минуты, и дорогую сердцу прелесть былого.

Покидая могилу, благоухающую розами, принесенными г-жой де Габри, мы прошли по кладбищу, ни слова не сказав друг другу. Когда мы снова очутились среди живых, язык мой развязался.

— Пока я шел вслед за вами по этим немым аллеям,— сказал я г-же де Габри,— я думал о тех ангелах, с которыми, по словам легенд, встречаются на таинственном рубеже жизни и смерти. Вы привели меня к могиле, неведомой мне, как почти все, что относилось к покоящейся там, среди своих родных; и вот ее могила вновь вызвала переживанья, единственные в моей жизни, а в этой тусклой жизни они — как одинокий свет среди дороги ночью: свет отдаляется тем больше, чем дальше от него уводит путь. На склоне жизни я нахожусь почти у конца спу-

«Преступление Сильвестра Бонара»

ска, и все же, обернувшись, каждый раз я вижу этот свет таким же ярким. Воспоминания теснятся в душе моей. Я — словно старый, мшистый и корявый дуб, что будит стайки певчих птиц, колебля свои ветви. К сожалению, песня моих птиц стара, как мир, и занимательна лишь для меня.

— Эта песня меня пленит,— сказала мне она.— Поделитесь же со мной воспоминаниями и расскажите мне все, как старой женщине: причесываясь сегодня утром, я нашла у себя три седых волоса.

— Встречайте появленье их без грусти,— ответил я,— время ласково лишь с теми, кто принимает его с лаской. И через много лет, когда ваши черные пряди подернутся налетом серебра, вы облечетесь новою красой, не такой яркой, но более трогательной, чем первая, и вы увидите, что муж ваш будет любоваться этой сединой, как черным локоном, который он получил от вас в день свадьбы и носит в медальоне на груди своей, точно святыню. Эти бульвары широки и малолюдны. Здесь мы можем говорить спокойно, продолжая путь. Сначала я расскажу о своем знакомстве с отцом Клементины. Но не ждите ничего замечательного, ничего особенного, иначе вас постигнет большое разочарование.

Господин де Лесе жил на проспекте Обсерватории, в третьем этаже старинного дома, оштукатуренный фасад которого с античными бюстами и большой заросший сад явились первыми образами, запечатлевшимися в моих ребяческих глазах; и когда пробьет неизбежный час, то, несомненно, они последними мелькнут под отяжелевшими моими веками, ибо в этом доме я родился, а в этом саду, играя, научился чувствовать и познавать какие-то частицы нашей древней вселенной. Часы чарующие, часы святые, когда душа со всей своею свежестью обнаруживает мир, ради нее облекшийся ласкающим сияньем и таинственной прелестью. Ведь и на самом деле, сударыня, вселенная — лишь отблеск нашей души.

Матушка моя была созданием, весьма счастливо одаренным. Как птицы, она пробуждалась вместе с солнцем и походила на них своею домовитостью, родительским инстинктом, всегдашнею потребностью петь и какой-то резвой грацией, которую я очень чувствовал, хотя и был совсем дитя. Она являлась душою дома, наполняя его своей хозяйственной и радостною хлопотливостью. Если моя мать отличалась живым характером, то у отца, напротив, была вялая натура. Я вспоминаю безмятежное его лицо, где временами мелькала ироническая улыбка. Человек он был усталый и любил свою усталость. Сидя в боль-

шом кресле у окна, он читал с утра до вечера, и это от него унаследовал я любовь к книгам. У меня в библиотеке есть экземпляры Рейналя и Мабли, испещренные от первой до последней страницы его пометками. Было совершенно безнадежно ожидать, чтобы он занялся чем-нибудь серьезно. Когда же матушка пыталась милыми уловками вывести его из состояния покоя, он качал головой с непреклонной кротостью, составляющей силу бесхарактерных людей. Он приводил в отчаянье бедную женщину, неспособную проникнуться такою созерцательною мудростью и в жизни понимавшую лишь повседневные заботы и радость повсечасного труда. Она считала его больным и опасалась усиления болезни. Но причина его апатии была другая.

В тысяча восемьсот первом году отец мой, поступив в Морское управление при Декре, выказал настоящий администраторский талант. В то время морской департамент развивал большую деятельность, и мой отец с тысяча восемьсот пятого года стал начальником второго административного отдела. В этом году император, осведомленный министром об отце, потребовал от него доклад относительно организации английских морских сил. Эта работа, проникнутая, неведомо для министерского редактора, глубоко либеральным и философским духом, была закончена только в тысяча восемьсот седьмом году, приблизительно через полтора года после разгрома адмирала Вильнева при Трафальгаре. Со времени этого злосчастного дня Наполеон и слышать не хотел о кораблях; он гневно перелистал докладную записку и бросил ее в огонь, крикнув: «Слова! Слова! Слова!» Отцу передавали, будто император был так разгневан, что топтал сапогом рукопись в пылающем камине. Впрочем, такая у него была привычка — в раздражении сгребать ногами жар, пока не опалит себе подошвы.

Отец мой так и не мог оправиться от этой немилости, а бесполезность всех его усилий сделать хорошее дело, конечно, и была причиной той апатии, в какую впал он позже. Наполеон, однако, по возвращении с острова Эльбы призвал его и поручил ему составление бюллетеней и прокламаций к флоту в патриотическом и либеральном духе. После Ватерлоо отец мой, скорее опечаленный, чем изумленный, остался в стороне, и его не беспокоили. Но общий приговор гласил, что он якобинец, кровопийца, один из тех людей, с которыми не знаются. Старший брат моей матери, Виктор Мальдан, пехотный капитан, переведенный на половинный оклад в тысяча восемьсот четырнадцатом году, а в тысяча восемьсот пятнадцатом получивший

чистую отставку, своим задорным поведением усугублял те неприятности, какие причинило отцу падение империи. Капитан Виктор кричал в кофейнях и на общественных балах, что Бурбоны продали Францию казакам, первому встречному показывал трехцветную кокарду, спрятанную в шляпе за подкладкой, вызывающе ходил с палкой, точеный набалдашник которой отбрасывал тень в виде силуэта императора.

Если вы не видели, сударыня, некоторых литографий Шарле, то не можете вообразить себе наружность дяди Виктора, когда он, стянутый по талии сюртуком, расшитым брандебурами, с воинским крестом и букетиком фиалок на груди, прогуливался нелюдимым франтом по Тюильрийскому саду.

Праздность и нетерпимость сообщили дурной тон политическим его пристрастиям. Он оскорблял людей, которых заставал за чтением «Котидьен» или «Белого знамени», и вынуждал их драться с ним на дуэли. Таким путем он ранил, себе на горе и бесчестье, шестнадцатилетнего мальчика. Словом, мой дядя Виктор — полная противоположность человеку здравомыслящему, а поскольку он каждый божий день являлся к нам завтракать и обедать, то его дурная слава переходила и на наш дом. Мой бедный отец жестоко страдал от выходок своего гостя, но, как человек добрый, не закрывал дверей для капитана, презиравшего его всем сердцем.

То, что я рассказываю вам, мне стало ясным много позже. Но тогда мой дядя-капитан вызывал во мне самый искренний восторг, и я давал себе слово походить на него в будущем возможно больше. Одним прекрасным утром я, чтобы положить начало сходству, подбоченился и стал ругаться, точно басурман. Моя чудесная мать дала мне оплеуху так проворно, что, прежде чем заплакать, я некоторое время стоял ошеломленный. Вижу до сих пор старое, обитое желтым трипом кресло, за которым я лил в тот день бесчисленные слезы.

Я тогда был человечком совсем маленьким. Однажды утром отец, по своему обычаю, взяв меня на руки, улыбнулся мне с тем ироническим оттенком, который придавал какое-то особое обаяние вечной его кротости. Пока я, сидя у него на коленях, играл его седыми волосами, он говорил мне о вещах, не очень мне понятных, но сильно занимавших меня именно своей таинственностью. Мне помнится, но, впрочем, без большой уверенности, что в это утро он мне рассказывал о короле Ивето, как о нем поется в песне. Вдруг мы услышали громкий треск, и наши окна задребезжали. Отец спустил меня с колен; его дрожащие протянутые руки болтались в воздухе, лицо застыло,

стало белым, глаза — огромными. Он попытался говорить, но зубы стучали друг о друга. Наконец он смог пробормотать: «Они его расстреляли!» Я не знал, о чем шла речь, и чувствовал какой-то смутный ужас. Позже я узнал, что говорил он о маршале Нее, который пал седьмого декабря тысяча восемьсот пятнадцатого года у стены, окружавшей пустырь, смежный с нашим домом.

Около того же времени я на лестнице часто встречал старика (возможно, что он был и не очень стар); его маленькие черные глазки сверкали необычайно живо на смуглом неподвижном лице. Мне он казался неживым или, по крайней мере, живущим иначе, нежели другие. У господина Денона, куда водил меня отец, я видел мумию, привезенную из Египта; и я искренне воображал, что мумия Денона пробуждалась, когда была одна, выходила из своего золоченого ящика, надевала фрак орехового цвета, пудреный парик и становилась господином де Лесе. Даже и теперь, сударыня, отвергнув это мнение как неосновательное, должен признаться, что господин де Лесе сильно походил на мумию Денона. Этого достаточно, чтобы понять, какой фантастический ужас он мне внушал.

На самом деле господин де Лесе был мелкий дворянин и большой философ. Этот ученик Мабли и Руссо кичился отсутствием предубеждений, а такое притязание уже само по себе являлось большим предубеждением. Я говорю, сударыня, о современнике минувшего века. Боюсь, что не умею быть понятным вам, и уверен, что не могу вас заинтересовать. Все это так от нас далеко! Но я по возможности буду краток. Впрочем, ничего занимательного я не обещал, а ожидать великих приключений в жизни Сильвестра Бонара вы и не могли.

Госпожа де Габри просила меня продолжать, что я и сделал в следующих выражениях:

— Господин де Лесе был резок с мужчинами и учтив с дамами. Он целовал руку у моей матери, не приученной нравами республики и империи к такой любезности. Через него соприкоснулся я с эпохой Людовика Шестнадцатого. Господин де Лесе был географ, и, думаю, никто так не гордился тем, что занимается обликом нашей планеты. При старом режиме он принялся за земледелие по-философски и растратил на это свои поля — все, до единого арпана. Не имея больше ни клочка земли, он завладел всем земным шаром и, основываясь на сообщениях путешественников, составил великое множество карт. Вскормленный чистейшей сутью «Энциклопедии», он не ограничивался тем, что размещал людей на таком-то градусе, мину-

тах и секундах широты и долготы. Он занялся — увы! — их счастьем. Следует заметить, что все люди, занимавшиеся счастьем народов, делали своих ближних весьма несчастными. Господин де Лесе был роялист-вольтерьянец,— порода довольно распространенная в те времена среди «бывших». Он был геометром больше д'Аламбера, философом больше Жан-Жака и роялистом больше Людовика Восемнадцатого. Но любовь его к королю была ничто в сравнении с его ненавистью к императору. Он участвовал в заговоре Жоржа, покушавшегося на жизнь первого консула; следствие или не знало о нем, или пренебрегло им, но его не было в числе обвиняемых. Этой обиды он никогда не мог простить Наполеону; он звал его корсиканским людоедом и говорил, что никогда бы не доверил ему и одного полка,— настолько жалким воякой он его считал.

В тысяча восемьсот тринадцатом году господин де Лесе, давно вдовевший, женился, лет пятидесяти пяти, на очень молодой женщине, которую привлек к рисованию географических карт, но она, подарив его дочерью, умерла от родов. В кратковременный период ее болезни за ней ходила моя мать; она же позаботилась о том, чтобы у ребенка было все необходимое. Ребенка нарекли Клементиной.

Это рождение и эта смерть положили начало знакомству моей семьи с господином де Лесе. Выйдя в то время из ребяческого возраста, я стал мрачен и отупел: я лишился пленительного дара чувствовать и видеть, события и вещи больше не увлекали меня той манящей новизной, в которой и состоит очарованье детских лет. Вот почему и не осталось у меня воспоминаний о времени после рождения Клементины; знаю только, что немного месяцев спустя меня постигло такое горе, что мысль о нем еще теперь сжимает мое сердце. Я потерял мать. Великое молчание, великий холод и великий мрак вдруг завладели нашим домом.

Я впал в какое-то оцепенение. Отец отправил меня в лицей, и только там с большим трудом мне удалось выйти из нравственного столбняка.

В конце концов я оказался не совсем тупицей, и мои преподаватели выучили меня всему, чему хотели, иными словами, немного латинскому и греческому языкам. Я имел дело только с древними. Научился ценить Мильтиада и восхищаться Фемистоклом. Сдружился с Квинтом Фабием,— разумеется, постольку, поскольку для меня была возможна дружба с таким великим консулом. Гордый этими высокими знакомствами, я больше не удостаивал взглядом маленькую Клементину и старого ее

отца; к тому же они скоро уехали в Нормандию, причем я даже не соблаговолил поинтересоваться, вернутся ли они.

Однако же они вернулись, сударыня, они вернулись! Силы природы, небесные влияния, таинственные власти, ниспосылающие людям дар любви, вы знаете, как я увидел снова Клементину! Они вошли в наше печальное жилище. Господин де Лесе ходил уже без парика. Несмотря на лысину с косицами седых волос над багровыми висками, все говорило в нем о здоровой старости. Но кто это с ним под руку? Божественное, лучистое создание, озарившее своим присутствием нашу старую поблекшую гостиную,— ведь это же не видение, это Клементина! Говорю поистине: синие глаза ее, глаза, как барвинок, мне показались чем-то сверхъестественным; и до сих пор я не могу себе представить, чтобы эти две живые драгоценности подверглись тяготам жизни и тленью смерти.

Она немного смутилась, здороваясь с моим отцом, которого не знала. Цвет лица у нее был розоватый, чуть приоткрытые губы улыбались, навевая мечты о бесконечности,— вероятно, потому, что ее улыбка не передавала никакой определенной мысли, а выражала только радость жизни и счастье быть прекрасной. Лицо под розовою шляпкой сияло, как драгоценность в раскрытом ларчике; на ней был кашемировый шарф поверх белого муслинового платья со сборками на талии, а из-под его подола виднелся носок ботинка цвета мордоре... Не улыбайтесь, сударыня,— это моды того времени; и я не знаю, есть ли в теперешних столько простоты, свежести и благонравной прелести.

Господин де Лесе сообщил нам, что навсегда возвращается в Париж, где намерен заняться выпуском исторического атласа, и охотно бы устроился в прежней своей квартире, если она не занята. Мой отец спросил мадемуазель де Лесе, довольна ли она возвращением в Париж. Она была довольна, ибо ее улыбка стала лучезарной. Улыбалась она и окнам, открытым в зеленый, залитый светом сад; улыбалась и бронзовому Марию, сидящему среди развалин Карфагена над циферблатом наших часов в гостиной; улыбалась старым креслам, обитым желтым трипом, и бедному студенту, не смевшему поднять на нее глаза. Как я полюбил ее с этого дня!

Но вот мы уже добрались до Севрской улицы, и скоро будут видны ваши окна. Я очень плохой рассказчик и потерпел бы неудачу, если бы, сверх чаяния, мне вздумалось писать роман. Я долго вас подготовлял к самому рассказу, но передам его лишь в нескольких словах, ибо существует известная утонченность, особое изящество души,— их может оскорбить старик,

самоугодливо распространяясь о любовных чувствах, хотя бы самых чистых. Пройдемте еще несколько шагов по этому бульвару, окруженному монастырями с колокольнями, и пока дойдем мы с вами до той вон — маленькой, рассказ мой будет уже кончен.

Господин де Лесе, узнав, что я кончаю Архивную школу, почел меня достойным сотрудничать в его историческом атласе. Требовалось в последовательном ряде карт установить то, что старик философ называл превратностями царств, начиная с Ноя и кончая Карлом Великим. Голова господина де Лесе являлась складом всех научных заблуждений восемнадцатого века относительно древних времен. В исторической науке я принадлежал к школе новаторов и был в том возрасте, когда плохо умеют притворяться. Присущее старику своеобразное понимание или, вернее, непонимание варварских времен, его упорное желание видеть в глубокой древности честолюбивых государей, лицемерных и жадных прелатов, добродетельных граждан, философов-поэтов и других персонажей, существовавших только в романах Мармонтеля, ужасно огорчали меня и первоначально вызывали с моей стороны всяческие возражения, несомненно весьма разумные, но совершенно бесполезные, а временами и опасные. Господин де Лесе был очень вспыльчив, а Клементина очень красива. В их обществе я проводил часы мучительные и сладостные. Я был влюблен. Я стал малодушен и скоро уступил всем его требованиям по поводу того исторического и политического облика, какой наша земля, носившая и Клементину, должна была иметь в эпоху Авраама, Менеса и Девкалиона.

По мере того как мы чертили карты, мадемуазель де Лесе раскрашивала их акварелью. Склонившись над столом, она двумя пальчиками держала кисть; тень от ресниц падала ей на щеку, окутывая полузакрытые глаза чарующею светотенью. Время от времени она поднимала голову, и тогда я видел ее чуть приоткрытый рот. В красоте ее была такая выразительность, что простое дыхание казалось у нее вздохом, а позы, самые обычные, погружали меня в глубокую задумчивость. Любуясь ею, я соглашался с господином де Лесе в том, что Юпитер деспотически царил в гористых областях Фессалии, а Орфей поступил неосторожно, вверяя духовенству преподавание философии. До сих пор не знаю, был ли я малодушным или был героем, когда делал эти уступки упрямому старику.

Мадемуазель де Лесе, надо сказать, не уделяла мне особого внимания. Такое равнодушие мне представлялось настолько справедливым и естественным, что я даже и не думал жаловаться;

я страдал от этого, но сам того не сознавая. У меня была надежда: мы дошли только до первого ассирийского царства.

Каждый вечер господин де Лесе приходил к моему отцу пить кофе. Не знаю, что их связывало, ибо трудно встретить две натуры, до такой степени противоположные. Отец мой мало чему дивился и многое прощал. С годами он возненавидел всякие преувеличения. Своим мыслям он придавал множество оттенков и никогда не присоединялся к какому-либо мнению без всевозможных оговорок. Эти привычки осторожного ума выводили из себя старого дворянина, сухого и резкого; причем сдержанность противника нисколько не обезоруживала старика, совсем наоборот. Я чуял опасность. Этой опасностью был Бонапарт. Отец не питал к нему никакой нежности, но, послужив под его началом, не любил, когда его бранили, особенно к выгоде Бурбонам, за которыми он числил кровные обиды. Господин де Лесе, более чем когда-либо легитимист и вольтерьянец, возводил к Бонапарту начало всех зол, социальных, политических и религиозных. При таком положении вещей больше всего меня тревожил капитан Виктор. Мой грозный дядя после смерти своей сестры, умевшей сдерживать его, стал окончательно невыносим. Арфа Давида была разбита, и Саул предался своей ярости. Падение Карла Десятого придало дерзости старику бонапартисту, и он проделывал всякого рода вызывающие штуки. Наш дом, чересчур тихий для него, он посещал уже не так усердно. Но изредка, в часы обеда, он появлялся перед нами весь в цветах, как некий мавзолей. Садясь за стол, он, по обыкновению, ругался во все горло, а между кушаньями хвастался своими любовными успехами былого удальца. По окончании обеда он складывал салфетку епископскою митрой, выпивал полграфинчика водки и торопливо уходил, как человек, испуганный мыслью, что придется провести некоторое время без выпивки, с глазу на глаз со старым философом и молодым ученым. Я чувствовал, что если в один прекрасный день он встретится с господином де Лесе, то все пропало. Этот день настал!

На сей раз капитана было почти не видно под цветами; он до такой степени походил на памятник во славу подвигов империи, что хотелось надеть ему на каждую руку по венку из иммортелей. Он был необычайно доволен, и первой особой, осчастливленной его хорошим настроением, оказалась кухарка, которую он обнял за талию, когда она ставила на стол жаркое.

После обеда он отодвинул в сторону стоявший перед ним графинчик, сказав, что «прикончит» водку, когда подадут кофе. Я с трепетом спросил его, не угодно ли ему, чтобы кофе подали

сейчас же. Дядя Виктор был очень недоверчив и совсем не глуп. Моя стремительность показалась ему подозрительной, ибо он как-то особенно глянул на меня и сказал:

— Терпение, племянничек! Не полковому мальчишке трубить отбой, черт побери! Вы, господин магистр, что-то очень торопитесь увидеть, есть ли у меня на сапогах шпоры.

Было ясно: капитан понял, что мне хотелось удалить его пораньше. Зная дядю, я был уверен, что он останется. Он и остался. В моей памяти запечатлелись малейшие обстоятельства этого вечера. Дядя был особенно весел. Одна мысль, что он здесь в тягость, поддерживала его прекрасное настроение. И, право же, он превосходным солдатским стилем рассказал какую-то историю о монашенке, трубаче и пяти бутылках шамбертена, имевшую, вероятно, большой успех по гарнизонам, но рассказать ее вам я бы не решился, даже если бы и помнил. Когда мы перешли в гостиную, он указал на запущенную каминную решетку и со знанием дела объяснил нам употребление трепеля для полировки меди. О политике ни слова. Он берег силы. Среди развалин Карфагена пробило восемь ударов. Это был час господина де Лесе. Несколько минут спустя господин де Лесе с дочерью вошли в гостиную. Вечер начался как обычно. Клементина села за вышивание у лампы с абажуром, который оставлял в легкой тени ее красивую головку и сосредоточивал освещение на ее пальчиках, отчего они почти светились. Господин де Лесе, заговорив о комете, предсказанной астрономами, развил по этому поводу свои теории, которые при всей своей рискованности свидетельствовали об известной умственной культуре. Мой отец, имевший познания в астрономии, высказал ряд здравых мыслей, закончив своим вечным: «А, впрочем, как знать?» Я, со своей стороны, привел мнение нашего соседа из обсерватории — великого Араго. Дядя Виктор утверждал, что кометы влияют на качество вин, в подтверждение чего рассказал одну веселую трактирную историю. Я был так доволен этим разговором, что с помощью недавно мной прочитанного изо всех сил старался поддержать его, пространно разбирая химический состав легких созвездий, которые рассеяны в небесном пространстве на миллиардах километров, но могли бы уместиться в одной бутылке. Отец, немного удивленный моим красноречием, поглядывал на меня с обычной благодушной иронией. Но нельзя же пребывать все время в небесах. Глядя на Клементину, я заговорил о комете из алмазов, которой я накануне любовался в витрине ювелира. На этот раз меня осенило невпопад.

— Племянник! — воскликнул капитан Виктор.— Твоя комета ничто в сравнении с кометой, сверкавшей в волосах императрицы Жозефины, когда императрица приехала в Страсбург раздавать армии кресты.

— Эта маленькая Жозефина весьма любила украшения,— сказал господин де Лесе между двумя глотками кофе.— Я не корю ее за это: невзирая на легкомыслие, в ней было кое-что хорошее. Она ведь из Ташеров и оказала Буонапарте большую честь, выйдя за него замуж. Ташеры — не бог весть что, но Буонапарте — совсем ничто.

— Что вы хотите этим сказать, маркиз? — спросил капитан Виктор.

— Я не маркиз,— сухо ответил де Лесе.— А хочу сказать, что Буонапарте было бы весьма под стать жениться на одной из людоедок, описанных капитаном Куком в своем «Путешествии»,— голых, татуированных, с кольцом в ноздрях, с наслаждением пожирающих гнилое человеческое мясо.

«Я это предвидел»,— подумал я и в этой мучительной тревоге (о, жалкое человеческое сердце!) прежде всего отметил верность моего предвидения. Должен сказать, что капитан ответил в высоком стиле. Он подбоченился, окинул господина де Лесе пренебрежительным взглядом и произнес:

— Кроме Жозефины и Марии-Луизы, господин видам, у Наполеона была еще одна жена. Эту подругу его вы не знаете, а я видал ее вблизи,— на ней лазурная, усеянная звездами мантия и венок из лавров, а на груди сверкает почетный крест: ей имя — Слава.

Господин де Лесе поставил свою чашку на камин и спокойно произнес:

— Ваш Буонапарте — потаскун.

Отец мой неторопливо встал, тихо поднял руку и очень мягко сказал господину де Лесе:

— Каков бы ни был человек, умерший на острове Святой Елены, я десять лет работал в его правительстве, а мой шурин трижды ранен под его орлами. Умоляю вас, милостивый государь и друг мой, впредь этого не забывать.

Что оказалось невозможным для выспренней и шутовской заносчивости капитана, то совершило вежливое увещание отца: оно повергло господина де Лесе в неистовую ярость.

— Я забыл, моя вина! — воскликнул он, бледный, стиснув зубы и с пеною у рта.— Селедочный бочонок всегда пахнет селедкой, и когда послужишь проходимцам...

При этих словах капитан схватил его за горло. Думаю, что он бы задушил его, не будь здесь дочери и не будь меня.

Отец мой, скрестивши руки и более бледный, чем обычно, смотрел на это зрелище с несказанным выражением жалости. То, что последовало, было еще плачевнее. Но к чему останавливаться на безумстве двух стариков? В конце концов мне удалось разнять их. Господин де Лесе сделал знак дочери и вышел. Когда она пошла за ним, я бросился по лестнице ей вслед.

— Мадемуазель,— сказал я, не помня себя и сжимая ее руку,— я люблю вас! Люблю!

На секунду она задержала мою руку в своей; рот ее чуть приоткрылся. Что собиралась она сказать? Но вдруг, подняв глаза на своего отца, всходившего на следующий этаж, она освободила свою руку и распрощалась, кивнув мне головой.

После этого я ее уже никогда больше не видел. Ее отец переехал к Пантеону, в квартиру, нанятую для продажи исторического атласа. Там он и умер несколько месяцев спустя от апоплексического удара. Дочь вернулась к родным в Невер. В Невере она вышла замуж за сына богатого крестьянина, Ашиля Алье.

Я же, сударыня, прожил жизнь тихо, наедине с самим собой; мое существование, без больших радостей и без больших страданий, было довольно счастливо. Но с давних пор зимой, по вечерам, я не могу не чувствовать щемящей боли в сердце, когда сижу у себя и вижу рядом другое, никем не занятое кресло. Давно умерла Клементина. За нею следом ушла и дочь ее в вечный покой. У вас я видел внучку. Пока еще не стану говорить, как некогда сказал библейский старец: «Господи, ныне призови к себе раба твоего». Если старичок вроде меня и может оказаться кому-нибудь полезен, так только этой сироте, которой я намерен посвятить, при вашей помощи, остаток своих сил.

Последние слова я произнес в передней у де Габри и уже собирался попрощаться с милой спутницей, но в это время она сказала:

— Дорогой мой, в этом я не могу помочь вам так, как бы хотела. Жанна сирота и несовершеннолетняя. Вы ничего не можете для нее сделать без разрешения ее опекуна.

— Ах,— воскликнул я.— Мне и в голову не приходило, что у Жанны есть опекун.

Госпожа де Габри взглянула на меня с некоторым изумлением — такой наивности у старика она не ожидала.

Госпожа де Габри мне пояснила:

— Опекун Жанны Александр — господин Муш, нотариус в Леваллуа-Перэ. Боюсь, что сговориться с ним вам будет нелегко,— он человек серьезный.

— Боже мой! С кем же, по-вашему, мне, в моем возрасте, сговариваться, как не с серьезными людьми?

Она улыбнулась, как мой отец, кротко и лукаво, говоря:

— С теми, кто похож на вас. А господин Муш далеко не из таких людей; он не внушает мне доверия. Вам надо будет попросить у него разрешения навещать Жанну, так как он отдал ее в частный пансион в районе Терн, где ей живется не очень хорошо.

Я поцеловал руку у г-жи де Габри, и мы расстались.

Со 2 по 5 мая.

Опекуна Жанны, мэтра Муша, я повидал в его конторе: маленький, тощий и сухой; цвет лица пыльный, как его бумаги. Это — животное очковое, ибо без очков нельзя его себе представить. Я слышал мэтра Муша: у него трескучий голос, и говорит он, подбирая выражения; но было бы гораздо лучше, если бы он их не подбирал. Я наблюдал за мэтром Мушем: он церемонен и украдкой из-за очков приглядывает за своими служащими.

Мэтр Муш счастлив, восхищен — так он сказал мне — моим участием к его питомице. Но он думает, что на земле живут не для забавы. Да, так он думает. Ради справедливости скажу, что, сидя с ним, держишься того же мнения,— так мало занимателен он сам. Он боится, что, доставляя его питомице слишком много удовольствий, ей внушат ложное и пагубное представление о жизни. Вот почему он упрашивал г-жу де Габри брать эту юную девицу к себе лишь в редких случаях.

Я расстался с пыльным нотарием и его пыльной конторой, получив разрешение узаконенного образца (все исходящее от нотариуса Муша — узаконенного образца): в первый четверг каждого месяца посещать мадемуазель Жанну Александр в пансионе Префер, по улице Демур, в районе Терн.

В первый же четверг мая я направился к мадемуазель Префер, чье заведение мне указала еще издали вывеска синими буквами. Синий цвет был первой приметой характера мадемуазель Виргинии Префер, а изучить его в полном объеме я имел случай позже. Оробелая служанка взяла мою визитную карточку и, не подав слова надежды, бросила меня в холодной приемной, где я вдыхал приторный запах, свойственный столовым

учебных заведений. Пол в приемной был навощен с такою беспощадною старательностью, что я в унынии решил остаться у порога; но, по счастью, заметил шерстяные квадратики, разложенные на паркете перед волосяными стульями,— и мне удалось, переступая с одного коврового островка на другой, добраться до камина, где я и сел, совсем запыхавшись.

На камине, в большой золоченой раме, стояла таблица с заголовком витиеватой «готикой»: *Почетная доска*,— но в числе многих имен, написанных на ней, я не имел удовольствия встретить имя Жанны Александр. Перечитав несколько раз имена учениц, заслуживших похвалу мадемуазель Префер, я забеспокоился, не слыша никаких шагов. В своих педагогических владеньях мадемуазель Префер, наверное, достигла бы абсолютной тишины небесных сфер, если бы не бесчисленные стаи воробьев, облюбовавших ее двор как место сбора, чтобы там чирикать сколько влезет. Приятно было слышать их. Но скажите на милость, как их увидеть сквозь матовые стекла? Приходилось ограничивать себя зрелищем приемной, украшенной по всем четырем стенам сверху донизу рисунками пансионерок. Здесь были хижины, цветы, весталки, капители, завитки и непомерная голова сабинского царя Тация, подписанная: «Этель Мутон».

Довольно долго я дивился той энергии, с какою выделила мадемуазель Мутон чащу бровей и свирепые очи древнего воителя, но вдруг слабый шорох, слабее шороха опавшего листка, скользящего по ветру, заставил меня обернуться. Правда, это был не опавший лист, а... мадемуазель Префер. Сложив руки, она скользила по зеркальной поверхности паркета, как некогда святые девы *Златой легенды* по хрустальной глади вод. Но при других условиях мадемуазель Префер, я думаю, не вызвала бы у меня представления о девах, любезных душе мистика. Лицом она напомнила мне яблоко, хранившееся всю зиму на чердаке запасливой хозяйки. Накинутая на плечи пелерина с бахромой сама собой не представляла ничего особенного, но мадемуазель Префер ее носила так, словно то была священная одежда или знак отличия высоких должностей.

Я объяснил цель своего визита и вручил ей разрешение.

— Вы виделись с господином Мушем? — сказала она.— Он в добром здравии? Это такой почтенный человек, такой...

Она не кончила и устремила взор к потолку. Мой взор направился вслед и натолкнулся на бумажную спиральку в виде кружев, подвешенную на месте люстры и, по моим соображениям, предназначенную приманивать мух, а тем самым отвлекать их от золоченых рам Почетной доски и зеркала.

— Встретившись с мадемуазель Александр у госпожи де Габри,— сказал я,— я имел возможность оценить прекрасный характер и живой ум этой девушки. Когда-то я был знаком с ее дедом и бабкой и склонен ту симпатию, какую внушали они мне, перенести и на нее.

Вместо ответа мадемуазель Префер, глубоко вздохнув, прижала к сердцу таинственную пелерину и снова углубилась в созерцание бумажной спирали.

Наконец она сказала:

— Если вы знали супругов Ноэль Александр, то мне хочется думать, что вы, так же как я и господин Муш, горько сожалеете о безумных спекуляциях, которые довели их до разорения, а дочь — до нищеты.

При этих словах я подумал, что быть несчастным — великий грех и что его не прощают тем, кто долго был предметом зависти. Их падение и мстит за нас и льстит нам, а мы безжалостны.

Я признался наставнице со всею откровенностью, что совершенно чужд финансовым делам, и спросил, довольна ли она мадемуазель Александр.

— Это ребенок без узды! — воскликнула мадемуазель Префер.

И она приняла позу, указанную высшей школой верховой езды, изображая символически то положение, какое создает ей ученица, так трудно поддающаяся дрессировке; затем, вернувшись к чувствам более спокойным, продолжала:

— Девочка не глупа. Но не может заставить себя приобретать знания на основе нравственных принципов.

Что за странная особа эта мадемуазель Префер! Ходит она, не поднимая ног, а говорит, не двигая губами. Не задерживая своего внимания на этих особенностях, я ответил, что, конечно, принципы — вещь отличная, и в этом отношении я полагаюсь на ее просвещенность, но в конечном счете, раз человек усвоил знание чего-либо, не все ли равно, каким путем он этого достиг.

Мадемуазель Префер тихо покачала головой. Затем, вздохнув, сказала:

— Ах, господин Бонар, люди, чуждые делу воспитания, имеют о нем весьма ложные понятия. Я верю, что говорят они с самыми добрыми намерениями, но они поступили бы лучше, гораздо лучше, когда бы положились в этом на компетентных лиц.

Я не упорствовал и спросил ее, могу ли я теперь же увидеть мадемуазель Александр.

Она рассматривала пелеринку, словно отыскивая в сплетеньях бахромы, как в книге для гаданий, нужный ей ответ, и наконец сказала:

— Мадемуазель Александр сейчас будет репетировать других. Здесь старшие учат младших. Это называется взаимным обучением... Но я бы очень сожалела, если бы вы обеспокоили себя напрасно. Я велю ее позвать. Разрешите только, для порядка, вписать ваше имя в книгу посетителей.

Она села к столу, раскрыла толстую тетрадь и, вытащив из-под пелерины письмо мэтра Муша, которое она туда засунула, начала писать, спросив:

— Бонар, одно «р», не правда ли? Простите, что останавливаюсь на этой подробности. Но мое мнение, что у собственных имен своя орфография. Здесь пишут диктанты на имена собственные... имена исторические, разумеется.

Вписав ловкою рукою мое имя, она спросила, не может ли к нему прибавить какое-нибудь звание, вроде — бывший коммерсант, чиновник, рантье или что-либо подобное. В ее списке имелась графа для званий.

— Боже мой! Уж если вы, мадемуазель, хотите непременно заполнить эту графу, поставьте: академик.

Я видел перед собой все ту же пелеринку мадемуазель Префер, но той мадемуазель Префер, которая была в нее одета, вдруг не стало. Это была другая личность — приветливая, ласковая, милая, сияющая счастьем. Глаза ее улыбались, улыбались и морщинки на лице (в большом количестве), улыбался рот, но лишь одним углом. Она заговорила: голос был под стать ее виду — он сделался медовый:

— Так вы сказали, что наша милая Жанна очень умна? Я это сама заметила и горжусь тем, что наши мнения сошлись. Эта девица внушает мне поистине большой интерес. Правда, она немпого резва, но у нее есть то, что я зову счастливым характером. Впрочем, извините, что я злоупотребляю вашим драгоценным временем.

Она позвонила, вошла служанка, больше прежнего растерянная и оробелая, и затем исчезла, получив распоряжение уведомить мадемуазель Александр, что г-н Бонар, академик, ждет ее в приемной.

Мадемуазель Префер едва успела мне признаться, что проникнута глубоким уважением ко всем без исключения постановлениям Академии, как вошла Жанна,— запыхавшись, красная, словно пион, широко раскрыв глаза и болтая руками,— очаровательная в своей наивной угловатости.

— В каком вы виде, милое дитя! — с материнской нежностью посетовала мадемуазель Префер, оправляя ей воротничок.

Действительно, вид у Жанны был довольно чудной. Волосы, зачесанные назад, выбивались из-под сетки; худые руки, запрятанные до локтей в люстриновые рукава, красные, обмороженные кисти рук, видимо стеснявшие ее; чересчур короткое платье, не закрывавшее слишком широких чулок и стоптанных ботинок; веревочка для прыганья, завязанная вместо пояса вокруг талии,— все это делало Жанну девицей мало представительной.

— Баловница! — вздохнула мадемуазель Префер, на этот раз приняв вид уже не матери, а старшей сестры.

Затем она исчезла, скользя по паркету, точно призрак.

Я обратился к Жанне:

— Сядьте, Жанна, и поговорите со мной как с другом. Вам здесь не нравится?

Она замялась, потом с покорной улыбкой ответила:

— Не очень.

Держа в руках концы веревочки, она молчала.

Я спросил ее, неужели она, такая большая, все еще прыгает через веревочку.

— О нет! — торопливо ответила она.— Когда служанка сказала, что меня ждет какой-то господин, я учила малышей прыгать. А веревочку я обвязала вокруг талии, чтобы не потерять. Это неприлично. Извините меня, пожалуйста. Но я так не привыкла принимать посетителей!

— Боже праведный! Почему ваша веревочка могла бы оскорбить меня? Монахини ордена святой Клары подпоясывались веревкой, а это были святые девы.

— Вы очень добры, что пришли меня проведать и говорите со мною так. Я забыла поблагодарить вас, когда вошла, но я уж очень была удивлена. Давно ли вы видели мадам де Габри? Будьте так добры, расскажите мне о ней.

— Госпожа де Габри здорова,— ответил я.— Она в своем прекрасном люзанском имении. Могу о ней сказать вам, Жанна, то, что отвечал старый садовник, когда справлялись у него о владелице замка, его хозяйке: «Барыня на своем пути». Да, госпожа де Габри на своем пути. Вы, Жанна, знаете, насколько этот путь хорош и каким ровным шагом она идет по нему. Недавно, до отъезда ее в Люзанс, я был с ней далеко, очень далеко, и говорили мы о вас. Мы говорили о вас, дитя мое, на могиле вашей матери.

— Мне очень приятно,— сказала Жанна.

И она заплакала.

Я не мешал девичьим слезам из уваженья к ним. Затем, пока она вытирала себе глаза, я попросил рассказать, как ей живется в этом доме.

Я узнал, что она одновременно и ученица и наставница.

— И вам приказывают, и вы приказываете. Такое положение вещей встречается нередко в жизни. Претерпите его, дитя мое.

Но из ее слов я понял, что ни ее не учили, ни она не учила, а на ее обязанности лежало одевать детей младшего класса, умывать их, учить благоприличию, азбуке, шитью, устраивать им игры и после молитвы укладывать их спать.

— Ах, вот что мадемуазель Префер называет взаимным обученьем! — воскликнул я.— Не могу скрыть от вас, Жанна, что мадемуазель Префер мне совсем не нравится,— хотелось бы, чтобы она была добрее.

— О! Она такая же, как большинство людей,— ответила Жанна.— Хороша с теми, кого любит, и плоха с теми, кого не любит. Но меня-то, думается, она не очень любит.

— А господин Муш? Что он собою представляет, Жанна?

Она поспешно ответила:

— Умоляю, не говорите со мной о нем. Умоляю.

Я внял этой горячей, почти строгой просьбе и переменил тему разговора.

— Вы продолжаете и здесь лепить из воска? Я не забыл феи, которая так поразила меня в Люзансе.

— У меня нет воска,— ответила она, уронив руки.

— Нет воска в пчелином царстве! — воскликнул я.— Я принесу вам воску всех цветов, прозрачного, как драгоценные камни.

— Благодарю вас, сударь, но не делайте этого. Здесь у меня нет времени лепить куклы. Правда, я начала маленького святого Георгия для госпожи де Габри, совсем маленького, в золоченом панцире; но малыши приняли его за куклу, стали им играть и разломали на кусочки.

Она вынула из кармана передника фигурку с вывороченными руками и ногами, которые едва держались на проволочном каркасе. Это зрелище и веселило и печалило ее; веселость взяла верх, и Жанна улыбнулась, однако ее улыбка вдруг замерла.

В дверях приемной с любезным видом стояла мадемуазель Префер.

— Милая деточка! — вздохнув, произнесла нежным тоном начальница пансиона.— Боюсь, что она вас утомляет. Кроме того, минуты ваши драгоценны.

Я попросил ее отбросить эту иллюзию и, встав, чтобы проститься, вынул из карманов несколько плиток шоколада и другие сласти, принесенные с собой.

— О,— воскликнула Жанна,— тут хватит на весь пансион!

Дама в пелерине вмешалась.

— Мадемуазель Александр, поблагодарите же господина Бонара за его щедрость.

Жанна довольно угрюмо посмотрела на нее, затем, обернувшись ко мне, сказала:

— Благодарю вас, господин Бонар, за лакомства, а в особенности за то, что вы были так добры и навестили меня.

— Жанна,— сказал я, пожимая ей обе ручки,— оставайтесь хорошей девочкой и не падайте духом. До свиданья!

Уходя с пакетиками печенья и шоколадом, она нечаянно стукнула ручками скакалки о спинку стула. Возмущенная мадемуазель Префер прижала под пелеринкой обе руки к сердцу, и я уже готовился увидеть, как отлетит ее схоластическая душа.

Когда мы остались одни, к ней вернулось ясное спокойствие, и должен сказать, не льстя себе, что она мне улыбнулась широкою улыбкой.

— Мадемуазель,— сказал я, пользуясь ее добрым настроением,— я заметил, что Жанна Александр несколько бледна. Вы лучше меня знаете, сколь бережного, внимательного отношения требует переходный возраст, в каком она находится. Я бы вас обидел, если бы стал поручать ее вашим заботам более настойчиво.

Эти слова, казалось, восхитили ее. Она самозабвенно уставилась в спираль на потолке и, молитвенно сложив руки, воскликнула:

— Как великие люди умеют снисходить до самых мелочей!

Я ей заметил, что здоровье девушки — не мелочь, и откланялся. Но она меня остановила на пороге и доверительно сообщила:

— Простите мою слабость. Я женщина — и тщеславна. Не могу скрыть от вас, какою честью считаю для себя присутствие члена Академии в моем скромном учебном заведении.

Я простил слабость мадемуазель Префер и, в эгоистическом ослеплении, думая только о Жанне, всю дорогу задавал себе вопрос: «Как нам быть с этим ребенком?»

2 июня.

Сегодня я проводил на Марнское кладбище своего старинного и уже дряхлого коллегу, согласившегося умереть, как говорил Гете. Великий Гете, отличаясь необычайной жизненной силой, был убежден, что умирают лишь тогда, когда этого хотят,— то есть когда силы, сопротивляющиеся конечному распаду, совокупность которых и есть жизнь, оказываются разрушенными все до единой. Другими словами, он думал, что умирают тогда, когда уже не могут больше жить. Прекрасно! Дело только во взаимном понимании, и превосходная мысль Гете, если в нее вникнуть, сведется к песенке о Ля Палисе.

Итак, мой славный коллега согласился умереть благодаря убедительности двух или трех апоплексических ударов, из коих последний не вызвал никаких возражений. При его жизни я мало с ним общался, но, видимо, когда его не стало, я оказался его другом, ибо наши коллеги с проникновенными лицами и веско заявили мне, что я должен держать шнур покрова и говорить речь на могиле.

Очень плохо прочтя маленькую речь, написанную мной насколько можно лучше,— что еще не значит хорошо,— я отправился гулять по рощам Виль-д'Авре, и, даже не очень крепко опираясь на палку капитана, шел по затененной деревьями тропинке, куда дневной свет падал золотыми дисками. Никогда еще запах травы и влажных листьев, никогда еще красота неба и могучее спокойствие деревьев не волновали так глубоко моих чувств, всей души, и среди этой тишины, звеневшей каким-то непрестанным тонким звоном, я ощущал томление и чувственное и благочестивое.

Я сел под купой молодых дубков. И здесь я дал себе обет не умирать или, по крайней мере, не соглашаться умирать раньше, чем вновь не посижу под дубом, среди деревенского покоя и простора, где стану размышлять о природе души и о конечных целях человека. Пчела с коричневым тельцем, сверкавшим на солнце, как темно-золотой доспех, уселась на сумрачно-великолепный цветок мальвы, широко раскрывшийся на пушистом стебельке. Разумеется, столь обычное зрелище я видел не впервые, но в первый раз я наблюдал его с такою благожелательной и сочувственной любознательностью. Я приметил, что между насекомым и цветком существует полная взаимосклонность и множество замысловатых отношений, каких до сей поры я даже не предполагал.

Пчела, напившись нектара, опять куда-то устремилась смелым лётом. Я с трудом поднялся и размял ноги.

— Прощайте! — сказал я пчеле и цветку.— Прощайте! О, если бы я мог еще пожить, чтобы проникнуть в тайну ваших гармоничных отношений. Я очень утомлен. Но человек так создан, что отдыхает от одной работы, лишь взявшись за другую. Цветы и насекомые, коль будет на то божья воля, дадут мне отдохнуть от филологии и дипломатики. Сколько мудрости в древнем мифе об Антее. Я коснулся земли — и я стал новым человеком, и в шестьдесят восемь лет желанья новых знаний рождаются в моей душе, как на дуплистом кряже старой ивы пушатся новые побеги.

4 июня.

В такие нежно-серые утра, окутывающие все предметы какой-то бесконечной прелестью, я люблю смотреть из своего окна на Сену и ее набережные. Я видал лазурное небо, в светозарной ясности раскинувшееся над Неаполитанским заливом. Но наше небо, небо Парижа,— более оживлено, благожелательно и одухотворено: как человеческий взгляд, оно то улыбается, то угрожает, то ласкает, то становится грустным, то веселым. Сейчас оно льет мягкий свет и на людей и на животных, свершающих в Париже свой каждодневный трудовой урок. Вдали, на противоположном берегу, грузчики у пристани Святого Николая выгружают бычьи рога, а подносчики, выстроясь в ряд на сходнях, непринужденно перебрасывают с рук на руки сахарные головы до трюма парохода. На северной набережной извозчичьи лошади вытянулись линией в тени платанов и, уткнувшись мордами в торбочки, спокойно жуют овес, пока их краснолицые кучера пропускают стаканчик у стойки виноторговца, высматривая утреннего седока.

Букинисты выносят свои ящики на парапет. Эти славные торговцы духовной пищей, все время живущие на воле, в развевающихся по ветру блузах, так хорошо обработаны воздухом, дождями, заморозками, туманами, снегами и палящим солнцем, что стали похожи на старинные соборные статуи. Все они — мои друзья, и, проходя мимо их ящиков, я не премину вытащить оттуда книжку, какой у меня не было, хоть я и не подозревал, что ее мне не хватает.

Возвратившись домой, я слышу крики Терезы, обвиняющей меня в том, что я всё рву карманы, а дом набиваю старой бумагой и привлекаю этим крыс. На этот счет Тереза рассудительна; и именно потому, что она рассудительна, я не слушаюсь, ибо, несмотря на свой спокойный вид, всегда предпочитал без-

рассудство страстей мудрости бесстрастия. Но поскольку мои страсти не из числа тех, какие вспыхивают, опустошают и убивают, толпа не видит их. А все-таки они меня обуревают, и не раз случалось, что из-за нескольких страниц, написанных неведомым монахом или отпечатанных скромным учеником Петера Шефера, я терял сон. И если это благородное горение во мне угасает, то лишь потому, что и сам я мало-помалу угасаю. Наши страсти — это мы. Мои старинные книги — это я. Я стар и ссохся, как они.

Легкий ветерок метет вместе с уличной пылью крылатые семена платанов и былинки сена, избежавшие лошадиного рта. Эта пыль — пустяк, конечно, но, видя, как она клубится, я вспоминаю, что в детстве смотрел на вихри такой же пыли,— и душа старого парижанина взволнована. Все то, что открывается передо мной из моего окна: слева — горизонт, доходящий до холмов Шайо, благодаря чему я вижу Триумфальную арку словно каменную глыбу, и Сену — реку славы, и ее мосты, и липы на террасе Тюильри, и расчеканенный, как драгоценность, Лувр эпохи Ренессанса, а справа, к Новому мосту (Pons Lutetiae Novus dictus, как читаешь на старых гравюрах) — древний и глубокочтимый Париж с его шпилями, башнями,— все это моя жизнь, это я сам; и я был бы ничем без всех этих вещей, что отражаются во мне тысячью оттенков моей мысли, животворят меня и вдохновляют. Вот почему я люблю Париж любовью безграничной.

А все-таки я утомлен и чувствую, что отдых невозможен в этом городе, который столько думает, научил думать и меня и постоянно заставляет думать. Как не волноваться среди всех этих книг, раз они будят и утомляют любознательность, не давая ей удовлетворенья? То надо разыскать какую-нибудь дату, то установить точное местонахождение какого-нибудь селения или узнать, что в сущности обозначает такой-то очень интересный старинный термин. Слова?.. Ну да! Слова. Я филолог и, следовательно, их владыка; а они — мои подданные; и, как хороший государь, я отдаю им свою жизнь. Но разве мне нельзя когда-нибудь отречься? Мне видится, что где-то, далеко отсюда, на опушке леса, стоит домик, где я найду необходимый мне покой до той поры, когда я буду объят иным покоем, более великим и на сей раз непреложным. Я мечтаю о скамейке у порога и о полях, полях — куда ни глянет глаз. Но хорошо, если бы там, рядом со мной, мне улыбалось свеженькое личико, отражая и сосредоточивая в себе всю окружающую свежесть; я буду думать, что я дедушка, и пустота в моей жизни заполнится.

Я человек не злой, однако раздражаюсь я легко, и все мои работы доставляли мне не меньше огорчений, чем радостей. Не знаю, как случилось, но в это время я подумал о той весьма неосновательной и не стоящей внимания дерзости, какую допустил по отношению ко мне три месяца тому назад мой юный друг в Люксембургском саду. Я называю его другом не иронически, ибо люблю прилежную молодежь со всеми ее заблуждениями и дерзновеньями. Но все же юный друг мой преступил границы. Великий учитель Амбруаз Паре, заставший хирургию в руках цирюльников и шарлатанов, первый начал перевязывать артерии и поднял хирургию до современной высоты, но в старости подвергся нападкам всех лекарских учеников, едва умевших держать ланцет. Оскорбительно вызванный к ответу молодым ветреником, который, возможно, был прекрасным сыном, но не умел уважать других, старый учитель ответил юноше в своем трактате «О мумии, о единороге, о ядах и чуме». «Прошу его,— сказал великий ученый,— прошу, если у него имеются какие-либо возражения на мой ответ, пусть он отбросит злобу и мягче поступает с добрым стариком». Этот ответ, вышедший из-под пера Амбруаза Паре, изумителен; но, исходи он от деревенского костоправа, поседевшего в работе и осмеянного каким-нибудь юнцом, ответ такого рода тоже был бы достоин похвалы.

Могут подумать, что я припомнил это только по мелкому злопамятству. Я сам подумал так и осудил себя за то, что привязался к мнению юнца, не отдающего себе отчета в своих словах. Но, к счастью, размышления мои на эту тему приняли иное направление,— и только из-за этого я и заношу их в свою тетрадь. Мне вспомнилось, как в том же Люксембургском саду я, на двадцатом году жизни (тому почти полвека), гулял с несколькими товарищами. Мы говорили о наших старых учителях, и кто-то случайно упомянул Пти-Раделя, почтенного ученого, который впервые бросил некоторый свет на происхождение этрусков, но имел несчастье составить хронологическую таблицу любовников Елены. Таблица эта нас очень насмешила, и я воскликнул: «Пти-Радель дурак не в пяти буквах, а в двенадцати томах».

Такого рода юношеские речи слишком легковесны, чтобы тяготить совесть старика. О, если бы и в битве жизни мне было суждено пускать лишь столь же невинные стрелы. Но сегодня я задаю себе вопрос: что, если и я за время своей жизни совершил, сам того не подозревая, нечто такое же смешное, как хронологическая таблица любовников Елены? Вследствие прогресса

знаний становятся ненужными те самые работы, которые больше всего способствовали этому прогрессу. Поскольку эти работы уже не приносят явной пользы, молодежь искренне думает, что они никогда ничем и не были полезны, она пренебрегает ими; и стоит ей найти в них слишком устарелую идею, чтобы она осмеяла всё. Вот почему я в двадцать лет подтрунивал над Пти-Раделем и его таблицей любовной хронологии; вот почему вчера в Люксембургском саду мой юный и непочтительный друг...

Октавий, рассуди, уместен ли твой ропот:
За что щадить того, кто беспощаден сам!

6 июня.

Был первый четверг июня. Я закрыл книги и распростился со святым аббатом Дроктовеем, полагая, что он вкушает райское блаженство и не особенно торопится увидеть свое имя и подвиги прославленными здесь, на земле, в скромной компиляции, вышедшей из-под моего пера. Сказать ли?.. Мальва и посетившая ее пчела, замеченные мной на прошлой неделе, влекут меня сильнее, чем все старинные митрофорные аббаты. Еще сегодня Тереза изловила меня на том, что я рассматриваю в лупу цветы левкоев, стоявших на кухонном окне. В книге Шпренгеля, прочитанной мною в дни ранней юности, когда я читал всё без разбору, есть несколько соображений о любви цветов; и вот теперь, после полувекового забвенья, они приходят мне на ум, пробуждая во мне такую любознательность, что я с грустью думаю, зачем не посвятил скромных своих способностей изучению насекомых и растений.

Так размышлял я, отыскивая галстук. Но, тщетно перерыв множество ящиков, я призвал на помощь Терезу. Она явилась, ковыляя.

— Сударь, надо было сказать мне, что вы уходите, я бы и подала вам галстук.

— А не лучше ли, Тереза, класть его в такое место, где бы я мог его найти без вашей помощи?

Тереза не удостоила меня ответом.

Тереза не оставляет больше ничего в моем распоряжении. Чтобы получить носовой платок, я должен обращаться к ней, а поскольку она глуха, немощна и, сверх того, совсем теряет память, я изнываю от этих постоянных недостач. И в то же время она злоупотребляет своей домашней властью с такой невозмутимой гордостью, что у меня не хватает мужества совер-

шить государственный переворот против правительницы моих шкафов.

— Галстук, Тереза! Слышите вы? Галстук! А если вы доведете меня до отчаяния еще новой проволочкой, то мне понадобится не галстук, а веревка, чтобы повеситься.

— Значит, вы очень торопитесь? Вашему галстуку деваться некуда. У нас ничто не пропадает, потому как я слежу за всем. Только дайте время его найти.

«Так вот результат полувековой преданности! — подумал я.— Ах, если бы неумолимая Тереза, на мое счастье, хотя бы раз, один раз в жизни, нарушила свои служебные обязанности, если бы хоть на минуту провинилась — она не забрала бы такой неколебимой власти надо мною, и я бы смел, по крайней мере, ей противиться. А можно ли противиться добродетели? Страшны люди, не имеющие слабостей: к ним не подступишься. Вот вам Тереза: ее не на чем поймать, ни одного порока. У нее нет сомнения ни в самой себе, ни в боге, ни в окружающем. Это крепкая женщина, евангельская мудрая дева, и если она неведома людям, то хорошо знакома мне. Она мне представляется держащей лампу — простую лампу, какая светит под балкой деревенской крыши, и эта лампа не угаснет никогда в ее протянутой руке — тощей, крепкой, искривленной, как виноградная лоза».

— Тереза, галстук! Несчастная, разве вы не знаете — сегодня первый четверг июня, и меня ждет мадемуазель Жанна. Хозяйка пансиона, конечно, приказала натереть в приемной пол; я уверен, что сейчас в него можно смотреться, и когда я там переломаю себе кости, а этого не миновать,— то я стану развлекаться, рассматривая в нем, как в зеркале, свой грустный лик; но, взяв за образец милого и удивительного героя, изображенного чеканью на палке дяди Виктора, я постараюсь явить душу стойкую и лицо веселое. Полюбуйтесь этим ярким солнцем. Оно позолотило набережные, и Сена улыбается в сиянии бесчисленных морщин. Город в золоте; желтоватая пыль колышется над строем его прекрасных контуров, как будто волосы на голове... Тереза, галстук!.. О! Сегодня я понимаю чудака Кризаля, который прятал галстуки в толстые тома Плутарха. Я последую его примеру и впредь буду класть галстуки между листами *Acta Sanctorum*.

Тереза не препятствовала мне говорить и молча искала галстук. Я услыхал, что кто-то тихо позвонил к нам.

— Тереза, звонят! Дайте галстук и ступайте открывать. Или идите лучше открывать, а галстук, с божьей помощью, да-

дите мне потом. Но только, пожалуйста, не стойте между дверью и комодом, как, извините за выражение, иноходец между двумя седлами.

Тереза пошла к двери, словно на врага. Моя замечательная домоправительница стала весьма негостеприимна. Всякий чужой ей подозрителен. Ее послушать, так это настроение основано на долгом житейском опыте. У меня не оказалось времени сообразить, даст ли тот же самый опыт, но произведенный другим исследователем, такой же результат. В кабинете меня ждал мэтр Муш.

Мэтр Муш еще желтее, чем я думал. У него синие очки, и глаза бегают за ними, как мыши за ширмами.

Мэтр Муш извиняется за беспокойство в момент... Он не дает определения моменту, но, думается, он хотел сказать — когда я без галстука; не по моей вине, как вам известно. Впрочем, мэтр Муш, хотя об этом и не знает, видимо нисколько не обижен. Он только боится, что навязчив. Я успокаиваю его лишь отчасти. Он говорит, что явился побеседовать со мной в качестве опекуна мадемуазель Александр. Для начала он предложил мне не считаться с теми ограничениями, какие раньше он находил нужным внести в данное нам разрешенье посещать мадемуазель Жанну в пансионе. Отныне заведение мадемуазель Префер будет для меня открыто ежедневно с двенадцати до четырех. Ввиду внимания, какое я уделяю его питомице, он считает своим долгом познакомить меня с особой, которой она вверена. Мадемуазель Префер он знает уже давно и доверяет ей вполне. По его словам, мадемуазель Префер женщина просвещенная, благонамеренная и благонравная.

— У мадемуазель Префер есть принципы,— сказал он мне,— а это редко в наше время. Теперь все изменилось, и наша эпоха хуже предыдущих.

— Тому порукой моя лестница,— ответил я,— двадцать лет тому назад она была такой, что я всходил по ней совершенно беспрепятственно, а теперь я задыхаюсь, и у меня подкашиваются ноги на первых же ступеньках. Она испортилась. Точно так же как книги и журналы: некогда без труда проглатывал их при лунном свете, а ныне при самом ярком солнце они смеются над моей любознательностью и представляются какой-то черно-белой рябью, когда я без очков. Подагра донимает мои руки и ноги. Все это — злые проделки времени.

— Не только это,— серьезно продолжил мэтр Муш,— настоящее зло нашей эпохи состоит в том, что решительно никто

не доволен своим положением. В обществе сверху донизу, во всех классах, господствует болезненная, беспокойная жажда благосостояния.

— Боже мой! Неужели вы думаете, что жажда благосостояния — это знамение нашего времени? Ни в одну эпоху люди не имели охоты к плохой жизни. Они всегда стремились улучшить свое положение. Это постоянное усилие вело к постоянным революциям. Оно продолжается, только и всего!

— Ах, господин Бонар, сразу заметно, что вы живете среди книг, вдали от деловой жизни! — ответил мэтр Муш.— Вы не видите, как я, столкновений интересов, борьбы из-за денег. От мала до велика, во всех кипит одно и то же. Все отдались необузданному стяжательству. То, что я вижу, приводит меня в ужас.

Я спрашивал себя, неужели мэтр Муш пришел ко мне нарочно для изложения своей добродетельной мизантропии, но из его уст я услыхал и более утешительные речи. Мэтр Муш изобразил мне Виргинию Префер как личность достойную почтения, уважения, симпатии, преисполненную чести, способную на преданность, образованную, скромную, целомудренную, умеющую читать вслух и класть вытяжной пластырь. Я понял, что мрачную картину всеобщего растления он рисовал лишь для контраста, с целью выделить добродетели учительницы. Мне было сообщено, что заведение на улице Демур в большом спросе, доходно и пользуется общим уважением. Подтверждая свои слова, мэтр Муш простер руку в черной шерстяной перчатке. Затем добавил:

— Благодаря моей профессии у меня есть возможность знать свет близко. Каждый нотариус — немного духовник. Я счел своим долгом, господин Бонар, доставить вам эти благоприятные сведения в тот момент, когда счастливый случай свел вас с мадемуазель Префер. Прибавлю только одно: эта особа, абсолютно не осведомленная о моем визите к вам, недавно говорила мне о вас с глубокой симпатией. Повторив ее слова, я бы ослабил их, да и не мог бы передать их, не обманывая, так сказать, доверия мадемуазель Префер.

— Не обманывайте, сударь, не обманывайте,— ответил я.— По правде говоря, я и не подозревал, что мадемуазель Префер хоть сколько-нибудь меня знает. Во всяком случае, раз вы имеете по старой дружбе на нее влиянье, я воспользуюсь вашим расположением ко мне и попрошу вас походатайствовать перед вашим другом за мадемуазель Жанну Александр. Этот ребенок — а она действительно ребенок — перегружен работой.

В одно и то же время она и ученица и наставница, а потому сильно утомляется. Кроме того, боюсь, что ей дают слишком чувствовать ее бедность, она же натура благородная, и унижения могут довести ее до открытого противодействия.

— Увы! Необходимо подготовить ее к жизни,— ответил мэтр Муш.— На земле существуют не для забавы и не для того, чтобы давать волю всем своим желаниям.

— На земле существуют, чтобы любить добро и красоту и давать волю всем своим желаньям, если они благородны, великодушны и разумны,— горячо возразил я.— Воспитание, не развивающее таких желаний, только извращает душу. Надо, чтобы наставник учил хотеть.

Мне почудилось, что мэтр Муш расценивает меня как человека жалкого. Он вновь заговорил вполне спокойно и уверенно:

— Подумайте о том, господин Бонар, что воспитание бедных надо вести крайне осмотрительно, имея в виду то зависимое положение, какое им придется занять в обществе. Вы, может быть, не знаете, что Ноэль Александр умер неоплатным должником и дочь его воспитывается почти из милости...

— О! господин Муш! — воскликнул я.— Вот этого не надо говорить. Говорить так — значит самому вознаграждать себя, а это было бы уже неправильно.

— Пассив наследства,— продолжал нотариус,— превосходил актив. Но я уладил дело с кредиторами в пользу несовершеннолетней.

Он предложил мне дать подробные разъяснения; я отказался — по неспособности понимать денежные дела вообще, а мэтра Муша в частности. Нотариус снова стал оправдывать систему воспитания мадемуазель Префер и в виде заключения сказал:

— Нельзя учиться, забавляясь.

— Учиться можно, только забавляясь,— ответил я.— Искусство обучения есть искусство будить в юных душах любознательность и затем удовлетворять ее; а здоровая, живая любознательность бывает только при хорошем настроении. Когда же насильно забивают голову знаниями, они только гнетут и засоряют ум. Чтобы переварить знания, надо поглощать их с аппетитом. Я знаю Жанну. Если бы этого ребенка доверили мне, я сделал бы из нее не ученого, ибо желаю ей добра, а ребенка, блещущего умом и жизнью,— такого, чтобы в его душе вся красота природы и искусства отображалась нежным блеском. Она жила бы у меня в духовном единении с красивыми пейзажами, с идеальными образами поэзии и истории, с благородно

трогательной музыкой. Все, к чему мне хотелось бы внушить ей любовь, я сделал бы для нее привлекательным. Даже рукоделье я бы возвысил для нее подбором тканей, характером вышивок и стилем кружевных отделок. Я подарил бы ей красивую собаку и пони, чтобы научить ее ходить за живыми существами; я бы дарил ей птиц, чтобы, кормя их, она узнала цену капле воды и крошке хлеба. Я создал бы еще одну отраду для нее — возможность радостно благотворить. А поскольку горе неизбежно, поскольку жизнь полна страданий, я научил бы ее той христианской мудрости, которая нас поднимает выше всех страданий и красит само горе. Вот как я мыслю воспитание девицы!

— Преклоняюсь,— ответил мэтр Муш, складывая руки в черных шерстяных перчатках.

Он встал.

— Вы понимаете, конечно,— сказал я, провожая его,— что я не собираюсь навязывать мадемуазель Префер мою систему воспитания, глубоко личную и совершенно несовместную с укладом даже лучших пансионов. Я только умоляю вас склонить мадемуазель Префер к тому, чтобы она давала Жанне поменьше работы и побольше отдыха, не унижала ее и предоставила свободу ее душе и телу, насколько это допускает устав учебных заведений.

С бледной и таинственной улыбкой мэтр Муш стал уверять, что замечания мои будут встречены наилучшим образом и с ними будут очень считаться.

Вслед за этим он кивнул мне головой и вышел, оставив меня в состоянии какого-то смущения и беспокойства. В жизни я встречался со всякими людьми, но ни один не был похож на этого нотариуса и на эту содержательницу пансиона.

6 июля.

Мэтр Муш так задержал меня, что на этот день я отказался от своего визита к Жанне. Мои профессиональные обязанности заняли остальные дни недели. Достигнув возраста, когда от дел уходят, я еще связан тысячью нитей с тем миром, в котором жил. Я председательствую на конгрессах, в обществах и академиях. Я обременен почетными должностями; в одном лишь министерстве у меня их добрых семь. Правления и канцелярии охотно отделались бы от меня, так же как и я охотно бы отделался от них. Но привычка сильнее и меня и их, а потому я, ковыляя, взбираюсь по казенным лестницам. После моей смерти

старые служители будут показывать друг другу мою тень, блуждающую по коридорам. Когда ты очень стар, необычайно трудно взять и исчезнуть. Меж тем, как говорится в песенке, пора уйти в отставку и думать о конце.

Старая маркиза, философка, бывшая в молодости другом Гельвеция, которую я видел у своего отца весьма престарелой, заболев в последний раз, приняла у себя кюре, желавшего подготовить ее к смерти.

— Разве это так необходимо? — сказала она ему.— Я вижу, что это прекрасно удается всем с первого же раза.

Спустя некоторое время отец мой навестил ее и застал в очень плохом состоянии.

— Добрый вечер, мой друг,— сказала маркиза, пожимая ему руку,— скоро я увижу, выигрывает ли бог при личном знакомстве с ним.

Вот как умирали красавицы, друзья философов. Такой конец бесспорно не имеет ничего общего с вульгарной дерзостью, и легкомыслия такого рода не бывает в голове у дураков. Но мне оно претит. Мои опасенья и мои надежды несовместимы с таким уходом. Перед уходом я бы желал обдумать все поглубже,— вот почему мне надо будет в течение ближайших лет найти время отдаться самому себе, иначе я рискую... Но шш... Как бы Та, что идет мимо, не обернулась, заслышав свое имя. Я еще могу и без нее поднять свою вязанку.

Жанну я нашел очень довольной. Она мне рассказала, что в прошлый четверг, после того как ее опекун побывал у меня, мадемуазель Префер отменила установленный порядок и освободила Жанну от нескольких работ. С этого блаженного четверга она свободно прогуливается по саду, в котором недостает только цветов да зелени,— и теперь получила возможность работать над своим злосчастным святым Георгием.

Улыбаясь, она сказала мне:

— Я знаю, что всем этим обязана вам.

Я заговорил о другом, но заметил, что она тщетно старается внимательно слушать меня.

— Я вижу, вас занимает какая-то мысль,— сказал я.— Поделитесь ею со мной, иначе мы не скажем друг другу ничего путного, а это будет недостойно ни меня, ни вас.

Она ответила:

— Нет! Я вас слушала; но это верно, что я думала об одной вещи. Вы мне простите, не правда ли? Я думала о том, что мадемуазель Префер, должно быть, очень вас любит, если она вдруг стала так добра ко мне.

И она взглянула на меня с улыбкой, но в то же время испуганно, чему я засмеялся.

— Вас это удивляет? — спросил я.

— Очень.

— Почему же?

— Я совершенно не вижу оснований для того, чтобы вы нравились мадемуазель Префер.

— Значит, вы, Жанна, считаете меня неприятным человеком?

— О нет! Но, право, я не вижу никакой причины, чтобы вы нравились мадемуазель Префер. И все же вы ей очень, очень нравитесь. Она позвала меня к себе и задавала мне всевозможные вопросы относительно вас.

— В самом деле?

— Она хотела разузнать о вашей домашней жизни. Она даже спросила у меня, сколько лет вашей домоправительнице.

— Вот как? Что же вы думаете по этому поводу? — спросил я.

Она долго смотрела неподвижным взглядом на потертое сукно своих ботинок и, видимо, вся ушла в глубокое раздумье. Наконец, подняв голову, сказала:

— Мне что-то подозрительно. Не правда ли, ведь вполне естественно, если тебя тревожит то, чего не понимаешь? Знаю, что я опрометчива, но, надеюсь, вы на меня не сердитесь за это?

— Нет, Жанна, конечно, не сержусь.

Должен признаться, ее недоумение передалось и мне, в моей старой голове вертелась мысль, высказанная этой девушкой: «Тревожит то, чего не понимаешь».

Но Жанна, улыбаясь, продолжала:

— Она меня спросила... угадайте! Она спросила: любите ли вы хороший стол?

— А как воспринимали вы этот поток расспросов?

— Я ей ответила: «Не знаю, мадемуазель». А мадемуазель сказала мне: «Вы дурочка. Необходимо отмечать малейшие подробности в жизни выдающегося человека. Знайте, мадемуазель, что Сильвестр Бонар — одна из знаменитостей Франции».

— Тьфу, пропасть! — воскликнул я.— А вы что думаете об этом?

— Я думаю, что мадемуазель Префер права. Но мне совсем не хочется (это нехорошо так говорить)... совсем не хочется, чтобы мадемуазель Префер была в чем-нибудь права.

— Ну, так будьте довольны, Жанна: мадемуазель Префер не права.

— Нет! Нет! Она вполне права. Но мне хотелось бы любить всех, кто любит вас, всех без исключенья, а этого я не могу,— я никогда не буду в состоянии любить мадемуазель Префер.

— Послушайте меня, Жанна,— ответил я серьезно.— Мадемуазель Префер стала хороша с вами, будьте же и вы хороши с ней.

Она сухо возразила:

— Для мадемуазель Префер очень легко стать хорошей со мной, мне же очень трудно быть с ней хорошей.

Придав особую серьезность своим словам, я возразил на это:

— Дитя мое, авторитет наставников является священным. Ваша начальница вам заменяет мать, которую вы потеряли.

Едва я произнес эту торжественную глупость, как мне пришлось жестоко в ней раскаяться. Жанна побледнела, глаза ее наполнились слезами.

— О! Господин Бонар! — воскликнула она.— Как можете вы говорить такие вещи? Именно вы?

Да, как я мог сказать такую вещь?!

Она повторяла:

— Мама! Милая мама! Бедная мама!

Случайно я не остался глупым до конца. Не знаю, как это произошло, но могло казаться, что я тоже плачу. В моем возрасте уже не плачут — вероятно, коварный кашель вызвал слезы на мои глаза. Словом, тут можно было ошибиться. Жанна и ошиблась. О! Какая чистая, какая лучезарная улыбка сверкнула под ее влажными красивыми ресницами, словно летнее солнце в ветвях после дождя. Мы взялись за руки и так сидели, счастливые, не говоря ни слова.

— Дитя мое,— сказал я наконец,— я очень стар, и много тайн жизни, которые вы постигнете мало-помалу, для меня уже не тайны. Верьте мне: будущее создается прошедшим. Все, сделанное вами для того, чтобы жить здесь хорошо, без горечи и ненависти, послужит вам когда-нибудь для радостной и мирной жизни в своем доме. Учитесь терпеть и будьте кротки. Кто терпелив, тот страдает меньше. А когда у вас будет настоящий повод жаловаться, я приду и выслушаю вас. Если обидят вас, то вместе с вами будут обижены госпожа де Габри и я.

— Как ваше здоровье, дорогой господин Бонар?

Этот вопрос, сопровождаемый улыбкой, задала мадемуазель Префер, потихоньку прокравшись в приемную. Первой моей мыслью было послать ее ко всем чертям, второю — констатировать, что рот ее пригоден для улыбок, как кастрюля для игры

на скрипке, третьей — ответить вежливостью на вежливость и выразить надежду, что мадемуазель Префер вполне здорова.

Она услала Жанну гулять в сад, затем, возложив одну руку на пелерину, другую простирая по направлению к Почетной доске, указала мне имя Жанны Александр, написанное почерком рондо на первом месте.

— С глубокою отрадою я вижу, что вы довольны поведением этого ребенка,— сказал я.— Для меня нет ничего приятнее. А этот удачный результат я склонен приписать вашей сердечной чуткости. Я взял на себя смелость послать вам несколько книг, интересных и поучительных для молодых девиц. Просмотрев эти книги, вы решите, можно ли их дать мадемуазель Александр и ее подругам.

В своей признательности хозяйка пансиона дошла до умиления и рассыпалась в благодарностях. Чтобы положить этому конец, я сказал:

— Сегодня прекрасная погода.

— Да,— ответила она,— и если так пойдет и дальше, то мои девочки будут резвиться в хорошую погоду.

— Вы говорите, разумеется, о каникулах. Но у мадемуазель Александр нет родителей, ей некуда отсюда выйти. Что же будет она делать в этом большом пустом доме?

— Мы предоставим ей возможно больше развлечений. Я сведу ее в музеи и...

Она замялась, затем добавила, краснея:

— ... и к вам, если позволите.

— Вот как! — воскликнул я.— Это замечательная мысль.

Мы расстались в самых дружеских чувствах: я питал их к ней, потому что добился желаемого; она питала их ко мне — бескорыстно, а это, по учению Платона, ставит ее на высшую ступень в иерархии душ.

Я все же с дурным предчувствием вводил эту особу к себе в дом. Мне бы хотелось, чтобы Жанна находилась не в таких руках. Мой склад ума чужд умственному складу мадемуазель Префер и мэтра Муша. Я никогда не знаю, почему они говорят то, что говорят, и поступают так, как поступают; в них есть таинственная глубь, которая меня смущает. Как мне сейчас сказала Жанна: «Тревожит то, чего не понимаешь».

В мои годы, увы, знаешь хорошо, как мало непорочности бывает в жизни; хорошо знаешь, сколько теряется от долгого пребывания в этом мире, и чувствуешь доверие лишь к юности.

Я ждал их. Откровенно говоря, ждал с нетерпением. Чтобы склонить Терезу к хорошему приему, я пустил в ход все свое уменье быть вкрадчивым и быть приятным, но этого оказалось мало. Они пришли. Честное слово, Жанна была очень элегантна. Конечно, ей далеко до бабушки. Но сегодня я впервые заметил, что у нее приятная наружность,— обстоятельство, весьма полезное для женщин в этом мире. Она улыбнулась, и обитель книг повеселела.

Я подглядывал за Терезой, я наблюдал, не смягчится ли суровость старой домоправительницы при появлении юной девушки. Я увидел, как ее тусклые глаза, потом лицо с отвислой кожей, впалым ртом и острым подбородком старой всемогущей феи обратились к Жанне... и больше ничего.

Мадемуазель Префер, вся в синем, то подходила, то отступала, припрыгивала, семенила ногами, восклицала, вздыхала, опускала глаза, поднимала глаза, рассыпалась в учтивостях, робела и смелела, вновь робела и опять смелела, почтительно склонялась,— короче, выкидывала штуки.

— Сколько книг! — воскликнула она.— И вы их все прочли, господин Бонар?

— К сожалению, да,— отвечал я.— Потому-то я ровно ничего не знаю, ибо здесь нет книги, которая не опровергала бы другую, и, ознакомившись со всеми, не знаешь, что же думать. Вот до чего я дошел, мадемуазель.

Тут она позвала Жанну, чтобы поделиться с нею впечатлениями. Но Жанна смотрела в окно.

— Как красиво! — сказала она.— Люблю смотреть, как течет река. Это вызывает столько дум!

Когда мадемуазель Префер сняла шляпку, открыв лоб, обрамленный белокурыми кудряшками, Тереза ухватила ее шляпу, заявив, что не любит, когда на мебели валяется всякое тряпье. Затем она подошла к Жанне и, называя милой барышней, попросила у нее ее «уборы». Барышня отдала Терезе шляпку и короткую мантилью, освободив от них свою хорошенькую шейку и стройный стан, как будто для того, чтобы их нежный контур обрисовался четче на фоне ярко освещенного окна, и я подумал: уж лучше бы полюбовался ею кто-нибудь другой, а не дряхлая служанка, завитая барашком хозяйка пансиона и старый архивный палеограф.

— Вы смóтрите, как Сена искрится на солнце,— заметил я.

— Да,— ответила Жанна, облокотясь о перила.— Будто пламя течет. А посмотрите вон туда, какой прохладной она кажется у берега — там, где отражаются в ней ивы. Этот уголок мне нравится больше всего.

— Я вижу, вас влечет к себе река. Что бы вы сказали, если бы мы, с согласия мадемуазель Префер, отправились в Сен-Клу на пароходе? Мы его еще застанем ниже Королевского моста.

Жанне очень понравилась моя идея, а мадемуазель Префер была готова на все жертвы. Но моя экономка не собиралась так просто отпустить нас. Она увела меня в столовую, куда я с трепетом последовал за ней.

— Сударь,— сказала она, когда мы оказались наедине,— сами вы никогда ни о чем не позаботитесь, и обо всем приходится думать мне. Счастье, что память у меня хорошая.

Я не счел момент удобным для разрушенья этой смелой иллюзии. Она продолжала:

— Вы так и уйдете, не сказавши мне, что́ любит барышня. Вам, сударь, трудно угодить, но по крайности вы знаете, что хорошо. Не то что эти молодые,— в кухне они ничего не смыслят. Частенько что ни есть лучшее считают никуда не годным, а дрянь хорошим по случаю того, что желудок у них еще не установился,— тут уж и не знаешь, как с ними быть. Скажите, барышня любит голубей с горошком и профитроли?

— Милая Тереза, делайте по своему усмотрению — и будет очень хорошо. Дамы удовлетворятся нашим обычным скромным столом.

Тереза сухо возразила:

— Я говорю о барышне: нельзя, чтобы она ушла из нашего дома не подкрепившись. А насчет этой кучерявой старой девы, так, ежели мой обед ей не по вкусу, пусть сосет свои пальцы. Мне наплевать.

Со спокойной душой вернулся я в обитель книг, где мадемуазель Префер вязала так безмятежно, как будто у себя дома. Я сам чуть не поверил этому. Правда, сидя у окна, она занимала не много места. Но она так хорошо подобрала себе скамеечку и стул, точно они и были сделаны по ней.

А Жанна не спускала глаз с картин и книг, окидывая их любовным взглядом, как на прощанье.

— Вот,— сказал я,— перелистайте для развлеченья эту книгу, в ней прекрасные гравюры, она, наверно, вам понравится.

И я раскрыл альбом костюмов, гравированных Вечелью; только не банальную копию, сделанную современными художни-

ками, а, будьте любезны, великолепный, почтенный экземпляр первоиздания, благородного, как благородны дамы, изображенные там на пожелтелых, приукрашенных временем листах.

Перелистывая с наивным любопытством гравюры, Жанна сказала:

— Мы говорили о прогулке, а вы мне предлагаете целое путешествие. Большое путешествие!

— Так вот, мадемуазель, для путешествия надо располагаться поудобнее. Вы же сидите на кончике стула, а стул стоит на полу одной ножкой, и ваши колени устанут от Вечелью. Сядьте хорошенько, поставьте стул прямо, а книгу положите на стол.

Улыбаясь, она повиновалась и сказала:

— Взгляните, вот прекрасный костюм! (То был костюм догарессы.) Как это благородно и какие величавые внушает мысли! Да, роскошь все-таки красива!

— Таких мыслей не высказывают, мадемуазель,— заметила хозяйка пансиона, поднимая от работы свой неправильный носик.

— Это очень невинно,— ответил я.— Бывают широкие натуры с врожденной склонностью к великолепию.

Неправильный носик тотчас опустился.

— Мадемуазель Префер тоже любит роскошь,— сказала Жанна,— она вырезывает из бумаги транспаранты для ламп. Это роскошь недорогая, но все же роскошь.

Вернувшись к Венеции, мы знакомились с патрицианкой, одетой в шитый далматик, как вдруг послышался звонок. Я подумал, что это мальчик из булочной со своей корзинкой, но дверь в обитель книг открылась и... Старый Сильвестр Бонар! Ты только что желал, чтобы глаза иные, а не поблекшие и не в очках, увидели твою любимицу во всем ее очарованье, и вот желания твои осуществились нежданно и негаданно. И так же, как неразумному Тезею, какой-то голос говорит тебе:

> Страшись небес, страшись: уготовляя мщенье,
> Пошлют они тебе желаний исполненье.

Дверь в обитель книг растворилась, и появился красивый, хорошо сложенный молодой человек, сопровождаемый Терезой. Эта простодушная старуха умеет только отворять и затворять входную дверь; она не смыслит ничего в тонкостях передней и гостиной. Не в ее обычае докладывать или просить обождать. Она или выталкивает людей на лестницу, или валит их вам прямо на голову.

Итак, красивый молодой человек передо мною,— но, право, не могу же я сразу запереть его, как опасного зверя, в соседней комнате. Жду его объяснений; он, не смущаясь, излагает их. Но, думается мне, он все-таки заметил девушку, которая, склонившись над столом, перелистывает Вечелью. Гляжу я на него — и либо сильно ошибаюсь, либо я где-то его видел. Его зовут Жели. Это имя я когда-то слышал. Словом, господин Жели (Жели так Жели) весьма хорош собою. Он говорит, что учится на третьем курсе Архивной школы и вот уже год с четвертью или года полтора готовит выпускную диссертацию на тему о бенедиктинских аббатствах в 1700 году. Он только что прочел мои работы по поводу Monasticon и убедился, что не может как следует закончить диссертацию без моих советов,— это прежде всего, и без одной рукописи, находящейся в моем владении и представляющей собой не что иное, как приходо-расходную книгу цистерцианского аббатства с 1663 по 1704 год.

Сообщив эти обстоятельства, он передал мне рекомендательное письмо за подписью славнейшего из моих собратий.

Ага! Я вспомнил: г-н Жели — это тот самый молодой человек, который в прошлом году под каштанами назвал меня дурнем. Развернув рекомендательное письмо, я думаю:

«Так! Так! Бедняга! ты далек от подозренья, что я тебя подслушал и знаю, как ты мыслишь обо мне... или, по крайней мере, мыслил в тот день, ибо юные головы так ветрены. Безрассудный юноша, ты у меня в руках! Ты очутился в логовище льва, и, право, столь внезапно, что старый лев, застигнутый врасплох, не знает, как поступить ему с добычей. Однако, старый лев, останешься ли ты дурнем и сейчас? Если ты не дурак, то был им. Ты был глупцом, когда у статуи Маргариты Валуа стал прислушиваться к словам господина Жели, был глупцом в квадрате, когда ты выслушал его, и глупцом в кубе, если не забыл того, чего не следовало слышать».

Пожурив старого льва, я умолил его быть милосердным, он не заставил тащить себя за шиворот и сразу так повеселел, что еле сдержал радостное рычанье.

По тому, как я читал письмо своего коллеги, я мог сойти за малограмотного. Это тянулось долго, и г-н Жели мог бы соскучиться, но он смотрел на Жанну и терпеливо сносил свою участь. Жанна время от времени поворачивала голову в нашу сторону. Нельзя же сидеть не шелохнувшись, не правда ли? Мадемуазель Префер поправила свои кудряшки, а грудь ее вздымалась от тихих вздохов. Надо сказать, что такими вздохами нередко бывал почтен и я.

— Очень рад быть вам полезным, господин Жели,— промолвил я, складывая письмо.— Вы занимаетесь изысканиями, сильно увлекавшими и меня самого. Я сделал, что мог. Знаю, так же как и вы,— и даже лучше,— сколько надо еще сделать. Рукопись, которую вы просите, в вашем распоряженье: вы можете взять ее с собой; но она не из маленьких, и я боюсь...

— Ничего, большие книги мне не страшны,— сказал Жели.

Я попросил молодого человека обождать и пошел в кабинет за книгой, но сначала не находил ее и даже отчаялся найти, заметив по верным признакам, что Тереза навела порядок в кабинете. Однако книга была так велика и так толста, что Терезе не удалось запрятать ее совсем. Я насилу ее поднял и порадовался тому, что она достаточно увесиста.

«Постой, мой мальчик,— молвил я с улыбкой, которой полагалось быть очень саркастической,— постой: сейчас ее взвалю я на тебя, она натрудит тебе сначала руки, а потом и мозги. Это и будет первой местью Сильвестра Бонара, а затем посмотрим».

Вернувшись в обитель книг, я услыхал голос Жели, говорившего Жанне:

— Венецианки красили волосы желтой краской. Краска у них была медово-желтого и золотистого оттенка. Но бывает натуральный цвет волос, гораздо красивее, чем цвет золота и цвет меда.

Жанна ответила задумчивым, сосредоточенным молчаньем. Я догадался, что в дело замешался плут Вечелью и что они, склонясь над книгой, рассматривали догарессу и патрицианок.

Я появился с огромным фолиантом в надежде, что Жели поморщится: ноша была под стать носильщику и до боли оттянула мне руки. Но юноша поднял ее, как перышко, и, улыбаясь, сунул под мышку. Затем он поблагодарил меня коротко (что я ценю), напомнил о необходимости моих советов и, условившись о дне следующей беседы, весьма непринужденно откланялся нам всем...

Я сказал:

— Милый юноша.

Жанна перевернула несколько страниц Вечелью, ничего не ответив.

Мы отправились в Сен-Клу.

Сентябрь — декабрь.

Визиты к старику шли своим чередом, за что я был глубоко благодарен мадемуазель Префер, которая в обители книг добилась признанного за ней места. Теперь она говорит: мой стул,

моя скамеечка, моя этажерка. Этажеркой ей служит полочка, откуда она выгнала шампанских поэтов, водворив на их место свой рабочий мешочек. Она очень любезна, и надо быть чудовищем, чтобы не полюбить ее. Я ее терплю в полном смысле этого слова. Да и чего не стерпишь ради Жанны? Обители книг она придает очарованье, и мысленно я наслаждаюсь им даже тогда, когда Жанны нет. Она мало образованна, но очень даровита, и когда я хочу показать ей что-нибудь красивое, оказывается, что сам я многого не видел, а красоту мне раскрывает Жанна. Если я до сих пор не мог добиться, чтобы она следила за ходом моих мыслей, то часто мне доставляло удовольствие следить за остроумною причудливостью ее мыслей.

Будь я более благоразумен, я подумал бы о том, чтобы сделать ее полезным человеком. Но разве в жизни не полезно быть милой? В ней нет красоты, но есть большое обаянье. А обаятельность, пожалуй, стоит уменья штопать чулки. Кроме того, я не бессмертен, и она еще не будет старой, когда мой нотариус (не Муш, конечно) прочтет ей некую бумагу, подписанную мной на днях.

Я не согласен, чтобы кто-нибудь другой заботился о ней и наделил ее приданым. Сам я не богат, наследие отца не приумножилось в моих руках,— роясь в старых текстах, капитала не накопишь. Но мои книги, по ценам, существующим теперь на этот благородный товар, кое-чего стоят. Вот здесь, на этой полке, стоят несколько поэтов XVI века, которых будут оспаривать банкиры у владетельных особ. Я полагаю, что этот *Часослов* Симона Вотра не пройдет незамеченным в аукционном зале Сильвестра, так же как и «Praeces piae», переработанные для королевы Клавдии. Я старательно собирал и хранил те редкие и замечательные экземпляры, какие населяют обитель книг, и долго верил, что для моей жизни они необходимы, как воздух или свет. Я очень их любил и до сих пор еще не в силах удержать себя, чтоб им не улыбнуться или не приласкать их. Этот сафьян так приятен глазу, тонкий пергамент так нежен на ощупь! Каждая из этих книг, в силу того или другого присущего ей достоинства, заслуживает уважения порядочного человека. Какой другой владелец сумеет должным образом их оценить? Почем знать, не даст ли новый хозяин погибнуть им в забвении, или не искалечит их причудою невежды? В чьи руки попадет этот несравненный экземпляр «Истории аббатства Сен-Жермен-де-Пре», где на полях сам автор, Дом-Жак Буйар собственноручно сделал очень важные пометки?.. Мэтр Бонар, ты старый сумасброд. Сегодня Тереза, бедное создание, прикована к постели

жестоким ревматизмом. Должна прийти Жанна со своей дуэньей, и, вместо того чтобы подумать об их приеме, ты размышляешь о разных пустяках. Сильвестр Бонар, помяни мое слово, тебе ни в чем не преуспеть.

И точно — я вижу из окна, как они выходят из омнибуса. Жанна спрыгивает, словно кошечка, а мадемуазель Префер доверила крепкой руке кондуктора свою особу со стыдливой грацией Виргинии, уцелевшей при кораблекрушенье и на этот раз безропотно позволившей себя спасти. Жанна поднимает голову, видит меня и делает мне неуловимый знак сердечной дружбы. Я замечаю, что она хорошенькая. Все же не так, как ее бабушка. Но ее прелесть стала радостью и утешеньем такому старому безумцу, каков я. А что подумают о ней безумцы юные (они еще встречаются) — не знаю; да это и не мое дело... Но неужели надо повторять тебе, мой друг Бонар, что Тереза слегла в постель и ты должен сам отворить дверь?

Отворяй, дедушка Мороз... звонит Весна.

Действительно, это Жанна, вся розовая Жанна. Мадемуазель Префер, запыхавшись и негодуя, отстала на целый этаж.

Я объявил им, что домоправительница захворала, и предложил пообедать в ресторане. Но Тереза, всемогущая и на одре болезни, решила, что обедать надо дома. По ее мнению, люди приличные не обедают в ресторанах. К тому же она предусмотрела все. Для обеда все куплено, приготовит его швейцариха.

Дерзновенной Жанне вздумалось пойти взглянуть, не нужно ли чего больной старухе. Вы, разумеется, хорошо представляете себе, что ее быстро выпроводили в гостиную, однако не так сурово, как можно было опасаться.

— Уж коли, не дай бог, явится нужда за мной ходить,— было ей сказано,— так я найду кого другого, а не такую милочку, как вы. Мне надобен покой. А для этого товара на вашем рынке нету лавочки под вывеской «Молчи-помалкивай». Идитека резвиться, а не сидите тут. Это нездорово: старость прилипчива.

Передав нам эти слова, Жанна добавила, что ей очень нравится язык старой Терезы. В ответ на это мадемуазель Префер упрекнула ее в отсутствии изысканного вкуса. Я сделал попытку оправдать Жанну свидетельством многих ревнителей родной речи, утверждавших, что они учились родному языку у грузчиков с сенной пристани и у старых прачек. Но у мадемуазель Префер вкусы чересчур изысканны, и мои доводы ее не убеждают.

Тем временем Жанна с умоляющим лицом попросила у меня разрешения надеть белый фартук и пойти на кухню заняться обедом.

— Жанна,— ответил я серьезно, по-хозяйски,— чтобы колотить тарелки, бить блюда, уродовать кастрюли и вышибать днища в котелках, я думаю, вполне достаточно противного существа, поставленного Терезой на работу в кухне, ибо сейчас мне чудится там грохот разрушенья. Во всяком случае, вам, Жанна, я поручаю изготовление десерта. Ступайте за белым фартуком, я повяжу его вам собственноручно.

Я торжественно завязал на ее талии полотняный фартук, и она бросилась в кухню готовить, как позже мы узнали, тонкие блюда.

Мне не пришлось хвалить себя за этот распорядок, ибо мадемуазель Префер, оставшись со мной наедине, повела себя так, что я встревожился. Тяжко вздыхая, она взглянула на меня горящими и влажными от слез глазами.

— Мне жаль вас,— начала она,— такой человек, как вы, человек исключительный, живете одиноко, в обществе грубой служанки,— ведь что ни говорите, она груба! Какое ужасное существованье! Вам нужны покой, уход, внимание и всяческая заботливость; вы можете и заболеть. Каждая женщина, без исключений, почла бы честью носить ваше имя и разделять вашу жизнь. Нет! Исключенья быть не может: так говорит мне сердце.

И это сердце, готовое ежеминутно выпрыгнуть, она прижала обеими руками.

Я был буквально в отчаянии. Я попытался указать мадемуазель Префер, что не намерен на склоне дней менять свой образ жизни и чувствую себя счастливым ровно настолько, насколько это допускает моя натура и судьба.

— Нет! Вы не счастливы! — воскликнула она.— Вам нужна душа, способная понять вас. Выйдите из вашего оцепененья, посмотрите вокруг себя. У вас широкий круг отношений, прекрасные знакомства. Академик не может не бывать в обществе. Глядите, судите, сравните. Здравомыслящая женщина вам не откажет в своей руке. Я женщина, и мой инстинкт не может обмануть меня; какое-то чувство мне говорит, что счастье вы найдете в браке. Женщины такие преданные, такие любящие (не все, конечно, но найдутся) и к тому же очень неравнодушны к славе! У вашей кухарки нет больше сил; она глуха, она калека. Вдруг что-нибудь случится с вами ночью! Видите, при одной мысли об этом я дрожу.

Она действительно дрожала; она жмурила глаза, сжимала кулаки и отбивала ногами дробь. Мое уныние дошло до крайнего предела. С каким неимоверным жаром она опять заговорила!

— Ваше здоровье! Ваше драгоценное здоровье! Я бы с восторгом отдала всю кровь свою для сохранения жизни ученого, литератора, человека заслуженного, академика. Я презирала бы женщину, не сделавшую этого. Послушайте, я знала жену одного великого математика, который делал вычисления целыми тетрадями и наполнял ими все шкафы в своей квартире. У него была болезнь сердца, он таял на глазах. И рядом с ним я видела его жену — совершенно спокойной! Я не сдержалась и однажды сказала ей: «Дорогая, у вас нет сердца. Я бы на вашем месте... я бы... просто не знаю, что бы сделала!»

В изнеможении она остановилась. Мое положение было ужасно. Высказать мадемуазель Префер начистоту мое мнение о ее советах — нечего было и думать. Ибо поссориться с ней — значило потерять Жанну. А потому я отнесся мягко к происшедшему. Кроме того, она была моей гостьей; это соображенье помогло мне сохранить известную учтивость.

— Я очень стар, мадемуазель,— ответил я,— и опасаюсь, что ваши советы немножко запоздали. Во всяком случае, я подумаю. А теперь придите в себя. Вам хорошо бы выпить стакан сахарной воды.

К моему великому изумлению, эти слова разом утихомирили ее, и она спокойно уселась в своем углу, у своей полочки, на своем стуле, положив ноги на свою скамейку.

Обед совсем не удался. Мадемуазель Префер ушла в мечты и не обратила внимания на это. Обычно я весьма чувствителен к такого рода злоключеньям, но оно так веселило Жанну, что в конце концов и я повеселел. Несмотря на свой преклонный возраст, я до сих пор не знал, что курица, сырая с одного бока и сожженная с другого, представляет собою нечто крайне забавное,— этому научил меня звонкий смех Жанны. Наша курица вызвала множество остроумных замечаний, уже забытых мною, и я был восхищен тем, что ее зажарили так нелепо.

Конец обеда был не лишен прелести, когда юная девушка в белом фартуке, тоненькая, стройная, подала приготовленное ею самой блюдо из взбитых белков. В бледно-золотистом соусе они блестели, целомудренно сверкая и распространяя тонкий аромат ванили. Жанна их поставила на стол с невинной грацией шарденовской хозяйки.

В глубине души я был встревожен. Мне казалось почти немыслимым поддерживать добрые отношения с мадемуазель

Префер, в которой разыгрались брачные страсти. А уйдет учительница — прощай и ученица! Когда же эта добрая душа пошла надевать свою мантилью, я воспользовался минутой, чтобы совершенно точно узнать, сколько Жанне лет. Ей оказалось восемнадцать лет и один месяц. Я посчитал на пальцах, и вышло, что ее совершеннолетие наступит лишь через два года и одиннадцать месяцев. Как быть все это время?

Расставаясь со мною, мадемуазель Префер взглянула на меня так выразительно, что у меня по телу забегали мурашки.

— До свиданья,— внушительно сказал я Жанне.— Выслушайте меня: друг ваш стар, и вы можете потерять его. Обещайте никогда не терять самое себя, и я буду спокоен. Да хранит вас бог, дитя мое!

Заперев дверь, я растворил окно, чтобы еще раз взглянуть на Жанну, когда она выйдет на улицу. Ночь была сумрачная, и я лишь смутно различил две тени, скользившие по темной набережной. До меня донесся неумолчный глухой рокот города, и сердце мое сжалось.

15 декабря.

Фульский король хранил золотой кубок, подаренный ему на память любимой женщиной. Близкий к смерти и чувствуя, что пьет в последний раз, король забросил кубок в море. Эту тетрадь воспоминаний я храню, как старый властелин туманных морей хранил чеканный кубок, и так же, как утопил он драгоценный дар любви, сожгу я свой отчет о жизни. Конечно, не из надменной скрытности и себялюбивой гордости я уничтожу этот памятник скромной своей жизни, но из опасенья, что вещи, мне дорогие и святые, по неискусности моей будут казаться смешными или пошлыми.

Говорю это безотносительно к последующему. Спору нет, я был смешон, когда, явившись по приглашению мадемуазель Префер обедать, сидел в бержерке (то была действительно бержерка) по правую руку от этой тревожащей меня особы. Стол накрыт был в маленькой гостиной. Щербатые тарелки, разнокалиберные стаканы, ножи, болтавшиеся в черенках, и вилки, бурые от ржавчины,— все, что сразу отбивает аппетит у порядочного человека, оказалось налицо.

Обед, как доверительно мне сообщили, устроен был ради меня — одного меня, хотя на нем присутствовал и мэтр Муш. Взбрело же в голову мадемуазель Префер, что в отношении масла у меня сарматский вкус: поданное масло оказалось совершенно прогорклым.

Жаркое отравило меня вконец. Зато я с удовольствием слушал, как мэтр Муш и мадемуазель Префер высказывались о добродетели. Я сказал «с удовольствием», а надлежало сказать — со стыдом, ибо выраженные ими чувства были слишком тонки для грубой моей натуры.

На основании их слов мне было ясно, как день, что преданность для них — хлеб насущный, а самопожертвование необходимо им, как воздух и вода. Заметив, что я не ем, мадемуазель Префер изо всех сил старалась преодолеть то, что по доброте своей называла моей скромностью. Жанны не было на этом торжестве, потому что, как мне сказали, ее присутствие, противное уставу, нарушило бы равенство, столь необходимое среди такого количества юных учениц.

Унылая служанка подала скудный десерт и ускользнула, словно тень.

Тогда мадемуазель Префер с большой восторженностью сообщила мэтру Мушу все, о чем говорила мне в обители книг, когда хворала моя домоправительница: свое восхищенье академиком, свой страх, что я в болезни окажусь один, уверенность, что женщина интеллигентная почтет за честь и счастье делить со мною жизнь; она не скрыла ничего, наоборот — добавила еще не мало новых глупостей. Мэтр Муш одобрительно кивал головой и щелкал орехи. Выслушав весь этот вздор, он приятно улыбнулся и спросил, каков был мой ответ.

Положив одну руку на сердце, другой указывая на меня, мадемуазель Префер воскликнула:

— Он такой любящий, такой недосягаемый, такой великий и такой добрый! Он ответил... Но нет, не мне, простой женщине, говорить словами академика,— довольно, если я передам их суть. Он ответил: «Да, я понимаю вас, и я согласен».

С этими словами она взяла мою руку. Мэтр Муш, растроганный, поднялся с места и завладел другой моей рукой.

— Поздравляю вас, господин Бонар,— сказал он мне.

Бывали в моей жизни случаи, когда меня брал страх, но никогда я не испытывал такого омерзительного ужаса.

Я высвободил руки и, встав, чтобы придать возможно бо́льшую значительность своим словам, произнес:

— Мадемуазель, или в то время я плохо выразился, или сейчас я плохо понял вас. В обоих случаях необходимо привести все в ясность. Позвольте, мадемуазель, высказаться напрямик. Нет, я не понял вас; нет, я ни на что не соглашался: мне совершенно неизвестно, какие виды на меня вы можете иметь, если только вы их имеете. Во всяком случае, жениться я не

собираюсь. В моем возрасте это было бы непростительным безумием, и я еще сейчас не представляю, как вы, такая здравомыслящая женщина, могли мне посоветовать жениться. Я даже имею все основания думать, что ошибся и ничего подобного вы мне не говорили. В таком случае простите старика, отвыкшего от света, не созданного для разговора с дамами и глубоко огорченного своей ошибкой.

Мэтр Муш тихонько сел на свое место и, так как орехи были съедены, стал резать пробку.

Несколько секунд мадемуазель Префер разглядывала меня жесткими кругленькими глазками, каких я у нее еще не видел, затем вновь обрела свою слащавую любезность. Медовым голосом она воскликнула:

— Ах, эти ученые! Эти кабинетные люди! Совсем как дети! Да, господин Бонар, вы настоящий ребенок.

Обернувшись к притихшему и занятому пробкой нотариусу, она молящим голосом сказала:

— О! Не осуждайте его! Не осуждайте! Не думайте о нем плохого, прошу вас. Не думайте! Неужели мне надо вас просить об этом на коленях?

Мэтр Муш исследовал со всех сторон пробку, ничем другим не проявив себя.

Я был в негодовании; судя по жару в голове, щеки мои, должно думать, сильно раскраснелись. Это обстоятельство оправдывало те слова, которые я услыхал сквозь шум в висках:

— Наш бедный друг меня пугает. Господин Муш, будьте добры отворить окно. Мне кажется, ему поможет компресс из арники.

Я выбежал на улицу с невыразимым чувством отвращения и ужаса.

20 декабря.

Целую неделю я ничего не слышал о заведении Префер. Не в силах оставаться дольше без вестей о Жанне и полагая сверх того, что у меня есть долг перед самим собою — не отступать, я направил путь свой в Терн.

Приемная мне показалась еще более холодной, сырой, неуютной и коварной, а служанка еще более испуганной и молчаливой, чем когда-либо. Я спросил Жанну, и спустя довольно долгое время явилась сама мадемуазель Префер, степенная, бледная, с поджатыми губами и жестким взглядом.

— Господин Бонар,— произнесла она, скрестив под пелериной руки,— я крайне сожалею, что не могу вам разрешить

увидеться сегодня с мадемуазель Александр, но это невозможно.

— Почему же?

— Причины, обязывающие меня просить вас сократить количество ваших посещений, носят особо щекотливый характер, и я прошу вас избавить меня от неприятности излагать их вам.

— Мадемуазель, я уполномочен опекуном Жанны видеть ее хоть каждый день. Какие же могут быть у вас основания идти наперекор желаньям мэтра Муша?

— Опекун мадемуазель Александр (она налегла на слово «опекун», как на солидную точку опоры) желает так же горячо, как я, положить конец вашим домогательствам.

— Если так, благоволите изложить мне основания его и ваши.

Она взглянула на бумажную спираль и с грозным спокойствием ответила:

— Вы этого хотите? Как ни тягостно для женщины объяснение такого рода, я уступаю вашим требованиям. Мой дом, милостивый государь, дом уважаемый. На мне лежит ответственность: я обязана, подобно матери, блюсти каждую из учениц. Ваши домогательства по отношению к мадемуазель Александр не могут продолжаться без вреда для этой девушки. Мой долг их прекратить.

— Я вас не понимаю,— ответил я.

И это была истинная правда. Она добавила с расстановкой:

— Люди, самые уважаемые и совсем не склонные к подозрениям, истолковывают ваши домогательства в таком духе, что я обязана прекратить их возможно скорее и в интересах пансиона, и в интересах мадемуазель Александр.

— Мадемуазель,— вскричал я,— на своем веку я слышал много глупостей, но ни одна не может сравниться с той, какую вы только что сказали!

Ответ ее был прост:

— Ваши оскорбления меня не задевают. Когда исполняешь долг, чувствуешь себя неуязвимой.

Она прижала пелерину к сердцу — на этот раз не для того, чтобы удержать его, а несомненно с целью приласкать за благородство.

— Мадемуазель,— сказал я, указывая на нее пальцем,— вы возбудили негодование старика. Постарайтесь, чтобы старик забыл о вас, и не прибавляйте новых дурных дел к тем, какие мне уже открылись. Предупреждаю, я не оставлю попеченья о мадемуазель Александр. Горе вам, если вы чем-нибудь обидите ее.

По мере того как горячился я, мадемуазель Префер становилась спокойнее и с удивительным хладнокровием ответила:

— Милостивый государь, для меня достаточно ясен характер вашего интереса к этой девице, и я должна избавить ее от того попечения, каким вы мне грозите. Принимая во внимание более чем двусмысленную интимность вашего сожительства с домоправительницей, мне следовало бы еще раньше оградить невинного ребенка от соприкосновения с вами. Так я и сделаю на будущее время. Если же я до этих пор была чересчур доверчивой, то в этом упрекнуть меня имеет право только мадемуазель Александр, а не вы; но благодаря мне она слишком чиста, слишком простодушна, чтобы заподозрить характер той опасности, какой подвергали ее вы. Надеюсь, вы не заставите меня разъяснить все это ей.

«Ну, бедный Бонар,— подумал я, пожав плечами,— надо же было тебе дожить до сей поры, чтоб узнать, какой бывает злая женщина. Теперь ты знаешь это в совершенстве».

Я вышел, не ответив, и с удовольствием заметил по внезапному румянцу, залившему лицо хозяйки пансиона, что мое молчанье задело ее гораздо больше, чем слова.

Я проходил двор, поглядывая во все стороны в надежде увидеть Жанну. Она подстерегала меня и бросилась ко мне.

— Жанна, если тронут хоть один ваш волос, напишите мне. Прощайте!

— Нет! До свиданья!

Я ответил:

— Да! Да! До свиданья! Пишите мне!

Я пошел прямо к г-же де Габри.

— Господа в Риме. Разве вы этого не знали?

— Правда! Госпожа де Габри писала мне об этом.

В самом деле, она писала мне, и я, видно, совсем потерял голову, если забыл об этом. Слуга, наверное, так и думал, ибо он посмотрел на меня, как будто говоря: «Господин Бонар впал в детство», и перегнулся через перила лестницы взглянуть, не выкинул ли я чего-нибудь необычайного. Я сошел с лестницы как подобает, и он разочарованно вернулся в комнаты.

Придя домой, я узнаю, что в гостиной сидит Жели. Этот юноша меня усердно посещает. У него, конечно, нет основательных суждений, но ум незаурядный. На этот раз его приход только смутил меня. «Увы! — подумал я.— Сейчас скажу своему юному другу какую-нибудь глупость, и он тоже подумает, что я «сдаю». Однако не могу же я объяснить ему, что мне сделали предложение жениться, что обозвали меня развратником,

что Тереза на подозрении, а Жанна остается в руках злодейки. Нечего сказать, прекрасное состояние духа, чтобы толковать о цистерцианских аббатствах с молодым, да еще недоброжелательным ученым! Вперед, однако же, вперед!»

Меня остановила Тереза.

— Какой вы красный, сударь! — произнесла она с укоризной.

— Это все весна,— ответил я.

— Весна! В декабре-то месяце? — воскликнула она.

Действительно, сейчас декабрь. Ах! Что у меня за голова,— нечего сказать, хороша опора для бедной Жанны!

— Тереза, возьмите палку и, если это осуществимо, поставьте в такое место, где я могу ее найти.— Здравствуйте, господин Жели. Как поживаете?

Без даты.

На следующий день старик хотел подняться — и не мог. Невидимая рука, державшая его в постели, была сурова. В полном смысле слова прикованный к постели, старик покорился и решил не двигаться, но его мысли копошились.

Очевидно, у него был сильный жар, ибо мадемуазель Префер, аббаты из Сен-Жермен-де-Пре и дворецкий г-жи де Габри являлись ему в самых причудливых образах. Вот и сейчас дворецкий вытянулся у него над головой, строя гримасы, точно химера на соборном водостоке. Мне чудится, что в комнате очень много, чересчур много народа.

Обстановка этой комнаты — в старинном духе; на стене, оклеенной обоями с зелеными «травами», висит портрет моего отца в парадной форме и портрет матери в кашемировом платье. Я это знаю, и знаю даже, что тут все основательно поблекло. Но стариковской комнате нет нужды быть кокетливой; достаточно, чтобы она была опрятной, а об этом заботится Тереза. К тому же комната довольно своеобразна, и это нравится моей душе, все еще немного ребячливой и склонной к пустякам. На стенах и среди предметов обстановки есть вещи, которые обычно беседуют со мной и меня тешат. Но что им нужно от меня сегодня? Они брюзжат, грозятся и строят рожи. Вот статуэтка, слепок с богословской Добродетели из собора Богоматери, что в Бру, такая наивная и грациозная обычно, теперь кривляется и показывает мне язык. А вот прекрасная миниатюра, где самый трогательный из учеников Жана Фуке изобразил себя в то время, когда он, стоя на коленях, препоясанный веревкою сынов святого Франциска, подает свою книгу доброму герцогу

Ангулемскому; но кто же вынул ее из рамы и подменил большой кошачьей головой, уставившейся на меня фосфорическими глазами? Травы на обоях тоже превратились в головы, зеленые и безобразные... Нет, нет, сегодня, как и двадцать лет тому назад, это набойчатые травы, и больше ничего... Нет, я был прав... то головы с глазами, носом, ртом,— да, головы!.. Понимаю: они одновременно и травы и головы. Хорошо бы их не видеть.

Там, справа, красивая миниатюра францисканца вернулась на свое место, но мне все кажется, что я удерживаю ее на этом месте тяжким напряженьем воли и стоит мне устать, как снова появится там гадкая кошачья голова. У меня нет бреда: я хорошо вижу Терезу у изножия моей кровати, хорошо слышу то, что она мне говорит; и я бы ей ответил с полной ясностью ума, если бы не был так занят, удерживая все окружающие предметы в присущем им обличье.

Вот и доктор. Я за ним не посылал, но рад его видеть. Это старинный сосед, он мало поживился от меня, но я его люблю. Если я не говорю ему ничего толкового, то, по крайней мере, все сознаю и даже по-своему лукавлю, подмечая его жесты, взгляды, малейшие складки на его лице. Доктор хитер, и, право, не знаю, что думает он о моем состоянии. Мне приходит на ум глубокомысленное изречение Гете; я говорю:

— Доктор, старик согласился только заболеть, но бóльшего он не уступит природе в этот раз.

Ни доктор, ни Тереза не смеются моей шутке. Очевидно, не поняли.

Доктор уходит. Вечереет. Всевозможные тени образуются, как облака, и тают в складках полога. Тени толпой проходят мимо меня, сквозь них мне видится недвижное лицо верной моей служанки. Вдруг крик, пронзительный крик, крик скорби раздирает мой слух. «Жанна, это вы меня зовете?»

Смерклось, и тени стали у моего изголовья на всю долгую ночь.

На заре я успокаиваюсь; покой, безграничный покой объемлет меня всего. Не лоно ли твое мне раскрываешь, господи?

Февраль 1876 года.

Доктор совсем развеселился. Видимо, я, встав на ноги, оказываю ему большую честь. Послушать его, так на мое старческое тело обрушились неисчислимые недуги.

Эти недуги — ужас для человека, а их названия — ужас для филолога; они — словесные гибриды, полулатинские, полугрече-

ские, с окончаниями на *ит* — для воспалительного состояния и на *алгия* — для болезненных процессов. Доктор перечисляет их с достаточным количеством прилагательных на *ый*, характеризующих их отвратительные свойства. Короче говоря, добрый столбец из медицинского словаря.

— Вашу руку, доктор. Вы вернули меня к жизни, я вас прощаю. Вы возвратили меня моим друзьям, благодарю вас. Вы говорите, что я прочен. Конечно, конечно, но я порядком зажился. Я — старая мебель, весьма похожая на кресло моего отца. Этому добродетельному человеку оно досталось по наследству, и он сидел в нем с утра до вечера. Мальчуганом, я взбирался на ручки этого древнего кресла раз двадцать за день. Пока оно держалось крепко, никто не обращал на него внимания. Но оно захромало на одну ногу, и стали говорить, что это хорошее кресло. Затем оно охромело на три ноги, поскрипывало четвертой и почти обезручело. Только тогда стали восклицать: «Какое прочное кресло!» Дивились тому, что, не имея ни одной ручки и твердо стоящей ножки, оно все же сохраняло форму кресла, кое-как держалось и до известной степени было пригодно. Наконец волос из его обивки вылез, и оно приказало долго жить. А когда наш слуга Киприан распилил его на части, чтобы сложить в дровяной сарай, возгласы изумления усилились: «Замечательное, чудесное кресло! На нем сидел Пьер-Сильвестр Бонар, купец-сукопщик, его сын Эпименид Бонар и Жан-Батист Бонар — начальник третьего морского отделения, философ-пирроник. Какое почтенное, могучее кресло!» На самом деле это было отжившее кресло. Вот, доктор, и я такое кресло. Вы считаете меня крепким потому, что я выдержал приступы таких болезней, какие прикончили бы изрядное количество людей совсем, а меня доконали только на три четверти. Весьма благодарен. Но это нисколько не мешает мне быть чем-то непоправимо поврежденным.

С помощью многозначительных греческих и латинских слов доктор стремится доказать мне, что я в хорошем состоянии,— для убеждения такого рода язык французский слишком ясен. Я все же даю себя уговорить и провожаю доктора до двери.

— И в добрый час! — говорит мне Тереза.— Вот как надо выпроваживать лекарей. Стоит вам принять его таким манером еще разика два-три, он больше не придет, а оно и к лучшему.

— Вот что, Тереза, раз уж я опять стал молодцом, не лишайте меня писем. Наверно, их накопилась целая кипа, и не давать мне их читать теперь было бы злодейством.

Немного поломавшись, Тереза подала мне письма. Но что толку? Я просмотрел конверты, и ни один не был надписан той милой ручкой, которую хотелось бы мне видеть здесь, перелистывающей Вечелью. Я отбросил в сторону всю пачку, не говорившую мне больше ничего.

Апрель — июнь.

Дело было жаркое.

— Подождите, я обряжусь почище и сегодня еще пойду с вами,— сказала Тереза,— как в прошлые разы, возьму складной стул, и мы посидим на солнышке.

Право, Тереза считает меня немощным. Не спорю, я несомненно, болел, но всему бывает конец. Особа по имени Болезнь давно ушла, и вот уже три месяца, как ее спутница — Поправка, дама с бледным и приятным лицом, мило со мною распрощалась. Слушайся я своей экономки, я бы стал просто-напросто господином Арганом и напоследок дней своих надел бы себе на голову ночной колпак с лентами... Только не это! Я решил пойти один. Тереза решила иначе: в руках у нее складной стул, она желает мне сопутствовать.

— Тереза, завтра мы будем сидеть на солнце, у стены «Маленького Прованса», сколько вашей душе угодно. Но сегодня у меня спешные дела.

Дела! Она думает, что речь идет о деньгах, и толкует мне, что это не к спеху.

— Тем лучше! Но в нашем мире, кроме таких дел, бывают и другие.

Я молю, ропщу, спасаюсь бегством.

Погода довольно хорошая. Благодаря извозчику и божьему неоставленью я выполню свое намерение.

Вот и стена с надписью синими буквами: *Женский пансион мадемуазель Виргинии Префер.* Вот и решетчатые ворота, готовые широко распахнуться на парадный двор, если бы их отворяли. Но замок заржавел, и железные листы, прикрепленные к решетке изнутри, охраняют от нескромных взглядов юные души, которые мадемуазель Префер, ничтоже сумняшеся, наставляет в скромности, чистосердечии, справедливости и бескорыстии. Вот забранное решеткою окно с грязными стеклами — очевидно, в помещении для прислуги,— мутное и единственное око, открытое во внешний мир.

А вот и боковая дверца, куда я столько раз входил, теперь для меня запретная; я снова вижу ее решетчатый «глазок».

Каменный приступок к ней сносился, и я своими близорукими даже в очках глазами все же различаю те белые царапинки, какими его исчертили подбитые гвоздями ботинки проходивших учениц. Не могу ли пройти по нему и я? Мне кажется, что в этом угрюмом доме Жанна страдает и втайне зовет меня. Нет, мне нельзя уйти отсюда. Тревога овладевает мной; я звоню. Испуганная служанка отворяет дверь боязливее, чем когда-либо. Отдан приказ: мои свиданья с мадемуазель Жанной запрещаются. Я, по крайней мере, справляюсь о ее здоровье. Служанка, поглядев направо и налево, говорит мне, что Жанна здорова, и тут же захлопывает дверь перед моим носом. И я опять на улице.

Как много раз с тех пор бродил я вдоль этой же стены и проходил мимо боковой дверки, пристыженный и сокрушенный мыслью, что я сам слабее того ребенка, у которого нет в мире другой поддержки, кроме меня.

10 июня.

Я превозмог в себе гадливость и отправился к мэтру Мушу. Прежде всего я обнаружил, что в конторе стало еще больше пыли и плесени, чем в прошлом году. Опять передо мной нотариус с его скупыми жестами и бегающими позади очков зрачками. Я приношу свои жалобы. Он отвечает... Но стоит ли в тетради, хотя бы и предназначенной к сожженью, закреплять воспоминание о пошлом негодяе? Он оправдывает мадемуазель Префер, так как давно оценил ее ум и характер. Воздерживаясь говорить по существу спора, он должен сказать, что внешняя сторона дела не в мою пользу. Это мало меня тревожит. Он добавляет (и это тревожит меня сильнее), что небольшая сумма, хранившаяся у него и предназначенная для воспитания его подопечной, уже исчерпана и он восхищен бескорыстием мадемуазель Префер, согласной держать у себя мадемуазель Жанну при настоящих обстоятельствах.

Чудесный свет, свет ясного дня, непорочною волной вливается в такое пакостное место и освещает такого человека; на улице он затопляет своим блеском все убожество густонаселенного квартала.

Как ласков этот свет, как давно он наполняет мои глаза и как скоро я перестану наслаждаться им! Погруженный в думы, заложив руки за спину, я бреду вдоль укреплений и, сам не знаю как, вдруг оказываюсь среди тощих палисадников в глухом предместье. На краю пыльной дороги мне встретилось растение с ярким и в то же время сумрачным цветком, как будто

созданным для единенья с чистейшею и благороднейшею скорбью. Это аквилегия. Наши отцы звали ее перчаткой богородицы. Но богородица могла бы сунуть пальчики в узкие коробочки цветка, лишь превратив себя в малютку, чтобы явиться детям.

Вот толстый шмель хочет насильно протискаться в цветок; однако хоботок его не достигает до нектара, и старания лакомки напрасны. Наконец шмель отступается и вылетает весь обсыпанный пыльцой. И вновь летит своим тяжелым лётом,— но в предместье, загрязненном копотью заводов, цветы редки. Он возвращается к аквилегии и в этот раз, проткнув венчик, высасывает нектар через проделанное им отверстие; я не поверил бы такой смышлености шмеля. Это поразительно. Цветы и насекомые восхищают меня все больше, по мере того как я внимательнее наблюдаю их. Я уподобляюсь доброму Ролену, который восторгался цветами своих персиковых деревьев. Мне бы хотелось иметь красивый сад и жить на лесной опушке.

Август — сентябрь.

У меня явилась мысль пойти воскресным утром и выждать час, когда воспитанницы мадемуазель Префер идут в приходскую церковь к обедне. Я видел, как они с серьезной миной прошли попарно, маленькие впереди. Меж ними было три одинаково одетых, кругленьких, чванливых коротышки, и я признал в них барышень Мутон. Их старшая сестра — та самая художница, которая нарисовала страшную голову Тация, сабинского царя. Сбоку суетилась, хмуря брови, помощница начальницы с молитвенником в руке. Средний возраст, а за ним старшие прошли шушукаясь. Но я не видел Жанны.

Спрашивал в министерстве народного просвещения, имеются ли в недрах его папок отзывы об учебном заведении по улице Демур. Я добился того, что туда послали инспектрис. Они вернулись и дали наилучший отзыв. По их заключению, пансион Префер может считаться образцовым. Если я потребую обследования,— мадемуазель Префер наверняка получит академические пальмы.

3 октября.

Сегодня четверг, отпускной день в пансионе, поэтому я встретил в начале улицы Демур трех барышень Мутон. Поклонившись их матери, я спросил у старшей, лет двенадцати, как поживает ее подруга мадемуазель Жанна Александр.

Барышня Мутон ответила мне одним духом:

— Жанна Александр — мне не подруга. Ее держат в пансионе из милости, а потому заставляют подметать классные комнаты. Так говорит мадемуазель.

Три барышни Мутон зашагали дальше, а г-жа Мутон двинулась за ними по пятам, окинув меня через свое объемистое плечо недоверчивым взглядом.

Увы! Я дошел до подозрительных поступков. Г-жа де Габри вернется в Париж не ранее чем через три месяца. Без нее у меня нет ни сообразительности, ни такта; я только неудобная, тяжелая и вредная машина.

Однако же нельзя терпеть, чтобы Жанна оставалась служанкой в пансионе и подвергалась оскорблениям со стороны нотариуса Муша.

28 декабря.

Погода была пасмурная и холодная. Стемнело. Я позвонил у боковой дверцы спокойно, как человек, которому уже ничто не страшно. Как только робкая служанка отворила, я сунул ей в руку золотой, пообещав такой же, если она даст мне возможность повидать мадемуазель Александр. Ответом было:

— Через час, у решетчатого окна.

И она захлопнула передо мной дверь с такою силой, что шляпа дрогнула у меня на голове.

Я добрый час прождал среди метели, затем подошел к окну. Ничего. Бушевал ветер, и густо падал снег. Рабочие с инструментом на плече, наклонив голову от густых хлопьев снега, шли мимо и наталкивались на меня. Ничего. Я опасался, что меня заметили. Я знал, что, подкупая служанку, поступал нехорошо, но нисколько не жалел об этом! Кто при нужде не умеет выйти из рамок общих правил — тот человек нестоящий. Прошло еще четверть часа. Ничего. Наконец окошко приоткрылось.

— Это вы, господин Бонар?

— Это вы, Жанна? В двух словах, что с вами?

— Чувствую себя хорошо, очень хорошо!

— Еще что?

— Меня поместили в кухне, и я подметаю классы.

— В кухне? Подметальщица? Боже милосердный!

— Да. Потому что опекун больше не платит за меня.

— Опекун ваш негодяй.

— Значит, вы знаете?

— Что?

— О, не вынуждайте меня говорить об этом. Лучше умереть, чем оказаться с ним вдвоем.

— Почему же вы мне не написали?

— За мной следили.

В один миг у меня созрело решение, и уже ничто не в силах было изменить его. Правда, мелькнула мысль, что я не вправе это делать, но эту мысль я презрел. Решившись, я стал благоразумен. Я начал действовать с исключительным спокойствием.

— Жанна, сообщается ли со двором та комната, где вы находитесь? — спросил я.

— Да.

— Вы можете сами отпереть дверь?

— Да, если никого нет в швейцарской.

— Идите поглядите и старайтесь, чтобы вас не увидели.

Я стал ждать, наблюдая за дверью и окном.

Секунд через шесть-семь Жанна вновь появилась за решеткой. Наконец-то!

— Служанка в швейцарской,— сказала она.

— Хорошо. Есть у вас чернила и перо?

— Нет.

— А карандаш?

— Есть.

— Просуньте его мне.

Я вынул из кармана старую газету и, несмотря на ветер, едва не задувавший фонари, и снег, слепивший мне глаза, смастерил, как мог, бандероль, адресованную мадемуазель Префер.

Надписывая адрес, я задал Жанне несколько вопросов.

— Когда приходит почтальон, он ведь опускает корреспонденцию в ящик и звонит? Прислуга открывает ящик и то, что там находит, сейчас же относит к мадемуазель Префер? Так делают при каждой разноске почты, да?

Жанна ответила, что, кажется, все происходит именно так.

— Увидим. Жанна, пойдите посмотрите еще раз и, как только служанка выйдет из швейцарской, отворяйте дверь и выходите на улицу.

С этими словами я сунул газету в ящик, резко позвонил и спрятался в соседнем подъезде.

Я пробыл там несколько минут. Вдруг дверца вздрогнула, слегка приотворилась, и в нее просунулась юная головка. Я охватил ее руками и привлек к себе:

— Идемте, Жанна, идемте.

Она тревожно смотрела на меня. Вероятно, она боялась, не сошел ли я с ума. Наоборот, я действовал с большим умом.

— Идемте, идемте, дитя мое.

— Куда?

— К госпоже де Габри.

Она подхватила меня под руку. Некоторое время мы бежали, точно воры. Бег — занятие, мало подходящее для человека моего телосложенья. Едва не задохнувшись, я остановился и оперся на нечто, оказавшееся жаровней продавца каштанов, который пристроился возле винной лавки, где пили извозчики. Один из них спросил, не требуется ли нам карета. Конечно! Нам требуется карета. Человек с кнутом, поставив стакан на оловянную стойку, влез на козлы и тронул лошадь. Мы были спасены.

— Ух! — воскликнул я, отирая лоб, ибо, несмотря на холод, пот с меня катился градом.

Странное дело: Жанна, по-видимому, лучше сознавала значенье только что содеянного нами. Она была очень серьезна и явно встревожена.

— В кухне! — воскликнул я с негодованьем.

Она покачала головой, как бы говоря: «Там или в другом месте, не все ли мне равно». При свете фонарей я с болью в сердце увидал, как похудело и вытянулось ее личико. Я больше не находил той живости, тех резких порывов, того изменчивого выражения лица, которые так нравились мне в ней. Взгляд вялый, движенья связанные, вид угрюмый. Я взял ее за руку — руку жесткую, наболевшую и холодную. Бедняжка много выстрадала. На мои расспросы она спокойно рассказала, как мадемуазель Префер однажды вызвала ее к себе, обозвала ее чудовищем и гадюкой, а за что — неизвестно.

— Мадемуазель добавила: «Вы больше не увидите господина Бонара, который давал вам вредные советы и очень дурно поступил со мною». Я ей ответила: «Этому, мадемуазель, я не поверю никогда». Мадемуазель дала мне пощечину и отослала в класс. Весть, что я вас больше не увижу, окутала меня каким-то мраком. Вам знакомы вечера, когда бывает грустно от окружающей вас темноты? Так вот, представьте себе, что это длится недели, месяцы. Однажды я узнала, что вы говорите с начальницей в приемной; я вас подстерегла, и мы сказали друг другу «до свиданья». Мне стало немного легче. Спустя некоторое время мой опекун приехал, чтобы взять меня к себе на четверг. Я отказалась. Он очень мягко заметил, что я капризница, и оставил меня в покое. Но через день ко мне явилась мадемуазель Префер с таким злым видом, что я даже испугалась. В руках у ней было письмо. «Мадемуазель,— обратилась она ко мне,— ваш опекун ставит меня в известность, что ваши деньги пришли к концу. Не бойтесь: я не собираюсь выгонять вас,

но полагаю, вы сочтете справедливым, что вам надо работать за свое содержание».

После этого она заставила меня убирать в доме, а иногда по целым дням держала взаперти на чердаке. Вот, господин Бонар, что произошло, пока вы не бывали. Если бы я и могла писать вам — не знаю, стала ли бы я это делать: я не верила, чтоб вы могли взять меня из пансиона; а раз меня не принуждали ходить к господину Мушу, спешить было нечего. Ждать я могла и в кухне и на чердаке.

— Жанна,— воскликнул я,— хотя бы нам пришлось бежать даже в Океанию, мерзкая Префер вас больше не получит! Клянусь вам в том великой клятвой. А почему бы нам не поехать в Океанию? Климат там здоровый, в одном журнале я как-то видел, что там имеются даже фортепьяно. Покамест едем к госпоже де Габри,— на наше счастье, она дня три-четыре тому назад вернулась в Париж; мы оба младенцы, и нам очень нужна помощь.

Пока я говорил, лицо ее бледнело и темнело, взор затуманился, полуоткрытые губы стянула горестная складка. Она упала головой мне на плечо и потеряла сознание.

Я взял ее на руки и, как уснувшего ребенка, понес по лестнице к г-же де Габри. Выбившись из сил от усталости и волнения, я опустился на банкетку на площадке лестницы. Здесь Жанна скоро пришла в себя.

— Это вы! — сказала она, открывая глаза.— Я рада.

В таком состоянии мы постучались в двери нашего друга.

Пробило восемь часов. Г-жа де Габри радушно приняла ребенка и старика. Не подлежит сомнению, что она была изумлена, но она не расспрашивала нас.

— Мы оба пришли отдать себя под ваше покровительство,— сказал я.— И прежде всего мы просим дать нам поужинать. По крайней мере — Жанне, а то сейчас, в карете, она от слабости упала в обморок. Мне же в такой поздний час нельзя съесть ни кусочка, иначе я проведу мучительную ночь. Надеюсь, господин де Габри здоров?

— Он дома,— ответила она.

И тотчас велела доложить ему о нашем приходе.

Я с удовольствием увидел его открытое лицо и пожал его большую руку. Все четверо мы перешли в столовую. И когда Жанне подали холодную говядину, к которой она не прикоснулась, я начал рассказ о нашем приключении. Поль де Габри попросил разрешения закурить трубку, затем стал молча меня слушать. Когда я кончил, он почесал в густой короткой бороде.

— Черт возьми! — воскликнул он.— В неприятную историю вы себя впутали, господин Бонар!

Заметив, что Жанна смотрит большими испуганными глазами то на него, то на меня, он мне сказал:

— Пойдемте.

Я последовал за ним в кабинет, где на темных обоях сверкали при свете ламп охотничьи ножи и карабины. Усадив меня на кожаный диван, он заговорил:

— Что вы наделали, что вы наделали, великий боже! Сманивание малолетних, похищение, увод! Веселенькое дельце навязали вы себе на шею. Вам угрожает ни много ни мало — тюремное заключение от пяти до десяти лет.

— Боже милосердный! — воскликнул я.— Десять лет тюрьмы за спасение невинного ребенка!

— Таков закон! — ответил г-н де Габри.— Видите ли, господин Бонар, законы я знаю довольно хорошо,— не потому, что проходил юриспруденцию, но в качестве люзанского мэра мне самому пришлось учиться, чтобы учить своих подчиненных. Муш — мерзавец, Префер — пройдоха, а вы... не нахожу достаточно выразительного словца.

Раскрыв библиотечный шкаф, где лежали собачьи ошейники, хлысты, шпоры, стремена, сигарные ящики и несколько справочников, он вынул Уголовный кодекс и начал перелистывать:

— «Преступления и проступки... незаконное лишение свободы»... это не ваш случай. «Увод малолетних» — вот это ваш... «Статья триста пятьдесят четвертая. Всякий, кто обманом или силою уведет или подстрекнет увести малолетних, или же увлечет их за собой, сманит или переместит, или кого-либо подстрекнет увлечь, сманить или переместить с того места, куда они помещены лицами, коим они подчинены или вверены, подлежит наказанию тюремным заключением. Смотри Уголовный кодекс, статья двадцать первая и двадцать восьмая... Двадцать первая.— Срок заключения не менее пяти лет... Двадцать восьмая.— Приговор о тюремном заключении влечет за собой лишение прав состояния». Ясно, не так, ли, господин Бонар?

— Совершенно ясно.

— Продолжим: «Статья триста пятьдесят шестая.— Если похитителю не исполнилось еще двадцати одного года, он наказуется только...» Это к вам не относится. «Статья триста пятьдесят седьмая.— В случае, если похититель женится на похищенной им девице, преследование против него может быть возбуждено только по жалобе тех лиц, кои, на основании Гражданского

кодекса, имеют право требовать признания брака незаконным, и осуждение может иметь место только после окончательного постановления о расторжении брака». Не знаю, входит ли в ваши планы женитьба на мадемуазель Александр. Как видите, свод законов — добрый малый и дает вам лазейку. Но шутки неуместны: положение ваше скверное. Как мог человек, подобный вам, вообразить, будто в Париже, в девятнадцатом веке, можно безнаказанно похищать юных девиц? У нас теперь не средние века, и умыкание не разрешается.

— Напрасно вы думаете, что умыкание было разрешено старинным правом,— ответил я.— Об этом вы найдете у Балюза повеление короля Хильдеберта, данное в Кельне в пятьсот девяносто третьем или пятьсот девяносто четвертом году. А кто не знает знаменитого указа, данного в Блуа в мае тысяча пятьсот семьдесят девятого года, категорически устанавливающего, что тот, кто прельстит юношу или юницу моложе двадцати пяти лет браком или другим каким посулом, помимо желания, воли или нарочитого согласия отца, матери и опекунов, подлежит смертной казни! «А в равной мере...— прибавляет указ,— а в равной мере будут особливо наказаны все те, кто соучаствовал в означенном похищении, и все те, кто споспешествовал советом, подмогою и пособничеством, какого бы рода оно ни было». Таковы точные или близкие к этому выражения указа. Сейчас вы ознакомили меня со статьей Наполеоновского кодекса, которая избавляет похитителя от преследования в случае его женитьбы на похищенной им девице, и я припоминаю, что в бретонском обычном праве похищение, в случае последующего брака, было ненаказуемо. Но этот обычай повел к злоупотреблениям и был отменен около тысяча семьсот двадцатого года. Последнюю дату я даю вам с точностью до десяти лет. Память моя стала плоха, и миновали времена, когда я мог без передышки наизусть продекламировать полторы тысячи стихов «Жерара Руссильонского». О капитулярии Карла Великого, устанавливающем *виру* за умыкание, я вам не говорю, ибо, наверно, он у вас на памяти. Вы видите, дорогой господин де Габри, что при трех династиях старой Франции умыкание рассматривалось как преступление наказуемое. Большая ошибка думать, будто средние века были эпохою хаоса. Наоборот, вы убедитесь...

Господин де Габри прервал меня, воскликнув:

— Вы знаете указы Блуа, Балюза, Хильдеберта и капитулярии, а не знаете кодекса Наполеона!

Я ответил, что этого кодекса действительно не читал никогда, и г-н де Габри, видимо, был этим поражен.

— Понимаете ли вы теперь все значение того, что вы сделали?

По правде говоря, я еще не понимал. Но мало-помалу, благодаря весьма толковым разъяснениям г-на Поля, я пришел к сознанию, что меня будут судить не по моим намерениям, которые невинны, а по моему деянию, заслуживающему осуждения. Тогда я впал в отчаянье и стал сокрушаться.

— Что же делать?! — воскликнул я.— Что делать?! Неужели я погиб безвозвратно и погубил вместе с собою бедную девочку, желая ее спасти?

Господин де Габри молча набил трубку и зажигал ее так медленно, что его доброе широкое лицо минуты три-четыре светилось красным отблеском, как у кузнеца перед кузнечным горном. Затем он произнес:

— Вы спрашиваете, что делать. Не делайте ничего, дорогой господин Бонар. Ради бога и вашей пользы, не делайте ничего. Ваши дела и так плохи, не путайтесь в них сами, а то наделаете новых бед. Обещайте только отвечать за все, что буду делать я. Завтра с утра я повидаю мэтра Муша, и если он, как мы и думаем, подлец, я найду средство обезвредить его, хотя бы в это замешался сам черт. Все зависит от Муша. Сейчас уже поздно отвозить мадемуазель Жанну обратно в пансион, и на эту ночь моя жена возьмет ее к себе. Вот это именно и есть соучастие в преступлении, но мы таким образом избавляем девушку от двусмысленного положения. Вы же, дорогой, возвращайтесь поскорее на набережную Малакэ, и если туда придут за Жанной, вам будет нетрудно доказать, что у вас ее нет.

Пока мы разговаривали, г-жа де Габри хлопотала, чтобы уложить спать свою гостью. Я видел, как по коридору прошла горничная, перекинув через руку простыни, надушенные лавандой.

— Вот нежный и благородный запах,— заметил я.

— Как же иначе? Мы ведь деревенские жители,— ответила мне г-жа де Габри.

— О! Если бы и я мог стать деревенским жителем! — ответил я.— Удастся ли когда-нибудь и мне вдыхать, подобно вам в Люзансе, запахи полей, живя под кровлей, затерявшейся в листве! А если это пожеланье слишком притязательно для старика, оканчивающего жизнь, я хочу по крайней мере, чтоб мой саван был надушен лавандой, как эти простыни.

Мы условились, что наутро я приду к ним завтракать. Однако мне строго запретили являться раньше двенадцати. Жанна,

обнимая меня, молила не отвозить ее обратно в пансион. Мы расстались растроганные и смущенные.

У себя дома, на площадке лестницы, я застал Терезу в состоянии тревоги, доводившей ее до ярости. Она высказывала ни много ни мало, как мысль о том, чтобы впредь запирать меня на ключ.

Какую ночь провел я! Ни на одно мгновенье я не сомкнул глаз. То я смеялся, как мальчишка, удаче моей проделки, то видел с непзъяснимою тоской, как меня тащат в суд и как, сидя на скамье подсудимых, я держу ответ за преступленье, которое я совершил столь естественно. Я был в ужасе, и все же не чувствовал ни укоров совести, ни сожалений. Солнце заглянуло ко мне в комнату и весело играло на изножии кровати, а я сотворил молитву:

— Боже, создавший небо и росу, как сказано в «Тристане», суди меня в праведности твоей не по деяниям, а по замышлениям моим, праведным и чистым,— и я воскликну: «Слава в вышних богу, и на земле мир и в человецех благоволение! В руки твои предаю похищенное мною дитя! Соверши то, чего не мог совершить я: сохрани его от всех врагов. И да благословенно будет имя твое!»

29 декабря.

Войдя к г-же де Габри, я увидел Жанну совсем преобразившейся.

Не взывала ли она, как я, при первых утренних лучах к тому, кто создал небо и росу? Сладость душевного покоя была в ее улыбке.

Госпожа де Габри позвала Жанну, чтобы закончить ее прическу, ибо милая хозяйка захотела уложить собственноручно волосы доверенному ей ребенку. Придя немного ранее условленного часа, я помешал завершить ее прелестный туалет. В наказание меня заставили одного ждать в гостиной. Вскоре ко мне присоединился г-н де Габри. Он, видимо, пришел из города, ибо на лбу его остался след от шляпы. Лицо выражало радостное оживленье. Я не счел удобным задавать ему вопросы, и мы все вместе пошли завтракать. Когда слуги кончили подавать на стол, г-н Поль, приберегавший свой рассказ до кофе, сказал нам:

— Итак, я был в Левалуа.

— Вы видели мэтра Муша? — оживленно спросила г-жа де Габри.

— Нет! — ответил он, приглядываясь к нашим лицам, выказавшим разочарованье.

Насладившись пристойное время нашим беспокойством, этот чудесный человек добавил:

— Мэтра Муша больше нет в Левалуа. Мэтр Муш покинул Францию. Послезавтра будет неделя, как он улепетнул, прихватив с собою деньги своих клиентов,— довольно кругленькую сумму. Контора оказалась запертой. Об этом событии мне рассказала его соседка, с немалым количеством проклятий и всяких пожеланий. Нотариус сел в поезд, отходивший в семь часов пятьдесят пять минут, и сел не один: он увез с собой дочь местного парикмахера. Этот факт мне подтвердил и полицейский комиссар. Поистине, мог ли мэтр Муш убраться более кстати?! Задержись он на неделю — и в качестве представителя общества он потянул бы вас, господин Бонар, в суд как преступника. Теперь нам нечего бояться. За здоровье мэтра Муша! — воскликнул он, наливая арманьяк.

Мне бы хотелось жить подольше, чтоб долго помнить это утро. Мы сидели вчетвером в большой белой столовой за столом из навощенного дуба. У г-на Поля веселость здоровая, чуть даже грубоватая, и он пил арманьяк большими глотками. Молодчина! Г-жа де Габри и мадемуазель Александр мне улыбнулись, и эта улыбка вознаградила меня за мои страдания.

Войдя к себе в квартиру, я подвергся самым язвительным упрекам Терезы, которая отказывалась понимать мой новый образ жизни. Я, по ее мнению, выжил из ума.

— Да, Тереза, я безумный старик, а вы безумная старуха. Все это верно. Да поможет нам бог, Тереза, даровав нам новые силы, ибо у нас есть новые обязанности. Но дайте полежать мне на этом канапе, стоять я больше не могу.

15 января 1877 года.

— Здравствуйте, господин Бонар,— говорит Жанна, отворяя мне дверь, в то время как запоздавшая Тереза ворчит во мраке коридора.

— Мадемуазель, прошу вас величать меня торжественно моим званием и говорить мне: «Здравствуйте, мой опекун».

— Все устроилось? Уже? Какое счастье! — восклицает Жанна, хлопая в ладоши.

— Устроилось, мадемуазель, в городском присутствии, перед мировым судьей, и с сего дня вы подчиняетесь моей власти... Вы смеетесь, моя питомица? Я вижу по вашим глазкам: какая-то сумасбродная мысль мелькает в вашей головке. Новое чудачество?

— О нет, господин... опекун. Я поглядела на ваши седые волосы. Они вьются по полям вашей шляпы, как жимолость по балкону; они очень красивы, и так мне нравятся.

— Сядьте, моя питомица, и, если можно, не говорите больше пустяков; у меня с вами будет серьезный разговор. Выслушайте меня. Я думаю, вы не стремитесь вернуться к мадемуазель Префер?.. Нет. А что бы вы сказали, если бы для завершения вашего образования я вас оставил здесь до... а до чего? Ну, как говорится, навсегда.

— О! — воскликнула она, покраснев от радости.

Я продолжал:

— Там, позади, есть маленькая комнатка, и Тереза приготовила ее для вас. Вы замените там старинные книги, как день сменяет ночь. Пойдите с Терезой посмотреть, годится ли комната для жилья. С госпожой де Габри мы сговорились, что уже сегодня вы ляжете спать в той комнате.

Она бросилась туда, но я вернул ее.

— Слушайте дальше, Жанна. До сей поры вам удавалось быть желанной гостьей в глазах моей домоправительницы, хотя по своему нраву она, как все старики, довольно нелюдима. Считайтесь с ней. Я сам почел за должное считаться с ней и терпеть ее выходки. Советую вам, Жанна, уважать ее. Говоря так, я не забываю, что она служанка моя и ваша, но этого она не забудет и сама. А вы должны уважать в ней ее почтенный возраст и честную душу. Это скромное существо долго жило достойным образом и с этим свыклось. Терпите непреклонность этой прямой души. Умейте приказывать; она сумеет повиноваться. Ступайте, дочь моя. Устройте вашу комнату, как вам покажется удобным для труда и отдыха.

Направив Жанну таким напутствием по стезе хорошей хозяйки, я принялся за чтение одного журнала, хотя руководимого и молодыми людьми, но отличного. Тон его резкий, но дух ревностный. Статья, прочитанная мной, по своей решительности и твердости превосходит все, что писалось в дни моей юности. Поль Мейер, автор статьи, смело клеймит каждую ошибку.

Мы не были такими безжалостными судьями. Наша снисходительность шла далеко. Она была готова хвалить заодно и ученого и невежду. А надо уметь порицать, это суровый долг. Я вспоминаю маленького Раймона (так его звали). Он ничего не знал, был крайне ограничен, но очень любил свою мать. Мы старались не выдавать невежество и тупость такого хорошего сына, и благодаря нашей снисходительности маленький Раймон стал академиком. Матери его уже не было в живых, а почести

сыпались на него дождем. Он стал всемогущ, к великому ущербу своих собратий и науки. Но вот пришел мой юный друг по Люксембургскому саду.

— Добрый вечер, Жели. Вид у вас сегодня радостный. Что с вами произошло, дорогой мой юноша?

Произошло то, что он весьма прилично защитил диссертацию и числится на хорошем счету. Вот о чем ставит он меня в известность, добавляя, что мои работы, когда о них шла речь на этом заседании, вызывали у профессоров безоговорочные похвалы.

— Вот и отлично, Жели; я счастлив, что моя старая репутация соединяется с вашей молодой известностью. Вы знаете, я живо интересовался вашей диссертацией, но за домашними делами забыл, что защищали вы ее сегодня.

Мадемуазель Жанна как раз явилась осведомить его насчет этих домашних дел. Шалунья впорхнула легким ветерком в обитель книг, воскликнув, что ее комната — просто чудо! Увидав Жели, она густо покраснела. Но от судьбы своей не уходил еще никто.

Я подметил, что оба в этот раз застенчивы и не разговаривают друг с другом.

Тише, Сильвестр Бонар! Наблюдая за своей питомицей, вы забываете, что теперь вы опекун. Вы им являетесь с сегодняшнего утра, и новая должность уже налагает на вас щекотливые обязанности. Бонар, вы обязаны ловко устранить этого молодого человека, вы обязаны... Э! разве я знаю, что обязан делать?..

Жели делает выписки из моего уникального экземпляра «Ginevera delle clare donne» [1]. Я наудачу взял с ближайшей полки книгу,— раскрываю ее и с благоговением вступаю в середину трагедии Софокла. Старея, я проникаюсь любовью к двум мирам античности, и отныне поэты Греции и Рима стоят в обители книг на высоте моей руки. Я читаю слова сладостного и светозарного хора, текущие медленным речитативом среди бурного действия,— хора фиванских старцев «Ἔρως ἀνίκατε...» [2]. «Эрот непобедимый, ты залетаешь в богатые дома, покоишься на нежных щеках юной девы, летишь через моря и посещаешь хижины, тебя не избежит бессмертный, как не избегнет ни единый человек в его быстротекущей жизни; и всяк безумствует, тобою одержимый». Когда прочел я эту пленительную песню, передо мною встала фигура Антигоны в ее непорушимой чистоте.

---

[1] «Жизнеописание знаменитых женщин» *(итал.)*.

[2] Эрот непобедимый *(греч.)*.

Какие образы, какие боги и богини носились в небе, чистейшем из небес! Слепой старец, царь-нищий, долго бродил, держась за Антигону, и, наконец, сошел в священную гробницу, а дочь его, прекрасная, как все прекраснейшие образы, когда-либо зачатые человеческой душой, противится тирану и благочестиво погребает брата. Она любит сына тирана, а сын любит ее. И когда она идет на казнь, постигшую ее за благочестье, старцы поют:

Эрот непобедимый, ты залетаешь в богатые дома, покоишься на нежных щеках юной девы...

Я не эгоист. Я мудр. Мне нужно воспитать эту девушку; она слишком юна, чтобы выдать ее замуж. Нет, я не эгоист, но нужно подержать ее несколько лет у себя, только со мной. Разве она не может подождать до моей смерти? Будьте покойны, Антигона, старый Эдип вовремя сойдет в священную гробницу.

А сейчас Антигона помогает Терезе чистить репу. Она говорит, что это занятие подходит ей, так как оно родственно скульптуре.

Май.

Кто бы узнал обитель книг? Теперь везде стоят цветы. Жанна права: в голубой фаянсовой вазе эти розы очень красивы. Они с Терезой каждый день ходят на рынок и покупают там цветы. Цветы действительно очаровательные создания природы. Надо будет осуществить мое намеренье и там, в деревне, изучить их со всей той методичностью, на какую я способен.

А что мне делать здесь? Погубить вконец глаза старинными пергаментами, которые мне ничего ценного уже не говорят? Когда-то с благородным пылом я рылся в древних текстах. Что же надеялся я там найти? Дату благочестивого вклада, имя монаха-изографа или писца, стоимость хлеба, поля или вола, административное или судебное постановление,— все это, но и другое — нечто таинственное, смутное и возвышенное, то, что подогревало мое воодушевление. Но шестьдесят лет искал я это «нечто» и не мог найти. Те, кто стоили больше меня,— учителя, великие Фориели и Тьерри, открывшие так много,— умерли в работе, также не открыв это «нечто», безыменное и бестелесное, но без чего здесь, на земле, не зачалось бы ни одно творение ума. Теперь, благоразумно разыскивая только то, что я могу найти, я больше ничего не нахожу и, вероятно, никогда не кончу «Историю аббатов Сен-Жермен-де-Пре».

— Опекун, угадайте, что у меня в носовом платке?

— По всей видимости, цветы, Жанна?

— О нет, не цветы. Смотрите!

Я смотрю и вижу маленькую серую головку, вылезающую из платка. Это серый котенок. Платок раскрывается, котенок прыгает на ковер, отряхивается, поднимает одно ухо, потом другое и настороженно изучает обстановку и людей.

Еле переводя дыхание, является Тереза с корзинкой на руке. Скрытность не ее порок; она в запальчивости упрекает барышню за то, что та приносит в дом неведомую кошку. В оправданье Жанна рассказывает, «как все это вышло». Проходя вместе с Терезой мимо аптеки, она видит, что аптекарский ученик пинком выкидывает на улицу котенка. Котенок, в изумлении и замешательстве, спрашивает себя: остаться ли ему на улице, среди прохожих, которые его толкают и пугают, или вернуться в аптеку, рискуя снова вылететь оттуда на кончике ботинка? Жанна считает положение котенка критическим и понимает причину замешательства. Вид у котенка глупый; она думает, что этому виною нерешительность. Она берет его на руки. Не чувствуя себя покойно ни на улице, ни в помещении, он соглашается остаться на руках в пространстве. Успокоив его лаской, Жанна говорит аптекарскому ученику:

— Если котенок вам не нравится, то не надо бить его, лучше отдайте мне.

— Берите,— отвечает аптекарь.

— И вот...— добавляет в заключение Жанна.

И ласковым голосом она обещает котенку всяческие лакомства.

— Он очень худ,— говорю я, разглядывая это жалкое создание,— к тому же очень некрасив.

Жанна не находит его некрасивым, но признает, что вид у него еще глупее прежнего,— на этот раз не вследствие нерешительности; по ее мнению, такое досадное выраженье запечатлелось на его физиономии от удивления. Если бы мы поставили себя на его место, думает она, то согласились бы, что ему трудно понять что-нибудь в превратностях своей судьбы. Мы смеемся бедному животному в глаза, но оно продолжает быть комически серьезным. Жанна намеревается взять котенка на руки, но он прячется под стол и не хочет вылезать оттуда, даже увидев блюдце с молоком.

Мы уходим; блюдце пусто.

— Жанна, у вашего питомца вид плачевный, нрава он скрытного; хорошо, если в обители книг он не наделает таких

дел, что придется возвратить его в аптеку. Пока же необходимо дать ему какое-нибудь имя. Я предлагаю назвать его Дон Гри де Гутьер [1], но это, пожалуй, длинновато. «Пилюля», «Пластырь» или «Касторка» короче, да и лучше тем, что напоминает о его происхождении. Как вы скажете?

— «Пилюля» подошло бы,— ответила Жанна,— но великодушно ли, называя его таким именем, все время напоминать ему о тех несчастьях, от которых мы его избавили? Это значит заставлять его платить за наше гостеприимство. Будем милостивее и дадим ему красивое имя в надежде, что он его заслужит. Смотрите, как он глядит на нас: он видит, что речь идет о нем. Он уже не так глуп с тех пор, как перестал чувствовать себя несчастным. От несчастия глупеешь, я это знаю хорошо.

— Ну что ж, если хотите, Жанна, назовем вашего любимца Ганнибалом. Вам сразу не понять, насколько удачно это имя. Но надо заметить, что его предшественник в обители книг — ангорский кот, с которым я обычно делился своими мыслями, как с мудрой, неболтливой личностью,— звался Гамилькаром. Естественно, что это имя родит другое, и Ганнибал сменяет Гамилькара.

На этом мы и согласились.

— Ганнибал! Поди сюда! — крикнула Жанна.

Ганнибал, испугавшись необычной звучности своего собственного имени, забился под книжный шкаф — в такое узкое пространство, что там не поместилась бы и крыса.

Вот как достойно носят великое имя!

Сегодня я был в настроении работать и окунул уже в чернильницу кончик пера, как вдруг послышался звонок. Если впоследствии какой-нибудь бездельник станет читать эти листы, измаранные стариком без воображенья, он будет смеяться над тем, что в моем рассказе то и дело раздаются звонки, не вводя при этом в действие ни нового лица, ни нежданной сцены. В театре — как раз наоборот. Господин Скриб всегда отворяет двери с умыслом, для вящего удовольствия барышень и дам. Это искусство. Я бы скорее повесился, чем написал бы водевиль,— не из презрения к жизни, а по той причине, что не мог бы выдумать ничего завлекательного. Выдумать! Для этого необходимо таинственное наитие. А для меня бы дар такого рода стал роковым. Представьте себе, что я вдруг выдумаю какого-нибудь монашка в своей истории аббатов Сен-Жермен-де-Пре. Что бы сказали молодые ученые? Какой скандал в Архивной школе!

---

[1] Дон Серый из водосточного желоба *(франц.)*.

Вот Академия не скажет ничего, да и подумает не больше. Мои собратья пишут мало, а читают еще меньше. Они придерживаются мнения Парни, который говорил:

Да, жить в покое безразличья —
Высокой мудрости удел.

Жить возможно незаметнее, чтобы жить возможно лучше,— вот чего добиваются эти подсознательные буддисты. Мудрее этой мудрости, пожалуй, нет. Все это по поводу звонка Жели.

Этот молодой человек совершенно изменил характер своего поведения. Теперь степенность сменила легкомыслие, а молчаливость — болтовню. Жанна следует его примеру. Мы находимся в периоде сдерживаемой страсти. Как я ни стар, но в этом я не ошибаюсь: дети любят друг друга сильно и глубоко. Теперь Жанна стала избегать Жели и прячется в свою комнату, когда он входит в библиотеку. Но как она умеет находить его в себе самой, когда она одна! Уединяясь каждый вечер, она с ним говорит своей игрой на фортепьяно в стремительном трепещущем звучании, этом новом выраженье обновленной ее души.

Что ж! Отчего и не сказать? Отчего не признаться в своей слабости? Если я скрою от себя свой эгоизм, станет ли он менее достоин порицанья? Итак, скажу: да, я ждал другого; да, я рассчитывал беречь ее для одного себя, как свое дитя, как внучку,— не навсегда, и даже не долго, но все же несколько лет. Я стар. Разве не могла б она повременить? Кто знает, с помощью подагры и артрита я, может быть, не слишком злоупотребил бы ее терпеньем? Вот чего я желал, на что надеялся. Свои расчеты я делал без нее и без этого молодого вертопраха. Расчет мой оказался плох, но просчет от этого не менее жесток. Впрочем, мне кажется, друг мой Сильвестр Бонар, ты осуждаешь себя довольно легкомысленно. Если тебе хотелось сохранить эту девицу при себе еще несколько лет, то это было столь же в ее интересах, как и в твоих. Ей нужно многому учиться, а ты ведь не такой учитель, чтоб им пренебрегать. Когда нотарий Муш, впоследствии так кстати занявшийся мошенничеством, почтил тебя своим визитом, ты с жаром увлекшейся души изложил ему свою систему воспитанья. И все старания твои были направлены на то, чтобы осуществлять эту систему. Жанна — неблагодарная, а Жели — прелестник.

Однако же, раз я не выгоняю его вон, что было бы невежливо и гадко, моя обязанность принять его; уже довольно долго сидит он в маленькой гостиной против севрских ваз, милостиво подаренных мне королем Луи-Филиппом. Хотя по их фарфору

написаны «Жнецы» и «Рыбаки» Леопольда Робера, Жанна и Жели единодушно находят эти вазы отвратительными.

— Дорогой юноша, простите, что я не сразу принял вас. Я заканчивал работу.

Я говорю правду: размышление — это работа. Но Жели понимает иначе, он думает, что дело идет об археологии, и желает мне закончить поскорее «Историю аббатов Сен-Жермен-де-Пре». И только доказав свой интерес ко мне, он наконец спрашивает, как поживает мадемуазель Александр. Я отвечаю: «Очень хорошо», но сухим тоном, чтобы подчеркнуть мой нравственный авторитет опекуна.

После минутного молчания мы беседуем о школе, о новых книгах и об успехах исторических наук. Мы вдаемся в общие места. Общие места — удобное прибежище. Я стараюсь привить Жели хотя немного уваженья к тому поколению историков, к которому я сам принадлежу. Я говорю ему:

— История была искусством и допускала всякие причуды воображения, а в наше время она стала наукой, где нужно действовать строго методически.

Жели просит разрешенья не согласиться с моим взглядом. Он заявляет, что, по его мнению, история не наука и не станет ею никогда.

— Прежде всего,— говорит он,— что такое история? Письменное изображение событий прошлого. Но что такое событие? Что это — любой факт? «Ни в коем случае! — говорите вы.— Это факт достопримечательный». А как же судит историк, является ли факт достопримечательным или нет? Он судит произвольно, следуя своему вкусу, прихоти, представлению,— словом, как художник; ведь факты по своей собственной природе не делятся на исторические и неисторические. Кроме того, факт есть нечто крайне сложное. Сможет ли историк представить факты во всей их сложности? Нет, это невозможно. Он их представит, отбросив большинство тех частностей, из коих они и состоят, а следовательно — урезанными, искалеченными и непохожими на то, чем они были. О связи же между фактами не приходится и говорить. Если факт, именуемый историческим, подготовлен,— что возможно,— одним или несколькими фактами неисторическими и в качестве таковых неизвестными,— скажите, пожалуйста, какое у историка есть средство определить взаимоотношения всех этих фактов? И, при всем этом, господин Бонар, я еще предполагаю, что у историка перед глазами свидетельства бесспорные, в действительности же он верит тому или другому свидетелю, руково-

дясь только чутьем. История не наука; это искусство, и преуспеть в ней можно лишь воображеньем.

В этот момент Жели напоминает мне того юного безумца, который некогда рассуждал при мне вкривь и вкось у статуи Маргариты Наваррской в Люксембургском саду. Вот на одном из поворотов разговора мы сталкиваемся носом к носу с Вальтером Скоттом, но мой юный отрицатель рассматривает его как личность «старомодную», как «трубадура», как «фигурку с бронзовых часов». Это его собственные выражения.

— Однако,— говорю я, разгоряченный защитой славного отца Люции и Пертской красавицы,— в его чудесных романах все прошлое живет; это — история, это — эпопея!

— Старая рухлядь,— заявляет Жели.

Поверите ль, этот несмышленыш утверждает, будто ни один ученый не может представить себе точно, как жили люди за пять-шесть веков до нас, потому что с большим трудом себе рисуешь, какие они были десять — пятнадцать лет тому назад. Для него историческая поэма, исторический роман, историческая живопись — отвратительно фальшивый жанр!

— Во всех искусствах художник изображает только свою душу,— добавляет Жели,— и в какой бы костюм ни одевал он свое творение, оно по духу современно художнику. Чему дивимся мы в «Божественной Комедии», как не великой душе Данте? Что в мраморах Микеланджело необычайно, как не сама личность Микеланджело? Художник либо отдает своим твореньям собственную жизнь, либо вырезает марионеток и одевает кукол.

Сколько парадоксов и непочтительности! Но дерзновенья молодежи меня не огорчают. Жели встает и вновь садится; я отлично знаю, чем он озабочен и кого он ждет. Вот он говорит мне о своем заработке в полторы тысячи франков, к которому надо прибавить доход в две тысячи, полученный в наследство. Меня не проведешь такою откровенностью. Я знаю хорошо: все эти расчеты он преподносит, желая осведомить меня, что человек он установившийся, порядливый, пристроенный, с доходом,— одним словом: годен для женитьбы. Что и требовалось доказать, как говорят геометры.

Раз двадцать он вставал и вновь садился. В двадцать первый он поднимается и, не дождавшись Жанны, уходит огорченный.

Как только он ушел, Жанна является в обитель книг, якобы присмотреть за Ганнибалом. Она огорчена и жалостным голосом зовет своего любимца, чтобы дать ему молока. Узри печальный

лик, Бонар! Смотри, тиран, на дело рук своих! Ты разлучил их, но лик у них един; и ты по одинаковому выраженью видишь, что, невзирая на тебя, они едины в мыслях. Будь счастлив, Кассандр! Возвеселись, Бартоло! Вот что значит быть опекуном! Взгляните на нее: став на колени, она руками держит головку Ганнибала.

Да! Ласкай это глупое животное! Жалей его! Вздыхай над ним! Нам ведомо, коварная, куда стремятся ваши вздохи и что причиной ваших жалоб.

Все это — картина, и я смотрю на нее долго; взглянув затем на библиотеку, я говорю:

— Жанна, мне наскучили эти книги; давайте продадим их.

20 сентября.

Кончено: они помолвлены. Жели сирота, как и Жанна, и просит у меня ее руки через своего профессора, моего коллегу, высокочтимого за свои знания и свой характер. Но, праведное небо, что это за посланец любви! Медведь — не пиренейский, а кабинетный; а эта разновидность еще страшнее.

— Правильно это или неправильно (по-моему, неправильно), но Жели не придает значения приданому; он вашу питомицу берет в одной сорочке. Скажите — да, и конец делу. Только поскорее, а то мне хочется вам показать лотарингские жетоны, довольно любопытные, каких вы и не видывали, я в том уверен.

Вот точные его слова. Я отвечал, что поговорю с Жанной, и тут же с немалым удовольствием заявил ему, что моя питомица с приданым.

Вот оно, приданое,— моя библиотека! Анри и Жанна бесконечно далеки от подозрений на этот счет, вообще же меня считают богаче, чем я есть,— это факт. У меня вид старого скупца. Вид, разумеется, весьма обманчивый, но благодаря ему я пользуюсь большим уважением. Никого на свете не уважают так, как скаредного богача.

Я говорил с Жанной, но разве нужно было мне выслушивать ее, чтобы услыхать ее ответ! Кончено! Они помолвлены.

Ни с характером, ни с обликом моим не вяжется — подсматривать за этой юной парой, чтобы потом записывать их слова и поступки. Noli me tangere [1] — вот требование истинной любви. Я знаю свой долг — уважать тайну девственной души, о коей я

[1] Не тронь меня *(лат.)*.

пекусь. Пусть эти дети друг друга любят! Ничто из долгих излияний, ничто из их невинных безрассудств не отразится в тетради старого опекуна, чья власть была легка и длилась так недолго!

Впрочем, я не сижу сложивши руки: у них свои дела, а у меня свои. Я самолично составляю каталог моей библиотеки, имея в виду продать ее с аукциона. Эта работа меня и огорчает и занимает. Я тяну ее, быть может, дольше, чем это требуется, и перелистываю без необходимости и пользы все эти экземпляры, столь дорогие моей мысли, моим глазам, моей руке. Это — прощанье, а в природе человека всех времен было — длить прощанье.

Вот толстый том; за тридцать лет он столько мне служил в работе,— могу ли я расстаться с ним без должного почтенья, как к старому слуге? А этот укреплял меня своею здравою доктриной,— разве я не обязан напоследок приветствовать его, как своего учителя? Но всякий раз, когда мне попадается том, который ввел меня в ошибку иль огорчил меня неверной датой, пробелом, ложью и прочими напастями в археологии,— я говорю с горькой радостью: «Прочь, прочь от меня, предатель, обманщик, лжесвидетель, уйди подальше, vade retro [1],— пусть ты, напрасно оцененный на вес золота из-за твоей ложной, ворованной известности и красивого сафьянового одеянья,— пусть ты войдешь в витрину биржевого маклера-библиомана: тебе его не совратить, ибо он читать тебя не будет».

Книги, подаренные мне на память, я отложил, чтобы сохранить их навсегда. Когда я ставил в этот ряд и рукопись *Златой легенды,* мне захотелось ее поцеловать в воспоминанье о княгине Треповой, которая, даже возвысившись и разбогатев, осталась мне признательной и, в качестве моей должницы, явилась моею благодетельницей. Итак, у меня есть неприкосновенный фонд. Вот когда познал я преступленье! По ночам меня обуревали всякие соблазны, к рассвету они делались непреодолимы. И пока все в доме спали, я вставал и крадучись выходил из спальни.

Силы тьмы, виденья ночи, если бы, задержавшись у меня и после крика петуха, вы посмотрели, как я на цыпочках тихонько крадусь в обитель книг, вы б не воскликнули, подобно княгине Треповой в Неаполе: «У этого старика добрая спина!» Я входил; Ганнибал, выпрямив струною хвост, терся о мои ноги. Я хватал с полки том, какой-нибудь почтенный средневековый

---

[1] Начало фразы из Евангелия: «Изыди, сатана» *(лат.).*

экземпляр или благородного поэта Ренессанса,— драгоценность, сокровище, снившееся мне всю ночь,— я уносил его и втискивал в глубь шкафа с заповедными творениями, уже набитого битком. Страшно сказать: я крал приданое у Жанны. И, совершив такое преступленье, я бодро принимался за составление каталога, пока не приходила ко мне Жанна посовещаться относительно какой-нибудь детали приданого или туалета. Я никогда не мог взять в толк, о чем шла речь, по незнакомству с современной портняжной и белошвейной терминологией. Вот если бы невеста XIV века чудом пришла поговорить со мной о тряпках — в добрый час! Я понял бы ее язык. Но Жанна — не моей эпохи; я отсылаю мою питомицу к г-же де Габри, которая ей заменяет мать.

Ночь наступает, ночь настала! Облокотясь о подоконник, мы смотрим в темное широкое пространство, усеянное светящимися точками. Жанна, склонясь на перила, рукою охватила лоб,— вид у нее печальный. Я слежу за ней и говорю себе: «В каждой перемене, даже самой желанной, есть своя грусть, ибо то, с чем мы расстаемся,— часть нас самих; нужно умереть для одной жизни, чтобы войти в другую».

Словно отвечая на мою мысль, Жанна говорит:

— Милый опекун, я очень счастлива, а все же так хочется поплакать!

21 августа 1882 года.

Страница восемьдесят седьмая... Еще строк двадцать, и моя книга о насекомых и растениях закончена. Страница восемьдесят седьмая, и последняя...

«Как мы видели, насекомые имеют огромное значение в жизни растений: посещая цветы, они берут на себя перенос пыльцы с тычинок на пестик. Цветок как бы приуготовлен и приукрашен в ожидании этого брачного посещения. Мне думается, я доказал, что нектарник цветка выделяет сладкую жидкость, которая привлекает насекомых, а тем самым заставляет их производить прямое или перекрестное оплодотворение. Наиболее частым является последний способ. Я показал, как у цветов окраска и аромат рассчитаны на привлеченье насекомых, а внутреннее их строение — на то, чтобы насекомые, проникая в венчик, откладывали на рыльце пестика налипшую на них пыльцу. Шпренгель, мой уважаемый учитель, говорил по поводу пушка, который выстилает венчик лесной герани: «Мудрый творец природы не создал ни одной пушинки бесполезно». В свою оче-

редь, я говорю: «Если полевая лилия, упоминаемая в Евангелии, одета роскошнее царя Соломона, то ее пурпурная мантия — это мантия брачная, и роскошный пурпур необходим для продолжения ее потомства» [1].

Броль, 21 августа 1882 года.

Броль! Мой дом — последний, в конце деревни, если идти к лесу. Дом со щипцом, с аспидной крышей, отливающей на солнце радугой, как голубиная грудь. Флюгер на крыше снискал мне больше уважения в округе, чем все мои работы по истории и филологии. Нет мальчишки, который бы не знал бонаровского флюгера. Он заржавел и при ветре пронзительно скрипит. Временами он перестает работать, как и Тереза, которая ворчит, но терпит помощь молодой крестьянки. Дом невелик, но я живу удобно. Моя комната в два окна,— первая, куда заглядывает солнце. Над нею — комната детей: Жанна и Анри приезжают сюда два раза в год.

Там же стояла и кроватка маленького Сильвестра. Это был хорошенький ребенок, но очень бледный. Когда он играл на траве, мать следила за ним тревожным взглядом и поминутно бросала шитье, чтобы взять его к себе на колени. Бедному малютке не хотелось засыпать. Он говорил, что когда спит, уходит далеко, очень далеко, где темно, где чудятся ему такие вещи, которых он боится и не хочет видеть.

Тогда мать звала меня, и я садился у его кроватки; горячей, сухой ручонкой он брал меня за палец и говорил:

— Крестный, ты мне расскажешь про что-нибудь?

Я сочинял всевозможные сказки и рассказы, а он серьезно слушал. Ему все нравилось, но одна сказка пленила его детскую душу больше всех: сказка о голубой птице. Когда я кончал, он говорил:

— Еще! Еще!

Я начинал сначала, и его бледное с голубыми жилками личико никло к подушке.

Доктор на все наши вопросы отвечал:

---

[1] Господин Сильвестр Бонар не знал о том, что очень известные натуралисты еще до него исследовали отношения между растениями и насекомыми. Он не знал работ господина Дарвина, работ доктора Германа Мюллера, а также наблюдений сэра Джона Леббока. Следует отметить, что заключения Сильвестра Бонара очень близки к заключениям этих трех ученых. Не так практически полезно, но довольно интересно заметить, что сэр Джон Леббок, как и г-н Бонар,— археолог, на склоне лет отдавшийся естественным наукам. *(Прим. издателя.)*

— Ничего особенного!

Да! У маленького Сильвестра не замечалось ничего особенного. В прошлом году, однажды вечером, отец позвал меня:

— Пойдемте: маленькому хуже.

Я подошел к постельке, у которой недвижно стояла мать, прикованная к ней всеми силами души.

Маленький Сильвестр тихо обратил ко мне зрачки, все время уходившие под веки и не желавшие спускаться.

— Крестный,— сказал он,— больше не надо сказок.

Да, ему больше не понадобилось сказок.

Бедная Жанна! Бедная мать!

Я слишком стар, чтобы сохранить чувствительность, но смерть ребенка поистине мучительная тайна.

Сегодня отец и мать вернулись на полтора месяца под кровлю старика. Вон они рука об руку идут из леса. Жанна в черной тальме, у Анри на соломенной шляпе — креп; но оба блещут юностью и нежно улыбаются друг другу, улыбаются земле, что носит их, воздуху, что овевает их, и свету, который они видят отраженным в глазах друг друга. Из своего окна я машу им платком, и они дарят улыбкой мою старость.

Жанна легко взбегает по лестнице, обнимает меня и шепчет на ухо слова так тихо, что я не столько слышу, сколько угадываю их. В ответ я говорю:

— Да благословит вас бог, Жанна, вас и вашего мужа, в самом отдаленном потомстве вашем. Et nunc dimittis servum tuum, Domine [1].

---

[1] Ныне отпущаеши раба твоего, господи *(лат.)*.

ОСТРОВ ПИНГВИНОВ

ПЕРЕВОД ВАЛЕНТИНЫ ДЫННИК

ПРЕДИСЛОВИЕ

При всем разнообразии развлечений, казалось бы занимающих меня, жизнь моя посвящена лишь одному предмету. Вся она безраздельно служит осуществлению великой задачи: я составляю историю пингвинов. И работаю упорно, несмотря на постоянно возникающие трудности, порою непреодолимые.

Я производил раскопки, извлекая из-под земли древние памятники этого народа. Камни были первыми книгами человечества. Я изучал камни, представляющие собою как бы начальную летопись пингвинов. На берегу океана мною был разрыт еще никем не тронутый древний курган; я обнаружил в нем, как это обычно бывает, каменные топоры, бронзовые мечи, римские монеты, а также монетку в двадцать су, с изображением французского короля Луи-Филиппа Первого.

Что касается времен исторических, то здесь мне оказала большую помощь летопись Иоанна Тальпы, монаха Бергардинского монастыря. Я черпал из нее обильные сведения, тем более важные, что по истории пингвинского раннего средневековья другими источниками мы до сих пор не располагаем.

Начиная с XIII века имеется уже более богатый материал,— более богатый, но и более зыбкий. Писать историю — дело чрезвычайно трудное. Никогда не знаешь наверное, как все происходило, и чем больше документов, тем больше затруднений для историка. Когда сохранилось только одно-единственное свидетельство о некоем факте, он устанавливается нами без особых колебаний. Нерешительность возникает лишь при наличии двух или более свидетельств о каком-либо событии,— так как они всегда противоречат одно другому и не поддаются согласованию.

Конечно, предпочтение того или иного исторического свидетельства всем остальным покоится нередко на прочной научной основе. Но она никогда не бывает настолько прочна, чтобы противостоять нашим страстям, нашим предрассудкам и нашим интересам или препятствовать проявлениям легкомыслия, свойственного всем серьезным людям. Вот почему мы постоянно изображаем события либо пристрастно, либо слишком вольно.

О трудностях, возникавших предо мною при составлении истории пингвинов, я не раз заводил речь с археологами и палеографами, как пингвинскими, так и иностранными. Но вызывал к себе одно лишь презрение. Они смотрели на меня с сострадательной улыбкой, в которой можно было ясно прочесть: «Да разве мы, историки, пишем историю? Разве мы стремимся извлечь из текста, из документа хотя бы крупицу жизни или правды? Мы попросту, без мудрствований, издаем тексты. Мы во всем придерживаемся буквы. Только буква обладает достоверностью и определенностью. Духу эти качества недоступны: мыслить — значит фантазировать. Писать же историю могут только пустые люди: тут нужна фантазия».

Все это я читал во взгляде и в улыбке наших известных палеографов, и беседа с ними глубоко меня обескураживала. Но как-то раз, после разговора с одним из светил сигиллографии, повергшего меня в полное уныние, мне вдруг пришла в голову такая мысль: «Однако ведь существуют же историки, ведь не совсем же вывелась эта порода людей! В Академии нравственных наук их сохранилось пять-шесть. Они не издают текстов — они пишут историю. Уж они-то не скажут мне, что лишь пустые люди способны к такого рода занятиям».

И я приободрился.

На другое утро, как выражаются обычно (или наутро, как следовало бы сказать), я пошел к одному из них, человеку преклонных лет и тонкого ума.

— Милостивый государь! — сказал я ему.— Прошу вас помочь мне своим просвещенным советом. Я все силы свои полагаю на то, чтобы составить историю, но у меня ничего не выходит!

Он пожал плечами.

— Зачем же, голубчик, так утруждать себя составлением исторического труда, когда можно попросту списывать наиболее известные из имеющихся, как это принято. Ведь если вы выскажете новую точку зрения, какую-нибудь оригинальную мысль, если изобразите людей и обстоятельства в каком-нибудь неожиданном свете, вы приведете читателя в удивление. А читатель не

любит удивляться. В истории он ищет только вздора, издавна ему известного. Пытаясь чему-нибудь научить читателя, вы лишь обидите и рассердите его. Не пробуйте просвещать его, он завопит, что вы оскорбляете его верования.

Историки переписывают друг друга. Таким способом они избавляют себя от лишнего труда и от обвинений в самонадеянности. Следуйте их примеру, не будьте оригинальны. Оригинально мыслящий историк вызывает всеобщее недоверие, презрение и отвращение.

— Неужели, сударь, вы думаете,— прибавил мой собеседник,— что я добился бы такого признания и почета, если бы вводил в свои исторические книги какие-нибудь новшества! Ну, что такое новшество? Дерзость — и только!

Он встал. Я поблагодарил его за любезный прием и пошел к двери. Он меня окликнул.

— Еще два слова. Если вы хотите, чтобы ваша книга была хорошо принята, не упускайте в ней ни малейшего повода прославить добродетели, составляющие основу всякого общества: почитание богатства, благочестие и особенно смирение бедняков,— этот краеугольный камень общественного порядка. Заверьте читателей, что происхождение собственности, благородного сословия и жандармерии будет рассмотрено в вашем труде с подобающим уважением. Предупредите, что вы допускаете возможность вмешательства сверхъестественных сил в ход исторического процесса. При этих условиях вы стяжаете успех у благомыслящей публики.

Я продумал эти разумные указания и стал всемерно руководствоваться ими в своей работе.

Не буду здесь говорить о пингвинах до их превращения. Они интересуют меня лишь с того момента, когда из области зоологии они перешли в область истории и богословия. Ведь именно пингвины были превращены в людей великим святым Маэлем. Но здесь требуется кое-что разъяснить, поскольку в настоящее время термин «пингвин» дает повод к недоразумениям.

По-французски пингвинами называются арктические птицы, принадлежащие к семейству альцидовых; отряд же сфениспидовых, населяющих антарктические моря, мы называем маншотами. Такое наименование находим мы, например, у господина Ж. Лекуэнта [1] в его отчете о плавании на «*Belgica*». «Изо

[1] Ж. Лекуэнт, В стране маншотов, Брюссель, 1904, in-8°.

всех птиц, населяющих область Герлахского пролива,— пишет он,— наибольший интерес представляют, несомненно, маншоты. Их иногда ошибочно именуют южными пингвинами». Доктор Ж.-Б. Шарко, напротив, утверждает, что именно тех антарктических птиц, которых мы называем маншотами, и следует считать единственно настоящими пингвинами,— и ссылается на то, что у голландцев, достигших в 1598 году Магелланова мыса, эти птицы получили название «*pinguinos*», очевидно за свою тучность. Но если маншотов надо называть пингвинами, то как же в таком случае будут называться пингвины? Доктор Ж.-Б. Шарко не дает указаний, да, по-видимому, это его ничуть и не заботит [1].

Ну, что ж! Присваивает ли он впервые своим маншотам название пингвинов или только восстанавливает его,— спорить не приходится. Как первый исследователь этих птиц, он тем самым получил право дать им любое название. Но, по крайней мере, пусть предоставит он и северным пингвинам право оставаться пингвинами. Пускай же будут существовать пингвины южные и пингвины северные, антарктические и арктические, альцидовые (или прежние пингвины) и сфенисцидовые (или прежние маншоты). При этом возникнут, быть может, некоторые затруднения для орнитологов, озабоченных описанием и классификацией перепончатолапых; встанет, конечно, вопрос о том, удобно ли, в самом деле, одинаково называть два разные семейства птиц, населяющие полярно противоположные области и отличающиеся к тому же одно от другого целым рядом признаков, как-то: строением клюва, крыльев и лап. Меня же такое несоответствие нисколько не смущает. Сходство между моими пингвинами и пингвинами г-на Ж.-Б. Шарко разносторонней и глубже различий; как для тех, так и для других характерен невозмутимо спокойный, важный вид, какое-то комичное достоинство, дружелюбная доверчивость, добродушное лукавство, неуклюжая торжественность движений. Те и другие миролюбивы, болтливы, чрезвычайно любопытны, отличаются живым интересом к вопросам пингвинской общественной жизни и, быть может, не вполне чужды зависти и тщеславия.

У моих гиперборейцев, по правде сказать, крылья вовсе не чешуйчатые, а покрыты мелкими перышками; хотя ноги у них не так сильно отставлены назад, как у их южных собратьев, по

---

[1] Ж.-Б. Шарко, Дневник французской антарктической экспедиции, Париж, 1903, 1905, in-8°.

ходят они так же: горделиво, враскачку, грудь колесом, голова кверху; а выдающийся вперед клюв, os sublime, послужил одним из важных поводов к ошибке христианского проповедника, принявшего их за людей.

Настоящий труд мой, следует признать, относится к истории в старом понимании этого слова,— то есть в известной последовательности излагает события, о коих сохранилась память, и указывает по мере возможности их причины и следствия,— так что принадлежит скорее к области искусства, чем науки. Существует мнение, что подобный метод перестал уже удовлетворять умы, требующие точных знаний, и что древняя Клио, по нынешним временам, попросту болтунья. И, разумеется, когда-нибудь появится история более достоверная, исследующая условия существования, устанавливающая, что̀ производил и потреблял тот или иной народ в ту или иную эпоху в разных областях своей деятельности. Такая история будет уже не искусством, а наукой, соблюдая точность, старой истории недоступную. Но для этого необходимо множество статистических данных, коими народы — и, в частности, пингвины — до сих пор не располагают. Возможно, что современные нации дадут когда-нибудь материал для создания подобного рода истории. Что же касается истекших времен, то, боюсь, придется ограничиваться и впредь повествованием на старый лад. Достоинства такого повествования зависят главным образом от проницательности и добросовестности рассказчика.

Как сказал один из великих писателей Альки, жизнь народа соткана из преступлений, бедствий и безумств. Пингвиния в данном случае не исключение, однако в ее истории попадаются страницы, способные даже вызвать восторг, и надеюсь, я достаточно осветил их.

Долгое время пингвины отличались большой воинственностью. Один из них, а именно Жако Философ, оставил маленькую картинку их нравов, которую я приведу,— уверен, к удовольствию читателей:

«Мудрый Грациан объезжал Пингвинию во времена последних Драконидов. Однажды, углубившись в зеленеющую долину, где в чистом воздухе звенели колокольчики коровьего стада, он присел отдохнуть на скамью под сенью дуба, возле какой-то хижины. На пороге женщина кормила ребенка грудью; рядом другой ребенок, мальчик, играл с большой собакой; слепой старик, греясь на солнце, впивал полуоткрытыми устами теплоту ясного дня.

Хозяин дома, молодой человек богатырского сложения, предложил Грациану хлеба и молока.

Совершив сельскую трапезу, мудрец из страны дельфинов сказал:

— Благодарствуйте, милые жители милой страны! Как все у вас дышит весельем, сердечным согласием и миром!

В это время мимо прошел пастух, наигрывая на волынке какой-то марш.

— Что это за резкие звуки? — спросил Грациан.

— Это гимн, призывающий к войне с дельфинами,— ответил крестьянин.— У нас все поют его. Младенцы знают его прежде, чем научатся говорить. Все мы — истинные пингвины.

— Вы не любите дельфинов?

— Ненавидим!

— По какой же причине вы их ненавидите?

— Что за вопрос! Разве дельфины не соседи пингвинам?

— Соседи.

— Ну вот поэтому-то пингвины и ненавидят дельфинов.

— Разве это причина для ненависти?

— Разумеется. Сосед — значит враг. Посмотрите на это поле, рядом с моим. Его хозяина я ненавижу больше всех на свете. После него злейшие враги мои — жители вон той деревни, что лепится по горному склону с другой стороны долины, пониже березовой рощи. В ущелье, стиснутом горами, только и есть, что две деревни — наша и та: они и враждуют одна с другой. Стоит нашим парням встретиться с их парнями, как сейчас же начинается перебранка, а там и потасовка. И вы хотите, чтобы пингвины не питали вражды к дельфинам. Неужели вы не понимаете, что такое патриотизм! Нет, из моей груди рвутся лишь клики: «Да здравствуют пингвины! Смерть дельфинам!»

Тринадцать веков подряд пингвины вели войны против всех народов на свете — с неослабевающим пылом, хотя и с переменным успехом. Потом, за какие-нибудь несколько лет, они прониклись отвращением к тому, что так долго любили, и стали отдавать решительное предпочтение миру, выражая новые чувства, конечно, с подобающей сдержанностью, но от всей души. Их генералы прекрасно приспособились к новым веяниям; вся армия, офицеры, унтер-офицеры, рядовые, новобранцы и ветераны не за страх, а за совесть прониклись этим духом. Одни только бумагомараки и библиотечные крысы выражали недовольство, да безногие инвалиды все никак не могли утешиться по поводу такой перемены.

Упомянутый Жако Философ составил нечто вроде нравоучительного рассказа, где с большой комической силой были изображены разные деяния человечества; для этого рассказа он позаимствовал многие черты из истории своей собственной страны, своего народа. Некоторые спрашивали его, зачем он создал эту карикатуру на историю человечества и какую пользу может она принести его родине.

— Превеликую пользу,— отвечал философ.— Когда мои соотечественники пингвины узрят себя представленными на такой манер и лишенными всяких прикрас, они будут справедливее судить о своих деяниях и, быть может, станут разумнее.

Я старался не упустить в своей истории ничего, способного заинтересовать людей искусства. Они найдут здесь особую главу, посвященную пингвинской живописи средних веков, и если мне не удалось развить эту тему с той полнотой, как хотелось бы, то не по моей вине, в чем можно убедиться, прочтя о страшном случае, описанием которого я и заканчиваю настоящее предисловие.

В июне прошлого года я возымел мысль посоветоваться по вопросу о происхождении и развитии пингвинского искусства с незабвенным Фульгенцием Тапиром, просвещенным автором «Всеобщего летописания живописи, ваяния и зодчества».

Меня проводили к нему в кабинет, и за письменным столом с цилиндрической крышкой, среди невероятного нагромождения бумаг, я увидел маленького человечка в золотых очках, беспрестанно мигающего подслеповатыми, чрезвычайно близорукими глазками.

Компенсируя недостаток зрения, он исследовал внешний мир своим длинным подвижным носом, наделенным тончайшей чувствительностью. При помощи этого органа Фульгенций Тапир и общался с царством красоты и искусства. Установлено, что во Франции музыкальные критики по большей части глухи, а критики в области живописи — слепы. Это помогает им самоуглубляться, что необходимо для эстетического мышления. Если бы Фульгенций Тапир обладал зрением, способным различать формы и краски, облекающие полную тайн природу,— разве достиг бы он, преодолев гору документов, опубликованных в печати и рукописных, вершины доктринального спиритуализма? Разве воздвиг бы он величайшую теорию, согласно которой искусство всех времен и народов в своем развитии устремлено было к единой высокой цели — Французскому Институту!

На стенах кабинета, на полу, даже под потолком громоздились кипы бумаг, чудовищно разбухшие папки, ящики, набитые

неисчислимым множеством карточек,— и, полный восхищения, а вместе с тем и ужаса, я созерцал эти хляби учености, готовые разверзнуться.

— Дорогой мэтр,— произнес я взволнованно,— прибегаю к вашей неисчерпаемой снисходительности и таким же неисчерпаемым познаниям. Не согласитесь ли вы руководить моими изысканиями в столь трудной области, как происхождение пингвинского искусства?

— Милостивый государь,— отвечал мне мэтр,— в моем распоряжении все искусство, да, да, все искусство, разнесенное на карточки в алфавитном порядке, а также по содержанию. Считаю своим долгом предоставить вам все относящееся к пингвинам. Поднимитесь на эту стремянку и выдвиньте вон тот ящик, наверху. Вы найдете в нем все, что вам надобно.

Я повиновался, весь дрожа. Но едва я выдвинул злополучный ящик, как из него посыпались голубые карточки и, скользя у меня между пальцев, полились дождем. Вслед за этим,— видимо, из чувства солидарности,— пооткрывались соседние ящики, и оттуда вырвались целые потоки карточек, розовых, зеленых, белых, а после этого один за другим все ящики стали извергать карточки разного цвета, и те с шумом хлынули вниз, подобно горным водопадам апрельскою порой. В одну минуту пол покрылся толстым слоем бумаги. Изливаясь с возрастающим гулом из своих неисчерпаемых хранилищ, она все яростней обрушивалась с высоты. Утопая в ней по колени, Фульгенций Тапир при помощи своего внимательного носа следил за катаклизмом. Он понял причину происшедшего и побледнел от ужаса.

— Какие богатства искусства! — воскликнул он.

Я позвал его, наклонился, чтобы помочь ему взобраться на лестницу, начинавшую гнуться под ливнем. Слишком поздно! Подавленный, полный отчаяния, жалкий, потеряв свою бархатную ермолку и золотые очки, тщетно отбивался он коротенькими ручками от новых и новых волн, захлестнувших его по самые плечи. Вдруг налетел целый смерч карточек и закружил его в гигантском водовороте. На какую-то секунду в пучине промелькнула блестящая лысина ученого и его толстенькие ручки, затем бездна сомкнулась — ни звука, ни движения, а над нею продолжал бушевать потоп. Чтобы самому не утонуть подобным же образом на стремянке, я выскочил наружу, проломив верхнее стекло окна.

Киберон, 1 сентября 1907 г.

ГЛАВА I

Жизнь святого Маэля

Маэль, отпрыск камбрийского королевского рода, был на девятом году жизни отдан в Ивернское аббатство, ради книжного обучения, духовного и светского. В возрасте четырнадцати лет он отказался от наследства и принес обет служения господу. Сообразно с монастырским уставом, он посвящал свое время пению гимнов, занятиям грамматикой и размышлениям над вечными истинами.

Вскоре же небесное благоухание возвестило всему монастырю о добродетелях нового инока. И когда преставился настоятель Иверской обители блаженный Галл, то молодой Маэль стал его преемником в управлении монастырем. Он устроил там школу, больницу, странноприимный дом, кузницу, мастерские всякого рода, судостроительные верфи, а также заставил монашескую братию распахать близлежащие земли. Он сам возделывал монастырский сад, обрабатывал металлы, наставлял послушников, и жизнь его текла безмятежно, подобно реке, отражающей небо и несущей плодородие окрестным нивам.

На склоне дня сей служитель господа имел обыкновение сидеть на краю обрывистого берега, в том месте, которое и поныне называют креслом святого Маэля. А внизу, у ног его, огромные скалы, похожие на черных драконов, поросшие зелеными и бурыми водорослями, выставляли навстречу пенистым волнам свои чудовищные груди. Он смотрел, как солнце опускается в океан, алое, будто вино причастия, и обагряет славной кровью своей облака в небесах и гребни морских волн. И праведник прозревал в этом образе тайну креста, на котором пролита

была божественная кровь, облекшая всю землю царской багряницей. В открытом море виднелась темно-синяя полоса — берег острова Гад, где святая Бригита, принявшая пострижение от святого Мало, управляла женским монастырем.

Наслышанная о заслугах преподобного Маэля, Бригита высказала желание получить как драгоценнейший дар какое-либо изделие его рук. Маэль отлил для нее медный колокольчик и, закончив работу над ним, благословил его и бросил в море. И колокольчик, звеня, поплыл к берегам острова Гад, где святая Бригита, услышав над волнами медный звон, благоговейно приняла дар и, в сопровождении своих духовных дщерей, под пение псалмов, торжественно перенесла его в монастырскую часовню.

Так праведник Маэль совершенствовался в добродетелях. Он уже прошел две трети жизненного пути и надеялся дождаться безмятежной кончины среди братий своих во Христе, как вдруг ему было знамение, возвещающее о том, что божественная мудрость располагает иначе и что господь призывает его к трудам, не столь мирным, но не менее славным.

ГЛАВА II

Апостольское призвание святого Маэля

Однажды, погруженный в раздумье, шел он по берегу спокойной маленькой бухты, защищенной, словно естественной плотиной, грядою скал, выдавшихся далеко в море,— и вдруг он увидел каменное корыто, плывущее по водам, подобно ладье.

А ведь в каменных чанах св. Гирек, великий св. Коломбан, шотландские и ирландские монахи отправлялись проповедовать Евангелие в Арморике. И еще недавно святая Авойя, прибыв из Англии, поплыла вверх по течению реки Орэ в ступе из розового гранита — той самой, куда впоследствии сажали детей, чтобы они росли сильными; святой же Вуга переправился из Иберии в Корнуэльс на скале,— потом ее обломки, сохранившиеся в Пенмархе, начали исцелять от лихорадки, стоило богомольцам приложиться к ним головой; св. Самсон приплыл в залив близ горы св. Михаила в гранитном чане, впоследствии названном мисой св. Самсона. Вот почему при виде этого каменного корыта св. Маэль понял, что господь предназначил его для просвещения язычников, еще во множестве обитавших по бретонским островам и на побережье.

Он вручил свой ясеневый посох Будоку, человеку святой жизни, тем самым передавая ему управление обителью. Затем,

захватив с собою каравай хлеба, бочонок пресной воды и святое Евангелие, сел в каменное корыто, и оно тихо поплыло с ним к острову Эдику.

На острове этом постоянно бушуют ветры. Бедняки ловят там рыбу в расщелинах между скал и с трудом выращивают кое-какие овощи на песчаной и каменистой земле своих огородов, окруженных либо невысокой каменной стеною сухой кладки, либо тамарисковой изгородью. В лощине росла могучая смоковница, широко раскинувшая ветви. Островитяне поклонялись ей как божеству.

И сказал им Маэль, человек святой жизни:

— Вы поклоняетесь этому дереву, потому что оно прекрасно. Значит, вы чувствительны к красоте. Так вот, я пришел раскрыть перед вами красоту сокровенную.

И он проповедал им Евангелие. И, наставив их, окрестил солью и водой.

Морбиганские острова были в те времена многочисленнее, чем ныне. Ибо с тех пор многие из них погрузились в море. На шестидесяти островах проповедал св. Маэль христианскую веру. Затем в своем гранитном корыте он поднялся вверх по реке Орэ и после трехчасового плавания вышел на берег перед каким-то римским домом. Над крышей вился дымок. Святой переступил порог, украшенный мозаичным изображением собаки с ощеренными зубами и напряженными мускулами лап. Его приняли в этом доме престарелые супруги — Марк Комбаб и Валерия Мэренс, жившие плодами своей земли. Вокруг внутреннего двора высились колонны портика, снизу до половины выкрашенные в красный цвет. В стене был устроен фонтан из раковин, а под портиком стоял алтарь с нишей, куда хозяин дома поместил терракотовых идолов, побеленных известкой. Некоторые из них изображали крылатых детей, другие — Аполлона или Меркурия, а иные были в виде нагой женщины, выжимающей воду из волос. Разглядывая эти фигурки, святой Маэль нашел среди них изображение молодой матери с младенцем на коленях.

Тотчас же, указывая на нее, он сказал:

— Это пресвятая дева, матерь божья. Поэт Вергилий возвестил о ней в Сивиллиных песнях еще до ее рождения и ангельским голосом воспел ее: «Jam redit et virgo» [1]. И среди язычников распространены были фигурки, пророчествующие о ней, подобно вот этой на твоем алтаре, о Марк! Она, без сомнения, была благосклонна к твоим скромным дарам. Таким-то образом

[1] «Дева вернулась уже» *(лат.)*.

все послушно следующие естественному закону уже подготовлены к тому, чтобы воспринять откровение истины.

Марк Комбаб и Валерия Мэренс, просвещенные этой речью, обратились в христианскую веру. Они приняли святое крещение вместе с их юной вольноотпущенницей Целией Авителлой, которую любили, как свет своих очей. В тот же день отреклись от язычества и были крещены все колоны.

Марк Комбаб, Валерия Мэренс и Целия Авителла посвятили с тех пор свою жизнь подвигам добродетели. А после праведной кончины были причислены церковью к лику святых.

Так на протяжении тридцати семи лет блаженный Маэль просвещал язычников внутренних областей. Его тщанием воздвигнуто было двести восемнадцать часовен и семьдесят четыре монастыря.

Но вот однажды, пребывая в городе Ванн и проповедуя там Евангелие, прослышал он, что в его отсутствие иверские монахи отступили от устава святого Галла. Тотчас же, рьяный, как наседка, собирающая своих цыплят, поспешил он к заблудшим чадам своим. Ему шел тогда уже девяносто седьмой год; но, согбенный годами, он сохранял еще силу в руках, а звуки его голоса широко разносились вокруг, как зимний снег по глубоким долинам.

Аббат Будок вернул святому Маэлю ясеневый посох и поведал ему о том жалком состоянии, в коем находился монастырь. Монахи рассорились из-за вопроса о том, когда надлежит праздновать пасху. Одни стояли за римский календарь, другие — за греческий, и обитель раздирали ужасы хронологического раскола.

Царила в ней и другая причина беспорядков. Монахини острова Гад, в прискорбном забвении былой добродетели, то и дело подплывали в лодке к иверскому берегу. Монахи принимали их в странноприимном доме, и греховный соблазн распространялся все больше и больше, приводя в отчаяние благочестивые души.

Свое правдивое повествование аббат Будок закончил следующими словами:

— Появление этих инокинь погубило невинность и покой наших монахов.

— Готов этому поверить,— отвечал блаженный Маэль.— Ибо женщина — это ловко расставленная западня. Только почуял ее — и уже попался. Увы, восхитительная прелесть этих созданий издали действует еще сильнее, чем вблизи. И чем

меньше они удовлетворяют страстное желание, тем больше внушают его. Именно потому и сказал поэт, обращаясь к одной из них:

Вы здесь — от вас бегу, вас нет — я снова с вами.

Оттого-то мы и видим, сын мой, что приманки плотской любви более властны над отшельниками и монахами, нежели над мирянами. Бес похоти всю жизнь искушал меня разными способами, и самым сильным искушениям подвергался я вовсе не при встрече с какой-либо женщиной, даже прекрасной и благоуханной. Они порождались во мне образом женщины отсутствующей. Еще и поныне, на закате дней моих, когда я вступаю в девяносто восьмой год жизни, враг рода человеческого нередко вводит меня в грех против целомудрия, по крайней мере в помыслах моих. По ночам, когда я зябну на своем ложе и старые кости мои глухо стучат одна о другую, я слышу чьи-то голоса, читающие мне второй стих третьей Книги Царств: «И сказали ему слуги его: пусть поищут для господина нашего, царя, молодую девицу, чтобы она предстояла царю, и ходила за ним, и лежала с ним, и будет тепло господину нашему, царю». И диавол показывает мне отроковицу в расцвете первой юности, и она говорит мне: «Я — твоя Ависага. Я — твоя Сунамитянка, господин мой, дай мне место на ложе твоем».

— Поверьте мне,— добавил старик,— только особая милость божья помогает монаху сохранять целомудрие в делах и в помыслах.

Приступив к восстановлению в монастыре мира и чистоты нравов, он исправил календарь сообразно хронологическим и астрономическим исчислениям и обязал всех монахов отныне его придерживаться; падших духовных дочерей святой Бригиты он отослал в их обитель,— однако не только не изгнал их с позором, но велел проводить на корабль с пением псалмов и литаний.

— Окажем уважение им, как дщерям Бригиты и невестам Христовым! — говорил он.— Не уподобимся фарисеям, лицемерно презирающим грешниц. Нужно унизить в этих женщинах грех, а не их самих, и заставить их стыдиться содеянного, а не самих себя: ведь они — создания божьи.

И святой обратился к своим монахам с увещанием соблюдать монастырский устав.

— Когда над кораблями не властвует кормило,— говорил он,— над ними властвуют подводные скалы.

ГЛАВА III

Искушение святого Маэля

Не успел блаженный Маэль восстановить благочиние в Иверпском аббатстве, как до него дошла весть, что жители острова Эдика, первые его новообращенные, самые дорогие его сердцу, снова впали в язычество и снова стали вешать венки из цветов и шерстяные повязки на ветви священной смоковницы.

Лодочник, принесший это прискорбное известие, высказал опасение, как бы эти заблудшие не предали огню и разорению воздвигнутую на берегу острова часовню.

Святой решил незамедлительно навестить неверных чад своих, дабы вернуть их на стезю истинной веры и удержать от святотатственных бесчинств. Подойдя к бухте, где стояло на причале его каменное корыто, он обратил свои взоры на судостроительные верфи, уже тридцать лет как сооруженные им в глубине бухты и в этот час оглашаемые визгом пил и стуком молотков.

И тут диавол, неутомимый в своих кознях, вышел из верфей, приблизился к святому, приняв обличье одного из монахов, по имени Самсон, и стал так искушать его:

— Отец мой, жители острова Эдика непрерывно предаются греху. С каждым мгновением они все больше удаляются от бога. Они уже готовы предать огню и разорению часовню, воздвигнутую трудами славных рук твоих на берегу острова. Время не терпит. Не полагаешь ли ты, что твое каменное корыто быстрее пойдет по водам, если оснастить его, как судно, снабдив рулем, мачтой и парусом? Ведь тогда тебе будет помогать ветер. Руки твои еще сохранили силу и способны управлять судном. А также неплохо бы к передней части твоего апостолического корыта приладить острый волнорез. В своей мудрости ты сам, должно быть, уже подумал об этом.

— Конечно, время не терпит,— отвечал святой старец.— Но поступить по твоему совету, сын мой Самсон,— не значит ли уподобиться маловерам, не желающим положиться на помощь божью? Не значит ли это презреть дар самого господа, пославшего мне каменное корыто без всякой оснастки и без паруса?

На этот вопрос диавол, превеликий богослов, ответил другим вопросом:

— Но, отец мой, похвально ли будет ждать сложа руки помощи свыше и испрашивать все у всемогущего, вместо того чтобы действовать по человеческому разумению, своими силами?

— Конечно, нет,— ответил святой Маэль.— Отказываться действовать по человеческому разумению — значит искушать господа бога.

— А в наших обстоятельствах,— продолжал диавол,— не велит ли человеческое разумение оснастить корыто?

— Это было бы так при невозможности другим способом поспеть вовремя к цели.

— Хе-хе, значит, твое корыто так быстроходно!

— Оно так быстроходно, как это угодно господу богу.

— Что ты об этом знаешь? Оно способно двигаться не быстрее, чем мул нашего аббата Будока. Это просто старый башмак. Разве нам возбраняется прибавить ему быстроты?

— Сын мой, доводы твои блестящи, но чрезмерно смелы. Не забывай, что корыто мое обладает чудесным свойством.

— Все это так, отец мой. Гранитное корыто, плавающее по воде, как пробка, несомненно обладает чудесным свойством. Но что из этого следует?

— Я в большом затруднении. Надлежит ли совершенствовать человеческими, естественными средствами столь чудесное судно?

— Отец мой, если ты потеряешь правую ногу и господь вернет ее тебе, будет ли такая нога чудесной?

— Несомненно, сын мой.

— Будешь ли ты обувать ее?

— Разумеется.

— Так вот, если ты допускаешь, что можно обувать в простой башмак чудесную ногу, то должен допустить и простую оснастку для чудесного судна. Это ясно как день! Ах, отчего даже у самых праведных людей дух подвержен порою затмению и нерешительности! Казалось бы, кто из вероучителей Бретани достиг большей славы, кто более способен свершать дела, достойные вечной хвалы?.. Но дух медлителен, и руки ленивы. Что ж, отец мой, прощай. Плыви себе полегоньку, а когда достигнешь наконец берегов Эдика, полюбуйся дымом пожарища на месте часовни, воздвигнутой и освященной твоими руками. Язычники сожгут ее — и с нею бедного диакона, поставленного тобою, который будет поджарен, как колбаса.

— Я в великом смущении,— отвечал слуга господень, отирая рукавом выступивший на лбу пот.— Но послушай, сын мой Самсон, ведь не так-то легко будет оснастить это каменное корыто. И, взявшись за такую работу, не потеряем ли мы время, вместо того чтобы выиграть его?

— Ах, отец мой,— воскликнул диавол,— не успеет один только раз просыпаться песок в часах, как все будет готово. Мы найдем необходимые снасти на верфях, некогда заложенных тобою здесь, на берегу, и на складах, обильно снабжаемых благодаря твоим заботам. Я собственноручно оснащу корыто. Ведь до поступления в монастырь я был матросом и плотником, да и на кое-что другое неплохим мастером. Приступим!

И вот он увлекает святого в сарай, полный всяких принадлежностей для мореплавания.

— Забирай, отец мой!

И взваливает ему на спину парус, мачту, гафель и гик.

Затем, сам нагрузившись форштевнем и рулем с кормовой частью киля, прихватив мешок со столярным инструментом, бежит он к берегу, таща за полы святого мужа, а тот едва поспевает за ним, задыхаясь, весь в поту, согбенный под тяжестью паруса и деревянных снастей.

ГЛАВА IV

Плавание святого Маэля по Ледовитому океану

Подоткнув свою одежду к самым подмышкам, диавол вытащил корыто на песок, и не прошло и часу, как оснастил его.

Лишь только святой Маэль взошел на борт, корыто на всех парусах стало разрезать волны с такою быстротой, что берег вскоре исчез из виду. Старец правил на юг, намереваясь обогнуть Лендз-Энд. Но непреодолимое течение относило его к юго-западу. Проплыв вдоль южного берега Ирландии, судно вдруг повернуло к северу. Вечером ветер посвежел. Тщетно пытался Маэль свернуть парус. Корыто неистово неслось вперед, к баснословным морским далям.

В лунном свете пышнотелые северные сирены, с волосами цвета конопли, плавали вокруг, выставляя из воды свои белые груди и розовые бедра; они ударяли изумрудными хвостами по вспененным волнам, под мерные звуки своей песни:

Куда тебя, кроткий Маэль,
Несет, обезумев, корыто?
Вздувается парус на нем,—
Так грудь у Юноны вздымалась,
Млечный Путь в небесах оставляя.

Некоторое время они, при свете звезд, преследовали его гармоническим смехом. Но корыто шло во сто крат быстрее крас-

ной ладьи викинга, и буревестники, настигнутые на лету, запутывались лапами в волосах святого мужа.

Вскоре поднялась буря, и, гонимое яростным ветром сквозь мрак и вой, корыто летело, как чайка, среди тумана и клокочущих волн.

После этой ночи, длившейся трое суток, пелена мрака внезапно разорвалась. И вдали, на самом горизонте, святой муж увидел берег, сверкающий ярче алмаза. Берег рос на глазах, и вскоре, при льдяном свете солнца, застывшего низко в небе, перед Маэлем возник над волнами белый город с пустынными улицами; более обширный, чем стовратные Фивы, он далеко, насколько видит глаз, простирал развалины своего снежного форума, своих дворцов, одетых изморозью, хрустальных арок, обелисков, переливающихся перламутровым блеском.

Океан был весь в плавучих льдинах, среди которых ныряли моржи с диким и кротким взглядом. Пронесся Левиафан, извергая к самым облакам целый столб воды.

Между тем на ледяной глыбе, плывущей рядом с каменным корытом, Маэль увидел белую медведицу с медвежонком у груди и слышал, как она тихо прошептала стих из Вергилия: «Incipe, parve puer...» [1]

И старец заплакал, полный печали и смятения.

Бочонок с пресной водою лопнул, так как вода в нем замерзла. Чтобы утолить жажду, Маэль сосал льдинки. И ел хлеб, пропитанный соленой водою. Волосы в бороде и на голове его стали ломкими, как стеклянные. Обледенелая одежда при каждом движении царапала ему тело. Чудовищные волны поднимались вокруг, разверзая на старца свои покрытые пеной пасти. Раз двадцать лодку затопляло водой. Святое Евангелие в пурпурном переплете с золотым крестом, столь заботливо хранимое проповедником, было поглощено океаном.

Но вот, на тридцатый день, море успокоилось. И вдруг, под ужасающий грохот в небесах и на водах, ослепительно-белая гора высотою в триста футов надвинулась на каменное корыто. Маэль правит в сторону, но румпель в руках его ломается. Чтобы избежать столкновения со скалой, он хочет свернуть часть паруса. Но когда он пытается подвязать линьки, ветер вырывает их у него из рук, и трос, резко выскальзывая из рук, обжигает ему ладони нестерпимою болью. И он видит трех демонов с черными кожистыми крыльями, усеянными множеством крючков: повиснув на мачте, демоны дуют в парус.

---

[1] «Маленький мальчик, начни...» *(лат.)*

При виде их он понимает, что поддался наущениям врага рода человеческого, и осеняет себя крестным знамением. И сразу же бешеный порыв ветра, в котором слышатся рыдания и вой, поднимает каменное корыто, уносит мачту и парус, срывает руль и волнорез.

И корыто, отнесенное течением в сторону, опустилось в спокойных водах. Преклонив колени, святой муж возблагодарил господа за спасение из диавольской западни. Тут он снова увидел на ледяной глыбе медведицу-мать, говорившую человеческим голосом среди бури. Она прижимала к груди свое любимое дитя, а в лапах держала книгу в пурпурном переплете с золотым крестом. Подплыв на своей льдине к гранитному корыту, она приветствовала святого мужа словами: «Pax tibi, Mael!» [1] — и протянула ему книгу.

Святой муж узнал свое Евангелие и, изумленный, огласил потеплевший воздух гимном во славу творца и его творения.

ГЛАВА V

Крещение пингвинов

Отнесенный течением в сторону, святой муж через час пристал к узкой береговой полосе, ограниченной островерхими горами. Целый день и целую ночь шел он вдоль берега, обходя скалы, высившиеся непреодолимой преградой. И таким образом убедился, что попал на округлый остров, посредине которого возвышалась увенчанная облаками гора.

С восторгом впивал он свежее дыхание влажного ветра. Шел дождь, и дождь этот был так сладостен, что святой муж сказал господу:

— Господи, остров сей — остров слез покаянных.

Взморье было безлюдно. Изнемогая от усталости и голода, он сел на камень и увидел рядом с собою, в углублении камня, птичьи яйца, желтые, в черных крапинках и по размерам сходные с лебедиными. Но он не притронулся к ним, говоря:

— Птицы — живые славословия господу. Не хочу, чтобы хоть одно из этих славословий исчезло по моей вине.

И стал жевать лишайники, росшие в расселинах камня.

Святой муж обошел уже почти весь остров, не встретив никаких обитателей, как вдруг обнаружил на своем пути обширную круглую площадь, замкнутую бурыми и рыжими скалисты-

[1] Мир тебе, Маэль! *(лат.)*

ми горами, которые звенели множеством водопадов и уходили голубоватыми вершинами под самые облака.

Глаза у старца были обожжены сиянием полярных льдов. Но все же набухшие веки пропускали еще слабый свет. И он различил какие-то живые существа, громоздившиеся на выступах скал, подобно человеческой толпе на ступенях амфитеатра. А в то же время и уши его, оглушенные ревом морских волн, казалось, различили слабые звуки голосов. Полагая, что перед ним люди, живущие еще по одним естественным законам, и что господь послал его к этим людям, дабы наставить их в законе божеском, он стал проповедовать им Евангелие.

Взобравшись на высокий камень посередине этого естественного амфитеатра, он обратился к ним со словами:

— Островитяне! Хоть вы и малорослы, но больше похожи на сенаторов некоего благоустроенного государства, чем на толпу рыболовов и моряков. Степенные, молчаливые, спокойные, вы на своем собрании посреди этих диких скал подобны римским отцам города, сошедшимся на совещание в храм Победы, или, скорей, даже афинским философам, дискутирующим на скамьях Ареопага. Конечно, вы не обладаете ни их ученостью, ни их дарованиями, но, быть может, в глазах господа нашего вы их и превосходите. Я догадываюсь, что вы простодушны и добры. Обойдя берега вашего острова, я не обнаружил ни следов смертоубийства, ни признаков кровопролития, ни вражеских голов или скальпов, вздетых на высокие шесты или пригвожденных к сельским воротам. Мне кажется, вы не знаете ремесел и не обрабатываете металлов. Но сердца ваши чисты и руки не запятнаны греховными делами. И истина легко проникнет к вам в души.

Однако те, кого он принял за людей, хоть и малорослых, но степенных, были пингвины, собравшиеся на птичий базар, как это бывает весною,— они сидели парами на естественных выступах скалистой горы, а большие белые животы придавали им величественную осанку. Порою они взмахивали своими короткими, похожими на руки крыльями и мирно покрикивали. Они не боялись людей, так как не знали их и никогда не видели от них зла, а от этого монаха веяло такой кротостью, что он внушал доверие самым пугливым животным — и пингвинам чрезвычайно понравился. С дружественным любопытством каждый из них обратил к нему свой круглый глазок с белой овальной каемкой, удлиняющей его спереди и придающей взгляду нечто странное и как бы человеческое.

Тронутый их невозмутимым спокойствием, святой стал проповедовать им Евангелие.

— Островитяне, сей земной день, только что взошедший над вашими скалами, есть образ духовного дня, восходящего в душах ваших. Ибо я несу вам внутренний свет; несу свет и тепло духовные. Подобно тому как солнце растапливает ледники у вас на горах, Иисус Христос растопит лед сердец ваших.

Так говорил старец. А всюду в природе один голос вызывает в ответ другой, и все живое на земле любит песенную перекличку,— вот почему на слова старца откликнулись все пингвиньи глотки. И голоса были нежны, так как это время года для пингвинов — пора любви.

Святой, убежденный, что пред ним племя идолопоклонников и что они на своем языке признали истинность христианской веры, тут же предложил им принять крещение.

— Полагаю, что вы часто купаетесь,— сказал он им.— Ведь все впадины этих скалистых гор полны чистой воды, и я сам, идя сюда, видел, как многие из вас погружались в эти естественные купели. Так знайте же, что чистота телесная есть образ чистоты духовной.

И он поведал им о происхождении, природе и последствиях крещения.

— Крещение,— объяснил он,— это Присоединение, Возрождение, Восстановление, Просвещение.

И растолковал им это по пунктам.

А затем, предварительно благословив воду горных водопадов и творя очистительные молитвы, он окрестил новообращенных, пролив каждому на голову каплю воды и произнеся при этом священные слова.

Так крестил он птиц три дня и три ночи.

ГЛАВА VI

Совещание в раю

Когда вести о крещении пингвинов дошли до рая, они вызвали там не радость, не печаль, но крайнее удивление. Сам господь бог не знал, как быть. Он созвал ученых и богословов, чтобы обсудить с ними вопрос, имеет ли такое крещение силу.

— Никакой! — заявил св. Патрик.

— Почему никакой? — спросил св. Галл, просветитель Корнуэльса, воспитавший святого мужа Маэля для апостольских трудов.

«Остров пингвинов»

— Таинство крещения недействительно,— отвечал св. Патрик,— если оно совершено над птицами, подобно тому как недействительно таинство брака, если оно совершено над евнухом.

Но св. Галл возразил:

— Что же общего между крещением птиц и браком евнуха? Ровно ничего! Брак есть таинство условное, так сказать, предвосхищающее. Священник заранее благословляет некий акт; совершенно очевидно, что в случае, если этот акт не осуществится, благословение не будет иметь действия. Это каждому ясно. В земной своей жизни я знавал в городе Антриме богатого человека, по имени Садок. Он состоял в сожительстве с одной женщиной и прижил с нею девять детей. В старости, уступая моим увещаниям, он согласился обвенчаться с нею, и я благословил их союз. К несчастью, преклонные лета не позволили Садоку осуществить этот брак. Немного времени спустя он лишился всех своих богатств, и Гермина (так звали женщину), будучи не в силах выносить такую нужду, просила о расторжении брака, оставшегося неосуществленным. Папа исполнил эту просьбу, ибо она была справедлива. Вот как обстоит дело с таинством брака. Что же касается крещения, то оно не ограничено никакими условиями и оговорками. Не может быть сомнений: таинство над пингвинами совершено.

Когда попросили поделиться своим мнением по этому поводу св. Дамасия, папу, он высказался следующим образом:

— Чтобы определить, имеет ли крещение силу и вызовет ли оно нужные последствия, то есть освятит ли крещаемых, следует знать, кто его совершает, а не над кем оно совершается. В самом деле, освящение, происходящее при этом таинстве, есть результат внешнего действия, совершенного над крещаемым, меж тем как сам он в своем освящении не принимает никакого участия; будь это иначе, не крестили бы новорожденных. И чтобы крестить, нет надобности в каких-либо особых условиях, нет необходимости пребывать в состоянии благодати,— достаточно возыметь намерение поступить сообразно с указаниями церкви — произнести священные слова и исполнить предписываемый обряд. А нельзя сомневаться в том, что преподобный Маэль соблюл все эти условия. Следовательно, пингвины крещены.

— Вот как? — спросил св. Гвенолий.— Тогда, по-вашему, что ж такое крещение? Крещение — это акт обновления, при котором крещаемый вновь рождается из воды и духа, ибо, войдя в воду весь запятнанный грехами, он выходит из нее новопосвященным христианином, совершенно другим существом, предуготовленным к подвигам праведности; в крещении, как в

зерне, заключено бессмертие; крещение — залог воскресения; крещение есть сопогребение с усопшим Христом и совосстание с ним из гроба. Сей дар — не для птиц! Посудите сами, отцы! Крещением смывается первородный грех,— но ведь пингвины не зачаты в грехе; оно освобождает от наказания за грехи,— но ведь пингвины не грешат; оно осеняет благодатью и готовит к добродетельной жизни, соединяя христиан с Иисусом Христом, как части тела соединены с головою,— но ведь нельзя допустить и мысли, чтобы пингвины могли украшаться добродетелями наподобие христианских исповедников, дев и вдовиц, могли осеняться благодатью и приобщаться к...

Святой Дамасий не дал ему окончить.

— Это доказывает только, что крещение было напрасно,— живо заметил он,— но отнюдь не доказывает, что оно недействительно.

— Однако в таком случае,— отвечал ему св. Гвенолий,— можно крестить во имя отца и сына и святого духа, погружением в воду или окроплением, не только птиц и четвероногих, но также и неодушевленные предметы — статуи, столы, стулья и тому подобное. И такое животное стало бы христианином, такой идол, такой стол были бы христианами? Что за нелепость!

Затем взял слово св. Августин. Его выслушали в глубоком молчании.

— Я сейчас покажу вам на примере могущество ритуала,— сказал пламенный епископ Гиппонский.— Правда, дело идет о заклятии диавольском. Но если установлено, что ритуал, внушенный диаволом, оказывает действие на неразумных животных или даже на неодушевленные предметы, как же усомниться в том, что священный ритуал оказывает действие на разум животных и на косную материю? Вот пример.

При жизни моей была в городе Мадавре, на родине философа Апулея, одна волшебница, умевшая привлекать к себе на ложе любого мужчину: для этого ей достаточно было сжечь на своем треножнике несколько волосков с головы ее избранника, подкладывая при этом в огонь какие-то травы и произнося какие-то слова. Но однажды, пожелав таким способом добиться любви некоего юноши, она введена была в обман своею служанкой и вместо волосков с головы юноши сожгла клочок шерсти, выдернутый из козлиной шкуры, которая служила кабатчику мехом для вина. И вот ночью мех этот, полный вином, сорвался со стены и проскакал через весь город прямо к порогу волшебницы. Случай совершенно достоверный. В таинстве, как и в волшебстве, все зависит от соблюдения

формы. Действие божественного ритуала не может быть слабее и ограниченней, чем действие ритуала адского.

Высказавшись таким образом, великий Августин сел на свое место под шум рукоплесканий.

Какой-то блаженный муж преклонных лет и унылого вида попросил слова. Никто не знал его. Он звался Пробом и не числился в списке канонизированных святых.

— Прошу прощения у почтенных слушателей. У меня нет ореола, и я не прославлен блестящими подвигами, хоть и достиг вечного блаженства. Но после всего сказанного великим святым Августином я считаю уместным поделиться с вами собственным жестоким опытом, благодаря которому я узнал, чем обусловлена действенность таинства. Справедливо сказал епископ Гиппонский: в таинстве все зависит от ритуала. В ритуале — его сила, в ритуале и его слабость. Выслушайте, исповедники и священнослужители, мою горестную повесть. Я был священником в Риме, в правление императора Гордиана. Не отличаясь выдающимися заслугами, подобными вашим, я все же с благоговением отправлял свои священнические обязанности. Сорок лет священствовал я при церкви святой Модесты-за-стенами. Жизнь моя протекала размеренно. Каждую субботу я ходил к кабатчику по имени Бархас, занимавшему со своими амфорами помещение у Капенских ворот, и покупал у него вино, дабы освящать его ежедневно всю неделю. За долгий срок моего священства не случилось ни разу, чтобы я не отслужил утром обедни с пресуществлением святых даров. И, однако, я не знал радости, и тоска стесняла мне сердце, когда я вопрошал на ступенях алтаря: «Отчего ты печальна, душа моя, и отчего смущаешь меня?» Приобщая верующих, я испытывал постоянные огорчения, ибо, можно сказать, еще ощущая на языке вкус тела и крови Христовой, полученных из моих рук, они снова впадали в грех, как если бы таинство не имело силы и не оказывало на них никакого действия. Наконец исполнились сроки земных испытаний моих, и я, опочив в господе, пробудился в блаженных селениях. И вот тогда из уст ангела, перенесшего меня сюда, услышал я, что кабатчик Бархас продавал у Капенских ворот под видом вина какой-то отвар из овощей и древесной коры, в котором не содержалось ни капли виноградного сока; что я не мог претворять такое варево в кровь, ибо это было не вино,— а одно лишь вино претворяется в кровь Христову; что, следовательно, и совершаемое мною таинство не имело силы, а я с моею паствой, сами того не ведая, на протяжении сорока лет лишены были таинства евхаристии — и, значит, по существу отлу-

чены от церкви. Я был поражен таким открытием, и поныне угнетающим меня в сих райских селениях. Я непрестанно обхожу их от начала до конца, но не встретил еще здесь ни одного из тех, кому некогда давал причастие в базилике блаженной Модесты.

Лишенные хлеба небесного, они были бессильны противостоять самым отвратительным порокам и все попали в ад. Утешаю себя мыслию, что и кабатчик Бархас осужден на адские муки. В этом есть логика, достойная создателя всяческой логики. Тем не менее мой горестный пример показывает, как бывает иногда прискорбно, что в таинствах форма важнее содержания. И я смиренно вопрошаю: не может ли мудрость предвечного оказать здесь целебное действие?

— Нет,— отвечал господь.— Лекарство опаснее самой болезни. Если бы для спасения души содержание имело больше силы, чем форма, это означало бы уничтожение священства.

— Увы, господи,— со вздохом промолвил смиренный Проб,— поверьте моему печальному опыту: сводя таинства к соблюдению ритуала, вы создаете ужасающие помехи своему правосудию.

— Знаю лучше вас! — отвечал господь.— Я охватываю одним взором и трудные задачи нынешних времен, и задачи времен грядущих, не менее трудные. И вот могу возвестить вам, что, когда солнце совершит еще двести сорок раз свой путь вокруг земли...

— Какой возвышенный язык! — воскликнули ангелы.

— И достойный творца вселенной! — поддержали священнослужители.

— Такие обороты речи связаны с моей старой космогонией,— заметил господь,— и если я откажусь от нее, это нанесет ущерб моей неизменности... Итак, когда солнце совершит еще двести сорок раз свой путь вокруг земли, в Риме не останется ни одного ученого, знающего латинский язык. В церквах, при пении литаний, будут взывать к святым Орихилу, Рогуилу и Тотихилу,— имена же эти, как вам известно, суть имена диавольские, а не ангельские. Многочисленные воры, желая причаститься, но опасаясь, что их заставят для прощения грехов отдать похищенное в церковь, будут исповедоваться у бродячих священников, которые, не зная ни итальянского, ни латинского языка и говоря только на своем деревенском наречии, будут ходить по городам и весям, отпуская грехи за ничтожную плату, а то и просто за бутылку вина. По всей вероятности, подобные отпущения не будут иметь к нам никакого касательства,

как полученные без раскаяния и по этой причине недействительные; но крещения, весьма возможно, еще доставят нам немало забот. Священники станут до такой степени невежественны, что будут крестить младенцев «во имя отцов, сынов и святых духов», о чем сообщит не без удовольствия Луи де Поттер в третьем томе своей «Философской, политической и критической истории христианства». Разрешать вопрос о действительности такого рода крещения будет весьма нелегко, ибо, если в Священном писании я мирюсь с греческим языком, далеко уступающим в изяществе языку Платона, и с латынью, отнюдь не цицероновской, то все-таки не могу же я принять в качестве литургического текста полную тарабарщину! Нельзя без содрогания подумать, что такие неправильности будут допущены по отношению к миллионам новорожденных. Но вернемся к нашим пингвинам.

— Ваши божественные речи, о господи, уже подвели нас снова к этому вопросу,— сказал св. Галл.— В религиозных символах и правилах, от которых зависит спасение души, форма безусловно важнее содержания, и действительность таинства зависит исключительно от формы. Следовательно, нужно только знать, была ли соблюдена форма при крещении пингвинов: да или нет? Ответ совершенно ясен.

Отцы и ученые богословы согласились со св. Галлом, но это привело их еще к большему замешательству.

— Обращение пингвинов в христианство сопряжено для них с немалыми трудностями,— сказал св. Корнелий.— Ведь этим птицам надо будет заботиться о своем вечном спасении. Как же они могут его достигнуть? Птичьи нравы во многих отношениях противоречат предписаниям церкви. А у пингвинов нет разумных оснований эти нравы изменять. То есть, я хочу сказать, пингвины недостаточно разумны, чтобы стать благонравными.

— Они не могут измениться,— сказал господь.— Этому препятствуют мои предначертанья.

— А вместе с тем,— продолжал св. Корнелий,— будучи крещены, они теперь отвечают за свое поведение. Оно станет отныне хорошим или дурным, достойным похвалы или порицания.

— Да, именно так стоит вопрос,— сказал господь.

— Я вижу один только выход,— сказал св. Августин.— Пингвины пойдут в ад.

— Но ведь у них нет души,— возразил св. Ириней.

— Досадно,— со вздохом сказал св. Тертуллиан.

— Что и говорить! — согласился св. Галл.— Приходится признать, что праведный Маэль, ученик мой, в слепом рвении своем, создал для святого духа немалые трудности богословского характера и погрешил против порядка совершения таинств.

— Легкомысленный старик! — воскликнул, пожимая плечами, св. адъютор Эльзасский.

Но господь укоризненно взглянул на адъютора и сказал ему:

— Позвольте, позвольте! Ведь святой Маэль, в отличие от вас, блаженный муж, не наделен дарованным свыше знанием. Я недоступен его лицезрению. Он обременен старческими немощами, наполовину глух и на три четверти слеп. Вы слишком суровы к нему. Но признаю, положение в самом деле весьма затруднительно.

— К счастью, это трудность преходящая,— сказал св. Ириней.— Пингвины получили крещение, но их будущие птенцы не получат его, так что ошибка затрагивает лишь нынешнее поколение.

— Не говорите так, сын мой Ириней,— поправил его господь.— Законы, устанавливаемые естествоиспытателями на земле, допускают возможность исключений, ибо они несовершенны и не вполне соответствуют природе вещей. Но законы, установленные мною, совершенны и не терпят никаких исключений. Надлежит решить участь крещеных пингвинов таким образом, чтобы ни в чем не нарушить божественных законов и десяти заповедей, а равно и предписаний моей церкви.

— Господи, даруйте им бессмертную душу,— предложил св. Григорий Назианзин.

— Увы, господи, что им делать с нею? — вздыхая, заметил Лактанций.— Ведь нет у них приятного голоса, чтобы воспевать вам хвалу. Они не в состоянии будут совершать святые таинства.

— Они, конечно, не будут соблюдать божественного закона,— поддержал св. Августин.

— Они не в состоянии будут соблюдать его,— сказал господь.

— Не в состоянии,— повторил св. Августин.— И если вы, господи, в великой мудрости своей, вдохнете в них бессмертную душу, они пойдут в огнь вечный, согласно с вашими благими предначертаниями. И таким образом верховный порядок, нарушенный этим старым камбрийцем, восстановится.

— Вы предлагаете мне верное решение, сын Моники, вполне согласное с моей мудростью,— сказал господь.— Но оно не

удовлетворяет моего милосердия. А я, хоть и неизменный в своей сущности, с течением времени все более склоняюсь к кротости. Чтобы почувствовать эти изменения в моем характере, достаточно сравнить Ветхий завет с Новым.

Так как прения затянулись, не внося в вопрос никакой ясности, и блаженные мужи обнаруживали склонность повторяться,— решено было посоветоваться со св. Екатериной Александрийской. Так обычно поступали во всех затруднительных случаях. Св. Екатерина при земной жизни своей поставила в тупик пятьдесят ученейших богословов. Она одинаково хорошо знала как Священное писание, так и философию Платона и владела искусством риторики.

ГЛАВА VII

Совещание в раю

(Продолжение и окончание)

Святая Екатерина явилась на совещание в венце, украшенном изумрудами, сапфирами и жемчугом, и в платье из золотой парчи. Сбоку она держала пылающее колесо — подобие того, которое осколками своими поразило ее мучителей.

Господь спросил ее мнения, и она сказала следующее:

— Господи, чтобы разрешить задачу, милостиво предложенную мне вами, я не стану подвергать разбору нравы животных вообще и птиц — в частности. Я позволю себе только обратить внимание ученых богословов, исповедников и священнослужителей, здесь собравшихся, на то обстоятельство, что между человеком и животным нет резкого разделения, поелику существуют чудовища, совмещающие в себе эти два начала. Таковы химеры — полунимфы и полузмеи; таковы три горгоны; таковы козлоногие; таковы сциллы и сирены, поющие на море. Ведь у последних грудь женская, а хвост рыбий. Таковы и кентавры: они до пояса — люди, а ниже — лошади. Это благородные чудовища. Вам, конечно, известно, что один из них, ведомый лишь собственным своим разумом, достиг вечного блаженства, и порою можно видеть, как он круто выгибает доблестную грудь свою среди золотых облаков. За свои земные труды кентавр Хирон удостоился быть причисленным к лику блаженных. Он был воспитателем Ахиллеса; и этот юный герой, выйдя из-под начала кентавра, провел два года в девичьих одеждах, среди дочерей царя Ликомеда. Он разделял с ними игры и ложе, не дав повода хотя бы на мгновение заподозрить, что он не юная

дева, подобная им. Хирон, воспитавший его столь добродетельным,— единственный праведник, если не считать императора Траяна, достигший славы небесной соблюдением одного только естественного закона. А ведь Хирон был лишь наполовину человек.

Полагаю, этим примером я доказала, что можно достигнуть вечного блаженства, обладая хоть частью человеческого тела, лишь бы это была часть благородная. И неужели то, чего достиг кентавр Хирон даже без обновляющей силы крещения, будет недостижимо для крещеных пингвинов, если только превратить их в полупингвинов-полулюдей?! А посему умоляю вас, господи, даровать пингвинам старца Маэля человеческую голову и стан, дабы они могли достойным образом воздавать вам хвалу, и наделить их бессмертными душами, однако лишь небольшого размера.

Так говорила св. Екатерина, и отцы, ученые богословы, исповедники и священнослужители сопровождали ее речь одобрительным шепотом.

Но св. Антоний, отшельник, поднялся со своего места и воскликнул, простирая ко всевышнему узловатые красные руки:

— Не делайте этого, господи боже мой! Заклинаю духом святым, не делайте этого!

В пылу речи он тряс длинной белой бородой, как голодная лошадь трясет подвешенной к морде пустою торбой.

— Не делайте этого, господи! Да и птицы с человечьей головой — это уже существует. Воображение святой Екатерины не создало ничего нового.

— Воображение соединяет и сопоставляет, оно ничего не создает вновь,— сухо заметила св. Екатерина.

— ...Это уже существует,— продолжал св. Антоний, не желая ничего слушать.— Такие создания зовутся гарпиями, они — самые непристойные твари во всей вселенной. Однажды, когда у меня в пустыне ужинал игумен святой Павел, я накрыл стол у порога своей хижины, под сенью старой смоковницы. На ее ветви слетелись гарпии; они оглушали нас своим пронзительным криком и все время гадили нам в пищу. Несносные чудовища помешали мне выслушать поучения игумена святого Павла, и мы вкушали хлеб наш и латук вместе с птичьим пометом. Да как же поверить, чтобы гарпии могли достойно воздавать вам хвалу, о господи!

Подвергаясь искушениям, я, конечно, видел немало существ, являвших собою самые странные помеси. Я видел не только женщин-змей и женщин-рыб, но еще более нелепые со-

четания,— как, например, людей с телами в виде кастрюли, колокола, башенных часов, поставца, полного съестных припасов и посуды, а то и целого дома с дверями и окнами, через которые можно было видеть обитателей, занятых домашней работой. Не хватит вечности, чтобы описать все чудовищные существа, осаждавшие меня в моем пустынножительстве,— от китов, оснащенных подобно кораблям, до целого ливня красных козявок, обращавших воду моего колодца в кровь. Но ни одна из этих тварей не была так отвратительна, как гарпии, спалившие своими испражнениями листву моей прекрасной смоковницы.

— Гарпии — чудовища женского пола с птичьим телом,— заметил Лактанций.— От женщины у них голова и грудь. Женская природа гарпий — источник их наглости, бесстыдства и похотливости, как показал поэт Вергилий в своей «Энеиде». Они сопричастны проклятию, тяготеющему над Евой.

— Не будем больше упоминать об этом проклятии,— сказал господь.— Вторая Ева искупила грех первой.

Павел Орозий, автор «Всемирной истории», впоследствии нашедший подражателя в лице Боссюэ, поднялся и стал умолять господа:

— Господи! Внемлите моим мольбам и мольбам Антония. Перестаньте измышлять чудовищ наподобие кентавров, сирен и фавнов, столь любезных грекам, собирателям всяких басен. Вам они не доставят ни малейшего удовлетворения. У таких чудовищ языческие наклонности, и, в силу двойственной природы своей, они не предрасположены к чистоте нравов.

Сладчайший Лактанций возразил на это следующим образом:

— Мы только что выслушали того, кто является в раю, несомненно, лучшим историком, поскольку Геродот, Фукидид, Полибий, Тит Ливий, Веллей Патеркул, Корнелий Непот, Светоний, Манефон, Диодор Сицилийский, Дион Кассий и Лампридий лишены лицезрения божия, а Тацит подвергается в аду мукам, положенным за богохульство. Но Павел Орозий далеко не так хорошо знает небеса, как землю. Ибо он не подумал о том, что ангелы, соединяющие в себе человеческое и птичье начало,— сама чистота.

— Мы отклонились от темы,— сказал предвечный.— При чем тут ваши кентавры, гарпии, ангелы! Дело касается пингвинов.

— Воистину так, господи, дело касается пингвинов! — воскликнул старейшина пятидесяти ученых мужей, при земной своей жизни поставленных в тупик александрийскою девой.—

И я осмеливаюсь выразить мнение, что, дабы прекратить соблазн, смутивший даже небеса, необходимо, как предлагает святая Екатерина, некогда поставившая нас в тупик, даровать пингвинам старца Маэля человеческое тело половинной величины и вечную душу соответствующего размера.

После этой речи в собрании поднялся великий шум от всяких рассуждений и ученых споров. Греческие отцы церкви яростно спорили с римскими относительно сущности, природы и размеров души, которую надлежало дать пингвинам.

— Исповедники и священнослужители! — воскликнул господь.— Не уподобляйтесь конклавам и синодам земным. Не переносите в церковь торжествующую те страсти, что смущают церковь воинствующую. Ибо следует признать, что на всех боговдохновенных соборах в Европе, Азии и Африке благочестивые отцы вцеплялись друг другу в бороду. Но все же они были непогрешимы, ибо я пребывал с ними.

Порядок был восстановлен. Тогда встал старец Гермий и медленно заговорил:

— Слава тебе, господи, за то, что твоим произволением мать моя Сафира родилась среди твоего народа в те дни, когда небесная роса освежала землю, готовую породить своего спасителя. И еще слава тебе, господи, за то, что ты дал моим смертным очам увидеть апостолов твоего божественного сына. Произнесу слово свое в этом блестящем собрании, ибо, по воле твоей, устами смиренных глаголет истина. И скажу: преврати этих пингвинов в людей. Только такое решение достойно твоей справедливости и твоего милосердия.

Многие ученые мужи стали просить слова. Другие брали не спрашивая. Никто никого не слушал, и все исповедники шумно размахивали пальмовыми ветвями и венками.

Господь мановением десницы утихомирил своих избранных.

— Довольно! — сказал он.— Мнение, высказанное кротким старцем Гермием, одно только согласуется с моими извечными предначертаниями. Эти птицы будут превращены в людей. Предвижу немало осложнений. Многие из таких людей запятнают себя проступками, которые не были бы вменены им в вину, останься они птицами. В связи с превращением участь их, несомненно, будет менее завидна, чем она была бы без крещения и присоединения к семье Авраамовой. Но, как надлежит, мое предвидение не исключает их свободной воли. Дабы не стеснять человеческой свободы, я остаюсь в неведении о том, что̀ знаю, я плотно завешиваю себе очи пеленой, мною самим разорван-

ной, и, в слепой своей прозорливости, дивлюсь тому, что́ предвидел.

Затем, призвав к себе архангела Рафаила, сказал ему:

— Лети к святому мужу Маэлю, объясни ему, в какую он впал ошибку, и повели, чтобы он моим именем превратил пингвинов в людей.

ГЛАВА VIII

Превращение пингвинов

Спустившись на остров пингвинов, архангел застал святого мужа спящим в углублении между скал, среди своих новых учеников. Он положил ему руку на плечо и, пробудив его, сказал тихим голосом:

— Не бойся, Маэль!

Святой муж, ослепленный ярким светом, опьяненный дивным благоуханием, понял, что это ангел господень, и простерся ниц.

И тогда ангел сказал:

— Узнай, Маэль, что ты впал в ошибку: думая окрестить детей Адамовых, ты окрестил птиц; и вот из-за тебя пингвины присоединены к церкви божией.

Услышав это, старец остолбенел.

Ангел же продолжал:

— Встань, Маэль, вооружись всесильным именем божиим и повели этим птицам: «Станьте людьми».

И святой Маэль после слезной молитвы вооружился всесильным именем божиим и повелел птицам:

— Станьте людьми!

Тотчас вслед за этим пингвины преобразились. Лоб у них раздался в ширину, а череп стал выпуклым, как купол церкви св. Марии Округлой, что в городе Риме. Удлиненные глаза их широко раскрылись на мир божий; мясистый нос облек щели ноздрей; клюв превратился в рот, и оттуда послышались слова; шея стала короче и толще, крылья преобразились в руки, а лапы — в ноги; грудь стала обиталищем беспокойной души.

Все же в них остались кое-какие следы первоначальной их природы. Они не утратили привычки поглядывать искоса; при ходьбе продолжали раскачиваться на своих коротких ножках; на теле у них сохранился легкий пушок.

Маэль возблагодарил господа за присоединение этих пингвинов к семье Авраамовой.

Но он скорбел при мысли о том, что вскоре навсегда покинет этот остров и что без него, быть может, вера пингвинов, оставленная без попечения, погибнет, подобно слишком молодому и слишком слабому деревцу. И он задумал переместить их остров к берегам Арморики.

— Пути вечной премудрости божией неисповедимы,— рассудил он.— Но если богу угодно, чтобы остров был перемещен, кто может этому воспрепятствовать!

И из льна епитрахили своей он сплел тоненькую веревку длиною в сорок футов. Одним концом веревки он обвязал верхушку скалы, торчавшей среди прибрежных песков, другой конец взял в руки и так вошел в свое каменное корыто. Корыто заскользило по морю и потащило остров пингвинов за собою. После девятидневного плавания оно вместе с островом благополучно достигло бретонских берегов.

ГЛАВА I

Первые одежды

В тот день святой Маэль сел на берегу океана на камень и почувствовал, что камень горяч. Он решил, что это от солнца, и возблагодарил создателя, не подозревая, что здесь только что сидел диавол.

Проповедник стал ждать прибытия иверских монахов, коим поручено было доставить большой груз тканей и шкур, дабы одеть жителей острова Альки.

Вскоре он увидел, как на берег сошел монах по имени Магис с сундуком на спине. Монах этот славился святой жизнью.

Приблизившись к старцу, он поставил сундук на землю и сказал, отирая лоб рукавом:

— Так, значит, отец мой, вы хотите одеть своих пингвинов?

— Это крайне необходимо, сын мой,— отвечал ему старец.— С тех пор как пингвины присоединены к семье Авраамовой, они причастны проклятию, тяготеющему над Евой, и сознают свою наготу, чего раньше не было. Следует незамедлительно всех одеть, ибо у них уже сходит с тела пушок, оставшийся после превращения.

— Это верно, они голы,— сказал Магис, оглядывая берег, где пингвины были заняты ловлей креветок или собиранием ракушек, а то пели песни или спали.— Но как вы полагаете, отец мой, не лучше ли оставить их голыми? Зачем их одевать? Нося одежды и подчиняясь законам нравствен-

ности, они возгордятся, станут лицемерными и слишком жестокими.

— Неужели, сын мой, ты такого низкого мнения о законах нравственности! — со вздохом сказал старец.— Ведь им подчиняются даже язычники.

— Законы нравственности,— заметил Магис,— обязывают людей, каковые суть те же звери, жить не по-звериному,— это для них тягостно, но в то же время весьма лестно и успокоительно. А так как люди чванливы, трусливы и падки на удовольствия, они охотно подчиняются принуждениям нравственности, ибо это тешит их самолюбие и внушает им уверенность в нынешнем дне, а также надежду на будущее блаженство. Такова основа всякой нравственности... Но не будем отклоняться в сторону. Мои спутники сгружают на этот остров ткани и звериные шкуры. Пока есть еще время, подумайте хорошенько, отец мой! Решение одеть пингвинов может привести к весьма важным последствиям. В настоящее время, когда какой-нибудь пингвин пожелает пингвинку, ему точно известно, чего он желает, и его вожделения ограничены вследствие ясного представления о вожделенном. Вот и сейчас, на берегу, две-три четы пингвинов на солнышке предаются любви. Смотрите, с какой простотой это делается! Никто не обращает на них внимания, да и сами они не так уж увлечены всем этим. Но когда пингвинки облекут себя покровами, пингвины не будут так хорошо отдавать себе отчет в том, что же их привлекает. Их неясные желания превратятся в грезы и иллюзии — словом, отец мой, они познáют любовь и ее безумные муки. А между тем пингвинки будут опускать глазки и поджимать губки с таким видом, как будто скрывают под своими одеждами некое сокровище... Тошно подумать!

Зло будет еще терпимо, пока жизнь этих племен останется грубой и скудной; но погодите, отец мой, через какую-нибудь тысячу лет вы увидите, сколь опасным оружием снабдили вы дочерей Альки. Если позволите, я вам заранее покажу это наглядно. В сундуке у меня имеются кое-какие тряпки. Подзовем любую из этих пингвинок, на которых пингвины обращают сейчас так мало внимания, и постараемся по возможности принарядить ее.

Да вот какая-то пингвинка идет в нашу сторону. Она ни красивей, ни безобразней других. Молодая. Никто на нее и не взглянет. Она беспечно бродит среди прибрежных скал, ковыряя в носу и почесываясь ниже поясницы. Сами видите, отец мой, плечи у нее узкие, груди обвислые, живот жирный, жел-

тый, ноги короткие. Колени красные и при каждом шаге образуют морщины, словно это гримасничают две обезьяньи мордочки. Жилистые растопыренные ступни цепляются за скалы четырьмя крючковатыми пальцами, а большие пальцы ног торчат кверху, словно две змеи, настороженно поднявшие головы. Она всецело занята ходьбой; все ее мышцы напряжены в этой работе. И, видя ее тело в действии, мы получаем впечатление, что это машина, предназначенная больше для ходьбы, чем для любви, хотя, совершенно очевидно, она пригодна и для того и для другого, обладая вдобавок еще рядом разных приспособлений. Посмотрите же, досточтимый отец проповедник, что́ я из нее сделаю!

При этих словах монах Магис в три прыжка настигает пингвинку, хватает ее поперек тела, тащит, волоча ее волосы по земле, и бросает, охваченную ужасом, к ногам святого Маэля.

Она плачет, умоляет пощадить ее, а Магис меж тем вынимает из сундука пару сандалий и приказывает ей примерить их.

— Стянутые шерстяными тесемками, ее ступни будут казаться меньше,— пояснил он старцу.— Благодаря подошвам толщиною в два пальца ноги у нее изящно удлинятся и она приобретет величественную осанку.

Завязывая на ногах сандалии, пингвинка с любопытством бросила взгляд в открытый сундук и, видя, что он полон нарядов и драгоценностей, улыбнулась сквозь слезы.

Монах свернул ее волосы узлом на затылке и надел ей на голову шляпу с цветами. Руки ее он украсил золотыми запястьями, а затем, поставив ее перед собою, опоясал широкой льняной повязкой, утверждая, что это придаст бо́льшую пышность груди, гибкость стану и округлость бедрам.

Вынимая изо рта булавку за булавкой, он принялся закалывать на пингвинке пояс.

— Можно чуть потуже,— сказала она.

Старательно и умело придав форму дряблым грудям пингвинки, он надел на нее розовую тунику, мягко обрисовавшую линии тела.

— Хорошо ли сидит? — спросила пингвинка. Изогнувшись, повернув голову набок и уперев подбородок в плечо, она внимательно изучала фасон своего туалета.

Магис спросил, не находит ли она, что платье длинновато, но пингвинка с уверенностью отвечала, что нисколько не длинновато и что она будет подбирать его рукою.

И тотчас же левой рукой подхватила юбку сзади, обтянула ее на себе повыше икр, притом так, чтобы были чуть-чуть видны пятки. Затем она удалилась мелкими шажками, покачивая бедрами. Она не оборачивалась по сторонам, но, проходя мимо ручья, краешком глаза поглядела на свое отражение.

Какой-то пингвин, которому она попалась навстречу, остановился в изумлении, потом, повернув назад, пошел за нею. Все время, пока она шла по берегу, пингвины, возвращаясь с рыбной ловли, подходили к ней, глядели во все глаза и поворачивали за нею следом. Лежавшие на песке поднимались с места и присоединялись к толпе.

При ее приближении все новые и новые пингвины спускались к ней с горных тропинок, выходили из расщелин между скалами, появлялись из воды, так что свита ее непрестанно росла. И все они — зрелые мужчины с могучими плечами и волосатой грудью, гибкие юноши, старики с розовыми морщинистыми телами, поросшими седой щетиной и трясущимися на ходу, или с заплетающимися ногами, тоньше, суше той можжевеловой палки, что служила им в качестве третьей ноги,— все спешили к пингвинке, задыхаясь, издавая острый запах и громко сопя. Но она оставалась спокойной, словно ничего не замечала.

— Отец мой,— воскликнул Магис,— полюбуйтесь, как все они шагают за ней, нацелившись ногами в сферический центр сей молодой особы,— а все оттого, что он прикрыт розовой тканью. Своими разнообразными свойствами шар вызывает у геометров немало размышлений. А если он принадлежит к миру телесному и живому, то приобретает новые качества. И для того чтобы пингвинам открылось полностью все значение этого геометрического тела, понадобилось, чтобы они перестали отчетливо воспринимать его своим зрением и вынуждены были представлять себе в уме. Да, чувствую, что и меня самого неудержимо повлекло к этой пингвинке. Потому ли, что юбка придала необходимую выпуклость ее заду и, сочетая в нем простоту с величием, облекла его синтетическим, обобщающим смыслом, выявила в нем лишь чистую идею, лишь божественный принцип,— не знаю, но мне кажется, если я обниму ее, то достигну вершины чувственной радости. Несомненно, стыдливость делает женщин непреодолимо заманчивыми. Я полон такого волнения, что не в силах его скрывать.

При этих словах, бесстыдно подняв полы своего одеяния, он устремляется к толпе пингвинов, оттесняет их в сторону, рас-

швыривает, опрокидывает на землю, топчет их ногами, наконец нагоняет дочь Альки, обхватывает руками ее розовый сфероид, привлекавший к себе взгляды и желания целого племени,— и она, уносимая монахом, внезапно скрывается в прибрежной пещере.

Тут пингвинам показалось, будто солнце померкло. А святой Маэль понял, что это диавол обернулся монахом Магисом, чтобы дать одежду дочери Альки. Плотское искушение овладело и самим старцем, и душа его впала в скорбь. Медленно возвращаясь к своему отшельническому жилищу, он видел, как маленькие пингвиночки, лет шести-семи, не больше, плоскогрудые и тонконогие, опоясались повязками из морских водорослей и разгуливают по берегу, поглядывая, не идут ли за ними мужчины.

ГЛАВА II

Первые одежды

(Продолжение и окончание)

Святой Маэль был до глубины души огорчен тем, что первые покровы, надетые на дочь Альки, нанесли только вред целомудрию пингвинов, а отнюдь не послужили ему на пользу. Однако он упорно оставался при своем намерении одеть обитателей чудесного острова. Созвав их на берег, он роздал им привезенную иверскими монахами одежду. Пингвины получили штаны и короткие туники, пингвинки — длинные платья. Но платья эти произвели далеко не столь сильное впечатление, как туалет той пингвинки. Они были не такие красивые, покрой у них был простой, неизящный, и никто на них не обращал внимания, потому что их можно было видеть на всех. Так как пингвинки занимались стряпней и работали в поле, у них скоро остались одни грязные кофты да измызганные юбки. Пингвины взваливали на несчастных своих подруг непосильную работу, так что те уподоблялись рабочему скоту. Пингвины не знали сердечных волнений и порывов страсти. Нравы их были безыскусственны. Нередкое среди них кровосмешение отличалось сельской простотой, и если какому-нибудь молодому парню случалось в пьяном виде совершить насилие над собственной бабушкой, то на следующий день он об этом уже не помнил.

ГЛАВА III

Межевание полей и возникновение собственности

Остров пингвинов отнюдь не сохранял того сурового вида, как во времена, когда, окруженный плавучими льдами, он в скалистом амфитеатре своем давал приют бесчисленному птичьему населению. Гора, некогда высоко возносившая свою снежную вершину, осела, превратившись в небольшую возвышенность, с которой можно было видеть берега Арморики, окутанные вечным туманом, и океан, усеянный угрюмыми скалами, выглядывавшими из водных глубин подобно неким чудовищам. Берега, более плоские, чем прежде, были глубоко изрезаны, так что остров стал похож на лист тутового дерева. Он вдруг порос солоноватой травою, до которой так лакомы стада, ивами, могучими смоковницами и величественными дубами. Об этом имеются свидетельства у Бэды Достопочтенного и у многих других авторов, заслуживающих полного доверия.

На севере берег образовывал глубокую бухту, где впоследствии возник порт, один из самых прославленных во всем мире. На востоке, вдоль берегов, где, набегая на скалы, пенились морские валы, простиралась пустынная низменность, поросшая благовонными травами. Это был Берег Теней, куда островитяне не отваживались проникать, опасаясь змей, гнездившихся в расщелинах скал, и боясь встретить души умерших, скользившие там бледными языками пламени. На юге плодовые сады и рощи окаймляли теплую Гагарью бухту. На этом благословенном берегу старец Маэль поставил церковь и деревянную монастырскую обитель. На западе две речки, Кланж и Сюрель, орошали плодородные долины — Далльскую и Домбскую. И вот однажды, осенним утром, прогуливаясь по берегу Кланжа с одним ивернским монахом по имени Буллок, блаженный Маэль увидел, что по дорогам движутся отряды разъяренных людей, вооруженных каменьями. В то же самое время он услышал со всех сторон крики и стоны, поднимавшиеся из долины к спокойным небесам.

И он сказал Буллоку:

— С грустью замечаю, сын мой, что, с тех пор как жители острова превратились в людей, они стали вести себя менее разумно, чем прежде. Будучи птицами, они ссорились друг с другом только в пору любви. А теперь они враждуют во всякое время, готовые вступать в драку зимою и летом. Где то величавое спокойствие, которое некогда господствовало на собра-

нии пингвинов, придавая ему сходство с сенатом мудро устроенного государства!

Взгляни, сын мой Буллок, в сторону Сюрели. Там, посреди свежей зелени долины, двенадцать пингвинов заняты тем, что убивают друг друга лопатами и мотыгами, вместо того чтобы обрабатывать ими землю. А женщины, еще более жестокие, чем мужчины, ногтями раздирают лицо своим врагам. Увы, сын мой Буллок, почему они истребляют друг друга?

— Из чувства общественности, отец мой, и в предусмотрении будущего,— отвечал Буллок.— Ибо человек по природе своей существо предусмотрительное и общественное. Таков его характер. Человек не представляет себе существования без приобретения собственности. Эти пингвины, учитель, заняты тем, что приобретают землю.

— Но разве нельзя приобретать ее без такого насилия? — спросил старец.— Сражаясь друг с другом, они обмениваются бранью и угрозами. Я не разбираю слов, но в голосах слышен гнев.

— Они обвиняют друг друга в воровстве и захватничестве,— отвечал Буллок.— Таков основной смысл их пререканий.

В это мгновение святой Маэль, всплеснув руками, испустил глубокий вздох.

— Смотри, сын мой,— воскликнул он,— смотри, как яростно вон тот пингвин впился зубами в нос своего поверженного противника, а другой мозжит голову женщине огромным камнем!

— Вижу,— отвечал Буллок.— Они заняты тем, что создают право, устанавливают собственность, утверждают основы цивилизации, устои общества и законы.

— Каким же это образом? — спросил старец Маэль.

— Межуя свои поля. Это начало всякого общественного порядка. Твои пингвины, учитель, выполняют величественнейшую задачу. Дело их будет на протяжении веков освящено законоведами, поддержано и утверждено судьями.

Пока монах Буллок говорил это, какой-то крупный пингвин, белокожий и рыжий, спустился в долину, неся на плече ствол дерева. Приблизившись к черному от загара маленькому пингвину, поливавшему свой латук, он крикнул ему:

— Твое поле принадлежит мне!

Произнеся эти властные слова, он ударил маленького пингвина дубиной по голове, и тот пал мертвым на землю, возделанную его собственными руками.

При таком зрелище святой Маэль задрожал всем телом и пролил обильные слезы.

И голосом, сдавленным от страха и отвращения, он вознес к небесам такую молитву:

— Господи боже мой! Ты, приявший жертву Авеля и предавший Каина проклятию, отмсти, господи, за этого пингвина, без вины убиенного на поле своем, да восчувствует убийца тяжесть десницы твоей. Ибо есть ли, о господи, более гнусное злодеяние, более тяжкое оскорбление твоему правосудию, чем сие убийство и сей грабеж?

— Имейте в виду, отец мой,— кротко возразил ему Буллок,— то, что вы называете убийством и грабежом,— не что иное, как война и завоевание, священные основы империй, источники всех доблестей и всего величия человеческого. В особенности подумайте о том, что, порицая большого пингвина, вы нападаете на собственность в самом ее зарождении и сущности. Я без труда докажу вам это. Возделывать землю — одно, владеть ею — совсем другое. Эти явления не следует смешивать. В области собственности право первого заимщика весьма неопределенно и юридически слабо обосновано. Право завоевателя, напротив, покоится на прочном основании. Только оно достойно уважения, ибо только оно принуждает уважать себя. Собственность имеет своим единственным и достославным источником силу. Сила порождает собственность, и она же охраняет ее. Поэтому собственность священна и уступает только большей силе. Вот почему справедливо утверждение, что, кто владеет собственностью, тот благороден. И этот высокий рыжий человек, убивая земледельца, дабы завладеть его полем, положил начало одному из благороднейших родов своей страны. Пойду поздравить его.

И Буллок подошел к высокому пингвину, который, опираясь на свою палицу, стоял у окровавленной борозды.

И, поклонившись ему в пояс, промолвил:

— Грозный владыка, великий Греток, я пришел воздать вам уважение, как основателю законной власти и родового богатства. Зарытый в вашей земле, череп жалкого пингвина, поверженного вами, останется вечным доказательством священных прав ваших потомков на эту землю, облагороженную вами. Счастливы дети ваши и дети детей ваших. Они будут носить имя Гретоков, герцогов Скаллских, и будут править островом Алькой.

Затем, повернувшись к святому старцу Маэлю, громко прибавил:

— Отец мой, благословите Гретока. Ибо всякая власть от бога.

Маэль стоял, не двигаясь, безмолвно подняв глаза к небу; доктрина монаха Буллока вызывала в нем горькие сомнения. И, однако, именно этому учению суждено было торжествовать в эпохи высокой цивилизации. Буллока можно считать создателем гражданского права в Пингвинии.

ГЛАВА IV

Первое собрание Генеральных штатов Пингвинии

— Сын мой Буллок,— сказал старец Маэль,— надобно произвести перепись пингвинов и внести их всех в книгу.

— Это необходимо,— отвечал Буллок.— Без переписи невозможно никакое управление.

И тотчас же проповедник с помощью двенадцати монахов приступил к всенародной переписи.

Потом старец Маэль сказал:

— Теперь, когда у нас есть списки всех жителей острова, сын мой Буллок, следует установить справедливые налоги, дабы иметь средства на общественные расходы и на содержание монастыря. Каждый должен облагаться сообразно своему достатку. Поэтому, сын мой, созови алькских старейшин, и совокупно с ними мы установим налоги.

Старейшины, числом тридцать, собрались во дворе деревянного скита, под большой смоковницей. Это было первое собрание пингвинских Генеральных штатов. На три четверти оно состояло из богатых крестьян с берегов Сюрели и Кланжа. Греток, как самый знатный среди пингвинов, сидел на самом высоком камне.

Преподобный Маэль, заняв место посреди своих монахов, обратился к собравшимся со следующим словом:

— Дети мои, господь наш своим соизволением дает людям богатство и отнимает его. И вот я собрал вас здесь, дабы совместно с вами наложить на народ наш подати для получения средств на общественные нужды и на содержание монахов. Подати эти, я полагаю, надлежит взимать сообразно достатку каждого. Так, имеющий сто быков отдаст из них десять, имеющий десять — одного.

Когда святой муж окончил свою речь, поднялся Морио, земледелец из Аниса-на-Кланже, один из самых богатых пингвинов, и сказал:

— О отец мой Маэль! Я признаю, что совершенно справедливо брать с каждого на общественные расходы и церковные нужды. Уж я-то готов лишиться всего своего имущества ради братьев моих пингвинов, рубашку с себя — и ту готов отдать. Все старейшины народные тоже согласны пожертвовать своими богатствами. Кто усомнится в их преданности своей стране и вере! Поэтому надо считаться только с общественной пользой и все подчинить ее требованиям. И вот, отец мой, общественная польза требует, она предписывает не брать много с тех, кто многим владеет, ибо тогда богатые станут менее богаты, а бедные — еще бедней. Ведь бедные питаются добром богатых; поэтому богатство священно. Не трогайте его, это бесполезная суровость! Отнимая у богатых, вы не получите никакой выгоды: ведь богатых немного; напротив, вы лишитесь последнего, так как страна впадет в нищету. Между тем, если вы обратитесь за небольшой помощью к каждому из жителей острова, независимо от достатка, то собранного хватит на общественные нужды, и вы избавитесь от необходимости разузнавать о доходах граждан, которых подобного рода расследования способны глубоко задеть. А накладывая тяготы в небольших размерах на всех равномерно, вы пощадите неимущих, потому что оставите им такую подмогу, как богатство имущих. Да и возможно ли распределять налог в зависимости от достатка! Вчера у меня было двести быков, сегодня их шестьдесят, а завтра будет сто. Клюник владеет тремя коровами, но тощими; Никклю — только двумя, зато жирными. Кто же из них богаче — Клюник или Никклю? Признаки благосостояния очень обманчивы. Несомненно только одно: каждый ест и пьет. Вот и установите налог на еду и питье. Это будет мудро и справедливо.

Так сказал Морио, и старейшины рукоплескали ему.

— Эта речь достойна быть запечатленной на бронзовых таблицах! — воскликнул монах Буллок.— Она — завет будущим поколениям; через полторы тысячи лет лучшие среди пингвинов будут высказываться точно таким же образом.

Еще не стихли рукоплескания старейшин, как Греток, положив руку на рукоять меча, объявил без лишних слов:

— Я благороден и налога платить не буду, платить налог неблагородно. Пусть платит чернь.

Выслушав это, старейшины молча разошлись.

Так же, как было в Риме, перепись стали производить в Пингвинии каждые пять лет, и благодаря этому было установлено, что народонаселение быстро растет. Несмотря на необы-

чайную детскую смертность, несмотря на то, что голод и моровая язва то и дело, с поразительной настойчивостью, опустошали целые селения,— новые пингвины, все более многочисленные, содействовали своею личной нищетой общественному процветанию.

ГЛАВА V

Брак Кракена и Орброзы

В те времена жил на острове Альке один сильный и хитрый пингвин по имени Кракен. Он поселился в пещере на Берегу Теней, куда жители острова никогда не отваживались ходить, опасаясь змей, гнездившихся в расщелинах скал, и боясь встретить души пингвинов, умерших некрещеными; эти души блуждали по мрачному берегу, похожие на бледные языки пламени, испуская протяжные стоны. Все полагали, неизвестно почему, что среди пингвинов, превращенных блаженным Маэлем в людей, некоторые не получили крещения и теперь, после смерти, бродят по берегу и плачут под завывания бури. На этом диком берегу и поселился Кракен в неприступной пещере. В нее можно было проникнуть только через естественный подземный ход длиной в сто футов, скрытый в лесной чаще.

Но вот как-то вечером Кракен шел по пустынному полю и вдруг встретил прелестную молодую пингвинку. Это была та самая, которую некогда своими руками одел монах Магис, первая среди пингвинок, стыдливо прикрывшая свою наготу. В память о дне, когда восхищенная толпа пингвинов следила за ее торжествующим бегом в платье цвета зари, эта дева получила имя Орброзы [1].

При виде Кракена она испустила крик ужаса и бросилась бежать. Но герой схватил ее за развевающиеся одежды и обратился к ней со словами:

— Дева, скажи мне, как тебя зовут, какого ты рода, из какой страны?

---

[1] «Orbe» — поэтическое название шара в применении к небесным телам. В широком смысле слова — всякого рода шарообразное тело *(Литтре)*.

Однако Орброза смотрела на Кракена по-прежнему с ужасом.

— Вы ли сами передо мною, господин мой, или это ваша беспокойная душа? — с трепетом спросила она.

Она говорила так потому, что жители Альки, ничего не зная о Кракене с тех пор, как он поселился на Берегу Теней, думали, что он умер и стал ночным духом.

— Не бойся, дочь Альки,— отвечал Кракен.— С тобой говорит не блуждающая душа, но сильный и могущественный человек. Скоро я буду владеть огромным богатством.

И юная Орброза спросила:

— Как же рассчитываешь ты приобрести огромное богатство, о Кракен? Ведь ты только пингвин.

— Я достигну этого при помощи своего ума,— отвечал Кракен.

— Да, я знаю,— сказала Орброза,— живя среди нас, ты славился своею ловкостью как рыболов и охотник. Никто не может с тобою сравняться в искусстве ловить рыбу сетью или пронзать стрелою быстролетных птиц.

— Это занятия низкие и утомительные, о юная дева. Я открыл способ приобрести большое богатство, не изнуряя себя трудом. Но скажи мне, кто ты?

— Меня зовут Орброзой,— отвечала юная дева.

— Почему же ты оказалась в ночную пору так далеко от своего жилища?

— На то была воля неба, Кракен.

— Что это значит, Орброза?

— Это значит, что само небо, о Кракен, поставило меня на твоем пути с неведомой мне целью.

Кракен долго смотрел на нее в мрачном молчании. Потом вдруг ласково промолвил:

— Войди в мой дом, Орброза. Это дом самого искусного и самого храброго среди сынов Пингвинии. Если ты пойдешь за мною, то станешь моей подругой.

Тогда, опустив глаза, она прошептала:

— Я пойду за вами, господин мой.

Так прекрасная Орброза стала подругой героя Кракена. Этот брак не был ознаменован торжественными песнопениями при свете факелов, потому что Кракен не хотел показываться пингвинскому народу: укрывшись в своей пещере, он создавал великие замыслы.

ГЛАВА VI

Алькский дракон

> Потом пошли мы осматривать кабинет естествоведения. Хранитель показал мне какую-то соломенную плетенку, сообщив, что в ней находятся кости дракона.— Доказательство, что дракон — существо отнюдь не баснословное,— прибавил он.
>
> *Мемуары Джакомо Казановы*, т. IV, Париж, 1843, стр. 404—405

Между тем обитатели Альки предавались мирным трудам. Те, кто жил на северном побережье, ездили на лодках ловить рыбу и собирать ракушки. Домбские земледельцы сеяли овес, рожь и пшеницу. В Далльской долине богатые пингвины разводили домашний скот, а жители Гагарьей бухты занимались садоводством. Купцы из Порт-Альки вели с Арморикою торговлю соленой рыбой. Бретонское и британское золото, проникая на остров, облегчало торговые сношения. Пингвинский народ спокойно наслаждался плодами своих трудов, как вдруг зловещая молва побежала из селенья в селенье. Всюду сразу стало известно, что ужасный дракон дотла разорил две фермы в Гагарьей бухте.

А за несколько дней до того пропала дева Орброза. Ее хватились не сразу, так как и прежде то один, то другой сильный мужчина, воспылав к ней любовью, похищал ее. И пингвинские мудрецы не удивлялись этому: ведь она была прекраснейшей из дев Пингвинии. Было замечено, что иногда она даже шла навстречу своим похитителям: ведь от судьбы не уйдешь. Однако на этот раз, видя, что ее нет и нет, все испугались: уж не сожрал ли ее дракон?

Вместе с тем жители Далльской долины вскоре убедились, что этот дракон — не пустая выдумка женщин, любящих поболтать у источника. Ибо однажды ночью в деревне Анис чудовище сожрало шесть кур, барана и сиротку-мальчика по имени Эло. Наутро от похищенных не осталось и следа.

Сельские старейшины немедленно собрались на площади Совета и, усевшись на каменную скамью, стали обсуждать, что делать в подобных ужасных обстоятельствах. И, призвав к себе всех, кто видел дракона в эту зловещую ночь, спросили их:

— Заметили ли вы, каков он видом и что у него за повадки?

И все по очереди отвечали:

— У него львиные когти, орлиные крылья и змеиный хвост.

— На спине у него щетинистый гребень.

— Весь он покрыт желтой чешуей.

— Взгляд его зачаровывает и поражает, как молния. Из пасти его извергается пламя.

— Он заражает воздух своим дыханием.

— У него голова драконья, когти львиные, хвост — как у рыбы.

Но одна жительница Аниса, слывшая женщиной положительной и разумной,— та самая, у которой дракон похитил трех кур,— сообщила следующее:

— С виду он совсем как человек. Я даже обозналась и подумала было, что это мой муженек, так что сказала ему: «Иди ты спать, дурачина!»

Другие говорили:

— Он вроде облака.

— Он словно гора.

А какой-то ребенок пришел и сказал:

— Я видел, как у нас в риге дракон снял с себя голову, чтобы поцеловать мою сестрицу Минни.

И еще спрашивали старейшины:

— Какой величины был дракон?

Им отвечали:

— Как бык.

— Как большие торговые корабли бретонцев.

— Ростом с человека.

— Выше смоковницы, под которой вы сидите.

— Не больше собаки.

На вопрос, какого он цвета, жители отвечали:

— Красного.

— Зеленого.

— Синего.

— Желтого.

— Голова у него совсем зеленая, крылья — ярко-оранжевые, с розовым отливом и серебристо-серыми краями; зад и хвост — в коричневую и розовую полоску; живот — ярко-желтый в черную крапинку.

— Какого он цвета?.. Бесцветный!

— Цвет у него драконий.

Услышав эти показания очевидцев, старейшины пребывали в недоумении — что же надлежит предпринять. Одни предлагали подстеречь дракона, напасть на него и пронзить множеством стрел. Другие, считая безнадежным противиться столь могучему чудовищу, советовали умиротворить его приношениями.

— Будем платить ему дань,— сказал один из них, пользовавшийся славой мудреца.— Мы можем умилостивить его дарами — вином, плодами, ягнятами, юной девственницей.

Наконец, третьи советовали отравить источники, из которых он обычно пьет, или напустить дыма в его пещеру, чтобы он там задохся.

Но ни одно из этих мнений не возобладало. Долго тянулись споры, и старейшины разошлись, так и не приняв никакого решения.

ГЛАВА VII

Алькский дракон

(Продолжение)

Весь месяц, посвященный римлянами их ложному богу Марсу, или Маворсу, дракон разорял Далльские и Домбские фермы; он уволок пятьдесят баранов, двенадцать свиней и трех мальчиков. Все семьи были в горе, и остров оглашался жалобными воплями. Чтобы заклинаниями избавиться от всеобщего бедствия, старейшины несчастных селений, орошаемых Клапжем и Сюрелью, уговорились собраться и сообща идти за помощью к блаженному Маэлю.

На пятый день месяца, название которого на языке латинян означает *открытие,* потому что с него начинается год, процессия старейшин подошла к деревянному скиту, возвышающемуся на южном берегу острова. Впущенные в ограду, они огласили обитель стонами и рыданиями. Тронутый их жалобами, старец Маэль покинул монастырский покой, где предавался занятиям астропомией и размышлениями над Священным писанием, и спустился к ним, опираясь на свой пастырский посох. Старейшины при виде его простерлись ниц, протягивая к нему зеленые ветви. А некоторые стали курить благовонными травами.

И святой муж, сев у монастырского колодца, под древней смоковницей, обратился к ним с таким словом:

— О дети мои, потомки пингвинов, почему предаетесь вы плачу и стенаниям? Почему протягиваете ко мне с мольбою

эти ветви? Почему возносите к небесам благовонные курения? Надеетесь ли вы, что я отвращу от вашей главы некое несчастие? О чем умоляете вы меня? Я готов жизнь мою отдать за вас. Скажите же мне, чего ждете вы от своего отца?

На его вопросы ответил первый из старейшин:

— О Маэль, отец детей алькских! Дозволь мне говорить от имени всех. Ужасный дракон опустошает наши поля, уводит наш скот и уносит к себе в логово цвет нашего юного потомства. Он пожрал маленького Эло и еще семь мальчиков. Он растерзал своими хищными зубами деву Орброзу, прекраснейшую из пингвинок. Ни одно селение не может уберечься от его смертоносного дыхания и опустошительных набегов.

Подвергаясь столь страшному бедствию, мы обращаемся с мольбою к тебе, о Маэль, дабы ты, мудрейший, пришел на помощь жителям острова и не дал прекратиться древнему роду пингвинов!

— О первый из алькских старейшин,— отвечал Маэль,— слова твои погружают меня в глубокую скорбь, и я сокрушаюсь при мысли о том, что над вашим островом свирепствует жестокий дракон. Случай сей не единственный, и в книгах можно найти немало рассказов о свирепых драконах. Эти чудовища водятся большей частью в пещерах, у воды и главным образом среди языческих народов. Может быть, некоторые из вас, хотя и получили святое крещение и были причислены к семье Авраамовой, продолжали все же поклоняться идолам, по примеру древних римлян, или же вешали разные изображения, обетные таблички, шерстяные повязки и гирлянды цветов на ветви какого-нибудь священного дерева. А то еще, может быть, пингвинки плясали вокруг волшебного камня и пили воду из источников, где обитают нимфы. Если это так, то следует думать, что господь бог наслал на вас дракона, дабы покарать всех за преступления некоторых и побудить вас, о сыновья пингвинов, уничтожить в вашей среде кощунство, суеверие и нечестие.

А потому укажу вам на спасительное средство против постигнувшей вас беды: тщательно разыскивайте и искореняйте следы идолопоклонства у себя в жилищах. И еще, полагаю, помогут вам молитва и покаяние.

Так сказал святой старец Маэль. И старейшины пингвинского народа, облобызав стопы его, вернулись, обнадеженные, в свои селения.

ГЛАВА VIII

Алькский дракон

(Продолжение)

Следуя советам святого Маэля, жители Альки стали усердно искоренять суеверия, зародившиеся среди пингвинов. Они следили за тем, чтобы пингвинские девушки не ходили больше танцевать вокруг дерева фей, произнося заклинания. Они сурово запретили молодым матерям прикладывать своих младенцев, для придания им силы, к камням, воздвигпутым в полях. Один домбский старец, занимавшийся предсказаниями по ячменным зернам, которые он встряхивал на сите, был брошен в колодезь.

Но чудовище продолжало еженощно опустошать птичники и стойла. Перепуганные крестьяне, ложась спать, заваливали двери изнутри, кто чем мог. Одна беременная женщина, выглянув в слуховое окно и увидев на дороге, голубой от лунного света, тень дракона, так испугалась, что тут же выкинула раньше срока.

В эти дни испытаний святой Маэль непрестанно размышлял о природе дракона и способах его одолеть. После полугода исследований и молитв ему показалось, что он нашел то, что искал. Однажды вечером, прогуливаясь по берегу моря вместе с молодым монахом по имени Самуил, он изложил ему свою мысль в следующих словах:

— Я долго изучал историю и нравы драконов, не из пустого любопытства, но в надежде найти примеры, поучительные в нынешних обстоятельствах. Такова польза, приносимая историей, сын мой Самуил.

Известно, что драконы отличаются поразительной способностью непрестанно бодрствовать. Они никогда не спят. Поэтому им часто поручают охранять сокровища. Так, дракон охранял в Колхиде золотое руно, пока оно не было захвачено с боя Ясоном. Другой дракон стерег золотые яблоки в садах Гесперид. Он был убит Гераклом и превращен Юноною в небесное созвездие. Об этом рассказано в книгах; если это правда, то тут действовала магия, ибо языческие боги — в действительности диаволы. Еще один дракон не позволял людям грубым и невежественным пить из Кастальского ключа. Следует упомянуть также дракона Андромеды, убитого Персеем.

Но оставим языческие басни, где к истине постоянно примешиваются заблуждения. Мы обнаруживаем драконов и в повествовании о преславном архангеле Михаиле, о святых Геор-

гии, Филиппе, Иакове Старшем, Патрике, о святых Марфе и Маргарите. В этих-то рассказах, достойных всяческого доверия, надлежит нам искать утешительных советов.

Так, история силенского дракона может послужить нам драгоценным примером. Надобно знать тебе, сын мой, что на берегу обширного озера, неподалеку от города Силены, жил страшный дракон, который время от времени приближался к городским стенам и отравлял своим дыханием воздух предместий. И чтобы дракон не пожрал всех жителей Силены, они каждое утро отдавали ему одного на съедение. О том, кого назначить в жертву, метали жребий. И вот в конце концов жребий пал на царскую дочь.

Но святой Георгий, который был военным трибуном, приехав в город Силену, узнал, что царскую дочь только что отвели к дракону. Он тотчас же снова вскочил на коня и, вооружившись копьем, помчался вослед дракону, которого застиг в то мгновение, когда чудовище уже готово было сожрать царственную деву. Когда же святой Георгий поверг дракона на землю, царская дочь обвязала шею зверя своим поясом, и он последовал за нею, словно собака на поводке.

Из этого примера видно, как сильна власть дев над драконами. История святой Марфы может служить еще более убедительным тому доказательством. Знаешь ли ты ее историю, сын мой Самуил?

— Да, отец мой,— отвечал Самуил.

И блаженный Маэль продолжал:

— На берегах Роны, между Арлем и Авиньоном, жил в лесу дракон, полузверь-полурыба, больше быка величиной, с острыми, как рога, зубами и с большими крыльями. Он топил корабли и пожирал всех, кто плыл на них. И вот святая Марфа, вняв мольбам народа, пошла к дракону, который в это время пожирал какого-то человека. Она повязала своим поясом шею чудовища и без труда привела его в город.

Эти два примера внушают мне мысль прибегнуть к могуществу какой-либо девы, дабы победить дракона, сеющего ужас и смерть на острове Алька.

А потому, сын мой Самуил, тебе надлежит препоясать чресла твои и обойти с двумя спутниками все селения острова, оповещая о том, что только непорочная дева может спасти остров от чудовища, истребляющего народ.

Пой псалмы и гимны и возглашай повсюду: «О сыновья пингвинов! Если есть у вас чистая дева, да поднимется она и,

осенив себя крестным знамением, да поспешит одолеть дракона».

Так сказал старец, и юный Самуил обещал исполнить его повеление. На другой день он препоясал чресла свои и пустился в дорогу с двумя спутниками, дабы возвестить жителям Альки, что только непорочная дева способна освободить пингвинов от ярости дракона.

ГЛАВА IX

Алькский дракон

(Продолжение)

Орброза любила своего супруга — но не только его. В час, когда на бледном небе загоралась Венера, а Кракен наводил ужас на деревни, она спешила в маленький домик на колесах, где ее ждал молодой далльский овчар по имени Марсель, таивший в изящном теле своем неистощимую силу. Прекрасная Орброза предавалась наслаждениям, разделяя с пастухом благоухающее травами ложе. Но, отнюдь не желая открывать ему свое настоящее имя, она назвалась Бригитой и выдавала себя за дочь садовника из Гагарьей бухты. Когда, с сожалением вырвавшись из его объятий, она шла по дымящимся туманами лугам к Берегу Теней и невзначай встречала какого-нибудь запоздалого крестьянина, то принималась помахивать покрывалом, словно большими крыльями, и кричала громким голосом:

— Прохожий, опусти взор, дабы не пришлось тебе говорить потом: «Увы! увы! Горе мне, ибо я видел ангела господня!»

Крестьянин, дрожа, повергался ниц. И на острове стали поговаривать, что ночью по дорогам ходят ангелы и кто их увидит, тот умрет.

Кракен ничего не знал о любовных утехах Орброзы и Марселя, ибо он был герой, а герои никогда не догадываются о проделках своих жен. Но, не подозревая об этой любви, он наслаждался ее благотворными последствиями. Возвращаясь к своей подруге, он видел, что с каждой ночью она становится все более радостной и прекрасной, что она так и дышит сладострастием, распространяя вокруг себя на супружеском ложе чудесное благоухание дикого укропа и вербены. Она любила Кракена любовью, которая была беззаботна и не слишком требовательна, так как распространялась не на него одного.

И счастливая неверность Орброзы вскоре спасла героя от большой опасности, навсегда утвердив его благополучие и славу. Ибо, повстречав в сумерках одного бельмонтского волопаса, который подгонял своих волов стрекалом, она полюбила его еще сильнее, чем овчара Марселя. Он был горбат, голова у него ушла по уши в плечи, колченогое тело раскачивалось из стороны в сторону, злые косые глаза дико глядели из-под всклокоченных волос. Говорил он грубым голосом, смеялся пронзительно и резко; от него пахло хлевом. Но ей он показался прекрасным. Одному полюбилось растение, другому — река, третьему — животное, как сказал Гнатон.

И вот однажды в деревенском амбаре, вздыхая и предаваясь истоме в объятиях волопаса, она вдруг услышала звуки рожка, топот толпы и гул голосов; выглянула в слуховое окно и увидала, что на рыночной площади собрались жители селения и обступили какого-то молодого монаха, взобравшегося на камень и говорившего громким голосом:

— Жители Бельмонта! Игумен Маэль, досточтимый отец наш, возвещает вам моими устами, что победа над драконом не зависит ни от силы рук, ни от оружия,— одолеть его может только невинная дева. Так если есть среди вас дева, сохранившая себя в нетронутой чистоте,— пусть она встанет и поспешит против чудовища. А подойдя к нему, пусть обовьет ему шею своим поясом, и оно последует за нею покорно, как собачонка.

И, накинув капюшон себе на голову, молодой монах пошел возвещать по другим селеньям слова блаженного Маэля.

Он был уже далеко, а Орброза, поджав ноги, все сидела на соломенном ложе любви; облокотясь на колено и подперев подбородок рукою, она размышляла о словах монаха. Хоть она и считала, что могущество невинной девы гораздо менее опасно для Кракена, чем сила оружия,— однако извещение от блаженного Маэля внушило ей тревогу; какое-то неясное, но верное чутье, управлявшее ее мыслями, подсказывало ей, что отныне Кракен уже не может безнаказанно оставаться драконом.

— Сердечко мое, что ты думаешь насчет дракона? — спросила она волопаса.

Мужлан ответил, качая головой:

— В старину, это верно, драконы опустошали землю; и были среди них громадные, величиною с гору. Но теперь таких не бывает. И что бы у нас там ни толковали про чудови-

«Остров пингвинов»

ще, покрытое чешуей, а мне сдается, тут все дело в морских разбойниках или купцах, это они уволокли к себе на корабль и красавицу Орброзу, и самых красивых алькских ребят. Пусть только кто из этих разбойников попробует увести у меня быков, уж я как-нибудь, силою либо хитростью, отважу его от этих проделок.

Слова волопаса еще больше встревожили Орброзу, и она еще сильнее почувствовала необходимость позаботиться о судьбе любимого супруга.

ГЛАВА X

Алькский дракон

(Продолжение)

Шли дни за днями, а на острове все не объявлялось девственницы, чтоб одержать победу над чудовищем. И в деревянном скиту старец Маэль, сидя на скамье под сенью древней смоковницы вместе с благочестивым монахом по имени Регименталий, спрашивал себя с грустью и тревогой, как же это во всей Альке не найдется ни одной непорочной девы, способной одолеть зверя.

Он вздохнул, брат Регименталий — тоже. Увидев в это мгновение юного Самуила, входящего в сад, старец Маэль подозвал его и промолвил:

— Я снова раздумывал, сын мой, о том, как уничтожить дракона, что пожирает цвет нашего юношества, наши стада и наши жатвы. В этом деле история драконов святого Риока и святого Павла Леонского представляется мне особенно назидательной. Дракон святого Риока был длиною в шесть туазов; головой он походил одновременно на петуха и на василиска, а туловищем был змеебык. Он опустошал берега Элорна во времена короля Бристока. Святой Риок, будучи тогда двух лет от роду, отвел его на бечевке к самому морю, где чудовище покорно утопилось. Не менее страшен был дракон святого Павла, длиною в шестьдесят футов. Блаженный просветитель Леонский обвязал его своей епитрахилью, а другой конец вложил в руку одному знатному юноше, известному своей чистотой. Эти примеры показывают, что девственник не менее угоден господу, чем девственница. Перед небом они равно достойны. А потому, сын мой, если ты согласен со мною, мы отправимся вдвоем на Берег Теней; подойдя к пещере чудовища, мы громким голосом вызовем дракона из его логова, и когда он появится,

я обвяжу ему шею своей епитрахилью, а ты отведешь его на берег моря, где он всенепременно утопится.

При этих словах Самуил опустил голову и ничего не ответил.

— Ты как будто колеблешься, сын мой,— сказал Маэль.

Брат Регименталий, вопреки своей привычке, заговорил, не дожидаясь, чтобы спросили его мнения.

— Поневоле заколеблешься,— сказал он.— Ведь святому Риоку было только два года, когда он одолел дракона. Кто поручится, что и лет через девять-десять он мог бы сделать то же самое? Не забывайте, отец мой, что дракон, опустошающий наш остров, пожрал ведь маленького Эло и еще нескольких мальчиков. Брат Самуил не настолько самонадеян, чтобы в девятнадцать лет мнить себя чище двенадцатилетних или четырнадцатилетних.

— Увы,— со вздохом продолжал монах,— кто может похвалиться своею чистотой в этом мире, где мы всюду видим примеры любовной страсти, где всё в природе — животные и растения — предается на наших глазах сладострастию и внушает нам стремление к любовным утехам. Животные жаждут соединяться на свой лад, но никакие сочетания четвероногих, птиц, рыб и пресмыкающихся не сравнятся в отношении сладострастия с браками среди растений. Все чудовищные непристойности, измышленные язычниками в своих баснях, бледнеют перед тем, что творит простой полевой цветок, и если бы ты подумал о блудодействах лилий и роз, ты удалил бы с алтарей своих эти чаши распутства, эти сосуды соблазна.

— Не говори так, брат Регименталий,— возразил старец Маэль.— Покорствуя закону естества, животные и растения остаются невинными. У них нет души, о спасении коей надлежало бы заботиться, меж тем как человек...

— Ты прав,— отвечал брат Регименталий,— это дело другого сорта. Но не посылай юного Самуила к дракону: тот его съест. Вот уже пять лет, как Самуил потерял способность удивлять чудовищ своей невинностью. В год кометы диавол-искуситель поставил ему на дороге молочницу, подтыкавшую себе юбку, чтобы перейти брод. Самуил почувствовал соблазн, но не поддался ему. Тогда диавол, неутомимый в своих кознях, показал ему во сне образ этой молодой девицы, и сонное видение оказалось могущественней, чем явь: Самуил пал. Пробудившись, он оросил слезами свое осквернённое ложе. Увы! Раскаяние не вернуло ему невинности.

Слушая этот рассказ, Самуил недоумевал, как тайна его могла быть открыта: не знал он, что диавол принял на себя облик брата Регименталия, чтобы смущать души алькских монахов.

А старец Маэль пребывал в задумчивости и, тоскуя, вопрошал себя:

— Кто спасет нас от зубов дракона? Кто охранит нас от его дыхания? Кто защитит нас от его взгляда?

Между тем обитатели Альки понемногу осмелели. Домбские землепашцы и бельмонтские волопасы клялись, что со свирепой тварью они сами справятся получше всякой девы, и, щупая свои мускулы, восклицали: «А ну-ка, дракон, выходи!» Многие мужчины и женщины уже видели его. Они не могли столковаться насчет его обличия, но только все в один голос утверждали, что он вовсе не так уж огромен, как прежде казалось, и лишь немногим больше человека. Стали заботиться об обороне: по вечерам при входе в деревню выставляли караульщиков, чтобы те в случае опасности подняли тревогу; отряды, вооруженные вилами и косами, охраняли по ночам загоны для скота. Однажды в деревне Анис смелые землепашцы даже настигли дракона в то время, когда он перепрыгивал через ограду во двор к Морио; вооруженные цепами, косами и вилами, они бросились к нему и уже подступили вплотную. Один из них, удалой и ловкий, уверял даже, что пырнул его вилами, да, поскользнувшись в луже, упустил. Остальные наверняка догнали бы его, если б не замешкались, кинувшись ловить кроликов и кур, которых он побросал на бегу.

Эти крестьяне сообщили старейшинам селения, что видом и размерами чудовище показалось им похожим на человека, и только голова да хвост у него были в самом деле такие, что ужасно глядеть.

ГЛАВА XI

Алькский дракон

(Продолжение)

В тот день Кракен вернулся к себе в пещеру раньше обычного. Он стащил с головы свой шлем из тюленьей шкуры с парою бычьих рогов наверху и с грозными клыками, торчащими из-под забрала. Бросил на стол свои страшные когтистые перчатки — на концах пальцев к ним были прикреплены клювы зимородков. Расстегнул пояс с извивающимся зеленым хвостом позади. Потом приказал своему пажу Эло снять с него

сапоги, и, так как мальчику все не удавалось справиться с этим, он пинком ноги отшвырнул его в другой конец пещеры.

Даже не взглянув на прекрасную Орброзу, которая пряла шерсть, он уселся перед очагом, где жарилась баранья туша, и пробурчал:

— Что за гнусные пингвины... Последнее ремесло на свете — изображать дракона.

— Что вы говорите, господин мой? — спросила прекрасная Орброза.

— Меня перестали бояться,— продолжал Кракен.— Прежде все разбегались при моем приближении. Я уносил в своем мешке кур и кроликов. Гнал перед собой баранов и свиней, коров и быков. А теперь эта деревенщина стала расставлять караул. Охраняют входы. Только что в Анисе за мною погнались крестьяне, вооруженные цепами, косами и здоровенными вилами, так что мне пришлось побросать кур и кроликов, перекинуть свой хвост через руку и бежать со всех ног. Но, скажите на милость, разве пристало каппадокийскому дракону, подобрав свой хвост, улепетывать, словно какому-нибудь воришке! И вдобавок все эти рога, клыки, гребень, когти и чешуя так стесняли мои движения, что я еле ноги унес от одного негодяя, который на добрых полдюйма всадил мне вилы в левую ягодицу.

При этом он осторожно поднес руку к пострадавшей части тела. Затем, после довольно продолжительного горького раздумья, прибавил:

— Что за олухи эти пингвины! Мне надоело пускать огонь в их дурацкие рожи. Слышишь, что я говорю, Орброза?

После этих слов герой, держа перед собою свой грозный шлем, долго глядел на него в угрюмом молчании. Потом разразился потоком жалоб:

— Я собственными руками скроил себе этот шлем из тюленьей кожи. Чтобы сделать его еще страшнее, я увенчал его бычьими рогами и оснастил челюстью дикого кабана, пустил поверху конский хвост, крашенный киноварью. Никто из жителей острова не мог вынести его вида, когда он покрывал меня, спускаясь до самых плеч, при мрачном сумеречном свете. Завидев меня, женщины и дети, юноши и старики в ужасе бежали прочь, и все пингвинское племя трепетало передо мною. Каким же образом этот дерзкий народ, забыв прежний страх, осмеливается глядеть прямо на эту свирепую морду и бежать вслед за этой устрашающей гривой?

И он бросил шлем на каменный пол пещеры.

— Так пропади ты пропадом, изменник шлем! — вскричал Кракен.— Клянусь всеми демонами Армора, никогда больше тебя не надену!

И, произнеся эту клятву, он стал топтать ногами свой шлем, перчатки, сапоги и извивающийся хвост.

— Кракен,— сказала прекрасная Орброза,— позвольте вашей покорной служанке прибегнуть к хитрости, ради спасения вашей славы и вашего добра. Не пренебрегайте помощью женщины. Такая помощь вам необходима: ведь все мужчины — глупцы.

— Что ты задумала, женщина? — спросил Кракен.

И прекрасная Орброза сообщила своему супругу, что по городам и весям ходили монахи, оповещая жителей острова о наивернейшем способе победить дракона; что, по их словам, зверя может одолеть девственница и что, если невинная дева обвяжет дракону шею своим поясом, она без малейшего труда поведет его за собою, как собачонку.

— Откуда ты знаешь, что монахи говорят это? — спросил Кракен.

— Друг мой,— отвечала Орброза,— я беседую с вами о таких важных вещах, а вы перебиваете меня пустыми вопросами... «Итак,— говорили монахи,— если есть среди вас невинная дева, пусть она объявится!» Так вот, Кракен, я решила откликнуться на их призыв. Пойду к святому старцу Маэлю и скажу ему: «Я — эта дева, избранная небесами для одоления дракона!»

При этих словах Кракен удивленно воскликнул:

— Да какая же ты невинная дева? И почему ты хочешь пойти на меня, Орброза? В своем ли ты уме? Ну уж я не дам меня одолеть!

— Чем сердиться, не лучше ли прежде понять, что я предлагаю? — заметила прекрасная Орброза, кротким вздохом выражая глубокое презрение.

И она изложила свой хитроумный замысел.

Герой слушал ее в раздумье. Когда она кончила свою речь, он сказал:

— Ты очень хитро все придумала, Орброза! И если замысел твой осуществится, то принесет мне большую выгоду. Но как же ты станешь чистой девой, избранной небесами?

— Насчет этого не беспокойся, Кракен,— отвечала она.— А теперь пойдем-ка спать.

Весь следующий день, сидя в пропахшей жиром пещере, Кракен плел из ивовых прутьев какой-то безобразный каркас,

затем обтянул его отвратительными кожами со взъерошенной чешуей. Прекрасная Орброза пришила к каркасу с одного конца грозный гребень и мерзкое забрало, служившее Кракену в его опустошительных набегах, а с другого — прикрепила извивающийся хвост, который герой имел обыкновение волочить за собою. Окончив работу, они приказали маленькому Эло и еще пятерым мальчикам, что им прислуживали, влезть в это сооружение и тащить его на себе, чтобы оно ползло, а внутри жечь паклю и дуть в раструбы, чтобы драконья пасть извергала пламя и дым.

ГЛАВА XII

Алькский дракон

(Продолжение)

Надев платье из грубой шерстяной материи, подпоясавшись простою веревкой, Орброза явилась в скит и попросила допустить ее к блаженному Маэлю для беседы. Так как женщинам доступ в ограду монастыря был воспрещен, то старец вышел за ворота, держа в правой руке своей пастырский посох, а левой опираясь на плечо Самуила, самого молодого из учеников.

— Кто ты, женщина? — спросил он.

— Я — дева Орброза.

Услышав такой ответ, Маэль воздел дрожащие руки к небу.

— Правду ли говоришь ты, женщина? Всем известно, что Орброзу пожрал дракон. И вот я вижу Орброзу и слышу ее! Не было ли так, о дочь моя, что ты осенила себя крестом во чреве чудовища и вышла невредимой из его пасти? Это представляется мне наиболее вероятным.

— Ты не ошибся, отец мой,— отвечала Орброза.— Именно так и было со мною. Выйдя из звериного чрева, я удалилась в уединенное место на Берегу Теней. В своем пустынножительстве я предавалась молитве и размышлению, совершая неслыханные подвиги воздержания, как вдруг получила откровение небесное в том, что только девственница может одолеть дракона и что девственница эта — я.

— Покажи мне какой-нибудь знак, свидетельствующий о твоем призвании.

— Этот знак — я сама,— отвечала Орброза.

— Мне известно о могуществе тех, кто запечатлел плоть свою печатью невинности,— сказал просветитель пингвинов.— Но действительно ли ты такова, как говоришь?

— Увидишь это по моим делам,— отвечала Орброза.

Тут монах Регименталий приблизился и сказал:

— Это будет лучшим доказательством. Царь Соломон изрек: «Три вещи трудно узнать, а четвертую — невозможно: след змеи на камне, птицы — в воздухе, корабля — в воде, мужчины — в женщине». Я считаю дерзкими тех матрон, что выставляют себя в таких делах осведомленнее мудрейшего из царей. Поверьте мне, отец мой, советоваться с ними относительно благочестивой Орброзы нет никакого смысла. Если они и выскажут вам свое мнение, это ничего вам не даст. Доказать девственность не менее трудно, чем сохранить ее. Плиний утверждает в своей «Естественной истории», что признаки ее воображаемы или весьма неопределенны [1]. Иная отмечена всеми четырнадцатью знаками растления, но чиста пред очами ангелов, иная же, наоборот, признанная непорочной, после того как матроны оглядели и ощупали ее всю, мнимой невинностью своей обязана уловкам предусмотрительного разврата. Что касается чистоты предстоящей здесь святой девицы, то я готов ручаться за нее, сунув руку в огонь.

Он говорил так потому, что он был диавол. Но старец Маэль не знал об этом. И спросил благочестивую Орброзу:

— Скажи, дочь моя, каким способом предполагаешь ты победить столь свирепого зверя, однажды уже пожравшего тебя?

Дева отвечала:

— Завтра, при восходе солнца, о Маэль, ты созовешь народ на холм, пред которым до самого Берега Теней расстилается пустынная степь, и проследишь за тем, чтобы ни один пингвин не подходил к скалам ближе, чем на пятьсот футов,— иначе он будет тотчас же отравлен дыханием чудовища. Дракон выйдет из скал, и я обвяжу ему шею своим поясом и поведу его на поводке, как послушную собаку.

— Не возьмешь ли ты в помощь себе какого-нибудь отважного и благочестивого мужа, дабы он поразил дракона? — спросил Маэль.

— Именно так, о старец: я отведу чудовище к Кракену, который зарубит его своим сверкающим мечом. Ибо надобно тебе знать, что благородный Кракен, которого считали мертвым, вернется к пингвинам и убьет дракона. Из брюха дракона выйдут пожранные им дети.

---

[1] Мы тщетно искали эту фразу в «Естественной истории» Плиния *(Издатель)*.

— То, о чем ты мне возвещаешь, о дева, кажется мне чудесным и превышающим человеческие силы! — воскликнул проповедник.

— Да, это действительно так,— отвечала дева Орброза.— Но знай, Маэль, мне было откровение, что народ пингвинский, освобожденный рыцарем Кракеном, должен будет вознаградить его, платя ему ежегодный оброк в виде трехсот цыплят, двенадцати баранов, двух быков, трех свиней, тысячи восьмисот мер хлеба, а также овощей, смотря по времени года; сверх того, мальчики, вышедшие из брюха дракона, должны быть отданы тому же Кракену в полное его распоряжение, чтобы служить ему и покорно исполнять все, что он прикажет.

Если народ пингвинский не исполнит своих обязательств, на острове появится новый дракон, еще ужаснее первого. Я все сказала.

ГЛАВА XIII

Алькский дракон

(Продолжение и окончание)

Народ пингвинский, созванный старцем Маэлем, провел ночь у Берега Теней, не преступая границы, указанной святым мужем,— из опасения, что будет отравлен дыханьем дракона.

Ночной сумрак еще окутывал землю, когда, возвещая о себе хриплым ревом, на скалах неясно обрисовалась движущаяся тень дракона. Он полз по-змеиному, и его извивающееся тело, казалось, имело не менее пятнадцати футов в длину. При виде дракона толпа отпрянула в ужасе. Но тут же все взоры обращаются к деве Орброзе,— в лучах занимающейся зари она выходит вся в белом на лужайку, поросшую розовым вереском. Бесстрашной и скромной поступью подходит она к зверю, а тот, испуская дикое рычание, разевает огнедышащую пасть. Громкий крик ужаса и жалости вырывается из толпы пингвинов. Но дева, сняв свой льняной пояс, обвязывает им шею дракона и при восторженных кликах присутствующих ведет его за собой, как послушную собаку. Она уже проходит довольно большое расстояние по равнине, как вдруг появляется Кракен, вооруженный сверкающим мечом. Народ, считавший его мертвым, встречает его изумленным и радостным кличем. Герой устремляется на зверя, опрокидывает его, вспарывает ему брюхо мечом, и оттуда, молитвенно сложив ладони, в рубашонках, с кудрявыми головками, выходят маленький Эло и остальные пять мальчиков, проглоченные чудовищем.

Они тотчас же припадают к ногам девы Орброзы, и та заключает их в объятия, нашептывая им на ухо:

— Идите по деревням и говорите всюду: «Мы — бедные малютки, пожранные драконом и вышедшие в рубашках из его брюха». И люди будут щедро одаривать вас всем, чего вы ни пожелаете. А станете рассказывать другое, получите одни щелчки да пинки. Ступайте!

При виде дракона со вспоротым брюхом многие пингвины бросились было к нему, чтобы разорвать его в клочья, одни — в порыве ярости и чувства мести, другие — чтобы завладеть волшебным камнем под названьем драконит, образующимся в голове у драконов; матери возвращенных к жизни мальчиков ринулись вперед, чтобы обнять дорогих сыночков. Но святой Маэль удержал всех, объяснив им, что они недостаточно добродетельны, чтобы приблизиться к дракону, не поплатившись за это жизнью.

Вскоре маленький Эло с другими мальчиками подошли к народу и сказали:

— Мы — бедные малютки, пожранные драконом и вышедшие в рубашках из его брюха.

Все слышавшие целовали их и говорили:

— Благословенные дети! Мы щедро одарим вас всем, чего вы ни пожелаете.

И толпа разошлась в веселии, с пением гимнов и благодарственных молитв.

В память того дня, когда провидение избавило народ от жестокого бедствия, решено было устраивать процессии и носить по улицам изображение дракона, закованного в цепи.

Кракен стал получать оброк и вскоре сделался самым богатым и могущественным среди пингвинов. Для того чтобы внушать благодетельный ужас, он в знак своей победы стал носить на голове драконий гребень и постоянно напоминал народу:

— Теперь, когда чудовище издохло, дракон — это я!

Долго еще обвивала Орброза любвеобильными руками шею волопасов и овчаров, делая их равными богам. Когда же утратила свою красоту, посвятила себя господу.

Она пользовалась всеобщим почитанием, а после кончины своей была причислена к лику святых и стала небесной покровительницей Пингвинии.

Кракен оставил после себя сына, носившего, подобно отцу, гребень дракона и по этой причине прозванного Драко. Он основал первую королевскую династию Пингвинии.

ГЛАВА I

Бриан Благочестивый и королева Гламоргана

Короли Альки, происходившие от Драко, сына Кракена, носили на голове страшный драконий гребень, священный знак, одним видом внушавший всему народу почтение, ужас и любовь. Они непрестанно враждовали либо со своими вассалами и подданными, либо с владетелями островов и близлежащих земель на материке.

Древнейшие из этих королей оставили после себя только имя. К тому же мы не знаем, ни как оно произносится, ни как пишется. Первый Драконид, история которого нам известна,— это Бриан Благочестивый, стяжавший славу своей хитростью и отвагой на войне и на охоте.

Он был истинным христианином, любил письменность и покровительствовал людям, посвятившим себя монашеской жизни. В своей дворцовой зале, где под закоптелыми стропилами висели рога оленей и других зверей, он устраивал пиры, на которые собирал арфистов со всей Альки и других островов, да и сам пел хвалебные песни в честь героев. Справедливый и великодушный, но снедаемый пламенной жаждой славы, он не мог удержаться, чтобы не предавать смерти всякого, кто пел лучше его.

После того как иверские монахи были изгнаны опустошавшими Бретань язычниками, король Бриан призвал изгнанников в свое королевство и велел поставить для них рядом со своим дворцом деревянный скит. Каждый день вместе с супругой своей Гламорганой он отправлялся в монастырскую часовню, присутствовал при богослужении и пел гимны.

В монастыре был один монах по имени Оддул, во цвете юных лет украшенный познаниями и добродетелями. Это причиняло сильную досаду диаволу, и тот неоднократно пытался ввести его в искушение. Он принимал разные обличия и показывал монаху то боевого коня, то юную деву, то чашу с медовым напитком; а как-то раз встряхнул двумя игральными костями в стаканчике и предложил:

— Хочешь сыграть со мной? Ставлю все царства земные против волоска с твоей головы.

Но человек божий, осенив себя крестным знамением, отринул посягательства врага рода человеческого. Видя, что он не поддается соблазну, диавол задумал погубить его при помощи хитроумной уловки. Однажды летней ночью он приблизился к королеве, спавшей на своем ложе, представил ей образ молодого монаха, которого она видела каждый день в деревянном скиту, и приворожил ее к этому образу. Тотчас же любовь, как некий тонкий яд, проникла в жилы Гламорганы. Ее охватило желание испытать с Оддулом утехи любви. Она неустанно изыскивала предлоги, чтобы приблизить его к себе. Не раз просила она его учить ее детей читать и петь.

— Я доверяю их вам,— говорила она.— Я сама буду слушать ваши уроки, чтобы учиться у вас. Заодно вы будете наставником и детей, и их матери.

Однако юный монах отказывался, ссылаясь то на недостаток знаний, то на монашеский устав, запрещающий общение с женщинами. Но отказы его только распаляли Гламоргану. Однажды, томясь в невыносимой муке на своей постели, она велела позвать Оддула к себе в спальню. Он повиновался, но стал на пороге, потупя взор. То, что он не хочет даже взглянуть на нее, еще больше разжигало в ней тяжкое нетерпение.

— Ты видишь,— сказала она,— я совсем обессилела. У меня потемнело в глазах. Меня бросает то в жар, то в озноб.

И так как он молчал, неподвижно стоя на пороге, она позвала его с мольбою:

— Поди, поди ко мне!

И, в исступлении протягивая руки, пыталась схватить его, притянуть к себе.

Но он убежал, порицая ее за бесстыдство.

Тогда, преисполненная гнева и опасаясь, как бы Оддул не стал всем рассказывать о ее позорной страсти, она задумала сама погубить его, чтобы он не погубил ее. С воплями, разнесшимися по всему дворцу, она стала звать на помощь, словно находилась в большой опасности. Сбежались прислужницы и

увидели, что из спальни убегает молодой монах, а королева натягивает на себя одеяло. Все в один голос закричали: «Держите убийцу!» Когда король Бриан, привлеченный шумом, вошел в спальню, Гламоргана, показывая на свои растрепанные волосы, на свои слезы, на грудь, которую сама же в любовном исступлении разодрала ногтями, сказала ему:

— Мой господин и супруг, смотрите: вот следы постигших меня оскорблений. Побуждаемый гнусной похотью, Оддул приблизился ко мне и пытался насильно овладеть мною.

Услыхав ее жалобы, увидев кровь, король, вне себя от ярости, приказал стражам схватить юного монаха и сжечь его заживо перед дворцом, на глазах у королевы.

Узнав о случившемся, иверпский аббат пошел к королю и сказал ему:

— Король Бриан, на этом примере вы можете видеть разницу между христианкой и язычницей. Римская Лукреция была самой добродетельной среди властительниц, поклонявшихся идолам; и, однако, она не имела сил противостоять нападению изнеженного юноши и, смущенная своею слабостью, впала в отчаяние, между тем как Гламоргана победоносно устояла против нападения преступника, охваченного неистовством и одержимого опаснейшим из бесов.

Тем временем Оддул дожидался в дворцовой темнице того часа, когда ему предстояло быть сожженным заживо. Но господь не допустил гибели невинного. Он послал к нему ангела, и тот, приняв облик Гудруны, одной из прислужниц королевы, вывел его из узилища и привел в комнату той самой прислужницы.

И сказал ангел юному Оддулу:

— Я люблю тебя, ибо ты дерзаешь.

Юный Оддул, думая, что говорит с Гудруной, ответил, опустив глаза:

— Только милостью господней дано мне было устоять против бесчинных притязаний королевы, не убоявшись гнева сей могущественной женщины.

Ангел спросил:

— Как! Ты не совершил того, в чем обвиняет тебя королева?

— Воистину нет, я не совершал сего,— ответил Оддул, положа руку на сердце.

— Не совершал?

— Нет, не совершал. Одно помышление о подобном поступке внушает мне ужас.

— Так что же ты тут торчишь, колбаса этакая! [1] — воскликнул ангел.

И он открыл дверь, дабы способствовать бегству юного монаха.

Оддул почувствовал, что его с силой вытолкнули наружу. Не успел он выйти на улицу, как чья-то рука опрокинула ему на голову ночной горшок.

«Таинственны предначертания твои и неисповедимы пути твои, господи!» — подумал он.

ГЛАВА II

Драко Великий. Перенесение мощей святой Орброзы

Род Бриана Благочестивого по прямой линии угас к 900-му году в лице Коллика Курносого. Этому государю наследовал один из его родственников — Боско Великодушный, который, заботясь о судьбах престола, перебил всю свою родню. От него произошел длинный ряд могущественных королей.

Один из них, Драко Великий, стяжал громкую воинскую славу. Его побеждали чаще, чем кого-либо другого. Именно по такому постоянству в военных поражениях узнаются великие полководцы. За двадцать лет он сжег более ста тысяч деревушек, селений, посадов, малых и больших городов и университетов. Он все предавал огню не только во вражеских землях, но и в собственном своем королевстве. И, чтобы объяснить такой образ действий, обычно говорил:

— Война без пожара — что рубцы без горчицы: слишком пресно!

Он придерживался сурового правосудия. Когда захваченные им в плен крестьяне не могли внести за себя выкуп, он вешал их на дереве, а если какая-нибудь несчастная женщина, жена несостоятельного плательщика, приходила к нему с мольбой за своего мужа, Драко Великий приказывал привязать ее за косы к хвосту своего коня и пускал его вскачь. Жил он по-солдатски, чуждаясь изнеженности. Видимо, он соблюдал чистоту нравов. Он не только не уронил прежней славы своего королевства, но, напротив, во всех превратностях судьбы мужественно поддерживал честь пингвинского народа.

---

[1] Пингвинский летописец, сообщающий об этом факте, употребляет выражение «Species inductilis». Я даю буквальный перевод.

Драко Великий велел перенести в Альку священные останки святой Орброзы.

Тело блаженной погребено было в пещере на Берегу Теней, в конце благоуханной равнины. Первыми богомольцами, являвшимися к ней на поклонение, были юноши и девушки ближних селений. Они ходили туда большей частью парами и по вечерам, как бы невольно ища уединенного места, где можно было бы под покровом темноты удовлетворить свои благочестивые стремления. Ревниво оберегая тайну от взора непосвященных, они пылко и скрытно чтили святую; они избегали говорить вслух о том, что им довелось испытать в ее пещере; но порою их заставали там шепчущими друг другу слова любви, радости и восторга вперемешку с упоминанием святой Орброзы; одни томно вздыхали, твердя, что там можно забыть весь мир; другие уверяли, что после посещения пещеры чувствуешь покой и удовлетворенность. Девицы делились между собою воспоминаниями об испытанном там блаженстве.

Таковы были чудеса, творимые алькской девственницей на заре ее вечной славы: в них были нежность и неясность рассвета. Но вскоре тайна пещеры, подобно вкрадчивому благоуханию, распространилась по всей стране. Для чистых сердцем в этом были радость и назидательность, и напрасно люди развращенные пытались при помощи лжи и злословия отвратить верующих от источника благодати, струившегося из гроба святой. Церковь озаботилась тем, чтобы эта благодать стала доступна не только нескольким отрокам и отроковицам, но осенила всех христиан Пингвинии. Пещерой завладели монахи; они выстроили на берегу монастырь, часовню и странноприимный дом, и вскоре началось многолюдное паломничество к этим местам.

Как бы обретая все новые силы по мере своего пребывания на небесах, блаженная Орброза совершала теперь более значительные чудеса над всеми, кто приходил с приношениями на ее могилу; она обнадеживала бесплодных женщин, посылала сонные видения ревнивым старикам, дабы внушить им доверие к их молодым женам, несправедливо заподозренным в измене; она охраняла страну от моровой язвы, от падежа скота, от голода, от бурь и от каппадокийских драконов.

Но во время смут, постигших страну при короле Коллике Курносом и его преемниках, богатая гробница св. Орброзы была разграблена, монастырь сожжен, монахи разбрелись кто куда; дорога, исхоженная столькими благочестивыми богомольцами, вся заросла дроком, терновником и голубым репейни-

ком, произрастающим в песках. Целых сто лет чудотворную гробницу посещали одни гадюки, совы да летучие мыши,— как вдруг святая девственница явилась одному тамошнему крестьянину по имени Момордик.

— Я — дева Орброза,— сказала она ему.— Ты избран мною, дабы восстановить мое святилище. Оповести жителей сих мест, что если они и впредь оставят память обо мне в небрежении, а гробницу мою без почестей и богатых даров, то явится новый дракон и опустошит страну пингвинов.

Ученые церковники исследовали природу этого видения и признали его истинным, не диавольским, а вполне небесным; впоследствии же было отмечено, что во Франции, при аналогичных обстоятельствах, св. Фидес и св. Екатерина поступили подобным же образом и держали такую же речь.

Обитель была восстановлена, и снова к ней стали стекаться богомольцы. Дева Орброза творила все более поразительные чудеса. Она исцеляла от самых тяжких болезней, как-то: искривление стопы, водянка, паралич и пляска святого Витта. Монахи, взявшие гробницу под свою охрану, достигли уже завидного благосостояния, когда святая, явившись королю Драко Великому, повелела провозгласить ее небесной покровительницей королевства и перенести славные останки ее в Алькский собор.

Во исполнение этого благоуханные мощи девы были с великой торжественностью отнесены в столичную церковь и водружены перед самым алтарем в золотой раке, украшенной эмалью и драгоценными каменьями.

Церковный капитул стал вести запись чудес, совершаемых по предстательству блаженной Орброзы.

Драко Великий, неустанный защитник и ревнитель христианской веры, приял благочестивую кончину, оставив церкви большие богатства.

ГЛАВА III

Королева Крюша́

После смерти Драко Великого начались ужасающие смуты. Преемников этого государя нередко обвиняли в слабости. И в самом деле, никто из них ни в малой степени не следовал примеру своего доблестного предка.

Сын его Шом, страдавший хромотою, пренебрегал расширением пингвинских границ. Боло, сын Шома, в девятилетнем воз-

расте был убит дворцовой стражей, когда уже готовился взойти на престол. Ему наследовал брат его Гун. Семилетний мальчик, он во всем подчинялся матери, королеве.

Королева Крюша́ была красива, образованна, умна. Но она не умела сдерживать свои страсти.

Вот как отзывается в своей летописи досточтимый Тальпа́ об этой прославленной королеве:

«Красотою лица и стройностью телосложения королева Крюша не уступает ни Семирамиде вавилонской, ни царице амазонок Пентесилее, ни Саломее, дочери Иродиады. Но она отличается некоторыми особенностями, кои можно счесть прекрасными или безобразными, соответственно противоречивым вкусам людей и мирским суждениям. На лбу у нее — маленькие рожки, которые она искусно прикрывает своими густыми золотистыми волосами; один глаз у нее — голубой, другой — черный, шея пригнута влево, как у Александра Македонского; правая рука у нее шестипалая, а под пупком имеется как бы подобие обезьяньей головки.

Поступь у нее величественная, обращение обходительное. Она славится щедростью, но не всегда умеет обуздывать свои желания доводами рассудка.

Однажды, заметив в дворцовых конюшнях молодого конюха необычайной красоты, она внезапно воспылала к нему любовью и доверила ему командование войсками. Что в этой королеве, несомненно, заслуживает похвал, так это ее обильные пожертвования на церкви, монастыри и часовни Пингвинии, в особенности на святую обитель Бергардинскую, где милостью господней я, по четырнадцатому году жизни, принес монашеский обет. Она сделала столько вкладов для служения обеден за упокой ее души, что каждый священник церкви пингвинской стал, можно сказать, живою свечой, возжженной пред господом,— да не будет августейшая Крюша оставлена милосердием божьим».

По этим строкам, а также некоторым другим выдержкам, коими я украсил свое повествование, можно судить о научных и литературных достоинствах «Gesta Pinguinorum» [1]. К сожалению, эта летопись обрывается на третьем году правления Драко Простодушного, бывшего преемником Гуна Слабого. Подойдя в своем повествовании к этому моменту, я горько сетую по поводу утраты такого приятного и надежного руководителя.

В продолжение двух следующих веков Пингвиния была охвачена кровавой анархией. Все искусства погибли. Среди всеоб-

[1] «Деяния пингвинов» *(лат.)*.

щего невежества монахи под сенью монастырей предавались ученым трудам и с неутомимым рвением переписывали Священное писание. Так как пергамент был редок, они соскабливали старые рукописи, чтобы запечатлевать вместо них слово божье. И по всей пингвинской земле расцветали Библии, подобно кустам роз.

Один монах ордена св. Бенедикта, по имени Эрмольд Пингвин, собственноручно соскоблил четыре тысячи греческих и латинских рукописей, чтобы переписать четыре тысячи раз Евангелие св. Иоанна. Так было уничтожено большое количество лучших произведений античной поэзии и красноречия. По единодушному признанию историков, пингвинские монастыри были в средние века убежищами просвещения.

Конец этого периода заполняют столетние войны с дельфинами. Относительно этих войн чрезвычайно трудно установить что-либо достоверное — не по недостатку исторических свидетельств, а из-за их изобилия.

Дельфинские летописцы во всем противоречат пингвинским. Но мало того: пингвины противоречат друг другу так же, как и дельфины. Я обнаружил двух летописцев, согласных между собой, но один списал у другого. Несомненно только, что в это время не прекращались убийства, насилия, пожары и грабежи.

При несчастном короле Боско IX государство было на волосок от гибели. Получив весть о том, что дельфинский флот, в составе шестисот больших кораблей, показался в виду острова Альки, епископ назначил крестный ход; капитул, выборные лица из судейского сословия, магистратура, члены парламентского суда, университетские ученые направились в собор, подняли раку св. Орброзы и обнесли ее вокруг города в сопровождении всех горожан, певших гимны. Воззвание к святой покровительнице Пингвинии не осталось неуслышанным; но дельфины все же осадили город одновременно и с суши и с моря, взяли его приступом, а затем три дня и три ночи жгли, грабили, убивали и совершали насилия с безразличием, порожденным привычкой.

Достойно величайшего удивления, что в эти века диких войн среди пингвинов непоколебимо сохранилась вера. Свет истины озарял тогда души, не испорченные софизмами. Этим и объясняется единство верований. Счастливому единодушию паствы, несомненно, способствовало также одно обыкновение, которого придерживалась пингвинская церковь,— немедленно сжигать всякого инакомыслящего.

ГЛАВА IV

Письменность. Иоанн Тальпа

Во время малолетства короля Гуна бергардинский монах Иоанн Тальпа, давший обет монашества еще в четырнадцатилетнем возрасте и за всю свою жизнь ни разу не покинувший монастырской ограды, составил на латинском языке знаменитую летопись «De gestis Pinguinorum» [1] в двенадцати книгах.

Бергардинская обитель возносит свои высокие стены на неприступной горной вершине; вокруг — только синие горы да облака.

Иоанн Тальпа предпринял составление «Gesta Pinguinorum» уже в преклонных летах. Достойнейший инок сам сообщает об этом в своей книге. «Уже давно голову мою,— пишет он,— перестали украшать светлые кудри, и череп мой уподобился тем выпуклым металлическим зеркалам, с коими так прилежно и внимательно совещаются пингвинские дамы. От природы невысокий, с годами я стал еще ниже ростом, и стан мой согнулся. Белая борода укрывает грудь мою от холода».

С очаровательным простодушием сообщает Тальпа о некоторых обстоятельствах своей жизни и кое-каких чертах своего характера. «Происходя из знатного рода,— пишет он,— и с отроческих лет предназначенный к духовному званию, я изучал грамматику и музыку. В грамоте наставлял меня учитель по имени Амикус, хотя вернее было бы называть его Инимикус. Так как я туго усваивал буквы, то он сек меня розгами столь сильно, что, можно сказать, запечатлел азбуку жгучими письменами на моих ягодицах».

В другом месте Тальпа признается, что от природы наделен был сладострастными влечениями. Вот как выразительно пишет он об этом: «В юности плоть моя была столь пылкой, что даже в тени лесной я чувствовал себя так, словно кипел в котле, а не вдыхал лесную свежесть. Я избегал женщин. Но напрасно! При одном виде какого-нибудь колокольчика или бутылки предо мною вставал женский образ».

Пока он составлял свою летопись, жестокая война, одновременно и с иноземными врагами и междоусобная, опустошала пингвинскую землю. Солдаты Крюши, явившись в Бергардинский монастырь для защиты его от дельфинских варваров, прочно там укрепились. Чтобы сделать обитель неприступной, они пробили бойницы в ее стенах и сняли с церкви свинцовую кры-

---

[1] «О деяниях пингвинов» *(лат.)*.

шу на пули для пращей. Во дворах и крытых галереях они жгли по ночам большие костры, над которыми жарились целые туши быков, вздетых на стволы столетних горных елей, как на вертела; и, собравшись вокруг огней, в дыму, насыщенном запахом смолы и жира, солдаты вышибали днища у бочек с вином и брагой. Их песни, проклятия и споры заглушали утренний благовест.

Но вот наконец дельфины, пройдя горными ущельями, осадили монастырь. Это были северные витязи в медных доспехах. Они приставляли к отвесным скалам свои лестницы длиною в полтораста туазов, но те во мраке бурной ночи обрушивались под тяжестью людей и доспехов, и целые гроздья человеческих тел летели во рвы и горные пропасти. В потемках слышался только протяжный вой, замолкавший где-то внизу. И начинался новый приступ. Пингвины потоками лили со стен кипящий вар, и осаждающие вспыхивали, как факелы. Шестьдесят раз дельфины яростно бросались на приступ — и шестьдесят раз были отбиты.

Уже целых десять месяцев монастырь был плотно обложен врагами, когда в праздник крещения какой-то пастух указал им потайную тропу, ведущую на вершину горы, и они проникли в подземелье монастыря, а оттуда хлынули в дворовые галереи, в кухни, в церковь, в залы капитула, в книгохранилище, в прачечную, в монашеские келии, в трапезные и спальни, предавая их огню, бесчинствуя и убивая всех, без различия пола и возраста. Застигнутые во время сна, пингвины бросились к оружию. Ночная тьма и страх мешали им видеть, и они сослепу нападали друг на друга, в то время как дельфины, тоже пуская в ход топоры, отнимали друг у друга священные сосуды, кадильницы, паникадила, ризы, богатые раки и осыпанные драгоценными каменьями золотые распятия.

В воздухе стоял едкий запах горелого человеческого мяса. Из пламени неслись крики и стоны умирающих. По краю кровель, уже готовых обрушиться, во множестве, как всполошенные муравьи, бежали монахи и падали в ущелье. А Иоанн Тальпа все писал свою летопись. Солдаты королевы Крюши, поспешно отступив, завалили все выходы из монастыря каменными глыбами, оставляя дельфинов в пылающих зданиях. А чтобы давить врагов, обрушивая на них камни и обломки стен, они пользовались как тараном стволами вековых дубов. С громовым грохотом рушились пылающие стропила и обваливались великолепные церковные своды, когда шестьсот человек, раскачав гигантское дерево, разом ударяли им в стену. Вскоре от всей богатой и об-

ширной обители осталась только келья Иоанна Тальпы, чудом уцелевшая среди дымящихся развалин на верхушке обгорелой стены. А старый летописец все писал и писал...

Такая поразительная сосредоточенность мысли может все же показаться чрезмерной у летописца, ведущего записи о событиях своего времени. Но, как бы ни был человек рассеян и как бы ни был отрешен от окружающей жизни, он не может не чувствовать на себе ее влияния. Я ознакомился с оригиналом рукописи Иоанна Тальпы, хранящимся в Национальной библиотеке (Пингв. фонд, К. L^6., 12390 quater). Это рукопись на пергаменте, состоящая из 628 листов. Почерк крайне неровен; буквы ложатся не прямыми строчками, но скачут в разные стороны, сталкиваются и налетают одна на другую в беспорядке или, вернее, в полном смятении. Они так плохо выписаны, что в большинстве случаев невозможно не только разобрать их, но даже отличить от многочисленных чернильных клякс. Всем видом своим эти бесценные страницы говорят о потрясениях, среди которых они были начертаны. Читать их трудно. Стиль же бергардинского монаха, напротив, не носит никаких следов волнения. Тон «Gesta Pinguinorum» отличается неизменной простотой. Повествование кратко и настолько сжато, что порою впадает в сухость. Рассуждения встречаются редко и в большинстве случаев обоснованны.

ГЛАВА V

Искусства. Примитивы пингвинской живописи

Пингвинские критики обычно утверждают, что искусство пингвинов с самого зарождения отличалось прелестным и мощным своеобразием и что нигде у других народов нельзя найти такой глубины и такого изящества, какими характеризуются эти ранние произведения. Дельфины же заявляют, что это их художники были первыми учителями и постоянными наставниками пингвинов. Трудно судить, кто прав, поскольку пингвины стали восхищаться своими ранними художниками уже после того, как уничтожили все их творения.

Такая утрата в высшей степени плачевна. Я чувствую ее с особенной остротой, так как высоко чту пингвинские древности и преклоняюсь перед первобытным искусством.

Эти художники очаровательны. Нельзя сказать, что все они между собою схожи; но у них есть общие черты, присущие всем школам,— иначе говоря, обязательные для всех приемы и некая законченность, ибо то, что эти художники знают, они знают хо-

рошо. К счастью, о пингвинских примитивах можно составить понятие по примитивам итальянским, фламандским, немецким и особенно французским, превосходящим все остальные; как заметил господин Грюйе, во французских больше логики, потому что логика — это качество чисто французское. Возможно, кто-нибудь не согласится с таким мнением; но, во всяком случае, надо отдать справедливость Франции, сохранившей свои примитивы, меж тем как другими народами они утрачены. В 1904 году на выставке французских примитивов в Марсанском павильоне было показано несколько маленьких панно времен последних Валуа и Генриха IV.

Я совершил немало путешествий, чтобы видеть картины братьев Ван-Эйков, Мемлинга, Рогира ван дер Вейдена, автора «Успенья богородицы», Амброджо Лоренцетти и старых умбрийцев. Но все же мое окончательное приобщение к подобной живописи совершилось не в Брюгге, Кельне, Сиене или Перудже; убежденным приверженцем безыскусственной живописи я стал в маленьком городке Ареццо. Это произошло лет десять тому назад, а то и раньше. При тогдашней бедности и простоте нравов городские музеи были во всякое время на замке, но во всякое время открывались для «forestieri» [1]. Однажды вечером старушка со свечой показала мне за пол-лиры грязный музей города Ареццо, и я обнаружил там картину Маргаритоне «Св. Франциск», который исторг у меня слезы своей благочестивой печалью. Я был глубоко растроган; с тех пор Маргаритоне из Ареццо стал для меня самым любимым из ранних художников.

Я сужу о ранних художниках Пингвинии по произведениям этого мастера. Поэтому будет нелишним уделить ему здесь некоторое внимание и, не останавливаясь на подробностях, дать о нем хотя бы самое общее и, смею так выразиться, ясное представление. Сохранилось пять-шесть картин, носящих его подпись. На главном его полотне, хранящемся в Лондонской «National Gallery» [2], изображена дева Мария, сидящая на престоле с Христом-младенцем на руках. Что поражает при первом взгляде, так это пропорции фигуры. Тело, от шеи до ступней, больше головы только вдвое: оно кажется чрезвычайно коротким и приземистым. Не менее чем рисунком, произведение это замечательно и своими красками. Цвета, бывшие в распоряжении великого Маргаритоне, весьма немногочисленны, и он применял их во всей чистоте, никогда не смешивая тонов. Вот почему в колорите

---

[1] Иностранцев *(итал.)*.

[2] «Национальной галерее» *(англ.)*.

у него больше живости, чем гармонии. Щеки богоматери и младенца — великолепного алого цвета, причем старый мастер, простодушно предпочитая четкие очертания, румянец на обоих лицах изобразил в виде кругов, до такой степени правильных, словно они вычерчены циркулем.

Ученый критик XVIII столетия аббат Лауци отнесся к работам Маргаритоне с великим презрением. «Это — грубая мазня,— писал он.— В те злосчастные времена не умели ни рисовать, ни писать красками». И такого мнения единодушно придерживались все эти знатоки искусства в напудренных париках. Но великий Маргаритоне и его современники вскоре были отмщены за столь жестокое презрение к ним. В XIX веке в благочестивой Англии, среди деревенских приверженцев Библии и в коттеджах реформистов, народилось множество маленьких Самуилов и святых Иоаннов, курчавых, как барашки,— они-то к 1840—1850 годам превратились в очкастых ученых, установивших культ примитивов.

Выдающийся теоретик прерафаэлизма сэр Джемс Теккет смело причисляет мадонну в «National Gallery» к лучшим произведениям христианского искусства. «Придавая голове богоматери размер, равный трети всей фигуры,— пишет сэр Джемс Теккет,— старый мастер тем самым настойчиво привлекает внимание зрителя к наиболее благородной части человеческого облика — в особенности к глазам, которые недаром называются «зеркалом души». В этой картине колорит, в полном согласии с рисунком, преследует цель создать впечатление чего-то идеального и мистического. Алый румянец щек не похож на естественный; скорей кажется, что старый мастер украсил лица святой девы и младенца райскими розами».

На подобного рода критике, так сказать, играет отблеск превозносимой ею картины; однако серафический эдинбургский эстет Мак-Силли еще острей и проникновенней передал впечатление, произведенное на его душу созерцанием этого примитива. «Мадонна Маргаритоне достигает трансцендентной цели искусства,— говорит почтенный Мак-Силли,— она пробуждает в тех, кто на нее смотрит, невинность, чистоту, уподобляя их малым детям. До какой степени это верно, можно убедиться по тому, что в возрасте шестидесяти шести лет, после упоительного созерцания этой картины в течение трех часов подряд, я вдруг почувствовал себя грудным младенцем. Проезжая в кебе по Трафальгар-скверу, я тряс футляром от очков, как детской погремушкой, заливаясь смехом и что-то лепеча. А когда в семейном пансионе, где я живу, служанка подала мне обед, я принялся

черпать ложкой суп и с детской непринужденностью лить его себе в ухо.

Подобное действие могут оказывать только совершеннейшие произведения искусства»,— добавляет Мак-Силли.

«Маргаритоне,— сообщает Вазари,— умер в возрасте семидесяти семи лет, сожалея о том, что дожил до того времени, когда появилось новое искусство и новые художники были увенчаны славой». Эти строки, приведенные здесь мною дословно, вдохновили в свое время сэра Джемса Теккета на создание страниц, быть может, самых прелестных во всем его литературном наследии. Они входят в состав «Настольной книги эстетов»; все прерафаэлиты знают их наизусть. Я хочу процитировать их здесь, чтобы они послужили драгоценнейшим украшением моей книги. По общему мнению, ничего более возвышенного не было написано со времени израильских пророков.

ВИДЕНИЕ МАРГАРИТОНЕ

Однажды Маргаритоне, обремененный годами и трудом, посетил мастерскую молодого художника, недавно поселившегося в городе. Он заметил в мастерской одну Мадонну, только что написанную, которая при всей своей строгости и суровости отличалась известной правильностью пропорций и прямо диавольской игрой света и тени, что придавало ей пластичность и жизненность. В этой картине простосердечный и высокий духом мастер из Ареццо с ужасом провидел живопись будущего.

Закрыв лицо руками, он прошептал:

— Какой позор предчувствую я, глядя на это изображение! Я предугадываю в нем конец христианского искусства, которое изображает душу, внушая жгучую тоску по небесам. Будущие художники не ограничатся тем, что станут, подобно этому юноше, воспроизводить на стене или на деревянной доске наше отмеченное проклятием естество,— они будут славить и восхвалять его. Они придадут изображениям пагубное сходство с живым существом, оденут их плотью. У святых появятся тела, под одеждой будут чувствоваться человеческие формы. У святой Магдалины будут женские груди, у святой Марфы — живот, у святой Варвары — бедра, у святой Агнесы — ягодицы (buttocks); святой Себастиан обнажит юношескую красоту своего тела, а святой Георгий выставит из-под доспехов богатую мускулатуру зрелого мужчины. Апостолы, исповедники, ученые-богословы и сам бог-отец предстанут в образах непотребных стариков, совсем как мы, грешные; ангелы будут смущать сердца своей таин-

ственной красой, двусмысленною и дразнящей. Могут ли подобные изображения вызывать в нас жажду небесного? Отнюдь нет; вместо этого они станут прививать вкус к формам земной жизни. Остановятся ли художники в своих нескромных поисках и на этом? Нет, не остановятся. Они дойдут до того, что станут показывать мужчин и женщин обнаженными наподобие римских идолов. Будет существовать искусство мирское и искусство священное, но и священное будет таким же мирским.

— Сгиньте, бесы! — воскликнул вдруг старый художник.

Ибо в пророческом видении пред ним возникли праведники и святые, подобные задумчивым атлетам; возникли Аполлоны, играющие на скрипке на вершине горы, среди цветов, в окружении нимф, чуть прикрытых легкими туниками; возникли Венеры, спящие под тенистыми миртами, и Данаи, подставляющие золотому дождю свои восхитительные чресла; возникли Иисусы, под колоннадами, среди патрициев, светлокудрых дам, музыкантов, пажей, негров, собак и попугаев; возникли, в беспорядочном смешении человеческих тел, раскинутых крыльев и развевающихся тканей, Вифлеемские пещеры, едва вмещающие множество суетливых фигур; дородные Святые семейства; торжественные Распятия; возникли святые Екатерины, святые Варвары, святые Агнесы, затмевающие патрицианок бархатом, парчою и перлами роскошных своих нарядов и ослепительной белизною своих обнаженных грудей; возникли Авроры, разбрасывающие охапки роз; возникли многочисленные нагие Дианы и нимфы, застигнутые врасплох среди тенистых зарослей на берегу ручья. И умер великий Маргаритоне, задохнувшись от страшного предчувствия всех ужасов Возрождения и болонской школы.

ГЛАВА VI

Марбод

До нас дошел драгоценный памятник пингвинской литературы XV века — повесть о хождении по преисподней, которое совершил Марбод, монах ордена св. Бенедикта, пламенный поклонник поэта Вергилия. Этот рассказ, написанный на недурном латинском языке, был опубликован г-ном Дюкло де Люном. Ниже приводится впервые французский перевод. Полагаю, что окажу услугу моим соотечественникам, дав им возможность познакомиться с этими страницами, конечно, не единственными в своем роде среди произведений средневековой латинской литературы. Из подобных фантастических рассказов назовем, напри-

мер, «Плавание св. Брендана», «Видение Альберика», «Чистилище св. Патрика» — вымышленные описания предполагаемого загробного мира, вроде «Божественной Комедии» Данте Алигьери.

Рассказ Марбода — одно из самых поздних произведений на такую тему, но отнюдь не наименее странное.

СОШЕСТВИЕ МАРБОДА В ПРЕИСПОДНЮЮ

В году тысяча четыреста пятьдесят третьем от воплощения сына божия, незадолго до того, как враги честно́го животворящего креста вошли в град Елены и великого Константина, даровано было мне, брату Марбоду, недостойному монаху, видеть и слышать то, чего никто доныне не слышал и не видел. Я составил о том правдивое повествование, дабы память о происшедшем не исчезла вместе со мною, ибо краток срок жизни человеческой. В первый день мая означенного года, в час, когда в Корриганском аббатстве служили вечерню, я, сидя на камне возле колодца, укрытого под сенью шиповника, читал, по обыкновению своему, одну из песен излюбленного мною поэта Вергилия, поведавшего о труде земледельческом, о пастухах и вождях. Вечер уже окутывал складками своей багряницы своды монастыря, и я в волнении шептал стихи о том, как Дидона Финикиянка влачит дни свои под миртами преисподней, чувствуя боль еще не зажившей раны. Тут мимо меня прошел брат Гилярий, сопровождаемый братом Гиацинтом, монастырским привратником.

Взращенный в варварское время, до возрождения муз, брат Гилярий не приобщен к античной мудрости; однако поэзия Мантуанца, словно свет факела, пронизывающий тьму, заронила луч свой и в его разум.

— Брат Марбод,— спросил он меня,— что за стихи произносишь ты прерывистым шепотом, с таким волнением, что у тебя вздымается грудь и сверкают глаза? Не из великой ли они «Энеиды», от которой ты не отрываешь взора с утра до вечера?

Я ответил ему, что читал то место у Вергилия, где сын Анхиза увидал Дидону, подобную луне за листвою деревьев [1].

---

[1] У Вергилия: «...qualem primo qui surgere mense
Aut videt aut vidisse putat per nubila lunam».
(...как тот, кто видит или кому кажется, что он видел, как в начале месяца появляется в облаках луна.— *лат.*)
Брат Марбод, впадая в странную ошибку, созданный поэтом образ заменяет совершенно другим.

— Брат Марбод,— заметил он,— я не сомневаюсь, что Вергилий во всех случаях высказывает мудрые суждения и глубокие мысли. Но песни, которые он наигрывал на сиракузской флейте, полны такой красоты и такого высокого смысла, что способны просто ослепить нас.

— Будь осторожен, отец мой,— испуганно воскликнул брат Гиацинт.— Вергилий был волшебник и совершал чудеса при помощи демонов. Именно так прорыл он насквозь гору близ Неаполя и сделал бронзового коня, обладавшего силой исцелять все конские болезни. Он был некромант, и еще ныне в одном из городов Италии показывают зеркало, в котором он заставлял появляться мертвых. Но все-таки женщина провела этого могущественного колдуна: одна неаполитанская куртизанка поманила его из окошка и склонила его сесть в подъемную корзину, служившую для доставки наверх провизии; а затем коварно оставила его висеть всю ночь между двумя этажами.

Но брат Гилярий, словно не слыша этих речей, сказал:

— Вергилий — пророк. Да, он пророк, далеко превзошедший сивилл с их священными песнями, и дочь царя Приама, и великого прорицателя — Платона Афинского. В четвертой из своих сиракузских песней он предрекает рождество господа нашего, причем речь его кажется скорей небесной, чем земной [1].

В те дни, когда я еще учился, впервые прочитанные мною слова: «Jam redit et virgo» — погрузили меня в бесконечное блаженство; но тут же я почувствовал себя уязвленным печалью при мысли о том, что, навсегда лишенный лицезрения господа, автор этой пророческой песни, самой прекрасной среди песней, когда-либо исходивших из уст человеческих, томится в вечном мраке, вместе с язычниками. Эта жестокая мысль не оставляла меня. Она преследовала меня даже во время моих занятий, молитв, размышлений и подвигов воздержания. Думая о том, что господь навеки отвратил от Вергилия лицо свое и тот, быть может, даже разделяет участь всех осужденных на адские мучения, я не знал ни радости, ни покоя и каждый день многократно восклицал, воздевая к небесам руки: «Открой мне, господи, ка-

---

[1] За три столетия до того времени, когда жил наш Марбод, в церквах на рождество пели:

«Maro, vates gentilium,
Da Christo testimonium».

(О Марон, прорицатель народов, свидетельствуй о Христе.— *лат.*)

кую участь назначил ты тому, кто пел на земле подобно ангелам в небесах?»

Тревога моя прекратилась через несколько лет, когда в одной древней книге я прочитал, что великий апостол, призвавший язычников в церковь Христову,— святой Павел, прибыв в Неаполь, слезами своими освятил гробницу царя поэтов [1]. Это дало мне основание полагать Вергилия, как императора Траяна, допущенным в рай за то, что он из тьмы заблуждений своих прозревал истину. Такой вывод не обязателен, но мне сладостно убеждать себя в этом.

Затем старец Гилярий пожелал мне мирного и благостного сна и удалился вместе с братом Гиацинтом.

Я снова предался наслаждению моим любимым поэтом. Пока я с книгою в руке размышлял о тех, кто, сраженный Амуром, погиб от жестокой муки и тайными тропами бродит теперь по зарослям миртовой рощи,— в воде монастырского колодца к лепесткам шиповника примешались отсветы звезд. Внезапно огоньки, благоухания ночи, спокойствие небосвода — все исчезло. Чудовищный Борей, бушуя во мраке, с ревом обрушился на меня, поднял меня в воздух и, как соломинку, понес через города и веси, через реки и горы, сквозь грохочущие громом тучи и нес всю долгую, долгую ночь, слившуюся из целой вереницы дней и ночей. И когда наконец упорная и жестокая ярость урагана утихла, я оказался далеко от родных мест, в глубине некоей долины, окаймленной кипарисами.

И приблизилась ко мне женщина, исполненная мрачной красоты, в длинных, влачащихся по земле одеждах. Положив левую руку мне на плечо и указывая правой на широколиственный дуб, она сказала:

— Смотри!

Тогда я понял, что это Сивилла, охранительница священной

---

[1] «Ad Maronis mausoleum
Ductus, fudit super eum
Piae rorem lacrymae.

Quem te, inquit, reddidissem,
Si te vivum invenissem,
Poetarum maxime!»

(Приведенный к гробнице Марона, он пролил росу благочестивой слезы и сказал: «Кем бы я тебя сделал, если бы застал живым, о величайший из поэтов!» — *лат.*)

Авернской рощи, и в густой листве дерева, на которое указывал ее перст, я различил золотую ветвь, любезную прекрасной Прозерпине.

Поднявшись с земли, я воскликнул:

— Так, значит, о вещая дева, ты разгадала мое желание и удовлетворила его! Ты показала мне дерево со сверкающей ветвью, без которой никому не дано войти живым в обитель мертвых. А я воистину пламенно желал беседовать с тенью Вергилия.

Сказав так, я сорвал с древнего дуба золотую ветвь и бесстрашно устремился в дымящуюся пропасть, через которую пролегает путь к тинистым берегам Стикса, туда, где, подобно опавшим листьям, кружатся тени умерших. При виде ветви, посвященной Прозерпине, Харон пустил меня к себе в ладью, заскрипевшую под тяжестью моего тела, и я доплыл до брега мертвых, где меня встретил беззвучным лаем трехголовый Цербер. Я замахнулся на него тенью камня, и призрачное чудовище убежало в свое логово. В тех местах, среди камышей, кричат младенцы, едва раскрывшие глаза навстречу сладостному сиянию дня и тут же сомкнувшие их; в глубине мрачной пещеры судит смертных Минос. Я проник в миртовую рощу, где, тоскуя, влачатся жертвы любви — Федра, Прокрида, печальная Эрифила, Эвадна, Пасифая, Лаодамия, и Кения, и Дидона Финикиянка; вслед за тем перешел пыльные поля, отведенные для знаменитых воинов. По ту сторону полей берут начало две дороги. Левая — в Тартар, местопребывание нечестивцев. Я пошел по правой, ведущей к Елисейским полям и обители Дия. Повесив священную ветвь у дверей богини, я достиг отрадных лугов, одетых пурпуровым светом. Тени философов и поэтов вели там между собой степенную беседу. Грации и музы водили на траве легкие хороводы. Под звон своей сельской лиры пел старый Гомер. Глаза его были закрыты, но уста струили свет божественно прекрасных образов. Я видел Солона, Демокрита и Пифагора, следивших за играми юношей на зеленом лугу, а сквозь листву древнего лавра заметил Гесиода, Орфея, меланхолического Еврипида и мужественную Сафо. Проходя мимо прохладного ручья, я среди сидящих на берегу узнал поэта Горация, Вария, Галла и Лукрецию. Немного в стороне от них Вергилий, прислонившись к темному падубу, задумчиво озирал рощу. Высокий, с тонким станом, он и здесь сохранил свой деревенский вид, свой загар и небрежность одежды — весь грубоватый облик, под которым при жизни скрывался его гениальный дар. Я благоговейно склонился перед

ним и долго не мог произнести ни слова. Наконец, преодолев смущение, сжимавшее мне горло, я воскликнул:

— О любимец авзонийских муз, прославивший имя латинян! О Вергилий, ты дал мне познать красоту, ты приобщил меня к пиршеству богов и ложу богинь. Не отвергни хвалы смиреннейшего из твоих почитателей.

— Встань, чужестранец! — отвечал мне божественный поэт: — Я узнаю в тебе живого по длинной тени, отбрасываемой на траву твоим телом при свете этого вечно длящегося вечера. Ты не первый из смертных, сошедший еще при жизни в эти обители, как ни трудно какое-либо общение между живыми и нами. Но перестань восхвалять меня: я не люблю похвал — смутный шум славы всегда оскорблял мой слух. Вот почему, бежав из Рима, где я был известен в среде праздных и любопытных, я уединенно трудился в моей милой Партенопее. И потом, чтобы оценить значение твоих похвал, я недостаточно уверен, что мои стихи понятны людям твоего века. Кто ты?

— Я — Марбод, из королевства Альки. Принял постриг в Корриганском монастыре. Читаю стихи твои днем и ночью. Только ради того, чтобы видеть тебя, спустился я в преисподнюю: я жаждал знать, какова здесь твоя участь. На земле ученые часто спорят об этом. Одни полагают в высшей степени вероятным, что, прожив всю жизнь при господстве демонов, ты горишь ныне в неугасимом огне; другие, более осторожные, не высказывают никакого суждения, считая все рассказы о мертвых малодостоверными и полными вымыслов; некоторые — надо сказать, не из самых больших умников — утверждают, что, дав голосу муз сицилийских звучать на возвышенный лад и провозвестив пришествие нового сына небес, ты, подобно императору Траяну, был допущен в христианский рай, чтобы вкушать там вечное блаженство.

— Ты видишь, что все это не так,— с улыбкой промолвила тень.

— В самом деле, о Вергилий, я встретил тебя среди героев и мудрецов, в Елисейских полях, описанных тобою самим. Так, значит, вопреки всему, что многие думают на земле, никто не приходил сюда за тобою от имени того, кто царит в небесах?

После довольно долгого молчания он отвечал:

— Не скрою от тебя ничего. Он посылал за мною; один из его посланцев, какой-то простодушный человек, пришел сказать мне, что меня ждут и что, хотя я не приобщен к их таинствам, но, во внимание к моим пророческим песням, мне обеспечено место среди приверженцев новой секты. Однако я отказался от

приглашения. Мне совсем не хотелось переселяться. Это не значит, что я разделяю восхищение греков их Елисейскими полями и что я вкушаю здесь утехи, из-за которых Прозерпина забыла свою мать. Я никогда особенно не верил тому, что сам рассказывал обо всем этом в «Энеиде». Воспитанный философами и физиками, я предчувствовал, каково истинное положение дел. Жизнь в преисподней чрезвычайно ограниченна; здесь не испытывают ни радости, ни страдания; существуют как бы не существуя. Мертвые обладают здесь только тем бытием, каким их наделяют живые. И все же я предпочел остаться здесь.

— Но как объяснил ты, Вергилий, столь странный отказ?

— О, весьма убедительно. Я сказал посланцу бога, что не заслуживаю такой чести и что стихам моим придают смысл, которого они не имеют. На самом деле в четвертой эклоге своей я нисколько не изменил вере предков. Только невежественные евреи могли истолковать в пользу некоего варварского бога песнь, где я славлю наступление нового золотого века, возвещенного прорицаниями Сивиллы. Вот я и сослался на то, что не имею никакого права занять место, отводимое мне по ошибке. Затем я указал на свой темперамент и вкусы, не соответствующие нравам новых небес.

«Я отнюдь не нелюдим,— сказал я этому человеку.— При жизни я отличался мягким и легким характером. Крайняя простота всего моего обихода давала повод подозревать меня в скупости,— но я ничего не приберегал для себя одного; моя библиотека была доступна каждому, и я согласовывал свое поведение с прекрасными словами Еврипида: «У друзей все должно быть общим». Хвалы мне докучали, когда имели в виду меня, но доставляли удовольствие, когда были обращены к Варию или Макру. Однако больше всего влечет меня простая сельская жизнь; мне по нраву общение с животными; я так тщательно их наблюдал, так о них заботился, что прослыл, и не без оснований, очень хорошим ветеринаром. Мне говорили, что люди из вашей секты признают наличие бессмертной души у себя, но отрицают ее у животных,— это нелепость, заставляющая меня сомневаться в их разуме. Я люблю стада и — быть может, немного слишком — пастухов. У вас на это взглянули бы косо. Есть правило, которому я всегда стремился следовать в своих поступках: ничего «елишком»! Не только слабое здоровье, но главным образом усвоенная мною философия приучила меня во всем соблюдать меру. Я воздержан в пище: какой-нибудь латук, несколько маслин да глоток фалернского составляли всю мою трапезу. Я лишь изредка посещал ложе чужестранок; я не засиживался в тавер-

не, глядя, как молодая сирийка пляшет под звуки кротала [1]. Но если я сдерживал свои страсти, то лишь ради самого себя и в силу хорошего воспитания; а бояться радости и избегать наслаждений — казалось мне всегда самым отвратительным оскорблением, какое можно нанести природе. Меня уверяли, что среди избранников твоего бога некоторые при жизни воздерживались от пищи и избегали женщин из любви к лишениям, добровольно подвергая себя бесполезным страданиям. Я боялся бы встретиться с подобными преступниками, омерзительными для меня своим неистовством. От поэта нельзя требовать слишком строгого подчинения какой-нибудь физической или моральной доктрине. К тому же я римлянин, а римлянам, в отличие от греков, недоступно сложное искусство погружаться в глубины отвлеченной мысли: если они принимают какую-нибудь философскую систему, то главным образом с целью извлечь из нее практическую пользу. Сирон, которого у нас высоко ценили, преподал мне учение Эпикура, тем самым избавив меня от пустых страхов и отвратив от жестокости, которую внушает религия своим невежественным последователям; Зенон научил меня терпеливо переносить неизбежные страдания; я воспринял мысли Пифагора о том, что душа есть и у людей и у животных и что у тех и других она божественного происхождения. Это учит нас не гордиться собою, но и не стыдиться за себя. Я узнал от александрийцев, как земля, сначала мягкая и податливая, постепенно затвердела, когда Нерей стал отступать от нее, углубляясь то тут, то там в свою влажную обитель; как незаметно образовалась природа; каким образом дождь, падая из облегчаемых туч, питал молчаливые леса и, наконец, какое долгое развитие потребовалось для того, чтобы первые животные стали бродить по безыменным горам. Я уже не способен примениться к вашей космогонии, более пригодной для погонщиков верблюдов где-нибудь в сирийских песках, чем для ученика Аристарха Самосского. Да и что мне делать в ваших блаженных селениях, где я не встречу ни своих друзей, ни предков, ни учителей, ни богов, где мне не дано будет видеть могущественного сына Реи, Венеру со сладостной улыбкой на устах, мать энеадов, Пана, юных дриад, сильванов и старого Силена, которому Эглея вымазала лицо пурпурным соком тутовых ягод?»

---

[1] Если верить Марбоду, эта фраза, по-видимому, подтверждает, что «Копа» принадлежит Вергилию.

Вот какие доводы я привел простодушному посланцу, с тем чтобы он представил их преемнику Юпитера.

— А с тех пор, о великая тень, к тебе уже не являлись посланцы?

— Нет, никто не являлся.

— Утешать в твоем отсутствии возложено там на трех поэтов: Коммодиона, Пруденция и Фортуната, рожденных в темную пору, когда не знали больше ни просодии, ни грамматики. Но скажи, о Мантуанец, ужели не получил ты больше никакой вести о боге после того, как столь неосмотрительно отверг общение с ним?

— Если память не изменяет мне, никакой.

— А разве ты не сказал, что не я первый сошел живым в эти селения и предстал перед тобою?

— Ах да, ты напомнил мне... Вот уже полтораста лет (насколько могу судить, ибо трудно теням вести счет дней и годов), как глубокий покой мой был потревожен странным посещением. Бродя по берегам Стикса, осененным призрачно-бледной листвой, я вдруг увидел пред собой человеческий образ, более плотный и темный, чем обитатели этих мест; я догадался, что это — живой. Он был высокого роста, тощий, с орлиным носом, с острым подбородком, ввалившимися щеками; черные глаза его метали пламя; красный капюшон с надетым поверх него лавровым венком прикрывал впалые виски. У него проступали кости под узкой одеждой бурого цвета, доходившей ему до пят. Поклонившись мне с почтительностью, особенно заметной при какой-то мрачной гордости всего его облика, он обратился ко мне на языке, еще более неправильном и темном, чем у галлов, которыми божественный Юлий наводнил легионы и курию. Мне все же удалось понять, что он рожден близ Фезул, в этрусской колонии, основанной Суллою на берегу Арнуса и впоследствии достигшей процветания; что там он уже занимал почетные должности в городском управлении, но, когда между сенатом, всадниками и народом возникли кровавые распри, он со всем пылом вмешался в них и теперь, побежденный, высланный из родного города, влачил по свету долгие дни изгнания. Он рассказал мне об Италии, еще более жестоко раздираемой смутами и междоусобицами, чем во времена моей молодости, и воздыхающей о приходе нового Августа. Я пожалел его, памятуя о своих собственных тяжких испытаниях.

В нем чувствовалась страстность отважной души, ум его питал широкие замыслы, но, увы, грубым невежеством своим человек этот свидетельствовал о торжестве варварства. Он не

«Остров пингвинов»

знал ни поэзии, ни науки греков, ни даже их языка, и взгляды древних на происхождение мира и природу богов были ему неизвестны. Он с важностью повторял басни, над которыми в Риме моего времени посмеялись бы даже самые маленькие дети, допускаемые бесплатно в баню. Чернь легко верит в существование разных чудовищ. В особенности этруски населили преисподнюю безобразными демонами, подобными горячечным видениям больного. Что этруски сохранили приверженность к детским своим вымыслам на протяжении стольких веков, можно объяснить длительными и со временем даже возросшими невежеством и нищетою; но чтобы одно из их должностных лиц, человек в умственном отношении выдающийся, разделял пустые народные верования и боялся отвратительных демонов, которых во времена Порсены местные жители изображали на стенах гробниц,— это может огорчить даже мудреца. Этруск прочел мне свои стихи, составленные на новом наречии, которое он называет народным языком, но смысла их я разобрать не мог. Мне показалось скорее странным, чем привлекательным, его обыкновение подчеркивать ритм, повторяя три-четыре раза через правильные промежутки одни и те же звуки. Такое ухищрение вовсе не кажется мне удачным; но не мертвым судить живых.

Впрочем, этому колону Суллы я ставлю в упрек не то, что, рожденный в злосчастные времена, он слагает неблагозвучные стихи, что он, если только это возможно, такой же плохой поэт, как Бавий и Мевий,— за ним есть другие провинности, которые больше задевают меня. Поистине чудовищно и почти невероятно! Этот человек, вернувшись на землю, распространил обо мне отвратительные измышления; он уверяет во многих местах дикой поэмы своей, будто я водил его по новому Тартару, которого я совершенно не знаю; он нагло возвестил повсюду, будто я считаю римских богов ложными и лживыми богами, а истинным богом зову нынешнего преемника Юпитера. Друг мой, когда ты снова увидишь сладостный свет солнца и вернешься к себе на родину, опровергни эти гнусные выдумки; убеди народ свой, что певец благочестивого Энея никогда не воскурял фимиама еврейскому богу.

Меня уверяют, что могущество его клонится к упадку и что несомненные признаки позволяют предвидеть его скорое падение. Такие вести доставили бы мне некоторую радость, если бы можно было радоваться в этих местах, где не испытывают ни страха, ни желаний.

Так он сказал и, безмолвно простившись со мной, удалился. Я смотрел, как тень эта скользит по цветам асфоделей, не сгибая стеблей; видел, как она становится все меньше и туманней, по мере того как удаляется от меня; затем она совершенно исчезла, не достигнув вечнозеленой лавровой рощи. Тогда я понял смысл его слов: «Мертвые обладают только тем бытием, каким их наделяют живые»,— и, ступая в задумчивости по бледной зелени лугов, я пошел ко вратам из рога.

Заверяю, что все здесь написанное — истинная правда [1].

ГЛАВА VII

Знаки на луне

Когда Пингвиния еще коснела во мраке невежества и варварства, Жиль Луазелье, францисканский монах, известный своими сочинениями под именем Эгидия Авкуписа, с неугасимым пылом изучал литературу и науки. Он посвящал свои ночные бдения математике и музыке, называя их двумя прелестными сестрами, гармоническими дочерьми Числа и Воображения. Он знал медицину и астрологию. Его подозревали в занятиях магией, и, кажется, он в самом деле производил превращения и умел находить спрятанное. Монахи его обители, обнаружив у него в келье греческие книги, читать которые были не в состоянии, решили, что это книги заклинаний, и донесли на своего слишком ученого брата, обвиняя его в колдовстве. Эгидий Авкупис бежал на остров Ирландию, где прожил тридцать лет, предаваясь ученым занятиям. Он посещал монастыри, разыскивая греческие и латинские рукописи, которые там хранились, и делал

---

[1] Одно место в рассказе Марбода весьма достойно внимания — именно то, где корриганский монах описывает Алигьери именно таким, как мы его себе представляем в настоящее время. На цветных миниатюрах одной из старейших рукописей «Божественной Комедии» — в «Codex venetianus»,— поэт изображен в виде толстенького человечка в короткой тунике, вздернутой на животе. Что же касается Вергилия, то он еще на деревянных гравюрах XVI века представлен с бородою, приличествующей философу.

Равным образом невозможно допустить, чтобы Марбоду или даже Вергилию известны были этрусские гробницы Кьюзи и Корнето, где действительно имеется стенная живопись со множеством страшных и нелепых изображений дьяволов, на которых очень похожи дьяволы Орканьи. Тем не менее подлинность «Сошествия Марбода в преисподнюю» не вызывает никаких сомнений: г-н Дюкло де Люн убедительно доказал ее; усомниться в ней — значит усомниться в самой палеографии.

с них списки. Изучал он также физику и алхимию. Он достиг всеобщего знания и, в частности, раскрыл многие тайны животного, растительного и минерального мира. Однажды его застали запершимся наедине с женщиной совершенной красоты, которая пела, аккомпанируя себе на лютне, а потом оказалось, что это был механизм, собственноручно им сделанный.

Он часто переплывал Ирландское море, чтобы посетить монастырские книгохранилища Уэльса. Во время одной из таких поездок, стоя ночью на палубе, он увидел под водою двух осетров, плывших рядом с кораблем. Он обладал тонким слухом и знал язык рыб.

И вот он слышит, как один осетр говорит другому:

— Человек с вязанкой хвороста за плечами, которого издавна видели на луне, упал в море.

А другой осетр добавил:

— И теперь на серебряном диске увидят изображение двух влюбленных, целующих друг друга в губы.

Через несколько лет, вернувшись в свою родную страну, Эгидий Авкупис увидел, что там возродилась античная литература и что науки опять в почете. Нравы стали мягче; люди перестали преследовать нимф источников, лесов и гор своими оскорблениями. Они пристойно украшали сады статуями муз и граций и, как в древние времена, воздавали должные почести Усладительнице людей и богов, вкушающих амброзию с ее божественных уст. Помирившись с природой, они попирали ногами пустые страхи и глядели на небеса, не боясь прочитать в них, как прежде, знаки гнева и угрозы вечных мучений.

При виде сего Эгидий Авкупис вспомнил в душе своей то, о чем возвещали два осетра в Эринском море.

ГЛАВА I

Рукениха

Эгидий Авкупис, пингвинский Эразм, не ошибся: наступило время свободного исследования. Но великий человек увидел смягчение нравов там, где проявлялось лишь щегольство гуманизмом, и не предвидел, к каким последствиям приведет пробуждение мысли у пингвинов. Оно повлекло за собой реформацию; католики стали истреблять протестантов, протестанты стали истреблять католиков — таковы были первые достижения свободной мысли. В Пингвинии одержали верх католики. Но, сами того не сознавая, они проникнись духом исследования; они стали примирять веру с разумом, стараясь очистить религию от позорящих ее суеверных обычаев, как впоследствии освобождали здания соборов от прилепившихся к ним лавчонок сапожников, перекупщиц и старьевщиков. Слово «легенда», первоначально означавшее то, что надлежит читать верующим, стало названием для всяких благочестивых россказней и ребяческих сказок.

От такого состояния умов пришлось немало пострадать святым обоего пола. Например, некий каноник по имени Пренсто, весьма ученый, весьма строгий, весьма суровый, такое количество их объявил недостойным особого праздника, что его прозвали опустошителем церковных ниш. Он не признавал, что молитва св. Маргарите, приложенная в виде припарки к животу роженицы, облегчает родовые муки.

Заступница Пингвинии, столь чтимая святая, тоже не избежала его суровой критики. Вот что говорит он о ней в своих «Алькских древностях»:

«Чрезвычайно недостоверна история и даже самый факт существования св. Орброзы. Один старый анонимный составитель анналов, домбский монах, сообщает, что диавол овладел женщиной по имени Орброза в пещере, куда потом — еще и во времена самого анналиста — деревенские мальчишки и девчонки приходили играть в дьявола и прекрасную Орброзу. Он добавляет, что женщина эта стала наложницей ужасного дракона, опустошавшего страну. Это совершенно невероятно, однако и в том виде, в каком история Орброзы излагалась впоследствии, она заслуживает не больше доверия.

Житие этой святой составлено аббатом Симплициссимусом спустя триста лет после того времени, когда якобы произошли описываемые события; автор проявляет чрезмерное легковерие и полное отсутствие критического чутья».

Сверхъестественное происхождение пингвинов стало казаться сомнительным. Историк Овидий Капито решился даже отрицать их чудесное превращение. Свои «Анналы Пингвинии» он начинает так:

«Эти события окутаны мраком неизвестности, и не будет преувеличением сказать, что повествование о них соткано из ребяческих сказок и простонародных небылиц. Пингвины считают, что они будто бы произошли от птиц, окрещенных святым Маэлем и при посредстве этого славного проповедника обращенных богом в людей. Они утверждают также, что, первоначально расположенный в Ледовитом океане, остров пингвинов стал плавучим, подобно Делосу, достиг морей, благословенных небом, и воцарился среди них. Я предполагаю, что в этом мифе отразились переселения пингвинов, происходившие в древние времена».

В следующее столетие, в век философов, скептицизм стал еще более разъедающим,— в подтверждение достаточно привести хотя бы знаменитый отрывок из «Опыта о нравственности»:

«Прибывшие неведомо откуда (ибо происхождение их далеко не ясно), подвергавшиеся одному вражескому нашествию за другим, последовательно покоряемые четырьмя или пятью народами юга, запада, востока и севера, скрестившись, смешав свою кровь, породнившись и слившись с ними, пингвины похваляются чистотою своей расы, и они правы, так как образовали действительно чистую расу. Из такого смешения племен — краснокожих, черных, желтых и белых, круглоголовых и длинноголовых — с течением веков образовалось довольно однородное человеческое семейство, обладающее некоторыми по-

стоянными признаками, выработанными общностью жизни и нравов.

Мысль о том, что они принадлежат к прекраснейшей из всех рас на свете и составляют в ней прекраснейшее из семейств, внушает им благородную гордость, неукротимое мужество и ненависть ко всему человечеству.

Жизнь каждого народа — не что иное, как смена бедствий, преступлений и безумств. Это так же справедливо относительно пингвинов, как и относительно других народов. Тем не менее история пингвинов достойна восхищения от начала до конца».

Два классических века пингвинской истории слишком хорошо известны, чтобы здесь на них останавливаться; однако до сих пор обращалось недостаточно внимания на то, как теологи-рационалисты, вроде каноника Пренсто, породили неверующих следующего столетия. Руководствуясь своим разумом, они уничтожали в религии все, что представлялось им несущественным, оставляя незыблемыми лишь самые основы веры в узком смысле слова; их духовные наследники, привыкнув пользоваться помощью науки и разума, обратили то и другое против всего, что еще оставалось от верований; рационалистическое богословие породило натуральную философию.

Вот почему (если мне дозволено сделать переход от пингвинов былых времен к нынешнему верховному главе вселенской церкви) достойна высшего восхищения мудрость папы Пия X, воспретившего заниматься толкованием Священного писания, ибо это противоречит божественному откровению, угрожает истинному богословию и губительно для веры. Если и найдутся монахи, готовые, вопреки запрету, поддерживать права науки, то ученость их пагубна и знания тлетворны,— а если кто из верующих к ним примкнет, так это будет, клянусь, либо безмозглый дурак, либо какой-нибудь проклятый гугенот.

В конце века философов старый режим в Пингвинии был сокрушен, король предан смертной казни, дворянские привилегии уничтожены и, посреди смуты, под грозными ударами войны, была провозглашена республика. Собрание, управлявшее тогда Пингвинией, издало указ об изъятии у церквей всех металлических предметов для их переплавки. Патриоты оскверняли гробницы королей. Рассказывают, что, когда открыли гробницу Драко Великого, он лежал там весь как из черного дерева и такой величественный, что грабители в ужасе разбежались. Согласно же другим свидетельствам, они всунули ему в рот трубку и предложили в насмешку стаканчик вина.

На семнадцатый день месяца цветов рака св. Орброзы, пять веков простоявшая в церкви св. Маэля и окруженная благоговейным почитанием народа, была перенесена в городскую ратушу и подвергнута исследованию экспертов, назначенных общиной; рака имела форму корабля из золоченой меди, была покрыта эмалью и украшена каменьями — как обнаружилось, фальшивыми. Капитул предусмотрительно вынул все рубины, сапфиры и изумруды, а также большие шары горного хрусталя, заменив все это кусками стекла. Внутри только и было что немного пыли да какие-то тряпки, которые бросили в большой костер, разведенный на Гревской площади для предания огню всех священных реликвий. Народ плясал вокруг, распевая патриотические песни.

С порога своей лавки, примыкавшей к городской ратуше, Рукен и Рукениха смотрели на этот беснующийся хоровод. Рукен занимался стрижкой собак и холощением котов; он усердно посещал кабачки. Рукениха чинила соломенные сиденья у стульев и промышляла сводничеством; она была женщина неглупая.

— Видишь, Рукен? — сказала она мужу.— Они глумятся над святою. Раскаются они в этом!

— Ничего ты не смыслишь, жена,— отвечал Рукен.— Они стали философами, а коли ты философ, так уж на всю жизнь.

— Говорю тебе, Рукен, рано или поздно раскаются они в том, что нынче затеяли. Расправляются со святыми за то, что те мало им помогали; да ведь все равно никогда того не будет, чтобы жареные перепелки прямо в рот им попадали; останутся они такими же нищими, как прежде, а кончат бесноваться, опять богу молиться начнут. Придет день,— да раньше, чем можно подумать,— и наша Пингвиния снова станет почитать свою заступницу благодатную... Послушай, Рукен, а не худо бы нам на этот случай припрятать у себя где-нибудь в старом горшке щепотку пепла да несколько костей и тряпок. Скажем, что это мощи святой Орброзы, что мы их, рискуя жизнью, из огня вытащили. За такое дельце мы на старости лет от господина священника еще разрешение получим торговать церковными свечами и давать напрокат стулья в часовне святой Орброзы.

Сказано — сделано: Рукениха выгребла из своего очага немного пепла и, положив его вместе с несколькими обглоданными костями в старый горшок из-под варенья, поставила все это на шкаф.

ГЛАВА II

Тринко

Самодержавный народ, отобрав землю у дворянства и духовенства, стал продавать ее по дешевке буржуа и крестьянам. Буржуа и крестьяне рассудили, что революция удобна для приобретения земли, но неудобна для дальнейшего ее сохранения.

Республиканские законодатели издали грозные законы в защиту собственности и эдикты, карающие смертью за призыв к разделу богатства. Но это не помогло республике. Крестьяне, став собственниками, увидели, что она, обогатив их, подорвала право собственности, и стали желать другого режима, более благоприятного для собственников и более способного упрочить новые установления.

Ждать им пришлось недолго. Республика, подобно Агриппине, вынашивала в чреве своего собственного убийцу.

Вынужденная вести большие войны, она создала военные силы, которым предстояло спасти ее — и уничтожить.

Республиканские законодатели рассчитывали сдерживать генералов угрозой наказаний. Но если иногда они и рубили головы военным, терпевшим поражения, то не могли так поступать с военными, одерживавшими победы и приобретавшими влияние как спасители республики.

Воодушевленные бранною славой, воспрянувшие пингвины отдались во власть дракону, еще более ужасному, чем дракон их баснословных преданий, и он в течение четырнадцати лет, подобно аисту, призванному на царство лягушками, пожирал их своим ненасытным клювом.

Через полвека после правления нового дракона один молодой малайский махараджа по имени Джамби, совершая, подобно скифу Анахарсису, образовательное путешествие, посетил Пингвинию и составил любопытное описание этой страны, первую страницу которого мы здесь приводим.

ПУТЕШЕСТВИЕ МОЛОДОГО ДЖАМБИ ПО ПИНГВИНИИ

После девяностодневного плавания по морю я высадился в обширном и пустынном порту войнолюбивых пингвинов и по невозделанным землям добрался наконец до столицы, лежащей в развалинах. Опоясанная валами, полная казарм и арсеналов, она являла вид воинственный, но разоренный.

На улицах всякие рахитичные калеки, гордо таскающие на себе лохмотья военных мундиров, бряцали ржавым оружием.

— Что вам здесь надо? — грубо окликнул меня у городских ворот какой-то солдат с грозно торчащими в небо усами.

— Сударь,— отвечал я ему,— я приехал сюда из любознательности — осмотреть остров.

— Это не остров,— поправил меня солдат.

— Как! — воскликнул я.— Остров пингвинов — оказывается, не остров?!

— Нет, сударь,— это — инсула [1]. Прежде его действительно называли островом, но вот уже сто лет, как он согласно декрету именуется инсулой. Это единственная инсула во всем мире. Паспорт у вас есть?

— Вот он!

— Ступайте завизируйте его в министерстве иностранных дел.

Хромой провожатый, посланный со мною, остановился на большой площади.

— Наша инсула, как вам известно,— сказал он,— родина величайшего гения в мире — Тринко, статуя которого — здесь, перед вами; обелиск, направо от вас, воздвигнут в память рождения Тринко; колонна, налево, увенчана фигурой Тринко с диадемой. А там, дальше — триумфальная арка в честь Тринко и его семьи.

— Что же он совершил столь необыкновенного, этот Тринко? — спросил я.

— Он вел войны.

— Но в войнах нет ничего необыкновенного. Мы, малайцы, постоянно воюем.

— Возможно, но Тринко — величайший воитель всех времен и народов. Равного ему завоевателя нет и никогда не было. Входя в наш порт, вы, конечно, видели на востоке конусообразный вулканический остров Ампелофор, небольшого размера, но прославленный своими винами; а на западе — остров более обширный, который возносит к небесам ряд острых зубьев, почему и зовется Собачьей Челюстью. Он богат медной рудою. До прихода Тринко к власти оба эти острова принадлежали нам, и здесь кончались наши владения. Тринко распространил владычество пингвинов на Бирюзовый архипелаг и Зеленый континент, покорил сумрачную Дельфинию, водрузил свои знамена среди полярных льдов и в раскаленных песках африканской

---

[1] Инсула (insula) — остров *(лат.)*.

пустыни. Он вербовал войска во всех завоеванных странах, и на смотрах вслед за частями нашей войнолюбивой пехоты и островными гренадерами, гусарами, драгунами, артиллеристами, вслед за нашими обозниками двигались желтолицые воины в синих доспехах, подобные вставшим на свой хвост ракам; краснокожие, с перьями попугая на голове, татуированные знаками солнца и плодородия, с позвякивающими колчанами за спиной, полными отравленных стрел; чернокожие, совершенно голые, вооруженные только своими зубами и ногтями; пигмеи верхом на журавлях; гориллы, опирающиеся на дубину из цельного древесного ствола, предводительствуемые старым самцом с крестом Почетного легиона на волосатой груди. И все эти войска в порыве пламенного патриотизма устремлялись под знаменами Тринко от победы к победе. В течение тридцати лет Тринко завоевал половину известного нам мира.

— Как! — воскликнул я.— Вы владеете половиной мира?!

— Тринко завоевал ее — и потерял. Равно великий в своих поражениях, как и в победах, он отдал все, что было им завоевано. Он вынужден был отдать даже те два острова, которые раньше принадлежали нам,— Ампелофор и Собачью Челюсть. Он оставил после себя Пингвинию обнищалой и обезлюдевшей. Цвет нашего народа погиб во время этих войн. После его падения в нашем отечестве остались только горбатые да хромые, от которых мы и происходим. Зато он принес нам славу.

— Дорого же вам досталась эта слава!

— За славу сколько ни заплати — все будет не дорого! — ответил мой проводник.

ГЛАВА III

Путешествие доктора Обнюбиля

После целого ряда неслыханных превратностей судьбы, большею частью не оставивших по себе даже памяти из-за разрушительного действия времени и плохого стиля историков, в Пингвинии был установлен государственный строй, основанный на принципе самоуправления. Пингвины избрали Собрание, или Ассамблею, и облекли ее правом назначать главу государства. Этот последний, избираемый из среды простых пингвинов, не носил на голове страшного гребня чудовища и не пользовался неограниченной властью. Он сам был подчинен законам своей страны. Ему не был присвоен королевский сан. При его имени не ставилось порядковое числительное. Он звался либо Патур-

лий, либо Жанвион, Труфальдин, Коканпо, Бредуй и т. п. Такие правители не вели войн. У них не было для этого подходящих одеяний.

При новом строе государство получило название республики, что означает «Общественное дело». Сторонники ее получили наименование республиканистов или республиканцев. Их называли также республикашками, а то и сволочью,— последнее, впрочем, считалось слишком грубым.

Пингвинская демократия не была независима,— она повиновалась финансовой олигархии, которая создавала общественное мнение при помощи газет и держала в своих руках депутатов, министров и президента. Она бесконтрольно распоряжалась финансами республики и направляла внешнюю политику страны.

Каждая империя, каждое королевство содержали тогда огромную армию и флот; вынужденная ради своей безопасности подражать им в этом, Пингвиния изнемогала под тяжестью военных расходов. Все сетовали, искренне или притворно, на столь суровую необходимость; однако богатые люди, торговцы и дельцы, охотно подчинялись ей — из патриотизма, а также в расчете на то, что солдаты и моряки защитят их собственность и приобретут для них за пределами страны новые рынки и территории; крупные промышленники стояли за производство пушек и кораблей, движимые рьяным желанием защищать государство и получать все новые заказы. Из граждан среднего достатка и людей свободных профессий одни безропотно подчинялись такому порядку вещей, считая его незыблемым, другие с нетерпением ждали его прекращения и надеялись добиться от правительств одновременного всеобщего разоружения.

К последним принадлежал и знаменитый профессор Обнюбиль.

— Война — варварство, которое исчезнет с развитием цивилизации,— говорил он.— Великие демократические государства миролюбивы, и с этим духом скоро вынуждены будут считаться даже самодержавные правители.

Профессор Обнюбиль после шестидесяти лет уединенной и замкнутой жизни у себя в лаборатории, куда не проникал извне никакой шум, решил самолично познакомиться с духом народов. Выбрав для начала своих изысканий самое обширное из демократических государств, он поплыл в Новую Атлантиду.

После двухнедельного плавания пакетбот его вошел ночью в залив Титанпорта, где стояли на якоре тысячи кораблей. Же-

лезный мост, переброшенный над водою, весь залитый огнями, соединял две набережные, до такой степени удаленные одна от другой, что профессору Обнюбилю показалось, будто он плавает по морям Сатурна и видит перед собою чудесное кольцо, опоясывающее планету Старца. По этому огромному мосту переправлялось более четверти всех богатств мира. Сойдя на берег, ученый пингвин остановился в сорокавосьмиэтажном отеле, где его обслуживали автоматы; затем по большой железнодорожной магистрали он отправился в Гигантополис, столицу Новой Атлантиды. В поезде были рестораны, игорные залы, стадионы, телеграфное бюро для торговых и финансовых телеграмм, евангелическая часовня и типография большой газеты, которую ученый доктор не мог читать, не зная языка Новой Атлантиды. Проходя вдоль больших рек, поезд встречал на своем пути промышленные города, затемнявшие небо дымом своих труб,— города, черные днем, города, красные ночью, полные рокота при свете солнца и полные рокота в ночной тьме.

«Вот народ, слишком занятый промышленностью и торговлей, чтобы вести войны,— думал ученый.— Теперь-то я уже уверен, что новые атланты следуют миролюбивой политике. Ибо аксиома, принятая всеми экономистами, гласит, что мир с другими государствами и мир внутри государства необходимы для развития торговли и промышленности».

Осматривая Гигантополис, он утвердился в этой мысли. Люди мчались по улицам с такою быстротой, что опрокидывали все на своем пути. Обнюбиль, неоднократно сбитый с ног, извлек из этого пользу, поняв, как себя вести: к концу часовой прогулки он сам сшиб какого-то атланта.

Выйдя на большую площадь, он очутился перед портиком дворца в классическом стиле, возносившего свои коринфские колонны с большими акантовыми капителями на семьдесят метров от пьедестала.

Когда он стоял в восхищении, запрокинув голову, к нему подошел какой-то скромный с виду человек и заговорил с ним по-пингвински:

— Вижу по вашей одежде, что вы из Пингвинии. Я владею вашим языком: я присяжный переводчик. Перед вами — дворец парламента. В данный момент идут прения. Не угодно ли послушать?

Заняв место на трибуне, доктор устремил взор на множество законодателей, сидящих в плетеных креслах, положив ноги на пюпитры.

Встал председатель и невнятно начал бормотать, посреди всеобщего невнимания, тексты постановлений, которые тотчас же переводил ученому его спутник:

— Ввиду благоприятного для Штатов окончания войны за монгольские рынки предлагаю представить список военных расходов в финансовую комиссию...

Кто против?

Предложение принято.

Ввиду благоприятного для Штатов окончания войны за рынки в Третьей Зеландии предлагаю представить список военных расходов в финансовую комиссию...

Кто против?

Предложение принято.

— Не ослышался ли я? — спросил доктор Обнюбиль.— Как! Вы, вы, промышленный народ, ввязались во все эти войны?!

— Конечно,— отвечал переводчик.— Ведь это промышленные войны. Народы, не имеющие развитой торговли и промышленности, не нуждаются в войнах; но деловой народ вынужден вести завоевательную политику. Число наших войн неизбежно возрастает вместе с нашей производственной деятельностью. Как только та или иная отрасль нашей промышленности не находит сбыта для своей продукции, возникает надобность в войне, чтобы получить для него новые возможности. Вот почему в этом году у нас была угольная война, медная война, хлопчатобумажная война. В Третьей Зеландии мы перебили две трети жителей, чтобы принудить остальных покупать у нас зонтики и подтяжки.

В это время какой-то толстяк, восседавший в центре собрания, поднялся на трибуну.

— Я требую,— сказал он,— объявления войны правительству Изумрудной республики, которая на всех рынках мира нагло оспаривает у наших свиней гегемонию на окорока и колбасы.

— Кто такой этот законодатель? — спросил доктор Обнюбиль.

— Это свиноторговец.

— Возражений нет? — спросил председатель.— Ставлю на голосование.

Предложение объявить войну Изумрудной республике было проголосовано поднятием рук и принято весьма значительным большинством.

— Как! — сказал переводчику Обнюбиль.— Вы приняли постановление о войне с такой поспешностью и безразличием?

— О, это война небольшая; она обойдется всего-навсего в каких-нибудь восемь миллионов долларов.

— А люди?..

— Цена людей входит в эти восемь миллионов.

Тут доктор Обнюбиль, сжав голову руками, с горечью подумал:

«Если богатство и цивилизация несут с собою столько же поводов к войнам, как бедность и варварство, если безумие и злоба человеческие неизлечимы, то остается сделать только одно доброе дело. Мудрец должен запастись динамитом, чтобы взорвать эту планету. Когда она разлетится на куски в пространстве, мир неприметно улучшится и удовлетворена будет мировая совесть, каковая, впрочем, не существует».

ГЛАВА I

Преподобные отцы Агарик и Корнемюз

Всякий государственный строй порождает недовольных. Республика (или Общественное дело) создала их прежде всего среди дворянства, лишенного старинных привилегий и теперь с тоской и надеждой обращавшего взоры на последнего из Драконидов, принца Крюшо, который привлекал к себе сердца юношескою красотой и печальной участью изгнанника. Республика вызвала недовольство и среди мелких торговцев, которые по целому ряду глубоких экономических причин лишились прежнего достатка и ставили это в вину республике, с каждым днем все больше отчуждаясь от нее и забывая былое преклонение перед нею.

Финансисты, как евреи, так и христиане, из-за своей наглости и жадности становились бичом страны, которую они грабили и унижали, и позором для государственного строя, который они не собирались ни свергать, ни поддерживать, уверенные, что могут беспрепятственно действовать при любом правлении. Однако больше всего они желали бы установления самой неограниченной власти, как лучше всего вооруженной против социалистов — их худосочных, но пылких противников. И как они подражали аристократам в образе жизни, так подражали им и в политических и религиозных симпатиях. Особенно жены их, пустые и легкомысленные, любили принца, мечтая быть допущенными ко двору.

Между тем у республики все же оставались сторонники и защитники. Если она не могла положиться на верность своих чиновников, то могла рассчитывать на преданность простых рабочих, которые, хотя и не получили от нее облегчения своей уча-

сти, но, выступая на ее защиту в дни опасности, валили толпами из каменоломен и эргастул и шли медленно, изможденные, черные, мрачные. Они все готовы были умереть за нее: она подарила им надежду.

Так вот, в правление Теодора Формоза жил в тихом предместье города Альки один монах по имени Агари́к, занимавшийся обучением детей и устройством браков. В своей школе он преподавал основы благочестия, фехтования и верховой езды юным отпрыскам старинных и знатных семейств, утративших как привилегии свои, так и богатство. А когда ученики подрастали, он женил их на молодых девицах из богатой и презираемой касты финансистов.

Высокий, тощий, черный, Агарик все время расхаживал с молитвенником в руке по школьным коридорам и по дорожкам огорода, погруженный в размышления и озабоченный. Он не ограничивал своей деятельности тем, что вдалбливал ученикам начала темных доктрин и механические правила, а затем обеспечивал их богатыми законными супругами. У него были политические замыслы, он стремился осуществить грандиозный план. Заветной мечтой, делом жизни было для него свалить республику. Одушевлял его при этом не личный интерес. Он считал, что демократическое правление враждебно святому сообществу, к которому он принадлежал телом и душою. И все братья его монахи держались того же мнения. Республика непрерывно враждовала с монашеской конгрегацией и собранием верующих. Конечно, свержение нового режима — предприятие трудное и опасное. Однако Агарику удалось организовать заговор, угрожавший республике. В ту пору монахи руководили высшими кастами пингвинов, и этот инок оказывал глубокое влияние на аристократию Альки.

Воспитанная им молодежь только и ждала случая выступить против народной власти. Потомки старинных родов не занимались искусствами и ремеслами. Почти все они были военными и служили республике. Служили ей, но не любили ее: с тоской вспоминали они о гребне дракона. И красивые еврейки разделяли их тоску, чтобы сойти за родовитых христианок.

Однажды, июльским днем, проходя по улице предместья, ведущей в пыльные поля, Агарик услыхал какие-то жалобные стоны, доносившиеся из замшелого колодца, уже заброшенного садовниками. И он тут же узнал от тамошнего сапожника, что какой-то плохо одетый человек крикнул: «Да здравствует республика»,— а за это проезжие кавалерийские офицеры бросили его в колодец, где он теперь с головою ушел в ил. Агарик лю-

бил обобщать частные случаи. Из потопления этого республикашки он умозаключил, сколь сильно возросло брожение всей аристократической и военной касты, и решил, что настало время действовать.

На следующее утро он пошел в самую чащу Конильского леса навестить добрейшего отца Корнемюза. Он застал монаха в уголке его лаборатории за перегонкою золотистого ликера.

Это был толстенький, низенький человечек с румяными щечками и гладко отполированной лысиной. Глаза у него были рубиново-красные, как у морских свинок. Он любезно встретил посетителя и предложил ему стаканчик ликера св. Орброзы, который он делал на продажу, что доставляло ему огромные богатства.

Агарик движением руки отказался. Все еще стоя и прижимая к животу свою унылого вида шляпу, он продолжал хранить молчание.

— Сделайте одолжение, присядьте,— сказал Корнемюз.

Агарик сел на колченогую табуретку и продолжал молчать.

Тогда конильский монах обратился к нему со словами:

— Расскажите мне, пожалуйста, о своих юных учениках. Придерживаются ли детки благонамеренного образа мыслей?

— Я очень ими доволен,— отвечал учитель.— Самое главное в воспитании — это основы. Надо придерживаться благонамеренного образа мыслей еще прежде, чем начать мыслить. Ибо потом уже слишком поздно... Вокруг себя я вижу немало утешительного. Но живем мы в печальное время.

— Увы! — вздохнул Корнемюз.

— Мы переживаем тяжкие дни.

— Годину испытаний.

— И все-таки, Корнемюз, общественный дух не так уж безнадежно плох, как кажется.

— Возможно.

— Народу надоело правительство, которое его разоряет и ничего для него не делает. Каждый день разражаются шумные скандалы. Республика погрязла в позоре. Она погибла.

— Да услышит вас бог!

— Скажите, Корнемюз, какого мнения вы о принце Крюшо?

— Это милый молодой человек и, смею утверждать, достойный отпрыск монаршего рода. Жаль, что в столь нежном возрасте ему приходится претерпевать горечь изгнания! Изгнаннику весна не дарит цветов, осень не дарит плодов. Принц

Крюшо весьма благонамерен; он уважает священнослужителей; соблюдает обряды нашей религии; употребляет в большом количестве продукт моего скромного производства.

— Во многих домах, богатых и бедных, ждут не дождутся его возвращения, Корнемюз. Верьте мне, он вернется.

— Только бы мне дожить до того дня, когда я постелю свою монашескую мантию ему под ноги! — со вздохом сказал Корнемюз.

Видя, каковы его чувства, Агарик обрисовал ему состояние умов, опираясь на собственные представления. Он рассказал, что дворяне и богатые люди до крайности раздражены против народной власти, что армия не желает сносить новые обиды, что чиновники готовы на предательство, что народ недоволен, что уже слышится гул близкого восстания и что всех ненавистников монашества, всех пособников власти сбрасывают на Альке в колодцы. В заключение он объявил, что наступил момент для решительного удара.

— Мы можем спасти пингвинский народ,— воскликнул он,— можем освободить его от тиранов, от самого себя, восстановить гребень Дракона, возродить доброе старое правление во славу веры нашей и к вящему величию церкви. Мы можем совершить все это, если захотим. У нас огромные богатства, мы пользуемся тайным влиянием: через наши газеты, зовущие в крестовый поход и грозящие врагам, мы связаны со всем духовенством городов и селений; мы вдохнем в него наполняющий нас энтузиазм, пламенеющую в нас веру. А от них воспламенятся сердца и у паствы. Я могу опереться на высших руководителей армии; у меня есть связи в народе; я руковожу, незаметно для них самих, продавцами зонтов, виноторговцами, приказчиками галантерейных лавок, уличными газетчиками, жрицами любви, полицейскими. Людей у нас больше, чем требуется. Чего же мы ждем? Пора действовать!

— А что вы намерены предпринять? — спросил Корнемюз.

— Широко развернуть заговор, свергнуть республику, восстановить Крюшо на троне Драконидов.

Корнемюз несколько раз провел языком по губам. Потом промолвил елейным голосом:

— Реставрация Драконидов, разумеется, желательна, чрезвычайно желательна; и я, со своей стороны, желаю ее всем сердцем. Но вот насчет республики... Вы знаете, как я на нее смотрю... Только не лучше ли предоставить ее своей участи и дать ей погибнуть от собственных пороков? Конечно, то, что вы предлагаете, дорогой мой Агарик, благородно и великодушно.

Было бы так прекрасно спасти эту великую и несчастную страну, восстановить ее былую славу. Но помните: мы ведь прежде всего христиане, а потом уже пингвины. Нам надлежит проявлять осмотрительность, не впутывая религию в политическую борьбу.

— Не бойтесь,— поспешно ответил Агарик,— у нас в руках будут все нити заговора, но мы сами останемся в тени. Мы будем совсем незаметны.

— Как мухи в молоке,— пробормотал себе под нос конильский монах.

И, обратив на приятеля лукавые рубиновые глаза, сказал:

— Будьте осторожны, друг мой. Республика, быть может, сильнее, чем кажется. Возможно также, что мы еще укрепим ее, если выведем из состояния вялого покоя, в которое она сейчас погружена. Она очень коварна,— если мы нападем, она будет защищаться. Сейчас она издает дурные законы, которые нас нисколько не затрагивают. А испугавшись, начнет издавать грозные законы против нас. Не будем легкомысленно вовлекаться в авантюру, а то как бы нас не потрепали. По-вашему, обстоятельства нам благоприятствуют? Я — другого мнения, и сейчас скажу почему. Что такое нынешний режим, знают еще не все,— вернее, не знает никто. Он объявляет себя «Общественным делом», «Общим делом». Простонародье этому верит и до поры до времени привержено демократии, республике. Но подождите! Тот же самый народ в один прекрасный день потребует, чтобы Общественное дело стало действительно народным делом. Излишне говорить, до какой степени подобные требования представляются мне наглыми, разнузданными, враждебными политике, основанной на Священном писании. Но народ их выдвинет, будет добиваться их осуществления,— и тогда конец нынешнему режиму. Такой момент не замедлит наступить. Вот тогда-то нам и нужно действовать в интересах нашей высокой корпорации. Подождем! Зачем спешить? Нашему существованию ничто не угрожает. Его нельзя считать невыносимым. Республика не оказывает нам уважения и покорности. Она не воздает священникам должного почета. Но все же она дает нам жить. И таково превосходное свойство нашего сана, что жить — для нас значит процветать. Общественное дело нам враждебно, но женщины чтят нас. Президент Формоз не бывает в церкви, но жена его и дочери склонялись к моим ногам. Они закупают мои бутылки оптом. У меня нет лучших покупательниц даже среди аристократии. Признáемся откровенно: для священников и монахов не сравнится с Пингвинией ни одна страна в мире.

Где еще нашли бы мы возможность сбывать в таком количестве и по таким высоким ценам наш нетопленый воск, наш индийский ладан, наши четки, наши нарамники, нашу святую воду и наш ликер святой Орброзы? Какой еще другой народ, кроме пингвинов, платил бы сотню золотых за один взмах нашей руки, за один звук нашего голоса, за одно движение уст наших? Что касается, например, меня, то здесь, в этой кроткой, преданной и послушной Пингвинии, я на извлечении эссенции из пучка богородичной травки зарабатываю в тысячу раз больше, чем заработал бы тем, что сорок лет подряд надсаживал бы себе грудь, призывая ходить к исповеди, в любом из самых населенных государств Европы и Америки. И, по правде сказать, станет ли Пингвиния счастливей от того, что полицейский комиссар вытащит меня отсюда и поведет на паровое судно, отплывающее к Полночным островам?

Сказав это, конильский монах встал и повел гостя в просторный сарай, где сотни сироток в синей одежде упаковывали бутылки, заколачивали ящики, наклеивали ярлыки. Там стоял оглушительный шум от стука молотков и доносящегося снаружи гуденья рельсов под товарными вагонами.

— Это — экспедиция,— объяснил Корнемюз.— Я добился у правительства прокладки железнодорожного пути через лес, с особой станцией у самых моих ворот. Ежедневно отправляю по три вагона с моей продукцией. Вы видите, республика не совсем истребила веру!

Агарик в последний раз попытался втянуть мудрого винокура в свое предприятие. Он стал убеждать его, что успех обеспечен — быстрый, полный, блистательный!

— И вы не хотите этому способствовать? — добавил он.— Не хотите вернуть своего короля из изгнания?

— Изгнание не тяжко для людей благонамеренных,— отвечал конильский монах.— Послушайте меня, дражайший брат Агарик,— отложите исполнение вашего замысла. А насчет себя я не питаю никаких иллюзий. Я знаю, что меня ждет. Примкну я к вам или не примкну, но, если вы проиграете, мне придется расплачиваться вместе с вами.

Отец Агарик простился со своим другом и довольный вернулся к себе в школу. «Не имея возможности помешать заговору,— думал он,— Корнемюз будет заинтересован в его успехе и даст нам денег». Агарик не ошибался. Действительно, священники и монахи были так солидарны меж собой, что в действия хотя бы одного из них волей-неволей вовлекались и все остальные. В этом было и преимущество и недостаток их положения.

ГЛАВА II

Принц Крюшо

Агарик решил незамедлительно посетить принца Крюшо, который удостаивал его своей близостью. В сумерки он вышел из школы с заднего крыльца, переодевшись скотопромышленником, и сел на пароход «Святой Маэль».

Утром он приплыл в Дельфинию. Здесь-то, в этой гостеприимной стране, в замке Читтерлингс, и вкушал Крюшо горький хлеб изгнания.

Агарик встретил его на дороге: принц в обществе двух девиц мчался на автомобиле со скоростью ста тридцати километров. Монах замахал ему красным зонтиком, и принц остановил машину.

— Это вы, Агарик? Влезайте, влезайте! Нас, правда, уже трое, но можно потесниться. Посадите одну из этих девиц себе на колени.

Благочестивый Агарик сел в автомобиль.

— Что нового, почтенный отец? — спросил молодой принц.

— Весьма важные новости! Но можно ли говорить здесь?

— Вполне. От этих двух девиц у меня нет никаких тайн.

— Ваше высочество, Пингвиния призывает вас. Не останьтесь глухи к ее призыву.

Агарик обрисовал состояние умов и изложил план грандиозного заговора.

— По первому моему слову ваши сторонники поднимутся все, как один. С крестом в руке и подоткнув одеяния, преданные вам благочестивые иноки поведут вооруженную толпу на дворец Формоза. Мы внесем смятение и смерть в ряды ваших противников. Единственной награды попросим мы, ваше высочество, за все наши труды — не дать им пропасть даром. Умоляем взойти на престол, когда мы его добудем для вас.

Принц ответил просто:

— Я въеду в Альку на зеленом коне.

Агарик оценил этот мужественный ответ. Невзирая на то, что на коленях у монаха, вопреки его привычкам, сидела девица, он в порыве высокого вдохновения стал заклинать молодого принца быть верным своему королевскому долгу.

— Ваше высочество,— воскликнул он со слезами на глазах,— настанет день, когда вы вспомните, что были избавлены от изгнания, возвращены народу, восстановлены на престоле предков рукою ваших монахов, увенчавших вас священным греб-

нем Дракона. Да сравняется в славе король Крюшо с предком своим Драко Великим!

Растроганный молодой принц рванулся к восстановителю его власти, чтобы обнять его, но еле до него дотянулся через пышные телеса двух девиц,— такая была теснота в этом историческом автомобиле.

— Почтенный отец мой,— сказал он,— я хотел бы, чтобы вся Пингвиния была свидетельницей наших объятий.

— Это было бы для нее утешительным зрелищем,— сказал Агарик.

Тем временем автомобиль ураганом проносился по деревенькам и городкам и своими ненасытными шинами давил кур, гусей, индюшек, уток, цесарок, кошек, собак, поросят, ребятишек, крестьян и крестьянок.

А благочестивый Агарик погружен был в свои великие замыслы. Подавая голос из-за спины девицы, он высказал такую мысль:

— Понадобятся деньги, много денег.

— Это ваше дело,— ответил принц.

Но перед беспощадным автомобилем уже открывались решетчатые ворота парка.

Обед был великолепен. Пили за гребень Дракона. Общеизвестно, что кубок с крышкой — знак державной власти. Поэтому принц Крюшо и супруга его, принцесса Гудруна, пили из кубков, закрывающихся наподобие дароносиц. Принц неоднократно приказывал наполнять свой кубок красными и белыми винами Пингвинии.

Крюшо получил воспитание поистине королевское: он не только превосходно управлял автомобилем, но неплохо разбирался и в истории. Он слыл большим знатоком древности и деяний своих предков; и в самом деле, за десертом он дал блестящее доказательство глубоких познаний в этой области. Когда зашла речь о разных странных особенностях, присущих знаменитым женщинам, он сказал:

— С несомненностью установлено, что у королевы Крюши, в честь которой дано мне имя, под самым пупком была как бы обезьянья головка.

Вечером состоялась чрезвычайно важная беседа Агарика с тремя старыми советниками принца. Решено было просить средств у тестя Крюшо, которому очень хотелось бы иметь зятем короля, затем — у нескольких еврейских дам, жаждущих войти в дворянские круги, и, наконец, у принца-регента Дельфинии, который обещал Драконидам содействие, в расчете, что восста-

новление принца Крюшо ослабит пингвинов, исконных врагов дельфинского народа.

Трое старых советников поделили между собой три высших придворных должности — первого камергера, сенешала и стольника, предоставив монаху раздавать другие чины в соответствии с высшими интересами принца.

— Надо будет наградить кое-кого за преданность,— заметили трое старых советников.

— И за предательство,— добавил Агарик.

— Совершенно справедливо,— подтвердил один из советников, маркиз де Сепле, знавший по собственному опыту, что́ происходит во время революций.

Открылся бал. После танцев принцесса Гудруна разорвала свое зеленое платье на кокарды; она собственноручно пришила лоскуток к груди монаха, пролившего при этом слезы умиления и благодарности.

Господин де Плюм, конюший принца, в тот же вечер отправился на поиски зеленого коня.

ГЛАВА III

Тайное сборище

Возвратясь в столицу Пингвинии, преподобный отец Агарик открыл свои замыслы князю Адельстану де Босено, зная о его приверженности Драконидам.

Князь принадлежал к самому высшему дворянству. Тортиколи де Босено происходили от Бриана Благочестивого и занимали при Драконидах первые посты в королевстве. В 1179 году Филипп Тортиколь, великий эмирал Пингвинии, человек храбрый, верный, великодушный, но мстительный, без боя сдал врагам королевства порт Ла Крик и весь пингвинский флот, заподозрив королеву Крюшу, любовником которой он был, в том, что она изменяет ему с одним конюхом. Именно эта великая королева пожаловала семью Босено серебряной постельной грелкой, каковая изображена на их родовом гербе. Что же касается девиза на гербе, то он восходит лишь к XVI веку. Здесь следует рассказать о его происхождении.

Однажды ночью, во время дворцового праздника, среди тесной толпы придворных, собравшихся в королевском саду смотреть фейерверк, герцог Жан де Босено протиснулся к герцогине Скаллской и запустил руку этой даме под юбку, без какого-либо протеста с ее стороны. Король, проходя мимо и увидев это, огра-

ничился тем, что произнес: «И такое бывает!» Эти три слова стали девизом на гербе Босено.

Князь Адельстан не посрамил имени своих предков; он хранил неизменную преданность роду Драконидов и ничего больше не желал на свете, как восстановления принца Крюшо на престоле — верного знака, что будет восстановлено и его собственное, весьма пострадавшее, благосостояние. Вот почему он отнесся к намерениям преподобного отца Агарика вполне сочувственно. Он немедленно вошел в соглашение с монахом и охотно помог ему установить связи с самыми пламенными и надежными роялистами среди своих друзей — с графом Клена́, г-ном де ла Трюмелем, виконтом Оливом, г-ном Бигуром. Однажды ночью они собрались в загородном доме герцога Ампульского, в двух милях к востоку от Альки, чтобы обсудить план действий.

Господин де ла Трюмель высказался за легальную деятельность. Вот к чему сводилась его речь:

— Мы не должны нарушать закон. Мы — люди порядка. Осуществления своих надежд мы будем добиваться лишь неустанной пропагандой. Надо, чтобы в стране изменилось настроение умов. Наше дело восторжествует благодаря своей правоте.

Князь Босено держался противоположной точки зрения. По его мысли, всякое справедливое дело, чтобы восторжествовать, нуждается в силе не меньше, а даже больше, чем дело несправедливое.

— При нынешнем положении,— спокойно рассуждал он,— следует действовать трояким способом: завербовать на свою сторону молодцов из мясных лавок, подкупить министров и захватить президента Формоза.

— Захватить президента было бы ошибкой,— возразил г-н де ла Трюмель.— Он наш единомышленник.

То обстоятельство, что один из дракофилов мог предложить арест Формоза, а другой рассматривал последнего как единомышленника, объяснялось поведением и взглядами главы республики. Формоз покровительствовал роялистам, высоко ценя и сам перенимая их аристократические манеры. Однако если он и улыбался при упоминании о гребне Дракона, то улыбался своему замыслу водрузить этот гребень на своей голове. Он страстно стремился к самодержавной власти не потому, что чувствовал себя способным осуществлять ее, а потому, что любил красоваться. По образному выражению одного пингвинского хроникера, «это был индейский петух».

Князь Босено отстаивал свое предложение двинуться с оружием в руках на дворец Формоза и на палату депутатов.

Граф Клена проявил еще бóльшую решительность.

— Для начала,— сказал он,— перережем глотки, выпустим кишки, размозжим черепа всем республикашкам, правительственным и прочим. А дальше посмотрим.

Господин де ла Трюмель принадлежал к умеренным. Умеренные всегда умеренно противятся насилию. Он признал, что в своих политических взглядах г-н граф Клена вдохновлялся чувствами благородными и великодушными, но робко заметил, что, быть может, такой образ действий не совсем соответствует принципам и представляет некоторую опасность. А кончил тем, что предложил свои услуги для его публичного разъяснения.

— Надо бы выпустить воззвание к народу,— добавил он.— Пускай знают, чего мы хотим. За себя ручаюсь — нашего знамени не спрячу в карман!

Затем взял слово г-н Бигур.

— Господа! Пингвины недовольны новым порядком, потому что они живут при нем, а людям свойственно жаловаться на свое положение. Но вместе с тем пингвины не решаются изменить режим, ибо всякое новшество пугает. Они незнакомы с гребнем Дракона, и, если порою им случится выразить сожаление о нем, не надо им верить: очень скоро обнаружилось бы, что они говорили необдуманно и в сердцах. Не будем создавать себе иллюзий насчет их отношения к нам. Они нас не любят. Они ненавидят аристократию и из чувства низкой зависти, и из чувства возвышенной любви к равенству. А два эти чувства, соединившись в одно, представляют в народе большую силу. Общественное мнение не настроено против нас, потому что о нас ничего не знают. Но, узнав, чего мы хотим, за нами не пойдут. Если мы откроем, что намерены свергнуть демократический образ правления и опять вознести гребень Дракона, кто примкнет к нам? Молодцы из мясных лавок и мелочные торговцы Альки! Да и можно ли вполне рассчитывать даже на этих мелочных торговцев? Они, правда, недовольны режимом, но в глубине души все они республикашки. Они больше озабочены продажей своих дрянных товаров, чем возвращением Крюшо. Действуя открыто, мы всех перепугаем.

Чтобы вызвать к себе симпатию и привлечь сторонников, мы должны внушать, что вовсе не собираемся свергнуть республику, а, напротив, хотим именно восстановить ее в подлинном виде, очистить, сделать более прекрасной, пышной, нарядной, благоухающей — словом, великолепной и очаровательной. А по-

тому нам не следует действовать самим. Всем известна неприязнь наша к нынешнему государственному строю. Нужно обратиться за помощью к какому-нибудь другу республики, а еще лучше — к одному из защитников этого режима. Выбор у нас огромный. Нужно будет отдать предпочтение самому популярному — так сказать, республиканцу из республиканцев. Мы завоюем его лестью, подарками и, главное, обещаниями. Обещания обходятся дешевле подарков, а ценятся гораздо дороже. Ничем нельзя так щедро одарить, как надеждами. Нет надобности, чтобы этот человек был особенно умен. Я даже предпочел бы кого-нибудь поглупее. Дураки — неподражаемо прелестные плуты. Послушайте меня, господа,— свергните республику при помощи кого-нибудь из самих республикашек. Будем осторожны! Осторожность не исключает энергии. Если я вам понадоблюсь, скажите только,— я всегда к вашим услугам!

Эта речь произвела на слушателей сильное впечатление. Особенно потрясла она благочестивого Агарика. Но каждый обдумывал главным образом, как бы заполучить побольше почестей и выгод. Было назначено тайное правительство, действительными членами которого стали все присутствующие. Герцог Ампульский, финансовое светило заговорщиков, был уполномочен производить денежные сборы, ему же было поручено распоряжение средствами, выделенными на пропаганду.

Совещание подходило уже к концу, как вдруг снаружи раздался чей-то простонародный голос, затянувший на старинный мотив:

Ваш Босено — свинья большая.
Колбасы будут из него,
Да и ветчинка неплохая
Для бедняков на рождество.

Это была известная песенка, уже лет двести распеваемая по всем предместьям Альки. Князь Босено не любил, когда ее пели. Он вышел на площадь и, увидев, что поет рабочий, перекрывающий шифером конек церковной кровли, вежливо попросил его петь что-нибудь другое.

— Что хочу, то и пою,— отвечал ему кровельщик.

— Друг мой, окажите любезность....

— Чего ради оказывать вам любезность!

Князь Босено был по натуре миролюбив, однако вспыльчив и отличался необычайной силой.

— Негодяй, сходи с крыши, не то я сам взлезу к тебе! — грозно закричал он.

Но так как кровельщик, сидя верхом на крыше, и бровью не повел, то князь быстро взобрался по винтовой лестнице башни, бросился на певца и нанес ему такой удар кулаком в челюсть, что тот скатился в водосточный желоб. А в это время семь-восемь плотников, работавших на чердаке, выглянули в слуховые оконца на крики своего товарища и, увидев князя на крыше, взбежали к нему по переносной лестнице, что лежала тут же, на шифере, настигли его, когда он уже собирался юркнуть в башню, и заставили стремглав пересчитать все сто тридцать семь ступенек башенной лестницы.

ГЛАВА IV

Виконтесса Олив

У пингвинов была первая армия в мире. У дельфинов тоже. Не иначе обстояло дело и у других народов Европы. Если поразмыслить, в этом нет ничего удивительного. Ведь все армии — первые в мире. Вторая армия в мире, если только предположить возможность таковой, оказалась бы в чрезвычайно невыгодной ситуации,— она была бы уверена в своем поражении. Пришлось бы немедленно ее расформировать. А потому все армии — первые в мире. Во Франции это понял знаменитый полковник Маршан; на вопросы корреспондентов, в связи с предстоявшей битвой при Ялу, о русско-японских военных действиях он без малейшего колебания назвал первою в мире и русскую армию и японскую. Примечательно, что какие бы страшные поражения ни потерпела армия, она не перестает быть первой в мире. Ибо если народы приписывают свои победы искусству своих генералов и храбрости солдат, то поражения они всегда приписывают какой-нибудь непостижимой роковой случайности. Напротив, флот того или иного народа занимает то или иное место в зависимости от количества морских судов. Есть флот первый в мире, есть второй, третий и т. д. Поэтому исход морских сражений всегда можно ясно предвидеть.

У пингвинов были первая армия и второй флот в мире. Этим флотом командовал славный Шатийон, носивший титул эмирал-ахра, или — сокращенно — эмирала. Это слово — к сожалению, в искаженном виде — существует и поныне у многих европейских народов, обозначая высший чин в морских вооруженных силах. Но так как у пингвинов был только один эмирал, то чин этот пользовался у них, смею сказать, совершенно особым почетом.

Эмирал не принадлежал к дворянскому сословию; он был дитя народа, и народ любил его; народу льстило, что выходец из его недр осыпан почестями. Шатийон был хорош собой, удачлив, ни о чем не размышлял. Ничто не смущало прозрачной ясности его взора.

Преподобный отец Агарик, вняв доводам г-на Бигура, признал, что свергнуть нынешний режим можно только при помощи одного из его защитников, и обратил свой взгляд на эмирала Шатийона. Он отправился к другу своему — преподобному отцу Корнемюзу — просить солидную сумму; тот дал, хотя и со вздохом. На эти деньги отец Агарик нанял шестьсот молодцов из алькских мясных, чтобы они бежали за лошадью Шатийона с криком: «Да здравствует эмирал!»

С тех пор Шатийон шагу не мог ступить, чтобы вокруг него не раздавались восторженные клики.

Виконтесса Олив попросила эмирала о беседе с глазу на глаз. Он принял ее в Адмиралтействе [1], в зале, украшенном якорями, молниями и гранатами.

Она была в скромном платье стального цвета. Шляпка, украшенная розами, прелестно сидела на ее хорошенькой белокурой головке. Глаза сквозь вуалетку сверкали, как сапфиры. Во всем дворянском обществе не было женщины изящнее, чем эта, вышедшая из еврейской финансовой буржуазии. Она была высокая, стройная; фигура у нее соответствовала моде текущего года, талия — последнего сезона.

— Я не в силах скрыть свое волнение, эмирал...— пролепетала она нежным голоском.— Вполне естественно... перед лицом такого героя...

— Вы слишком любезны. Соблаговолите объяснить, виконтесса, чему я обязан честью вашего визита.

— Я давно уже хотела повидаться, поговорить с вами... и поэтому с такой радостью приняла поручение к вам.

— Покорно прошу садиться.

— Какая у вас тишина!

— Действительно, не шумно.

— Слышно, как птицы поют.

— Но садитесь же, сударыня.

И он пододвинул ей кресло.

Она села на стул, спиной к свету.

— Эмирал,— сказала она,— я пришла к вам с очень важным поручением, очень, очень важным...

---

[1] Или, правильнее сказать, Эмиралтействе.

— Я вас слушаю.

— Вы видели когда-нибудь принца Крюшо, эмирал?

— Никогда.

Она вздохнула.

— Очень, очень жаль. А он был бы так счастлив с вами повидаться. Он вас ценит и глубоко уважает. Ваш портрет стоит у него на письменном столе, рядом с портретом принцессы — его матери. Как прискорбно, что принца у нас не знают. Он такой обаятельный молодой человек и умеет быть таким благодарным! Это будет великий король. Да, да, он будет королем, без всякого сомнения. Он вернется на престол, и даже раньше, чем думают... И должна вам сказать, что мне поручено именно в связи с этим...

Эмирал встал.

— Ни слова более, сударыня. Я пользуюсь уважением и доверием республики. Я не изменю ей. Да и зачем изменять! Я и так осыпан почестями и высокими званиями.

— Но все эти почести и высокие звания далеко не соответствуют вашим заслугам,— уж позвольте мне быть откровенной, дорогой эмирал! Чтобы вознаградить вас за такую службу, следовало дать вам звание эмиралиссимуса и генералиссимуса, назначить вас главнокомандующим всех сухопутных и морских сил. Нет, республика проявляет по отношению к вам черную неблагодарность.

— Все правительства в той или иной степени неблагодарны.

— Да, но республикашки завидуют вам. Такие людишки боятся всякого, кто выше их. Они терпеть не могут военных. Все, что относится к армии и флоту, им ненавистно. Они боятся вас.

— Очень может быть.

— Это негодяи. Они губят страну. Неужели вы не хотите спасти Пингвинию?

— Каким образом?

— Надо разогнать всех этих мошенников, греющих руки на Общественном деле, всех этих республикашек.

— Что это вы предлагаете мне, сударыня?

— Совершить то, что все равно неизбежно. Не вы сделаете — так кто-нибудь другой. Да вот наш генералиссимус: он готов хоть сейчас побросать в море всех министров, депутатов, сенаторов и вернуть принца Крюшо.

— Ах, подлец! Ах, мерзавец! — воскликнул эмирал.

— Вот видите, что́ он против вас задумал! Так обратите же его замыслы против него самого. Принц не останется перед вами в долгу. Он пожалует вас шпагой коннетабля и щедрой денеж-

ной наградой. А пока мне поручено передать вам этот знак монаршей милости.

Тут она вынула из-за корсажа зеленую кокарду.

— Что это такое? — спросил эмирал.

— Крюшо посылает вам свои цвета!

— Извольте убрать это, сударыня!

— Хотите, чтобы их передали генералиссимусу? Уж он-то не откажется! Нет, дорогой эмирал! Позвольте прикрепить их к вашей доблестной груди.

Шатийон мягко отстранил молодую женщину. Но уже раньше, за несколько минут до того, она показалась ему восхитительной, и это впечатление еще усилилось, когда она, протянув к нему свои тонкие руки, коснулась его груди розовыми пальчиками. Он почти тотчас сдался. Виконтесса долго завязывала ленту. Затем, склонившись перед ним в глубоком реверансе, поздравила его со званием коннетабля.

— Не скрою, я был честолюбив, как и мои товарищи; может быть, честолюбив и теперь,— признался моряк.— Но, честное слово, при виде вас я мечтаю только об одном — о какой-нибудь хижине и о любящем сердце!

Из-под полуопущенных век она устремила на него чарующие лучи своих сапфировых глаз.

— И это тоже возможно... Что вы делаете, эмирал?!

— Я ищу сердце.

Покинув Адмиралтейство, виконтесса немедленно отправилась к преподобному отцу Агарику с отчетом о своем визите.

— Вам надлежит, сударыня, совершать такие посещения неоднократно,— сказал ей суровый монах.

ГЛАВА V

Князь де Босено

Все газеты, оплачиваемые дракофилами, в своих утренних и вечерних выпусках восхваляли Шатийона и забрасывали грязью республиканских министров.

На алькских бульварах уличные торговцы громко предлагали портрет Шатийона. Юные потомки Рема, расхаживавшие по городу с грузом гипсовых фигур на голове, продавали возле мостов бюсты Шатийона.

Шатийон каждый вечер совершал на своем белом коне прогулку по Лугу Королевы, где бывает самое великосветское общество. Дракофилы расставляли вдоль пути эмирала целые ряды

пингвинских бедняков, чтобы они пели: «Шатийона мы хотим!» Благодаря этому буржуазия Альки испытывала глубокое восхищение перед эмиралом. Жены коммерсантов шептали: «Как он хорош». Элегантные женщины, замедлив ход своих автомобилей, посылали ему воздушные поцелуи, а толпа бесновалась, восторженно крича «ура!».

Однажды, когда Шатийон входил в табачную лавку, два пингвина, опускавшие письма в почтовый ящик, узнали его и заорали во все горло: «Да здравствует эмирал! Долой республикашек!» У лавки собрались прохожие. Шатийон закурил сигару, окруженный густою толпой исступленных граждан, которые махали шляпами и испускали приветственные клики. Толпа росла, и вскоре весь город, шагая за своим героем, проводил его с пением гимнов до самого здания Адмиралтейства.

У эмирала был старый боевой товарищ, заслуженный воин — субэмирал Вольканмуль. Безупречный, как чистое золото, честный, как его шпага, Вольканмуль, кичась своей неукротимой независимостью, бывал и у сторонников Крюшо, и у министров республики, и тем и этим говоря правду в глаза. Г-н Бигур не без ехидства уверял, что правду про тех он говорил этим, а про этих — тем. И в самом деле, он не раз проявлял совершенно неуместную откровенность, что, впрочем, все снисходительно объясняли прямодушием старого солдата, чуждого всяким интригам. Он каждое утро навещал Шатийона, к которому относился с грубоватой сердечностью товарища по оружию.

— Ну вот, ты стал популярен, старина! — говорил он.— Твою морду изображают на курительных трубках и на бутылках ликера, так что все пьяницы Альки выблевывают твое имя в сточные канавы. Шатийон — герой пингвинского народа! Шатийон — оплот славы и могущества Пингвинии! Ну, кто бы это сказал! Кто бы мог подумать!

И он оглушительно хохотал. А затем, уже другим тоном, спрашивал:

— Однако шутки в сторону! Тебя нисколько не удивляет то, что происходит с тобою?

— Да нет! — отвечал Шатийон.

И честный Вольканмуль уходил, шумно хлопнув дверью.

Между тем эмирал Шатийон для свиданий с виконтессой Олив снял квартирку с окнами во двор в нижнем этаже дома № 18 по улице Иоанна Тальпы. Они виделись ежедневно. Он любил ее безумно. За время своей военно-морской жизни он знал множество женщин — краснокожих и желтокожих, черных и белых женщин, среди которых попадались и очень красивые; но до

встречи с этой он не знал, что такое женщина. Когда виконтесса Олив называла его своим другом, своим нежным другом, он чувствовал себя как на небе, и ему казалось, что звезды запутываются у него в волосах.

Она появлялась всегда с небольшим опозданием, клала свою сумочку на столик и с сосредоточенным видом произносила:

— Позвольте мне сесть у ваших ног.

И говорила с ним, как внушал ей благочестивый Агарик, и речи ее перемежались с поцелуями и вздохами. Она просила отстранить такого-то офицера, а такому-то, напротив, поручить командование, послать эскадру туда или сюда.

И в нужный момент восклицала:

— Как вы молоды, друг мой!

И он исполнял все, потому что был прост, потому что хотел носить шпагу коннетабля и получить щедрую награду, потому что был не прочь вести двойную игру, потому что им владел неясный замысел спасти Пингвинию, потому что он был влюблен.

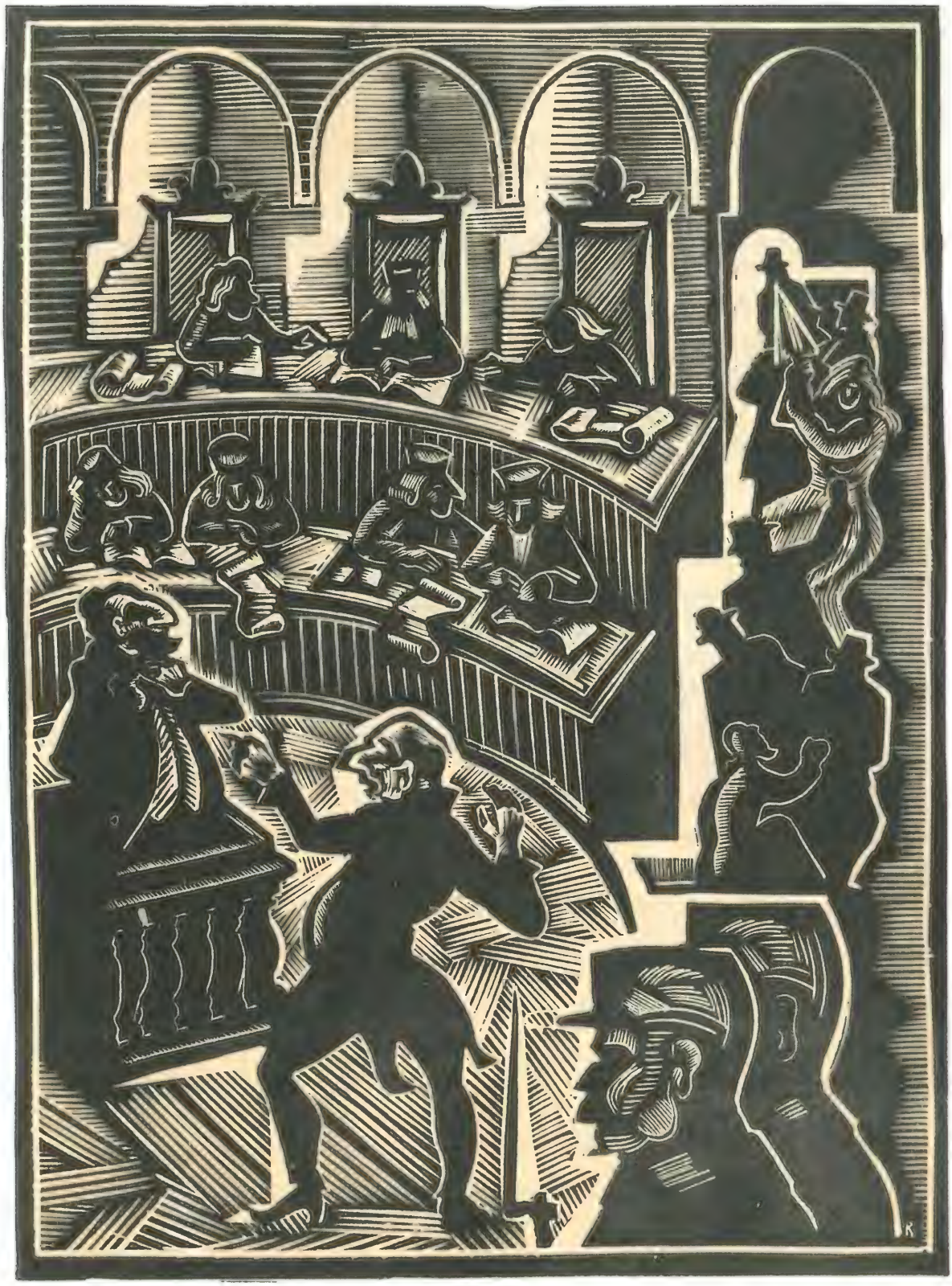
Прелестная женщина добилась того, что эмирал отозвал военные части из порта Ла Крик, где должен был высадиться Крюшо. И таким образом все было подготовлено, чтобы принц мог беспрепятственно вступить в Пингвинию.

Благочестивый Агарик устраивал публичные собрания, чтобы поддерживать брожение среди пингвинов. Дракофилы выступали каждый день на двух-трех таких собраниях в одном из тридцати шести округов Альки и преимущественно в кварталах, где жил простой народ. Нужно было привлечь на свою сторону всякий мелкий люд, составляющий большинство в стране. Так, 4 мая было устроено очень удачное собрание в старом помещении хлебной биржи, в самом центре густо населенного городского предместья, где хозяйки сидели на порогах домов и ребятишки играли в уличных канавах. Народу собралось тысячи две — по подсчету республиканцев, а по подсчету дракофилов — не меньше шести тысяч. Присутствовал цвет пингвинского общества — князь и княгиня де Босено, граф Клена, г-н де ла Трюмель, г-н Бигур и несколько богатых еврейских дам.

Генералиссимус национальной армии явился в полной военной форме. Его встретили восторженными приветствиями.

Состав президиума был тщательно продуман. Председательствовал секретарь желтых синдикатов г-н Рошен, из простых рабочих, но вполне благонадежный,— он сидел за столом президиума между графом Клена и г-ном Мишо, молодцом из мясной лавки.

В выступлениях ряда красноречивых ораторов государствен-



«Остров пингвинов»

ный строй, добровольно установленный Пингвинией, был назван выгребной ямой и клоакой. Президента Формоза не затрагивали. Ни о Крюшо, ни о духовенстве не было сказано ни слова.

После речей официальных ораторов были обещаны прения; слово попросил один из защитников нового порядка и республики, какой-то рабочий.

— Господа,— сказал председатель Рошен,— мы объявили, что будут прения. Нам-то они не нужны. Мы не такие, как наши противники: мы честные. Предоставляю слово нашему противнику. Вы сейчас бог знает что услышите! Прошу вас сдерживать, пока будете в силах, свое презрение, свое отвращение, свое негодование!

— Господа,— произнес оппонент...

И тут же был опрокинут, растоптан возмущенной толпою, и его останки, до неузнаваемости обезображенные, были выброшены вон из зала заседаний.

Шум еще не стих, когда на трибуну поднялся граф Клена. Улюлюканье сразу сменилось криками восторга; когда восстановилась тишина, оратор произнес:

— Товарищи, сейчас вы покажете, кровь или вода течет у вас в жилах. Настало время перерезать горло, выпустить кишки, вышибить мозги всем республикашкам.

Тут грянул такой гром аплодисментов, что своды старого склада дрогнули и едкая густая пыль, посыпавшаяся с грязных стен и трухлявых балок, окутала всех темною тучей.

Была принята резолюция, клеймящая позором правительство и приветствующая Шатийона. После этого участники покинули собрание с пением освободительного гимна: «Шатийона мы хотим!»

Из старой биржи был только один выход — на длинную грязную улицу, зажатую между сараями для омнибусов и складами угля. Ночь была безлунная, моросил холодный дождик. У самого начала предместья большой отряд полицейских преграждал улицу, выпуская драфилов маленькими группами. Таково было распоряжение командира, озабоченного тем, чтобы утихомирить неистовую толпу.

Драфилы, вынужденные замедлить свое шествие по улице, пели, соразмеряя шаг: «Шатийона мы хотим!» Вскоре, раздраженные непонятною задержкой, задние стали напирать на передних. Напор, передавшись по рядам вдоль всей улицы, привел к тому, что толпа навалилась на широкогрудых полицейских. Те не питали никаких враждебных чувств к драфилам; в глубине души они любили Шатийона; но когда на тебя насядут, ты,

понятное дело, станешь сопротивляться, на насилие ответишь насилием; а люди сильные склонны пользоваться своею силой. Вот почему полицейские встречали дракофилов ударами своих подкованных сапог. Толпа то наступала, то шарахалась назад. К пенью примешивались угрозы и крики.

— Убийцы! Убийцы!.. «Шатийона мы хотим!»... Убийцы! Убийцы! — раздавались возгласы.

А в глубине темной улицы более благоразумные уговаривали: «Не толкайтесь». Среди них, господствуя над взволнованной толпою благодаря своему высокому росту, расправляя над чьими-то вывихнутыми конечностями и помятыми ребрами свои широкие плечи и мощные легкие, кроткий, непоколебимый, невозмутимо спокойный, высился в темноте князь де Босено. Он снисходительно и мирно ждал. Между тем полицейская застава понемногу, через правильные промежутки, пропускала публику, и вокруг князя уже не так сильно толпились и давили друг друга локтями в грудь; дышать стало свободнее.

— Видите, в конце концов все выйдем отсюда,— с мягкой улыбкой сказал этот добрый великан.— Только чуточку терпения...

Достав портсигар, он вынул сигару и, держа ее во рту, чиркнул спичкой. И вдруг при свете огонька он увидел, что жена его, княгиня Анна, томно прильнув к графу Клена, покоится в его объятиях. Он стремительно бросился на них и стал осыпать их ударами трости — их и заодно всех окружающих. Его обезоружили, хотя и не без труда. Но оторвать его от противника было невозможно. И пока потерявшую сознание княгиню передавали из рук в руки над головами возбужденной и любопытной толпы, чтобы усадить в карету, князь и граф дрались так, что клочья летели. Князь де Босено в драке потерял шляпу, монокль, сигару, галстук, потерял бумажник, набитый частными письмами и политической перепиской; потерял даже чудотворные образки, полученные от добрейшего отца Корнемюза. Зато он нанес своему противнику такой чудовищный удар в живот, что несчастный перелетел через чугунную ограду, прошиб головой стеклянную дверь и очутился в помещении угольного склада.

Привлеченные шумом борьбы и возгласами окружающих, полицейские бросились на князя, который оказал им яростное сопротивление. Троих, совсем задыхающихся, он поверг к своим ногам, а семерых обратил в бегство, предварительно раздробив им челюсти, раскроив губы, расквасив носы,— так что алая кровь текла ручьями,— проломив черепа, оторвав уши, вывихнув ключицы, сокрушив ребра. Все же его одолели и, окровав-

ленного, изуродованного, в лохмотьях, оставшихся от костюма, уволокли в ближайший полицейский участок, где он и провел всю ночь, бесчинствуя и рыча.

До самого утра шатались по улицам группы манифестантов, распевая «Шатийона мы хотим!» и вышибая стекла в домах, где жили министры Общественного дела.

ГЛАВА VI

Падение эмирала

Эта ночь была апогеем дракофильского движения. Теперь монархисты уже не сомневались в полном успехе. Их главари посылали по беспроволочному телеграфу поздравления принцу Крюшо. Дамы вышивали для него перевязи и ночные туфли. Г-н де Плюм разыскал зеленого коня.

Благочестивый Агарик разделял общие надежды. Все же он продолжал вербовать новых сторонников для претендента на престол.

— Нужно проникнуть в самую гущу населения,— говорил он.

С этой целью он вступил в переговоры с тремя рабочими профессиональными союзами.

В то время люди физического труда уже не были разбиты на цеховые организации, как это было при последних Драконидах. Они стали свободны, но не имели обеспеченного заработка. В течение долгого времени они оставались совершенно разобщенными, без всякой помощи и поддержки, но потом образовали профессиональные союзы. Кассы у этих союзов были пусты, так как никто не имел привычки платить членские взносы. В некоторых профессиональных союзах состояло до тридцати тысяч членов, в других — тысяча, пятьсот, двести. Многие насчитывали всего двух-трех членов, а иные и того меньше. Но так как списки членов не публиковались, то было нелегко отличить большие профессиональные союзы от маленьких.

После весьма сложной и таинственной подготовки благочестивому Агарику устроили в зале «Мельницы деньжат» свидание с товарищами Дагобером, Троном и Балафием, секретарями трех профессиональных союзов, из коих один насчитывал четырнадцать членов, другой — двадцать четыре, а третий — одного. Агарик повел переговоры с чрезвычайной ловкостью.

— Господа,— сказал он,— во многих отношениях мы с вами придерживаемся разных политических и социальных взглядов,

но по некоторым вопросам мы можем прийти к согласию. У нас — общий враг. Правительство эксплуатирует вас и глумится над вами. Помогите нам свергнуть его; для этого мы предоставим вам все средства, какими только располагаем, а сверх того вы можете рассчитывать в будущем на нашу благодарность.

— Понятно. Гоните деньжата,— сказал Дагобер.

Преподобный отец положил на стол мешок, со слезами на глазах врученный ему конильским винокуром.

— По рукам! — воскликнули три приятеля.

Так был заключен этот торжественный договор.

Как только монах ушел, в восторге от того, что привлек к своему делу широкие массы,— Дагобер, Трон и Балафий свистнули своим женам Амелии, Регине и Матильде, поджидавшим их сигнала на улице, и все шестеро, схватившись за руки, стали плясать вокруг мешка, припевая:

Табачишком я снабжен,
Не про тебя он, Шатийон!
Ату, ату монахов!

И они заказали себе целую миску глинтвейна.

Вечером они пошли вшестером бродить по злачным местам, напевая свою новую песенку. Она имела успех,— сыщики доносили, что с каждым днем все больше и больше рабочих распевает по городским предместьям:

Табачишком я снабжен,
Не про тебя он, Шатийон!
Ату, ату монахов!

Дракофильская агитация не получила распространения в провинции. Благочестивый Агарик тщетно доискивался причин, пока однажды к нему не явился старец Корнемюз, который все и разъяснил.

— Мне достоверно известно,— со вздохом сказал конильский монах,— что казначей дракофилов герцог Ампульский приобрел себе недвижимость в Дельфинии на средства, предназначенные для пропаганды.

У дракофильской партии не было денег. Князь де Босено потерял свой бумажник во время уличной стычки и вынужден был всячески изворачиваться, что претило его горячему нраву. Виконтесса Олив стоила очень дорого. Корнемюз советовал урезать месячное содержание этой дамы.

— Она очень полезна для нас,— возразил благочестивый Агарик.

— Конечно,— отвечал Корнемюз.— Но, разоряя нас, она для нас вредна.

Дело дракофилов подрывалось внутренними несогласиями. Руководители ожесточенно спорили друг с другом. Одни хотели держаться по-прежнему политики г-на Бигура и благочестивого Агарика, продолжая выставлять своей целью только реформирование республики; другие, наскучив долгим притворством, призывали требовать напрямик восстановления драконова гребня и клялись, что под таким знаменем добьются победы.

Эти последние ссылались на преимущества открытых действий и невозможность продолжать двойную игру. В самом деле, публика стала догадываться, к чему клонит агитация и как сторонники эмирала стремятся разрушить самые основы Общественного дела.

Пошла молва о том, что принц должен высадиться в Ла Крике и въехать в Альку на зеленом коне.

Эти слухи воодушевляли фанатичных монахов, восхищали обедневших дворян, радовали богатых еврейских дам и вселяли надежду в сердца мелких торговцев. Но мало кому из них хотелось бы получить желаемые блага ценой социальной катастрофы и падения государственного кредита, и совсем уж мало кому улыбалось рисковать при этом своими деньгами, своим покоем, своей свободой или, хотя бы на часок, своими развлечениями. Рабочие же, напротив, были, как всегда, готовы пожертвовать целым рабочим днем для республики; в предместьях глухо назревало сопротивление.

— Народ с нами,— говорил благочестивый Агарик.

Однако, выходя после работы из мастерских, мужчины, женщины и дети дружно пели:

Убирайся, Шатийон!
Ату, ату монахов!

Что касается правительства, то оно проявляло слабость, нерешительность, вялость и беспечность, свойственные всем правительствам и оставляемые ими только ради насилия и произвола. Словом, пингвинское правительство ничего не знало, ничего не хотело, ничего не могло. Формоз в недрах своего президентского дворца оставался слепым, глухим, немым, огромным и невидимым, закутанным в гордыню, как в пуховое одеяло.

Виконт Олив советовал объявить новый, уже последний сбор пожертвований и отважиться на решительный удар, пока в Альке еще идет брожение.

Исполнительный комитет, сам себя избравший, постановил захватить палату депутатов и разработал план действий.

Выступление было назначено на 28 июля. В тот день было солнечное утро. Перед дворцом Законодательной палаты проходили хозяйки с корзинками в руках; уличные торговцы выкрикивали свой товар — персики, груши, виноград; извозчичьи лошади, опустив голову в торбу, жевали овес. Никто ничего не ждал; не то чтобы приготовления хранились в тайне, но попросту все считали подобные слухи вздорными. Никто не верил в возможность переворота, из чего можно было заключить, что никто его не желал. К двум часам в боковую калитку дворцовой ограды поодиночке стали проходить депутаты, не привлекая к себе ничьего внимания. К трем часам появились кучки каких-то оборванцев. В половине четвертого густая толпа хлынула из прилегающих улиц на площадь Переворота. Все широкое пространство ее было затоплено целым океаном фетровых шляп, и толпа манифестантов, непрерывно пополняемая любопытными, перейдя мост, мрачной волною подступила к самой ограде Законодательной палаты. Крики, рев, пенье возносились к ясному небу: «Шатийона мы хотим! Долой депутатов! Долой республику! Смерть республикашкам!» Священный батальон дракофилов, во главе с князем де Босено, запел торжественный гимн:

Крюшо, виват!
Мудрый на деле,
Ты с колыбели
Храбрый солдат!

За стеной им отвечали молчанием.

Это молчание и отсутствие охраны ободряло, но в то же время пугало толпу. Вдруг раздался громовый голос:

— На приступ!

И на самом верху стены, утыканной железными шипами и шишками, во весь свой гигантский рост встал князь де Босено. За ним бросились его товарищи; их примеру последовала толпа. Кто долбил стену, стараясь пробить в ней отверстие, кто норовил сорвать с нее шишки и вытащить шипы. Кое-где эти защитные приспособления не устояли. В тех местах по нескольку человек осаждающих уже оседлали стену. Князь де Босено размахивал огромным зеленым знаменем. Вдруг толпа дрогнула, испустив протяжный крик ужаса. Полицейская охрана и республиканские карабинеры, выйдя сразу из всех дверей дворца, быстро построились за оградой, от которой мгновенно отхлынули осаждающие. Прошла минута тягостного ожидания, послышался

лязг оружия, и полицейская охрана пошла на толпу в штыки. Вмиг на опустевшей площади, усеянной шляпами и тростями, воцарилась зловещая тишина. Дважды пытались еще дракофилы восстановить свои ряды — и дважды были отброшены. Восстание было подавлено. Но князь де Босено, стоя со знаменем в руке на ограде вражеского дворца, один отбивал натиск целого отряда. Он сбрасывал всех, кто к нему приближался. Наконец, обессиленный, сбитый с ног, повалился на железную шишку ограды и повис на ней, не выпуская из рук знамени Драконидов.

На другой день республиканские министры и члены парламента постановили принять решительные меры. Тщетно на этот раз пытался президент Формоз помочь виновникам увильнуть от ответственности. Правительство поставило вопрос о лишении Шатийона всех чинов и званий и о предании его Верховному суду как мятежника, государственного преступника, изменника и т. п.

Узнав об этом, старые боевые товарищи эмирала, еще накануне неотвязно преследовавшие его изъявлениями дружбы, теперь не скрывали своей радости. Шатийон все же сохранил популярность среди алькской буржуазии, и на бульварах еще можно было услышать пение освободительного гимна: «Шатийона мы хотим!»

Министры были в затруднении. Они намеревались передать дело Шатийона в Верховный суд. Но они ничего не знали. Оставались в полном неведении, как это свойственно тем, кто управляет людьми. Оказались не способны выставить против Шатийона сколько-нибудь веские улики. В качестве материала для обвинения могли представить только нелепые выдумки своих сыщиков. Участие Шатийона в заговоре, его сношения с принцем Крюшо — все это составляло секрет, известный тридцати тысячам дракофилов. У министров же и депутатов были подозрения, даже уверенность, но не было никаких доказательств. Прокурор республики говорил министру юстиции: «Мне нужно совсем немного, чтобы возбудить преследование против политического преступника, но что у меня есть? Ничего, а этого недостаточно». Дело не двигалось. Враги республики торжествовали.

Утром 18 сентября по Альке распространился слух о бегстве Шатийона. Все были изумлены, взволнованы. Не знали, что и подумать.

А произошло вот что.

Однажды, как бы случайно зайдя в кабинет к г-ну Барботану, министру внутренних дел, храбрый субэмирал Волькан-муль со своей обычной прямотою заметил:

— Господин Барботан, ваши коллеги не слишком-то расторопны, сразу видно, никогда не командовали на море. Чертовски трусят перед каким-то Шатийоном.

В знак протеста министр широко взмахнул ножом для разрезания бумаги над своим письменным столом.

— Не отрицайте,— настаивал Вольканмуль.— Вы не знаете, как отделаться от Шатийона. Вы не решаетесь передать его дело в Верховный суд, потому что не надеетесь собрать достаточный материал для обвинения. Его будет защищать Бигур, а Бигур — ловкий адвокат... Вы правы, господин Барботан, совершенно правы. Опасно затевать такой процесс.

— О мой друг, если б вы только знали, как уверенно мы себя чувствуем...— непринужденным тоном сказал министр.— Я получаю от своих префектов самые утешительные сведения. Здравый смысл, присущий пингвинам, поможет им по достоинству оценить интриги взбунтовавшегося солдата. Можете ли вы допустить хоть на минуту, чтобы великий народ, умный, трудолюбивый, полный привязанности к своим либеральным установлениям, которые...

Вольканмуль перебил его с глубоким вздохом:

— Ах, будь у меня свободное время, я бы вас выручил — я бы как пить дать похитил, утащил у вас этого Шатийона. Одним щелчком отправил бы его в Дельфинию.

Министр насторожился.

— Раз, два — и готово! — продолжал моряк.— Во мгновение ока избавил бы вас от этой скотины... Но сейчас мне не до того... дочиста продулся в баккара. Нужно достать уйму денег. Честь — прежде всего, черт подери!..

Министр и субэмирал с минуту молча смотрели друг на друга. Потом Барботан внушительно произнес:

— Субэмирал Вольканмуль, избавьте нас от мятежного солдата. Вы окажете Пингвинии великую услугу, а министр внутренних дел, со своей стороны, обеспечит вам возможность уплатить ваши карточные долги.

В тот же вечер Вольканмуль явился к Шатийону и молча, с загадочно-скорбным выражением лица, уставился на него.

— Что это за физиономию ты состроил? — спросил встревоженный эмирал.

Тогда Вольканмуль объявил ему с мужественной печалью:

— Мой старый боевой друг, все открыто. Вот уже полчаса, как правительство обо всем узнало.

У Шатийона от ужаса подкосились ноги.

Вольканмуль продолжал:

— Тебя ждет арест с минуты на минуту. Советую удирать. Нельзя терять ни мгновенья,— добавил он, вынимая из кармана часы.

— Но можно мне хоть повидаться с виконтессой Олив?

— Это было бы безумием,— возразил Вольканмуль, а затем, протянув ему паспорт и синие очки, пожелал не терять бодрости.

— На этот счет будь покоен,— сказал Шатийон.

— Прощай, старый друг!

— Прощай! И спасибо! Ты спас мне жизнь.

— Я только исполнил свой долг.

Четверть часа спустя храбрый эмирал покинул город Альку.

Ночью он сел в Ла Крике в старую яхту и пустился по волнам в Дельфинию. Но в восьми милях от берега он был захвачен вестовым судном, плывшим без огней, под флагом королевы Черных Островов. Уже давно королева эта питала к Шатийону роковую страсть.

ГЛАВА VII

Заключение

Nunc est bibendum [1]. Освободившись от страхов, радуясь избавлению от столь великой опасности, правительство постановило отметить народными празднествами годовщину пингвинского возрождения и установления республики.

На торжественной церемонии присутствовали президент Формоз, министры, члены палаты депутатов и сенаторы.

Генералиссимус пингвинской армии явился в полной парадной форме. Его встретили приветственными кликами.

Неся впереди черное знамя нищеты и красное знамя восстания, с выражением суровой снисходительности на лицах, прошествовали представители рабочих.

Президент, министры, депутаты, высшие чины суда и армии снова принесли, от своего имени и от имени державного народа, древнюю клятву — жить свободными или умереть. Они решились принять эту альтернативу. Но предпочитали жить свободными. Затем были игры, речи, песни.

После того как отбыли представители власти, толпа граждан

---

[1] Теперь надлежит пить *(лат.)*

растеклась медленными и мирными потоками, возглашая: «Да здравствует республика! Да здравствует свобода! Ату, ату монахов!»

Лишь один случай, омрачивший этот прекрасный день, был отмечен газетами. Князь де Босено спокойно курил сигару на Лугу Королевы, когда появился кортеж правительственных экипажей. Князь подошел к карете, где сидели министры, и произнес громовым голосом: «Смерть республикашкам!» К нему кинулись полицейские, но он оказал им отчаянное сопротивление. Многих ему удалось сбить с ног, но все же он потерпел поражение от численно превосходящего противника, и его, оглушенного, покрытого синяками и ссадинами, опухшего, исцарапанного, словом, такого, что его не узнала бы и собственная жена, поволокли по праздничным улицам в темные недра тюрьмы.

Суд занялся тщательным следствием по делу Шатийона. В здании Адмиралтейства были обнаружены письма, устанавливавшие, что одним из руководителей заговора был преподобный отец Агарик. Это немедленно вызвало взрыв общественного негодования против монахов; и парламент принял, один за другим, целую дюжину законов, которые сокращали, уменьшали, ограничивали, разграничивали, упраздняли, пресекали и урезывали права, льготы, вольности, привилегии и доходы монахов, создавая для них многочисленные, весьма утеснительные препоны.

Преподобный отец Агарик с твердостью перенес введение суровых законов, хотя они задевали и сильно ущемляли его самого, с твердостью перенес он и ужасное падение эмирала, сознавая к тому же, что сам был первопричиной этого. Отнюдь не собираясь покориться своей злой участи, он рассматривал ее как нечто преходящее. И уже строил новые политические замыслы, еще более дерзкие.

Когда планы его достаточно созрели, он однажды утром пошел в Конильский лес. На ветке дерева посвистывал дрозд, ежик угрюмо перебирался через каменистую тропинку. Агарик шел большими шагами, что-то бурча себе под нос.

Дойдя до порога лаборатории, где благочестивый предприниматель провел столько прекрасных лет за перегонкой золотистого ликера св. Орброзы, он увидел, что все кругом пусто и дверь заперта. Обогнув постройку, он обнаружил позади нее преподобного Корнемюза, который взбирался, подоткнув свое монашеское одеяние, по лестнице, прислоненной к стене.

— Это вы, дорогой друг? — произнес Агарик.— Что вы здесь делаете?

— Сами видите,— слабым голосом ответил конильский монах, обратив на него страдальческий взор.— Возвращаюсь к себе домой.

Красные глаза его уже потеряли свой победоносный рубиновый блеск; в них тускло светилась печаль. Лицо утратило благодушную округлость. Лысая голова уже не очаровывала взгляда своей безупречно гладкой поверхностью: трудовой пот и какие-то лихорадочные пятна нарушали ее неоценимое совершенство.

— Не понимаю,— сказал Агарик.

— Что же тут непонятного? Пред вами — последствия вашего заговора. Подпав под действие множества законов, я, правда, большинство из них сумел обойти. Но все же от некоторых сильно пострадал. Эти мстительные люди закрыли мои лаборатории и склады, конфисковали мои бутыли, перегонные кубы, реторты; опечатали вход. Приходится теперь лазить через окно. Еле ухитряюсь время от времени извлекать тайком сок из растений при помощи аппаратов, которыми погнушался бы последний из виноделов.

— Вы — жертва преследований. Все мы подвергаемся им.

Конильский монах провел рукою по лысине.

— А я ведь говорил вам, брат Агарик, я ведь говорил вам, что ваша затея обратится против нас.

— Это лишь временное поражение,— горячо возразил Агарик.— Оно вызвано совершенно случайными причинами; тут виновато просто-напросто неблагоприятное стечение обстоятельств. Шатийон — дурак. Сам себя утопил по собственной бездарности. Послушайте, брат Корнемюз. Нельзя терять ни минуты. Нужно освободить пингвинский народ, нужно избавить его от тиранов, спасти от самого себя, восстановить гребень Дракона, возобновить старый порядок. Добрый порядок, во славу религии, во имя торжества католической веры. Шатийон был плохим орудием, оно сломалось у нас в руках. Прибегнем к лучшему орудию. У меня есть на примете человек, способный уничтожить безбожную демократию. Это штатский. Имя его Гоморю. Пингвины от него без ума. Он уже предал свою партию за рисовую похлебку. Вот кто нам нужен!

Уже в начале этой речи конильский монах влез в окно и втащил в него лестницу.

— Знаю все заранее,— ответил он, высунув нос между створок.— Вы не успокоитесь, пока не добьетесь того, что мы

все поголовно будем изгнаны из этой прекрасной, любезной сердцу, ласковой Пингвинии. Прощайте, да хранит вас милость господня!

Агарик, стоя перед стеною, стал заклинать своего дражайшего собрата, чтобы тот выслушал его:

— Не пренебрегайте собственными интересами, Корнемюз! Пингвиния в наших руках. Много ли требуется, чтобы завладеть ею? Еще одно усилие... еще небольшое денежное пожертвование, и...

Но, не слушая больше, конильский монах убрал свой нос и закрыл окно.

Ζεῦ πάτερ, ἀλλὰ σὺ ῥῦσαι ὑπ ἠέρος υἷας Ἀχαιῶν,
ποίησον δ'αἰθρην, δὸς δ'οφθαλμοῖσιν ἰδέσθαι ·ἐν
δὲ φάει καὶ ὄλεσσον, ἐπεί νύ τοι εὔαδεν οὕτως.

«Илиада», XVII, ст. 645 и след.[1]

ГЛАВА I

Генерал Греток, герцог Скаллский

Вскоре после бегства эмирала один еврей из среднего круга по фамилии Пиро, стремясь сблизиться с аристократией и желая послужить своей стране, вступил в ряды пингвинской армии. Тогдашний военный министр Греток, герцог Скаллский, не выносил его: ему не нравилось его рвение, его крючковатый нос, его честолюбие, усидчивость, толстые губы и примерное поведение. Каждый раз, когда искали виновника какого-нибудь проступка, Греток говорил:

— Это, наверно, Пиро!

Однажды утром начальник Генерального штаба генерал Пантер явился к Гретоку с весьма серьезным сообщением. Пропали восемьдесят тысяч копен сена, запасенных для кавалерии; исчезли бесследно.

Греток сразу решил:

— Это, наверно, Пиро их украл!

Затем, немного подумав, добавил:

— Чем больше я размышляю, тем больше убеждаюсь, что именно Пиро украл эти восемьдесят тысяч копен сена. И — характерно для него! — он похитил их, чтобы продать по дешевке дельфинам, нашим заклятым врагам. Гнусная измена!

---

[1] Зевс, наш владыка, избавь аргивян от ужасного мрака!
Дневный свет возврати нам, дай нам видеть очами!
И при свете губи нас, когда уже так восхотел ты!— *греч.*
<Перевод Н. И. Гнедича.— *Ред.*>

— В этом нет никакого сомнения,— ответил Пантер.— Остается только найти доказательства.

В тот же день князь де Босено, проходя мимо кавалерийских казарм, услыхал, как кирасиры пели, подметая двор:

Ваш Босено — свинья большая.
Колбасы выйдут из него,
Да и ветчинка неплохая
Для бедняков на рождество.

Он счел недопустимым нарушением дисциплины тот факт, что солдаты осмеливаются петь эту незатейливую и вместе с тем революционную песенку, полившуюся впервые во дни восстания из глоток насмешливых рабочих. В связи с этим он стал сокрушаться о моральном упадке армии и с горькой усмешкой подумал, что его старый товарищ Греток, начальник этой разложившейся армии, подлым образом предоставляет ее для расправы злобствующему антипатриотическому правительству. И князь дал себе слово незамедлительно навести в ней порядок.

— Этот негодяй Греток недолго останется в министрах,— решил он.

Князь де Босено был непримиримейшим противником современной демократии, вольномыслия и государственного устройства, которое было свободно установлено пингвинами. Он питал страстную и непримиримую ненависть к евреям; и явно и тайно, и днем и ночью работал он над восстановлением рода Драконидов на пингвинском престоле. Его монархический пыл раздувался еще более по причинам личного характера, в связи с плачевным состоянием его дел, которое ухудшалось день ото дня: он не видел конца собственным денежным затруднениям, пока наследник Драко Великого не вступит в свою столицу Альку.

Вернувшись к себе в особняк, он достал из несгораемого шкафа пачку старой корреспонденции,— это были частные, весьма секретные письма, переданные ему неким вероломным приказчиком и могущие послужить доказательством, что его старый товарищ Греток, герцог Скаллский, нагрел руки на военных поставках, получив от одного промышленника, по фамилии Малури, взятку, притом не какую-нибудь огромную, а весьма скромных размеров, так что принявший ее министр лишался уже всякого оправдания.

Князь с острым наслаждением перечитал эти письма, тщательно уложил их обратно в несгораемый шкаф и побежал в военное министерство. Он был человек решительный. В ответ

на сообщение, что министр не принимает, он сбил с ног привратников, повалил на пол вестовых, поверг к своим ногам военных и гражданских чиновников, выломал двери и ворвался в кабинет изумленного Гретока.

— Поговорим кратко, но начистоту,— сказал он министру.— Ты — старый подлец. Но это бы еще полбеды. Я просил тебя двинуть по уху генерала Моншена, этого гнуснейшего из республикашек,— ты не пожелал. Я просил тебя дать командование корпусом генералу де Клапье, который работает в пользу Драконидов и которому я лично многим обязан,— ты не пожелал. Я просил тебя сместить генерала Тандема, командующего портом Альки, того, что украл у меня пятьдесят луидоров за игрою в баккара и велел надеть на меня наручники, когда меня отправили в Верховный суд как сообщника эмирала Шатийона,— ты не пожелал. Я просил тебя дать мне подряд на поставку овса и отрубей,— ты не пожелал. Я просил тебя послать меня с секретной миссией в Дельфинию,— ты не пожелал. Мало того, не довольствуясь постоянными и решительными отказами, ты обрисовал меня своим коллегам по кабинету министров как человека опасного, за которым надо установить наблюдение, и тебе, старый предатель, я обязан тем, что теперь за мной ходят по пятам полицейские сыщики. Больше я ничего у тебя не прошу, скажу тебе только одно: катись к чертям, ты всем намозолил глаза! Да к тому же мы заставим твое грязное Общественное дело назначить вместо тебя кого-нибудь из наших. Так вот, ты знаешь: я человек слова. Если ты через двадцать четыре часа не подашь в отставку, я опубликую в газетах материалы по делу Малури.

Но Греток, сохраняя невозмутимое спокойствие, ответил:

— Да уймись ты, идиот! Я теперь готовлюсь отправить одного еврея на каторгу. Я предаю суду Пиро по обвинению в краже восьмидесяти тысяч копен сена.

Ярость князя де Босено сразу спала с него, словно пелена, и он улыбнулся:

— Правда?

— Скоро увидишь.

— Поздравляю, Греток. Но, так как с тобою нужно всегда держать ухо востро, я сейчас же опубликую это приятное известие. Сегодня же вечером все алькские газеты сообщат об аресте Пиро...

И пробормотал, уходя:

— Ну и Пиро! Я всегда подозревал, что он плохо кончит.

Минуту спустя к Гретоку явился генерал Пантер.

— Господин министр, я только что ознакомился с делом о восьмидесяти тысячах копен сена. Против Пиро нет никаких улик.

— Нужно найти! — отвечал Греток.— Этого требует правосудие. Распорядитесь о немедленном аресте Пиро.

ГЛАВА II

Пиро

Вся Пингвиния пришла в ужас, узнав о преступлении Пиро; вместе с тем некоторое удовлетворение доставляла мысль, что хищение это, усугубленное изменой и граничащее со святотатством, совершено каким-то евреем из мелких. Чтобы понять подобное чувство, надо знать, как относилось общественное мнение к крупным еврейским дельцам и к евреям из мелких. Мы уже имели случай отметить на страницах этого повествования, что каста финансистов, всеми ненавидимая и захватившая всю власть, состояла из христиан и евреев. Евреи, входившие в нее и сосредоточившие на себе всю ненависть населения, были крупные еврейские дельцы; они владели огромными состояниями и держали в своих руках, по слухам, больше одной пятой всех пингвинских богатств. За пределами этой опасной касты имелось множество евреев из мелких, людей среднего достатка, которых любили не больше, чем крупных дельцов, и гораздо меньше боялись. Во всяком цивилизованном государстве богатство священно; в демократических государствах священно только оно. А Пингвиния была государством демократическим; три-четыре финансовые организации пользовались там властью более обширной, а главное — более устойчивой, чем власть республиканских министров, которым они предоставляли корчить из себя больших господ и втайне диктовали свою волю, получая от них себе с помощью угроз или подкупов поддержку в ущерб государству, а тех, кто не шел на сделки с совестью, уничтожая при содействии газетных клеветников. Как ни соблюдалась тайна вкладов, все же просачивалось достаточно сведений, чтобы вызывать в стране негодование,— но вместе с тем пингвинские буржуа, от самых крупных до самых мелких, с молоком матери впитавшие уважение к деньгам, да к тому же все владевшие хоть каким-нибудь имуществом, глубоко чувствовали солидарность, существующую между всеми капиталистами, и понимали, что мелкая собственность неприкосновенна только в том случае, если не-

прикосновенна крупная. А потому к еврейским миллиардам испытывали то же религиозное благоговение, что и к миллиардам христианским: денежный интерес пересиливал вражду, так что все пуще смерти боялись затронуть хоть волосок на голове этих ненавистных крупных евреев. К мелким не испытывали такого почтения и, если какой-нибудь из них падал, старались его затоптать. Вот почему вся пингвинская нация злорадствовала, узнав, что предателем был еврей, но из мелких. На нем можно было сорвать злобу, питаемую ко всем израильтянам, не опасаясь нанести ущерб государственному кредиту.

Что Пиро действительно украл восемьдесят тысяч копен сена — в это, разумеется, поверили без малейших колебаний. Никто не сомневался, потому что при полном неведении относительно всех обстоятельств дела не могло быть повода к сомнениям, а они нуждаются в поводе: без оснований не сомневаются, без оснований только верят. Никто не сомневался, так как повсюду повторяли одно и то же, а для публики повторение означает доказательство. Никто не сомневался, так как хотелось, чтобы Пиро был виновен, а чего хочешь, в то и веришь; никто не сомневался, так как, помимо всего прочего, способность сомневаться встречается у людей редко. Лишь очень немногие умы носят в себе ростки сомнения, нуждающиеся к тому же в заботливом уходе. Оно своеобразно, изысканно, философично, безнравственно, трансцендентно, чудовищно, коварно, вредно для людей и для собственности, враждебно государственному строю и процветанию империй, гибельно для человечества, разрушительно для богов, ненавистно небу и земле. Пингвинская толпа не знала сомнений,— она поверила в виновность Пиро, и эта вера тотчас же стала одной из основ ее национальных верований, войдя существенной составной частью в ее патриотический символ веры.

Пиро судили тайно, он был осужден.

Генерал Пантер поспешил к военному министру сообщить, чем кончился процесс.

— К счастью,— сказал он,— у судей была твердая уверенность, так как не было никаких доказательств.

— Доказательства, доказательства! — пробурчал Греток.— А что они доказывают? Есть только одно верное, неопровержимое доказательство — признание подсудимого. Пиро сознался?

— Нет, генерал.

— Сознáется! Должен сознаться, нужно добиться, Пантер; скажите ему, что это в его собственных интересах. Посулите, что, если он сознается, ему окажут снисхождение, смягчат на-

казание, помилуют его; посулите, что, если он сознается, его признают невиновным; наградят орденом. Надо воззвать к его лучшим чувствам. Пускай сознается из патриотизма, ради чести знамени, подчиняясь приказу, в порядке субординации, по особому распоряжению военного министра, во исполнение воинского долга... Однако послушайте, Пантер, разве он уже не сознался? Ведь бывают молчаливые признания; молчание — знак согласия.

— Но, генерал, он не молчит; он вопит, как одержимый, что ни в чем не виновен.

— Да, Пантер, но иной раз именно отчаянное запирательство виновного свидетельствует о признании им своей вины. Пиро сознался; нам нужны свидетели его признаний: этого требует правосудие.

В Западной Пингвинии, там, где море образует три небольших бухты, был расположен морской порт под названием Ла Крик, где в прежние времена часто бросали якорь корабли, а теперь все было занесено песком и пустынно. Лагуны, заросшие плесенью, тянулись вдоль низкого побережья, выделяя зловонные испарения, и над сонными водами реяла лихорадка. Там, на берегу моря, высилась четырехугольная башня, похожая на старую венецианскую Кампанилу, а сбоку у нее, под самой крышей, на цепи, прикованной к поперечной балке, висела клетка, вся решетчатая, куда во времена Драконидов алькские инквизиторы сажали церковников, впавших в ересь. В эту клетку, пустовавшую уже триста лет, заключили Пиро, отдав его под надзор шестидесяти надсмотрщиков, которые жили в башне и не спускали с него глаз ни днем, ни ночью, подстерегая, не сделает ли он каких признаний, и готовясь немедленно сообщить об этом военному министру, ибо Греток, щепетильный и осторожный, хотел признаний и сверхпризнаний. Хотя Гретока и считали дураком, но в действительности он был очень умен и на редкость предусмотрителен.

Между тем Пиро, палимый солнцем, пожираемый москитами, заливаемый дождем, засыпаемый градом и снегом, терзаемый холодом, сотрясаемый яростной бурей, донимаемый зловещим карканьем воронов, сидящих на его клетке, писал собственной кровью, при помощи зубочистки, на лоскутьях своей рубахи, что он ни в чем не виновен. Но лоскутья тонули в море или попадали в руки тюремщикам. Впрочем, некоторые дошли до публики. Однако уверения Пиро никого не интересовали, так как уже были опубликованы его признания.

ГЛАВА III

Граф де Мобек де ла Дандюленкс

Мелкие евреи не всегда отличались чистотою нравов; в большинстве своем они были причастны всем порокам христианской цивилизации. Но они сохраняли патриархальную прочность семейных уз и приверженность интересам своего племени. Братья, сводные братья, дядья, двоюродные деды, двоюродные братья, троюродные внуки, племянники и внучатные племянники, родственники и свойственники Пиро, в количестве семисот человек, сначала подавленные ударом, постигшим одного из их среды, заперлись в своих домах, посыпали пеплом главу и, благословляя карающую десницу, сорок дней соблюдали строгий пост. Потом приняли ванну и решили, невзирая ни на какие препятствия, пренебрегая любой опасностью, неустанно добиваться признания невиновности Пиро, в которой они не сомневались. Да и как могли они сомневаться? Невиновность Пиро была для них богооткровенна, как для христианской Пингвинии была богооткровенна его преступность; ведь и та и другая, окруженные тайной, принимали характер мистический и обретали непререкаемость религиозных истин. Семьсот родичей Пиро столь же ревностно, сколь и осторожно, принялись за работу и скрытно повели глубокое расследование всех обстоятельств. Они были повсюду; но их нигде не было видно; можно было подумать, что, подобно кормчему Одиссея, они свободно передвигаются под землей. Они проникли в канцелярии военного министерства, под разными вымышленными предлогами получили доступ к судьям, к секретарям суда, к свидетелям. Вот тут-то и сказалась мудрость Гретока: свидетели ничего не знали, судьи и секретари ничего не знали. Тайные посланцы добрались до самой клетки Пиро и со страстной настойчивостью расспрашивали его обо всем, под заунывный гул моря и хриплое карканье воронов. Но напрасно: осужденный ничего не знал. Семьсот родичей Пиро не могли опровергнуть доказательства обвинения, потому что не имели о них понятия; а не имели о них понятия, потому что их не было. Виновность Пиро была неопровержима, потому что нечего было опровергать. И Греток с законной гордостью подлинного художника сказал однажды генералу Пантеру: «Этот процесс — просто шедевр: он создан из ничего». Семьсот родичей Пиро уже отчаивались когда-либо пролить свет на это темное дело, как вдруг из одного украденного письма им стало известно, что восемьдесят тысяч копен сена никогда не существовали, что, правда, один из самых знатных представителей дворянства, граф

де Мобек, продал их государству и даже получил за них все сполна, но так их и не доставил, и по совершенно понятным причинам: этот потомок самых богатых землевладельцев древней Пингвинии, отпрыск рода Мобеков де ла Дандюленкс, когда-то владевших четырьмя герцогствами, шестьюдесятью графствами, шестьюстами двенадцатью маркизатами, баронскими и видамскими поместьями,— сам не владел ни клочком земли хотя бы с ладонь величиною, так что не мог бы накосить в своих владениях даже копны сена. А вместе с тем для него было совершенно невозможно и закупить хоть былинку у кого-либо из помещиков или торговцев, ибо, за исключением министров и государственных чиновников, все отлично знали, что легче выжать масло из булыжника, чем какой-нибудь сантим из Мобека.

Семьсот родичей Пиро подвергли тщательному обследованию источники доходов графа де Мобека де ла Дандюленкс и установили, что этот дворянин пользовался главным образом доходами от дома, где сговорчивые дамы встречались с любым желающим ко взаимному удовольствию. Родичи Пиро выступили с публичными обвинениями графа в краже восьмидесяти тысяч копен сена, за которую другой был без вины осужден и посажен в клетку.

Мобек происходил из знатного рода, связанного родственными узами с Драконидами. В демократических государствах ничто так высоко не ценят, как знатность происхождения. Мобек служил прежде в пингвинской армии, пингвины же с тех пор, как стали все сплошь солдатами, полюбили свою армию прямо до идолопоклонства. Мобек заслужил на полях сражений боевой крест, а это в глазах пингвинов — почет, который они предпочитают даже супружескому ложу. Вся Пингвиния высказалась за Мобека, и глас народа, начинавшего роптать, требовал для семисот родичей Пиро суровых кар за клевету.

Мобек был дворянин. Он вызвал всех семьсот к барьеру, предлагая драться на шпагах, саблях, пистолетах, карабинах, палках, на чем угодно.

«Поганые жиды,— писал он им в своем знаменитом послании,— вы распяли моего господа, а теперь хотите с меня содрать шкуру; но предупреждаю вас, я не такая сопля, как он,— живо пообрубаю вам все семьсот пар ушей. Получайте от меня пинок под все ваши семьсот задов разом».

Во главе государства стоял тогда Робен Медоточивый, из деревенских, мягкий с людьми богатыми и влиятельными, суровый к беднякам, трусоватый и корыстолюбивый. Он публично

поручился за невиновность и порядочность Мобека и предал суду исправительной полиции всех семьсот родичей Пиро, и те были приговорены как диффаматоры к телесным наказаниям, к уплате огромных штрафов и к возмещению проторей и убытков своей невинной жертве.

Казалось, Пиро навеки останется в клетке, на которой сидят вороны. Но пингвины хотели и сами убедиться и убедить других, что еврей виновен, а доказательства далеко не все были вески и порою противоречили одно другому. Офицеры Генерального штаба проявляли усердие, но некоторым из них не хватало осторожности. В то время как Греток хранил великолепное молчание, генерал Пантер разливался неиссякаемыми потоками речей и каждое утро доказывал в газетах виновность осужденного. Пожалуй, лучше было бы о ней помолчать: ведь она была очевидна, а очевидность не требует доказательств. Обилие доводов смущало умы. Вера, все еще крепкая, утратила прежнюю ясность. Чем больше доказательств приводили пингвинам, тем больше они требовали новых.

Излишнее количество доказательств было бы, впрочем, не так опасно, если бы не нашлись в Пингвинии, как находятся повсюду, независимые умы, способные разобраться в сложных вопросах и склонные к философическому сомнению. Таких было немного; и не все они расположены были высказываться; да и публика оказалась совершенно неподготовленной к тому, чтобы их выслушивать. Впрочем, не все вокруг были глухи. Крупные еврейские дельцы, все алькские миллиардеры-иуден, когда кто-нибудь заговаривал с ними о Пиро, отвечали: «Мы не знаем этого человека»,— но втайне помышляли о его спасении. Они были слишком богаты, чтобы не соблюдать осторожности, и желали, чтобы другие оказались смелей. Их желанию предстояло исполниться.

ГЛАВА IV

Коломбан

Через несколько недель после осуждения семисот родичей Пиро низенький близорукий человек с хмурым лицом, заросшим волосами, вышел однажды утром из своего дома, таща лестницу, горшок клея и пачку каких-то листков, и начал расклеивать на улицах плакаты, где крупными буквами стояло: «Пиро невиновен — виновен Мобек». То не был расклейщик афиш; звали его Коломбан; автор ста шестидесяти томов пин-

гвинской социологии, по профессии он принадлежал к писателям Альки, притом был самым трудолюбивым и уважаемым среди них. После серьезных размышлений, совершенно убедившись в невиновности Пиро, он решил публично заявить о ней тем способом, какой считал наиболее действенным. Ему удалось без помех расклеить несколько афиш на малолюдных улицах, но когда он дошел до оживленных кварталов, то каждый раз, как он взлезал на свою лесенку, вокруг него собирались любопытные и, онемев от удивления и негодования, бросали на него угрожающие взгляды, к чему он, впрочем, относился с полным спокойствием, внушаемым смелостью и близорукостью. Меж тем как, следуя за ним по пятам, привратники и лавочники сдирали со стен его афиши, он шел все вперед, таща свое снаряжение, провожаемый мальчишками с корзинками в руках и ранцами на спинах, не очень обеспокоенными тем, что опоздают в школу; он расклеивал да расклеивал листки. К устремленным на него негодующим взглядам стали присоединяться враждебные выкрики и ропот. Но Коломбан не удостаивал видеть и слышать все это. В начале улицы Св. Орброзы, когда он принялся наклеивать очередной листок с напечатанными на нем словами: «Пиро невиновен — виновен Мобек», толпа обнаружила явные признаки ярости. «Изменник, вор, подлец, мерзавец!» — кричали ему. Какая-то женщина, растворив окно, опрокинула ему на голову целый ящик мусора; какой-то извозчик бичом сбил с него шляпу, и та отлетела на другую сторону улицы, под злорадные клики толпы; молодчик из мясной лавки свалил его с лесенки прямо в канаву, вместе с клеем, кистью и стопкой листков,— и пингвины с гордостью осознали при этом величие своей родины. Коломбан поднялся, весь залитый нечистотами, с перебитой рукой и ногой, спокойный и решительный.

— Грубые животные,— пробормотал он, пожимая плечами.

Затем он стал на четвереньки и принялся искать в канаве свое пенсне, оброненное при падении. Тут обнаружилось, что сюртук его лопнул от ворота до самых фалд, а брюки изодраны в клочья. Это вызвало в толпе новый прилив ненависти.

По ту сторону улицы находилась большая бакалейная лавка под вывеской «Святая Орброза». Патриоты стали хватать с выставленных на улице лотков все, что попадалось под руку, и в Коломбана полетели апельсины и лимоны, банки с вареньем, плитки шоколада и бутылки ликера, коробки сардин и горшочки гусиного паштета, окорока и битая птица, жестянки

с прованским маслом и кульки с фасолью. Весь вымазанный всякой снедью, избитый, расцарапанный, охромевший, он, ничего не видя перед собой, обратился в бегство, а приказчики из лавок, подручные из пекарни, бродяги, солидные обыватели, уличные мальчишки — все бросились его преследовать, возрастая в числе с каждою минутой и яростно вопя: «В воду его! Смерть изменнику! В воду!» Весь этот поток озверелой черни прокатился по бульварам и хлынул на улицу Св. Маэля. Полиция отнюдь не бездействовала; из-за всех углов появлялись полицейские и, придерживая левой рукою ножны шашек, пускались бежать во главе преследователей. Они уже протягивали ручищи, чтобы схватить Коломбана, но тот неожиданно ускользнул от них, провалившись через открытый люк в канализационную трубу.

Он провел там всю ночь, сидя в темноте, прямо у сточных вод, среди множества мокрых жирных крыс. Он думал о предстоящей ему задаче; в сердце его росли отвага и жалость. И когда рассвет бледным лучом своим проник в глубину люка, Коломбан вылез и произнес, обращаясь к самому себе:

— Да, борьба, видимо, будет жестокая.

Не откладывая, он составил записку, где убедительно доказывал, что Пиро не мог украсть у военного министерства восемьдесят тысяч копен сена, каковые в министерство вовсе не поступали, поскольку Мобек никогда не поставлял их, хотя и получил за них деньги. Коломбан поручил раздавать эту листовку на улицах Алькн. Публика не желала читать и злобно рвала ее в клочки. Лавочники грозили распространителям кулаками, а фурии в образе домашних хозяек обращали их в бегство и гнались за ними со швабрами в руках. Все были взбудоражены, и волнение на улицах не утихало целый день. Вечером банды разъяренных оборванцев бегали по городу, вопя: «Смерть Коломбану!» Патриоты вырывали из рук у распространителей целые кипы листков, жгли их на городских площадях и, как оголтелые, плясали вокруг костров вместе с девицами, задравшими юбки до живота.

Наиболее пылкие пошли бить стекла в том доме, где уже сорок лет тихо и мирно жил и трудился Коломбан.

Обе палаты пришли в волнение и запросили главу правительства, какие меры собирается он принять против посягательств Коломбана на честь национальной армии и безопасность Пингвинии. Робен Медоточивый осудил святотатственную дерзость Коломбана и под аплодисменты законодателей

объявил, что этот человек будет предан суду и понесет ответственность за свой грязный пасквиль.

Военный министр, вызванный на трибуну, предстал на ней совершенно преображенным. Он уже больше не был похож на священного гуся пингвинских цитаделей. Взъерошенная голова, вытянутая вперед шея и нос крючком придавали ему теперь сходство с символическим коршуном, готовым клевать печень у врагов родины.

Среди торжественной тишины, воцарившейся в собрании, он произнес только следующее:

— Клянусь, что Пиро — злодей.

Эти слова Гретока, распространившись по всей Пингвинии, успокоили общественную совесть.

ГЛАВА V

Преподобные отцы Агарик и Корнемюз

Коломбан, удивленный и безропотный, нес бремя всеобщего осуждения; он не мог выйти из дому без того, чтобы его не побили каменьями, так что он совсем перестал выходить и с великолепным упорством писал у себя в кабинете все новые и новые записки в защиту ни в чем не повинного человека, посаженного в клетку. Среди немногочисленных его читателей нашлось все же человек десять, которые были поколеблены его доводами и начали сомневаться в виновности Пиро. Они поделились этим со своими близкими и попытались распространить вокруг тот свет, что забрезжил в их сознании. Один из них был другом Робена Медоточивого и высказал ему свои сомнения, после чего тот перестал его принимать. Другой в открытом письме попросил объяснений у военного министра; третий выпустил резкий памфлет — это был Керданик, самый опасный из полемистов. Публика оторопела. Говорили, что защитники предателя подкуплены богатыми евреями; их обзывали пиротистами, и патриоты клялись их истребить. Во всей обширной республике было не больше тысячи или тысячи двухсот пиротистов; но они мерещились повсюду: их видели на прогулках, на заседаниях, на собраниях, в светских гостиных, за семейным столом, в супружеской постели. Половина народонаселения стала подозрительна для другой его половины. Алька была охвачена раздорами.

А отец Агарик, возглавлявший большую школу для знатных юношей, с волнением следил за событиями. Беды, постиг-

шие пингвинскую церковь, не сломили его; он оставался верен принцу Крюшо и по-прежнему питал надежду восстановить потомка Драконидов на пингвинском престоле. Ему казалось, что события, происходившие или назревавшие в стране, состояние умов, вызвавшее их, а вместе с тем поддержанное ими, и смута, как неизбежное их последствие,— все это, если по-монашески хитро направить дело и руководить им, поворачивая то так, то этак, могло поколебать республиканскую власть и настроить пингвинов в пользу реставрации принца Крюшо, набожность которого сулила утешение всем верующим. Нахлобучив себе на голову черную шляпу с широкими полями, похожими на крылья Ночи, он отправился в Конильский лес,— на завод, где его друг, преподобный отец Корнемюз, гнал целебный ликер св. Орброзы. Предприятие славного монаха, столь жестоко пострадавшее во времена эмирала Шатийона, стало понемногу возрождаться. По лесу с гудением неслись товарные поезда, а под навесами складов сотни сироток в синей одежде упаковывали бутылки и заколачивали ящики.

Агарик застал преподобного Корнемюза у печи, посреди реторт. Юркие глазки старца вновь обрели свой рубиновый блеск; безупречно гладкий череп великолепно сиял, как в былое время.

Агарик прежде всего поздравил благочестивого винокура с тем, что его лаборатории и мастерские возобновили работу.

— Да, дела поправляются. Возношу благодарение господу,— ответил конильский старец.— Увы, ведь я пережил полное разорение, брат Агарик. Вы сами видели, как все здесь было разрушено. Не нужно и рассказывать.

Агарик отвернулся.

— Ликер святой Орброзы снова торжествует,— продолжал Корнемюз.— Но мое предприятие все же очень ненадежно и непрочно. Разрушительные и разорительные законы, которые по нему ударили, не отменены,— приостановлено только их действие...

И конильский монах возвел к небесам свои рубиновые глазки.

Агарик положил руку ему на плечо.

— Какое зрелище, Корнемюз, являет нашим взорам несчастная Пингвиния! Везде непокорство, независимость, свобода! Вокруг поднимаются гордецы, спесивцы, мятежники. Презрев законы божеские, они теперь ополчаются и на человеческие законы, ибо, воистину, если ты не будешь добрым христианином, то не будешь и добрым гражданином. Коломбан стре-

мится уподобиться самому сатане. Пагубный пример находит многочисленных преступных подражателей. В своем неистовстве они хотят со всего сорвать узду, сбросить всякое ярмо, освободиться от самых священных уз, избавиться от самого спасительного принуждения. Они наносят удар за ударом своей родине, дабы подчинить ее себе. Но они падут под тяжестью всеобщего презрения, омерзения, ненависти, осуждения, возмущения и отвращения. Вот в какую бездну их завлекло безбожие, вольномыслие, свобода исследования, чудовищное притязание все решать своим умом, обо всем иметь собственное мнение.

— Конечно, конечно,— отвечал отец Корнемюз, кивая головой.— Но должен признаться, что, занятый дистилляцией сока пользительных трав, я как-то перестал следить за общественной жизнью. Знаю только, что нынче много толкуют о каком-то Пиро. Одни утверждают, что он виновен, другие говорят, что нет,— и мне не совсем ясно, что побудило тех и других ввязываться в дело, которое их совершенно не касается.

Благочестивый Агарик прервал его:

— Но вы-то не сомневаетесь в преступлении Пиро?

— Я не могу в нем сомневаться, дорогой мой Агарик,— ответил конильский монах.— Это означало бы противиться законам моей родины, каковые нужно уважать, если только они не вступают в противоречие с законами божескими. Пиро виновен, раз он осужден. А прибавлять к этому что-либо в доказательство или в опровержение его виновности — значило бы подменять своим авторитетом авторитет судей, чего я решительно остерегусь. Да это все равно бесполезно, раз Пиро уже осужден. Если даже он осужден, не будучи виновен, то он виновен, будучи осужден; ничто от этого не меняется. Я верю в его виновность, как должен верить в нее каждый добрый гражданин; и буду верить до тех пор, пока установленное правосудие велит мне верить, ибо не частному лицу, но судье принадлежит право объявлять осужденного невиновным. Человеческое правосудие должно быть почитаемо даже в своих заблуждениях, неизбежно вытекающих из его несовершенной и ограниченной природы. Такие заблуждения всегда исправимы: если их не исправят судьи на земле, то исправит господь в небесах. Впрочем, я вполне доверяю генералу Гретоку; хоть, судя по внешности, этого и не скажешь, он, думается мне, умнее тех, кто на него нападает.

— Бесценный мой Корнемюз,— воскликнул благочестивый Агарик,— дело Пиро, дойдя до той стадии, когда мы, с помо-

щью господа и необходимых денежных средств, умело подчиним его своему руководству, даст весьма благотворные плоды. Оно разоблачит пороки антихристианской республики, внушив пингвинам желание восстановить престол Драконидов и прерогативы церкви. Но для этого нужно, чтобы народ видел священнослужителей в первом ряду своих защитников. Выступим против врагов армии, против тех, кто возносит хулу на героев,— и все за нами последуют.

— Все — это уж слишком много,— пробормотал конильский монах, покачивая головой.— Да, я вижу, пингвины готовы перессориться. Но если мы вмешаемся в их ссору, они помирятся за наш счет, предоставляя нам оплатить военные издержки. Нет, дорогой мой Агарик, послушайтесь меня, не вовлекайте церковь в эту авантюру.

— Вы уже знаете, как я энергичен,— теперь узнаете, как я осторожен. Я ни у кого не вызову никаких подозрений. Бесценный Корнемюз, только от вас, ни от кого другого, я хочу получить средства, необходимые для нашего участия в кампании.

Долго отказывался Корнемюз взять на себя расходы по предприятию, которое считал чреватым опасностями. Агарик то впадал в лирический пафос, то разражался гневом. Наконец, понуждаемый мольбами и угрозами, Корнемюз понурив голову поплелся в свою строгую келью, где все свидетельствовало о евангельской бедности. В стене, выбеленной известкой, под веточкой освященного букса, был вделан несгораемый шкаф. Монах со вздохом открыл его, вынул пачку ценных бумаг и неохотно, скрепя сердце протянул ее благочестивому Агарику.

— Не сомневайтесь, дорогой мой Корнемюз,— сказал тот, опуская полученную сумму в карман своей стеганой телогрейки,— сам господь бог послал нам дело Пиро, ради славы и возвышения пингвинской церкви.

— Хорошо, если бы так...— со вздохом промолвил конильский монах.

И, оставшись один в лаборатории, он с неизъяснимой печалью окинул взглядом свои печи и реторты.

ГЛАВА VI

Семьсот родичей Пиро

Семьсот родичей Пиро внушали публике все больше ненависти. Ежедневно на улицах Альки двое-трое из них подвергались нападению; одного публично выпороли; другого броси-

ли в реку; третьего вымазали дегтем, обваляли в перьях и в таком виде провели по бульварам, под веселый гогот толпы; четвертому драгунский капитан отрубил нос. Они уже не осмеливались показываться ни в клубе, ни на теннисной площадке, ни на скачках; на биржу они пробирались тайком. При этих обстоятельствах князь де Босено счел необходимым обуздать их дерзкий нрав и осадить наглецов. Поставив перед собой такую цель, он совместно с графом Клена, с г-ном де ла Трюмелем, с виконтом Оливом и с г-ном Бигуром основал большое общество антипиротистов, к которому граждане присоединялись сотнями тысяч, а солдаты — целыми ротами, полками, бригадами, дивизиями, армейскими корпусами; присоединялись целые города, округа, провинции.

В эту приблизительно пору военный министр, заглянув как-то раз к своему начальнику Генерального штаба, с удивлением обнаружил, что стены обширной комнаты, где работал генерал Пантер, еще недавно совершенно голые, заставлены до самого потолка тремя-четырьмя рядами глубоких полок с отделениями, занятыми множеством каких-то бумаг в папках разной величины и разного цвета,— внезапно возникшим чудовищным архивом, который за несколько дней вырос до размеров многовекового хранилища хартий.

— Что это такое? — спросил изумленный министр.

— Доказательства против Пиро,— с патриотическим удовлетворением ответил генерал Пантер.— У нас их не было, когда мы его судили; теперь мы исправляем это упущение.

Дверь была отворена. Греток увидел на площадке лестницы длинную вереницу носильщиков, сбрасывающих со своих крюков на пол залы тяжелые кипы бумаг. Он заметил также, глядя через их головы, что подъемник еле ползет вверх, кряхтя под тяжестью документов.

— А это это такое? — спросил министр.

— А это новые доказательства против Пиро, только что полученные,— объяснил Пантер.— Я запрашивал их по всем кантонам Пингвинии, по всем генеральным штабам и дворам европейских государей; я затребовал их из всех городов Америки и Австралии, из всех африканских факторий, я жду тюков из Бремена и грузового парохода из Мельбурна.

И Пантер, чувствуя себя героем, обратил на министра спокойный, сияющий взгляд. Но Греток, вставив в глаз монокль, разглядывал ужасающее нагромождение документов скорее с беспокойством, чем с удовлетворением.

— Все это отлично,— сказал он,— все это отлично! Но бо-

юсь, как бы дело Пиро не утратило своей прекрасной простоты. Оно было ничем не затуманено. Оно обладало драгоценной прозрачностью горного хрусталя. В нем не найти было, даже с помощью лупы, ни излома, ни трещинки, ни пятнышка — ни малейшего недостатка. Выйдя из моих рук, оно было ясно, как свет, оно само излучало свет. Я даю вам жемчужину, а вы хотите наворотить на нее целую гору. Скажу откровенно, я опасаюсь, как бы, желая сделать лучше, вы не испортили все. Доказательства! Конечно, хорошо иметь доказательства, но, быть может, еще лучше вовсе их не иметь. Я уже говорил вам, Пантер: возможно только одно-единственное неопровержимое доказательство — признание виновного (или невиновного, это все равно!). В том виде, как я построил дело Пиро, оно не допускало критики, в нем не было ни одного слабого места. Оно могло выдержать любые нападки; оно было неуязвимо, потому что скрыто от глаз. А теперь оно дает огромный материал для споров. Советую вам, Пантер, пользоваться своими документами поосторожней. Был бы вам чрезвычайно признателен, если бы вы сообщали поменьше сведений корреспондентам. Вы хорошо говорите, но говорите слишком много. Скажите, Пантер, среди этих документов есть и поддельные?

Пантер улыбнулся.

— Есть обработанные.

— Ну да, я это и имел в виду. Так, значит, есть обработанные,— тем лучше! Они-то и хороши. В качестве доказательств поддельные бумаги вообще ценней подлинных прежде всего потому, что они специально изготовлены для нужд данного дела — так сказать, на заказ и по мерке; словом, потому, что они ясны и точны; кроме того, они предпочтительней еще и из-за своей способности переносить мысли в идеальный мир, отрывая их от нашего реального мира, где, увы, ко всему примешивается столько ненужного... Все же я предпочел бы, Пантер, совсем не иметь доказательств.

Первым выступлением союза антипиротистов была просьба к правительству предать всех семьсот родичей Пиро и их сообщников чрезвычайному суду по обвинению в государственной измене. Князь де Босено, уполномоченный говорить от имени союза, выступил перед советом министров, экстренно созванным для этих переговоров, и выразил пожелание, чтобы бдительность и твердость правительства были подняты на требуемую обстоятельствами высоту. Он пожал руку каждому министру, а проходя мимо Гретока, шепнул ему в ухо:

— Смотри, не виляй, мерзавец, а то опубликую материалы Малури.

Несколько дней спустя, единодушным голосованием обеих палат по внесенному правительством одобрительному законопроекту, деятельность союза антипиротистов была признана общественно полезной.

Вскоре после этого в Дельфинию, в замок Читтерлингс, где Крюшо вкушал горький хлеб изгнания, союз отправил делегацию, уполномоченную заверить принца в любви и преданности союзников-антипиротистов.

Между тем число пиротистов все возрастало; их насчитывалось уже десять тысяч. Для своих встреч они облюбовали несколько кофеен на бульварах. У «патриотов» были свои кофейни, роскошнее и просторнее; каждый вечер с одной веранды на другую летели пивные кружки, блюдца, спичечницы, графины, стулья, столы; вдребезги разбивались зеркала; темнота, внося путаницу в ряды сражающихся, сводила на нет численное неравенство, и полицейские отряды заканчивали битву, топча без разбора и тех и других своими подошвами на железных шипах.

В одну из таких достопамятных ночей князь де Босено, в компании нескольких «патриотов», вышел из модного кабачка, и г-н де ла Трюмель указал ему на приземистого бородатого человека в пенсне, без шляпы, в сюртуке с одним только рукавом, пробирающегося по тротуару, заваленному всякими обломками.

— Смотрите,— сказал он,— это Коломбан!

Обладая большой физической силой, князь вместе с тем отличался мягкостью характера; он был человек необычайно добродушный, но при имени Коломбана вся кровь его вскипела. Он бросился к человечку в пенсне и свалил его, ударив кулаком прямо в нос.

Но тут г-н де ла Трюмель обнаружил, что, введенный в заблуждение досадным сходством, он за Коломбана принял г-на Базиля, бывшего адвоката, секретаря союза антипиротистов, пылкого и благородного «патриота». В груди князя де Босено жил непреклонный дух, достойный героев древности; однако он умел признавать свои ошибки.

— Господин Базиль,— сказал он, приподнимая шляпу,— я, правда, задел вас по лицу, но вы меня безусловно извините, поймете, одобрите, мало того — поздравите, восхвалите, восславите, когда вам станет известно, какие чувства руководили мной. Я принял вас за Коломбана!

Господин Базиль, унимая платком кровь из носа и выставив голый локоть из обрывков рукава, сухо ответил:

— Нет, милостивый государь, я не восславлю, не восхвалю, не поздравлю, не одобрю вас, так как ваши действия были, во всяком случае, излишни; я сказал бы даже — чрезмерны; нынче вечером меня уже трижды принимали за Коломбана, обходясь со мной так, как он того заслуживает. Имея в виду его, патриоты переломали мне ребра и перешибли поясницу,— я полагал, милостивый государь, что этого достаточно.

Не успел он кончить речь, как появилась кучка пиротистов и в свою очередь, обманутая роковым сходством, вообразила, что «патриоты» напали на Коломбана. Пустив в ход трости, налитые свинцом, и плетки из бычьих жил, они избили князя де Босено и его спутников, но, повергнув их полумертвыми на землю, тут же забыли об их существовании и завладели адвокатом Базилем, которого, несмотря на его гневный протест, торжественно понесли по бульварам, с возгласами: «Да здравствует Коломбан! Да здравствует Пиро!» — однако вскоре их настиг отряд полицейских, сбил с ног и поволок в участок, где адвокат Базиль, под именем Коломбана, был истоптан тяжелыми подошвами, утыканными множеством гвоздей.

ГЛАВА VII

Бидо-Кокúй и Манифлора. Социалисты

Меж тем как буря гнева и ненависти бушевала в Альке, Эжен Бидо-Кокúй, самый бедный и самый счастливый из астрономов, устроившись на старой пожарной водокачке времен Драконидов, наблюдал небо в дрянную подзорную трубу и фотографировал на испорченных пластинках движение падающих звезд. Гениальный ум его поправлял ошибки инструментов, а любовь к науке торжествовала над несовершенством приборов. Он с неугасимым пылом наблюдал за аэролитами, метеоритами и болидами, за всеми пламенеющими обломками небесных тел, за бесчисленными огненными пылинками, с чудесной быстротой проносящимися через земную атмосферу,— наградой же за труды бессонных ночей были равнодушие публики, неблагодарность правительства и неприязнь ученых корпораций. Унесшись мыслями в небесные пространства, он ничего не знал о событиях, происходивших на земной поверхности; газет он никогда не читал, а когда шел по городу, все-

цело погруженный в раздумье о ноябрьских астероидах, то не раз попадал в садовый бассейн или под колеса автобуса.

Отличаясь высоким ростом и столь же высоким умом, он уважал и себя и других, что проявлялось у него в холодной вежливости, а также в плохоньком черном сюртуке и цилиндре, придававших ему еще более щуплый и возвышенный вид. Он столовался в ресторанчике, откуда постепенно сбежали все посетители, настроенные на менее спиритуалистический лад, чем он, и лишь его салфетка, вдетая в самшитовое кольцо, сиротливо покоилась в одном из отделений ресторанной полки. Как-то вечером в этой харчевне попалась ему на глаза статья Коломбана в защиту Пиро. Щелкая пустые орехи, он прочел ее — и, охваченный изумлением, восторгом, ужасом и жалостью, сразу позабыл о своих падающих метеорах, о звездных дождях и увидел перед собою только безвинно осужденного, раскачиваемого ветром в своей клетке, на которую слеталось воронье.

С тех пор этот образ не покидал его. Целую неделю он был одержим мыслью о невинно осужденном, как вдруг однажды, выйдя из ресторанчика, увидел, что толпа граждан валит в кабачок, где происходит какое-то собрание. Он тоже вошел туда. Собрание было бурное; в прокуренном зале все галдели, поносили друг друга на чем свет стоит, тузили кулаками. Выступали пиротисты и антипиротисты, встречаемые то восторженными кликами, то бранью. В зале царило какое-то мрачное и смутное возбуждение. С отважной решимостью робкого и одинокого человека Бидо-Кокий вскочил на эстраду и проговорил сорок пять минут. Говорил он торопливо, беспорядочно, но горячо и с глубокой убежденностью математика, преданного мистической идее. Ему аплодировали. Когда он сошел с эстрады, какая-то крупная женщина неопределенного возраста, вся в красном, с победоносно развевающимися перьями на огромной шляпе, бросилась к нему, пылко и вместе с тем торжественно заключила его в объятия и сказала:

— Вы прекрасны!

В простоте душевной он решил, что ее слова, вероятно, заключают в себе долю истины.

Женщина объявила ему, что в настоящее время она целиком посвятила себя защите Пиро и прославлению Коломбана. Бидо-Кокий нашел ее возвышенной и решил, что она красива. Это была Манифлора, старая, впавшая в бедность кокотка, покинутая всеми, никому не нужная и вдруг преисполнившаяся гражданских чувств.

Она так и осталась с ним. Они пережили вместе несравненные часы в подозрительных кабачках и наскоро прибранных меблированных комнатах, в помещениях редакций, в залах для собраний и лекций. Будучи идеалистом, он упорно продолжал считать ее прелестной, хотя она предоставляла ему широкие возможности убедиться, что не сохранила решительно никаких чар ни в каком смысле и ни в малейшей степени. От былой красоты у нее только и оставалось что самонадеянное желание нравиться и надменная требовательность женщины, привыкшей к поклонению. Впрочем, справедливость требует признать, что дело Пиро, обильно порождавшее всевозможные чудеса, придало Манифлоре как бы некую гражданственную царственность и преображало ее на народных собраниях в величественный символ правосудия и истины.

Ни у кого из антипиротистов, ни у кого из защитников Гретока, ни у кого из поклонников военщины Бидо-Кокий с Манифлорой не вызывали ни проблеска иронии или смеха. Боги, в гневе своем, лишили этих людей драгоценного дара улыбки. Куртизанку и астронома всерьез обвиняли в шпионаже, в измене, в заговоре против родины. Бидо-Кокий и Манифлора на глазах вырастали в крупные фигуры благодаря своим преследователям, поносителям и клеветникам.

Уже долгие месяцы Пингвиния была разделена на два лагеря, а социалисты, сколь это ни странно на первый взгляд, все еще не решили, какую занять позицию. В их организации входили почти все люди физического труда, какие только насчитывались в стране,— неопределенная, рассеянная, расчлененная на части, лишенная единства, но грозная сила. Дело Пиро повергло главных руководителей организаций в необычайную растерянность: им одинаково не хотелось примыкать ни к финансистам, ни к военщине. Они рассматривали всех евреев, и крупных и мелкоту, как своих неизбежных противников. Дело Пиро не касалось принципов, не затрагивало их интересов. А все-таки большинство из них чувствовало, как становилось трудно уклоняться от боев, в которые вовлечена вся Пингвиния.

Их руководители собрались в помещении своей федерации на улице Чертова хвоста у церкви св. Маэля, чтобы обсудить, какого образа действий надлежит им придерживаться при нынешнем положении дел и при могущих возникнуть обстоятельствах.

Первым взял слово товарищ Феникс.

— Совершено преступление,— сказал он,— самое отвратительное и гнусное, какое только может быть,— преступление

судебное. Члены военного суда, уступив требованию или поддавшись обману со стороны своего начальства, приговорили невинного к позорному и жестокому наказанию. Не ссылайтесь на то, что их жертва — человек для нас чужой, что он принадлежит к той касте, которая была и всегда будет нам враждебна. Наша партия — партия общественной справедливости; нет такой несправедливости, к которой она может оставаться равнодушной.

Какой будет для нас позор, если мы предоставим только радикалу Керданику, буржуа Коломбану да нескольким умеренным республиканцам разоблачать преступления военщины. Пускай тот, кто стал жертвой палачей,— чужой для нас, но сами палачи — это палачи наших братьев, и прежде, чем обратить удар на военного, Греток расстреливал наших стачечников.

Товарищи, напрягите все силы — умственные, нравственные и материальные, и тогда вы вырвете Пиро из рук его мучителей; свершая это благородное дело, вы не уклонитесь в сторону от исполнения своего долга — освободительной и революционной борьбы, ибо Пиро стал символом угнетенных, а все проявления социальной несправедливости между собою связаны; уничтожая одно из них, мы ослабляем и все другие.

Когда Феникс кончил, товарищ Сапор выступил с такой речью:

— Вам советуют забыть о своих задачах и заняться делом, которое вас не касается. Но зачем вам ввязываться в схватку, если, на чью бы сторону вы ни стали, вы окажетесь среди своих прирожденных, неизбежных, заклятых врагов?! Разве финансисты менее ненавистны вам, чем военные? Чьи деньги собираетесь вы спасать — фокусников-биржевиков или паяцев-реваншистов? Что за нелепое и преступное великодушие — бросаться на помощь семистам родичам Пиро, которые всегда будут выступать против вас в социальных битвах!

Вам предлагают навести порядок в лагере ваших врагов и восстановить среди них спокойствие, поколебленное их же преступлениями. Самоотверженность, доведенная до такой степени, носит уже другое название.

Товарищи, есть предел, дальше которого подлость становится гибельной для всего общественного строя; пингвинская буржуазия задыхается от собственной подлости, а от вас требуют, чтобы вы ее спасли, очистили воздух, которым она дышит. Да ведь это насмешка над вами!

Пускай буржуазия подохнет,— мы будем с отвращением и радостью следить за ее последними судорогами, сожалея

только о том, как сильно засорена почва, на которой она возводила свое здание, и какие залежи смрадной грязи придется разворотить, чтобы заложить фундамент нового общества.

После того как Сапор кончил свою речь, выступил с кратким словом товарищ Лаперсон.

— Убеждая нас вступиться за Пиро, Феникс ссылается на то, что Пиро невиновен. Мне кажется, это очень неубедительный довод. Если Пиро невиновен, то, значит, он вел себя так, как полагается примерному офицеру, старательно исполняющему свои обязанности, которые сводятся главным образом к тому, чтобы стрелять в народ. Это не может служить для народа побудительной причиной встать на его защиту, пренебрегая любыми опасностями. Вот если мне докажут, что Пиро виновен и действительно украл армейское сено,— я готов пойти в бой за него.

Затем взял слово товарищ Лариве.

— Я не согласен со своим другом Фениксом; не согласен и со своим другом Сапором; я не считаю, что партия должна вступаться за всякого только потому, что на его стороне правда. Боюсь, это — чрезмерное увлечение словами и опасное жонглирование идеями. Ибо государственное правосудие — совсем не то, что правосудие революционное. Между ними — вечный антагонизм,— служить одному значит идти против другого. Что касается меня, то мой выбор уже сделан: я стою за революционное правосудие против правосудия государственного. И вместе с тем я в данном случае не одобряю самоустранения. Я утверждаю, что раз благоприятный случай дает нам в руки такое дело, глупо этим не воспользоваться.

Как же так? Нам представляется возможность нанести милитаризму сокрушительный — быть может, смертельный — удар, а вы хотите, чтобы я сидел сложа руки! Предупреждаю вас, товарищи,— я не факир и никогда не примкну к партии факиров; если здесь имеются факиры, пускай не рассчитывают на мое общество. Созерцать собственный пуп — это бессмысленная политика, я отказываюсь придерживаться ее.

Такая партия, как наша, должна непрерывно утверждать себя; она должна напоминать о своем существовании постоянной деятельностью. Мы вмешаемся в дело Пиро, но вмешаемся по-революционному; мы прибегнем к насилию... Вы думаете, насилие — старый способ, устарелое изобретение, отжившее свой век вместе с дилижансами, ручными печатными станками и оптическим телеграфом? Заблуждаетесь! В настоящее время, как и прежде, ничего нельзя достигнуть без насилия; это очень

действенный способ,— надо только уметь им пользоваться. Какова же наша задача? А вот какова: мы должны восстанавливать правящие классы один против другого, сталкивать армию с финансовым миром, правительство — с судебным ведомством, дворянство и духовенство — с евреями; подстрекать их при всяком удобном случае ко взаимному уничтожению; поддерживать возбужденное состояние, которое ослабляет любую государственную власть, как лихорадка истощает больного.

Если только умело воспользоваться делом Пиро, оно ускорит на десять лет рост социалистической партии и освобождение пролетариата, которое будет достигнуто путем разоружения, всеобщей стачки и революции.

После того как руководители партии высказали столь разноречивые мнения, дискуссия продолжалась — и не без резкостей; ораторы, как всегда это бывает, обращались снова и снова к тем же самым аргументам, только излагали их все беспорядочней и прямолинейней. Спорили очень долго, но никто никого не переубедил. А все позиции в конечном счете сводились только к двум: позиции Сапора и Лаперсона, рекомендовавших самоустранение, или позиции Феникса и Лариве, призывавших ко вмешательству. Да и представителей этих двух противоположных позиций объединяла ненависть к высшим военным чинам с их правосудием и вера в невиновность Пиро. Таким образом, общественное мнение нисколько не ошиблось, считая всех руководителей социалистических организаций опаснейшими пиротистами.

Что касается широкой массы, от чьего имени они выступали и чьи суждения выражали — насколько вообще слово может передать нечто по существу невыразимое,— короче говоря, что касается пролетариев, мысль которых так трудно узнать, ибо она еще не осознала сама себя, что касается пролетариев, то дело Пиро вовсе их не интересовало. Оно было для них делом слишком литературным, слишком классического стиля, с привкусом чего-то присущего крупной буржуазии и финансистам, который пролетариям очень не нравился.

ГЛАВА VIII

Процесс Коломбана

Когда начался процесс Коломбана, пиротистов насчитывалось немногим более тридцати тысяч; но они были повсюду, попадались даже среди священников и военных. Что им боль-

ше всего вредило, так это симпатия крупных еврейских дельцов. В малочисленности же пиротистов, напротив, заключены были драгоценные преимущества — и прежде всего то, что они насчитывали в своих рядах меньше дураков, чем их противники, у которых последние водились в чрезмерном изобилии. Крайне незначительный состав группы позволял пиротистам легко договариваться друг с другом и действовать согласованно, избегая раздоров и разнобоя; каждый чувствовал необходимость вести себя солидно и держаться с тем бóльшим достоинством, чем больше он чувствовал себя на виду. Словом, все позволяло думать, что к ним будут примыкать новые последователи, меж тем как их противникам, сначала собравшим целые толпы, неизбежно грозило все уменьшаться в числе.

Представ перед своими судьями на публичном заседании, Коломбан сразу заметил, что они не отличаются любознательностью. Стоило ему открыть рот, как председательствующий приказывал ему замолчать в видах соблюдения государственной тайны. Исходя из тех же высших, непререкаемых соображений, суд не стал допрашивать свидетелей защиты. Начальник Генерального штаба Пантер давал показания в полной парадной форме, при всех орденах. Он заявил следующее:

— Мерзавец Коломбан утверждает, что у нас нет доказательств против Пиро. Это ложь, они у нас есть; у меня в архиве они занимают семьсот тридцать два квадратных метра, что, считая по пятисот килограммов на метр, составит в целом триста шестьдесят шесть тысяч килограммов.

Затем высокопоставленный военный с изящной легкостью дал характеристику всех доказательств. В общих чертах объяснения его сводились к следующему:

— Мы располагаем против Пиро документами всех цветов и оттенков; на бумаге всевозможного формата, как-то: «горшок», «венец», «щит», «виноград», «голубятня», «большой орел» и так далее. Самый маленький документ представляет собою листочек размером меньше одного квадратного миллиметра. Самый большой имеет семьдесят метров в длину и ноль метров девяносто сантиметров в ширину.

При этом разоблачении публика содрогнулась от гнева.

В качестве свидетеля выступил также Греток. Сохраняя во всем своем облике больше простоты и, быть может, больше величия, он стоял перед судейским столом в старом сером сюртуке, заложив руки за спину.

— Возлагаю на господина Коломбана,— сказал он спокойно, почти не повышая голоса,— всю ответственность за его по-

ступок, из-за которого наша страна оказалась на волосок от гибели. Дело Пиро составляет государственную тайну, оно должно сохраняться в тайне. Если его разгласить, то самые жестокие беды, войны, разграбление, опустошение, пожары, убийства, новальные болезни — все это тотчас обрушится на Пингвинию. Я счел бы себя государственным изменником, если бы позволил себе добавить к сказанному хоть одно слово.

Некоторые лица, известные своей политической опытностью,— в частности, г-н Бигур,— нашли показания военного министра более искусными и более ценными, чем показания начальника Генерального штаба.

Сильное впечатление произвели сведения, сообщенные полковником де Буажоли.

— Как-то на вечере в военном министерстве,— сказал этот свидетель,— военный атташе одной соседней державы признался мне, что однажды, проходя по конюшням своего государя, он был восхищен сложенным там сеном, мягким, ароматным, красивого зеленого оттенка,— самым великолепным сеном, какое ему когда-либо приходилось видеть. «Откуда же оно было?» — спросил я его. Он уклонился от ответа. Но у меня не возникло ни малейших сомнений относительно происхождения сена. Это было сено, украденное Пиро. Зеленый цвет, мягкость и ароматность — признаки нашего национального сена! У соседней державы фураж — серого цвета и очень ломок; он хрустит на вилах и пахнет пылью. Вывод ясен каждому.

Полковник Астен заявил суду под улюлюканье публики, что не считает Пиро виновным. Тотчас же схваченный жандармами, он был брошен в тюремное подземелье, полное жаб, гадюк и толченого стекла, что, однако, не заставило его поддаться ни на обещания, ни на угрозы.

Судебный пристав вызвал нового свидетеля:

— Граф Пьер Мобек де ла Дандюленкс!

Воцарилось глубокое молчание, и к месту для свидетелей направился основательно потрепанный, но величественный аристократ — усы грозно торчали к небу, рыжие глаза метали молнии.

Он приближается к Коломбану и, глядя на него с непередаваемым презрением, произносит:

— Вот мое показание: ты дерьмо!

При этих словах зал разразился восторженными аплодисментами; все вскочили, охваченные одним из тех порывов, что воспламеняют сердца и вдохновляют на великие подвиги. Не прибавив ни слова, граф Мобек де ла Дандюленкс удалился.

Его приверженцы потянулись за ним торжественной свитой. Склонившись к его ногам, княгиня де Босено в страстном исступлении охватила руками его бедра. Он шествовал, невозмутимый и мрачный, осыпаемый целым дождем цветов и носовых платочков. Судорожно обняв его за шею, виконтесса Олив повисла на нем так, что ее нельзя было оторвать, и спокойный герой унес ее на груди своей, словно легкий шарф.

Когда судебное заседание, по необходимости прерванное, наконец возобновилось, председательствующий предоставил слово экспертам.

Знаменитый эксперт по рукописным материалам Вермийяр доложил о результатах своего исследования.

— Внимательно изучив бумаги Пиро, отобранные при обыске,— сообщил он,— особенно его книги домашних расходов и списки грязного белья, отдаваемого в стирку, я установил, что под видом самых банальных записей они заключают в себе не поддающуюся пониманию криптограмму, ключ к которой я, однако, нашел. По этому шифровальному коду, слова: «Три кружки пива и Адели двадцать франков» — означают: «Я поставил тридцать тысяч копен сена одной соседней державе». По документам я мог даже установить состав сена, похищенного этим офицером,— так, слова: «сорочка», «жилет», «кальсоны», «носовые платки», «воротнички», «рюмка настойки», «табак», «сигары» — означают клевер, метлицу, люцерну, синеголовник, овес, куколь, душицу и луговой аржанец. А именно эти пахучие травы и входили в состав ароматного сена, купленного у графа Мобска для пингвинской кавалерии. Этим способом и вел Пиро запись своих преступлений, надеясь, что никто ее никогда не расшифрует. Просто поразительно, как такое коварство может сочетаться с такой наивностью.

Коломбан, признанный виновным без смягчающих вину обстоятельств, был приговорен к самому высшему наказанию. Присяжные тут же подписали ходатайство о строгом исполнении приговора.

На Судебной площади, у реки, берега которой за двенадцать веков видели столько великих исторических событий, гудела пятидесятитысячная толпа, ожидая оглашения приговора. Там нервно расхаживали взад и вперед руководители союза антипиротистов, среди которых можно было заметить князя де Босено, графа Клена, виконта Олива, г-на де ла Трюмеля; там теснились преподобный отец Агарик и учителя школы св. Маэля со всеми своими учениками; там отец Дуйяр и генералиссимус Карагель, обнявшись друг с другом, представля-

ли собой величественную группу, а со Старого моста бежали торговки и прачки с вертелами, совками, щипцами, вальками для белья и котелками щелочной воды; у бронзовых дверей, на ступенях, собрались все, какие только были в Альке, защитники Пиро — профессора, публицисты, рабочие, кто — консервативных, кто — радикальных или революционных убеждений, и среди них по небрежному костюму и грозному облику можно было сразу узнать товарищей Феникса, Лариве, Лаперсона, Дагобера и Варамбиля.

Затянутый в свой траурный сюртук, с церемонным цилиндром на голове, Бидо-Кокий взывал к математике чувств, защищая Коломбана и полковника Астена. На верхней ступени лестницы, улыбающаяся и грозная, сияла Манифлора, героическая куртизанка, жаждущая заслужить себе памятник, подобно Леене, либо, подобно Эпихариде, оставить по себе славную память в истории.

Семьсот родичей Пиро, переодевшись продавцами лимонада, разносчиками, подбирателями окурков, антипиротистами, бродили вокруг обширного здания.

Как только Коломбан появился в дверях, поднялся шум, вызвавший такое сотрясение в воздухе и воде, что птицы попадали с деревьев, а рыбы в реке всплыли на воду кверху брюхом. Со всех сторон вопили:

— В воду Коломбана, в воду! В воду его!

Сквозь этот вой послышалось несколько голосов:

— Правосудие, истина!

Кто-то гневно выкрикнул даже:

— Долой армию!

Это послужило сигналом для чудовищной свалки. Сражающиеся падали тысячами; человеческие тела валились друг на друга, образуя ревущие и движущиеся холмы, на которых новые бойцы хватали друг друга за горло. Воспламененные страстью борьбы, растрепанные бледные женщины, готовые, не помня себя, исступленно царапаться, набрасывались в бешенстве на какого-нибудь мужчину, и неистовство придавало их лицам при ярком дневном свете на городской площади то восхитительное выражение, которое обычно можно подметить в тени постельного полога, на смятой подушке. Вот-вот они уже схватят Коломбана, вопьются в него зубами, задушат его, четвертуют, разорвут на части, оспаривая друг у друга кровавую добычу,— но тут, величавая, целомудренная в своей красной тунике, предстаст перед этим фуриями спокойная и грозная Манифлора, и

они отступают, объятые страхом. Казалось, Коломбан уже спасен; его приверженцам удалось проложить ему путь через площадь и усадить в извозчичью пролетку, стоявшую у Старого моста. Уже лошадь пустилась рысью, но князь де Босено, граф Клена и г-н де ла Трюмель стащили извозчика с козел; затем, осаживая лошадь так, что колеса двигались задним ходом, они докатили пролетку до самых перил моста и там под аплодисменты беснующейся толпы сбросили ее вместе с лошадью и седоком в реку. Раздался звонкий, веселый плеск, взметнулся сноп воды — и на блестящей речной поверхности осталась только чуть приметная рябь.

Не долго думая, товарищи Дагобер и Варамбиль, с помощью семисот переодетых родичей Пиро, сбросили с моста князя де Босено, и тот самым жалким образом плюхнулся в старую лодку, служившую прачкам при полосканье белья.

Тихая ночь спустилась на площадь, проливая мир и тишину над следами отвратительного побоища. Между тем в трех километрах ниже по течению, под другим мостом, сидя на корточках невдалеке от искалеченной извозчичьей клячи, Коломбан, промокший насквозь, размышлял о невежестве и несправедливости толпы.

«Дело это,— подумал он,— еще труднее, чем мне казалось. Надо предвидеть новые осложнения».

Он встал и подошел к несчастному животному.

— Ты-то что сделал им, дружок? — сказал он.— Это из-за меня они так с тобою расправились!

Он обнял злополучного конягу за шею и поцеловал его в белое пятно на лбу. Потом взял его за повод и, сам хромая, повел хромую лошадь по улицам спящего города к себе домой, где сон помог им обоим позабыть о людях.

ГЛАВА IX

Отец Дуйяр

В бесконечной кротости своей, по указанию отца всех верующих, епископы, каноники, священники, викарии, аббаты и приоры Пингвинии постановили отслужить в Алькском соборе торжественный молебен, дабы испросить у милосердного бога прекращения смуты, раздирающей одну из благороднейших стран христианского мира, и вымолить для кающейся Пингвинии прощение грехов, совершенных ею против господа и его священнослужителей.

Молебен состоялся пятнадцатого июня. Генералиссимус Карагель со своим штабом занимал почетное место. Собралась многочисленная и блестящая публика; по выражению г-на Бигура, это была толпа, но вместе с тем люди избранные. В первом ряду можно было видеть г-на де Бертозейя, камергера его высочества принца Крюшо. Подле церковной кафедры, с которой должен был говорить преподобный отец Дуйяр, монах ордена св. Франциска, стояли в сосредоточенно спокойной позе, опершись обеими руками на свои дубинки, сановные руководители союза антипиротистов — виконт Олив, г-н де ла Трюмель, граф Клена, герцог Ампульский, князь де Босено. Отец Агарик с наставниками и воспитанниками школы св. Маэля расположился у престола. Офицерам и солдатам в военной форме отведено было место около клироса, в боковом приделе, притом — правом, как более почетном, ибо господь, умирая на кресте, склонил голову на правую сторону. Великосветские дамы, и среди них графиня Клена, виконтесса Олив, княгиня де Босено, сидели на хорах. Огромное пространство между колоннами и всю соборную площадь заполнили двадцать тысяч монахов всевозможных орденов и тридцать тысяч мирян.

После искупительного и очистительного моления преподобный отец Дуйяр взошел на кафедру. Произнесение проповеди первоначально поручено было преподобному отцу Агарику; но потом, несмотря на его заслуги, решили, что он все же не в достаточной степени обладает тем рвением и ученостью, которых требуют обстоятельства, и предпочли красноречивого капуцина, уже полгода проповедующего по казармам, клеймя неповиновение господу и начальству.

Преподобный отец Дуйяр, избрав темой для проповеди слова: «Deposuit potentes de sede» [1], установил, что всякая светская власть исходит от бога, в коем начало и конец ее, и что она сама себя губит и уничтожает, отвращаясь от пути, предначертанного ей промыслом божиим, и от цели, предуказанной им.

Применяя этот священный закон к пингвинскому правительству, он нарисовал страшную картину бедствий, постигших страну из-за того, что государственная власть оказалась не способной ни предвидеть их, ни бороться с ними.

— Вам, братья мои, слишком хорошо известен главный виновник всех несчастий и унижений,— сказал он,— это чудовище, само имя которого оказалось пророческим, ибо происходит от греческого слова «πῦρ», означающего огонь,— так господь

[1] Низвергнул власть имущих с престола *(лат.)*.

бог, в премудрости своей, которой не чужда бывает и филология, предупреждал нас с помощью этимологического смысла этого имени, что еврей зажжет пожар в стране, давшей ему приют.

Он изобразил родину терзаемой врагами, которые были и врагами церкви, и восклицающей на своей Голгофе: «О горе! О слава! Распявшие господа моего — ныне меня распинают».

При этих словах все содрогнулись.

Негодование слушателей еще возросло, когда страстный оратор напомнил о надменном Коломбане, запятнавшем себя такими преступлениями, что их не смоют все воды поглотившей его реки. Он перечислил унижения и опасности, постигшие Пингвинию, и за все это, вместе взятое, возложил вину на президента республики и на премьер-министра.

— Этот министр,— сказал он,— проявил позорную трусость, не решаясь истребить семьсот родичей Пиро купно с их союзниками и заступниками, подобно тому как Саул истребил филистимлян в Гаваоне,— а потому он недостоин осуществлять власть, данную ему от бога, и отныне каждый добрый гражданин может и должен предавать поношению его столь презренное владычество. Небеса будут благосклонно взирать на его ругателей. Deposuit potentes de sede. Господь бог сместит малодушных правителей и на их место возведет сильных людей, которые будут творить волю его. Возвещаю вам, господа, возвещаю вам, офицеры, унтер-офицеры и солдаты, внимающие мне, возвещаю вам, генералиссимус пингвинской армии, всем возвещаю: час настал! Если вы ослушаетесь велений господа, если во имя его не сместите недостойных властителей, если не образуете в Пингвинии сильного правительства, приверженного религии,— то бог и без того уничтожит все, что он осудил, он и без того спасет народ свой, спасет его помимо вас, избрав вершителем воли своей какого-нибудь скромного ремесленника или простого капрала. Не упускайте срока! Торопитесь!

Возбужденные этим пламенным увещанием, шестьдесят тысяч собравшихся поднялись как один, охваченные трепетом; зазвучали возгласы: «К оружию! К оружию! Смерть пиротистам! Да здравствует Крюшо!» — и все — монахи, женщины, военные, дворяне, буржуа, лакеи,— благословляемые с престола истины небесной десницею, бурно устремились из храма, распевая гимн «Пингвинию спасайте!», и двинулись по речной набережной на палату депутатов.

Оставшись один в опустелом соборе, мудрый Корнемюз, воздев руки к небесам, пробормотал срывающимся от волнения голосом:

— Agnosco fortunam ecclesiae pinguicanae[1]. Мне слишком ясно, куда это все приведет нас.

Нападение боговдохновенной толпы на палату депутатов было отбито. Под натиском жандармов и городской стражи осаждающие обратились в беспорядочное бегство, а подоспевшие из предместий товарищи, во главе с Фениксом, Дагобером, Лаперсоном и Варамбилем, бросились на них и окончательно их разбили. Г-на де ла Трюмеля и герцога Ампульского потащили в участок. Князь де Босено после отважного сопротивления упал с разбитой головой на окровавленную мостовую.

Воодушевленные победой, товарищи из предместий вперемежку с бесчисленными уличными газетчиками всю ночь ходили по бульварам, триумфально неся на руках Манифлору, а по пути разбивая окна кофеен и уличные фонари, с криками: «Долой Крюшо! Да здравствует социальная республика!» Антипиротисты, в свою очередь, опрокидывали газетные киоски и тумбы с театральными афишами.

Подобным зрелищем не мог бы восторгаться холодный разум, и оно способно было огорчить эдилов, озабоченных соблюдением общественного порядка на дорогах и улицах... Но еще с большей грустью честные люди смотрели на лицемеров, которые, опасаясь неприятностей, держались на равном расстоянии от обоих станов и, при явном своем эгоизме и трусости, еще хотели, чтобы все восхищались их высокими чувствами и душевным благородством; они натирали себе глаза луком, плаксиво кривили рот, сморкались на контрабасных нотах и каким-то утробным голосом стенали: «О пингвины, прекратите братоубийственные битвы, перестаньте терзать материнскую грудь, вскормившую вас!..» — как будто человеческое общество может существовать без споров и ссор и как будто гражданские распри не являются необходимым условием национальной жизни и прогресса общественной нравственности; они, эти лицемерные ничтожества, уговаривали правых и неправых пойти между собой на компромисс и оскорбляли таким образом правых в их правоте, а неправых — в их отваге. Один из таких людишек, богатый и влиятельный Машимель, великолепный экземпляр труса, вознесся над городом каким-то колоссом скорби; пролитые им слезы образовали у ног его целые пруды, где уже завелись рыбы и плавали рыбачьи лодки, то и дело опрокидываемые его вздохами.

---

[1] Вижу судьбу церкви пингвинской *(лат.)*.

В эти бурные ночи, сидя под ясным небом на верхушке своей старой водокачки и регистрируя на фотографических пластинках падающие звезды, Бидо-Кокий гордился собою в сердце своем. Он сражался за справедливость; он любил и был любим возвышенной любовью. Оскорбления и клевета возносили его выше облаков. Карикатуры на него, вместе с карикатурами на Коломбана, Керданика и полковника Астена, можно было видеть во всех газетных киосках; антипиротисты распространяли слух, будто он получил пятьдесят тысяч франков от крупных еврейских финансистов. Репортеры милитаристских листков запрашивали мнения о его научной компетентности у представителей официальной науки, которые отказывали ему в каких-либо астрономических познаниях, оспаривали самые основательные его наблюдения, отрицали самые убедительные открытия, отвергали самые остроумные и плодотворные гипотезы. Он ликовал, подвергаясь этим лестным нападкам врагов и завистников.

Созерцая внизу, у ног своих, огромное черное пространство, усеянное множеством огней, он не думал обо всем том, чем полна ночь в большом городе,— о тяжелом сне, свалившем усталых людей, о жестокой бессоннице, о лживых грезах, о всегда чем-нибудь отравленных наслаждениях и о бесконечно разнообразных страданиях. Он возвращался мыслью только к одному: «Вот в этом громадном городе правда сражается с неправдой».

И, подменяя сложную и низменную действительность простой и возвышенной поэзией, образно представлял себе дело Пиро как битву ангелов с демонами. Он верил в вечное торжество сынов света и радовался, что сам он, чадо ясного дня, повергал наземь исчадия ночи.

ГЛАВА X

Советник Шоспье

Прежде ослепленные страхом, легкомысленные и недогадливые теперь, республиканцы, встретившись лицом к лицу с бандами капуцина Дуйяра и сторонниками принца Крюшо, почувствовали, что у них открылись глаза, и поняли наконец истинную суть дела Пиро. Депутаты, которые два года, заслышав рев толпы «патриотов», бледнели от испуга, не стали, правда, храбрее, но трусили уже по-иному — и принялись обвинять правительство Робена Медоточивого во всех тех беспорядках, каким сами потакали, глядя на них сквозь пальцы и даже иной раз трусливо поздравляя их виновников; они укоряли Робена Ме-

доточивого в том, что он навлек опасность на республику своими нерешительными действиями, в которых они сами были повинны, и снисходительностью, которой сами требовали; некоторые из них начинали уже подумывать, не выгоднее ли поверить в невиновность Пиро, чем в его преступность, и с тех пор стали испытывать жестокую печаль при мысли о том, что, быть может, этот несчастный осужден несправедливо и, высоко подвешенный в своей клетке, искупает чужое преступление. «Я из-за этого по ночам не сплю»,— говорил депутатам, представлявшим большинство, каждому по секрету, министр Гиймет, рассчитывая занять место своего начальника.

Эти благородные законодатели свалили правительство, и на место Робена Медоточивого президент республики назначил присяжного республиканца с роскошной бородой — некоего Ла Тринитэ, который, подобно большинству пингвинов, ровно ничего не понимал в деле Пиро, но считал, что в дело это, по правде говоря, слишком уж суются монахи.

Генерал Греток, перед тем как покинуть министерский пост, дал последнее наставление начальнику Генерального штаба Пантеру.

— Я ухожу, а вы остаетесь,— сказал он, пожимая ему руку.— История с Пиро — мое детище; передаю ее теперь вам, она достойна вашей любви, она прекрасна. Помните, что ее красота требует тени, ей нравится тайна и она не любит сбрасывать покровы. Щадите ее стыдливость. Уж и так слишком много нескромных взглядов оскверняло ее прелести... Вы хотели доказательств, Пантер, и вы их получили. У вас их много, слишком много. Предвижу наглые попытки вмешательства и настояния опасного любопытства. На вашем месте я изорвал бы все эти бумаги в клочки. Поверьте мне: лучший способ доказательства — не иметь доказательств. Тогда никто и оспаривать их не будет.

Увы, генерал Пантер не оценил всей мудрости этих советов. Будущее слишком хорошо подтвердило проницательность Гретока. Не успел Ла Тринитэ занять пост премьера, как тотчас же затребовал к себе материалы по делу Пиро. Но военный министр его Пениш отказался представить их из высших соображений национальной безопасности, доверительно сообщив ему, что одни только материалы, находящиеся под охраной генерала Пантера, составляют самый обширный архив на свете. Ла Тринитэ изучил процесс, как мог, и, даже не расследовав его досконально, все-таки заподозрил в нем нарушение законности. Тогда, пользуясь своими правами и прерогативами, он

отдал приказ о его пересмотре; в ответ на это военный министр Пенин тут же обвинил его в оскорблении армии и в измене родине и швырнул ему свой портфель. Назначили другого министра, который вел себя точно так же; его сменил третий, последовавший примеру двух первых; и все следующие, до семидесятого включительно, действовали, как их предшественники,— так что почтенному Ла Тринитэ оставалось только стенать под ударами доблестных портфелей. Семьдесят первый военный министр, Ван-Жюлеп, остался при исполнении своих обязанностей не потому, чтобы расходился со столь многочисленными и благородными своими коллегами, но потому, что они дали ему поручение великодушно предать председателя совета министров, покрыть его стыдом и позором и обратить пересмотр дела Пиро к вящей славе Гретока и удовлетворению антипиротистов, к выгоде для монахов и на пользу реставрации принца Крюшо.

Генерал Ван-Жюлеп, обладая высокими военными дарованиями, не был наделен достаточно гибким умом, чтобы пользоваться хитроумными способами и изощренными приемами Гретока. Он думал, подобно генералу Пантеру, что нужны осязаемые улики против Пиро, и чем больше, тем лучше, так что, сколько их ни собрать, всегда будет мало. Он высказал эти мысли своему начальнику Генерального штаба, а тот, разумеется, отнюдь не склонен был возражать.

— Наступает такое время, Пантер,— сказал министр,— когда нам потребуются обильные и сверхобильные доказательства!

— Слушаюсь, генерал,— ответил Пантер.— Я немедленно пополню свой архив.

Через полгода доказательства против Пиро занимали два этажа военного министерства, под тяжестью документов провалился пол, и хлынувшая бумажная лавина раздавила двух начальников отделения, четырнадцать столоначальников и шестьдесят письмоводителей, занятых в нижнем этаже разработкой вопроса о новом образце гетр для егерских полков. Пришлось подпереть стены обширного здания. Прохожие с изумлением смотрели на огромные бревна, чудовищные подпоры, которые были наклонно уставлены в некогда великолепную фасадную стену, ныне рассевшуюся и шаткую, и загромождали улицу, мешая движению экипажей и пешеходов и служа препятствием для автобусов, разбивавшихся о них в лепешку вместе со своими пассажирами.

Судьи, вынесшие обвинение Пиро, были, в сущности, не судьи, а военные. Судьи, вынесшие обвинение Коломбану, были

действительные судьи, но судьи мелкие, облаченные в старые черные балахоны, как церковные подметальщики,— жалкие судьи, тощие от голода судьишки. Над ними возвышались великие судьи, в красных тогах и горностаевых мантиях. Стяжав известность своими знаниями и глубиной суждения, они заседали в суде, при одном упоминании которого возникала картина, говорившая о грозной власти: кассационный суд обладал правом *пресекать* судебные решения, а потому представлялся в виде огромной секиры, нависшей над приговорами и решениями всех других инстанций.

Один из этих великих судей в красном, составлявших высшее судилище, г-н Шоспье, вел тогда скромную и спокойную жизнь в алькском предместье. Он был чист душою, честен сердцем и справедлив рассудком. Каждый день, окончив изучение судебных дел, он играл на скрипке и поливал свои гиацинты. По воскресеньям он обедал у соседок, девиц Эльбивор. Г-н Шоспье был стар, но это был приятный и бодрый старик, и друзья восхищались его добродушным характером.

Однако за последние несколько месяцев он стал раздражительным и хмурым, а когда развертывал газету, полное розовое лицо его мучительно морщилось и багровело от гнева. Причиной тому был Пиро. Судебный советник Шоспье понять не мог, как это офицер мог решиться на такое черное дело — продать восемьдесят тысяч копен сена, военного фуража, соседней враждебной державе; а еще меньше понимал он, как такой преступник мог найти в Пингвинии столько услужливых защитников. Мысль о том, что на его родине существуют всякие Пиро, полковники Астены, Коломбаны, Керданики, Фениксы, омрачала для него и красоту гиацинтов, и игру на скрипке, омрачала небо, и землю, и всю природу, и обеды его у девиц Эльбивор.

И случилось так, что когда министр юстиции представил дело Пиро на рассмотрение в верховное судилище, то именно судебному советнику Шоспье поручено было ознакомиться с материалом судебного производства и обнаружить нарушения законности, буде они имеются. Хотя он и был в высшей степени справедлив и неподкупен, хотя за долгие годы привык вершить судебные дела без лицеприятия,— все же он готовился найти в передаваемых ему документах доказательства неоспоримой виновности и явной преступности Пиро. После многочисленных затруднений и упорных отказов со стороны генерала Ван-Жюлепа советник Шоспье добился наконец доступа ко всем бумагам. Когда они были пронумерованы и зарегистрированы, то оказалось, что общее их число составляет четырнадцать миллио-

нов шестьсот двадцать шесть тысяч триста двенадцать. Приступив к их изучению, советник был сначала смущен, затем удивлен, затем изумлен, затем поражен, затем ошеломлен и, наконец, если можно так выразиться, умопотрясен. Он находил в папках объявления галантерейных магазинов, газеты, картинки модных журналов, бумажные мешки из бакалейной лавки, старую торговую корреспонденцию, школьные тетрадки, дерюгу, наждачную бумагу для чистки паркета, игральные карты, чертежи, шесть тысяч экземпляров «Сонника», но не обнаружил ни одного документа, который бы имел хоть какое-либо касательство к Пиро.

ГЛАВА XI

Завершение

Судебный приговор был кассирован, и Пиро выпущен из своей висячей клетки. Но антипиротисты не признавали себя побежденными. Военный суд снова привлек Пиро к ответственности. В этом втором процессе Греток превзошел самого себя. Он добился вторичного обвинительного приговора; он добился его, заявив, что документы, представленные в высшую инстанцию, ничего не стоят, так как от представления действительно ценных пришлось воздержаться из-за их секретного характера. По мнению знатоков, никогда еще он не проявлял такой ловкости. Когда он покинул зал суда и среди любопытствующей публики, спокойным шагом, заложив руки за спину, проходил по вестибюлю, какая-то женщина в красном, под черной вуалью, опущенной на лицо, бросилась к нему и, занеся кухонный нож, воскликнула:

— Умри, мерзавец!

То была Манифлора. Прежде чем присутствующие поняли, что̀ происходит, генерал схватил ее за запястье и, соблюдая полное спокойствие, так сильно сжал его, что рука Манифлоры от боли выпустила нож.

Он поднял его и с поклоном протянул Манифлоре.

— Сударыня, вы уронили предмет домашней утвари,— сказал он.

Героиню отвели в участок, хотя Греток и просил этого не делать, но вскоре он уговорил отпустить ее, а затем, употребив все свое влияние, настоял на прекращении судебного преследования.

Вторичное осуждение Пиро было последней победой Гретока.

Советник Шоспье, прежде так любивший военных и питавший такое уважение к их судам, теперь, разъяренный против военных судей, расщелкивал в кассационном порядке одно за другим все их решения, как обезьяна щелкает орехи. Он вторично добился оправдания Пиро; а если бы понадобилось, добился бы в пятисотый раз.

Взбешенные тем, что проявляли такую трусость и, поддавшись обману, допустили издевательства над собою, республиканцы обратили свой гнев на монахов и священников; депутаты издали против них законы об изгнании, об отделении церкви от государства и конфискации церковных имуществ. Случилось то, что предвидел отец Корнемюз. Этого славного монаха прогнали из Конильского леса. Агенты налогового управления отобрали в казну его перегонные кубы и реторты, а приемщики поделили между собой бутыли с ликером св. Орброзы. Благочестивый винокур потерял на этом три с половиной миллиона франков годового дохода, которые доставляло его скромное предприятие. Отец Агарик отправился в изгнание, передав свою школу в руки мирян, оказавшихся неспособными предотвратить ее упадок. Отделенная от государства, бывшего для нее питательной почвой, пингвинская церковь увяла, как срезанный цветок.

Одержав победу, защитники невинно осужденного передрались между собою, преследуя друг друга оскорблениями и клеветой. Запальчивый Керданик набросился на Феникса, готовый его растерзать. Крупные еврейские финансисты и семьсот родичей Пиро с презрением отвернулись от товарищей социалистов, которых еще недавно смиренно умоляли о помощи.

— Мы вас знать не хотим,— говорили они.— Оставьте нас в покое с вашей социальной справедливостью. Социальная справедливость — в том, чтоб защищать богатство.

Избранный депутатом и став во главе нового большинства, товарищ Лариве был выдвинут палатой и общественным мнением на пост председателя совета министров. Он проявил себя как энергичный защитник военных судов, вынесших обвинительный приговор по делу Пиро. Когда его старые товарищи — социалисты потребовали немного больше справедливости и свободы для государственных служащих и работников физического труда, он красноречиво выступил против их предложений.

— Свобода — не значит своеволие. Надо выбирать между порядком и беспорядком, и я сделал выбор: революция — это насилие; у прогресса нет врага опаснее, чем насилие. Насилием ничего нельзя добиться. Господа, если вы, подобно мне, хотите

реформировать республику, то прежде всего вы должны стараться исцелить ее от этих волнений, которые ослабляют правительство, как лихорадка истощает больных. Наступила пора обеспечить спокойствие порядочным людям.

Речь была покрыта аплодисментами. Республиканское правительство осталось под контролем крупных финансовых компаний, по-прежнему деятельность армии посвящена была исключительно защите капитала, флот предназначался единственно для того, чтобы обеспечивать металлургов заказами; так как богачи не желали вносить справедливую долю налогов, то бедняки по-прежнему платили за них.

Между тем Бидо-Кокий с грустью смотрел со своей пожарной вышки, под сонмом ночных светил, на уснувший город. Манифлора его покинула; терзаемая жаждой новых привязанностей и новых жертв, она уехала с каким-то молодым болгарином в Софию, чтобы отдать там силы свои делу справедливости и мщения. Бидо-Кокий не жалел о ней, так как после окончания дела Пиро она ни внешне, ни внутренне уже не казалась ему такой прекрасной, какой он представлял себе ее раньше. Так же переоценил он внешний вид и внутреннее содержание многого другого вокруг. И, что было горше всего, он и самого себя считал теперь не таким великим и не таким прекрасным, как ему думалось раньше.

«Ты мнил себя великим,— размышлял он,— а ты был всего лишь чистосердечным и желал добра. Чем ты так кичился, Бидо-Кокий? Тем, что один из первых догадался о невиновности Пиро и гнусности Гретока? Но ведь три четверти тех, кто защищал Гретока от нападений семисот родичей Пиро, знали это лучше, чем ты. Не в том было дело. Так чем же ты так гордился? Тем, что осмелился высказать свое мнение? Но ведь это проявление гражданского мужества, а оно, подобно мужеству военному, не что иное, как результат неосторожности. Ты был неосторожен. Это хорошо, но еще не дает тебе права особенно хвалиться. Неосторожность твоя была незначительна — она подвергала тебя лишь небольшим опасностям, ты не рисковал головой. Пингвины утратили ту жестокую и кровожадную отвагу, которая встарь придавала их революциям некое трагическое величие. Это — роковое следствие развившейся у них слабости убеждений и характеров. То обстоятельство, что в известном вопросе ты проявил чуть больше проницательности, чем толпа, дает ли основание считать тебя выдающимся мыслителем? Боюсь, Бидо-Кокий, что ты, напротив, обнаружил полную неспособность понять условия умственного и нравственного раз-

вития народов. Ты воображал, будто проявления общественной несправедливости нанизаны, как жемчужины, на одну общую нить и стоит вырвать одну, как рассыплются все остальные. Но ведь это чрезвычайно наивное представление! Ты тешил себя мыслью, что одним ударом восстановишь справедливость в своей стране и во всем мире. Ты выказал себя порядочным человеком, честным идеалистом, хоть и не очень сведущим в экспериментальной философии. Но, заглянув в себя поглубже, ты должен будешь признать, что действовал не без задней мысли и, при всей своей наивности, немного хитрил. Ты надеялся сделать выгодное дельце в области морали. Ты думал: «Вот проявлю раз и навсегда справедливость и мужество. После этого можно будет успокоиться, обеспечив себе общественное уважение и почетное место в истории». А теперь, утратив иллюзии, теперь, узнав, как трудно исправлять несправедливости и как всякий раз приходится делать все сызнова, ты решил вернуться к своим астероидам. Ты прав, но гордиться тут нечем, Бидо-Кокий!»

Только крайности можно еще выносить.
Граф Робер де Монтескью

ГЛАВА I

Салон госпожи Кларанс

Госпожа Кларанс, вдова крупного государственного чиновника, любила принимать гостей; она собирала у себя по четвергам друзей своих, людей небогатых, которые охотно проводили вечерок за беседой. Среди обычных посетительниц ее гостиной были дамы разного возраста и общественного положения, но все нуждались, все перенесли в жизни своей разные несчастья. Среди них имелась герцогиня, похожая на карточную гадалку, и карточная гадалка, похожая на герцогиню. Г-жа Кларанс, еще достаточно красивая для того, чтобы сохранить старые связи, но недостаточно — для того, чтобы заводить новые, вела спокойную жизнь, окруженная общим уважением. У нее была дочь, очень хорошенькая, но бесприданница, внушавшая гостям страх, потому что пингвины пуще огня боялись бедных невест. Эвелина Кларанс замечала их сдержанность, понимала ее причины и разливала чай с презрительным видом. Она, впрочем, редко выходила к гостям, да и то разговаривала только с дамами и какими-нибудь юнцами. Ее кратковременное и малозаметное присутствие не стесняло беседы, так как,— полагали собеседники,— в качестве молодой девицы она все равно не поймет того, что ей не следует слышать, либо в двадцать пять лет она уже может слушать все, что угодно.

Как-то, в один из четвергов, среди гостей г-жи Кларанс зашел разговор о любви; дамы говорили о ней с гордым, осто-

рожным и таинственным видом; мужчины — нескромно и самодовольно, каждый интересовался только тем, что говорил сам. Было пущено в ход много остроумия, брошено немало метких замечаний и удачных реплик. Но в беседу вступил профессор Гэддок и заморил всех.

— Наши представления о любви подобны всем другим представлениям,— сказал он.— Они основаны на нравах далекого прошлого, память о котором совершенно стерлась. В области морали — потерявшие всякий смысл многочисленные предписания, самые бесполезные обязательства, самые стеснительные и жестокие запреты,— все это по причине своей глубокой древности и таинственной неясности своего происхождения менее всего оспаривается и менее всего считается спорным, менее всего исследуется, более всего почитается и уважается, и пренебречь этим значит навлечь на себя самое суровое порицание. Всякая мораль, касающаяся отношений между полами, опирается на ту предпосылку, что мужчина приобретает женщину раз навсегда и она представляет собою его собственность наравне с его лошадью или оружием. Но так как это уже не соответствует действительным отношениям, то возникают всякие нелепости, вроде брака, то есть заключения договора о продаже такой-то женщины такому-то мужчине с некоторыми ограничительными пунктами относительно права собственности, введенными в результате постепенного ослабления власти собственника.

Непременное требование, чтобы девица приносила в дар супругу свою девственность, сохраняется еще с тех времен, когда девушки вступали в брак едва достигнув брачного возраста; смешно предъявлять подобное требование девице, вступающей в брак в двадцатипятилетнем или тридцатилетнем возрасте. Вы скажете, что этот дар будет приятен ее мужу, если таковой наконец для нее найдется,— но мы видим на каждом шагу, что мужчины ухаживают за замужними женщинами и бывают весьма довольны, получив их такими, как есть.

До сих пор девический долг, предписываемый религиозной моралью, определяется древним верованием, что бог, самый могущественный из военачальников,— многоженец, что он оставляет за собою первое право на девственниц, и лишь те, которые не понадобились ему, могут быть взяты другими. Это верование, оставившее следы во многих метафорах мистического языка, в настоящее время уже утрачено большинством цивилизованных народов; тем не менее оно сохраняет силу в воспитании девиц, и не только у наших верующих, а даже у наших

свободомыслящих, которые большей частью не мыслят свободно, по той простой причине, что вообще не мыслят.

Разум проявляется в познании. Но так называемая разумная девушка ничего не знает. В ней культивируют невежество. Однако, вопреки стараниям окружающих, и самые разумные девушки все же кое-что знают, ибо от них нельзя скрыть ни их собственной природы, ни их собственных физических состояний, ни их собственных ощущений. Но то, что знают, они знают плохо, кое-как. Вот к чему приводит заботливое воспитание.

— Сударь,— с хмурым видом вмешался в беседу Жозеф Бутурле, главноуправляющий податными сборами Альки,— уверяю вас, существуют невинные девушки, совершенно невинные, и это большое несчастье. Я знал трех таких девушек; они повыходили замуж, и это было что-то ужасное! Одна, как только к ней приблизился муж, в ужасе соскочила с кровати и закричала в окно: «Спасите! Он сошел с ума!» Другую наутро после свадьбы нашли в одной рубашке на зеркальном шкафу, откуда она ни за что не соглашалась слезть. Третья пришла в такое же изумление, но безропотно все снесла. И только через несколько недель после свадьбы как-то раз шепнула матери на ушко: «Между мной и мужем происходит что-то неслыханное, невообразимое, о чем я не решусь рассказать даже тебе». Ради спасения души своей она все описала на исповеди своему священнику и только от него узнала,— быть может, с некоторым разочарованием,— что во всем этом нет ничего необычайного.

— Я заметил,— сказал профессор Гэддок,— что все европейцы, и пингвины в особенности, прежде, до нынешнего увлечения спортом и автомобильными поездками, ничем так не интересовались, как любовью,— то есть придавали важность тому, что имеет самое ничтожное значение.

— Как, сударь! — вскричала, чуть не задохнувшись, г-жа Кремер.— Женщина отдает всю себя, и этот дар, по-вашему, не имеет никакого значения?

— Нет, конечно, сударыня, это может иметь известное значение,— ответил профессор Гэддок.— Но все зависит от того, приносит ли она в дар мужчине прелестный плодовый сад или же пустырь, поросший репейником и одуванчиками. А кроме того, не слишком ли мы злоупотребляем здесь словом «дар»? Свою любовь женщина скорее отдает во временное пользование, чем дарит. Вот, например, прекрасная госпожа Пансе...

— Это — моя мать! — сказал высокий светловолосый юноша.

— Я бесконечно уважаю ее, сударь,— заметил профессор Гэддок,— не подумайте, что я собираюсь сделать сколько-нибудь обидное замечание на ее счет. Но осмелюсь вам сказать, что, вообще говоря, представление сыновей о своих матерях совершенно несостоятельно: они забывают о том, что мать является матерью только потому, что любила, а следовательно, способна любить и в дальнейшем. Между тем это именно так, и пришлось бы пожалеть, будь оно иначе. Я заметил, что дочери, напротив, не ошибаются насчет способности матерей любить, да и насчет применения ими этой способности: ведь дочери — их соперницы, они и наблюдательны, как соперницы.

Несносный профессор говорил еще долго, прибавляя непристойности к бестактностям, грубости — к неучтивостям, нагромождая одну нелепость на другую, выказывая презрение к тому, что почтенно, и почтение к тому, что презренно; впрочем, никто его не слушал.

А тем временем в своей комнате, простой, лишенной всякого изящества, комнате печальной, ибо никем не любимой, подобно всем девическим комнатам, и холодной, как зал ожидания, Эвелина Кларанс наводила справки по ежегодным отчетам клубов и проспектам благотворительных учреждений, стремясь побольше разузнать о светском обществе. Видя, что мать, ограниченная кругом интеллигентных и небогатых людей, не в состоянии ввести ее в светское общество и содействовать ее успехам, она размышляла о том, что нужно самой проникнуть в среду, где можно было бы устроить свою жизнь,— размышляла упорно и вместе с тем спокойно, без грез, без иллюзий, видя в замужестве только вступление к настоящей игре, только пропуск в новый для нее мир и отдавая себе ясный отчет во всех помехах и препятствиях, а также в благоприятных обстоятельствах, могущих для нее возникнуть при осуществлении задуманного. У нее были данные, чтобы понравиться, к тому же она была достаточно холодна, чтобы уметь нравиться. Но у нее имелась слабая сторона — ее ослепляло все, что казалось аристократичным.

Когда они с матерью остались наедине, Эвелина сказала:

— Мама, завтра мы пойдем на проповедь отца Дуйяра.

ГЛАВА II

Религиозное общество святой Орброзы

Проповеди отца Дуйяра привлекали по пятницам, к девяти часам, в аристократическую церковь св. Маэля самые сливки алькского общества. Князь и княгиня де Босено, виконт и виконтесса Олив, г-жа Бигур, г-н и г-жа де ла Трюмель не пропускали ни одной проповеди; там присутствовал цвет аристократии, блистали красивые еврейские баронессы,— так как еврейские баронессы Альки все были христианками.

Эти собрания, подобно другим религиозным собраниям, преследовали цель доставлять представителям светского общества возможность время от времени забыть о мирских делах ради спасения своей души; собрания ставили также своей задачей привлечь на все эти благородные и знатные семьи благословение св. Орброзы, которая любит пингвинов. С поистине апостолическим рвением преподобный отец Дуйяр добивался осуществления своего замысла — восстановить прерогативы св. Орброзы как покровительницы Пингвинии и воздвигнуть ей монументальный храм на одном из холмов, господствующих над городом. Его усилия увенчались необыкновенным успехом: для этого национального дела он объединил уже свыше ста тысяч приверженцев и собрал более двадцати миллионов франков.

Именно в церкви св. Маэля, на клиросе, высится, сияя золотом, сверкая драгоценными каменьями, окруженная свечами и цветами, новая рака св. Орброзы.

Вот что сказано у аббата Плантена в «Истории чудес, совершенных святой покровительницей Альки»:

«Прежняя рака была расплавлена во время террора, и драгоценные останки святой были брошены в костер, зажженный на Гревской площади; но одна бедная благочестивая женщина, по фамилии Рукен, пренебрегая смертельной опасностью, ночью пошла и собрала обугленные кости и пепел блаженной; она сохранила их в горшочке из-под варенья, а после восстановления христианского культа отнесла их священнику церкви св. Маэля. Тетушка Рукен благочестиво дожила свой век, исполняя при часовне св. Орброзы должность продавщицы свечей и предоставляя за плату стулья в пользование молящимся».

Несомненно, что при отце Дуйяре, невзирая на общий упадок веры, поклонение св. Орброзе, уже триста лет как забытое вследствие критики каноника Пренсто и молчания ученых богословов, было восстановлено и осуществлялось с большей

торжественностью, большей пышностью, бóльшим рвением, чем когда-либо прежде. Теперь уже богословы не оспаривали в легенде ни йоты, они признавали вполне достоверными все факты, сообщаемые аббатом Симплициссимусом, и утверждали, например, основываясь на словах этого аббата, что дьявол, приняв монашеский облик, завлек святую в пещеру и, набросившись на нее, боролся с нею, пока она над ним не восторжествовала. При этом богословы не затрудняли себя определением места и времени; они воздерживались от толкований и остерегались допустить научное исследование в тех пределах, какие отводил ему некогда каноник Пренсто: они слишком хорошо знали, к чему это приводит.

Церковь была вся в огнях и цветах. Оперный тенор пел знаменитый гимн св. Орброзе:

О, благости полна,
Явись нам, дева рая,
Как светлая луна,
Тьму разгоняя!

Мадемуазель Кларанс стала рядом с матерью, перед виконтом Клена и, преклонив колени на молитвенную скамеечку, долго оставалась в такой позе, зная, что это приличествует разумным девам и хорошо обрисовывает фигуру.

Преподобный отец Дуйяр поднялся на кафедру. Он был прекрасный оратор; умел растрогать, поразить, взволновать слушателей. Женщины, правда, жаловались, что он громит пороки с чрезмерной суровостью и в таких сильных выражениях, что заставляет краснеть. Тем не менее они очень его любили.

Свою проповедь он посвятил седьмому искушению св. Орброзы, когда ее хотел соблазнить дракон, над которым ей предстояло одержать победу, но она, не поддаваясь соблазну, укротила чудовище.

Оратор без труда доказал, что, с помощью св. Орброзы и утвердившись в добродетелях, ею внушаемых, мы, в свою очередь, можем повергнуть драконов, готовых ринуться на каждого из нас, чтобы нас растерзать: дракона сомнения, дракона неверия, дракона забвения религиозных обязанностей.

Из этого оратор сделал вывод, что заботиться о поклонении св. Орброзе — значит заботиться о нравственном возрождении общества, и заключил свою проповедь страстным призывом к «верующим, стремящимся стать орудиями божественного милосердия и готовым ревностно поддерживать и растить Общество

св. Орброзы, доставляя ему все необходимые средства, дабы оно могло воспрянуть и приносить спасительные плоды» [1].

По окончании проповеди преподобный отец Дуйяр остался в ризнице, чтобы верующие могли, если пожелают, получить от него сведения о новом обществе или внести пожертвование. Мадемуазель Кларанс понадобилось обратиться за чем-то к преподобному отцу Дуйяру; виконту Клена — тоже; столпилось много народу; выстроились в очередь. По счастливой случайности виконт Клена и мадемуазель Кларанс оказались совсем близко друг к другу,— может быть, даже чуточку слишком близко. Эвелина еще раньше обратила внимание на этого изящного молодого человека, почти столь же известного в спортивных кругах, как его отец. Клена, со своей стороны, тоже заметил ее и нашел хорошенькой, а потому поклонился и принес извинения в том, что хотя был, кажется, представлен обеим дамам, но не помнит, где именно. Они притворились, что верят ему.

На следующей неделе он явился к г-же Кларанс, которую считал немножко сводней, впрочем не особенно огорчаясь этим, и, когда опять увидел Эвелину, убедился, что она в самом деле необычайно хорошенькая.

У виконта Клена был самый лучший автомобиль во всей Европе. Три месяца подряд он каждый день катал в нем старшую и младшую Кларанс по горам и долинам, по лесам и лугам. Объезжал вместе с ними всякие живописные места, посещал замки. Он уже сказал Эвелине все, что только может сказать самый усердный поклонник. Она не скрывала от виконта, что любит его, будет любить вечно — только его одного. Она сидела рядом с ним трепещущая и задумчивая. Но, отдаваясь во власть роковой любви, умела в нужный момент призвать себе на помощь свою непреклонную добродетель, полную сознания грозящей опасности. К концу трех месяцев, в течение которых он подсаживал ее и помогал ей выйти, снова подсаживал и снова помогал выйти, а при маленьких авариях, постоянно случавшихся с его автомобилем, бродил с ней взад и вперед, он знал ее, как руль своей машины, но не как-нибудь иначе. Он подстраивал разные неожиданности, приключения, вынужденные остановки в чаще леса или возле ночных кабачков, но ничуть не подвинулся вперед. Разъяренный тем, что все получается так глупо, он, снова усадив ее в автомобиль, со

---

[1] Ср. Ж. Эрнест-Шарль, «Цензор», май — август 1907 г., стр. 562, стлб. 2.

злости доводил скорость до ста двадцати в час, готовый вывалить Эвелину в канаву или расшибить ее и себя вместе с нею о ствол какого-нибудь дерева.

Как-то раз он заехал за ней, чтобы опять везти на прогулку, и Эвелина показалась ему еще более восхитительной, чем когда-либо, еще более влекущей к себе; он налетел на нее, как ураган налетает на приозерную тростинку. Она не противилась, очаровательно слабея; двадцать раз казалось, что вот-вот, подхваченная и сломленная бурным вихрем, она унесется вместе с ним, и двадцать раз ей, гибкой и дразнящей, удавалось устоять; и после стольких натисков так спокойно возносился прелестный стебель ее тела, словно ее овеял лишь легкий ветерок, и она опять улыбалась с таким видом, как будто только и ждала прикосновения дерзких рук.

После этого неудачного нападения виконт Клена, ошалелый, разъяренный, почти помешавшись в уме, бежит прочь, чтобы не убить ее, попадает не в ту дверь, влетает в спальню, где мать Эвелины надевала перед зеркальным шкафом шляпу, схватывает г-жу Кларанс, бросает на постель и овладевает ею, прежде чем она успевает опомниться.

В тот же день Эвелина, наводившая справки о виконте Клена, узнала, что у виконта нет ничего за душой, кроме долгов, что живет он на средства старой кокотки и занимается рекламированием новых автомобильных марок одного заводчика. Они разошлись по взаимному согласию, и Эвелина опять принялась угрюмо разливать чай гостям своей матери.

ГЛАВА III

Ипполит Серес

В гостиной г-жи Кларанс говорили о любви — и высказывали прелестные суждения.

— Любовь — это жертва,— со вздохом произнесла г-жа Кремер.

— И вам в этом можно поверить,— подхватил г-н Бутурле.

Но тут с присущей ему нудной бесцеремонностью стал разглагольствовать профессор Гэддок.

— Мне думается,— начал он,— что пингвинки слишком возомнили о себе, после того как благодаря святому Маэлю стали живородящими. А ведь гордиться-то особенно нечем: это

свойство они разделяют с коровами, свиньями и даже с апельсинными и лимонными деревьями, поскольку зерна этих растений созревают в околоплоднике.

— Чванство пингвинок восходит к несколько более позднему времени,— возразил г-н Бутурле.— Оно возникло в тот день, когда святой проповедник дал им одежды, и даже больше — чванство их, долго сдерживаемое, приобрело разнузданный характер только с появлением роскошных туалетов и дает себя знать лишь в узком кругу. Попробуйте отдалиться от Альки мили на две во время жатвы, и вы увидите, жеманничают ли там женщины и чванятся ли собою.

В этот вечер у г-жи Кларанс появился новый гость — Ипполит Серес; он был депутатом от Альки и одним из самых молодых членов палаты; говорили, что отец его держал кабачок, но сам он был адвокат, красноречивый, видный, представительный и, как полагали, знающий свое дело.

— Господин Серес,— сказала ему хозяйка дома,— вы представляете самый прекрасный округ в Альке.

— И становящийся с каждым днем все прекраснее, сударыня!

— К несчастью, здесь ходить стало совсем невозможно! — воскликнул г-н Бутурле.

— Это почему же? — спросил г-н Серес.

— Да из-за автомобилей, конечно!

— Не браните их,— возразил депутат.— Это наша великая национальная промышленность.

— Знаю, милостивый государь. Нынешние пингвины напоминают мне древних египтян. Как утверждает Тэн, опираясь на сообщение Климента Александрийского, но, впрочем, несколько погрешая против подлинного текста,— египтяне поклонялись крокодилам, которые их пожирали; так и пингвины поклоняются автомобилям, которые их давят. Нет никаких сомнений, будущее принадлежит этому металлическому животному. К извозчикам больше не возвратятся, как не возвращаются к дилижансам. Долгие мучения лошади приходят к концу. Автомобиль, пущенный лихорадочной жадностью промышленников, подобно колеснице Джаганнатхи, на оторопелые народы, автомобиль, служащий дурацкому и смертоносному щегольству бездельников и снобов, скоро станет выполнять свое полезное назначение и, отдав свою силу на службу всем людям, будет вести себя как послушное работящее чудовище. Но, чтобы вместо вреда он приносил пользу, нужно будет построить для него дороги, соответствующие его поступи, такие шоссе, которых он

не разворачивал бы своими яростными колесами, обдавая прохожих пылью и отравляя им легкие. Эти новые дороги надо будет закрыть для более медленного транспорта и для скота, устроить на них гаражи и мостки,— словом, упорядочить и наладить дорожную сеть будущего. Таковы пожелания доброго гражданина.

Госпожа Кларанс перевела разговор на благоустройство округа, представляемого г-ном Сересом, и тот с энтузиазмом стал говорить о сносе старых зданий, о прокладке новых улиц, о постройках, перестройках и всяких других полезных работах.

— В наше время строят замечательно,— сказал он.— Повсюду возникают новые великолепные улицы. Когда можно было видеть что-либо подобное нашим мостам с пилонами, нашим особнякам с куполами?

— Вы не упомянули еще о нашем большом дворце, прикрытом огромным колпаком,— проворчал, еле сдерживая ярость, г-н Данизе, старый любитель искусства.— Я просто диву даюсь, какой степени безобразия может достигнуть современный город. Алька американизируется; всюду разрушают последние остатки того, в чем еще чувствуется свободный вкус, фантазия, соразмерность, сдержанность, человечность, традиции; всюду разрушают эту прелесть — старые каменные ограды, через которые свешиваются ветви деревьев; всюду изгоняют последние остатки воздуха и света, остатки природы, остатки прошлого, остатки памяти о наших предках, частицу нас самих — и возводят огромные, страшные, отвратительные дома, накрытые нелепыми куполами на венский лад, либо в новом стиле, без карнизов, без архитектурной формы, с какими-то устрашающими выступами и смешными кровлями, и подобные чудища лезут вверх, бесстыдно вздымаясь над окружающими домами. По фасадам наляпаны какие-то отвратительные шишкообразные наросты,— и именуется это мотивами нового искусства. Я видел новое искусство в других странах, там оно не так гнусно. Оно там мило, занятно. А наша страна пользуется печальной привилегией выставлять на всеобщее обозрение образцы самой безобразной архитектуры — безобразной на самоновейший манер и в огромном количестве вариантов. Завидная привилегия, нечего сказать!

— А вам не приходило в голову,— строго спросил г-н Серес,— что такая резкая критика может от нашей столицы отпугнуть иностранцев, которые стекаются к нам со всех концов света и оставляют здесь миллиарды?

— Будьте покойны,— ответил г-н Данизе,— иностранцы не затем сюда ездят, чтобы любоваться нашими постройками;

они ездят сюда ради наших кокоток, наших портных и наших кабаков.

— Скверная у нас привычка — клеветать на самих себя,— со вздохом промолвил г-н Серес.

Госпожа Кларанс, как тактичная хозяйка, сочла своевременным опять перевести разговор на любовь и спросила г-на Жюмеля, какого он мнения о последней книге Леона Блюма, где автор жалуется...

— ...на бессмысленный запрет,— подхватил профессор Гэддок,— запрет, возбраняющий светским девушкам заниматься любовью, что они делали бы с удовольствием, меж тем как продажные женщины занимаются ею слишком много и без всякого удовольствия. Это в самом деле достойно сожаления; но пусть господин Леон Блюм не огорчается сверх меры: если все и обстоит так плачевно в нашем узком буржуазном кругу, то могу заверить его, что вне этого круга он увидел бы всюду более утешительное зрелище. В народе, в широкой народной массе города и деревни, девушки занимаются любовью без обиняков.

— Какое ужасное падение нравов, сударь! — заметила г-жа Кремер.

И она воспела хвалу девической невинности в выражениях, полных изящества и целомудрия. Это было восхитительно!

Рассуждения профессора Гэддока о том же предмете было, наоборот, тяжко слушать.

— Светские девушки,— сказал он,— всегда под охраной и под надзором; к тому же мужчины не хотят иметь с ними дело из чувства порядочности, из боязни перед ответственностью и потому, что совращение молодой девицы не принесет им чести в обществе. Впрочем, неизвестно, что̀ тут происходит в действительности,— ведь не видишь того, что принято скрывать. Это предпосылка, необходимая для существования всякого общества. Если б у светских девушек добивались любви, они были бы сговорчивее женщин,— и это по двум причинам: у них больше иллюзий, и любопытство их еще не удовлетворено. Женщины в большинстве случаев так плохо начинали с мужем, что у них не скоро появляется решимость продолжать с кем-нибудь другим. Мне лично не раз приходилось наталкиваться на такое препятствие при попытках к обольщению.

Когда неприятные рассуждения профессора Гэддока подходили к концу, в гостиную вошла мадемуазель Эвелина Кларанс и стала лениво разносить чай, с тем скучающим видом, который придавал ее красоте очарование восточной неги.

— Что касается меня,— сказал Ипполит Серес, взглянув на нее,— то я сторонник девиц.

«Дурак»,— решила она.

Ипполит Серес, никогда не выходивший за пределы круга политического, круга избирателей и избираемых, нашел, что салон г-жи Кларанс весьма изыскан, хозяйка обворожительна, а дочь отличается какой-то своеобразной красотой; он стал усердно посещать их и ухаживал за обеими. Г-жа Кларанс, которой в ее возрасте особенно льстило внимание, находила Сереса очень милым, Эвелина же не оказывала ему никакого расположения и обращалась с ним надменно и пренебрежительно; а он, видя в этом аристократичность и хороший тон, еще больше восхищался ею.

Пользуясь своими обширными знакомствами, он старался доставлять им обеим удовольствия, и это ему порой удавалось. Он добывал им пропуска на заседания палаты и ложи в Оперу. Несколько раз давал он Эвелине возможность блистать на разных собраниях, в частности — на сельском празднике, который был, правда, устроен одним министром, но признан подлинно светским и принес республиканской власти первый успех в глазах высшего общества.

На этом празднике Эвелина, замеченная многими, особенно привлекла внимание одного молодого дипломата, некоего Роже Ламбильи, и тот, решив, что она принадлежит к среде, не отличающейся строгостью нравов, пригласил ее к себе, на свою холостую квартиру. Она находила его красивым, думала, что он богат,— и пошла. Немного взволнованная, почти смущенная, она чуть не стала жертвой своей храбрости, избежав поражения только при помощи смелого военного маневра. Это происшествие было самым большим безумством во всей ее девической жизни.

Войдя в круг людей, близких к министрам и президенту, Эвелина подчеркивала там свою аристократичность и благочестие, чем привлекла к себе симпатии крупных деятелей антиклерикального и демократического лагеря республики. Ипполит Серес, видя, что она пользуется успехом и что знакомство с ней делает ему честь, еще больше увлекся ею,— он влюбился в нее до безумия.

Тогда и она стала с интересом присматриваться к нему, желая знать, как далеко зайдет его чувство. Она находила его неизящным, лишенным душевной тонкости, дурно воспитанным, но энергичным, сообразительным, способным и не таким уж скучным. Она еще смеялась над ним, но уже подумывала о нем.

В один прекрасный день она решила подвергнуть его чувство испытанию.

Это был период выборов, и г-н Серес был занят хлопотами, как говорится, по возобновлению своего мандата. У него был конкурент, поначалу как будто не очень опасный, без ораторских способностей, но богатый и с каждым днем завоевывавший, казалось, все больше голосов. Ипполит Серес, равно чуждаясь и вялого спокойствия, и пустой тревоги, удвоил энергию. Главным полем его деятельности служили публичные собрания, где он благодаря силе своих легких выступал опасным соперником. Его комитет устраивал широкие собрания с прениями, по субботам — вечерние, а по воскресеньям — ровно в три часа дня. Как-то в воскресенье, явившись с визитом в дом г-жи Кларанс, он застал ее дочь одну в гостиной. Поболтав с нею минут двадцать, он вынул часы и увидал, что уже без четверти три. Эвелина вдруг стала как-то особенно мила, игрива, задорна, завлекательна. Серес, взволнованный, все же поднялся, чтобы уходить.

— Посидите еще немножко! — сказала она с нежной настойчивостью, и он, будучи не в силах отказаться, снова сел.

Она прикинулась участливой, томной, любопытной, слабой. Он краснел, бледнел, но опять поднялся с места.

Тогда, чтобы его удержать, она стала молча глядеть на него, и серые глаза ее подернулись влагой, а грудь прерывисто вздымалась. Сраженный, обезумевший, изнемогающий, он упал к ее ногам; но тут же, опять вынув часы, вскочил и отчаянно выругался:

— Фу, черт!.. Без пяти четыре! Только-только поспею...

И выскочил на лестницу.

С тех пор она стала питать к нему некоторое уважение.

ГЛАВА IV

Женитьба политического деятеля

Она его совсем не любила, однако хотела, чтобы он ее любил. Впрочем, она была с ним очень сдержанна — и не только потому, что не питала к нему особой склонности: ведь в делах любви многое делается пускай и равнодушно, но для развлечения, по женскому инстинкту, по традиции и общепринятому обыкновению, чтобы испробовать свою власть и с удовольствием убедиться в ее действии. Эвелина держалась на расстоянии, понимая, что при более близких отношениях он, по своей гру-

бой натуре, способен был задрать нос и нагло попрекать ее же, если бы она их прекратила.

Так как он по профессии был антиклерикал и свободомыслящий, то она считала нужным подчеркивать свою набожность, появляясь перед ним с молитвенниками в руках — изданиями большого формата, в красном сафьяне, вроде «Пасхального двухнедельника» королевы Марии Лещинской и дофины Марии-Жозефы; и всегда старалась положить перед ним на видном месте список пожертвований, собранных ею на укрепление национального культа св. Орброзы. Эвелина действовала так не затем, чтобы дразнить его, не из озорства или чувства противоречия, и даже не из снобизма, хотя и не была от него свободна; таким способом она утверждала себя, придавала себе особый характер, ставила себя на высоту и, чтобы возбудить в депутате отвагу, облекалась в религию наподобие того, как Брюнхильда, чтобы привлечь Сигурда, окружала себя пламенем. Дерзкий замысел ее удался. Она стала казаться ему еще прекраснее. В клерикализме, на его взгляд, была особая изысканность.

Переизбранный огромным большинством голосов, Серес стал членом палаты более левой по своим тенденциям, более передовой, чем предшествующая, и, казалось, более ревностной в отношении реформ. Сразу заметив, что под столь большим рвением скрывается боязнь перемен и искреннее желание ничего не делать, он твердо решил следовать политике, которая отвечала бы этим настроениям. В самом же начале сессии он выступил с большой речью, ловко задуманной и прекрасно построенной, которая была посвящена мысли, что всякая реформа требует длительной разработки; это была горячая, даже бурнокипящая речь, так как оратор исходил из принципа, что рекомендовать умеренность надо всегда с крайним пылом. Все собрание рукоплескало ему. На президентской трибуне его слушали мать и дочь Кларанс; Эвелина невольно затрепетала при торжественном гуле рукоплесканий. На той же скамейке прекрасная г-жа Пансе вся вздрагивала, прислушиваясь к вибрациям этого мужественного голоса.

Сойдя с трибуны, пока еще гремели аплодисменты и раздавались требования расклеить текст этой речи по городу, Ипполит Серес сразу же, в своей взмокшей от пота сорочке, пошел поклониться г-же Кларанс с дочерью. Эвелина нашла, что он похорошел от успеха; и когда он, склонившись перед сидящими дамами, скромно, быть может лишь чуть фатовато, выслушивал их поздравления, отирая себе затылок носовым платком, молодая девушка, искоса взглянув на г-жу Пансе,

увидела, что та в опьянении вдыхает запах пота, исходящий от героя, и, задыхаясь, полузакрыв глаза, запрокинув голову, готова вот-вот лишиться чувств. Эвелина тотчас послала г-ну Сересу нежную улыбку.

Речь представителя Альки вызвала громкие отклики. В политических «сферах» ее оценили как весьма удачную. «Наконец-то мы услышали честные высказывания»,— писала большая газета умеренных. «Ведь это — целая программа!» — говорили в палате. Все признавали в ораторе огромный талант.

Ипполит Серес легко мог бы теперь стать и во главе радикалов, и во главе социалистов, и во главе антиклерикалов, которые выбрали его председателем своей группы, самой многочисленной в палате. Ему уже наметили дать портфель при первой же смене правительства.

После долгих колебаний Эвелина решила выйти замуж за г-на Ипполита Сереса. На ее вкус, этот великий человек был несколько вульгарен; да к тому же не было уверенности в том, что он действительно достигнет когда-нибудь той ступени, на которой политическая деятельность начинает приносить крупный доход; но Эвелине скоро должно было исполниться двадцать семь лет, у нее был достаточный жизненный опыт,— и она знала, что не следует ни слишком поддаваться чувству отвращения, ни выказывать себя слишком требовательной.

Ипполит Серес был знаменит; Ипполит Серес был счастлив. Он стал неузнаваем; элегантность его костюма и манер возрастала с ужасающей быстротой, он злоупотреблял белыми перчатками; теперь, став слишком уж светским, он вызывал у Эвелины сомнение, не хуже ли это, чем быть недостаточно светским. Г-жа Кларанс благосклонно смотрела на эту помолвку, радуясь, что будущее дочери теперь обеспечено, и с удовольствием получая по четвергам цветы для своей гостиной.

Вопрос о свадебной церемонии вызвал, однако, некоторые осложнения. Эвелина была набожна и хотела, чтобы брак ее получил благословение церкви. Ипполит Серес, относясь терпимо к религии, сам все же был свободомыслящим и признавал только гражданский брак. По этому поводу происходили споры и даже душераздирающие сцены. Последняя разыгралась в комнате молодой девушки, когда стали составлять текст свадебных приглашений. Эвелина заявила, что без благословения церкви она не может по-настоящему считать себя его женой. Она заговорила о разрыве, о том, что уедет с матерью за границу, уйдет в монастырь. Потом стала нежной, слабой, умоляющей; начала горько жаловаться. И в ее девичьей комнате все

горько жаловалось вместе с ней — кропильница, буксовая веточка над белой постелью, душеспасительные книжки на маленькой этажерке, а на мраморной доске камина — бело-голубая статуэтка св. Орброзы, укрощающей каппадокийского дракона. Ипполит Серес растрогался, размяк, растаял.

Прекрасная в своей печали, с блестящими от слез глазами, обвив себе руки четками из ляпис-лазури, словно цепями веры, она вдруг бросилась к ногам Ипполита и обняла его колени в смертельном изнеможении, с распущенными волосами.

Он был готов уступить; он забормотал:

— Церковный брак, венчание в церкви, может быть, мои избиратели еще кое-как переварят; а вот комитет мой не так легко с этим примирится... Впрочем, я им объясню... Веротерпимость, общественные условности. Они сами посылают дочерей к первому причастию... Но уж насчет министерского портфеля... Эх, черт! Я уверен, душенька, что мы его утопим в святой воде.

При этих словах она встала, серьезная, великодушная, смирившаяся, в свою очередь побежденная.

— Друг мой, я больше не настаиваю.

— Значит, без венчанья? Оно и лучше, гораздо лучше!

— Нет, это не так. Но предоставьте действовать мне. Я постараюсь все уладить к общему удовлетворению.

Она отправилась к преподобному отцу Дуйяру и объяснила ему обстоятельства дела. Тот оказался более покладистым и сговорчивым, чем она даже рассчитывала.

— Супруг ваш — человек умный, человек порядка и здравого смысла, в конце концов он придет к нам. Вы принесете ему благословение божье; не напрасно господь дарит ему супругу-христианку. Церковь не всегда требует пышности и блеска для брачного обряда. Ныне, во времена гонений, потемки подземных молелен и тайники катакомб больше пристали ее празднествам. По выполнении всех гражданских формальностей, мадемуазель, приходите с господином Сересом сюда, в мою особую часовенку, одетая как для прогулки,— я обвенчаю вас и сохраню все в строжайшей тайне. Я испрошу у архиепископа необходимые послабления и льготы по части оглашения брака, свидетельства об исповеди и тому подобного.

Ипполит, считая замысел несколько опасным, все же согласился, в глубине души даже польщенный.

— Я пойду в пиджаке,— заявил он.

Он пошел в сюртуке, в белых перчатках, в лакированных туфлях и совершал коленопреклонения.

Ничего не поделаешь, взаимная вежливость...

ГЛАВА V

Министерство Визи́ра

Супруги Серес устроились скромно и прилично, сняв славную квартирку в одном из новых домов. Серес окружил жену чистосердечным и спокойным обожанием, хотя часто задерживался в бюджетной комиссии и три вечера в неделю был занят подготовкой доклада о почтовом бюджете, надеясь, что этот труд останется в веках. Эвелина считала его «хамом», но нельзя сказать, чтобы он ей не нравился. Скверно было только то, что у них было очень мало денег, верней — почти совсем не было. Служба республике не так уж прибыльна, как думают. С тех пор как нет монарха, раздающего милости, каждый берет, что может, и хищения каждого, ограниченные хищениями всех остальных, поневоле сводятся к скромным размерам. Отсюда суровая простота нравов, свойственная вождям демократии. У них есть возможность обогащаться только в периоды больших начинаний, и тогда их преследует зависть менее преуспевающих коллег. Ипполит Серес предвидел большие начинания в ближайшем будущем, он ведь принадлежал к тем, кто их подготавливал; а пока он с достоинством переносил бедность, тем более что Эвелина, разделяя ее с ним, страдала меньше, чем можно было ожидать. Она поддерживала постоянные связи с отцом Дуйяром и посещала часовню св. Орброзы, где встречалась с солидным обществом и с людьми, могущими в случае надобности оказать ей поддержку. Она умела их выбирать и награждала доверием только тех, кто его заслуживал. Она стала более опытной после автомобильных прогулок с виконтом Клена, а главное, поняла, какие преимущества связаны с положением замужней женщины.

Сначала депутата тревожила ее набожность, которую высмеивали демагогические газетки; но вскоре он успокоился, наблюдая вокруг, сколь охотно вожди демократии сближаются с аристократией и церковью.

Это был один из тех периодов (кстати сказать, довольно частых), когда правящие круги вдруг спохватываются, что зашли слишком далеко. Ипполит Серес в известной мере разделял такое мнение. Он признавал не политику преследований, а политику терпимости. Основы ее были заложены в его речи о подготовке реформ. Министерство считалось слишком левым; поддерживая законопроекты, признанные опасными для капитала, оно настроило против себя крупные финансовые компании, а тем самым — и газеты всех направлений. Видя растущую опас-

ность, правительство отказалось от своих проектов, от своей программы, от своих взглядов, но — слишком поздно: уже был подготовлен новый состав кабинета; после одного коварного вопроса, заданного Полем Визиром и тут же превращенного в интерпелляцию, а также прекрасной речи Ипполита Сереса оно пало.

Составление нового кабинета президент республики поручил все тому же Полю Визиру, который, несмотря на свой возраст, успел уже дважды быть министром,— очаровательному молодому человеку, завсегдатаю танцевальных зал и театральных кулис, очень артистичному, очень светскому и тонкому, поразительно умному и деятельному. Поль Визир составил правительство, рассчитанное на то, чтобы сделать передышку и успокоить встревоженную общественность,— вот почему один из портфелей был предложен Ипполиту Сересу.

Новые министры, принадлежа ко всем группам большинства, представляли самые разнообразные и самые противоположные точки зрения, но все были умеренными и безусловно консервативными [1]. Из старого кабинета остался только министр иностранных дел, чернявый человечек по фамилии Кромбиль, работавший четырнадцать часов в сутки в упоении великими замыслами, молча, таясь даже от собственных дипломатических агентов, чрезмерно беспокойный, но тщетно пытающийся внушить свое беспокойство другим, ибо народы невероятно беспечны, да и правители не менее того.

Общественные работы отдали в ведение Фортюне Лаперсона, социалиста. Тогда в политической жизни существовало правило, одно из самых незыблемых, самых строгих, самых суровых и, смею сказать, самых ужасных и жестоких,— включать в состав любого правительства, призванного бороться с социализмом, члена социалистической партии, чтобы враги богатства и собственности испытывали горький стыд, когда на них обрушивался их же собрат, и не могли сойтись в своем кругу, не ища глазами, кто же завтра покарает их. Только при полном незнании сердца человеческого можно думать, что среди социа-

---

[1] Так как это правительство оказало значительное воздействие на судьбы страны и всего мира, считаем своим долгом привести здесь его состав: председатель совета министров и министр внутренних дел — Поль Визир; министр юстиции — Пьер Бук; иностранных дел — Виктор Кромбиль; финансов — Террасон; народного просвещения — Лабийет; торговли, почт и телеграфов — Ипполит Серес; земледелия — Олак; общественных работ — Лаперсон; военный министр — генерал Дебоннер; морской — адмирал Вивье де Мюрен.

листов было трудно найти пригодного для подобной деятельности. Гражданин Фортюне Лаперсон вступил в кабинет Визира без какого-либо понуждения, по своей воле; и его одобряли даже иные из прежних друзей — так велико было преклонение пингвинов перед всякой властью!

Генерал Дебоннер получил портфель военного министра; он считался одним из самых способных генералов пингвинской армии, но подпал под влияние особы сомнительной нравственности, баронессы де Бильдерман, уже вступившей в возраст интриг, однако еще красивой и состоявшей на жалованье у соседней вражеской державы.

Новый морской министр, почтенный адмирал Вивье де Мюрен, по всеобщему признанию — превосходный знаток морского дела, отличался набожностью, которую следовало бы счесть чрезмерной для антиклерикального правительства, если бы республика, отделившая церковь от государства, не признала религию все же полезной для мореплавания. По указанию преподобного отца Дуйяра, своего духовного руководителя, почтенный адмирал Вивье де Мюрен отдал экипажи военных кораблей под покровительство блаженной Орброзы и заказал христианским бардам песнопения во славу алькской девственницы, заменившие для военно-морского флота национальный гимн.

Правительство Визира открыто объявило себя антиклерикальным, но уважающим религиозные убеждения; оно поставило себе задачей благоразумные реформы. Поль Визир и его сотрудники стремились к реформам, и если воздерживались от предложения реформ, то единственно для того, чтобы не скомпрометировать их: истинные политики, они знали, что стоит только предложить реформу, как она уже оказывается скомпрометированной. Это правительство было встречено с одобрением, успокоило порядочных людей и вызвало повышение ренты.

Оно сообщило о постройке четырех броненосцев, о преследованиях, предпринимаемых против социалистов, и обнаружило непоколебимое намерение отвергнуть введение какого-либо подоходного налога, как неизбежно связанного с сыском. Особенно благожелательно встретила большая пресса назначение Террасона министром финансов. Уже не впервые занимавший министерский пост и прославившийся своими смелыми биржевыми спекуляциями, Террасон способен был оправдать все надежды финансистов своим приходом к власти, предвещающим большое оживление в делах. Вскоре предстояло набухнуть млеком богатства всем трем сосцам современного государства: массовой скупке товаров, ажиотажу и мошенническей спекуля-

ции. Уже поговаривали о дальних военных экспедициях, о приобретении колоний, а самые смелые выдвигали в газетах проект военного и финансового протектората над Нигритией. Не успев еще проявить себя в полной мере, Ипполит Серес, однако, рассматривался уже как человек ценный; деловые круги питали к нему уважение. Его приветствовали со всех сторон за разрыв с крайними партиями, с опасными людьми, за его чувство ответственности перед государством.

Госпожа Серес одна блистала среди всех министерских дам. Кромбиль был старый холостяк; Поль Визир женился на богатой, очень достойной девушке из семьи крупных фабрикантов северной провинции, мадемуазель Бланпиньон, благовоспитанной, всеми уважаемой, скромной, вечно больной и по состоянию здоровья почти все время живущей у своей матери, далеко от столицы. Остальные министерши не были рождены чаровать взоры; заметка о том, что на бал во дворце президента г-жа Лабийет явилась с райскими птичками в волосах, вызывала улыбку. Супруга адмирала Вивье де Мюрена, из хорошей семьи, была поперек себя толще, багрова лицом, горласта, как уличный разносчик, и сама ходила за покупками на рынок. Генеральша Дебоннер, длинная, сухопарая, прыщеватая, ненасытная любительница молодых офицеров, погрязшая в пороках и смертных грехах, пользовалась уважением только из-за своего безобразия и наглости.

Госпожа Серес была красой министерства и воплощением его достоинства. Молодая, красивая, безупречной репутации, она пленяла в равной степени и светское общество, и толпу, сочетая элегантный туалет с ясной улыбкой.

Ее салон вскоре был наводнен крупными еврейскими финансистами. Она давала самые изысканные garden parties [1] во всей республике. Газеты помещали описания ее туалетов, а знаменитые портные не брали с нее денег. Она ходила в церковь, защищала часовню св. Орброзы от народной недоброжелательности и поддерживала в сердце аристократов надежду на новый конкордат.

Золотые волосы, голубовато-серые глаза, гибкая, тонкая фигура, точеный стан — все в ней было красиво; она пользовалась превосходной репутацией — и сохранила бы ее, даже застигнутая врасплох во время любовного свидания: так была она ловка и спокойна, так владела собою.

---

[1] Приемы гостей в саду *(англ.)*.

Сессия закончилась победой кабинета, отвергшего, под единодушные рукоплескания почти всей палаты, проект «сыщицкого» налога, и триумфом г-жи Серес, устроившей у себя один за другим три торжественных приема в честь трех приезжих королей.

ГЛАВА VI

Диван фаворитки

Во время каникул председатель совета министров пригласил супругов Серес провести недельки две в горах, в снятом им на лето замке, где он жил один. Здоровье г-жи Визир, поистине плачевное, не позволило ей поехать вместе с мужем; она осталась у родителей, в глуши северной провинции.

Замок некогда принадлежал любовнице одного из последних королей Альки; в гостиной сохранялась прежняя мебель и, как в былые времена, стоял диван фаворитки. Окрестности были очаровательны; красивая голубая речка Эзель протекала у подножия холма, на котором возвышался замок. Ипполит Серес любил удить рыбу: за этим однообразным занятием ему приходили в голову его лучшие парламентские комбинации и самые счастливые ораторские находки. Эзель кишела форелью,— он ловил ее с утра до ночи, сидя в лодке, любезно предоставленной ему председателем совета министров.

А тем временем Эвелина и Поль Визир иной раз прогуливались по саду, иной раз болтали в гостиной. Эвелина, отдавая себе отчет в том, насколько он обаятелен с женской точки зрения, до тех пор кокетничала с ним лишь слегка, от случая к случаю, без особых намерений и определенной цели. Он был знаток и видел, что она красива; палата и Опера не оставляли ему свободного времени, но здесь, в маленьком замке, голубовато-серые глаза и точеный стан Эвелины приобретали ценность в его глазах. Как-то раз, пока Ипполит Серес ловил в речке рыбу, Поль Визир усадил Эвелину на диван фаворитки рядом с собою. В просветы меж занавесей, служивших защитой от жары и яркого солнечного света, длинные золотые лучи ударяли в грудь Эвелины, как стрелы притаившегося Амура. Под белым муслином обрисовывалась вся юная грация ее форм, удлиненных и вместе с тем округлых. От бархатистой, слегка влажной кожи исходил запах свежего сена. Поль Визир поступил, как требовали обстоятельства; она охотно подчинилась игре случая и светских отношений. Она считала, что все это пустяки или нечто не столь уж значительное,— но ошиблась!

«На городской площади, с солнечной стороны,— говорится в знаменитой немецкой балладе,— на стене, увитой глицинией, висел хорошенький ящик для писем, называвшийся Почта, синий, как василек. Почта всегда была весела и спокойна.

Каждый день к Почте подходили, стуча грубыми башмаками, мелкие торговцы, богатые фермеры, бюргеры, сборщик налогов, жандармы и опускали в нее деловые письма, счета, вызовы в суд, извещения по налоговым сборам, судебные прошения и повестки о призыве на военную службу; Почта оставалась веселой и спокойной.

Радостные или озабоченные, шли к ней поденщики и батраки, служанки и кормилицы, счетоводы, канцелярские писцы, хозяйки с младенцами на руках; они опускали туда сообщения о крестинах, свадьбах и похоронах, письма женихов и невест, письма мужей и жен, матерей — к сыновьям и сыновей — к матерям. Почта оставалась веселой и спокойной.

В сумерки пробирались к ней украдкой юноши и девушки и опускали в нее любовные письма, то с расплывшимися от слез чернилами, то — с кружочком в том месте, куда пришелся поцелуй, и все чрезвычайно длинные; она оставалась веселой и спокойной.

Богатые коммерсанты приходили из предосторожности сами, к моменту выемки писем, и опускали конверты со вложением, за пятью красными печатями, набитые банковыми билетами или чеками на крупные финансовые конторы Империи; она оставалась веселой и спокойной.

Но однажды Гаспар, которого она никогда прежде не видела, о котором и знать не знала, пришел опустить какую-то записку, сложенную в виде маленькой шапочки,— вот все, что о ней известно; и тут хорошенькая Почта упала в истоме. С тех пор она навсегда покинула свое привычное место; она бегает по улицам, по лесам и лугам, обвитая плющом, в венке из роз. Вечно носится по горам и долам; полевой сторож застиг ее както в поле, среди колосьев, в объятиях Гаспара, которого она целовала в губы».

Поль Визир уже овладел собой, а Эвелина еще лежала на диване фаворитки, полная сладостного изумления.

Преподобный отец Дуйяр, тонкий знаток богословской этики, сохранивший твердые принципы и во времена упадка церкви, был совершенно прав, утверждая согласно учению святых отцов, что если женщина совершает тяжкий грех, отдаваясь за деньги, то еще более тяжкий грех совершает она, отдаваясь даром,— ибо в первом случае она поступает так ради средств к

существованию и заслуживает порою если не оправдания, то прощения, оставаясь все же достойной милосердия божия, поелику бог ведь запрещает самоубийство и не хочет, чтобы его создания, эти храмы господни, сами себя уничтожали; к тому же, отдаваясь для того, чтобы поддержать свою жизнь, она пребывает смиренной и не получает удовольствия, что облегчает ее грех. Но женщина, отдающаяся даром, грешит, наслаждаясь, ликует в падении своем. От гордыни и сладострастия, коими она усугубляет свой грех, еще увеличивается его гибельная тяжесть.

Пример г-жи Серес должен был показать всю глубину этих нравственных истин. Она обнаружила в себе чувственность; до тех пор она и не подозревала о ней; понадобился только один миг, чтобы заставить ее сделать это открытие, изменить весь ее душевный склад, перевернуть всю ее жизнь. На первых порах было так чудесно научиться познавать себя. «Γνῶθι σεαυτόν»[1] античной философии — не такое предписание, которое было бы приятно осуществлять в области духовной, ибо познание собственной души никого не может особенно радовать; совсем иное дело — применение его в области жизни телесной, где нам могут открыться источники наслаждений. Эвелина сразу воспылала к своему наставнику признательностью, равной его благодеянию, и вообразила, что тот, кто раскрыл перед ней бездны райского блаженства, один владеет ключом от них. Не ошибалась ли она и не могла ли найти еще других обладателей золотого ключа? Трудно сказать. Но когда все эти факты сделались достоянием гласности, что, как мы увидим, не замедлило произойти, профессор Гэддок рассмотрел их в одном специальном научном журнале с экспериментальной точки зрения и пришел к выводу, что для г-жи С. шансы найти вполне эквивалентную замену г-на В. равнялись 3,05 на 975 008 случаев. Иначе говоря, такой замены не нашлось бы. По-видимому, Эвелина инстинктивно чувствовала это, потому что привязалась к г-ну Визиру до умопомрачения.

Я изложил эти факты с теми подробностями, которые должны, мне кажется, заинтересовать философические умы, склонные к раздумьям. Диван фаворитки достоин войти в историю; на нем решались судьбы великого народа. Да что я! На нем совершилось деяние, отголоскам коего предстояло распространиться на соседние государства, дружественные и враждебные, и даже на все человечество. События подобного рода, при всей

---

[1] Познай самого себя *(греч.)*.

своей бесконечной значительности, слишком часто ускользают от внимания тех людей поверхностного ума и неглубоких чувств, которые необдуманно берут на себя смелость писать историю. Потому-то нам остаются неизвестны тайные пружины событий; падение империй, смены власти удивляют нас и кажутся нам непонятными только потому, что мы не знаем какой-нибудь незаметной мелочи, упустили какую-нибудь потаенную крошечную деталь, которая, будучи приведена в движение, все сокрушила, все опрокинула. Автору этой большой исторической работы лучше, чем кому-либо, известны все ее недостатки и упущения, но он, во всяком случае, может заверить, что всегда соблюдал то чувство меры, ту серьезность и строгость, которых требует повествование о событиях государственной важности, и ни в чем не нарушал серьезного тона, приличествующего рассказу о человеческих деяниях.

ГЛАВА VII

Первые последствия

Когда Эвелина призналась Полю Визиру, что ни разу в жизни не испытывала ничего подобного, он ей не поверил. Хорошо изучив женщин, он знал, что они часто говорят это мужчинам, чтобы еще больше разжечь их любовь. Таким образом, его опытность, как часто бывает, ввела его в заблуждение. Недоверчивый, но все же польщенный, он вскоре почувствовал, что увлечен ею, и даже больше, чем увлечен. Сначала такое состояние оказало благотворное действие на его умственные способности; в главном городе своего округа Визир произнес изящную, блестящую, исключительно удачную речь, признанную шедевром его ораторского искусства.

Возобновление сессии прошло тихо и мирно; лишь кое-какие одинокие недоброжелатели, кое-какие пока еще не осмелевшие честолюбцы пробовали поднять голову. Но достаточно было улыбки председателя совета министров, чтобы развеять эти призраки. Визир и Эвелина виделись по два раза в день, а в промежутках посылали друг другу записки. Он был опытен по части любовных связей, был ловок и умел быть скрытным. Но Эвелина проявляла безумную неосторожность; она подчеркивала их близость при встрече с ним в гостиных, в театре, в палате депутатов, в посольствах. Все в ней говорило о ее любви — лицо, движения тела, влажное сияние глаз, томная улыбка губ, трепещущая грудь, мягкие линии бедер, какая-то новая

особенность ее красоты — что-то нервное, вызывающее, бесшабашное. Вскоре вся страна знала об их связи; иностранные дворы были информированы; только президент республики да муж Эвелины все еще ничего не подозревали. Президент узнал об этом в деревне, из полицейского донесения, бог весть как очутившегося у него в чемодане.

Ипполит Серес, не отличаясь ни чуткостью, ни проницательностью, замечал, правда, что в семейной жизни его что-то изменилось. Эвелина, еще недавно интересовавшаяся его делами и выказывавшая если не настоящую нежность, то, по крайней мере, дружеские чувства, с некоторых пор стала проявлять к нему полное безразличие и даже отвращение. Она и прежде отлучалась из дому, долго просиживала в Обществе св. Орброзы; но теперь, уходя с самого утра, она не бывала дома весь день и только в девять часов вечера, с лицом сомнамбулы, садилась за стол. Муж находил это просто нелепым; и все же он мог бы остаться в неведении,— полное незнание женщин, наивная вера в себя и в свою удачливость помешали бы ему открыть истину, если бы любовники сами, так сказать, не натолкнули его.

Когда Поль Визир приходил к Эвелине домой и заставал ее одну, они, целуясь, говорили друг другу: «Не здесь! Не здесь!» — и тотчас переходили на подчеркнуто сдержанный тон. Это было для них правилом, не допускающим отступлений. Но однажды Поль Визир, как было условлено с его коллегой Сересом, зашел к нему домой поговорить о делах; вышла Эвелина — министр почт и телеграфов задержался «в недрах» какой-то комиссии.

— Не здесь! — с улыбкой сказали друг другу любовники.

Они говорили это, приблизив губы к губам, и слова сопровождались поцелуями, тесными объятиями, коленопреклонениями. Они все еще продолжали такого рода беседу, когда в гостиную вошел Ипполит Серес.

Поль Визир не потерял присутствия духа: он стал уверять г-жу Серес, что при всем старании никак не может вынуть у нее из глаза соринку. С помощью такого приема он и не надеялся ввести мужа в обман, но, по крайней мере, имел возможность благопристойно удалиться.

Ипполит Серес был ошеломлен. Поведение Эвелины казалось ему необъяснимым. Он спрашивал ее, чем оно вызвано.

— Но почему? Почему? — повторял он без конца.— Почему?..

Она все отрицала, не рассчитывая, разумеется, что он ей поверит,— ведь он застал их,— но ради удобства, из чувства приличия и для того, чтобы уклониться от неприятных объяснений.

Ипполит Серес испытывал все муки ревности. Он в этом сам себе признавался; он думал: «Я — сильный человек; я облечен в панцирь; но под ним — рана, в самом сердце».

И, печально глядя на жену, блистающую сладострастной и грешной красотою, он говорил ей:

— Уж с этим ты не должна была!..

И он был прав. Эвелина не должна была заводить любовника из среды правительства.

Он так страдал, что схватил револьвер и крикнул: «Я убью его!» Но тут же подумал, что министру почт и телеграфов не пристало убивать председателя совета министров, и спрятал револьвер в ночной столик.

Проходила неделя за неделей, а страдания его не утихали. Каждое утро он надевал поверх своей раны панцирь сильного человека и пытался найти забвение в работе и почестях, но все было напрасно. Каждое воскресенье он выступал на торжествах по случаю открытия памятников в виде бюстов или статуй, по случаю таких нововведений, как фонтаны, артезианские колодцы, больницы, диспансеры, железные дороги, каналы, крытые рынки, канализационные спуски, триумфальные арки, базарные площади и бойни,— и произносил пламенные речи. В жгучей жажде деятельности он читал и читал деловые бумаги, проглатывал их целыми кипами; за какую-нибудь неделю он четырнадцать раз менял цвет почтовых марок. И все же вновь и вновь поднималась в нем горькая и яростная злоба, сводившая его с ума. Случалось, он на целые дни терял способность соображать. Служи он в каком-нибудь частном учреждении, там давно бы это заметили, но гораздо труднее распознать безумие или бред у вершителей государственных дел. Как раз в это время служащие разных ведомств создавали ассоциации и союзы, дойдя в своем возбуждении до того, что напугали парламент и общественное мнение. Особенным синдикалистским пылом отличались почтальоны.

Ипполит Серес циркулярно объявил о полной законности их действий. А на другой день выпустил новый циркуляр, которым всякие объединения государственных служащих воспрещались, как незаконные. Он уволил сто восемьдесят почтальонов, потом снова их зачислил, потом объявил им выговор, потом наградил их. В совете министров он каждую минуту готов был вскипеть — разве только присутствие главы государства удер-

живало его в границах благопристойности; и, не осмеливаясь схватить за горло своего соперника, он, чтоб отвести душу, поносил главу армии, всеми уважаемого генерала Дебоннера, который, впрочем, ничего не слышал, так как был туг на ухо, да к тому же вечно занят сочинением стихов для баронессы де Бильдерман. Ипполит Серес выступал без разбора против всего, что ни предложил бы председатель совета министров. Короче говоря, он совсем сошел с ума. Катастрофа, постигшая его умственные способности, пощадила Сереса лишь в одном: он сохранил парламентское чутье, уменье ладить с большинством палаты, тонкое знание группировок, точность прицела.

ГЛАВА VIII

Новые последствия

Сессия спокойно подходила к концу, и правительство не обнаружило ничего угрожающего на скамьях парламентского большинства. Однако по некоторым статьям влиятельных умеренных газет видно было, что настойчивость еврейских и христианских финансистов возрастает с каждым днем, что банковские патриоты требуют цивилизовать Нигритию с помощью военной силы и что стальной трест, томимый пылким желанием охранить наши морские границы и защитить наши колонии, исступленно добивается постройки все новых и новых броненосцев. Распространялись слухи о войне, но такого рода слухи возникали каждый год с регулярностью пассатных ветров; серьезная публика не придавала им значения, и правительство могло предоставить им самим постепенно заглохнуть, при условии, если они не начнут усиливаться и проникать повсюду, вызывая смятение в стране. Финансисты хотели только колониальных войн; народ не хотел никаких войн; ему нравилось гордое и даже вызывающее поведение правительства; но при малейшем признаке назревающего европейского конфликта народное возмущение передалось бы палате. Поль Визир был совершенно спокоен; он считал, что положение в Европе не давало повода тревожиться. Его раздражало только маниакальное молчание министра иностранных дел. Этот гном являлся в совет министров с портфелем больше его самого, битком набитым бумагами, не говорил ни слова, отказывался отвечать на какие бы то ни было вопросы, даже на заданные самим уважаемым президентом республики; утомленный упорными трудами, он пользовался случаем вздремнуть в своем кресле, и только его черный

хохолок виднелся над зеленым сукном стола. Между тем Ипполит Серес снова становился сильным человеком; вместе со своим коллегой Лаперсоном он часто кутил в обществе актрис; по ночам можно было нередко видеть, как они оба, выделяясь высоким ростом и новыми цилиндрами среди компании женщин с накинутыми на голову шалями, входили в модные кабачки,— и вскоре они сделались популярнейшими личностями на бульварах. Они развлекались, но страдали. Фортюне Лаперсон тоже скрывал под панцирем рану: его жена, молоденькая модистка, которую он отбил у одного маркиза, ушла к шоферу. Лаперсон по-прежнему любил ее; он никак не мог забыть свою утрату, и часто два министра, где-нибудь в отдельном кабинете ресторана, под смех женщин, высасывающих клешни омара, обменивались печальным взглядом и отирали слезы.

Ипполит Серес, хотя и получил удар в самое сердце, не признавал себя побежденным. Он поклялся отомстить.

Супруга Поля Визира, вынужденная из-за плачевного состояния здоровья оставаться пока у родителей, в глуши пасмурной провинции, получила анонимное письмо, где сообщалось, что г-н Поль Визир, который не имел ни гроша, когда на ней женился, теперь растрачивает приданое г-жи Визир,— да, да, ее приданое! — с одной замужней женщиной, некоей Э... С... (расшифруйте сами!), дарит этой женщине автомобили в тридцать тысяч франков, жемчужные колье в восемьдесят тысяч и быстро идет к полному разорению, позору и гибели. Г-жа Визир прочла, истерически зарыдала и протянула письмо отцу.

— Я надеру ему уши, муженьку твоему,— сказал г-н Бланпиньон.— Если дать этому мальчишке волю, он сделает тебя нищей. Пускай он председатель совета министров, я его не боюсь.

Прямо с поезда г-н Бланпиньон отправился в министерство внутренних дел и был сейчас же принят. Разъяренный, вошел он в кабинет председателя совета министров.

— Мне нужно с вами поговорить, милостивый государь! — сказал он, воинственно взмахнув анонимным письмом.

Поль Визир встретил его радостной улыбкой.

— Отец, дорогой мой, как хорошо, что вы приехали! А я только что собирался вам писать... Да, да, хотел вам сообщить, что вы награждены офицерским орденом Почетного легиона. Я сегодня утром послал бумаги на подпись.

Господин Бланпиньон горячо поблагодарил зятя и кинул анонимное письмо в огонь.

Вернувшись к себе в провинцию, он застал дочь в раздражении и тоске.

— Ну, что ж, видел твоего мужа. Чудесный малый! Сама виновата, не умеешь держать его в руках.

Вскоре Ипполит Серес узнал из какой-то грязной газетенки (ведь только из газет и узнают министры о государственных делах), что председатель совета министров каждый вечер обедает у мадемуазель Лизианы из «Фоли драматик», по-видимому не на шутку подчинившей его своим чарам. После этого Серес стал со злорадством наблюдать за женой. По вечерам она возвращалась с большим опозданием — обедать или переодеться, чтобы ехать в гости,— и на лице ее было выражение счастливой усталости и тихой удовлетворенности.

Решив, что она еще ничего не знает, он стал посылать ей анонимные сообщения. Она читала их за столом, в его присутствии, все такая же радостная и томная.

Тогда Серес подумал, что она, видимо, не доверяет голословным предостережениям и, чтобы встревожить ее, надо дать ей прямые доказательства, предоставить случай самой убедиться в неверности и измене. У него при министерстве состояли надежные агенты для секретных расследований в интересах государственной обороны, как раз в это время следившие за шпионами, завербованными соседней вражеской державой в самом министерстве почт и телеграфов. Г-н Серес приказал агентам приостановить слежку за шпионами и разузнать, где, когда и как министр внутренних дел встречается с Лизианой. Агенты добросовестно выполнили поручение и сообщили министру, что они несколько раз заставали г-на председателя совета министров с женщиной, но что это была не Лизиана. Ипполит Серес не стал расспрашивать подробнее. Он поступил правильно: любовь Поля Визира к Лизиане была выдумана самим Полем Визиром, чтобы создать алиби и успокоить Эвелину, тяготившуюся теперь своею славой и жаждавшую укрыться в тени.

За ними следили не только филеры министерства почт и телеграфов; за ними следили и агенты префекта полиции, и даже те агенты министерства внутренних дел, которые оспаривали друг у друга право их охранять, и сотрудники многочисленных роялистских, империалистских и клерикальных агентур, и сотрудники десятка шантажных предприятий, и сыщики-любители, и множество репортеров, и толпы фотографов, так что всюду, где бы Поль Визир и Эвелина ни искали приюта для своей кочующей любви — в больших отелях и маленьких гостиницах, в городе и за городом, в меблированных комнатах и зам-

ках, в музеях, дворцах и притонах,— всюду появлялись соглядатаи, подстерегая их на улице, в окрестных домах, на деревьях, на оградах и на ступеньках, на площадках лестниц и на крышах, в смежных квартирах и в каминах. Министр и его подруга с ужасом замечали, что в их спальне были везде пробуравлены отверстия в дверях и ставнях, просверлены дыры в стенах. Уже кто-то ухитрился, за неимением лучшего, сфотографировать г-жу Серес в одной рубашке, занятую застегиванием ботинок.

Поль Визир, обозленный, выведенный из терпения, начинал уже изменять своему жизнерадостному, приятному характеру; он приходил на заседания совета министров взбешенный и набрасывался все на того же генерала Дебоннера, столь храброго в бою, но допустившего в армии полный упадок дисциплины; он осыпал сарказмами все того же адмирала — уважаемого всеми Вивье де Мюрена, у которого корабли шли ко дну безо всякой видимой причины.

Фортюне Лаперсон слушал его, выпучив глаза в насмешливом удивлении, и бормотал сквозь зубы:

— Мало ему, что он отнял у Ипполита Сереса жену,— теперь перенимает и его стиль!

Оскорбительные выходки Визира, ставшие известными из-за болтливости министров и жалоб обоих старых сановников, грозивших швырнуть свои портфели в лицо этому хлыщу, но не приводивших свои угрозы в исполнение, ничуть не повредили счастливому главе кабинета министров, а напротив — произвели самое лучшее впечатление на парламент и публику, как доказательство горячих забот о национальной армии и флоте. Председатель совета министров вызывал всеобщее одобрение.

Поздравлявшим его депутатским группам и сановникам он отвечал твердо и просто:

— Таковы мои принципы.

И посадил в тюрьму семь-восемь социалистов. Когда сессия закрылась, Поль Визир, донельзя усталый, поехал на воды. Ипполит Серес отказался оставить свое министерство, где развивал шумную деятельность профессиональный союз телефонисток. Он принял против них неслыханно суровые меры, так как сделался женоненавистником. По воскресеньям он вместе со своим коллегой Лаперсоном ездил в пригород и удил там рыбу, не снимая цилиндра, с которым не разлучался после того, как стал министром. Забывая о поплавках, они жаловались друг другу на женское непостоянство и делились своим горем.

Ипполит по-прежнему любил Эвелину и по-прежнему страдал. Но в сердце его закралась надежда. Он разлучил на неко-

торое время Эвелину с любовником и, рассчитывая вновь завоевать ее, направил на это все усилия, пустил в ход всю свою ловкость, выказал себя искренним, предупредительным, нежным, преданным, даже сдержанным. Само сердце подсказывало ему эти тонкости в обращении. Он находил для изменницы самые очаровательные и самые трогательные слова; чтобы ее смягчить, поведал ей обо всех своих страданиях.

Стягивая на животе пояс брюк, он говорил:

— Смотри, как я похудел.

Он обещал ей все, что, по его мнению, может нравиться женщине,— поездки за город, шляпки, драгоценности.

Иногда ему казалось, что он вызвал в ней наконец чувство жалости. С ее лица уже сошло дерзко-счастливое выражение. Печаль, вызванная разлукой с Полем, придавала ей некоторую мягкость. Но стоило мужу сделать хотя бы движение, чтобы завоевать ее вновь,— и она отталкивала его, неприступная, мрачная, защищенная своим грехом, как золотым поясом.

Он не переставал умолять ее, униженный и жалкий.

Однажды он явился к Лаперсону и сказал ему со слезами на глазах:

— Поговори хоть ты с нею!

Лаперсон уклонился, считая свое вмешательство бесполезным, но дал другу кое-какие советы.

— Покажи, что ты ею пренебрегаешь, что полюбил другую,— и она к тебе вернется.

Решив испытать этот способ, Ипполит пустил через газеты слух, будто он пропадает у мадемуазель Гино, актрисы Гранд-Опера. Он стал поздно возвращаться, а то и совсем не ночевал дома; в присутствии Эвелины притворялся, будто не может сдержать тайную радость; за обедом вытаскивал из кармана раздушенное письмо и читал его с напускным наслаждением, выпячивая губы, словно в мечтах тянулся к другим, невидимым губам. Все напрасно. Эвелина даже не замечала его уловок. Бесчувственная ко всему окружающему, она выходила из летаргического состояния только затем, чтобы попросить у мужа несколько луидоров, а если он отказывал, бросала на него взгляд, полный отвращения, готовая его же упрекать за позор, которым сама покрыла его перед всем светом. Полюбив, она стала много тратить на свои туалеты; ей нужны были деньги, а получить их она могла только у мужа: она хранила верность.

Он потерял терпение, был вне себя, угрожал ей револьвером. Как-то он сказал при ней г-же Кларанс:

— Поздравляю, сударыня: вы воспитали свою дочь, как продажную девку.

— Мама, возьми меня отсюда! — крикнула Эвелина.— Я разведусь с ним.

Он любил ее еще безумней, чем прежде.

Свирепея от ревности, подозревая, и не без оснований, что жена посылает и получает письма, он поклялся перехватить их, восстановил у себя на почте черный кабинет, внес беспорядок в частную корреспонденцию, задерживая биржевые ордера, расстраивая любовные свидания, вызывая банкротства, разлучая влюбленных, толкая людей на самоубийства. Независимая пресса подхватила жалобы публики и с негодованием к ним присоединилась. Чтобы оправдать эти незаконные меры, правительственные газеты стали глухо намекать на какой-то заговор, на угрожающую государству опасность, на тайно подготовляемый монархический переворот. Гораздо менее осведомленные листки давали более подробные сведения, сообщали о захвате пятидесяти тысяч винтовок и о высадке принца Крюшо. В стране росло возбуждение. Органы республиканской печати требовали немедленного созыва обеих палат. Тогда Поль Визир вернулся в Париж, собрал коллег, устроил чрезвычайное совещание совета министров и через свои агентства распространил сведения о том, что против системы народного представительства действительно существует заговор, что председатель совета министров держит все его нити в своих руках и что уже началось судебное следствие.

Он тотчас отдал распоряжение об аресте тридцати социалистов, а пока вся страна восторженно славословила его, называя своим спасителем, он, обманув бдительность шестисот сыщиков, тайком отвез Эвелину в маленькую гостиницу около Северного вокзала, где они оставались до самой ночи. После их отъезда горничная, меняя постельное белье, заметила семь маленьких крестиков, нацарапанных дамскою шпилькой на стене алькова, у изголовья кровати.

Вот все, чего достиг Ипполит Серес ценою всех усилий.

ГЛАВА IX

Окончательные последствия

Зависть — добродетель демократических государств, оберегающая их от тиранов. Депутаты начинали завидовать золотому ключу председателя совета министров. Прошел уже целый год

с тех пор, как всему свету стало известно, что он покорил прекрасную г-жу Серес; даже провинция, куда новости и моды проникают лишь после того, как земля сделает полный оборот вокруг солнца, тоже узнала наконец о незаконной любви, проникшей в совет министров. Провинция блюдет строгую нравственность; женщины там более добродетельны, чем в столице. Это объясняют разными причинами: воспитанием, влиянием примеров, простотою жизненного уклада. Профессор Гэддок утверждает, будто добродетель провинциалок всецело зависит от того, что они носят обувь на низких каблуках. «Женщина только тогда вызывает в цивилизованном мужчине подлинно эротическое чувство,— писал он в научной статье, на страницах «Антропологического обозрения»,— когда ступня ее образует с поверхностью земли угол в двадцать пять градусов. Если угол этот увеличивается до тридцати пяти градусов, эротическое воздействие данной особи приобретает острый характер. В самом деле, при вертикальном положении корпуса от ступни зависит соответственное расположение его частей и особенно таза, равно как живая взаимосвязь между поясницей и сокращением мышц в задней верхней части ляжек. А так как всякий цивилизованный мужчина подвержен извращенной наклонности к деторождению и связывает мысль о сладострастии (по крайней мере, при вертикальном положении особи) только с женскими формами, расположенными в том именно соотношении объемов и в той уравновешенности, которые определяются вышеуказанным наклоном стопы,— то, следовательно, провинциальные дамы, носящие обувь на низких каблуках, вызывают слабое желание (по крайней мере, в вертикальном положении) и без труда сохраняют добродетель». Эти выводы не получили общего признания. В противовес им указывали на то, что и в столице, под влиянием английской и американской моды, распространилась обувь на низких каблуках, не вызывая, однако, тех последствий, о которых говорил ученый профессор; что, впрочем, и разница, усматриваемая между столичными нравами и провинциальными, имеет, быть может, иллюзорный характер, а если и существует, так, вероятно, объясняется тем, что большие города предоставляют для любви всяческие возможности и удобства, которых нет в маленьких городах. Как бы там ни было, но провинция стала осуждать председателя совета министров, обвиняя его в безнравственности. Это не внушало особенной тревоги, но, быть может, только до поры до времени.

Пока опасности не было нигде — и она была повсюду. Парламентское большинство сохраняло устойчивость, но лидеры ста-

новились требовательными и угрюмыми. Быть может, Ипполит Серес никогда не решился бы пожертвовать своими интересами ради мести. Но, рассудив, что теперь можно без ущерба для собственного успеха, исподтишка подорвать успех Поля Визира, он начал изощряться в осторожной и хитрой подготовке всяких трудностей и ловушек для главы правительства. Далеко уступая своему сопернику в отношении таланта, образования и авторитета, он значительно превосходил его в искусстве кулуарных интриг. Именно его уклончивой позиции наиболее проницательные парламентские деятели приписывали ослабление большинства, недавно обозначившееся. На заседаниях комиссий он проявлял намеренную неосторожность, благосклонно принимая требования об отпуске кредитов, так как он прекрасно знал, что председатель совета министров не может скрепить их своей подписью. Однажды его тонко рассчитанная оплошность вызвала резкий и бурный конфликт между министром внутренних дел и докладчиком по бюджету этого ведомства. Тут Серес испугался и решил сделать передышку. Свалить правительство слишком рано было бы опасно для него самого. Его изобретательная ненависть нашла для себя окольные пути. У Поля Визира была бедная родственница, легкомысленная особа, носившая его фамилию. Серес, очень кстати вспомнив о существовании девицы Селины Визир, помог ей выйти из безвестности, свел ее с мужчинами и женщинами сомнительного круга и устроил ей несколько ангажементов в кафешантаны. Вскоре, по его подсказке, она стала разыгрывать во всяких «Эльдорадо» пантомимы однополой любви, под свист и хохот публики. Как-то раз, летней ночью, в одном увеселительном заведении на Елисейских полях она исполняла перед возбужденной толпой непристойные танцы — под звуки бешеной музыки, которые доносились до сада, где президент республики давал праздник в честь каких-то королевских особ. Фамилия «Визир», связанная с этими непристойностями, испещряла все стены в городе, беспрестанно мелькала в газетах, разносилась на листках, украшенных вольными виньетками, по кофейням и публичным балам, сверкала огненными буквами на бульварах.

Председателю совета министров никто не ставил в укор недостойное поведение его родственницы; но создавалось плохое мнение о его семье, и престиж государственного деятеля от этого несколько пострадал.

Вскоре Визира постигла новая неприятность. Однажды в палате, при обсуждении самого обычного вопроса, министр народного просвещения и вероисповеданий Лабийет, страдавший

болезнью печени и доведенный до белого каления настойчивостью и интригами церковников, пригрозил закрыть часовню св. Орброзы и неуважительно отозвался о национальной святой. Все правые вскочили как один, выражая возмущение; левые, с явной неохотой, все же поддержали дерзкого министра. Руководители большинства не считали нужным нападать на национальный культ, приносивший стране тридцать миллионов годового дохода; самый умеренный из правых, г-н Бигур, сделал по поводу этого случая запрос, поставив правительство в опасное положение. К счастью, министр общественных работ Фортюне Лаперсон,— как всегда, в полном сознании ответственности государственного деятеля,— взял слово вместо отсутствующего председателя совета министров и сгладил впечатление от неуклюжей, грубой выходки своего коллеги — министра вероисповеданий. Он поднялся на трибуну, чтобы засвидетельствовать уважение, питаемое правительством к небесной заступнице страны, утолительнице стольких страданий, перед которыми наука признает себя бессильной.

Когда Поль Визир, с трудом извлеченный из объятий Эвелины, появился наконец в палате, министерство было уже спасено; но председатель совета министров счел необходимым сделать существенные уступки правящим классам; он внес в парламент предложение о постройке шести броненосцев и таким способом снова завоевал симпатии стального треста; он подтвердил, что рента не будет подлежать обложению налогами, и приказал арестовать восемнадцать социалистов.

Но его ожидали еще более грозные опасности. Канцлер соседней империи, выступая с речью о международных отношениях своего государя, между тонкими замечаниями и глубокими суждениями ввернул лукавый намек на любовные страсти, которыми вдохновляется политика некоей великой державы. Это едкое словцо, встреченное улыбками в имперском парламенте, не могло не вызвать раздражения недоверчиво настроенной республики и повлекло за собою болезненный взрыв ее национального самолюбия, причем вся вина пала на влюбленного министра; депутаты воспользовались самым пустым предлогом, чтобы выразить свое неудовольствие. По поводу одного смехотворного случая,— а именно, придравшись к тому, что жена какого-то помощника префекта танцевала на публичном балу в «Мулен-Руж»,— палата вынудила правительство поставить вопрос о доверии,— правительство, правда, не пало, но удержалось лишь большинством нескольких голосов. По общему мне-

нию. Поль Визир никогда еще не был таким слабым, таким вялым, таким поблекшим, как на этом плачевном заседании.

Он понял, что может удержаться лишь при помощи какого-нибудь крупного политического шага, и решил, уступая требованиям крупных финансистов и крупных промышленников, отправить экспедиционный корпус в Нигритию, что обеспечивало объединениям капиталистов огромные лесные концессии, кредитным учреждениям — заем в восемь миллиардов, офицерам армии и флота — чины и ордена. Нашелся предлог — необходимость отомстить за какое-то оскорбление, взыскать какие-то долги. Шесть броненосцев, четырнадцать крейсеров и восемнадцать транспортов вошли в устье реки Гиппопотамов. Шестьсот пирог тщетно пытались воспрепятствовать высадке войск. Пушки адмирала Вивье де Мюрена произвели потрясающее впечатление на чернокожих, которые могли ответить только градом стрел и, несмотря на свою фанатическую храбрость, были разбиты. Эта победа вызвала в Пингвинии взрыв народного энтузиазма, еще разожженного газетами, состоящими у финансистов на содержании. Лишь несколько социалистов выступили с протестом против варварского предприятия, нечистоплотного и опасного; их немедленно арестовали.

В ту пору, когда правительство, пользовавшееся поддержкой богатых и полюбившееся также простому люду, казалось несокрушимым, один только Ипполит Серес, умудренный своей ненавистью, прозревал опасность и, поглядывая с угрюмым злорадством на соперника, бормотал сквозь зубы: «С тобою покончено, пират!»

Пока страна упивалась славой и всякими аферами, соседняя империя протестовала против оккупирования Нигритии европейской державой, и протесты эти раздавались все чаще, становились все резче. Газеты республики, поглощенной всякими заботами, скрывали назревающую опасность; но Ипполит Серес прислушивался к тому, как все возрастают угрозы, и, решившись наконец погубить врага во что бы то ни стало, даже рискуя судьбой правительства, втайне осуществлял свой замысел. Он устроил так, чтобы официозные газеты поместили ряд статей, написанных его людьми, но якобы выражающих точку зрения самого Поля Визира, тем самым свидетельствуя о воинственных намерениях главы правительства.

Эти статьи вызывали грозные отклики за границей, а вместе с тем тревожили и общественное мнение в стране, где народ любил военных, но не любил войн. На запрос о внешней политике правительства Поль Визир ответил успокоительной деклара-

цией, обещая поддерживать мир, если это не будет в ущерб национальному достоинству великого народа; министр иностранных дел Кромбиль тоже выступил с декларацией, в которой ничего нельзя было разобрать, так как она была составлена на дипломатическом языке; правительство получило поддержку огромного большинства.

Но слухи о войне не прекратились, и во избежание новой опасной интерпелляции председатель совета министров роздал депутатам восемьдесят тысяч гектаров леса в Нигритии, а также приказал арестовать четырнадцать социалистов. Ипполит Серес, расхаживая с мрачным видом по кулуарам, доверительно сообщал депутатам своей группы, что он упорно добивается возобладания мирной политики в совете министров и что надежда еще не потеряна.

Зловещие слухи росли с каждым днем, проникали в широкую публику, сея среди нее беспокойство и тревогу. Поль Визир сам начинал побаиваться. Особенно его смущало молчание и всегдашнее отсутствие министра иностранных дел. Кромбиль совсем перестал ходить в совет министров; вставая в пять часов утра, он просиживал за письменным столом по восемнадцать часов в сутки и, совершенно обессиленный, падал в корзину для бумаг, откуда сторожа извлекали его вместе с разными документами, которые они тут же продавали военным атташе соседней империи.

Адмирал Дебоннер считал, что начала военных действий надо ждать со дня на день; он к ним готовился. Он не только не испытывал никакого страха перед войной, но, напротив, жаждал ее и делился своими благородными надеждами с баронессой де Бильдерман, а та сообщала о них соседней державе, которая, опираясь на мнение генерала Дебоннера, поспешно проводила мобилизацию. Министр финансов, сам того не желая, ускорил ход событий. В те дни он играл на понижение; чтобы вызвать на бирже панику, он распространил слух, что теперь война уже неизбежна. Император соседней страны, поддавшись обману и опасаясь немедленного вторжения неприятеля, поспешно привел свои войска в боевую готовность. Напуганная этим, палата свергла правительство Визира огромным большинством голосов (814 против 7, при 28 воздержавшихся). Но было уже поздно; в самый день падения правительства соседняя враждебная держава отозвала своего посла и бросила восемь миллионов человек на родную страну г-жи Серес. Эта война превратилась в мировую войну, и вся земля была затоплена морями крови.

Через полвека после только что изложенных нами событий г-жа Серес, окруженная почетом и уважением, умерла на семьдесят девятом году жизни, задолго до того став вдовою государственного деятеля, имя которого она с достоинством носила. Ее хоронили скромно и благоговейно; за гробом шли приходские сироты и сестры-монахини «Святого смиренномудрия».

Покойница завещала все свое достояние обществу св. Орброзы.

— Увы, давно уже следовало какой-нибудь щедрой даятельнице оказать нам помощь в наших нуждах,— со вздохом сказал каноник собора св. Маэля г-н Монуайе, принимая этот благочестивый дар.— Богатые и бедные, ученые и невежды отвращаются от нас. Мы стараемся вернуть заблудшие души на путь истины, но ни угрозы, ни обещания, ни кротость, ни сила — ничто не действует. Духовенство Пингвинии оплакивает свое разорение; наши сельские священники, вынужденные поддерживать свое существование самой грубой работой, погрязли в нищете и питаются объедками. В разрушенных церквах дождь с небес льет прямо на головы молящихся, и во время богослужения раздается грохот камней, падающих со сводов. Соборная колокольня накренилась и скоро совсем развалится. Святая Орброза забыта пингвинами, поклонение ей прекратилось, ее святилище запустело. На раке не осталось ни золота, ни драгоценных каменьев, и паук бесшумно ткет на ней свою паутину.

Выслушав эти сетования, Пьер Милль, сохранивший в девяностовосьмилетнем возрасте все свои умственные и нравственные силы, спросил каноника, не думает ли он, что святая Орброза когда-нибудь вновь воспрянет из столь оскорбительного для нее забвения.

— Не смею надеяться,— со вздохом отвечал г-н Монуайе.

— Да, жаль! — заметил Пьер Милль.— Орброза — прелестный образ; легенда о ней полна очарования. Недавно я совершенно случайно обнаружил рассказ об одном из самых красивых ее чудес — «Чудо с Жаном Виолем». Не угодно ли послушать, господин Монуайе?

— С удовольствием послушаю, господин Милль!

— Вот оно, в том самом виде, как я вычитал его из рукописи четырнадцатого века:

«Цецилия, жена Никола́ Гобера, золотых дел мастера с Моста Менял, прожив долгие годы честно и целомудренно, под старость влюбилась в Жана Виоля, молоденького пажа графини де

Мобек, проживавшей в Доме Павлина на Гревской площади. Ему не исполнилось еще восемнадцати лет; фигура и лицо у него были прехорошенькие. Чувствуя себя не в силах победить свою любовь, Цецилия решила удовлетворить ее. Она зазвала пажа к себе в дом, стала всячески ублажать его, закормила сластями и в конце концов добилась своего.

И вот однажды, когда они лежали вместе в кровати золотых дел мастера, тот вернулся домой раньше, чем предполагалось. Дверь была заперта на засов, но муж услыхал снаружи, как жена вздыхает и приговаривает: «Ах ты душенька, ах ты ангелочек, ах ты крысеночек!» Тогда, подозревая, что она затворилась с любовником, он стал ломиться в дверь, крича: «Негодница! Бесстыжая! Распутница! Потаскуха! Открывай, не то нос и уши отрежу!» Ища спасения от такой опасности, супруга золотых дел мастера вознесла мольбы святой Орброзе, обещая поставить ей большую свечу, если святая поможет выпутаться ей и молоденькому пажу, который умирал от страха, забившись, совсем голый, за кровать.

Святая вняла ее мольбам. Она мгновенно превратила Жана Виоля в девицу. Увидя это, Цецилия пришла в себя от страха и закричала мужу: «Ах вы грубиян! Ах гадкий ревнивец! Будьте потише, если хотите, чтоб вам открыли!» И, продолжая стыдить его, кинулась к своему шкафу, вытащила оттуда старый женский капюшон, корсаж на китовом усе, длинную серую юбку и поспешно напялила все это на превращенного в девицу пажа. Потом сказала громким голосом: «Катерина, милочка моя, Катерина, котеночек мой! Поди открой дяде! Не бойся, он совсем не так зол, а просто глуп». Паж, превращенный в девицу, послушался. Золотых дел мастер, войдя в комнату, увидел какую-то незнакомую юную девицу и свою жену, которая лежала в кровати. «Эх ты дурачина! Ну что глаза выпучил? Только я легла в постель — из-за того, что живот у меня заболел,— пришла ко мне в гости Катерина, дочка сестры моей Жанны, той, что живет в Палезо и с которой мы пятнадцать лет были в ссоре. Поцелуй же племянницу, муженек! Она заслуживает этого». Золотых дел мастер облобызал Виоля, почувствовав при этом, что у него нежная кожа; с той минуты он только и помышлял, как бы поскорее остаться с племянницей наедине, чтобы вдоволь нацеловаться с нею. А потому поспешил отвести ее вниз, под предлогом, что хочет угостить ее вином и засахаренными орехами, и не успели они сойти с лестницы, как стал осыпать ее любовными ласками. И зашел бы еще дальше, если бы святая Орброза не внушила его честной жене мысль пойти накрыть его. Она за-

стигла его, когда он посадил мнимую племянницу к себе на колени, обозвала его распутником, надавала ему пощечин и заставила просить прощения. На следующее утро Виоль принял свой первоначальный вид».

Выслушав этот рассказ, преподобный каноник Монуайе поблагодарил Пьера Милля и, взяв перо, стал приводить в порядок списки возможных победителей на предстоящих скачках,— он служил писцом у букмекера.

Между тем Пингвиния богатела и процветала. У тех, кто производил предметы первой необходимости, их совсем не было. У тех, кто их не производил, они были в избытке. «Таковы непреложные законы экономики» — как выразился некий член Института. У великого пингвинского народа больше не было ни традиций, ни духовной культуры, ни искусства. Прогресс цивилизации выражался у него в производстве смертоносного оружия, в бесстыдной спекуляции, в отвратительной роскоши. Столица приобрела, подобно всем большим городам того времени, облик космополитический и финансистский: в ней воцарилось безграничное, сплошное уродство. Страна наслаждалась полным спокойствием. Это был апогей.

Τῇ Ἑλλάδι πενίη μὲν αἰε κατεσύντροφός ἐστι, ἀρετὴ δὲ ἔπακτός ἐστι, ἀπό τε σοφίης κατεργασμένη καὶ νόμου ἰσχυροῦ.

Геродот, История, VII, 102[1]

Вы, значит, не поняли, что это были ангелы.

(«Liber terribilis»)[2]

Р П Т М Ж У П Д П Л Б Л Х С Б О Ч
Ф И Ь П Т Г П В П Е Й М Й Т Э Й И
Р П Е Г М Б Т У Й Л П С П М Ж К Й Й
Н Р Ж С Б У П С П Г Р П Т М Ж У П Д
П Л Б Л П О Й У С Й З Е Ь Р С П Г П
И Д М Б Щ Б М Й Т Г П Я Т Г П В П Е
Ф П О Й Р П Е Ш Й О Й М Й Т Э Г П
М Ж Х Й О Б О Т П Г Ь Ц Л П Н Р Б О
Й К Л П У П С Ь Ж С Б Т Р П М Б Д Б
Я У В П Д Б У Т У Г Б Н Й Т У С Б О
Ь Й Р С Й Р П Н П Ъ Й Л Ф Р М Ж О
О П К Р С Ж Т Т Ь Г П И Е Ж К Т У Г
Ф Я У О Б П В Ъ Ж Т У Г Ж О О П Ж
Н О Ж О Й Ж

РСБГЕЙГЬКТГЙЕЖУЖМЭ

Мы присутствуем при возникновении такой химии, которая будет заниматься изменениями, производимыми телом, содержащим огромное количество концентрированной энергии, до сих пор в нашем распоряжении не имевшееся.

Сэр Уильям Рамзай

§ 1

Дома все время казались недостаточно высокими; их беспрестанно надстраивали, а новые возводили в тридцать — сорок этажей, и там громоздились одни над другими конторы,

[1] Было так, что бедность навеки сроднилась с Элладой,— доблесть же была привнесена извне и воспитывалась мудростью и строгим законом *(греч.)*.

[2] «Книга ужаса» *(лат.)*.

магазины, банки, помещения разных обществ; а под домами все глубже и глубже рыли подземелья и тоннели.

Пятнадцать миллионов человек работало в гигантском городе при свете фонарей, горящих и ночью и днем. Ни один луч не проникал с небес сквозь дым заводов, опоясывавших город; лишь иногда было видно, как багровый и тусклый диск солнца скользит по черному небу, изборожденному железными мостами, с которых непрерывным дождем сыплется сажа и угольная пыль. Это был самый промышленный и самый богатый город во всем мире. Казалось, его организация была совершенной; в нем уже ничего не оставалось от прежних аристократических или демократических общественных форм; все было подчинено интересам трестов. В этой среде выработался новый человеческий тип, который антропологи называют типом миллиардера. Это были люди энергичные, но вместе с тем хрупкие; люди, наделенные могучей комбинационной способностью, проводившие долгие часы в напряженной кабинетной работе, но вместе с тем страдавшие наследственным нервным расстройством, которое с возрастом усиливалось.

Как все настоящие аристократы, как патриции республиканского Рима, как лорды старой Англии, эти могущественные люди соблюдали величайшую строгость нравов. Были среди них подлинные аскеты богатства: на заседаниях трестов можно было видеть лысые головы, впалые щеки, ввалившиеся глаза, изборожденные морщинами лбы. Тела у них были еще изможденнее, чем у старых испанских монахов, лица — еще желтее, губы — еще суше, взгляд — еще воспаленней, чем у них, потому что эти миллиардеры безудержно предавались суровым подвигам банковской и промышленной деятельности. Многие из них, отказывая себе во всякой радости, во всяком удовольствии, во всяком отдыхе, не жили, а прозябали в комнате без воздуха и света, уставленной одними электрическими аппаратами, там же ужинали яйцами и молоком, там же спали на какой-нибудь койке. Занятые только тем, что нажимали пальцем на никелевую кнопку, эти новые мистики, накапливая богатства и не видя вокруг себя даже признака их, достигали бесполезной возможности исполнять желания, которых они никогда не испытывали.

У культа богатства были и свои мученики. Так, один миллиардер, знаменитый Самуил Бокс, предпочел умереть, чем поступиться ничтожной частицей своего достояния. Один из его рабочих, став жертвой несчастного случая на предприятии и получив отказ в компенсации за увечье, стал добиваться осу-

ществления своих прав по суду, но, обессиленный борьбою с непреодолимыми трудностями тяжбы, впал в жестокую нищету и, доведенный до отчаяния, прибег к дерзкой уловке — проник с револьвером к хозяину предприятия и потребовал заплатить положенную сумму, грозя в противном случае пустить ему пулю в лоб. Самуил Бокс платить отказался и из принципа предоставил убить себя.

Люди охотно берут пример с вышестоящих. Те, кто не владел крупными капиталами (а таких, само собой разумеется, было большинство), усиленно перенимали взгляды и нравы миллиардеров, стремясь смешаться с ними. Все чувства, препятствующие накоплению или сохранению богатства, считались позорными; не было прощения ни вялости, ни лени, ни вкусу к бескорыстным исследованиям, ни любви к искусству, ни тем более расточительности; сострадание осуждалось как пагубная слабость. Склонность к наслаждениям порицали, но, напротив, всегда готовы были извинить грубое удовлетворение желаний: в самом деле, насилие представлялось менее вредным для нравов, так как в нем усматривали одну из форм социальной энергии. Прочными устоями государства являлись две общественные добродетели: уважение к богатым и презрение к бедным. Слабым душам, порою смущенным при виде человеческих страданий, не оставалось ничего другого, как прибегать к лицемерию, которое невозможно было порицать, поскольку оно способствовало поддержанию порядка и обеспечивало прочность общественных установлений.

Таким образом, среди богатых людей все были преданы существующему строю или казались ему преданными; все подавали пример этой преданности, если даже сами не всегда следовали этому примеру. Некоторые жестоко страдали от условий своего существования, но поддерживали их из гордости или по обязанности. Кое-кто пытался хоть ненадолго избавиться от этих условий, действуя тайком и при помощи разных хитростей. Один из них, Эдуар Мартен, председатель железного треста, иногда переодевался нищим, чтобы выпрашивать милостыню у прохожих и нарываться на грубости. Как-то раз, стоя с протянутой рукой на мосту, он поссорился с настоящим нищим и в припадке бешеной зависти задушил его.

Отдавая все свои мысли делам, они не искали умственных наслаждений. Театр, некогда процветавший у них, свелся теперь к пантомиме и комическим танцам. Даже спектакли, где выступали женщины, были преданы забвению; утратился вкус к красивым формам и изящным туалетам. Им стали предпочи-

тать кульбиты клоунов и негритянскую музыку, а настоящее восхищение вызывали у театральной публики только бриллианты на шеях у фигуранток да бруски золота, торжественно проносимые по сцене.

Дамы из богатых кругов вынуждены были, подобно мужчинам, вести респектабельный образ жизни. По склонности, наблюдаемой во всякой цивилизованной стране, общественное мнение возводило их в некий символ: своим суровым великолепием они должны были знаменовать и величие богатства, и его недоступность. Прежнее обыкновение заводить любовные интриги было упразднено; но на смену светским любовникам потаенно явились мускулистые массажисты или какие-нибудь лакеи. Впрочем, скандалы происходили редко: путешествие за границу почти всегда все сглаживало, и принцессы трестов по-прежнему оставались предметом всеобщего уважения.

Богатые составляли только незначительное меньшинство, но те, кто им служил, люди изо всех слоев населения, были целиком ими куплены или им подчинены. Они делились на две категории: торговых или банковских служащих и заводских рабочих. Первые выполняли огромную работу и получали солидные оклады. Некоторые из них в конце концов основывали собственные предприятия; непрерывным ростом общественных богатств и подвижностью средств, находящихся в частных руках, поощрялись надежды наиболее способных или наиболее смелых. Конечно, в бесчисленной толпе приказчиков, инженеров, бухгалтеров можно было найти известное количество недовольных и раздраженных,— но этот могущественный социальный строй внедрял суровую дисциплину даже в умы своих противников. Анархисты — и те отличались там прилежанием и пунктуальностью.

Что касается рабочих, трудившихся на заводах, в окрестностях города, то они переживали глубокий физический и моральный упадок; они воплощали в себе тип бедняка, установленный антропологией. Хотя развитие некоторых мускулов, вызванное особым характером их деятельности, могло внушить ложное представление об их силе, в действительности у них обнаруживались верные признаки болезненной расслабленности. Не только низкий рост, маленькая голова, узкая грудь, но еще и множество физиологических аномалий,— особенно асимметрия головы или тела, очень среди них распространенная,— отличали их от представителей обеспеченных классов. И они были обречены на постепенное непрерывное вырождение, так как самых сильных среди них государство забирало

«Боги жаждут»

в солдаты, и тогда здоровье их недолго могло устоять перед продажными женщинами и кабатчиками, расположившимися вокруг казарм. Пролетарии обнаруживали все больше признаков слабоумия. Непрерывное ослабление их умственных способностей обусловлено было не только их образом жизни; оно возникало также и в результате систематического отбора, производимого хозяевами. Последние, опасаясь рабочих, обладающих слишком ясным умом, а потому умеющих выражать свои законные требования, старались отделаться от них всяческими способами, предпочитая вербовать народ невежественный и ограниченный, неспособный отстаивать свои права, у которого ума хватает лишь на то, чтобы справляться с работой, весьма несложной благодаря усовершенствованным машинам.

Таким образом, пролетарии не в состоянии были ничего предпринять для облегчения своей участи. Им даже еле удавалось сохранять прежний уровень заработной платы при помощи забастовок. Но и это средство они начинали уже утрачивать. Частые перерывы в производстве, неизбежные при капитализме, порождали такую безработицу, что во многих отраслях промышленности сразу после объявления какой-нибудь стачки, на места, покинутые стачечниками, становились безработные. Короче говоря, эти жалкие производители пребывали в мрачной апатии, исключавшей всякую радость и всякий взрыв отчаяния. Общественный строй превратил их в необходимые орудия, отвечающие своему назначению.

В итоге этот общественный строй казался прочнее какого-либо другого, по крайней мере из известных в человеческой истории, ибо общество пчел и муравьев в смысле устойчивости выше всякого сравнения; ничто не позволяло предвидеть крушение режима, основанного на том, что́ сильнее всего в человеческой природе,— на гордыне и алчности. Однако наиболее проницательные наблюдатели усматривали много поводов к беспокойству. Самые тревожные признаки, хоть и наименее заметные, были экономического характера и заключались в возрастающем перепроизводстве и связанной с ним длительной и жестокой безработице, в коей, правда, промышленники усматривали возможность подрывать силу рабочих, противопоставляя безработных тем, кто занят на производстве. Более ощутимый вид опасности порождало физическое состояние почти всего народонаселения. «Здоровье у бедняков таково, каким оно только и может быть,— говорили врачи-гигиенисты,— но и у богатых оно оставляет желать лучшего». Нетрудно было найти причины этому. В городе недоставало необходимого для

жизни кислорода; дышали искусственным воздухом; пищевые тресты, производя самые смелые химические соединения, выпускали искусственные вина, искусственное мясо, искусственное молоко, искусственные фрукты, искусственные овощи. Но подобное питание вредно отзывалось на желудке и на мозге. Миллиардеры лысели уже к восемнадцати годам; некоторые из них порою обнаруживали опасное ослабление умственной деятельности; заболев, они в испуге платили огромные суммы невежественным знахарям, и случалось, что вдруг в городе ни с того ни с сего делал блестящую медицинскую или богословскую карьеру какой-нибудь простой банщик, вздумавший стать терапевтом или пророком. Непрерывно росло количество сумасшедших; в кругу богачей множились самоубийства, причем иные из них сопровождались ужасными и нелепыми обстоятельствами, которые свидетельствовали о неслыханном извращении ума и чувств.

Еще одно зловещее явление вызывало всеобщую тревогу. Всякого рода несчастные случаи стали периодически повторяющимися, закономерными событиями, так что даже предусматривались в планах и занимали все более и более обширное место в статистике. Каждый день взрывались машины, взлетали в воздух дома, тяжело нагруженные товарные поезда обрушивались с воздушных путей на бульвары,— снося целые здания, давя сотни прохожих, они проваливались под землю и сокрушали два-три этажа подземных мастерских или доков вместе с многочисленными партиями рабочих.

§ 2

В юго-западной части города, на холме, сохранившем прежнее название Форт св. Михаила, был расположен общественный сад, где старые деревья еще простирали над лужайками свои истощенные руки. На северном склоне инженеры-пейзажисты устроили водопад, пещеры, бурный поток, озеро, острова. Отсюда был виден весь город — улицы, бульвары, площади, нагромождение крыш и куполов, линии воздушных железных дорог, толпы людей, кажущиеся сверху безмолвными и как бы заколдованными. Этот сад был самым здоровым местом в столице: дым не застилал там неба, и туда водили гулять детей. В летнее время некоторые служащие соседних контор и лабораторий приходили туда после завтрака отдохнуть, ничем не нарушая мирной тишины сада.

Вот так в июне, около полудня, пришла и телеграфистка Каролина Мелье посидеть на скамейке в конце Северной террасы. Она села спиной к городу, чтобы, глядя на зелень, дать отдых глазам. Черноволосая, с золотисто-карими глазами, крепкая и спокойная, Каролина казалась не старше двадцати пяти — двадцати восьми лет. Почти тотчас же рядом сел служащий электрического треста Жорж Клер. У него были светлые волосы, тонкая и гибкая фигура, женственно изящные черты лица; он был, во всяком случае, не старше ее, а казался даже моложе. Встречаясь на этом месте почти каждый день, они чувствовали взаимную симпатию и любили друг с другом поговорить. Но в их беседе никогда не было ничего нежного, сердечного, личного. Хотя Каролине уже случилось как-то в прошлом пожалеть о своей доверчивости, она, может быть, и готова была допустить более непринужденные отношения, но Жорж Клер и в разговорах, и во всем своем обращении с нею был всегда чрезвычайно сдержан; он никогда не нарушал чисто интеллектуального характера беседы и оставался в области общих тем,— впрочем, высказываясь обо всем с самой резкой откровенностью.

Он часто заводил речь об устройстве общества и условиях труда.

— Богатство,— говорил он,— только одно из средств к счастливой жизни, а они превратили его в единственную цель существования.

И обоим такое положение вещей казалось чудовищным.

Они беспрестанно обращались и к некоторым научным проблемам, связанным с их постоянными интересами.

На этот раз они обменивались мыслями об эволюции химических знаний.

— С тех пор как было открыто превращение радия в гелий,— сказал Клер,— перестали утверждать, что элементы неизменяемы; таким образом, были упразднены эти старые законы — простых отношений и сохранения материи.

— А химические законы все же существуют,— сказала она, потому что, как женщина, чувствовала потребность во что-нибудь верить.

Он заметил небрежным тоном:

— Теперь, когда можно добывать радий в достаточном количестве, наука получила в свое распоряжение несравненные способы анализа; отныне в так называемых элементах угадываются богатейшие соединения и в материи обнаруживается

энергия, как будто возрастающая именно в связи с ничтожно малым объемом.

Разговаривая, они бросали птицам крошки хлеба; вокруг играли дети.

Клер перешел на другую тему.

— В четвертичный период,— сказал он,— на этом холме жили дикие кони. В прошлом году, когда рыли землю для водопровода, здесь откопали толстый слой из костей гемионов.

Она спросила, существовал ли уже человек в ту отдаленную эпоху.

Он объяснил, что человек охотился тогда на гемионов, еще не пытаясь приручать их.

— Человек был вначале охотником,— добавил он,— потом стал пастухом, пахарем, промышленником... И эти разные виды цивилизации следовали один за другим сквозь такую толщу времен, которую наш разум не в состоянии себе представить.

Он вынул часы.

Каролина осведомилась, не пора ли возвращаться на работу.

Он ответил, что еще рано,— еще только половина первого.

На земле возле их скамейки девочка делала из песка пирожки; мальчик лет семи-восьми вприпрыжку пробежал мимо. На соседней скамейке сидела его мать с шитьем, а он играл один, изображая, как вырвалась на свободу лошадь, и, с той способностью отдаваться игре, какая свойственна детям,— одновременно воображал себя и лошадью, и теми, кто ее ловит, и теми, кто в ужасе бежит от нее. Он бесновался и кричал: «Ловите ее! Го-го! Это страшная лошадь! Она закусила удила!»

Каролина спросила Клера:

— Как вы думаете, были счастливы люди прежде?

Ее собеседник ответил:

— Когда человечество было моложе, оно меньше страдало. Люди были похожи на этого мальчика: они играли; играли в искусство, в добродетели, в пороки, в героизм, в верования, в сладострастие; у них были иллюзии, которые их развлекали. Люди шумели, забавлялись. А теперь...

Не окончив фразы, он опять посмотрел на часы. Мальчик споткнулся о ведерко девочки и растянулся на песке. Минуту он лежал неподвижно, потом приподнялся на руках; на лбу у него вскочила шишка; он надул губы и громко заплакал. Прибежала мать, но Каролина уже успела поднять его и вытирала ему глаза и рот своим носовым платком. Малыш все рыдал; Клер обнял его.

— Ну, ну, не плачь, детка. Я расскажу тебе сказку.

«Один рыбак забросил в море невод и вытащил медный горшочек, закрытый крышкой. Он открыл его ножом. И оттуда вышел дым и поднялся до самых облаков, а потом стал густеть, густеть и превратился в великана, и великан чихнул так сильно, так сильно, что весь мир рассыпался в прах...»

Вдруг Клер замолчал и с сухим смешком передал ребенка матери. Опять вынул часы и, став коленями на скамью, облокотившись на спинку, принялся глядеть на город.

Далеко, насколько хватал глаз, виднелось множество домов, огромных, но казавшихся совсем крошечными.

Каролина стала смотреть в ту же сторону.

— Какая погода прекрасная! — сказала она.— Солнце сияет, и дым на горизонте кажется совсем золотым. Все-таки самое ужасное в цивилизации — то, что она лишила нас дневного света.

Он не отвечал; взгляд его был устремлен на какое-то место в городе.

Несколько секунд прошло в молчании, и вдруг они увидели, что приблизительно в трех километрах от них, по ту сторону реки, в самом богатом районе города, поднимается странный, зловещий туман. Через мгновенье послышался взрыв, и к ясному небу гигантским деревом вознесся столб дыма. И мало-помалу весь воздух наполнился чуть слышным гулом, в котором слились крики нескольких тысяч людей. Совсем близко, в саду, тоже кричали.

— Что это взорвалось?

Всех охватило смятение; хотя несчастные случаи происходили теперь очень часто, но такого сильного взрыва еще не бывало, и с ужасом каждый отметил это.

Начали определять, где разразилась катастрофа; называли кварталы, улицы, разные здания — клубы, театры, магазины. Топографические данные становились все подробнее и точнее.

— Это взорвался стальной трест!

Клер спрятал часы в кармашек.

Каролина пристально смотрела на него, и в глазах ее было изумление.

Наконец она шепнула ему на ухо:

— Вы знали? Ждали?.. Так это вы?..

Он ответил просто:

— Город должен быть разрушен.

Она промолвила задумчиво и мягко:

— Я тоже так думаю.

И оба спокойно пошли — каждый к себе на работу.

С этого дня анархисты устраивали взрывы непрерывно в течение целой недели. Было множество человеческих жертв,— почти все из неимущих классов. Эти злодейства вызвали общественное негодование. Больше всего возмущались обыватели — хозяева гостиниц, мелкие чиновники и те мелкие торговцы, которых еще не успели вытеснить тресты. В рабочих кварталах женщины громко требовали небывалых казней для динамитчиков (это прежнее название еще сохранялось, хоть и устарело, так как неизвестные химики считали динамит слишком уж невинным средством, пригодным разве для уничтожения муравейников, и им казалось детской забавой взрывать нитроглицерин при помощи гремучей ртути). Деловая жизнь сразу остановилась, причем первыми пострадали от этого наименее обеспеченные. Они заговорили о том, как бы самим расправиться с анархистами. Вообще заводские рабочие относились к действию насилием враждебно или же безразлично. Спад деловой жизни грозил безработицей или даже локаутом во всех отраслях производства, и, когда объединение профессиональных союзов поставило вопрос о всеобщей забастовке как наилучшем способе воздействовать на хозяев и оказать существенную помощь революционерам, рабочие всех специальностей, кроме золотильщиков, отказались прекратить работу.

Полиция произвела много арестов. Войска национальной конфедерации были стянуты изо всех пунктов для охраны помещений трестов, особняков миллиардеров, общественных зданий, банков, больших магазинов. Прошло две недели без единого взрыва. Тогда решили, что динамитчики,— вероятно, какая-нибудь горсточка или и того меньше,— перебиты, переловлены, где-нибудь попрятались или бежали. Стало восстанавливаться спокойствие,— прежде всего среди самых бедных. Двести — триста тысяч солдат, расквартированных в рабочих кварталах, оживили торговлю; их приветствовали возгласами: «Да здравствует армия!»

Богатые, не так быстро поддавшиеся испугу, успокаивались медленнее. Но на бирже группа играющих на повышение стала сеять ободряющие слухи и решительным маневром приостановила падение бумаг; застой прекратился. Крупнотиражные газеты поддержали эти настроения; с патриотическим красноречием они доказывали, что неуязвимый капитал смеется над покушениями немногочисленных подлых преступников и общественное богатство, презирая пустые угрозы, продолжает спокойно

расти; они писали так с полной искренностью — и получали за нее воздаяние. Стали забывать о покушениях, даже отрицать, что они были. По воскресным дням женщины, увешанные, отягощенные жемчугами и бриллиантами, снова украшали трибуны на скачках. С радостью было отмечено, что капиталисты не пострадали. При взвешивании наездников публика рукоплескала миллиардерам.

А на другой день Южный вокзал, нефтяной трест и грандиозная церковь, выстроенная на средства Томá Морселе, взлетели на воздух; сгорело тридцать домов; вспыхнул пожар в доках. Пожарные проявили чудеса самоотверженности и бесстрашно, с точностью механизма орудовали своими длинными железными лестницами, поднимаясь до тридцатого этажа и спасая несчастных из пламени. Солдаты ревностно охраняли порядок, за что получили двойную порцию кофе. Но все эти новые несчастия произвели панику. Миллионы людей, стремящихся немедленно уехать и увезти свои деньги, осаждали крупные кредитные учреждения; однако те производили выплату только три дня, а потом закрыли кассы под рокот бунта. Толпы беженцев с чемоданами и тюками ринулись на вокзалы и с бою занимали места в поездах. Многие, решив поскорей укрыться в подвалах, запасались продовольствием, шли на приступ бакалейных и съестных лавок, охраняемых солдатами с примкнутыми штыками. Власти проявили энергию. Были произведены новые аресты, подписаны тысячи ордеров на задержание подозрительных лиц.

Следующие три недели миновали без всяких взрывов. Прошел слух, что обнаружены бомбы в зале Оперы, в погребах городской мэрии и у одной из колонн здания биржи. Но вскоре стало известно, что это были коробки из-под консервов, подброшенные злыми шутниками или сумасшедшими. Один из обвиняемых заявил на допросе, что он главный организатор взрывов, стоивших жизни всем его сообщникам. Его показания были опубликованы в газетах и содействовали успокоению общества. Только под самый конец следствия судебные чины заметили, что перед ними симулянт, совершенно непричастный ко взрывам.

Назначенные судом эксперты не обнаружили ни малейшего обломка, который позволял бы судить о том, каким снарядом пользовались разрушители. Согласно догадкам экспертизы, новое взрывчатое вещество являлось эманацией газа, выделяемого радием; предполагалось, что электрические волны, вызываемые

особым осциллятором, распространялись в воздухе и производили взрыв; но даже самые опытные химики не решались сказать что-либо точное и определенное. Наконец как-то раз двое полицейских, проходя мимо особняка Мейера, нашли на тротуаре, около отдушины, какой-то яйцевидный предмет из белого металла, с капсюлем на одном конце; они осторожно подняли его и, по распоряжению своего начальника, отнесли в муниципальную лабораторию. Не успели эксперты собраться, чтобы рассмотреть яйцо, как оно взорвалось, разметав амфитеатр и купол. Все эксперты погибли, в том числе генерал артиллерии Коллен и знаменитый профессор Тигр.

Капиталистическое общество не склонилось перед этой новой бедой. Крупные кредитные учреждения снова пооткрывали свои кассы, объявив, что будут производить платежи частью золотом, частью государственными бумагами. Фондовая и товарная биржи, несмотря на полное прекращение сделок, решили не закрываться.

Между тем закончилось следствие по делам первых арестованных. Быть может, при других обстоятельствах обвинительный материал против них и показался бы недостаточным, но все возмещалось усердием судей и общественным негодованием. Накануне открытия процесса Дворец правосудия был взорван; при этом погибло восемьсот человек, среди них множество судей и адвокатов. Рассвирепевшая толпа ворвалась в тюрьмы и линчевала заключенных. Воинская часть, посланная для наведения порядка, была встречена камнями и револьверными выстрелами; нескольких офицеров стащили с седел и растоптали. Солдаты открыли огонь; было много жертв. Властям удалось восстановить спокойствие. Но на другой день был взворван Государственный банк.

С тех пор началось что-то неслыханное. Заводские рабочие, прежде отказывавшиеся даже бастовать, теперь стали толпами нападать на город и палить дома. Целые полки, во главе с офицерами, присоединялись к поджигателям-рабочим, ходили с ними по городу, распевая революционные гимны, и кончили тем, что захватили в доках многие тонны керосина, чтобы подливать в огонь. Взрывы не прекращались. Однажды утром как бы некое чудовищное дерево, призрак пальмы в три километра высотою, внезапно выросло на месте, где только что перед тем стоял гигантский дворец Телеграфа.

Пока одна половина города полыхала, в другой жизнь шла своим чередом. По утрам слышалось бренчанье жестяных бидонов в тележках молочников.

На пустынной улице старый дорожный рабочий, прислонившись спиною к стене и зажав между колен бутылку, медленно жевал краюху хлеба с салом. Председатели трестов почти все оставались на местах. Некоторые из них исполняли свои обязанности с героической простотой. Сын миллиардера-мученика Рафаил Бокс взлетел на воздух, председательствуя на общем собрании акционеров сахарного треста. Ему устроили великолепные похороны. Траурной процессии пришлось шесть раз преодолевать горы развалин или же переходить по доскам через ямы провалившейся мостовой.

Обычные помощники богачей — приказчики, конторщики, маклеры, агенты — по-прежнему выказывали им непоколебимую верность. При наступлении срока платежей еще оставшиеся в живых рассыльные взорванных банков шли по развороченным улицам в окутанные дымом дома, чтобы предъявить какой-нибудь вексель и получить по нему деньги; многие при этом погибали в пламени.

Тем не менее уже не оставалось никаких иллюзий: невидимый враг завладел городом. Теперь там господствовал гул взрывов, непрерывный, как тишина, уже привычный для слуха и полный неодолимого ужаса. Осветительное оборудование было разрушено, по ночам город был погружен во мрак, и совершались чудовищные, неслыханные преступления. Одни только рабочие кварталы, не столь пострадавшие, еще кое-как держались. Там наводили порядок патрули добровольцев; они расстреливали грабителей, и на каждом углу можно было наткнуться на труп, лежащий в луже крови, с подогнутыми коленями, со связанными за спиной руками, с платком, прикрывающим лицо, и с пришпиленной на животе надписью.

Уже невозможно было разбирать груды обломков и хоронить мертвых. Вскоре трупный смрад стал невыносим. Начались эпидемии; бесчисленное множество людей перемерло, а те, что выжили, еле держались на ногах, были как помешанные. Остальных подбирал голод. Когда прошел сто сорок один день после первого взрыва и в Альку вступили шесть армейских корпусов с полевой и осадной артиллерией,— ночью в самом бедном районе города, единственном еще уцелевшем, но уже охваченном со всех сторон поясом пламени и дыма, Каролина и Клер, взявшись за руки, смотрели вниз с крыши высокого дома. Веселые песни взлетали над улицей, где плясала обезумевшая толпа.

— Завтра все будет кончено,— сказал он.— И так будет лучше.

Молодая женщина, с разметавшимися волосами, с лицом, озаренным отблесками пожара, радостно и благоговейно смотрела на сжимающееся вокруг них огненное кольцо.

— Так будет лучше...— повторила она.

И, бросившись в объятия разрушителя, самозабвенно поцеловала его.

§ 4

Остальные города Федерации тоже пережили разруху и смуту, но впоследствии там восстановился порядок. Были произведены реформы в области государственных установлений; нравы сильно изменились; но совсем воспрянуть после потери столицы и достичь прежнего процветания страна уже не могла. Торговля и промышленность пришли в полный упадок; цивилизация исчезла из этих мест, прежде излюбленных ею. Они сделались бесплодными и нездоровыми; территория, на которой кормились миллионы людей, стала сплошной пустыней. На склоне холма, в саду Форта св. Михаила, дикие кони щипали сочную траву.

Дни протекали, как воды источников, столетия падали в вечность, словно капли со сталактитов. На холмах, укрывших под собою развалины забытого города, охотники били медведей; пастухи пасли там свои стада; пахари бороздили землю плугом; огородники и садоводы выращивали салат и прививали грушевые деревья. Люди были небогаты, чуждались искусств. Древняя виноградная лоза и кусты роз украшали стены их хижин; козья шкура прикрывала их загорелое тело; женщины одевались в домотканую шерсть. Козопасы лепили из глины фигурки людей и животных или пели песенки о девушке, уходящей в лес за своим милым, о козах, что щиплют траву под шум сосен и журчанье ручья. Хозяин сердился на жуков, поедающих его фиги; придумывал, какие устроить западни, чтобы охранить своих кур от пышнохвостой лисы, и угощал соседей вином, приговаривая:

— Пейте! Саранче не удалось испортить мой виноград; когда саранча налетела — он был уже собран.

Шли годы, богатые деревни и тучные нивы были разграблены и опустошены нашествием варваров. Много раз страна переходила от одних завоевателей к другим. Победители построили замки на холмах; развились ремесла; появились мельницы, кузницы, дубильни, ткацкие мастерские; через леса и болота протянулись дороги; по рекам побежали суда. Деревни выросли в укрепленные городки и, соединившись вместе, образовали большой город, защищенный рвами и высокими стенами. Позднее,

сделавшись столицей обширного государства, он раздался во все стороны, и старые укрепления, отныне уже бесполезные и стеснительные, были превращены в зеленые бульвары.

Город разбогател и непомерно разросся. Дома все время казались недостаточно высокими; их беспрестанно надстраивали, а новые возводили в тридцать — сорок этажей, и там громоздились одни над другими конторы, магазины, банки, помещения разных обществ; а под домами все глубже и глубже рыли подземелья и тоннели. Пятнадцать миллионов человек работало в гигантском городе.

БОГИ ЖАЖДУТ

ПЕРЕВОД БЕНЕДИКТА ЛИВШИЦА

I

Эварист Гамлен, художник, ученик Давида, член секции Нового моста, прежде — секции Генриха IV, ранним утром отправился в бывшую церковь варнавитов, которая уже в течение трех лет, с 21 мая 1790 года, служила местом общих собраний секции. Церковь эта находилась на тесной, мрачной площади, близ решетки Дворца правосудия. На фасаде, составленном из двух классических ордеров, украшенном плошками и опрокинутыми консолями, пострадавшем от времени, потерпевшем от людей, религиозные эмблемы были сбиты, и на их месте, над главным входом, черными буквами вывели республиканский девиз: *Свобода, Равенство и Братство — или Смерть.* Эварист Гамлен вошел внутрь: своды, некогда внимавшие богослужениям клириков конгрегации апостола Павла, облаченных в стихари, теперь взирали на патриотов в красных колпаках, которые сходились сюда для выборов муниципальных чиновников и для обсуждения дел секции. Святых вытащили из ниш и заменили бюстами Брута, Жан-Жака и Лепелетье. На разоренном алтаре высилась доска с Декларацией прав человека.

Здесь-то дважды в неделю, от пяти до одиннадцати вечера, и происходили публичные собрания. Церковная кафедра, убранная национальными флагами, служила ораторам трибуной. Против нее, направо, соорудили из грубо отесанных досок помост для женщин и детей, которые охотно посещали эти собрания. В то утро за столом у самого подножья кафедры сидел в красном колпаке и карманьоле столяр с Тионвильской площади, гражданин Дюпон-старший, один из двенадцати членов Наблюдательного комитета. На столе стояли бутылка, стаканы, чернильницы

ница и лежала тетрадка с текстом петиции, предлагавшей Конвенту изъятие из его лона двадцати двух недостойных членов.

Эварист Гамлен взял перо и поставил свою подпись.

— Я был уверен, что ты присоединишь свой голос, гражданин Гамлен,— сказал член комитета.— Ты настоящий патриот. Но в секции мало пыла; ей не хватает доблести. Я предложил Наблюдательному комитету не выдавать свидетельства о гражданской благонадежности тем, кто не подпишет петиции.

— Я готов своей кровью подписать приговор предателям-федералистам,— сказал Гамлен.— Они хотели смерти Марата — пусть погибнут сами.

— Равнодушие — вот что нас губит,— ответил Дюпон-старший.— В секции, насчитывающей девятьсот полноправных членов, не наберется и полсотни посещающих собрания. Вчера нас было двадцать восемь человек.

— Что ж,— заметил Гамлен,— надо под угрозою штрафа обязать граждан приходить на собрания.

— Ну нет,— возразил столяр, хмуря брови,— если явятся все, то патриоты окажутся в меньшинстве... Гражданин Гамлен, хочешь выпить стаканчик вина за здоровье славных санкюлотов?..

На церковной стене, налево от алтаря, рядом с надписями *Гражданский комитет, Наблюдательный комитет, Комитет призрения,* красовалась черная рука с вытянутым указательным пальцем, направленным в сторону коридора, соединявшего церковь с монастырем. Немного дальше, над входом в бывшую ризницу, была выведена надпись: *Военный комитет.* Войдя в эту дверь, Гамлен увидел секретаря комитета за большим столом, заваленным книгами, бумагами, стальными болванками, патронами и образцами селитроносных пород.

— Привет, гражданин Трюбер. Как поживаешь?

— Я?.. Великолепно.

Секретарь Военного комитета Фортюне Трюбер неизменно отвечал так всем, кто справлялся о его здоровье, и делал это не столько с целью удовлетворить их любопытство, сколько из желания прекратить дальнейшие разговоры на эту тему. Ему было только двадцать восемь лет, но он уже начинал лысеть и сильно горбился; кожа у него была сухая, на щеках играл лихорадочный румянец. Владелец оптической мастерской на набережной Ювелиров, он продал в девяносто первом году старинную отцовскую фирму одному из своих старых приказчиков, чтобы всецело отдаться общественным обязанностям. От матери — прелестной женщины, которая скончалась в возрасте двадцати лет

и о которой местные старожилы вспоминали с умилением,— он унаследовал красивые глаза, мечтательные и страстные, бледность и застенчивость. Отца, ученого оптика, придворного поставщика, умершего, не достигнув тридцати лет, от того же недуга, он напоминал прилежанием и точным умом.

— А ты, гражданин, как поживаешь? — спросил он, продолжая писать.

— Прекрасно. Что нового?

— Ровно ничего. Как видишь, здесь все спокойно.

— Каково положение?

— Положение по-прежнему без перемен.

Положение было ужасно. Лучшая армия Республики была блокирована на Майнце; Валансьен — осажден, Фонтене — захвачен вандейцами, Лион восстал, Севенны — тоже, испанская граница обнажена; две трети департаментов были объяты возмущением или находились в руках неприятеля. Париж — без денег, без хлеба, под угрозой австрийских пушек.

Фортюне Трюбер продолжал спокойно писать. Постановлением Коммуны секциям было предложено произвести набор двенадцати тысяч человек для отправки в Вандею, и он был занят составлением инструкций по вопросу о вербовке и снабжении оружием солдат, которых была обязана выставить от себя секция Нового моста, бывшая секция Генриха IV. Все ружья военного образца должны были быть сданы вновь сформированным отрядам. Национальная же гвардия оставляла себе только охотничьи ружья и пики.

— Я принес тебе список колоколов, которые надлежит отправить в Люксембург для переливки в пушки,— сказал Гамлен.

Эварист Гамлен, при всей своей бедности, был полноправным членом секции. По закону избирателем мог быть лишь гражданин, уплачивавший налог в размере трехдневного заработка; а правом быть избранным пользовались лишь те, кто уплатил налог в сумме десятидневного заработка. Однако секция Нового моста, увлеченная идеей равенства и ревностно оберегающая свою автономию, предоставляла и активное и пассивное право всякому гражданину, приобретшему на собственные средства полное обмундирование национального гвардейца. Именно так обстояло дело с Гамленом, который был полноправным членом секции и членом Военного комитета.

Фортюне Трюбер отложил в сторону перо.

— Гражданин Эварист, ступай в Конвент и потребуй присылки инструкций для обследования почвы в погребах, выщела-

чивания земли и камней в них и добычи селитры. Пушки — еще не всё: нужен также и порох.

В бывшую ризницу вошел маленький горбун, с пером за ухом и бумагами в руке. Это был гражданин Бовизаж, член Наблюдательного комитета.

— Граждане,— сказал он,— мы получили дурные вести: Кюстин вывел войска из Ландау.

— Кюстин — изменник! — воскликнул Гамлен.

— Он будет гильотинирован,— сказал Бовизаж.

Трюбер своим слегка запинающимся голосом проговорил с присущим ему спокойствием:

— Конвент недаром учредил Комитет общественного спасения. Там расследуют вопрос о поведении Кюстина. Независимо от того, изменник ли Кюстин или просто человек неспособный, на его место назначат полководца, твердо решившего победить, и Ça ira! [1]

Он перебрал несколько бумаг, скользнув по ним усталым взором.

— Чтобы наши солдаты без смущения и колебаний выполняли свой долг, им необходимо знать, что судьба тех, кого они оставили дома, обеспечена. Если ты, гражданин Гамлен, согласен с этим, то на ближайшем собрании потребуй вместе со мной, чтобы Комитет призрения сообща с Военным комитетом установили выдачу пособий неимущим семьям, родственники которых в армии.

Он улыбнулся и стал напевать:

— Ça ira! Ça ira!

Просиживая по двенадцать, по четырнадцать часов в день за своим некрашеным столом, на страже отечества, находящегося в опасности, скромный секретарь комитета секции не замечал несоответствия между огромностью задачи и ничтожностью средств, бывших в его распоряжении,— настолько чувствовал он себя слитым в едином порыве со всеми патриотами, настолько был он нераздельною частью нации, настолько его жизнь растворилась в жизни великого народа. Он принадлежал к числу тех терпеливых энтузиастов, которые после каждого поражения подготовляли немыслимый и вместе с тем верный триумф. Ведь им следовало победить во что бы то ни стало. Эта голь перекатная, уничтожившая королевскую власть,

---

[1] Все пойдет на лад! *(франц.)*

опрокинувшая старый мир, этот незначительный оптик Трюбер, этот безвестный художник Эварист Гамлен не ждали пощады от врагов. Победа или смерть — другого выбора для них не было. Отсюда — их пыл и спокойствие духа.

II

Выйдя из церкви варнавитов, Эварист Гамлен направился на площадь Дофина, переименованную в Тионвильскую в честь города, стойко выдержавшего осаду.

Расположенная в одном из наиболее людных кварталов Парижа, площадь эта уже около века назад утратила свою красивую внешность: особняки, все, как один, из красного кирпича с подпорками из белого камня, сооруженные по трем сторонам ее в царствование Генриха IV для видных магистратов, теперь либо сменили благородные аспидные крыши на жалкие оштукатуренные надстройки в два-три этажа, либо были срыты до основания, бесславно уступив место домам с неправильными, плохо выбеленными фасадами, убогими, грязными, прорезанными множеством узких не одинакового размера окон, в которых пестрели цветочные горшки, клетки с птицами и сушившееся белье. Дома были густо населены ремесленным людом: золотых дел мастерами, чеканщиками, часовщиками, оптиками, типографами, белошвейками, модистками, прачками и несколькими старыми стряпчими, пощаженными шквалом, который смёл представителей королевской юстиции.

Было утро. Была весна. Юные солнечные лучи, пьянящие, как молодое вино, смеялись на стенах и весело пробирались в мансарды. Опускающиеся, как гильотина, оконные рамы все были подняты, и под ними виднелись нечесаные головы хозяек. Секретарь Революционного трибунала, направляясь на службу, мимоходом трепал по щекам детей, игравших под деревьями. На Новом мосту кричали об измене негодяя Дюмурье.

Эварист Гамлен жил на набережной Башенных Часов, в здании, сооруженном при Генрихе IV, которое и по сие время сохранило бы довольно привлекательный вид, если бы не маленький чердак, крытый черепицей, надстроенный при предпоследнем тиране. С целью приспособить особняк какого-то старого члена парламента к укладу семей мещан и ремесленников, населявших этот дом, в нем, где только можно было, понастроили перегородок и антресолей. В одной из таких каморок, сильно уменьшенных в вышину и в ширину, проживал гражданин Ре-

макль, консьерж и в то же время портной. Сквозь стеклянную дверь с улицы было видно, как он сидел на столе, поджав под себя ноги и упершись затылком в потолок, за шитьем мундира национального гвардейца, между тем как гражданка Ремакль, плита которой не имела другой тяги, кроме лестницы, отравляла жильцов чадом своей стряпни, а на пороге Жозефина, их дочурка, перепачканная патокой, но прелестная, как ясный день, играла с Мутоном, собакой столяра. По слухам, любвеобильная гражданка Ремакль, пышногрудая и пышнобедрая женщина, дарила благосклонностью гражданина Дюпона-старшего, одного из двенадцати членов Наблюдательного комитета. Во всяком случае, муж сильно подозревал ее в этом, и супруги Ремакль оглашали дом бурными ссорами, чередовавшимися с не менее бурными примирениями. Верхние этажи занимали гражданин Шапрон, ювелир, державший лавку на набережной Башенных Часов, военный лекарь, стряпчий, золотобит и несколько судейских служащих.

Эварист Гамлен поднялся по старинной лестнице на пятый, и последний, этаж, где у него была мастерская с комнаткой для матери. Тут уже кончались деревянные, выложенные изразцами ступени, сменившие широкие каменные ступени нижних этажей. Приставленная к стене лесенка вела в чердачное помещение, откуда в эту минуту как раз спускался пожилой толстяк. Румяное лицо его дышало здоровьем. С трудом прижимая к груди огромный сверток, он все же напевал: «Я потерял, увы, слугу...»

Прекратив пение, он учтиво пожелал Гамлену доброго утра. Эварист дружески поздоровался с ним и помог снести вниз пакет, за что старик был ему очень признателен.

— Это — картонные плясуны,— пояснил он, снова беря свою ношу,— я несу их торговцу игрушками на улице Закона. Здесь целый народ, все — мои создания, я даровал им бренное тело, не знающее ни радостей, ни страданий. Но я не наделил их способностью мыслить, ибо я — бог благостный.

Это был гражданин Морис Бротто, бывший откупщик и дворянин: его отец, нажившись на делах, купил себе дворянство. В доброе старое время Морис Бротто именовался господином дез Илетт и в своем особняке на улице Лашез задавал изысканные ужины, которые освещала своим присутствием прелестная г-жа де Рошмор, жена прокурора, превосходная женщина, честно сохранявшая неизменную верность Морису Бротто дез Илетт, пока Революция не лишила его должностей, доходов, особняка, поместьев, титула. Революция отняла у него все. Ему

пришлось зарабатывать себе на жизнь, рисуя в воротах портреты прохожих, продавая на Сыромятной набережной блины и оладьи собственного изготовления, сочиняя речи для народных представителей, обучая танцам юных гражданок. В настоящее время у себя на чердаке, куда надо было карабкаться по приставной лесенке и где нельзя было выпрямиться во весь рост, Морис Бротто, запасшись горшком с клеем, клубком веревки, ящиком акварельных красок, обрезками картона, мастерил картонных плясунов и сбывал свои изделия оптовикам, а те перепродавали их бродячим торговцам игрушками, которые носили их по Елисейским полям на длинных жердях, вызывая вожделение ребятишек. В водовороте общественных событий, невзирая на бедствия, постигшие его лично, Бротто сохранял безмятежную ясность духа и читал для развлечения Лукреция, которого всюду таскал с собою в оттопыренном кармане коричневого сюртука.

Эварист Гамлен толкнул входную дверь в свое жилище. Она сразу подалась. Бедность позволяла ему не заводить замка, и, когда мать по привычке задвигала засов, он говорил: «К чему? Никто не станет воровать паутину, а мои картины — тем паче». Покрытые толстым слоем пыли или прислоненные к стене, грудами были свалены в мастерской его первые работы, когда он писал, следуя моде, любовные сцены, робкой, зализанной кистью выводил колчаны без стрел, спугнутых птиц, опасные забавы, мечты о счастье, приподымал юбки у птичниц и расцвечивал розами перси пастушек.

Но эта манера отнюдь не соответствовала его темпераменту. Холодно трактованные игривые сцены обличали неисправимое целомудрие живописца. Знатоки не ошибались на его счет, и Гамлен никогда не слыл у них мастером эротического жанра. Теперь, хотя он еще не достиг тридцати лет, ему казалось, что сюжеты эти относятся к незапамятным временам. Он видел в них растление нравов, неизбежное при монархическом строе, и развращенность двора. Он раскаивался в том, что сам увлекался столь презренным жанром и под влиянием рабства дошел до нравственного падения. Теперь, гражданин свободной нации, он мощными штрихами набрасывал фигуры Свобод, Прав Человека, французских Конституций, республиканских Добродетелей, народных Гераклов, повергающих наземь гидру Тирании, и вкладывал в эти произведения весь свой патриотический пыл. Увы, эти картины тоже не давали ему средств к существованию. Времена для художников были тяжелые. И, разумеется, не по вине Конвента, рассылавшего во все стороны свои армии против королей; гордого, неустрашимого Конвента, не отступив-

шего перед сплоченной Европой, вероломного и безжалостного по отношению к самому себе; Конвента, раздиравшего себя собственными руками, провозгласившего очередной задачей террор, учредившего для наказания заговорщиков беспощадный Трибунал, с тем чтобы вскоре отдать ему на съедение собственных членов, и в то же время спокойного, вдумчивого друга наук и всего прекрасного; Конвента, реформировавшего календарь, основывавшего специальные школы, объявлявшего конкурсы живописи и ваяния, учредившего премии для поощрения художников, устраивавшего ежегодные выставки, открывшего Музей и, по примеру Афин и Рима, придававшего торжественный характер общественным празднествам и дням народного траура. Но французское искусство, когда-то пользовавшееся таким успехом в Англии, в Германии, в России и в Польше, не находило теперь сбыта за границей. Любители живописи, ценители искусства, вельможи и финансисты были разорены, эмигрировали или скрывались. Люди же, которых Революция обогатила,— крестьяне, скупавшие национализированные поместья, спекулянты, поставщики армий, содержатели игорных домов в Пале-Рояле — еще не отваживались выставить напоказ свое богатство да к тому же совсем не интересовались живописью. Чтобы продать картину, нужно было обладать известностью Реньо или ловкостью молодого Жерара. Грёз, Фрагонар, Гуэн дошли до нищеты. Прюдону с трудом удавалось прокормить жену и детей, делая рисунки, которые Копиа гравировал пунктиром. Художники-патриоты, Эннекен, Викар, Топино-Лебрен, голодали. Гамлен, у которого не было средств ни на оплату натурщика, ни на покупку красок, поневоле оставил, едва приступив к работе, огромное полотно, изображавшее «Тирана, преследуемого фуриями в аду». Оно занимало половину мастерской своими незаконченными страшными фигурами больше натуральной величины и множеством зеленых змей с изогнутыми раздвоенными жалами. На переднем плане, слева, стоял в лодке худой, свирепого вида Харон — мощный, прекрасно прорисованный кусок, в котором, однако, чувствовалось ученичество. Гораздо больше даровитости и естественности было в другой картине, меньших размеров, тоже незаконченной и висевшей в самом светлом углу мастерской. Она изображала Ореста, которого сестра его Электра приподымает на ложе скорби. Девушка трогательным жестом поправляла брату спутанные волосы, падающие ему на глаза. Голова Ореста была трагически прекрасна, и в ней нетрудно было уловить сходство с лицом художника.

Гамлен часто с грустью смотрел на эту композицию. Порою его руки, дрожавшие от желания схватить кисть, тянулись к смело набросанной фигуре Электры, но сразу же беспомощно опускались. Художник горел воодушевлением и был полон великих замыслов. Но ему приходилось тратить силы на выполнение заказов, которые удавались ему весьма посредственно, потому что он должен был удовлетворять пошлым вкусам толпы, а также и потому, что не умел сообщать отпечаток таланта всяким пустякам. Он рисовал маленькие аллегорические картинки, которые его товарищ Демаи довольно искусно гравировал в одну или несколько красок и которые за бесценок скупал гражданин Блез, торговец эстампами на улице Оноре. Но продажа эстампов шла изо дня в день хуже и хуже, как уверял Блез, с некоторого времени уже не желавший ничего приобретать.

На этот раз, однако, Гамлену, которого нужда делала изобретательным, пришла в голову счастливая и — так, по крайней мере, казалось ему — новая мысль, осуществление которой должно было обогатить торговца эстампами, гравера и его самого. Речь шла о колоде патриотических карт, в которой короли, дамы и валеты старого режима были бы заменены Гениями, Свободами и Равенствами. Он сделал наброски всех фигур, большинство закончил совсем и торопился сдать Демаи те, которые уже можно было гравировать. Фигура, казавшаяся ему наиболее удачной, представляла собой волонтера в треуголке, синем мундире, с красными отворотами, желтых штанах и черных гетрах; он сидел на барабане, зажав ружье между колен и упершись ногами в кучу ядер. Это был «гражданин червей», явившийся на смену валету червей. Уже больше полугода рисовал Гамлен волонтеров, и все с тем же увлечением. В дни всеобщего подъема он продал несколько рисунков. Остальные висели на стенах в мастерской. Пять-шесть набросков, исполненных акварелью, гуашью, двухцветным карандашом, валялись на столе и на стульях. В июле девяносто второго года, когда на всех парижских площадях были воздвигнуты помосты для вербовки солдат, когда из всех кабачков, украшенных гирляндами, неслись крики: «Да здравствует нация! Жить свободно или умереть!» — Гамлен, проходя по Новому мосту или мимо ратуши, всем существом рвался туда, к убранному национальными флагами шатру, где магистраты в трехцветных повязках, под звуки Марсельезы, производили запись добровольцев. Но, поступив в армию, он оставил бы мать без куска хлеба.

Тяжело дыша, так что ее было слышно еще за дверью, вся красная, взволнованная, обливаясь потом, вошла в мастер-

скую гражданка вдова Гамлен. Национальная кокарда, небрежно приколотая ею к чепцу, могла упасть каждую минуту. Поставив на стул корзинку, она остановилась, чтобы передохнуть, и стала жаловаться на дороговизну продовольствия.

При жизни мужа гражданка Гамлен торговала ножевыми изделиями на улице Гренель-Сен-Жермен, под вывеской «Город Шательро», а теперь, находясь на иждивении сына-художника, вела его скромное хозяйство. Эварист был старший из двух ее детей. О дочери Жюли, бывшей модистке с улицы Оноре, лучше было и не спрашивать: она бежала за границу с аристократом.

— Господи боже мой,— вздохнула гражданка, показывая сыну серую, плохо пропеченную ковригу,— хлеб все дорожает, да он теперь и не чистый пшеничный. На рынке не найти ни яиц, ни овощей, ни сыру. А питаясь каштанами, сам станешь каштановым.

Помолчав, она продолжала:

— Я видела на улице женщин, которым нечем кормить младенцев. Для бедняков наступили тяжелые времена. И так будет до тех пор, пока не восстановится порядок.

— В недостатке съестных припасов, от которого все мы страдаем, матушка, виноваты скупщики и спекулянты,— сказал Гамлен, нахмурившись,— они морят голодом народ и вступают в соглашение с внешними врагами, стараясь вызвать у граждан ненависть к Республике и уничтожить свободу. Вот к чему приводят заговоры приверженцев Бриссо, предательство Петионов и Роланов! Хорошо еще, что федералисты с оружием в руках не явятся в Париж и не перебьют патриотов, не успевших погибнуть от голода. Нельзя терпеть ни минуты: необходимо установить твердые цены на муку и гильотинировать всех, кто спекулирует съестными припасами, сеет в народе смуту или завязывает преступные сношения с заграницей. Конвент только что учредил Чрезвычайный трибунал для дел о заговорах. В него входят одни лишь патриоты, но хватит ли у них энергии, чтобы защищать отечество от всех его врагов? Будем надеяться на Робеспьера: он добродетелен. В особенности будем надеяться на Марата: он любит народ, понимает его подлинные нужды и служит им. Он первый всегда разоблачал изменников, раскрывал заговоры. Он неподкупен и неустрашим. Он один может спасти Республику, которой угрожает гибель.

Гражданка Гамлен покачала головой, и кокарда упала с ее чепца.

— Полно, Эварист: твой Марат такой же человек, как и все, и ничем не лучше других. Ты молод, ты увлекаешься. То,

что ты сейчас говоришь о Марате, ты говорил прежде о Мирабо, о Лафайете, Петионе, Бриссо.

— Никогда этого не было! — запротестовал Гамлен, искренне позабыв о недавнем прошлом.

Очистив местечко на некрашеном деревянном столе, заваленном бумагами, книгами, кистями и карандашами, гражданка Гамлен поставила фаянсовый супник, две оловянные миски и кружку дешевого вина, затем положила две железные вилки и пеклеванный хлеб.

Сын и мать молча съели суп и завершили трапезу кусочком свиного сала. Мать степенно подносила к беззубому рту на кончике карманного ножа ломтики хлеба с салом и с уважением прожевывала пищу, стоившую так дорого.

Бо́льшую часть она оставила сыну, но тот глубоко о чем-то задумался и казался рассеянным.

— Ешь, Эварист,— говорила она ему время от времени,— ешь.

И эти слова звучали в ее устах торжественно, как заповедь.

Она снова принялась жаловаться на дороговизну жизни. Гамлен еще раз заявил, что твердые цены — единственный выход из положения.

— Ни у кого уже нет денег,— возражала она.— Эмигранты все забрали. И верить больше некому. Есть от чего прийти в отчаяние.

— Перестаньте, матушка, перестаньте! — накинулся на нее Гамлен.— Разве можно придавать значение временным лишениям и невзгодам? Революция навсегда осчастливит человечество!

Старушка обмакнула ломтик хлеба в вино; на душе у нее отлегло, и она с улыбкой стала вспоминать времена своей молодости, когда в день рождения короля она плясала на открытом воздухе. Ей пришел на память день, когда Жозеф Гамлен, ножовщик по профессии, посватался к ней. И она обстоятельно стала излагать, как это произошло. Мать сказала ей: «Приоденься. Мы сейчас отправимся на Гревскую площадь в магазин господина Бьенасси, ювелира, и посмотрим, как будут четвертовать Дамьена». Им с трудом удалось пробраться сквозь толпу любопытных. У г-на Бьенасси девушка встретила Жозефа Гамлена, в прекрасном розовом полукафтане, и сразу догадалась, к чему идет дело. Все время, пока она смотрела в окно, как цареубийцу терзали щипцами, обливали расплавленным свинцом, разрывали на части, привязав к четырем лошадям, и, наконец, бросили в

огонь, Жозеф Гамлен, стоя сзади, не переставал восхищаться цветом ее лица, прической, стройностью ее фигуры.

Осушив до дна стакан, она продолжала мысленно переживать свою жизнь.

— Я родила тебя, Эварист, раньше, чем ожидала... потому что я испугалась, когда меня, беременную, чуть не сбили с ног на Новом мосту любопытные, торопившиеся на казнь господина де Лалли. Ты появился на свет совсем крохотным, и лекарь не думал, что ты выживешь. Но я-то не сомневалась, что господь по милости своей сохранит мне тебя. Я воспитывала тебя, как только могла, не жалея ни трудов, ни затрат. Что и говорить, Эварист, ты всегда выказывал мне признательность и уже с детских лет старался отплатить мне за заботы, чем только мог. Ты от рождения был кроток и ласков. У твоей сестры тоже не злое сердце, но она отличалась себялюбием и вспыльчивостью. Ты был жалостливее ее ко всем несчастным. Когда соседские мальчишки разоряли птичьи гнезда, ты старался вырвать у них птенцов, чтобы вернуть их матерям, и нередко случалось так, что ты уступал лишь после того, как тебя валили наземь и нещадно избивали. Семилетним ребенком, никогда не вступая в драку с сорванцами, ты спокойно шел по улице, повторяя про себя катехизис; всех нищих, попадавшихся тебе навстречу, ты приводил домой, чтобы я помогла им; мне даже пришлось высечь тебя, чтобы отучить от этой привычки. Ты не мог смотреть без слез на чьи-либо страдания. Когда ты вырос, ты стал очень хорош собою. К великому моему удивлению, ты как будто не догадывался об этом, в отличие от большинства смазливых молодых людей, которые щеголяют и чванятся своей наружностью.

Старушка говорила правду. В двадцать лет у Эвариста было очаровательное и вместе с тем серьезное лицо; это была женственно-строгая красота, черты Минервы. Теперь его темные глаза и бледные щеки свидетельствовали о глубокой печали и затаенных страстях. Но взгляд его, когда он посмотрел на мать, принял на мгновение то кроткое выражение, которое ему было свойственно в ранней юности.

Она продолжала:

— Ты мог бы воспользоваться своей привлекательностью и ухаживать за девушками, но ты предпочитал оставаться со мною в лавке, так что иногда я сама предлагала тебе не держаться за мою юбку, а развлечься с товарищами. И на смертном одре я повторю, Эварист, что ты хороший сын. После кончины отца ты не побоялся взять на себя заботы обо мне, хотя твоя

профессия не приносит почти ничего; я благодаря тебе не знала, что такое нужда, и если теперь мы с тобою разорены и обнищали, я тебя не упрекаю: виною всему Революция.

У него вырвался жест протеста, но она, пожав плечами, продолжала:

— Я не дворянка. Я знавала аристократов, когда сила была на их стороне, и могу сказать, что они злоупотребляли своими привилегиями. На моих глазах слуги герцога Каналея избили палками твоего отца за то, что он недостаточно быстро посторонился, чтобы уступить дорогу их господину. Я не любила Австриячки, она была слишком высокомерна и расточительна. Короля, правда, я считала неплохим человеком и только после его процесса и осуждения переменила мнение о нем. Словом, я не жалею о старом режиме, хотя и при нем я знавала кой-какую радость. Но не говори мне, что Революция установит равенство: люди никогда не будут равны. Это невозможно, хотя бы вы всё здесь перевернули вверх дном: всегда будут люди знатные и безвестные, жирные и тощие.

Говоря, она убирала посуду. Художник уже не слушал ее. Он набрасывал силуэт санкюлота в красном колпаке и карманьоле, который должен был в его колоде заменить упраздненного валета пик.

Кто-то постучался в дверь, и на пороге показалась молодая крестьянка, коренастая, занимавшая больше места в ширину, чем в высоту, рыжая, кривоногая, с бельмом на левом глазу; правый глаз, бледно-голубого цвета, казался совсем белым; непомерно толстые губы были оттопырены торчащими вперед зубами.

Обратившись к Гамлену, она осведомилась, не он ли живописец и не согласится ли он написать портрет ее жениха, Феррана (Жюля), волонтера Арденнской армии.

Гамлен ответил, что охотно сделает портрет, когда доблестный воин вернется в Париж.

Девушка кротко, но вместе с тем настойчиво продолжала упрашивать, чтобы он сделал это тут же.

Художник, невольно улыбнувшись, возразил, что без оригинала это совершенно невозможно.

Бедняжка ничего не ответила: она не предвидела такого затруднения. Склонив голову на левое плечо, скрестив руки на животе, она не трогалась с места и молчала, по-видимому сильно огорченная. Ее простодушие и трогало и забавляло Гамлена; чтобы утешить незадачливую влюбленную, он сунул ей акварельный рисунок, изображавший волонтера, и спросил, не напоминает ли он ей жениха, находящегося в Арденнах.

Она устремила на бумагу тусклый взор; мало-помалу ее зрячий глаз оживился, потом разгорелся, просиял; широкое лицо расплылось в счастливую улыбку.

— Да это он и есть,— выговорила она наконец.— Это Ферран (Жюль) как живой, вылитый Ферран (Жюль).

Прежде чем художник успел взять у нее рисунок, она толстыми красными пальцами бережно сложила его, так что он превратился в небольшой квадратик, и, сунув его себе за пазуху между рубахой и корсажем, вручила Гамлену ассигнацию в пять ливров, пожелала присутствующим счастливо оставаться и вперевалку радостно вышла из комнаты.

III

В тот же день, после обеда, Эварист отправился к гражданину Жану Блезу, торговавшему под вывеской «Амур Живописец» не только эстампами, но также ларцами, картонажами и всякого рода играми на улице Оноре, напротив Оратории, неподалеку от почтовой конторы. Лавка помещалась в нижнем этаже старого дома, построенного лет шестьдесят тому назад. Над сводчатым пролетом входной двери находилось лепное украшение в виде рогатой головы человекоподобного чудовища, а самая фрамуга была заполнена картиной, писанной маслом и изображавшей «Сицилийца, или Амура Живописца»,— копией с картины Буше; она была повешена отцом Жана Блеза еще в 1770 году и с тех пор сильно пострадала от солнца и дождей. По обе стороны двери оконные проемы были украшены наверху головами нимф, а в окнах, за самыми большими стеклами, какие только нашлись в Париже, были выставлены модные эстампы и последние новинки в области цветной гравюры. В тот день там можно было увидеть любовные сцены, грациозно, но, пожалуй, с излишней сухостью изображенные Буайи: «Уроки супружеской любви» и «Кроткое сопротивление», возмущавшие якобинцев и служившие поводом к доносам, которые наиболее ревностные из них делали в Общество искусств; «Народное гулянье» Дебюкура, с щеголем в панталонах канареечного цвета, рассевшимся на трех стульях; коней работы молодого Карла Верне, аэростаты, «Купанье Виргинии» и копии с произведений античной скульптуры.

Из числа граждан, беспрерывным потоком движущихся мимо лавки, дольше всех простаивали перед соблазнительными витринами самые оборванные: наиболее впечатлительные, над-

кие на всякие зрелища, они старались хотя бы только глазами завладеть своей долей наслаждения в этом мире; раскрыв от восхищения рот, они замирали на месте, между тем как аристократы, скользнув небрежным взором, хмурили брови и проходили мимо.

Издалека еще, едва завидя дом, Эварист устремил взгляд на одно из окон второго этажа, на то, что было налево от входа и в котором за узорной железной решеткой стоял горшок красной гвоздики. Это окно освещало комнату Элоди, дочери Жана Блеза. Торговец эстампами занимал со своей единственной дочерью весь этаж над лавкой.

Задержавшись перед входом как будто для того, чтобы перевести дух, Эварист повернул дверную ручку. Гражданка Элоди только что продала две гравюры Фрагонара-сына и Нежона, которые покупатель тщательно отобрал среди других; прежде чем спрятать в ящик полученные ассигнации, она поочередно подносила их к своим красивым глазам, внимательно рассматривая на свет водяные знаки, полосы и сетку, так как в то время в обращении находилось столько же фальшивых денежных знаков, сколько и настоящих, что наносило большой ущерб торговле. Фальшивомонетчики карались смертной казнью, как некогда преступники, подделывавшие королевскую подпись; тем не менее доски для печатания ассигнаций находили в каждом погребе; швейцарцы миллионами ввозили фальшивые ассигнации во Францию, их разбрасывали пачками в харчевнях; англичане ежедневно выгружали на нашем берегу целые тюки поддельных билетов, чтобы дискредитировать Республику и повергнуть патриотов в нищету. Элоди боялась, что ей всучат фальшивую бумажку, но еще больше боялась, как бы самой не сбыть поддельную ассигнацию и не прослыть таким образом сообщницей Питта. Однако она полагалась на свою счастливую звезду и была уверена, что всегда сумеет выкрутиться.

Эварист посмотрел на нее с тем мрачным видом, который лучше всяких улыбок говорит о любви. Она взглянула на него с чуть-чуть насмешливой гримаской, слегка прищурив черные глаза; придала же она своему лицу такое выражение, во-первых, потому, что сознавала себя любимой, причем это вовсе не было ей неприятно; во-вторых, потому, что такое выражение лица подзадоривает влюбленного, побуждает его изливаться в жалобах, приводит к объяснению, если он этого еще не сделал,— а в данном случае так оно и было.

Спрятав ассигнации в ящик, она достала из рабочей корзинки белый шарф, который вышивала, и принялась за руко-

делье. Она была трудолюбива и кокетлива, и так как, сидя над иглой, инстинктивно преследовала две цели одновременно: понравиться мужчине и изготовить себе наряд, то вышивала различно, в зависимости от того, кто смотрел на нее: она вышивала небрежно при тех, кого ей хотелось истомить сладостным ожиданием, и вышивала капризно при тех, кого ей было приятно довести до отчаянья. Теперь она притворилась, будто вся ушла в работу, так как в Эваристе она желала пробудить серьезное чувство.

Элоди была не так уж молода и не так уж хороша собой. С первого взгляда она могла показаться некрасивой. Брюнетка, с оливковым цветом лица, она небрежно повязывала голову белой косынкой, из-под которой выбивались иссиня-черные локоны и сверкали, как угли, темно-карие глаза. В ее круглом веселом лице, немного курносом, с выступающими скулами, грубоватом и страстном, художник находил сходство с головою фавна Боргезе, слепок с которой приводил его в восторг своей божественно-шаловливой улыбкой. Усики оттеняли страстность ее рта. Под косынкой, по моде того года повязанной накрест, вздымалась, словно от преизбытка нежности, высокая грудь. Ее гибкий стан, проворные ноги, все ее сильное тело двигалось с очаровательно дикой грацией. Взгляд, дыхание, трепет плоти — все в ней говорило сердцу и сулило любовь. За прилавком она казалась нимфой танца, оперной вакханкой, у которой отняли рысью шкуру, тирс и венок из плюща, чтобы чудесным образом превратить ее в скромную хозяйку в духе Шардена.

— Отца нет дома,— сказала она художнику.— Подождите немного: он скоро вернется.

Смуглые маленькие ручки быстро продевали иглу сквозь топкий батист.

— Нравится вам этот рисунок, господин Гамлен?

Гамлен не умел притворяться. Да и любовь, придавая смелость, побуждала его быть откровенным.

— Вы вышиваете очень искусно, гражданка, но, если вам угодно знать мое мнение, узор, который вам сделали, недостаточно прост, недостаточно строг и отзывается вычурным вкусом, слишком долго господствовавшим во Франции в искусстве отделки тканей, мебели, панелей. Эти банты, эти гирлянды напоминают бессодержательный, пошловатый стиль, пользовавшийся успехом при последнем тиране. Теперь вкус возрождается. Увы! До хорошего вкуса нам еще далеко. В эпоху гнусного Людовика Пятнадцатого в декоративное искусство проникли китайские влияния. Комоды делали пузатыми, с изогнутыми, неле-

пыми ручками, и годны они лишь на то, чтобы топить ими печи патриотов. Прекрасна только простота. Необходимо вернуться к древности. Давид делает рисунки кроватей и кресел, заимствуя мотивы с этрусских ваз и фресок Геркуланума.

— Я видела эти кровати и кресла,— подхватила Элоди,— они восхитительны! Скоро на другую мебель никто и смотреть не захочет. Как и вы, я обожаю древность.

— Ну так вот, гражданка,— продолжал Эварист,— если бы вы украсили свой шарф греческим орнаментом, листьями плюща, змеями или скрещенными стрелами, он был бы достоин спартанки... и вас. Вы, впрочем, могли бы сохранить и этот узор, упростив его и сделав более прямолинейным.

Она спросила, что, по его мнению, следует отбросить.

Он наклонился над шарфом — локоны Элоди коснулись его щеки. Руки их встречались, перебирая батист, их дыхание смешивалось. Эварист испытывал в эту минуту бесконечную радость, но, чувствуя губы Элоди так близко от своих губ, он побоялся оскорбить девушку и быстро отстранился.

Гражданка Блез была влюблена в Эвариста Гамлена. Она находила великолепными его большие горящие глаза, его красивое продолговатое лицо, его бледность, густые черные волосы, причесанные на пробор и волнами падавшие на плечи, его важную осанку, холодный вид, суровость его обращения, уверенную речь, свободную от всякой лести. А так как она была в него влюблена, ей казалось, что он обладает талантом великого художника, который рано или поздно проявится в чудесных произведениях искусства и прославит его имя. Мысль об этом усиливала ее любовь. Гражданка Блез не была поклонницей мужской скромности: ее нравственное чувство нисколько не было бы задето, если бы мужчина, уступив голосу страсти, удовлетворил свои желания. Она любила целомудренного Эвариста; она любила его вовсе не за целомудрие, но тем не менее видела в этом известное преимущество: с ним она никогда не узнает ни ревности, ни подозрений, и ей не придется опасаться соперниц.

Однако в эту минуту она находила, что он слишком сдержан. Расинова Арикия, влюбленная в Ипполита, восхищалась суровой добродетелью юного героя, но она не теряла надежды восторжествовать и пришла бы в отчаянье от строгости нравов, окажись Ипполит более стойким. И как только представился случай, она почти призналась ему в любви, чтобы вырвать ответное признание. Подобно нежной Арикии, гражданка Блез была недалека от мысли, что в любви женщина должна брать на себя почин. «Самые любящие,— думала она,— вместе с тем

и самые робкие: они нуждаются в поддержке и поощрении. Их наивность так велика, что женщина может пойти очень далеко навстречу мужчине, а он и не заметит этого, если только ему оставить иллюзию, будто он смело повел атаку и одержал славную победу». В конечном исходе дела она нисколько не сомневалась, с тех пор как узнала наверняка (на этот счет у нее не было никаких сомнений), что, пока Революция не превратила Эвариста в героя, он любил, как любят все смертные, одну женщину, убогое создание, привратницу Академии.

Элоди, которую никак нельзя было назвать простушкой, различала несколько видов любви. Чувство, внушенное ей Эваристом, было достаточно глубоко, чтобы серьезно задуматься над вопросом о браке. Она охотно вышла бы за него замуж, но опасалась, что отец не согласится на союз единственной дочери с бедным и безвестным художником. У Гамлена не было ничего, торговец же эстампами был крупным денежным воротилой. «Амур Живописец» приносил ему немало дохода, биржевая игра — еще больше, а в последнее время он вступил в компанию с подрядчиком, поставлявшим в кавалерийские части камыш вместо сена и подмоченный овес. Словом, сын ножовщика с улицы Св. Доминика был совсем незначительным человеком по сравнению с издателем эстампов, известным всей Европе, находившимся в родстве с Блезо, Базанами, Дидо, бывавшим запросто у граждан Сен-Пьера и Флориана. Не то чтобы Элоди как послушной дочери представлялось необходимым, устраивая свою судьбу, считаться с волею отца,— Жан Блез, человек алчный, легкомысленный, большой волокита и большой делец, рано овдовев, никогда не уделял дочери особенного внимания; с детства он предоставил ей полную свободу, не навязывая своих советов, дружбы, и не только не наблюдал за ее поведением, а, напротив, старался ничего не замечать, хотя в качестве знатока женщин высоко ценил ее пылкий темперамент и умение пленять сердца — в своем роде более могущественное орудие, чем миловидное лицо. Слишком любвеобильная натура, чтобы беречь себя, слишком рассудительная, чтобы себя погубить, благоразумная даже в своих безумствах, она, принося дань страсти, никогда не забывала требований приличия. Отец был ей чрезвычайно благодарен за эту осторожность, а так как она унаследовала от него коммерческие способности и дух предприимчивости, он не интересовался таинственными причинами, удерживавшими от брака вполне созревшую девушку, и ничего не имел против того, что Элоди остается дома, где она стоит экономки и четырех приказчиков. В двадцать семь лет она созна-

«Боги жаждут»

вала себя достаточно взрослой и опытной, чтобы самой устраивать свою жизнь, и не видела никакой нужды спрашивать совета или следовать воле отца — молодого, легкомысленного и рассеянного. Однако стать женою Гамлена она могла бы лишь в том случае, если бы г-н Блез устроил судьбу своего бедного зятя, сделал его участником фирмы, обеспечил работой, как обеспечивал уже многих художников,— словом, дал бы ему тем или иным способом средства к существованию; но она считала невозможным, чтобы отец предложил молодому человеку такую поддержку и чтобы тот согласился принять ее: слишком уж мало симпатии питали они друг к другу.

Обстоятельство это ставило в крайне затруднительное положение нежную и умную Элоди. Ее ничуть не пугала мысль соединиться со своим возлюбленным тайными узами, призвав творца природы в качестве единственного свидетеля их взаимной верности. Она, со своими взглядами на жизнь, не находила ничего предосудительного в таком союзе, вполне осуществимом при той свободе, которой она пользовалась: с честным и добродетельным Эваристом он был бы вполне прочен; но Гамлен с трудом добывал себе средства к существованию и должен был еще содержать старуху мать; при такой бедности в сердце у него, по-видимому, не оставалось места для любви, даже самой простой. К тому же Эварист еще не объяснился ей, ни словом не обмолвился о своих намерениях. Гражданка Блез, однако, надеялась, что ей скоро удастся вызвать его на признание.

— Гражданин Эварист,— сказала Элоди, разом прервав ход своих мыслей и работу,— этот шарф придется мне по вкусу только в том случае, если он придется по вкусу и вам. Нарисуйте мне, прошу вас, узор. А пока я, как Пенелопа, распорю то, что вышила без вас.

— Хорошо, гражданка,— ответил он с мрачным одушевлением.— Я нарисую вам меч Гармодия: шпагу, перевитую гирляндой.

Достав карандаш, он принялся набрасывать орнамент из мечей и цветов в строгом, суровом стиле, который он так любил. И в то же время он излагал свои взгляды на искусство.

— Духовно переродившиеся французы,— говорил он,— должны отказаться от рабского наследия: от дурного вкуса, дурной формы, дурного рисунка. Ватто, Буше, Фрагонар работали на тиранов и на рабов. В их произведениях нет чувства подлинного стиля, чистоты линий, нет ни естественности, ни правды. Все только маски, куклы, тряпки, кривлянье! Потомство с презрением отнесется к их легкомысленной мазне. Через сто лет

картины Ватто, всеми забытые, истлеют на чердаках, в тысяча восемьсот девяносто третьем году ученики художественных школ покроют своими набросками полотна Буше. Давид указал нам новые пути; он приближается к искусству древности, но он еще недостаточно прост, недостаточно велик, недостаточно строг. Нашим живописцам надо еще многому учиться на фресках Геркуланума, на римских барельефах, на этрусских вазах.

Он долго еще говорил об античной красоте, затем возвратился к Фрагонару, которого ненавидел всей душой.

— Вы его знаете, гражданка?

Элоди утвердительно кивнула головой.

— Вы, конечно, знаете и старичка Грёза: он довольно смешон в своем пунцовом полукафтанье и со шпагой на боку. Однако по сравнению с Фрагонаром он производит впечатление древнегреческого мудреца. Недавно я встретил его под арками Пале-Эгалите: он семенил куда-то, напудренный, галантный, вертлявый, игривый, омерзительный. При виде жалкого старика я пожелал, чтобы, за отсутствием Аполлона, какой-нибудь рьяный ревнитель искусства повесил его на дереве, предварительно содрав с него кожу, как с Марсия, в вечное назидание плохим живописцам.

Элоди пристально посмотрела на него веселым и страстным взглядом.

— Вы умеете ненавидеть, господин Гамлен... Значит ли это, что вы умеете и лю...

— Это вы, Гамлен? — послышался тенор, голос гражданина Блеза, который вошел в лавку, скрипя сапогами, звеня брелоками; полы его сюртука развевались, на голове у него была огромная черная треуголка, загнутые края которой доходили ему до плеч.

Элоди, взяв рабочую корзинку, поднялась к себе в комнату.

— Ну что, Гамлен,— спросил гражданин Блез,— принесли что-нибудь новенькое?

— Пожалуй,— ответил художник.

И изложил свою идею.

— Наши игральные карты находятся в вопиющем противоречии с современными нравами. Названия «валет» и «король» оскорбляют слух патриота. Я придумал и сделал рисунки для новой колоды революционных карт, в которой короли, дамы, валеты заменены Свободами, Равенствами, Братствами, тузы, окруженные ликторскими связками, называются Законами... Вы объявляете Свободу треф, Равенство пик, Братство бубен, Закон червей... Мне кажется, карты нарисованы довольно хорошо.

Я намерен поручить Демаи выгравировать их на меди, а там возьму патент.

Достав из папки несколько акварельных рисунков, художник протянул их торговцу эстампами.

Но гражданин Блез, даже не взглянув, отказался принять их.

— Отнесите это, мой друг, в Конвент: там это вызовет гром рукоплесканий. Но не надейтесь извлечь хотя бы грош из вашего нового изобретения, тем более что оно не ново. Вы немного опоздали. Ваша революционная колода — третья по счету, которую мне приносят. Ваш товарищ Дюгур на прошлой неделе предложил мне колоду для игры в пикет с четырьмя Гениями, четырьмя Свободами, четырьмя Равенствами. Меня пытались соблазнить еще другой колодой, где были мудрецы, герои, Катон, Руссо, Ганнибал,— всех не упомнишь... Все эти карты, мой друг, имели перед вашими одно преимущество: они были грубо нарисованы и вырезаны на дереве перочинным ножом. Мало же вы знаете людей, если воображаете, что игроки станут употреблять карты с рисунками в стиле Давида, гравированными в манере Бартолоцци! Да и вообще странно предполагать, будто нужно столько церемоний, чтобы приспособить старую колоду к современным идеям. Добрые санкюлоты сами отлично исправляют ее непатриотичность, провозглашая: «Тиран!» или просто «Толстый боров!» Они довольствуются своими старыми замусоленными картами и не покупают новых. В притонах Пале-Эгалите идет игра чуть ли не круглые сутки; советую вам — отправляйтесь туда и предложите крупье и понтерам ваши Свободы, ваши Равенства, ваши... как вы называете их... ваши Законы червей, а потом расскажите мне, как вас там приняли.

Гражданин Блез сел на прилавок, несколькими щелчками стряхнул с нанковых панталон просыпавшийся на них табак и ласково, с сожалением посмотрел на Гамлена.

— Позвольте дать вам один совет, гражданин художник: если вы хотите заработать себе на жизнь, оставьте ваши патриотические карты, оставьте революционные символы, оставьте ваших Гераклов, гидр, фурий, терзающих преступника, гениев Свободы и пишите красивых девушек. Гражданский пыл у всех с течением времени остывает, но мужчинам всегда будут нравиться женщины. Рисуйте же румяных красоток, с маленькими ножками, с маленькими ручками, и поймите, что никто уже не интересуется Революцией и что о ней больше и слышать не хотят.

Эварист вскочил как ужаленный.

— Что? О Революции и слышать не хотят?.. Но ведь упрочение Свободы, победы наших армий, наказание тиранов — все это события, которые будут вызывать изумление у самых отдаленных потомков! Как же мы можем не поражаться им?.. Секта санкюлота Христа просуществовала около восемнадцати веков, а культ Свободы будет уничтожен, не продержавшись и четырех лет?

— Вы живете мечтами,— с видом явного превосходства возразил Жан Блез,— я же реальной жизнью. Поверьте, друг мой, Революция уже надоела: она слишком затянулась. Пять лет энтузиазма, пять лет братских объятий, убийств, разглагольствований, марсельезы, набата, аристократов на фонарях, голов на пиках, женщин верхом на пушках, деревьев Свободы, увенчанных красными колпаками, девушек и старцев в белых одеяниях на колесницах, разубранных цветами, пять лет заточений в тюрьмах, гильотины, пайков, афиш, кокард, султанов, брянья оружием, карманьол... хватит! В конце концов никто уже ничего не понимает. Насмотрелись мы на великих людей, которых вы лишь затем вводили в Капитолий, чтобы сбросить их потом с Тарпейской скалы! Видели мы всех этих Неккеров, Мирабо, Лафайетов, Байи, Петионов, Манюэлей и стольких других. Кто поручится, что вы не готовите той же участи вашим новым героям?.. Теперь ничему уже нельзя верить!

— Назовите, гражданин Блез, назовите мне героев, которых мы собираемся принести в жертву! — воскликнул Гамлен тоном, напомнившим торговцу эстампами, что надо быть осторожнее.

— Я республиканец и патриот,— возразил он, прижимая руку к сердцу.— Я такой же республиканец, как вы, такой же патриот, как вы, гражданин Эварист Гамлен. Я не сомневаюсь в вашей преданности Республике и не думаю обвинять вас в непостоянстве. Но знайте, что и моя благонамеренность и преданность общему делу неоднократно доказаны мною на деле. Вот мои политические убеждения: я отношусь с доверием к каждому, кто способен служить нации. Я преклоняюсь перед людьми, которых, как Марата, как Робеспьера, глас народа облек опасной честью, возложив на них бремя законодательной власти; в меру отпущенных мне слабых сил я готов помогать им как добропорядочный гражданин, посильно оказывая мое скромное содействие. Комитеты могут засвидетельствовать мое рвение и мою преданность. Сообща с несколькими настоящими патриотами я поставлял нашей доблестной кавалерии овес и прочий фураж, снабжал обувью наших солдат. Только сегодня

я отправил из Вернона в Южную армию шестьдесят голов рогатого скота, а ведь их придется гнать через местность, наводненную разбойниками, кишащую эмиссарами Питта и Конде. Я не разговариваю — я действую.

Гамлен спокойно сложил акварели в папку, завязал тесемки и взял ее под мышку.

— Странное противоречие,— процедил он сквозь зубы.— С одной стороны, помогать нашим солдатам водружать во всем мире знамя Свободы, а с другой — у себя дома предавать эту же Свободу, сея смятение и тревогу в сердцах ее защитников... Прощайте, гражданин Блез!

Прежде чем направиться в переулок, идущий вдоль Оратории, Гамлен, с сердцем, исполненным любви и гнева, обернулся, чтобы взглянуть на красные гвоздики в окне второго этажа.

Он нисколько не отчаивался в спасении родины. Непатриотическим речам Жана Блеза он противопоставлял свою веру в Революцию. Но все-таки он вынужден был признать, что в словах продавца эстампов заключалась, по-видимому, известная доля правды; население Парижа уже не проявляло прежнего интереса к событиям. К сожалению, было слишком несомненно, что на смену одушевлению первых дней пришло всеобщее равнодушие, что в прошлое канули охваченные общим порывом огромные толпы восемьдесят девятого года, что в прошлое канули миллионы людей-единомышленников, сплотившихся в девяностом году вокруг алтаря федератов. Ну что ж! Доблестные граждане удвоят рвение и смелость, разбудят уснувший народ, предложив ему выбор между свободой и смертью.

Так думал Гамлен, и мысль об Элоди придавала ему мужества.

Очутившись на набережной, он увидел, что солнце садится за тяжелые тучи, похожие на горы добела раскаленной лавы; крыши купались в золотом свете; оконные стекла ослепительно сверкали. И Гамлен представил себе, что это титаны сооружают из пылающих обломков старых миров медные твердыни Дике.

Не зная, где достать хлеба для себя с матерью, Гамлен мечтал о бесконечных столах и всемирной трапезе, в которой он примет участие вместе со всем возрожденным человечеством. А пока он убеждал себя, что родина, как добрая мать, накормит своего верного сына. Возмущенный пренебрежением, с которым торговец эстампами отнесся к его предложению, он старался уверить себя, что идея революционной колоды — идея новая и плодотворная и что у него под мышкой, в папке с прекрасно

выполненными акварельными рисунками, заключено целое богатство. «Демаи выгравирует их,— думал он.— Мы сами выпустим в свет патриотические карты и в какой-нибудь месяц наверняка распродадим десять тысяч колод по двадцать су каждая».

Сгорая от нетерпения поскорее осуществить свой замысел, он крупными шагами направился на Скобяную набережную, где над лавкой стекольщика жил Демаи.

Вход был через лавку. Жена стекольщика предупредила Гамлена, что гражданина Демаи нет дома, чем не очень удивила художника, так как он знал своего приятеля за человека непоседливого и легкомысленного и поражался, как это, работая лишь урывками, Демаи гравирует так много и так искусно. Гамлен решил подождать его минутку. Жена стекольщика предложила ему стул. Она была мрачно настроена и стала жаловаться на дела, которые шли из рук вон плохо, хотя можно было предполагать, что Революция, разбивая столько оконных стекол, обогатит стекольщиков.

Смеркалось. Отказавшись от мысли дождаться товарища, Гамлен простился с женой стекольщика. Проходя по Новому мосту, он увидел на набережной Морфондю конный отряд национальных гвардейцев, которые, бряцая оружием, расталкивая толпу, с факелами в руках конвоировали телегу, медленно влекшую на гильотину человека, имени которого никто не знал,— какого-то бывшего дворянина, первого, осужденного новым Революционным трибуналом. Между треуголками гвардейцев смутно виднелась его фигура: он сидел лицом к задку телеги, руки у него были связаны за спиной, обнаженная голова беспомощно болталась. Рядом с ним стоял палач, опершись рукой о боковую стенку повозки. Прохожие, остановившись, высказывали предположение, что это, вероятно, какой-нибудь спекулянт, моривший голодом народ, и равнодушно смотрели на осужденного. Гамлен, подойдя поближе, увидел среди зевак Демаи: он старался выбраться из толпы и перебежать дорогу. Эварист окликнул его и дотронулся рукой до его плеча. Демаи обернулся. Это был молодой человек, красивый и сильный. В свое время в Академии говорили, что у него голова Вакха на торсе Геракла. Приятели звали его «Барбару́» — за сходство с этим народным представителем.

— Пойдем,— обратился к нему Гамлен,— мне надо поговорить с тобой о важном деле.

— Оставь меня в покое! — раздраженно ответил Демаи.

Выжидая удобный момент, чтобы протиснуться сквозь толпу, он обронил несколько невнятных слов:

— Я шел следом за божественной женщиной... Соломенная шляпка... золотистые волосы, распущенные вдоль плеч... Вероятно, какая-нибудь модистка... Проклятая телега разъединила нас... Она успела пройти вперед... Она уже в конце моста!

Гамлен попытался удержать его за кафтан, клянясь, что дело очень важное.

Но Демаи уже пробирался между лошадьми, гвардейцами, саблями и факелами, вслед за своей модисткой.

IV

Было десять часов утра. Апрельское солнце заливало светом нежную зелень деревьев. Освеженный ночной грозою воздух был полон сладостной истомы. Изредка всадник, проскакав по Вдовьей аллее, нарушал безмолвие уединенного уголка. В конце тенистой аллеи, напротив хижины, носившей название «Лилльская Красавица», Эварист, сидя на деревянной скамейке, поджидал Элоди. С того дня, как их пальцы встретились на батистовом шарфе и дыхание смешалось, он не был ни разу в «Амуре Живописце». Целую неделю гордый стоицизм и все возраставшая робость удерживали его вдали от Элоди. Он отправил ей пылкое письмо, мрачное и серьезное, в котором, излагая причины своего недовольства гражданином Блезом, но умалчивая о своей любви и скрывая скорбь, заявлял о принятом им решении не переступать порога лавки и, по-видимому, собирался сдержать слово с твердостью, которая вовсе не улыбалась влюбленной девушке.

Обладая совсем противоположным характером, Элоди, ни за что не желавшая поступаться тем, что она считала своим добром, сразу стала раздумывать, как бы вернуть себе друга сердца. Сначала она намеревалась пойти прямо к нему в мастерскую, на Тионвильскую площадь. Но, зная, что он отличается хмурым нравом и, судя по письму, сильно раздражен, а также опасаясь, как бы он не перенес на нее злобы, которую питал к отцу, и не стал избегать ее в дальнейшем, она решила, что лучше назначить ему сентиментальное и романическое свидание, от которого он никак не может уклониться и которое даст возможность переубедить и плешить его, ибо уединение поможет ей его очаровать и покорить.

В ту пору во всех английских парках, во всех модных местах гуляний по чертежам искусных архитекторов были сооружены хижины, удовлетворявшие склонности горожан к сельской жизни. Хижина «Лилльская Красавица», арендованная продавцом лимонада, упиралась одной из своих якобы ветхих стен в искусственные развалины старинной башни, соединяя таким образом прелесть сельского ландшафта с меланхолией руин. Очевидно, считая, что для чувствительных сердец еще недостаточно хижины и разрушенной башни, продавец лимонада соорудил под ивой могильный холм и водрузил на нем колонну с погребальной урной, украшенную надписью: «Клеониса своему верному Азору». Хижины, развалины, гробницы! Накануне своей гибели аристократия воздвигала в наследственных парках эти символы нищеты, уничтожения и смерти. А теперь горожане-патриоты с удовольствием пили, плясали, предавались любви в искусственных хижинах, в тени искусственных развалин искусственных монастырей, среди искусственных гробниц, ибо они тоже были поклонниками природы, учениками Жан-Жака, тоже обладали чувствительными, мечтательными сердцами.

Явившись на свидание ранее назначенного часа, Эварист стал ожидать, измеряя время, как маятником, биением собственного сердца. Прошел патруль, ведя куда-то арестованных. Минут через десять женщина, вся в розовом, с букетом в руке, как этого требовала мода, проскользнула в хижину в сопровождении кавалера в треуголке, красном фраке, полосатом жилете и полосатых панталонах; оба до того были похожи на старорежимных щеголей, что поневоле приходилось согласиться с гражданином Блезом, утверждавшим, будто у людей есть такие свойства, которых не в состоянии изменить никакая революция.

Спустя еще несколько минут старуха с цилиндрической, ярко размалеванной коробкой в руках, пришедшая из Рюэля или Сен-Клу, уселась на скамью, на которой ожидал Гамлен. Коробку, крышка которой была снабжена рулеткой со стрелой для гадания, женщина поставила перед собой. Она предлагала детишкам, игравшим в саду, попытать счастья. Торговала она печеньем, называвшимся прежде «облатками», а теперь переименованным в «утехи». Потому ли, что традиционный термин «облатка» наводил на докучливую мысль об евхаристии и христианском долге, потому ли, что всем надоело старое название, но «облатки» стали называть тогда «утехами».

Старуха отерла концом передника пот со лба и разразилась жалобами, обращаясь к небу и обвиняя бога в несправедливости

за то, что его созданиям приходится так тяжело. Ее муж держал кабачок в Сен-Клу, на берегу реки, а она ежедневно ходила по Елисейским полям со своей трещоткой, выкликая: «Утех, кому утех, сударыни!» И все-таки они не могли прокормить себя на старости лет.

Видя, что сосед по скамейке готов пожалеть ее, она принялась обстоятельно излагать причину своих невзгод. Виной всему Республика, которая, разорив богачей, вырвала у бедняков последний кусок хлеба изо рта. Нечего и надеяться на лучшее. Напротив, судя по многим признакам, дела пойдут все хуже и хуже. В Нантере женщина родила ребенка с головой гадюки; в Рюэле молния ударила в церковь и расплавила крест на колокольне; в Шавильском лесу видели оборотня. Люди в масках отравляют источники и разбрасывают порошки, распространяющие заразу...

Эварист увидел Элоди, выходившую из коляски. Он кинулся ей навстречу. Глаза молодой женщины блестели в прозрачной тени соломенной шляпы; на губах, пунцовых, как гвоздики, которые она держала в руке, играла улыбка. Черный шелковый шарф, перекрещивавшийся на груди, сзади был завязан бантом. Желтое платье подчеркивало быстрые движения колен и открывало ноги в туфельках без каблуков. Бедра не были стянуты, так как Революция освободила стан гражданок от корсета; однако юбка, еще вздувавшаяся на боках, скрывала формы, преувеличивая их и пряча под своею пышностью подлинные очертания фигуры.

Он хотел заговорить, но не находил слов и упрекал себя за смущение, не зная, что Элоди оно приятнее самых любезных речей. От ее внимания также не ускользнуло,— и она сочла это хорошим признаком,— что галстук у него повязан тщательнее обыкновенного. Она протянула Эваристу руку.

— Я хотела повидать вас, побеседовать с вами,— сказала она.— На ваше письмо я не ответила: оно мне не понравилось; я не узнала в нем вас. Будь оно более естественно, оно было бы любезнее. Я умалила бы достоинства вашего характера и вашего ума, если бы поверила, что вы в самом деле не желаете больше приходить на улицу Оноре только потому, что слегка повздорили о политике с человеком гораздо старше вас. Будьте покойны, вам нечего опасаться дурного приема со стороны отца, когда вы снова явитесь к нам. Вы не знаете его: он не помнит ни того, что сам сказал, ни того, что вы ответили. Я вовсе не утверждаю, что между вами существует большая симпатия, но он не злопамятен. Говорю вам откровенно: он не слишком инте-

ресуется ни вами... ни мной. Он поглощен своими делами и развлечениями.

Она направилась к деревьям, окружавшим хижину, куда он последовал за нею не без некоторого отвращения, так как знал, что это — место свиданий с продажными женщинами и приют мимолетной любви. Она выбрала столик в самом укромном уголке.

— Как много должна я вам сказать, Эварист! Дружба имеет свои права; вы позволите мне воспользоваться ими? Я хочу поговорить с вами — главным образом о вас... и немножко о себе, если вы ничего не имеете против.

Продавец лимонада принес графин и стаканы, и Элоди сама, как хорошая хозяйка, наполнила их; затем она рассказала Эвaристу про свое детство, про мать, красоту которой она охотно превозносила и как любящая дочь, и потому, что считала ее источником собственной красоты. Она с уважением говорила о том, какие крепкие люди были ее предки,— ибо она гордилась своей буржуазной кровью! Она рассказала также, как, потеряв в шестнадцатилетнем возрасте обожаемую мать, она с тех пор жила без ласки, без поддержки. Обрисовала себя, какой была и в самом деле: живой, чувствительной, смелой женщиной, и прибавила:

— Эварист, я провела слишком печальную и одинокую юность, чтобы не оценить такого сердца, как ваше, и, предупреждаю вас, не откажусь по собственной воле и без борьбы от чувства симпатии, на которое, мне казалось, я могу рассчитывать и которое мне дорого.

Эварист с нежностью посмотрел на нее.

— Неужели, Элоди, я вам не безразличен? Смею ли я этому верить?..

Он замолчал из боязни сказать лишнее и, следовательно, злоупотребить столь доверчиво предложенной дружбой.

Она с открытым видом протянула ему свою маленькую руку, выглядывавшую наполовину из длинного, узкого, отделанного кружевом рукава. Грудь ее вздымалась от глубоких вздохов.

— Припишите мне, Эварист, все чувства, которые вы хотели бы, чтобы я к вам питала, и вы не ошибетесь.

— Элоди, Элоди, повторите ли вы это, когда узнаете...

Он запнулся.

Она опустила глаза.

Он шепотом докончил:

— ...что я люблю вас?

При этих словах она покраснела от удовольствия. В ее глазах он мог бы прочитать нежную страсть, но в то же время, против воли, насмешливая улыбка приподымала уголки ее рта.

Она думала: «И он воображает, будто объяснился первым!.. А может быть, он даже боится, что рассердил меня!..»

Она ласково сказала ему:

— Вы, значит, не заметили, друг мой, что я вас люблю?

Им казалось, что они одни во всем мире. В порыве восторга Эварист устремил взор к залитому солнцем лазурному небосводу.

— Глядите: небо смотрит на нас! Оно так же восхитительно, так же благосклонно, как и вы, моя любимая: оно, подобно вам, ослепляет своим блеском, подобно вам, кротко улыбается...

Он чувствовал себя слившимся со всей природой, он приобщил ее к своей радости, к своему торжеству. Ему представлялось, что, празднуя его обручение, канделябрами загорались цветы каштанов и вспыхивали исполинские факелы тополей.

Он наслаждался своей силой и величием. Она, более нежная и тонкая, более гибкая и податливая, уже считала себя вправе воспользоваться преимуществами слабого пола и, покорив Эвариста, подчинялась его воле; завладев им, она теперь видела в нем господина, героя, бога, сгорала от желания восхищаться им, повиноваться, отдаваться ему. В тени деревьев он запечатлел на ее устах долгий пламенный поцелуй; она запрокинула голову и в объятиях юноши почувствовала, что тело ее становится мягким, как воск.

Они еще долго разговаривали о самих себе, позабыв обо всем на свете. Эварист высказывал мысли, преимущественно неопределенные и возвышенные, от которых молодая женщина приходила в восторг. Элоди вела речь о вещах приятных, практических и касавшихся только их. Потом, когда она сочла, что дольше оставаться нельзя, она поднялась с решительным видом, дала своему возлюбленному три пунцовых гвоздики, взращенные ею на окне, и впорхнула в кабриолет, в котором приехала. Это была наемная коляска на очень высоких колесах, выкрашенная в желтый цвет; ни в ней, ни в кучере не было решительно ничего примечательного, но Гамлен никогда не пользовался наемными колясками и все окружавшие его тоже. Когда он увидел Элоди в кабриолете на огромных, быстро катящихся колесах, у него сжалось сердце от печального предчувствия: он мучительно ясно, как это бывает только при галлюцинации, представил себе, что лошадь увозит Элоди прочь от действительности, за пределы настоящего, в какой-то роскошный, веселый

город, к пышным чертогам, на лоно наслаждений, куда он не вступит никогда.

Кабриолет скрылся из виду. Смятение Эвариста улеглось, но осталась глухая тоска: он чувствовал, что пережитых здесь часов нежности и забвения ему уже больше не испытать.

Он направился домой Елисейскими полями, где женщины в светлых платьях шили или вышивали, сидя на деревянных стульях, между тем как дети их играли под деревьями. Увидев торговку «утехами» с коробкой в форме барабана, он вспомнил торговку «утехами» во Вдовьей аллее, и ему показалось, будто между этими двумя встречами прошла целая полоса его жизни. Он пересек площадь Революции. В Тюильрийском саду он издали услыхал мощный гул великих дней Революции, единодушный голос людских толп, который, по мнению врагов Республики, умолк навсегда. Ускорив шаги навстречу все возраставшему шуму, он очутился на улице Оноре, сплошь усеянной мужчинами и женщинами, кричавшими: «Да здравствует Республика! Да здравствует Свобода!» Стены садов, окна, балконы, крыши были унизаны зрителями, махавшими шляпами и носовыми платками. Предшествуемый сапером, который расчищал дорогу кортежу, окруженный муниципальными властями, национальными гвардейцами, артиллеристами, жандармами, гусарами, медленно плыл над головами граждан человек с желчным цветом лица; на лбу у него красовался венок из дубовых листьев, на плечи был накинут ветхий зеленый плащ с горностаевым воротником. Женщины осыпали его цветами. Он смотрел вокруг желтыми, пронизывающими насквозь глазами, как будто в этой охваченной энтузиазмом толпе выискивал врагов народа, которых надлежало разоблачить, изменников, которых надлежало покарать. Поравнявшись с ним, Гамлен обнажил голову и, присоединяя свой голос к сотням тысяч других голосов, крикнул:

— Да здравствует Марат!

Триумфатор вступил, как Рок, в залу Конвента. Между тем как толпа медленно расходилась, Гамлен, сидя на тумбе, сдерживал рукою биение сердца. Зрелище, очевидцем которого он только что был, наполнило все его существо возвышенным волнением и пламенным восторгом.

Он чтил и любил Марата, который, страдая воспалением вен, больной, мучимый язвами, отдавал остаток своих сил на служение Республике и в своем бедном, для всех открытом доме принимал его с распростертыми объятиями, говорил ему с увлечением об общем благе, порою расспрашивал о происках злодеев.

Теперь Эварист был в восхищении, увидав, что враги Марата, замышлявшие его гибель, уготовили ему триумф; он благословлял Революционный трибунал, который, оправдав Друга народа, вернул Конвенту самого ревностного и самого безупречного из законодателей. Он еще видел перед собою лихорадочный взор, чело, увенчанное символом гражданской доблести, лицо, выражавшее благородную гордость и безжалостную любовь, изнуренное недугом, высохшее, неотразимое, перекошенный рот, широкую грудь, всю фигуру умирающего исполина, который с высоты людской победной колесницы, казалось, обращался к согражданам: «Будьте, подобно мне, патриотами до гробовой доски!»

Улица уже опустела, ночь покрыла ее мраком; с фонарем в руке прошел мимо ламповщик, а Гамлен все еще повторял про себя:

— До гробовой доски!..

V

В девять часов утра Эварист уже застал в Люксембургском саду Элоди, ожидавшую его на скамье.

Прошел месяц с тех пор, как они объяснились в любви, и теперь они ежедневно встречались то в «Амуре Живописце», то в мастерской на Тионвильской площади. Свидания эти были очень нежны, но все же носили на себе печать известной сдержанности, которую налагал на них добродетельный и степенный характер Гамлена: деист и безупречный гражданин, он готов был соединить свою судьбу с судьбою любимой женщины, смотря по обстоятельствам — перед лицом закона или перед лицом одного лишь господа, но соглашался сделать это лишь открыто, не таясь от людей. Элоди отдавала должное столь благородному решению, но, отчаявшись вступить в брак, невозможный по многим причинам, и отказываясь вместе с тем кинуть вызов общественным приличиям, она в глубине души лелеяла мысль о тайной связи, которая, не бросаясь в глаза, с течением времени приобрела бы уважение окружающих. Она надеялась, что в один прекрасный день ей удастся преодолеть щепетильность своего слишком почтительного возлюбленного, и, не желая дольше откладывать необходимых признаний, она назначила ему свидание в безлюдном саду, близ монастыря картезианцев.

Взглянув на Эвариста с неподдельной нежностью, она взяла его за руку, усадила рядом с собой и заговорила, тщательно выбирая каждое слово:

— Я слишком уважаю вас, Эварист, чтобы таиться от вас. Я считаю себя достойной вас: я не была бы такой, если бы не сказала вам всего. Выслушайте меня и будьте моим судьей. Я не могу упрекнуть себя в подлом, низком или хотя бы корыстном поступке. Я была лишь слишком слаба и легковерна... Не упускайте из виду, мой друг, тяжелых обстоятельств, в которых я находилась. Вы знаете, я рано потеряла мать; отец, еще молодой человек, думал только о развлечениях и уделял мне мало внимания. Я выросла чувствительной девушкой: природа наделила меня нежным, любвеобильным сердцем, и, хотя она не отказала мне в здравом смысле, в ту пору чувство брало во мне верх над рассудком. Увы, оно и сейчас оказалось бы сильнее, если бы они оба — чувство и рассудок — не советовали мне, Эварист, отдаться вам безраздельно и навсегда!

Она выражалась сдержанно и вместе с тем энергично. Каждое слово ее было обдумано заранее; она уже давно решилась на эту исповедь: во-первых, потому, что обладала открытым характером, во-вторых, потому, что ей нравилось подражать Жан-Жаку, и, наконец, потому, что она благоразумно убеждала самое себя: «Рано или поздно Эваристу откроется тайна, которая принадлежит не мне одной; добровольное признание возвысит меня в его глазах и избавит от позора разоблачений со стороны». Влюбчивая, покорная голосу природы, она считала себя не очень виновной, и потому эта исповедь не слишком тяготила ее; кроме того, она собиралась рассказать Эваристу лишь самое необходимое.

— Ах, дорогой Эварист,— вздохнула она,— почему мы с вами не встретились в то время, когда я была одна, покинутая?

Гамлен понял буквально просьбу Элоди быть ей судьей. Предрасположенный от природы и подготовленный литературным воспитанием к роли доморощенного блюстителя справедливости, он собирался выслушать признание Элоди.

Видя, что она колеблется, он знаком предложил ей говорить.

И она сказала совсем просто:

— Один молодой человек, обладавший помимо дурных качеств также и хорошими и выставлявший напоказ только хорошие, нашел меня довольно привлекательной и стал ухаживать за мной с настойчивостью, которая в нем могла показаться даже странной: он был во цвете лет, изящен и имел несколько любовниц, прелестных женщин, откровенно обожавших его. Не красотой и даже не умом пленил он меня... Ему удалось тронуть меня своей любовью, и я думаю, что он действи-

тельно меня любил. Он был нежен, предупредителен. Я не требовала от него ничего, кроме сердца, а сердце его было непостоянно... Я виню только себя: это — моя исповедь, а не его. Я не жалуюсь на него: ведь он стал мне чужим. О, клянусь вам, Эварист, его как будто и не существовало!

Она умолкла. Гамлен ничего не ответил; он скрестил руки на груди, мрачным взором он уставился на подругу. Он думал о ней и о своей сестре Жюли. Жюли тоже вняла уговорам любовника. Но, в отличие от несчастной Элоди, она дала себя увезти не потому, что по неопытности послушалась голоса сердца, а потому, что хотела найти вдали от своих роскошь и наслаждения. Со свойственной ему суровостью Гамлен осудил сестру и склонен был осудить свою возлюбленную.

Элоди кротким голосом продолжала:

— Начитавшись философских книг, я верила, что все люди по самой природе своей честны. К несчастью, судьба толкнула меня в объятия человека, который не был воспитан в школе природы и нравственности и которого общественные предрассудки, тщеславие, самолюбие и ложное понятие о чести сделали вероломным эгоистом.

Эти заранее заготовленные слова произвели желаемое впечатление. Взор Гамлена смягчился.

— Кто ваш соблазнитель? — спросил он.— Знаю ли я его?

— Вы его не знаете.

— Назовите его имя.

Она предвидела этот вопрос и твердо решила не отвечать на него.

— Избавьте меня от этого, прошу вас,— убеждала она его.— И без того я слишком много сказала вам, слишком много — и для себя и для вас.

Так как он продолжал настаивать, она прибавила:

— В интересах священной для нас любви я не скажу ничего, что позволило бы вам представить себе облик этого... чужого мне человека. Я не хочу давать пищу вашей ревности, не хочу ставить между вами и мной назойливый призрак. К чему теперь, когда я позабыла об этом человеке, вам о нем знать?

Гамлен все-таки добивался, чтобы она назвала имя соблазнителя: он упорно употреблял это слово, ибо не сомневался, что Элоди была соблазнена, обманута, пала жертвой своей доверчивости. Он даже не допускал мысли, что дело могло обстоять иначе, что Элоди уступила своему влечению, влечению непреодолимому, вняла тайному голосу плоти и крови; он не допускал мысли, что это сладострастное и нежное создание, эта очарова-

тельная жертва любви отдалась добровольно; ему, в соответствии с его взглядами, надо было верить, что ею овладели силой или хитростью, что ее принудили к этому, что она попалась в одну из ловушек, расставленных на каждом шагу. Он задавал ей вопросы, внешне сдержанные, но точные, сжатые и смущавшие ее. Он допытывался, как возникла эта связь, сколько она продолжалась, была ли она спокойной или бурной и как прекратилась. Без конца он осведомлялся, к каким средствам обольщения прибег этот человек, как будто это должны были быть какие-то необыкновенные, неслыханные приемы. Все эти вопросы он задавал напрасно. Молча взывая о пощаде, она смотрела на него кроткими, полными слез глазами и не проронила ни звука.

Но когда он пожелал узнать, где в настоящее время находится этот человек, она ответила:

— Он покинул королевство...

И сразу поправилась:

— ...Францию.

— Эмигрант! — вскричал Гамлен.

Она безмолвно взглянула на него, успокоенная и в то же время опечаленная тем, что он создал себе домысел, соответствовавший его политическим убеждениям, и, не имея на то никаких оснований, сообщил своей ревности якобинскую окраску.

В действительности же любовник Элоди был писец прокурора, очень красивый юноша, мелкий клерк с головой херувима, в которого она без памяти была влюблена, так что даже теперь, по прошествии трех лет, мысль о нем вызвала жар у нее в груди. Он искал близости с женщинами немолодыми, но богатыми, и оставил Элоди ради дамы, искушенной в науке страсти и щедро вознаграждавшей его заслуги. После упразднения старых учреждений он поступил на службу в парижскую мэрию, а в настоящее время был драгуном-санкюлотом и находился на содержании у бывшей дворянки.

— Аристократ! Эмигрант! — повторял Гамлен, а она не разуверяла его, так как совсем не хотела, чтобы он знал всю правду.— И он подло бросил тебя?

Она наклонила голову.

Он прижал ее к сердцу.

— Дорогая жертва безнравственного самовластья! Я отомщу этому гнусному развратнику! Только бы небо помогло мне встретить его! Я узнаю его!

Она отвернулась, улыбаясь, но в то же время огорченная и разочарованная. Ей хотелось, чтобы он был смышленее в делах любви, проще, грубее. Она сознавала, что он простил ее так

скоро только потому, что обладал недостаточно пылким воображением, что ее исповедь не пробудила в нем ни одной из тех картин, которые так мучительны для людей чувственных, и, наконец, потому, что он увидел в ее обольщении лишь факт морального и социального значения.

Они поднялись и пошли по зеленым аллеям сада. Он говорил ей, что еще больше уважает ее за пережитые страдания. Элоди этого и не требовала. Она любила его, каков он есть, и восхищалась его талантливостью, которую считала бесспорной.

По выходе из Люксембургского сада они увидели на улице Равенства и вокруг Национального театра большое скопление народа, что не было для них неожиданностью,— уже несколько дней в наиболее патриотически настроенных секциях царило сильное возбуждение: там раскрыли заговор орлеанистов и сообщников Бриссо, которые, по слухам, поставили себе целью погубить Париж и перебить всех республиканцев. Гамлен сам еще недавно подписал петицию Коммуны, требовавшую исключения из Конвента группы «Двадцати одного».

Прежде чем пройти под аркой, соединявшей театр с соседним домом, им пришлось пробраться сквозь толпу граждан в карманьолах, к которым, стоя на галерее, обращался с речью молодой военный в шлеме, обтянутом шкурой пантеры. Этот красавец, который мог бы поспорить наружностью с «Эротом» Праксителя, обвинял Друга народа в беспечности.

— Ты спишь, Марат,— восклицал он,— а федералисты меж тем куют для нас оковы!

Как только Элоди заметила его, она взволнованно обратилась к Гамлену:

— Уйдем отсюда, Эварист!

Толпа, говорила она, пугает ее: она боится упасть в обморок в этой давке.

Они расстались на Национальной площади, обменявшись клятвами в вечной любви.

В тот же день, рано утром, гражданин Бротто принес в подарок гражданке Гамлен великолепного каплуна. С его стороны было бы крайней неосторожностью рассказать, каким образом он раздобыл его, ибо он получил его от рыночной торговки, которой иногда писал письма, примостившись у одного из выступов церкви св. Евстафия, а ни для кого не было тайной, что рыночные торговки питают роялистские чувства и поддерживают сношения с эмигрантами. Гражданка Гамлен с признательностью приняла каплуна. Такой птицы давно уже никто не видывал: съестные припасы дорожали с каждым днем. Народ

опасался голода; аристократы, по слухам, желали, а спекулянты всеми способами подготовляли его.

Гражданин Бротто, которого пригласили полакомиться каплуном, явившись в полдень, пришел в восхищение от приятного запаха стряпни и высказал это хозяйке. В самом деле, мастерская художника была полна благоуханием жирного бульона.

— Вы очень любезны, сударь,— ответила старушка.— Чтобы подготовить желудки к восприятию вашего каплуна, я сварила суп из зелени, положив туда корочку свиного сала и толстую говяжью кость. Ничто не придает такого аромата супу, как мозговая кость.

— Весьма похвальное суждение, гражданка,— заметил старик Бротто.— Вы поступите вполне благоразумно, если завтра, послезавтра и до конца недели будете класть драгоценную кость в кастрюлю,— она придаст супу аромат. Сивилла из Панзуста поступала именно таким образом: она варила похлебку из свежей капусты с корочкой пожелтевшего свиного сала и с уже бывшим в употреблении саворадо. Саворадо у нее на родине — кстати сказать, это и моя родина — называют мозговую кость, которая так вкусна и питательна.

— А не находите ли вы, сударь, что дама, о которой вы говорите, была слишком уж расчетлива, варя так долго одну и ту же кость? — заметила гражданка Гамлен.

— Она жила очень скромно,— ответил Бротто.— Она очень нуждалась, хотя и была прорицательницей.

В эту минуту вошел Эварист Гамлен. Глубоко взволнованный только что сделанными ему признаниями, он дал себе слово выяснить, кто соблазнитель Элоди, чтобы отомстить одновременно и за Республику, и за любимую женщину.

Обменявшись с Эваристом обычными приветствиями, гражданин Бротто продолжал:

— Лишь в самых редких случаях люди, занимающиеся предсказанием судьбы, наживают себе состояние. Их проделки очень скоро всплывают наружу. Их начинают ненавидеть за обман. Но их следовало бы ненавидеть еще больше, если бы они действительно предрекали будущее. Ведь жизнь человека стала бы невыносима, если бы он знал, что́ с ним должно приключиться. Его взору предстали бы все грядущие несчастья, и он страдал бы от них заранее и уже не мог бы наслаждаться благами, отпущенными ему судьбой, так как предвидел бы их конец. Неведение — условие, необходимое для человеческого счастья, и надо признать, что чаще всего люди вполне удовлетворяют этому требованию. О самих себе мы не знаем почти ничего,

о наших ближних — ничего. Неведение обеспечивает нам спокойствие, а ложь — счастье.

Гражданка Гамлен поставила миску с супом на стол, прочла Benedicite, усадила сына и гостя, а сама принялась есть стоя, отказавшись от предложения Бротто сесть рядом с ним, так как, объяснила она, ей известно, к чему ее обязывает учтивость.

VI

Десять часов утра. Ни ветерка. Такого жаркого июля еще не помнили. На узкой Иерусалимской улице около сотни граждан местной секции стояло в очереди перед дверьми булочной; четыре национальных гвардейца, опустив ружья и покуривая трубки, наблюдали за порядком.

Национальный конвент установил твердые цены — тотчас же исчезли зерно и мука. Подобно израильтянам в пустыне, парижане, не желавшие голодать, подымались до света. Все эти люди — мужчины, женщины, дети — напирали на соседей, толкались, перекликались, смотрели друг на друга со всеми чувствами, какие только может испытывать человек к своему ближнему: с ненавистью, отвращением, любопытством, вожделением, равнодушием, а раскаленное небо нагревало гниющие отбросы в канавах и обостряло запах пота и грязи. На основании горького опыта было известно, что хлеба на всех не хватит, поэтому опоздавшие старались пролезть вперед; те, кого оттесняли, разражались жалобами, возмущались, тщетно ссылались на свое попранное право. Женщины с ожесточением работали локтями и бедрами, чтобы сохранить за собой место или пробраться ближе. Когда давка увеличивалась, подымались крики: «Не толкайтесь!» И каждый оправдывался, утверждая, что его толкают.

Дабы избежать этих ежедневных беспорядков, комиссары, уполномоченные секцией, распорядились протянуть от дверей булочной до конца очереди веревку, за которую все должны были держаться. Однако руки стоявших рядом то и дело сталкивались и вступали в борьбу. Выпустивший веревку уже не имел возможности снова ухватиться за нее. Недовольные или просто озорники перерезáли ее, и от этой меры пришлось отказаться.

В очереди задыхались, теряли сознание, обменивались остротами, вольными замечаниями, ругали аристократов и федералистов, виновников всех бед. Когда мимо пробегала собака, шутники называли ее Питтом. Порой раздавалась звонкая пощечина, отпущенная какому-нибудь нахалу одной из оскорблен-

ных им гражданок, между тем как молоденькая служанка, прижатая соседом, томно вздыхала, потупив взор, полураскрыв рот. На каждое слово, на каждый жест, на каждое положение, способные привести веселых французов в игривое настроение, кучка юных озорников затягивала «Ça ira», не обращая внимания на протесты старого якобинца, возмущенного тем, что опошляют грязными намеками припев, выражавший республиканскую веру в грядущую справедливость и всеобщее счастье.

С лестницей под мышкой подошел расклейщик афиш и налепил на стене против булочной объявление Коммуны о введении мясного пайка. Прохожие останавливались и читали еще не успевшую просохнуть бумагу. Торговка капустой, с плетенкой за плечами, заворчала сиплым, надтреснутым голосом:

— Ну, теперь поминай как звали наших бычков! Теперь ветер загуляет у нас в кишках!

Вдруг из сточной канавы потянуло такой чудовищной вонью, что многих стошнило; одной женщине стало дурно, и ее без чувств сдали на руки двум национальным гвардейцам, которые оттащили ее в сторону, к насосу. Люди затыкали себе нос; поднялся ропот, обменивались отрывистыми замечаниями, в которых сквозило беспокойство и страх. Допытывались, не закопана ли здесь дохлятина, не положили ли сюда злоумышленники отраву, или — это казалось правдоподобнее всего — не разлагается ли забытое поблизости в одном из погребов тело какого-нибудь дворянина или священника, убитого в сентябрьские дни.

— Разве их сваливали здесь?

— Их сваливали повсюду!

— Это, должно быть, один из тех, с которыми расправились в Шатле. Второго числа я видел триста трупов, нагроможденных в кучу на мосту Менял.

Парижане боялись, как бы мертвые аристократы из мести не отравили их.

Эварист Гамлен стал в очередь: он решил избавить старуху мать от утомительного стояния. Вместе с ним пришел его сосед, гражданин Бротто, спокойный, улыбающийся, с Лукрецием в оттопыренном кармане коричневого сюртука.

Славный старик восхищался этой сценой: она представлялась ему сюжетом из простонародной жизни, достойным кисти современного Тенирса.

— Эти грузчики и кумушки занимательнее греков и римлян, так полюбившихся в настоящее время нашим художникам,— сказал он.— Что касается меня, я всегда питал пристрастие к фламандскому жанру.

Из благоразумия и из чувства такта он не упомянул о том, что в свое время у него была целая галерея голландских картин, с которой по числу и подбору полотен могло сравниться только собрание г-на де Шуазеля.

— Прекрасна только древность и то, что ею вдохновлено,— возразил художник,— тем не менее я готов согласиться, что простонародные сюжеты Тенирса, Стена, Остаде гораздо выше ничего не стоящей мазни Ватто, Буше или Ван-Лоо: людские существа у них изображены уродливыми, но они не опошлены, как у какого-нибудь Бодуэна или Фрагонара.

Мимо прошел продавец газет, выкликая:

— Бюллетень Революционного трибунала! Список осужденных!

— Одного Революционного трибунала недостаточно,— заметил Гамлен.— Надо учредить трибунал в каждом городе... Да что я! В каждой коммуне, в каждом кантоне. Необходимо, чтобы все отцы семейств, все граждане сделались судьями. Когда нации угрожают пушки неприятеля и кинжалы изменников, милосердие — тягчайшее преступление. Подумать только, Лион, Марсель, Бордо восстали, Корсика охвачена возмущением, Вандея в огне, Майнц и Валансьен во власти коалиции, измена — всюду: в городах, в деревнях, в лагерях; измена заседает на скамьях Национального конвента, измена с картою в руке принимает участие в военных советах наших полководцев!.. Пусть же гильотина спасет отечество!

— У меня нет существенных возражений против гильотины,— ответил старик Бротто.— Природа, моя единственная наставница и учительница, в самом деле не дает мне никаких указаний на то, что жизнь человеческая представляет собою какую-либо ценность; напротив, она всячески учит, что человеческая жизнь ничего не стоит. По-видимому, единственное назначение всякого живого существа — стать пищей другого существа, предназначенного, в свою очередь, для той же цели. Убийство не противоречит естественному праву,— следовательно, смертная казнь вполне законна, если только к ней прибегают не ради добродетели и справедливости, а из необходимости или ради выгоды. Должен, однако, признаться, что у меня, вероятно, извращенный инстинкт, так как я не выношу зрелища крови, и эту противоестественную черту не в состоянии побороть вся моя философия.

— Республиканцы — люди гуманные и чувствительные,— снова заговорил Эварист.— Одни только деспоты утверждают, будто смертная казнь — необходимый атрибут власти. Держав-

ный народ со временем отменит ее. Робеспьер выступил против нее, и все патриоты были на его стороне; чем скорее будет издан декрет о ее отмене, тем лучше. Однако в действие его можно будет ввести не раньше, чем последний враг Республики погибнет, сраженный мечом закона.

За Гамленом и Бротто уже стали в ряд запоздавшие, по преимуществу женщины из этой секции; среди них обращали на себя внимание рослая красивая «вязальщица» в косынке и деревянных башмаках, опоясанная саблей, хорошенькая блондинка, растрепанная, в измятом платке, и молодая мать, худая и бледная, кормившая грудью хилого ребенка.

Младенец, которому не хватало молока, кричал, но крик был слабый, и ребенок захлебывался от рыданий. Он был жалкий и маленький, с прозрачным сморщенным личиком, с воспаленными глазами; мать с нежностью и скорбью смотрела на него.

— Да он совсем крохотный,— сказал Гамлен, оборачиваясь к несчастному стонущему младенцу, прижатому к его спине напиравшей толпой.

— Ему полгодика, моему сокровищу!.. Отец в армии: он из тех, что отбросили австрийцев в Конде. Зовут его Дюмонтей (Мишель); по профессии он приказчик в суконной лавке. Записался на подмостках, которые соорудили перед ратушей. Бедняжка, он хотел защищать родину, а заодно повидать свет... Он пишет, что надо запастись терпением. Но как же мне кормить Поля (моего сыночка зовут Полем)... когда мне самой нечего есть?

— Да мы тут еще час протолчемся, а вечером предстоит та же церемония у дверей бакалейщицы! — воскликнула хорошенькая блондинка.— Ради трех яиц и кусочка масла рискуешь жизнью!

— Масла! — вздохнула гражданка Дюмонтей.— Я его уже месяца три как не видала!

И женщины хором стали жаловаться на недостаток и дороговизну продовольствия, проклинать эмигрантов, возмущаться, что не отправляют на гильотину комиссаров секции, раздающих всяким потаскухам, в награду за их презренные ласки, четырехфунтовые хлебы и откормленных кур. Передавали тревожные слухи о коровах, потопленных в Сене, о мешках муки, высыпанных в сточные канавы, о хлебе, брошенном в отхожие места... Все это дела роялистов, роландистов, бриссотинцев — они поставили себе целью уморить голодом население Парижа.

Вдруг хорошенькая блондинка в измятом платке подняла

такие вопли, как будто на ней загорелась юбка; она трясла ее изо всех сил, выворачивала карманы, заявляя, что у нее вытащили кошелек.

При вести о краже эта толпа простонародья, громившая особняки Сен-Жерменского предместья и врывавшаяся в Тюильри, но не польстившаяся на чужое добро, загорелась негодованием; все эти ремесленники и хозяйки с легким сердцем сожгли бы Версальский дворец, но сочли бы для себя величайшим позором унести оттуда хотя бы булавку. Молодые озорники попробовали было отпустить несколько колких замечаний, издеваясь над потерпевшей красоткой, но общий ропот заглушил их остроты. Уже поговаривали о том, что надо вздернуть вора на фонарь. Шумно и пристрастно стали доискиваться виновника. Рослая «вязальщица», указывая пальцем на старика, смахивающего на расстриженного монаха, клялась, что это дело рук «капуцина». Толпа, без колебаний поверив ее словам, потребовала немедленной расправы.

Старик, на которого так неожиданно обрушилось обвинение, все время скромно стоял впереди гражданина Бротто. Правду сказать, он сильно походил на бывшего монаха. Держался он с большим достоинством, хотя и был испуган неистовством толпы, пробудившим в нем еще свежее воспоминание о сентябрьских днях. Страх, написанный у него на лице, подтверждал подозрения, ибо простой народ убежден, что только виновные боятся его суда, как будто поспешность, с которой он выносит свои необдуманные приговоры, не может напугать и ни в чем не повинного.

Бротто поставил себе правилом никогда не идти наперекор чувствам толпы, особенно когда они принимают нелепые и жестокие формы, «ибо в этих случаях,— говаривал он,— глас народа — глас божий». Но Бротто был непоследователен: он заявил, что этот человек, капуцин ли он или нет, не мог украсть кошелек у гражданки, так как ни на одно мгновение не подходил к ней.

Толпа решила, что тот, кто защищает вора,— его сообщник, и теперь речь шла уже о расправе с двумя злоумышленниками; когда же Гамлен поручился за Бротто, то наиболее благоразумные стали поговаривать, что и его вместе с обоими надо отправить в секцию.

Вдруг хорошенькая блондинка радостно закричала, что нашла кошелек. Тотчас же на нее заулюлюкали и даже пригрозили высечь ее на глазах у всех присутствующих, как пороли монахинь.

— Позвольте поблагодарить вас за ваше заступничество, сударь,— обратился монах к Бротто.— Мое имя ничего не скажет вам, но все же разрешите представиться: меня зовут Луи де Лонгмар. Я действительно монах, но не капуцин, как утверждали эти женщины. Это глубоко неверно: я принадлежу к ордену варнавитов, которому церковь обязана столькими учеными и святыми. Те, которые ведут происхождение ордена от святого Карла Борромео, ошибаются: подлинным его учредителем следует считать святого апостола Павла; недаром его имя значится на гербе ордена. Мне пришлось покинуть монастырь, когда в нем обосновалась секция Нового моста, и одеться мирянином.

— Ваша внешность, отец мой, в достаточной мере свидетельствует, что вы не отреклись от своего звания,— заметил Бротто, рассматривая долгополую хламиду Лонгмара.— Глядя на вас, можно скорее подумать, что вы реформировали свой орден, а не вышли из него совсем. В этом строгом одеянии вы добровольно подвергаете себя поношениям нечестивой черни.

— Не могу же я щеголять в голубом фраке, словно какой-нибудь танцор,— возразил монах.

— Отец мой, я позволил себе сделать замечание по поводу вашего платья только потому, что мне хотелось воздать должное вашему мужеству и обратить ваше внимание на опасности, которые вам угрожают.

— Было бы лучше, сударь, если бы вы, наоборот, поддержали во мне стремление исповедовать мою веру, ибо я и так склонен бояться опасностей. Я перестал носить монашеское одеяние, а это уже некоторое отступничество; я хотел, по крайней мере, не покидать крова, под которым, по милости божьей, прожил столько лет вдали от мирской суеты. Мне разрешили остаться в своей келье, между тем как церковь и монастырь превратили в маленькую ратушу, которую они называют секцией. У меня на глазах, сударь, у меня на глазах сбивали со стен эмблемы святой истины; у меня на глазах, на том самом месте, где красовалось имя апостола Павла, водрузили колпак каторжника. Иногда я даже присутствовал на совещаниях секции и слышал, как там высказывались глубоко ошибочные суждения. В конце концов я покинул этот осквернённый кров и на пенсию в сто пистолей, которую мне назначило Учредительное собрание, поселился в конюшне, откуда всех лошадей забрали для нужд армии. Там я служу обедню для нескольких верующих, которые своим присутствием утверждают непреходящую жизнь Церкви Христовой.

— Меня, отец мой,— ответил его собеседник,— зовут, если вам угодно знать, Бротто, и в прежнее время я был мытарем.

— Сударь,— возразил отец Лонгмар,— пример апостола Матфея показывает, что и от мытаря можно услышать слово истины.

— Вы слишком любезны, отец мой.

— Гражданин Бротто,— обратился к нему Гамлен,— неужели вас не приводит в восхищение этот народ, алчущий справедливости больше, чем хлеба? Ведь каждый здесь был готов потерять свое место, лишь бы наказать вора. Эти мужчины и женщины, бедняки, испытывающие нужду в самом необходимом, безукоризненно честны и не могут примириться с бессовестным поступком.

— Надо признаться,— ответил Бротто,— что, стремясь во что бы то ни стало повесить вора, эти люди могли оказать плохую услугу почтенному монаху, его защитнику и защитнику его защитника. В данном случае они руководились любостяжанием и эгоистической привязанностью к собственности: вор, обокрав одного из них, угрожал всем; наказывая его, они предохраняли себя... Впрочем, вполне возможно, что большинство этих ремесленников и хозяек честны и относятся с уважением к чужому добру. Чувства эти с детства были внушены им отцами и матерями, которые не жалели розог, внедряя добродетель через то место, откуда растут ноги.

Гамлен не скрыл от старика, что подобная речь представляется ему недостойной философа.

— Добродетель свойственна человеку от рождения,— сказал он,— семена ее заложены богом в сердце каждого смертного.

Старик Бротто был атеист, и атеизм являлся для него неисчерпаемым источником наслаждений.

— Я вижу, гражданин Гамлен, что вы революционер, лишь поскольку речь идет о делах земных; что же касается дел небесных — вы консерватор и даже реакционер. Робеспьер и Марат — такие же ретрограды, как вы. Мне кажется странным, что французы, уже не признающие над собою власти смертного самодержца, упорно цепляются за самодержца бессмертного, куда более деспотического и свирепого. Ибо что такое Бастилия и даже чрезвычайный суд с его приговорами к сожжению по сравнению с адом? Человечество создает себе богов по образцу своих тиранов, а вы, отвергая оригинал, сохраняете копию!

— О! Гражданин! И вам не стыдно вести такие речи? — воскликнул Гамлен.— Как можете вы смешивать мрачные божества, порожденные невежеством и страхом, с творцом природы.

Вера в благостного бога — необходимое условие нравственности. Верховное существо — источник всех добродетелей: нельзя быть республиканцем, не веруя в бога. Робеспьер отлично сознавал это, когда распорядился убрать из залы заседаний якобинцев бюст философа Гельвеция, ибо Гельвеций, внушая французам идеи безбожия, тем самым предрасполагал их к рабству... Надеюсь, по крайней мере, гражданин Бротто, что, когда республика установит культ Разума, вы не откажетесь стать последователем столь мудрой религии.

— Я люблю разум, но я не фанатический его поклонник,— ответил Бротто.— Разум руководит нами и служит нам светочем; когда вы сделаете из него божество, он ослепит вас и будет толкать на преступления.

И Бротто продолжал рассуждать, стоя в канаве, точно так же как делал это прежде, сидя в одном из тех позолоченных кресел барона Гольбаха, которые, по его выражению, служили основой философии природы.

— Жан-Жак Руссо, человек не совсем бездарный, особенно в области музыки, был пустомеля,— говорил Бротто,— он воображал, будто выводит свою философию из природы, а на самом деле заимствовал ее у Кальвина. Природа учит нас пожирать друг друга и являет нам пример всех преступлений и пороков, которые общественный строй исправляет или облекает покровом приличия. Надо любить добродетель, но не мешает знать, что это всего лишь средство, придуманное людьми ради удобства совместной жизни. То, что мы называем нравственностью, есть безнадежное посягательство нам подобных на мировой порядок, сущность которого — борьба, взаимоистребление и слепая игра враждебных сил. Нравственность сама себя уничтожает, и чем больше я об этом думаю, тем больше убеждаюсь, что весь мир одержим бешенством. Богословы и философы, объявляющие бога творцом природы и зодчим вселенной, изображают его нелепым и злым. Они говорят о его благости, потому что боятся его, но вынуждены признать, что дела его крайне жестоки. Они приписывают ему злобу, редкую даже у человека. Именно этим способом они внушают к нему благоговение. Ибо жалкий род людской не создал бы культа справедливых и милосердных божеств, которых ему нечего было бы бояться, и не питал бы к ним ненужной признательности за их благодеяния. Без чистилища и без ада господь бог был бы ничтожнейшим из всех существ.

— Сударь,— вмешался отец Лонгмар,— не говорите о природе: вы ее не знаете.

— Смею вас уверить, что знаю ее так же хорошо, как и вы, отец мой!

— Вы не можете знать ее, ибо вы человек неверующий, а только вера учит нас тому, что̀ представляет собою природа, что̀ в ней добро и каким образом ее извратили. Впрочем, не думайте, что я собираюсь возражать вам: господь не одарил меня ни пламенным красноречием, ни достаточной силой ума, чтобы я мог опровергнуть ваши заблуждения. Боюсь, как бы, по неумению своему, я не подал вам лишнего повода к богохульству и еще большему ожесточению, так что, несмотря на мое горячее желание быть вам полезным, единственным плодом моего навязчивого благожелательства могло бы оказаться...

Речь его прервал громкий гул голосов, прокатившийся от начала до конца очереди и возвестивший голодным людям, что двери булочной отпирают. Все стали подвигаться вперед, но чрезвычайно медленно. Национальный гвардеец впускал покупателей по одному. Булочнику, стоявшему за прилавком вместе с женою и подмастерьем, помогали два гражданских комиссара с трехцветной повязкой на левой руке, проверявшие, принадлежит ли потребитель к этой секции, и следившие за тем, чтобы он получил лишь то количество хлеба, какое полагалось ему по числу ртов в семье.

Гражданин Бротто видел конечную цель жизни в поисках наслаждений: он полагал, что разум и чувства, за отсутствием богов,— единственные судьи человека, не могут иметь иной цели. Поэтому, найдя, что речи художника слишком фанатичны, а речи монаха слишком просты, чтобы доставить какое бы то ни было удовольствие, этот мудрый человек, стремясь согласовать при данных обстоятельствах свое поведение со своими философскими убеждениями и скрасить томительное ожидание, вытащил из оттопыренного кармана своего коричневого сюртука томик Лукреция, бывший для него источником самых драгоценных утех и подлинного удовлетворения. Красный сафьяновый переплет был сильно потрепан от постоянного употребления; кроме того, гражданин Бротто благоразумно соскреб с него три тисненных золотом островка — герб, за который его отец, откупщик, в свое время заплатил немалые деньги. Он раскрыл книгу на той странице, где поэт-философ, желая исцелить мужчин от напрасных мук любви, рассказывает о женщине, которую он застал в объятиях ее служанок в позе, способной оскорбить чувства любовника. Гражданин Бротто, перечитывая эти стихи, в то же время поглядывал на золотистый затылок своей хорошенькой соседки и сладострастно вдыхал запах влажной

кожи этой замарашки. Поэт Лукреций признавал только мудрость; его ученик Бротто был многостороннее.

Он читал, подвигаясь каждые четверть часа на два шага. Тщетно в его слух, наслаждавшийся величавым и разнообразным ритмом латинской музы, пытались вторгнуться крикливые жалобы кумушек на дороговизну хлеба, сахара, кофе, свечей и мыла. Так, невозмутимо спокойный, дошел он до двери булочной. Стоя за ним, Эварист Гамлен видел у него над головой золоченый сноп на железной решетке дверной фрамуги.

Художник в свою очередь вошел в булочную; корзины и полки были пусты. Булочник отпустил ему последний кусок хлеба, в котором не было и двух фунтов. Эварист заплатил, и за ним тотчас же закрыли решетку из опасения, как бы возмущенный народ не ворвался в булочную. Но страхи эти были напрасны: бедные люди, приученные к подчинению своими прежними угнетателями и нынешними освободителями, поплелись прочь, понурив головы.

Дойдя до угла, Гамлен увидел гражданку Дюмонтей. Бледная, без кровинки в лице, сидела она на тумбе с младенцем на руках. Она не двигалась, не плакала, не глядела. Ребенок жадно сосал ее палец. Гамлен на мгновение задержался перед ней, растерявшись, не зная, что делать. Она, казалось, не замечала его.

Он пробормотал несколько несвязных слов, затем вынул из кармана складной нож с роговым черенком, разрезал хлеб пополам и положил половину на колени молодой матери, которая с удивлением посмотрела на него, но он уже скрылся за углом.

Вернувшись домой, Эварист застал мать у окна за штопаньем чулок. Он с веселой улыбкой вручил ей остаток хлеба.

— Простите, матушка, но я очень устал, простояв так долго в очереди, на жаре, на улице, и по дороге домой съел по кусочку половину пайка. Осталась только ваша доля.

И он притворился, будто стряхивает крошки с жилета.

VII

Вдова Гамлен как-то заметила, припомнив старинное изречение: «Питаясь одними каштанами, сам станешь каштановым». В тот день, 13 июля, они с сыном пообедали в полдень кашицей из каштанов. Когда они кончали скромную трапезу, дверь распахнулась, и в мастерскую вошла дама, сразу наполнив все помещение блеском своей особы и запахом духов. Эварист узнал

гражданку Рошмор. Решив, что она ошиблась дверью, разыскивая своего давнишнего друга, гражданина Бротто, он уже собрался показать ей ход на чердак, где жил бывший дворянин, или позвать Бротто вниз, чтобы не заставлять изящную женщину карабкаться по приставной лесенке; однако, как выяснилось сразу, ей нужен был именно гражданин Эварист Гамлен: по ее словам, она была счастлива, что застала его дома и может засвидетельствовать ему свое почтение.

Они были немного знакомы: несколько раз встречались в мастерской Давида, в местах для зрителей на заседаниях Учредительного собрания, у якобинцев, у ресторатора Венюа; красота, молодость и незаурядная внешность Эвариста привлекли ее внимание.

Шляпа гостьи была перевита лентами, словно пастушья свирель, и украшена султанами из перьев, словно головной убор посланника; в парике, надушенная мускусом, облепленная мушками, гражданка Рошмор под густым слоем румян и белил еще сохранила свежесть кожи; все эти яростные ухищрения моды свидетельствовали о лихорадочной жажде жизни тех ужасных дней, когда никто не был уверен в будущем. Корсаж с большими отворотами и длинными басками, сверкавший огромными стальными пуговицами, был кроваво-красного цвета, но трудно было бы сказать, является ли этот цвет эмблемой жертв или палача,— до того гражданка Рошмор производила одновременно впечатление и аристократки и революционерки. Ее сопровождал молодой военный, драгун.

С длинной перламутровой тростью в руке, высокая, полная, пышногрудая, красивая, она обходила мастерскую и, поднося к серым глазам золотой лорнет, разглядывала висевшие по стенам полотна. Улыбаясь, громко выражая свой восторг, вызванный красотою художника, она рассыпалась в похвалах, чтобы, в свою очередь, заслужить похвалы.

— Что это? Что означает эта картина? — спросила гражданка.— Какой благородный и трогательный вид у этой прекрасной кроткой женщины, склонившейся к юному больному!

Гамлен объяснил, что это «Электра у изголовья Ореста» и что, если бы ему удалось окончить картину, она, пожалуй, была бы наиболее удачным его произведением.

— Сюжет заимствован из Еврипидова «Ореста»,— прибавил он.— Я как-то прочел в одном старинном переводе этой трагедии сцену, которая привела меня в восторг: юная Электра, приподняв брата на ложе скорби, вытирает пену на губах страдальца, поправляет волосы, падающие ему на глаза, и умоляет горячо

любимого брата выслушать ее, пока безмолствуют фурии... Перечитав несколько раз это место, я все-таки чувствовал, что мой взор застилает как бы туман, мешающий мне различать греческие формы, и я никак не мог его рассеять. Мне казалось, что текст оригинала должен звучать несколько иначе и, во всяком случае, взволнованнее. Охваченный горячим желанием получить о нем ясное понятие, я попросил господина Геля, преподававшего тогда (это было в девяносто первом году) греческий язык во французском коллеже, перевести мне эту сцену дословно. Он исполнил мою просьбу, и я убедился, что древние гораздо проще и безыскусственнее, чем мы воображаем. Так, например, Электра говорит Оресту: «Любимый брат, как я рада, что ты уснул! Хочешь, я помогу тебе привстать?» А Орест отвечает: «Да, помоги мне, приподыми меня, вытри пену, засохшую на губах и на глазах. Прижми меня к своей груди и поправь мне волосы: они закрывают мне глаза...» Взволнованный до глубины души этой поэзией, столь юной и столь живой, этими словами, наивными и в то же время исполненными силы, я сделал этот набросок, привлекший к себе ваше внимание, гражданка.

Художник, обычно высказывавшийся крайне сдержанно о своих произведениях, по поводу этой картины мог говорить без конца. Ободренный знаком, который ему сделала гражданка Рошмор, поднося лорнет к глазам, он продолжал:

— Эннекен мастерски изобразил ярость Ореста. Но Орест волнует нас своей скорбью еще больше, чем яростью. Как трагична его судьба! Движимый сыновней любовью, покорный священному долгу, совершил он преступление, в котором боги должны его оправдать, но которого люди ему никогда не простят. Чтобы отомстить за поруганную справедливость, он преступил законы естества, отрекся от своей человеческой природы, вырвал сердце из своей груди. Он гордо несет бремя своего ужасного и доблестного злодеяния... Вот что мне хотелось выразить этой группой.

Подойдя к холсту, он любовно разглядывал его.

— Некоторые места дописаны почти совсем,— заметил он,— например, голова и рука Ореста.

— Восхитительная вещь... А Орест похож на вас, гражданин Гамлен.

— Вы находите? — с мрачной улыбкой заметил художник.

Она села на стул, который ей пододвинул Гамлен. Молодой драгун, стоя подле нее, оперся рукой на спинку стула. Уже одно это свидетельствовало о том, что произошла революция: при старом режиме мужчина никогда не позволил бы себе в

обществе даже пальцем дотронуться до кресла, в котором сидит дама: мужчины тогда были воспитаны в правилах вежливости, иногда весьма стеснительных, и, кроме того, считали, что сдержанность в обществе придает особую цену вольному обращению с глазу на глаз и что, дабы потерять уважение, надлежит его иметь.

Луиза Маше-де-Рошмор, дочь поручика королевского егерского полка, вдова прокурора и в течение двадцати лет верная подруга финансиста Бротто дез Илетта, примкнула к новым идеям. В июле 1790 года видели, как она рыла землю на Марсовом поле. Свою неодолимую склонность к властям предержащим она легко перенесла с фельянов на жирондистов, затем на монтаньяров, но в то же время, в силу врожденной любви к компромиссам, чрезмерной общительности и какой-то страсти к интригам, гражданка Рошмор не порывала связи с аристократами и контрреволюционерами. Это была особа, знакомая решительно со всеми, посещавшая кабачки, театры, модных ресторатора, игорные дома, салоны, редакции газет, приемные комитетов. Революция принесла ей всякие новшества, развлечения, удовольствия, радости, дела, доходные предприятия. Заводя политические и любовные интриги, играя на арфе, рисуя пейзажи, исполняя романсы, танцуя греческие танцы, задавая ужины, принимая у себя красивых женщин, вроде графини де Бофор или актрисы Декуэн, просиживая ночи напролет за игрой в тридцать одно, бириби или рулетку, она находила еще время для друзей, которых не оставляла своим вниманием. Любопытная, деятельная, взбалмошная, фривольная, изучив мужчин, но совсем не зная толпы, чуждая взглядам, которые она разделяла, в той же мере, что и те, которые она принуждена была отвергать, решительно не понимая того, что творится во Франции, она была предприимчива, смела и отважна, как потому, что не сознавала опасности, так и потому, что безгранично верила в могущество своих чар.

Сопровождавший ее военный был совсем молодой человек. Медный шлем, украшенный шкурой пантеры, с гребнем, отделанным пунцовой синелью, отбрасывал тень на его лицо, напоминавшее херувима, а страшная длинная грива ниспадала на спину. Красная куртка в форме нагрудника доходила лишь до бедер, чтобы не скрывать их изящного изгиба. У пояса висел огромный палаш со сверкающей рукоятью в виде орлиного клюва. Бледно-голубые штаны, застегивавшиеся сбоку, плотно облегали его красивые ноги, пышные узоры темно-синего сутажа украшали ляжки. У него был вид танцовщика, наряженного для воинственной и галантной роли, чтобы какой-нибудь ученик

Давида, стремящийся лаконично передать формы, мог писать с него «Ахилла на Скиросе» или «Бракосочетание Александра».

Гамлен смутно помнил, что где-то уже встречал его. Действительно, это был тот самый военный, которого он недели две тому назад видел на галерее Национального театра ораторствующим перед толпой.

Гражданка Рошмор представила его:

— Гражданин Анри, член Революционного комитета секции Прав Человека.

Она всюду таскала его с собой: он был для нее зеркалом любви и живой порукой ее патриотизма.

Гражданка еще раз рассыпалась в похвалах таланту Гамлена и спросила, не согласится ли он написать вывеску для модистки, которой ей хотелось бы помочь. Он мог бы изобразить подходящий сюжет: например, женщину, примеряющую шарф перед «псише», или юную мастерицу со шляпной картонкой в руке.

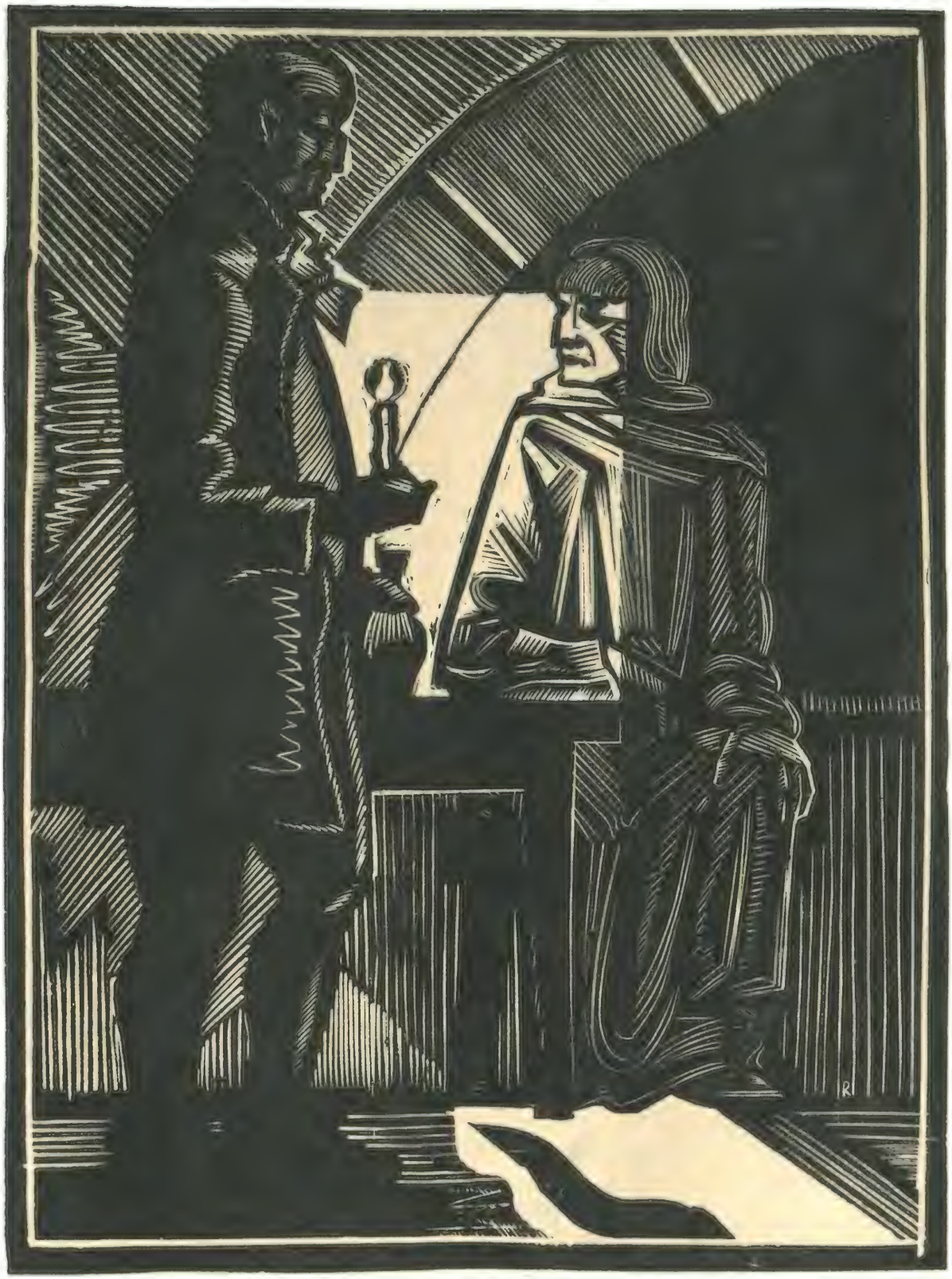
Как на людей, способных выполнить эту небольшую работу, ей указали на Фрагонара-сына, на молодого Дюсиса, а также на некоего Прюдона, но она предпочла обратиться к Эваристу Гамлену. Однако она не высказалась определенно по этому поводу, и вообще чувствовалось, что заказ был лишь предлогом, чтобы завязать разговор. На самом деле ее привело сюда нечто совсем другое. Зная, что гражданин Гамлен знаком с гражданином Маратом, она просила оказать ей услугу и познакомить ее с Другом народа, с которым она желала побеседовать.

Гамлен ответил, что он человек слишком незначительный, чтобы ввести ее в дом к Марату, и что вообще ей не нужно никакого посредника: как ни занят Марат, он все-таки, вопреки молве, доступен любому гражданину.

И Гамлен прибавил:

— Он примет вас, гражданка, если вы несчастны, ибо у него великое сердце, отзывчивое на страдания и жалостливое к скорбящим. Он примет вас, если вы намерены сделать ему какое-нибудь сообщение, касающееся общественного блага: он посвятил себя делу разоблачения изменников.

Гражданка Рошмор ответила, что она была бы счастлива приветствовать в лице Марата знаменитого гражданина, оказавшего отечеству великие услуги, способного оказать в дальнейшем еще бо́льшие, и что она хотела бы свести этого законодателя с богатыми филантропами, которые имеют благие намерения и могли бы дать ему новые средства удовлетворить его пылкую любовь к человечеству.



«Боги жаждут»

— Хотелось бы привлечь богачей к деятельности на пользу общества,— прибавила она.

На самом же деле гражданка обещала банкиру Морхардту свести его за обедом с Маратом.

Швейцарец, как и Друг народа, Морхардт вошел в соглашение с несколькими членами Конвента — Жюльеном (из Тулузы), Делоне (из Анже) и бывшим капуцином Шабо — в целях спекуляции акциями Индийской компании. Эта крайне несложная игра сводилась к тому, чтобы путем мошеннических махинаций вызвать падение акций до шестисот пятидесяти ливров и, скупив их по этой цене в возможно большем количестве, успокоительными мероприятиями вздуть затем цену до четырех-пяти тысяч. Но Шабо, Жюльен, Делоне были окончательно скомпрометированы. Лакруа, Фабр д'Эглантин и даже Дантон находились под подозрением. Главный биржевой воротила, барон де Батц, искал в Конвенте новых сообщников и советовал банкиру Морхардту познакомиться с Маратом.

Мысль контрреволюционной шайки спекулянтов была не так безрассудна, как это казалось с первого взгляда. Эти люди всегда старались завязать сношения с теми, кто в данный момент стоял у власти, а Марат благодаря своей популярности, перу, характеру являлся огромной силой. Дни жирондистов были сочтены; дантонисты, сраженные бурей, выпустили из рук кормило правления. Народный кумир, Робеспьер, был неподкупно честен, подозрителен и недоступен. Поэтому необходимо было обойти Марата, заручиться его благосклонностью в ожидании того дня, когда он станет диктатором; а все говорило за то, что он им станет: его популярность, его честолюбие, его склонность к решительным мерам. В конце концов не было ничего невозможного в том, что Марат восстановит порядок, финансы, благосостояние. Уже не раз ополчался он против фанатиков, пытавшихся превзойти его своим патриотизмом; с некоторого времени он изобличал демагогов почти так же, как умеренных. Прежде он убеждал народ вешать спекулянтов, разграбив их лавки, теперь он призывал граждан к спокойствию и благоразумию: он становился государственным мужем.

Несмотря на слухи, распространяемые о нем, как и о прочих деятелях Революции, эти хищники не сомневались в его неподкупности; но они знали, что он тщеславен и легковерен, и надеялись обойти его лестью и в особенности снисходительно-фамильярным обращением, которое, по их мнению, было приятней всякой лести. Они рассчитывали при его содействии играть на повышении и понижении любых ценностей, которые они поже-

лали бы купить или продать, и полагали, что он будет служить их интересам, воображая, будто работает лишь на благо общества.

Сводня по призванию, хотя она еще не достигла того возраста, когда женщина отказывается от любви, гражданка Рошмор задалась целью свести законодателя-журналиста с банкиром, и ее безумная фантазия рисовала ей революционера, с руками, еще обагренными кровью сентябрьских жертв, участником шайки финансистов, агентом которых она состояла; она уже ясно представляла себе его втянутым, в силу свойственной ему чувствительности и доверчивости, в самый центр биржевых спекуляций, в круг людей, которых она так любила,— в мир скупщиков, поставщиков, заграничных эмиссаров, крупье, светских авантюристок.

Она настаивала на том, чтобы Гамлен повел ее к Другу народа, живущему неподалеку, на улице Кордельеров, близ церкви. После некоторого сопротивления художник уступил желанию гражданки.

Драгун Анри, которому они предложили присоединиться к ним, отказался, ссылаясь на то, что он хочет сохранить свободу даже по отношению к гражданину Марату, оказавшему, бесспорно, услуги Республике, но в последнее время обнаружившему некоторые признаки слабости: ведь он в своей газете советует парижскому населению мириться с выпадающими ему на долю тяготами!

И Анри мелодичным голосом, перемежая речь глубокими вздохами, оплакивал Республику, преданную теми, на кого она возложила все свои упования: Дантоном, отвергающим проект налога на богачей; Робеспьером, восстающим против несменяемости секций; Маратом, чьи малодушные советы угашают пыл граждан.

— Какими слабыми кажутся эти люди по сравнению с Леклерком и Жаком Ру!..— воскликнул он.— Ру!.. Леклерк! Вы — истинные друзья народа!

Гамлен не слышал этих речей, которые, несомненно, возмутили бы его; он вышел в соседнюю комнату, чтобы переодеться в голубой фрак.

— Вы можете гордиться своим сыном,— сказала гражданка Рошмор гражданке Гамлен.— Он так талантлив и так благороден!

Вдова Гамлен подтвердила достоинства своего сына, однако сделала это, нисколько не кичась перед дамой знатного происхождения, так как ей с детства внушали, что смирение перед

сильными мира сего — первейшая обязанность бедняков. Имея немало поводов быть недовольной своей судьбой, она всегда была склонна жаловаться на нее, и эти жалобы приносили ей некоторое облегчение. Она охотно делилась своим горем со всяким, кого считала в состоянии помочь ей, а г-жа Рошмор произвела на нее впечатление именно такой особы. Воспользовавшись благоприятным моментом, она одним духом рассказала о нужде, в которой находились они с сыном, чуть не помирая с голоду. Картин никто не покупал: Революция, как ножом, подрéзала торговлю. Съестных припасов мало, и они недоступны.

И старушка с поспешностью, на какую только были способны ее дряблые губы и неповоротливый язык, торопилась выложить все, что могла, до появления Эвариста, который из гордости не одобрил бы этих сетований. Она старалась поскорее разжалобить и заинтересовать участью сына даму, которую считала богатой и влиятельной. И она сознавала, что красота Эвариста поможет ей растрогать знатную посетительницу.

Действительно, гражданка Рошмор не осталась нечувствительной: она растрогалась при мысли о страданиях Эвариста и его матери и призадумалась над тем, как бы им помочь. Она уговорит своих друзей, богатых людей, покупать картины художника!

— Есть еще деньги во Франции,— сказала она улыбаясь,— только их не держат на виду.

А еще лучше: раз искусство погибло, она устроит Эвариста на службу к Морхардту либо к братьям Перрего или определит его в качестве доверенного лица к какому-нибудь военному поставщику.

Но потом она решила, что для человека с таким характером это неподходящее дело. После минутного размышления она радостно всплеснула руками:

— Остается назначить еще нескольких присяжных заседателей в Революционный трибунал. Присяжный, судья — вот кем должен быть ваш сын! Я знакома с членами Комитета общественного спасения; я знаю Робеспьера-старшего; его брат часто ужинает у меня. Я переговорю с ними. Я попрошу кого следует переговорить с Монтане, с Дюма, с Фукье.

Гражданка Гамлен, взволнованная, преисполненная благодарности, приложила палец к губам: в мастерскую входил Эварист.

Вместе с гражданкой Рошмор он спустился по темной лестнице, деревянные ступени которой, выложенные изразцами, были покрыты слоем давнишней грязи.

На Новом мосту, где солнце, уже клонившееся к закату, удлиняло тень от пьедестала, на котором некогда красовался бронзовый конь и который теперь был расцвечен национальными флагами, группы мужчин и женщин из простонародья прислушивались к речам отдельных граждан, говоривших шепотом. Толпа, подавленная, хранила молчание, порою прерывая его стонами и гневными возгласами. Многие поспешным шагом направлялись на Тионвильскую улицу, бывшую улицу Дофина. Гамлен, подойдя к одной из групп, узнал, что только что убили Марата.

Мало-помалу известие подтвердилось; сообщали подробности: его заколола в ванне женщина, прибывшая нарочно из Кана, чтобы совершить это преступление.

Некоторые предполагали, что ей удалось скрыться, но большинство утверждало, что ее задержали.

Люди толклись, как стадо, покинутое пастухом.

«Нет уже Марата,— думали они,— чувствительного, отзывчивого, доброго Марата, который руководил нами, никогда не ошибался, угадывал всё, смело разоблачал все козни!.. Как быть, что делать? Мы лишились наставника, защитника, друга!» Они знали, откуда нанесен удар и кто направил руку этой женщины.

— Марат убит теми же преступными руками, которые хотят и нас уничтожить,— тяжко вздыхали они.— Его смерть — сигнал к поголовному истреблению всех патриотов.

По-разному передавали подробности этой трагической смерти и последние слова жертвы; расспрашивали об убийце, о которой было известно только то, что это молодая женщина, подосланная изменниками-федералистами. Гражданки в исступлении настаивали на немедленной казни преступницы и, находя смерть на гильотине слишком легкой, требовали для этого изверга бича, колесования, четвертования,— изобретали новые пытки.

Национальные гвардейцы, с шашками наголо, волокли в секцию какого-то человека с решительным выражением лица. Одежда на нем висела клочьями; кровь тонкими струйками стекала по бледным щекам. Его схватили в ту минуту, когда он говорил, что Марат заслужил свою участь, так как сам постоянно призывал к грабежам и убийствам. И с большим трудом страже удалось укрыть его от ярости толпы. На него указывали пальцем, как на сообщника убийцы, ему угрожали смертью.

Гамлен оцепенел от скорби. Скудные слезы сохли у него на воспаленных глазах. К сыновнему горю примешивались патриотическая тревога и любовь к народу, раздиравшие ему сердце.

«После Лепелетье,— думал он,— после Бурдона — Марат!.. Вот он, жребий патриотов: перебитые на Марсовом поле, в Нан-

си, в Париже, они погибнут все». И мысль его обращалась к изменнику Вимпфену, который еще недавно, во главе шестидесятитысячной орды роялистов, шел на Париж, и, если бы под Вернооном ему не преградили дорогу доблестные патриоты, он предал бы огню и мечу героический, многострадальный город.

А сколько еще впереди опасностей, сколько преступных замыслов, сколько измен, которые могла бы предугадать и раскрыть только мудрость и бдительность Марата! Кто, кроме него, мог бы изобличить Кюстина, бездействующего в лагере Цезаря и отказывающегося освободить от блокады Валансьен? Бирона, ничего не предпринимающего в Нижней Вандее, допустившего взятие Сомюра и Нанта? Диллона, предающего родину в Аргоннах?..

Вокруг него с каждой минутой усиливались зловещие вопли:

— Марата нет в живых! Его убили аристократы!

Когда, исполненный скорби, ненависти и любви, он уже направлялся отдать последний долг мученику свободы, старуха крестьянка в шерстяном чепце подошла к нему и спросила, какого это господина Марата убили: не священника ли из Сен-Пьер-де-Керуа?

VIII

Накануне праздника, ясным и тихим вечером, Элоди под руку с Эваристом прогуливалась по полю Федерации. Рабочие спешно заканчивали возведение колонн, статуй, храмов, горы, жертвенника. Гигантские символы — народ в образе Геракла, размахивающего палицей, и Природа, питающая своими неистощимыми сосцами вселенную,— внезапно выросли в столице, находившейся во власти голода и террора, прислушивавшейся, не грохочут ли уже на дороге из Мо австрийские пушки. Вандея смелыми победами возмещала свое поражение под Нантом. Кольцо железа, огня и ненависти смыкалось вокруг великого революционного города. И все же с великолепием властелина обширной империи он принимал депутатов провинциальных собраний, признавших Конституцию. Федерализм был побежден: единая, неделимая Республика одержит верх над всеми врагами.

— Вот здесь,— промолвил Эварист, указывая на площадь, усеянную толпой,— семнадцатого июня девяносто первого года гнусный Байи расстреливал народ у подножия алтаря отечества. Гренадер Пассаван, очевидец этой бойни, вернувшись домой, изорвал на себе мундир и воскликнул: «Я дал клятву умереть

вместе со свободой; ее больше не существует — я умираю!» И пустил себе пулю в лоб.

Но художники и мирные буржуа глазели на приготовления к празднику, и на их лицах можно было прочесть такую же тусклую любовь к жизни, какой была и сама их жизнь: величайшие события, проникая в их сознание, приноравливались к их мерке и становились столь же ничтожными, как и они. Каждая чета шла, держа на руках, волоча за руку или пропустив вперед детей, которые были не красивее своих родителей, не обещали стать счастливее их и должны были дать жизнь другим детям, также обделенным радостью и красотой. Лишь изредка попадалась навстречу рослая, красивая девушка, внушавшая молодым людям дерзкие желания, а старикам — сожаление о прежней, милой их сердцу жизни.

Около Военной школы Эварист обратил внимание Элоди на изображения египетских статуй, исполненные Давидом по римским образцам эпохи Августа. При виде их какой-то напудренный старик, парижанин, воскликнул:

— Можно подумать, что находишься на берегах Нила!

За те три дня, что Элоди не видала своего друга, в «Амуре Живописце» произошли важные события. На гражданина Блеза был сделан донос в Комитет общественной безопасности по обвинению в мошенничестве при поставках в армию. К счастью, у торговца эстампами оказались знакомства в секции: Наблюдательный комитет секции Пик поручился за его благонадежность перед Комитетом общественной безопасности, и Блеза совершенно оправдали.

С волнением рассказав об этом, Элоди прибавила:

— Теперь мы успокоились, но тревоги было достаточно. Отца чуть было не посадили в тюрьму. Еще немного, и я обратилась бы к вам, Эварист, с просьбой похлопотать за отца у ваших влиятельных друзей.

Эварист ничего не ответил. Элоди, однако, не поняла всей значительности его молчания.

Они шли, держась за руки, вдоль крутого берега Сены. Они обменивались нежностями на языке Юлии и Сен-Прё: добрый Жан-Жак предоставил к их услугам все средства расписывать и приукрашать свою любовь.

Городское управление совершило чудо, создав на один день в голодающем городе полное изобилие. На площади Инвалидов, близ реки, раскинулась ярмарка: в лавках продавали колбасу с чесноком, с перцем, печеночную колбасу, окорока, обложенные лавровым листом, нантерские пирожки, пряники, блины, четы-

рехфунтовые хлебы, лимонад и вино. В других ларьках торговали патриотическими песнями, кокардами, трехцветными лентами, кошельками, медными цепочками и иными мелкими украшениями. Остановившись у прилавка скромного ювелира, Эварист выбрал серебряное кольцо с рельефным изображением головы Марата, повязанной платком. Он надел этот перстень на палец Элоди.

В тот же вечер Гамлен отправился на улицу Сухого Дерева к гражданке Рошмор, пригласившей его по важному делу. Она приняла его в спальне, лежа на кушетке, в кокетливом пеньюаре.

Поза гражданки выражала сладострастную томность, а все вокруг говорило о ее прелестях, о ее вкусах и талантах: арфа возле приоткрытого клавесина; гитара на кресле; пяльцы с натянутым для вышивания атласом; на столе — начатая миниатюра, бумага, книги; книжный шкаф, в беспорядке перерытый прелестной ручкой, казалось торопившейся все изведать и перечувствовать.

— Привет вам, гражданин присяжный!..— сказала она, протягивая ему руку для поцелуя.— Сегодня Робеспьер-старший передал мне для вас отлично составленное письмо к председателю Эрману; вот приблизительно его содержание: «Рекомендую вам гражданина Гамлена, своими способностями и патриотизмом заслуживающего, чтобы на него обратили внимание. Считаю долгом указать вам на патриота, чьи принципы и поведение во всем согласуются с революционными идеями. Вы не преминете воспользоваться случаем быть полезным республиканцу...» Я немедленно отвезла письмо Эрману, который принял меня с отменной любезностью и тотчас же подписал приказ о вашем назначении. Это дело решенное.

— Гражданка,— ответил после минутной паузы Гамлен,— хотя мне нечем прокормить даже мать,— клянусь честью, что я принимаю должность присяжного только затем, чтобы служить Республике и отомстить всем ее врагам.

Гражданка нашла благодарность холодной, а поклон сдержанным. Она даже заподозрила Гамлена в невежливости. Но она слишком любила молодых людей, чтобы не простить ему суровости. Гамлен был хорош собою — в ее глазах это было достоинством. «На него можно навести лоск»,— подумала она и пригласила его к себе на ужины: каждый вечер после театра у нее бывали гости.

— Вы встретите у меня умных и талантливых людей:

Эллевью́, Тальма́, гражданина Виже, с поразительной легкостью пишущего стихи на заданные рифмы. Гражданин Франсуа читал нам свою «Памелу», которую теперь репетируют в Народном театре. Ее стиль изящен и чист, как все, что выходит из-под пера гражданина Франсуа. Пьеса трогательная: мы все проливали слезы. Роль Памелы поручена молодой Ланж.

— Вполне полагаюсь на ваше суждение, гражданка,— ответил Гамлен.— Но нахожу, что Народный театр недостаточно народен. Обидно за гражданина Франсуа, что его сочинения выносятся на подмостки, осквернённые жалкими виршами Лейа́: у всех еще на памяти позорный провал «Друга законов»...

— Я не собираюсь заступаться за Лейа́, гражданин Гамлен, он не принадлежит к числу моих друзей.

Вовсе не по доброте сердечной, пустив в ход все свое влияние, добилась гражданка Рошмор назначения Гамлена на завидную должность, которой домогались многие: после всего, что она сделала и при случае еще могла бы сделать для него, она надеялась завоевать его расположение и заручиться поддержкой в суде, с которым рано или поздно ей, возможно, придется иметь дело, ибо она рассылала много писем по Франции и за границу, а такая переписка в то время казалась подозрительной.

— Часто бываете вы в театре, гражданин?

В эту минуту в комнату вошел драгун Анри, превосходящий красотою юного Бафилла. Два огромных пистолета были заткнуты у него за пояс.

Он поцеловал руку очаровательной гражданки.

— Вот,— обратилась к нему она,— гражданин Эварист Гамлен, ради которого я провела целый день в Комитете общественной безопасности, а он и не думает быть мне признательным. Пожурите его.

— Ах, гражданка,— воскликнул драгун,— вы были у наших законодателей в Тюильри! Какое удручающее зрелище! Допустимо ли, чтобы представители свободного народа заседали в чертогах деспотизма? Наши законодатели работают по ночам при свете тех же самых люстр, которые освещали заговоры Капета и оргии Антуанетты! Вся природа содрогается при виде этого!

— Поздравьте, друг мой, гражданина Гамлена,— ответила она,— он назначен присяжным Революционного трибунала.

— Поздравляю, гражданин! — сказал Анри.— Я счастлив видеть человека с твоим характером, облеченного судебной властью. Но, говоря правду, я мало доверяю этой методической юстиции, созданной умеренными элементами Конвента, этой благодушной Немезиде, которая попустительствует заговорщикам,

щадит изменников, не осмеливается нанести решительный удар федералистам и боится призвать к ответу Австриячку. Нет, не Революционный трибунал спасет Республику! Тяжкую вину взяли на свою душу те, кто при нашем отчаянном положении остановил стихийный порыв народного правосудия!

— Анри,— сказала гражданка Рошмор,— дайте-ка мне вон тот флакон...

Вернувшись домой, Гамлен застал мать и старика Бротто за игрой в пикет при свете сальной свечи. Гражданка без тени смущения объявляла «терц с королем».

Узнав, что сын ее назначен присяжным, она пылко обняла его, подумав, что это большая честь для них обоих и что отныне они каждый день будут сыты.

— Я счастлива и горда тем, что я мать присяжного,— сказала она.— Правосудие — прекрасная вещь и самая необходимая на свете: без правосудия слабые терпели бы притеснения на каждом шагу. Я верю, мой Эварист, что из тебя выйдет хороший судья, потому что с малых лет ты во всем был справедлив и мягкосердечен. Ты не мирился с несправедливостью и всегда по мере сил противился насилию. Ты жалел обездоленных, а ведь ничто так не украшает судью, как сострадание... Но скажи мне, Эварист, как вы одеты в этом Трибунале?

Гамлен объяснил, что судьи носят шляпу с черными перьями, но что для присяжных не установлено никакой формы: они заседают в обыкновенном платье.

— Было бы лучше, если бы они носили мантию и парик,— возразила гражданка,— это придавало бы им более внушительный вид. Правда, ты хорош собой, невзирая на то, что часто одеваешься небрежно, и не платье красит тебя, а ты его, но большинству мужчин необходимо принарядиться, если они хотят произвести впечатление; было бы лучше, если бы присяжные облачились в мантию и парик.

Гражданка слышала, что должность присяжного в Трибунале связана с какими-то доходами; она не удержалась и спросила, достаточно ли велики эти доходы, чтобы можно было жить прилично, потому что,— объяснила она,— положение присяжного обязывает.

Она с удовлетворением узнала, что присяжные получают вознаграждение в размере восемнадцати ливров за заседание и что большое количество преступлений против государственной безопасности требует частых заседаний.

Старик Бротто собрал карты и, встав из-за стола, сказал Гамлену:

— На вас возложены высокие и грозные полномочия, гражданин. Поздравляю вас: вы предоставите отныне свою просвещенную совесть на службу Трибуналу, действующему, быть может, более уверенно и непогрешимо, чем всякий иной, ибо он пытается установить сущность добра и зла не самих по себе, а лишь соотносительно с определенными интересами и очевидными чувствами. Вам придется выбирать между ненавистью и любовью, что всегда происходит непосредственно, а не между истиной и заблуждением, распознавание коих недоступно слабому человеческому разуму. Подчиняясь влечениям своего сердца, вы не рискуете ошибиться, так как ваш приговор всегда будет правилен, если только он будет основываться на страстях, являющихся для вас священным законом. Впрочем, если бы я был вашим председателем, я поступал бы всякий раз, как Бридуа: разрешал бы вопрос метанием игорных костей. В деле правосудия это все-таки самый верный способ.

IX

Эварист Гамлен должен был вступить в отправление своих обязанностей 14 сентября, как раз во время реорганизации Трибунала, разделенного отныне на четыре секции с пятнадцатью присяжными в каждой. Тюрьмы были переполнены; общественный обвинитель работал по восемнадцати часов в сутки. Разгрому армий, восстаниям в провинциях, заговорам, происка́м, изменам Конвент противопоставлял террор. Боги жаждали.

Прежде всего новый присяжный отправился засвидетельствовать свое почтение председателю Эрману, который очаровал его кротостью речей и любезным обхождением. Земляк и друг Робеспьера, безоговорочно разделявший его взгляды, он был, повидимому, человеком добродетельным и чувствительным. Он был насквозь проникнут гуманными чувствами, которые слишком долго оставались чуждыми сердцам судей и которые навеки осенили славой имена Дюпати и Беккарии. Он искренне радовался смягчению нравов, в области судебной выразившемуся в отмене пытки и позорных или жестоких казней. Он с удовлетворением думал о том, что смертная казнь, которая некогда так широко применялась и еще недавно служила обычной мерой пресечения даже незначительных проступков, теперь стала более редким явлением и к ней приговаривают лишь за тяжкие преступления.

Со своей стороны, он, как и Робеспьер, охотно отказался бы от нее во всех случаях, когда дело не касается общественной безопасности. Но он счел бы изменой государству не карать смертью преступлений, совершенных против верховной власти народа.

Все его товарищи придерживались такого же образа мыслей; в основе деятельности Революционного трибунала лежала старая монархическая идея государственного блага. Восемь веков абсолютизма наложили печать на этих судей, и они судили врагов свободы, исходя из принципов божественного права.

В тот же день Эварист Гамлен представился общественному обвинителю, гражданину Фукье, который принял его в своем кабинете, где работал вместе с секретарем. Это был человек могучего телосложения, с грубым голосом и кошачьими глазами; его широкое рябое лицо со свинцовым оттенком явно свидетельствовало о вреде, который приносит сидячая, затворническая жизнь людям крепким, созданным для здорового физического труда на вольном воздухе. Папки с делами обступали его со всех сторон, как стены гробницы, но ему, по-видимому, нравилась эта чудовищная груда бумаг, казалось собиравшаяся схоронить его под собою. Говорил он, как должно говорить трудолюбивому, поглощенному исполнением своих обязанностей чиновнику, умственный кругозор которого ограничен интересами службы. От него разило водкой, которую он пил для поддержания сил, но, казалось, она нисколько не влияла на его мозг — столько трезвости было в его суждениях, всегда посредственных.

Жил он в маленькой квартирке в здании суда с молодой женой, подарившей ему двух близнецов. Она, да тетка Анриетта, да служанка Пелажи составляли все его семейство. Со всеми тремя женщинами он был ласков и добр. Словом, это был отличный семьянин и превосходный работник, довольно недалекий и лишенный всякого воображения.

Гамлен не без огорчения заметил, как сильно похожи образом мыслей и манерами теперешние судейские на судейских старого режима. Да они и были ими: Эрман в прежнее время занимал должность помощника прокурора при окружном суде в Артуа; Фукье служил прокурором в Шатле. Они ни в чем не изменились. Но Эварист Гамлен верил, что Революция способна совершенно переродить человека.

Выйдя из здания суда, он прошел через галерею и остановился перед лотками, на которых были искусно расставлены всевозможные предметы. На прилавке, за которым торговала гражданка Тено, он перелистал несколько исторических, поли-

тических и философских сочинений: «Оковы рабства», «Опыт о деспотизме», «Преступления королев». «В добрый час! Это подлинно республиканские произведения»,— подумал он и спросил у продавщицы, покупают ли эти книги. Гражданка Тено покачала головой:

— Идут только песенки да романы.

И, достав из ящика небольшой томик, она показала его Гамлену.

— Вот хорошая книжка.

Гамлен прочитал заглавие: «Монахиня в сорочке».

Перед соседним ларем, принадлежавшим гражданке Сен-Жор, среди флаконов с духами, саше и коробок пудры он увидел Филиппа Демаи: обаятельный и нежный, он уверял прелестную продавщицу в любви, обещал нарисовать ее портрет и просил назначить ему вечером свидание в Тюильрийском саду. Он был красив. Убедительность текла с его уст и сверкала в глазах. Гражданка Сен-Жор молча внимала ему и, почти поддавшись на его уверения, потупляла взор.

Желая поближе познакомиться с грозными обязанностями, которыми отныне он был облечен, вновь назначенный присяжный решил присутствовать на одном из заседаний Трибунала в качестве зрителя. Он поднялся по лестнице, на которой, как в амфитеатре, сидело множество народу, и вошел в старинный зал парижского парламента.

Там была давка: судили какого-то генерала. В ту пору, как говорил старик Бротто, «Конвент, по примеру его величества, короля Великобритании, привлекал к ответственности полководцев побежденных за отсутствием полководцев изменивших, которые находились за пределами досягаемости. И делалось это,— прибавлял Бротто,— вовсе не потому, что побежденный полководец — непременно преступник; ведь в каждом сражении одна сторона всегда оказывается побежденной. Но нет лучшего средства поднять воинский дух полководцев, как приговорить к смерти одного из них...»

Уже немало этих легкомысленных упрямцев, с птичьими мозгами в бычьих черепах, перебывало к тому времени на скамье подсудимых. Тот, что сидел на ней сегодня, разбирался в осадах и сражениях, которые он вел, не больше, чем допрашивавшие его судьи: и обвинение и защита путались в численном составе войск, боевых заданиях, снаряжении, маршах и контрмаршах. А толпе граждан, следившей, ничего не понимая,

за бесконечными прениями, мерещилась за спиной этого тупицы-военного родина, открытая вторжению неприятеля, раздираемая на части, истекающая кровью; взглядами и возгласами зрители понуждали присяжных, спокойно сидевших на скамье, обрушить приговор, как тяжкую палицу, на врагов Республики.

Эварист всем своим существом сознавал: в лице этого ничтожного человека следует нанести удар двум страшным чудовищам, терзавшим отечество,— мятежу и поражению. Стоило, в самом деле, выяснять, виновен или не виновен этот военный! Когда Вандея опять подымала голову, когда Тулон сдавался неприятелю, когда Рейнская армия отступала перед майнцскими победителями, когда Северная армия, стянутая к лагерю Цезаря, могла в результате стремительного натиска врага оказаться в плену у имперских войск, англичан и голландцев, уже завладевших Валансьеном,— только одно было важно: научить генералов побеждать или умирать. При виде этого немощного и слабоумного солдафона, запутавшегося на суде в своих картах так же, как он растерялся там, в равнинах севера, Гамлен, чтобы не крикнуть вместе со всеми «Смерть ему!», поспешно вышел из зала.

На собрании секции председатель ее, Оливье, поздравил Гамлена с назначением, заставил нового присяжного поклясться на бывшем алтаре варнавитов, превращенном в алтарь отечества, что он заглушит в своей душе, во имя священного человечества, все человеческие слабости.

Гамлен, подняв руку, призвал в свидетели своей клятвы великую тень Марата, мученика Свободы, бюст которого недавно водрузили у подножия одной из колонн бывшей церкви, напротив бюста Лепелетье.

Раздались аплодисменты, но послышался и ропот. Собрание было бурное. У входа горланила группа секционеров, вооруженных пиками.

— Это совсем не по-республикански,— заметил председатель,— являться вооруженным на собрание свободных людей.

И приказал немедленно сложить ружья и пики в бывшей ризнице.

Горбун с живыми глазами и выпяченными губами, гражданин Бовизаж, член Наблюдательного комитета, поднялся на кафедру, превращенную в трибуну и увенчанную красным колпаком.

— Генералы нам изменяют и предают наши армии неприятелю,— сказал он.— Имперские войска совершают кавалерий-

ские рейды до Перона и Сен-Кантена. Тулон сдан англичанам, которые высадили там четырнадцать тысяч человек. Враги Республики злоумышляют в лоне самого Конвента. В столице не оберешься заговоров, направленных к освобождению Австриячки. В настоящую минуту носятся слухи, что сын Капета, бежавший из Тампля, торжественно доставлен в Сен-Клу; для него хотят восстановить престол тирана. Вздорожание съестных припасов, обесценение ассигнаций — все это результаты происков иностранных агентов в сердце нашей страны, и все это происходит у нас на глазах. Во имя общественного спасения я требую от гражданина присяжного быть беспощадным к заговорщикам и предателям.

Когда он спускался с трибуны, в собрании раздались возгласы: «Долой Революционный трибунал! Долой умеренных!»

На трибуну взошел жирный, румяный гражданин Дюпон-старший, столяр с Тионвильской площади; он заявил, что желает обратиться с вопросом к гражданину присяжному. И он осведомился у Гамлена, как тот намерен повести себя в деле бриссотинцев и вдовы Капета.

Эварист был робок и не умел говорить публично. Но негодование вдохновило его. Он поднялся, бледный, и произнес глухим голосом:

— Я — судья. Я прислушиваюсь только к голосу своей совести. Всякое обещание, которое я дам вам, будет противно моему долгу. Я обязан говорить в Трибунале и хранить молчание вне его. Я вас не знаю больше. Я — судья: я не знаю ни друзей, ни врагов.

Собрание, как и все собрания, разношерстное, нерешительное и непостоянное, наградило его рукоплесканиями. Но гражданин Дюпон-старший не унимался: он не мог простить Гамлену, что тот занял должность, на которую он сам зарился.

— Я понимаю и даже одобряю щепетильность гражданина присяжного,— сказал он.— Говорят, он патриот,— пускай же сам подумает, позволяет ли ему совесть заседать в Трибунале, учрежденном для уничтожения врагов Республики, в действительности же решившем их щадить. Есть дела, от участия в которых добропорядочный гражданин обязан воздерживаться. Разве не доказано, что несколько присяжных этого Трибунала были подкуплены золотом обвиняемых и что председатель Монтане совершил подлог, чтобы спасти голову девицы Корде?

При этих словах зал разразился громом аплодисментов. Последние их всплески еще оглашали своды, когда на трибуну под-

нялся Фортюне Трюбер. За последние месяцы он очень похудел. На бледном лице резко выделялись красные скулы; веки у него были воспалены, а глаза казались стеклянными.

— Граждане,— начал он слабым, немного задыхающимся, но глубоко проникновенным голосом,— нельзя подозревать Революционный трибунал, не подозревая в то же время Конвента и Комитета общественного спасения, учредивших его. Гражданин Дюпон поселил в наших сердцах тревогу, указав на председателя Монтане, который прибегнул к подлогу в интересах подсудимого. Почему же он не прибавил для нашего успокоения, что, по донесению общественного обвинителя, Монтане отрешили от должности и посадили в тюрьму?.. Разве нельзя заботиться об общественном спасении, не сея повсюду подозрений? Разве Конвент уже окончательно оскудел талантами и добродетелями? Неужели Робеспьер, Кутон, Сен-Жюст не честные люди? Странно, что самые неистовые речи произносят люди, которые, как всем известно, не сражались за Республику. Можно подумать, что, говоря так, они задались целью вызвать к ней всеобщую ненависть! Граждане, поменьше шума и побольше дела! Францию спасут не крики, а пушки. Половина погребов в нашей секции еще не обыскана. У многих граждан до сих пор находится значительное количество бронзы. Напоминаем богачам, что патриотические пожертвования — лучшая для них гарантия. Поручаю вашей щедрости дочерей и жен наших солдат, покрывающих себя славой на границе и на Луаре. Один из них, гусар Помье (Огюстен), служивший раньше помощником кладовщика на Иерусалимской улице, десятого числа истекшего месяца был атакован неподалеку от лагеря Конде в то время, когда вел коней на водопой, шестью австрийскими кавалеристами; он убил двух, а остальных захватил в плен. Прошу секцию объявить, что Помье (Огюстен) исполнил свой долг.

Речь вызвала аплодисменты, и собрание разошлось при криках: «Да здравствует Республика!»

Оставшись в церкви вдвоем с Трюбером, Гамлен пожал ему руку:

— Благодарю тебя. Как ты поживаешь?

— Превосходно, превосходно! — ответил Трюбер, харкая кровью в носовой платок.— У Республики много врагов, внешних и внутренних. В нашей секции их тоже немало. Не криками, а железом и законами создаются государства... До свиданья, Гамлен: мне надо отослать несколько писем.

И он ушел в бывшую ризницу, прижимая ко рту платок.

Гражданка Гамлен, отныне крепче прицеплявшая кокарду к чепцу, день ото дня приобретала все бóльшую буржуазную степенность, республиканскую гордость и достойную осанку, приличествующую матери гражданина присяжного. Уважение к правосудию, в котором она была воспитана, восхищение, которое с детства ей внушали судейские платье и мантия, священный трепет, всегда овладевавший ею при виде людей, которым сам бог уступил на земле свое право казнить и миловать,— все эти чувства вызывали теперь у нее благоговейное преклонение перед сыном, которого она до последнего времени считала чуть ли не ребенком. По простоте душевной она верила в преемственность судебной власти, невзирая на Революцию, столь же твердо, как законодатели Конвента верили в преемственность государственной власти, несмотря на смену политического строя, и Революционный трибунал в ее глазах был окружен тем же ореолом величия, что и прежние судебные установления, которые она привыкла глубоко чтить.

Гражданин Бротто выказывал вновь назначенному присяжному интерес, смешанный с удивлением и вынужденным уважением. Подобно гражданке Гамлен, он считал, что судебная власть остается непрерывной, вопреки смене политического строя; но, в противоположность этой даме, он презирал революционные трибуналы так же, как и суды старого режима. Не осмеливаясь открыто высказывать свою мысль и не чувствуя себя в силах молчать, он пускался в парадоксы, которые Гамлен понимал ровно настолько, чтобы заподозрить собеседника в неблагонадежности.

— Высокий Трибунал, в заседаниях которого вы скоро примете участие,— сказал Бротто ему однажды,— учрежден французским сенатом для спасения Республики, и, бесспорно, нашим законодателям пришла в голову благая мысль — дать судей своим врагам. Я сознаю все великодушие такого образа действий, но не нахожу его дальновидным. По-моему, было бы благоразумнее расправляться с наиболее непримиримыми противниками негласно, а остальных привлекать на свою сторону путем подкупа или обещаний. Всякий суд разит медленно и не столько поражает преступника, сколько устрашает его: он прежде всего преследует показательную цель. Недостаток вашего суда заключается в том, что он примиряет друг с другом всех, кому он может внушить ужас, благодаря чему из хаоса противоположных интересов и страстей он сам создает могущественную партию, способную действовать сплоченно и решительно. Вы сеете страх, но страх в большей мере, чем мужество, порождает героев; же-

лаю вам, гражданин Гамлен, чтобы в будущем подвиги, воодушевленные страхом, не ударили бы по вас самих!

Гравер Демаи, влюбленный на этой неделе в некую девицу из Пале-Эгалите, брюнетку огромного роста, Флору, все-таки улучил минуту, чтобы поздравить товарища и сказать ему, что его назначение на столь высокий пост весьма почетно для искусства.

Даже Элоди, относившаяся с безотчетным отвращением ко всему связанному с Революцией и видевшая в общественной деятельности самую опасную соперницу, которая может завладеть сердцем ее возлюбленного,— даже нежная Элоди сознавала превосходство над собою человека, призванного быть судьею в важнейших делах. Кроме того, назначение Эвариста присяжным имело еще одно счастливое последствие, которому чувствительная девушка искренне обрадовалась: гражданин Жан Блез явился в мастерскую на Тионвильской площади и в порыве мужественной нежности крепко обнял нового присяжного.

Как все контрреволюционеры, он питал уважение к республиканским властям, а с тех пор как его обвинили в мошенничестве при поставках в армию, Революционный трибунал внушал ему почтительный страх. Он считал себя лицом слишком заметным и вел слишком много дел, чтобы наслаждаться полным спокойствием; гражданин Гамлен представлялся ему человеком, за которым стоило поухаживать. В конце концов он, Блез, был благонамеренный гражданин, сторонник законности.

Он протянул руку художнику-судье, выказал себя искренним патриотом, поклонником искусств и свободы. Гамлен великодушно пожал протянутую ему от всего сердца руку.

— Гражданин Эварист Гамлен,— сказал Жан Блез,— я обращаюсь к вашим дружеским чувствам и к вашим талантам. Поедемте завтра на два дня в деревню: вы порисуете, и мы поболтаем на свободе.

Несколько раз в течение года торговец эстампами предпринимал загородную прогулку на два-три дня в обществе художников, зарисовывавших по его указаниям пейзажи и руины. Схватывая на лету все, что могло понравиться публике, он привозил из этих поездок наброски, которые потом заканчивались в мастерской, искусно гравировались и превращались в одноцветные или многоцветные эстампы, приносившие ему немалый доход. По этим же наброскам он заказывал карнизы для дверей и трюмо, которые имели успех у покупателей не меньший, а иногда и больший, чем декоративные произведения Юбера Робера.

В этот раз он хотел взять с собой гражданина Гамлена, чтобы тот сделал несколько эскизов с натуры: настолько звание присяжного подняло в его глазах Эвариста как художника. Кроме Гамлена, в прогулке принимали участие еще гравер Демаи, отличный рисовальщик, и никому не известный Филипп Дюбуа, превосходно работавший в жанре Робера. Как всегда, художников сопровождала гражданка Элоди с подругою, гражданкой Азар. Жан Блез, умевший сочетать приятное с полезным, пригласил также гражданку Тевенен, актрису «Водевиля», с которой, по слухам, он был в близких отношениях.

X

В субботу, в семь часов утра, гражданин Блез, в черной шляпе с загнутыми кверху углами, в пунцовом жилете, лосинах и желтых ботфортах с отворотами, постучал ручкой хлыста в дверь мастерской. Гражданка Гамлен мирно беседовала в это время с гражданином Бротто, между тем как Эварист завязывал перед осколком зеркала высокий белый галстук.

— Счастливого пути, господин Блез! — сказала гражданка.— Но раз вы отправляетесь рисовать, возьмите с собой и господина Бротто: ведь он тоже художник.

— Что ж, гражданин Бротто, едемте с нами,— ответил Жан Блез.

Убедившись, что он не будет в тягость, Бротто — человек общительный и любитель всяких развлечений — охотно согласился.

Гражданка Элоди поднялась на пятый этаж, чтобы поцеловать гражданку Гамлен, которую она называла своей маменькой. Она была одета во все белое и благоухала лавандой.

Старый дорожный берлин с опущенным верхом, запряженный парой лошадей, ожидал на площади. На задней скамейке сидела Роза Тевенен с Жюльеной Азар. Элоди предложила актрисе сесть с правой стороны, сама села с левой, а худощавую Жюльену поместили между ними. Бротто устроился на передней скамейке, против гражданки Тевенен, Филипп Дюбуа — против гражданки Азар, Эварист — против Элоди. Что же касается Филиппа Демаи, его атлетический торс красовался на козлах, по левую руку от возницы, которого он поражал россказнями о том, что есть в Америке местность, где на деревьях растут колбасы.

Гражданин Блез, превосходный наездник, ехал верхом и, не желая глотать пыль, поднятую берлином, скакал впереди.

По мере того как берлин катил по мостовой предместья, путники забывали о своих заботах; при виде полей, деревьев, неба мысли их становились радостными и приятными. Элоди думала, что могла бы прожить всю жизнь с Эваристом на лоне природы, на берегу реки, близ лесной опушки; она разводила бы кур, а он был бы мировым судьею где-нибудь в деревне. Придорожные вязы убегали от них. При въезде в селения наперерез экипажу с лаем устремлялись дворняжки, кидаясь под ноги лошадям, меж тем как рослый спаниель, разлегшийся поперек дороги, с сожалением подымался с места; куры разлетались во всех направлениях и, спасаясь, перебегали дорогу; гуси, сбившись в кучу, удалялись неспешно. Чумазые дети глазели на берлин. Утро выдалось жаркое, на небе — ни облака. Потрескавшаяся почва жаждала дождя. Они вышли из экипажа у Вильжюифа. Когда они проходили через селенье, Демаи зашел к фруктовщице купить вишен, чтобы угостить гражданок, которым хотелось пить. Торговка оказалась смазливой; Демаи пропал надолго. Филипп Дюбуа окликнул его по прозвищу:

— Эй! Барбару!.. Барбару!

Этим прозвищем его обычно звали приятели.

Услыхав ненавистное имя, прохожие насторожились; во всех окнах появились лица. Когда же санкюлоты увидели выходящего от фруктовщицы красивого молодого человека, в распахнутом жилете, с развевающимся на атлетической груди жабо, с корзиной вишен на плече и с фраком на кончике трости, они приняли художника за объявленного вне закона жирондиста, бесцеремонно схватили его и, не обращая внимания на его негодующие протесты, наверное отвели бы в мэрию, если бы старик Бротто, Гамлен и все три женщины не подтвердили согласно, что задержанного гражданина зовут Филипп Демаи, что он гравер и истый якобинец. И все-таки заподозренному пришлось предъявить удостоверение о благонадежности, которое оказалось при нем совершенно случайно, ибо в делах такого рода он отличался крайней беззаботностью. Только этой ценой удалось ему вырваться из рук деревенских патриотов, поплатившись пустяком — разорванной кружевной манжетой. Национальные гвардейцы, от которых ему досталось больше, чем от прочих, даже извинялись перед ним: теперь они предлагали торжественно отнести его на руках в мэрию.

Получив свободу, окруженный гражданками Элоди, Розой, Жюльеной, Демаи с горькой усмешкой посмотрел сверху вниз на

Филиппа Дюбуа, которого он недолюбливал и подозревал в вероломстве.

— Дюбуа,— сказал он,— если ты еще раз назовешь меня Барбару, я буду звать тебя Бриссо; это толстый, смешной человечек, с жирными волосами, лоснящейся кожей и липкими руками. Никто не усомнится, что именно ты гнусный Бриссо, враг народа, и республиканцы, охваченные при виде тебя ужасом и отвращением, повесят тебя на первом же фонаре... Понял?

Гражданин Блез, приведший свою лошадь с водопоя, уверял, будто это он уладил все дело, хотя всем казалось, что оно уладилось без него.

Сели опять в экипаж. Дорогою Демаи сообщил вознице, что некогда на равнину Лонжюмо, которую они проезжали, свалилось несколько обитателей Луны и что формой тела и цветом кожи они походили на лягушек, но ростом были значительно выше. Филипп Дюбуа и Гамлен беседовали об искусстве. Дюбуа, ученик Реньо, побывал в Риме. Он видел там фрески Рафаэля и ставил их выше всех шедевров живописи. Его восхищали колорит Корреджо, изобретательность Аннибала Карраччи, рисунок Доменикино, но он не находил ничего, что могло бы сравниться по стилю с картинами Помпео Баттони. В Риме он посещал господина Менажо и госпожу Лебрен, но так как оба они относились к Революции враждебно, то он не упомянул о них. Зато он расхваливал Анжелику Кауфман за ее изящный вкус и знание античности.

Гамлен с сожалением говорил о том, что вслед за расцветом французской живописи — запоздалым, ибо он начался только с Лесюэра, Клода и Пуссена и соответствует по времени упадку итальянской и фламандской школ,— последовало такое стремительное и глубокое падение. Он считал причиной этого общественные нравы и Академию, бывшую, так сказать, их зеркалом. Но Академию, к счастью, упразднили, и теперь Давид и его ученики на основе новых принципов создают искусство, достойное свободного народа. Среди молодых художников Гамлен без малейшей зависти ставил на первое место Энекена и Топино-Лебрена. Филипп Дюбуа предпочитал Давиду своего учителя Реньо, а в юном Жераре видел надежду современной живописи.

Элоди восхищалась красным бархатным током и белым платьем гражданки Тевенен. Актриса, в свою очередь, хвалила туалеты своих спутниц и давала им советы, как одеваться еще лучше: для этого, по ее мнению, следует отказаться от всяких отделок.

— Простота — вот к чему надо постоянно стремиться,— говорила она.— Мы учимся этому на сцене, где платье должно не скрывать, а подчеркивать каждое движение. В этом вся красота наряда, и другой красоты ему не нужно.

— Вы совершенно правы, душенька,— отвечала Элоди.— Но ничто не обходится так дорого, как простота. Не всегда мы только по отсутствию вкуса всячески украшаем свой туалет отделкой: иногда мы поступаем так из соображений экономии.

Они с оживлением заговорили об осенних модах: совершенно гладких платьях с короткой талией.

— Сколько женщин уродуют себя, подчиняясь моде! — заметила гражданка Тевенен.— Следует считаться прежде всего с собственной фигурой.

— Красивы только ткани, набрасываемые на фигуру целыми и драпирующиеся затем складками,— вмешался Гамлен.— Все, что скроено и сшито,— ужасно.

Эти мысли, более уместные в книге Винкельмана, чем в устах человека, обращающегося к парижанкам, встретили равнодушно-пренебрежительный отпор.

— Зимою будут носить ватные пальто под лапландские, из флоранса и из сицилиена и казакины с отрезной талией, застегивающиеся, на турецкий манер, жилетом,— сказала Элоди.

— Все это жалкие ухищрения тех, кто не имеет возможности хорошо одеваться,— возразила актриса.— Это продается в лавках готового платья. У меня есть портниха, работающая на дому; у нее золотые руки, и берет она совсем недорого; я вам пришлю ее, милочка.

И полились слова, легкие, торопливые; перебирались, обсуждались тонкие ткани, полосатый флоранс, гладкая тафта, сицилиен, газ, нанка.

А старик Бротто, прислушиваясь к их разговору, со сладостной меланхолией думал об этих легких, прихотливо сменяющих одна другую тканях, облекающих очаровательные, недолговечные формы, беспрестанно возрождающиеся, как цветы в полях. И его взор, переходя с трех молодых женщин на васильки и маки, росшие вдоль дороги, увлажнялся слезами светлой грусти.

Около десяти часов они приехали в Оранжи и остановились в харчевне «Колокол», где супруги Пуатрин давали приют и пешим и конным. Гражданин Блез, уже успевший почиститься и помыться, помог гражданкам выйти из экипажа. Обед заказали к полудню, после чего все двинулись пешком, предшествуемые деревенским мальчуганом, который нес ящики с красками,

папки, мольберты и зонтики, прямо полем, к месту слияния Оржа и Иветты, в тот очаровательный уголок, откуда открывается вид на зеленеющую равнину Лонжюмо, окаймленную Сеной и лесом святой Женевьевы.

Жан Блез, взявший на себя роль проводника, вступил с бывшим финансистом в шутливый разговор, в котором прихотливо мелькали имена Вербоке Великодушного, разносчицы Катерины Кюиссо, девиц Шодрон, кудесника Галише и более современные персонажи — Каде-Руссель и мадам Анго.

При виде жнецов, вязавших снопы, Эварист, охваченный внезапным влечением к природе, почувствовал, что на глаза ему навертываются слезы; мечты о всеобщей любви и согласии переполнили его сердце. Демаи сдувал гражданкам на волосы крылатые семена одуванчиков. Как большинству горожанок, им нравились букеты, и они принялись собирать медвежьи ушки, цветы которых расположены колосьями вокруг стебля, нежно-лиловые колокольчики, хрупкие веточки душистой вербены, бузину, мяту, желтяницу, тысячелистник — словом, всю полевую флору позднего лета. Жан-Жак ввел ботанику в моду среди городских девиц, поэтому все три знали название и любовное значение каждого цветка. Когда нежные, истомленные засухой венчики осыпались в руках Элоди и дождем падали к ее ногам, она вздыхала:

— Ах, цветы уже увядают!

Все взялись за работу, стараясь изобразить природу так, как она им представлялась; но каждый воспринимал ее сквозь призму творчества того или иного мастера. Филипп Дюбуа живо набросал в жанре Юбера Робера покинутую ферму, срубленные деревья, высохший ручей. Эварист Гамлен находил на берегах Иветты пейзажи Пуссена. Филипп Демаи, облюбовав голубятню, трактовал сюжет в шутливой манере Калло и Дюплесси. Старик Бротто, считавший, что подражает фламандцам, тщательно зарисовывал корову. Элоди набрасывала хижину, а ее подруга Жюльена, дочь торговца красками, подбирала для нее краски. Ребятишки, обступив ее, смотрели, как она пишет. Когда они слишком заслоняли ей свет, она отстраняла их, называла мошкарой и угощала леденцами. А гражданка Тевенен, выискивая среди детей хорошеньких, умывала их, целовала, втыкала им в волосы цветы. Она ласкала их с меланхолической нежностью потому, что ей не было дано испытать радости материнства, а еще для того, чтобы приукрасить себя выражением нежного чувства, равно как поупражняться в искусстве поз и группировок.

Одна она не рисовала, не писала красками. Занята она была разучиванием роли, а еще более тем, чтобы понравиться окружающим. С тетрадкой в руке, она переходила от одного к другому, воздушная, очаровательная. «Ни цвета лица, ни форм, ни фигуры, ни голоса»,— говорили про нее женщины, а между тем она наполняла пространство движением, красками, гармонией. Увядшая, миловидная, усталая, неутомимая, она была украшением и отрадой всего общества. Капризная, но всегда веселая, обидчивая, вспыльчивая, но вместе с тем доброжелательная и уживчивая, острая на язык, но тем не менее изысканно-вежливая, тщеславная, скромная, правдивая, фальшивая, обворожительная, Роза Тевенен, обладая всеми этими качествами, все же не преуспевала в жизни и не стала богиней; но объяснялось это лишь жестокими временами, когда в Париже уже не находилось ни алтарей, ни фимиама для Граций. Даже гражданка Блез, говорившая о ней с гримаской и называвшая ее «мачехой», и та не могла не поддаться ее обаянию.

В театре Фейдо репетировали «Визитандинок», и Роза радовалась, что ей придется играть роль, в которой главное — естественность. Она стремилась к естественности, добивалась и находила ее.

— Значит, мы уже не увидим «Памелы»? — спросил красавец Демаи.

Народный театр закрыли, а актеров и актрис посадили в Исправительный дом и в тюрьму Пелажи.

— И это называется свободой! — с негодованием воскликнула Роза Тевенен, поднимая к небу свои прекрасные голубые глаза.

— Актеры Народного театра — аристократы,— заметил Гамлен,— а пьеса гражданина Франсуа стремится вызвать у зрителей сожаление о привилегиях, утраченных дворянством.

— Неужели, господа, вы согласны слушать только тех, кто вам льстит? — возмутилась Роза Тевенен.

К полудню все проголодались и решили вернуться в харчевню.

Эварист, идя рядом с Элоди, напоминал ей, улыбаясь, их первые встречи:

— Два птенчика упали из гнезда под крышей на ваш подоконник. Вы вскормили их; один выжил и улетел. Другой умер в гнездышке из ваты, которое вы ему устроили. «Этого я особенно любила»,— сказали вы. В тот день, Элоди, у вас в волосах был красный бант.

Филипп Дюбуа и Бротто, немного отстав, разговаривали о

Риме, где они оба побывали — один в семьдесят втором году, другой — в последние дни существования Академии. И старик Бротто вспомнил княгиню Мондрагоне, которой он охотно бы объяснился в любви, не будь тут графа Альтиери, всюду следовавшего за ней, как тень. Филипп Дюбуа не упустил случая упомянуть, что его пригласил к себе на обед кардинал де Берни, который оказался весьма гостеприимным хозяином.

— Я знавал его,— заметил Бротто,— и могу сказать без хвастовства, что некоторое время был с ним очень близок: ему нравилось общаться со всяким сбродом. Это был очень любезный человек, и, хотя он любил рассказывать небылицы, в одном его мизинце было больше здравого смысла, чем в головах всех ваших якобинцев, которые стремятся во что бы то ни стало начинить нас добродетелью и религиозностью. Разумеется, я предпочитаю наших бесхитростных «богоедов», не понимающих ни того, что говорят, ни того, что делают, этим невеждам, одержимым манией законодательства, которые прилежно гильотинируют нам головы, стремясь таким способом превратить нас в добродетельных мудрецов и заставить поклоняться Верховному существу, создавшему их по своему образу и подобию. В былые времена у меня в часовне дез Илетт служил обедню бедняга священник, который говаривал после выпивки: «Не будем осуждать грешников: ведь мы, недостойные пастыри, только благодаря им и кормимся». Согласитесь, сударь, что у этого присяжного молебщика были здравые понятия о власти. Этого следовало бы держаться и управлять людьми такими, каковы они есть, а не такими, какими мы желаем, чтобы они были.

К старику Бротто подошла Роза Тевенен. Она знала, что этот человек жил когда-то очень широко, и в ее воображении блестящее прошлое бывшего финансиста заслоняло его теперешнюю нищету, которая казалась ей менее унизительной, ибо была вызвана общим разорением и коснулась всех. С любопытством, не лишенным уважения, присматривалась она к нему, как к живому обломку того поколения щедрых Крезов, которых, вздыхая, прославляли актрисы прежних лет. Кроме того, ей нравились манеры этого старика в поношенном, но столь опрятном коричневом сюртуке.

— Господин Бротто,— обратилась она к нему,— всем известно, что некогда в прекрасном парке, среди озаренной иллюминацией ночи, под звуки флейт и скрипок, доносившихся издалека, вы прогуливались в миртовых рощах с актрисами и танцовщицами... Увы! Не правда ли, ваши богини из Оперы и Французской Комедии были красивее нас, скромных народных актрис?

— Вы ошибаетесь, сударыня, — ответил Бротто. — Знайте, если бы в то время встретилась мне особа, подобная вам, то она одна — пожелай только она этого — прогуливалась бы без всяких соперниц полновластной госпожою в парке, о котором вам было угодно составить себе столь лестное представление...

Харчевня «Колокол» имела вполне деревенский вид. Над воротами, которые вели во двор, где в никогда не высыхавшей грязи копались куры, висела ветка остролиста. В конце двора стоял двухэтажный домик, увенчанный черепичной крышей, поросшей мхом, и весь утопавший в огромных кустах цветущих роз. Справа из-за низкой садовой ограды торчали остроконечные верхушки малорослых фруктовых деревьев. Налево находилась конюшня с приделанной снаружи решеткой для сена и рига с дощатыми переборками. К стене была прислонена деревянная лесенка. Там же, под навесом, где были свалены сельскохозяйственные орудия и выкорчеванные пни, с высоты старой одноколки белый петух наблюдал за курами. Двор с этой стороны замыкался хлевом, перед которым гордым могильным курганом возвышалась куча навоза; молодая крестьянка с волосами цвета соломы, невероятно раздавшаяся в ширину, перебрасывала его вилами. Ее деревянные башмаки, надетые на босу ногу, были полны навозной жижей, и время от времени из них вылезали пятки, желтые, как шафран. Из-под подоткнутой юбки виднелись грязные икры, толстые и низкие. Филипп Демаи, удивленный и заинтересованный странной игрою природы, предоставившей этой девушке расти не вверх, а вширь, загляделся на нее. В эту минуту хозяин крикнул:

— Эй, Колода! Сходи-ка за водой!

Она обернулась. У нее было пунцовое лицо и широкий рот, в котором недоставало одного резца. Нужен был по меньшей мере бычий рог, чтобы проделать брешь в этих могучих зубах. Держа вилы на плече, она улыбалась. Ее руки, обнаженные выше локтя и похожие на ляжки, блестели на солнце.

Стол был накрыт в низкой комнате, где под кожухом очага, украшенного старинными ружьями, дожаривались куры. Выбеленная комната имела в длину футов двадцать с лишним; свет проникал только через зеленоватые стекла двери да через единственное, окаймленное розами, окошко, у которого за прялкой сидела старуха бабка. На ней был чепец и кружевной убор времен Регентства. Узловатые, землистого цвета пальцы держали кудель. Мухи садились ей на края век, и она не сгоняла их. Ребенком, на руках у матери, она видела Людовика XIV, проезжавшего в карете.

Шестьдесят лет назад она побывала в Париже. Слабым, певучим голосом рассказывала она трем молодым женщинам, стоявшим перед нею, что она видела ратушу, Тюильри, здание водокачки «Самаритянка» и что, когда она проходила по Королевскому мосту, внизу, на барке, груженной яблоками и направлявшейся на Майльский рынок, открылась брешь, яблоки упали в воду и вся река окрасилась в пурпурный цвет.

Она была осведомлена о переменах, происшедших в королевстве, и особенно — о распре между священниками, принесшими присягу и отказавшимися присягать. Слышала она также про войну, про голод, про небесные знамения. Ей никак не верилось, что короля казнили. Ему помогли бежать подземным ходом, утверждала она, а вместо него палачу выдали какого-то простолюдина.

У ног старухи, в плетеной корзинке, лежал грудной младенец Жанно, самый младший член семьи Пуатрин; у него прорезывались зубы. Роза Тевенен подняла ивовую колыбель и улыбнулась ребенку; он слабо застонал, истощенный жаром и судорогами. Должно быть, он был очень болен, так как к нему вызвали лекаря; правда, гражданин Пельпор, запасной депутат Конвента, не брал платы за посещения.

Гражданка Тевенен, на все руки мастерица, везде чувствовала себя как дома. Недовольная тем, как Колода вымыла посуду, она принялась перетирать тарелки, стаканы и вилки. Покуда гражданка Пуатрин варила суп, то и дело, как хорошая хозяйка, пробуя его, Элоди разрезала на ломти еще горячий, только что вынутый из печи четырехфунтовый хлеб. Гамлен, увидев ее за этим занятием, сказал ей:

— На днях я прочитал в отличном французском переводе книгу, написанную молодым немцем,— имя его я забыл. Там изображена прелестная девушка, по имени Шарлотта, которая, так же как и вы, Элоди, разрезает на ломти хлеб и, подобно вам, делает это так грациозно и мило, что, застав ее за этим занятием, в нее влюбляется юный Вертер.

— И дело кончается женитьбой? — спросила Элоди.

— Нет,— ответил Эварист,— кончается самоубийством Вертера.

Все проголодались и ели с аппетитом. Но обед был очень скромным. Жан Блез остался недоволен: он был лакомка и привык к изысканному столу, а общий голод побудил его возвести чревоугодие в систему. Ветром Революции в каждом доме загасило плиту. У большинства граждан не было ни крошки хлеба. Ловкие люди, вроде Жана Блеза, нагревавшие руки на народном

бедствии, шли к ресторатору, где и проявляли свою сущность, обжираясь до отвала. Что же касается Бротто, который на втором году Свободы питался каштанами да сухарями, он утешался воспоминаниями об ужинах у Гримо де ла Реньера, при въезде в Елисейские поля. Желая блеснуть своими гастрономическими познаниями, он, сидя перед тушенной в сале капустой, изготовленной тетушкой Пуатрин, сыпал замысловатыми кулинарными рецептами и тонкими замечаниями по поводу разных кушаний. Когда же Гамлен заявил, что республиканец относится с презрением к чревоугодию, старый откупщик, знаток древности, сообщил молодому спартанцу точный способ приготовления черной похлебки.

После обеда Жан Блез, никогда не забывавший о деле, заставил свою бродячую академию заняться набросками с харчевни, которая в своем запустении казалась ему довольно романтичной. Когда Филипп Демаи и Филипп Дюбуа зарисовывали хлев, явилась Колода задать корму свиньям. Гражданин Пельпор, врач, выйдя из дому, где он только что осмотрел наследника Пуатринов, подошел к художникам и, наговорив любезностей по поводу их талантов, которыми, по его словам, могла гордиться вся нация, обратил их внимание на Колоду, возившуюся со свиньями.

— Взгляните на это создание,— сказал он.— Это не одна девушка, как можно предположить, а целых две. Поймите, я говорю буквально. Я был так поражен невероятными размерами ее костяка, что исследовал ее и убедился, что большинство костей у нее в двойном количестве; в каждой ляжке — две сросшиеся берцовые кости; в каждом плече — две плечевые. Мускулы у нее тоже в двойном количестве. По-моему, это два близнеца, теснейшим образом спаянные друг с другом или, вернее, слитые воедино. Случай интересный. Я сообщил о нем господину Сент-Илеру, и он был мне очень признателен. Перед вами, граждане, урод. Хозяева зовут ее Колодой. По-настоящему следовало бы называть ее Колодами: их две, а не одна. Да, в природе бывают всякие странности... Добрый вечер, граждане художники! К ночи надо ждать грозы...

Поужинав при свечах, академия Блеза затеяла во дворе харчевни, вместе с сыном и дочерью Пуатринов, игру в жмурки, в которой молодежь проявила живость, в достаточной мере объяснимую ее возрастом, чтобы не искать причины этого веселья в жестоких временах и общей неуверенности в завтрашнем дне. Когда совершенно стемнело, Жан Блез подал мысль поиграть в фанты в обеденной зале. Элоди предложила «охоту

за сердцем», и все согласились с нею. По указанию девушки, Филипп Демаи начертил мелом на мебели, на дверях и на стенах семь сердец, то есть одним меньше числа играющих, причем и старик Бротто любезно согласился принять участие в игре. Завели хоровод, распевая «Ла-Тур, берегись», и, по знаку Элоди, поспешили схватиться рукой за выведенное мелом сердце. Гамлен, рассеянный и неловкий, опоздал: все сердца уже были заняты. Он дал фант: перочинный ножик, купленный за шесть су на Сен-Жерменской ярмарке, тот самый, которым он отрезал кусок хлеба для гражданки Дюмонтей. Игру начали снова, и друг за другом Блез, Элоди, Бротто, Роза Тевенен, не находя свободного сердца, давали фанты: кольцо, ридикюль, книжку в сафьяновом переплете, браслет. Затем стали тянуть наудачу фанты, которые Элоди держала у себя на коленях, и каждый участник игры, чтобы выкупить свой фант, должен был проявить какой-либо талант: спеть песенку или прочесть стихи. Бротто продекламировал речь патрона Франции из первой песни «Орлеанской девственницы»:

Ведь я Денис, а ремеслом — святой,
Я Галлии любимой просветитель.

Гражданин Блез, хотя и менее образованный, привел без запинки ответ Ричмонда:

Мне кажется, вы вздумали напрасно
Покинуть ваш приют весьма прекрасный...

В ту пору все читали и перечитывали шедевр французского Ариосто: самые серьезные люди смеялись над любовными похождениями Жанны и Дюнуа, над приключениями Агнесы и Монроза и над подвигами крылатого осла. Образованные люди знали наизусть лучшие места этой веселой философской поэмы. Эварист Гамлен, при всей своей строгости, охотно продекламировал, взяв с колен Элоди свой перочинный ножик, сцену сошествия Грибурдона в ад. Гражданка Тевенен исполнила без аккомпанемента романс Нины: «Когда любимый мой вернется». Демаи спел на мотив «Фаридондены»:

Свинью одели впопыхах
(Не вашу ли, святой Антоний?)
В плащ капуцина, и монах,
Укрывши рыло в капюшоне,
О смертных хрюкает грехах...

Однако Демаи был озабочен. В эту минуту он пылко был влюблен во всех трех женщин, с которыми играл в фанты, и

на каждую из них кидал пламенные и нежные взоры. Роза Тевенен нравилась ему своей грацией, гибкостью, своим искусством, голосом, проникавшим ему в сердце, и многозначительными взглядами; Элоди ему нравилась потому, что он угадывал в ней богатую, щедрую, увлекающуюся натуру. Ему нравилась Жюльена Азар, несмотря на ее белесые ресницы, бесцветные волосы, веснушки и тощую грудь, потому что, подобно Дюнуа, которого выводит Вольтер в «Орлеанской девственнице», он всегда был готов великодушно предъявить наименее красивой женщине доказательства своей любви, тем более что сейчас она казалась ему никем не занятой и, следовательно, более доступной, чем остальные. Отнюдь не тщеславный, он никогда не был уверен, что его домогательства встретят благосклонный прием, но у него никогда не было уверенности и в противном. Поэтому он предлагал себя на всякий случай. Воспользовавшись удобной минутой при розыгрыше фантов, он шепнул несколько нежных слов Розе Тевенен, которая не рассердилась, но не могла ничего ответить, так как с нее не спускал ревнивого взора гражданин Блез. Еще более пылко объяснился он Элоди, хотя ему и было известно, что она любит Гамлена; но он не был настолько требователен, чтобы стремиться к безраздельному обладанию сердцем. Элоди не могла любить его, но находила его красивым и не умела это скрыть. Однако самое пылкое признание он излил на ухо гражданке Азар; она ответила на это взором, полным изумления, который мог выражать и глубочайшую покорность, и мрачное безразличие. Но Демаи не верилось, что она равнодушна.

В харчевне было всего две спальни, обе во втором этаже и на одной площадке. Та, что находилась налево, более красивая, была оклеена обоями в цветах; на одной из стен висело зеркальце, величиной с ладонь, в позолоченной раме, засиженной мухами еще со времен малолетства Людовика XV. Там, под ситцевым в разводах пологом, две кровати, покрытые стегаными одеялами, вздувались горой подушек и перин. Эту комнату отвели трем гражданкам.

Когда настало время ложиться спать, Демаи и гражданка Азар, каждый с подсвечником в руке, пожелали друг другу на площадке спокойной ночи. Влюбленный гравер сунул дочери торговца красками записочку, в которой умолял, когда все заснут, прийти к нему на чердак, находившийся над спальнею гражданок.

Предусмотрительный и благоразумный, он еще днем изучил внутреннее расположение дома и исследовал этот чердак,

заваленный сундуками, старыми чемоданами, связками лука, фруктами, которые сушились, осаждаемые роем ос. Он даже заметил там хромоногую складную кровать, которой, как ему казалось, никто не пользовался, и распоротый тюфяк, где на приволье прыгали блохи.

Напротив спальни гражданок была комнатушка с тремя кроватями, предназначенными для граждан путешественников. Но сибарит Бротто ушел спать на сеновал. Жан Блез куда-то скрылся, Дюбуа же и Гамлен заснули сразу. Демаи лег в постель, но когда ночное безмолвие, как стоячая вода, затопило весь дом, гравер выбрался из комнаты и босиком стал подниматься по деревянной лестнице, скрипевшей у него под ногами. Дверь чердака была полуоткрыта. Оттуда несло спертым горячим воздухом и острым запахом гнилых плодов. На хромоногой кровати в задранной кверху сорочке, раскинувшись, спала с разинутым ртом Колода. Она была огромна. Лунный луч, проникая через чердачное окно, заливал голубоватым серебром ее кожу, блиставшую молодой свежестью в тех местах, где она не была покрыта чешуей грязи и брызгами навозной жижи. Демаи навалился на спящую. Сразу проснувшись, она сначала испугалась и закричала; но, сообразив, чего от нее хотят, успокоилась и не выказала ни изумления, ни досады: она притворилась, будто погружена в полудремоту и как бы не сознает происходящего, но это не мешало ей испытывать некоторое наслаждение...

Демаи вернулся к себе в комнату и проспал до утра спокойным и глубоким сном.

На другой день, поработав до вечера, странствующая академия собралась обратно в Париж. Когда Жан Блез расплатился с хозяином ассигнациями, гражданин Пуатрин стал жаловаться, что уже давно не видал других денег, кроме «четырехугольных», и обещал поставить толстую свечку за того молодца, который опять пустит в ход золотые кругляши.

Гражданкам он поднес цветы. По его приказанию Колода, в деревянных башмаках, подоткнув подол, заголив грязные, сверкающие икры, вскарабкалась на лесенку и неутомимо срезáла цветы с ползучих кустов роз, покрывавших стену. Из ее широких рук цветы дождем, потоком, лавиной падали в подставленные юбки к Элоди, Жюльене и Розе Тевенен. Берлин утопал в розах. Вернувшись к ночи домой, все захватили по охапке, и сон и пробуждение их были овеяны благоуханием.

XI

Утром седьмого сентября гражданка Рошмор отправилась к присяжному Гамлену, у которого хотела просить заступничества за своего знакомого, взятого под подозрение, и на площадке лестницы повстречалась с бывшим дворянином Бротто дез Илетт, которого она любила в прежние, счастливые дни. Бротто шел к торговцу игрушками на улице Закона с двенадцатью дюжинами картонных плясунов своей работы; чтобы легче справиться с ношей, он нанизал их, по обычаю разносчиков, на жердь. Он был изысканно любезен со всеми женщинами, даже с теми, которые в силу долгой привычки утратили для него всякую привлекательность; так было бы, видимо, и с г-жой де Рошмор, хотя, может быть, измена, разлука, неверность, приятная полнота сделали ее в его глазах несколько привлекательнее. Во всяком случае, встретившись с ней на грязной площадке с разошедшимися изразцами, он отвесил ей тот же церемонный поклон, как некогда на ступенях крыльца в дез Илетт, и попросил оказать ему честь, посетив его мансарду. Гражданка Рошмор поднялась довольно легко по приставной лесенке и очутилась на чердаке; черепичная крыша, в которой было проделано слуховое окно, поддерживалась толстыми наклонными балками. Выпрямиться во весь рост было невозможно. Она села на единственный стул, имевшийся в убогом жилище, и, скользнув удивленно-грустным взором по разъехавшимся черепицам, спросила:

— Так вот где вы живете, Морис? Вам здесь нечего опасаться непрошеных гостей. Надо быть дьяволом или котом, чтобы навестить вас.

— Да, у меня здесь тесновато,— ответил бывший дворянин.— И не скрою от вас, что, когда идет дождь, вода попадает на мое ложе. Это небольшое неудобство. Зато в ясные ночи я вижу луну, прообраз и свидетельницу человеческой любви. Ведь луна, сударыня, во все времена признавалась покровительницей влюбленных, и в полнолунье она своим бледным, круглым ликом напоминает любовнику предмет его вожделений.

— Вы правы,— согласилась гражданка.

— Временами коты устраивают у меня над головой чудовищные концерты,— продолжал Бротто.— Но разве можно укорять любовь за то, что она мяукает и приносит клятвы верности на крышах, если она насыщает страданиями и преступлениями жизнь людей!

Оба они были настолько умны, что встретились, как два друга, которые расстались лишь накануне, и, хотя между ними

уже не было никакой близости, они мило, по-приятельски беседовали.

Однако г-жа де Рошмор казалась озабоченной. Революция, которая долго была для нее источником развлечений и всяких благ, теперь приносила ей лишь заботы и тревоги; ее ужины утрачивали свой блеск и веселье. Омраченные лица уже не прояснялись при звуках ее арфы. За ломберными столами она недосчитывалась самых богатых игроков. Многие из ее постоянных посетителей были объявлены неблагонадежными и где-то скрывались; ее друг, банкир Морхардт, был арестован; о нем-то она и пришла похлопотать перед Гамленом. Она сама находилась под подозрением. Национальные гвардейцы произвели у нее обыск, перерыли все ящики в комодах, приподнимали половицы, истыкали штыками матрасы. Они ничего не нашли, извинились перед ней и удалились, отведав вина из ее погреба. Но они едва не наткнулись на ее переписку с эмигрантом, г-ном д'Экспийи. Кое-кто из ее приятелей-якобинцев предупредил ее, что красавец Анри, которого она содержала, возбуждает подозрение своими выступлениями, слишком резкими, чтобы можно было поверить в их искренность.

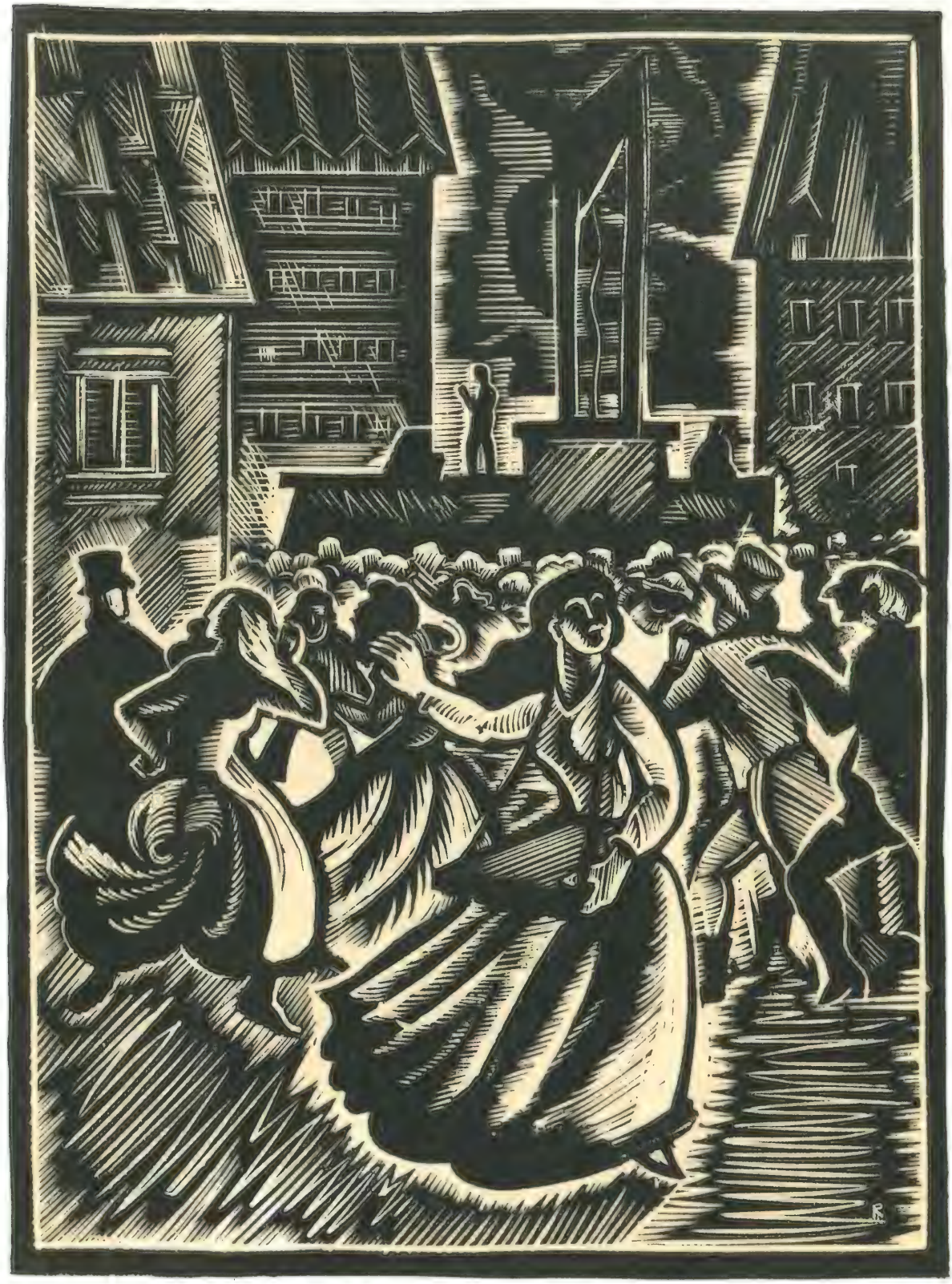
Облокотившись о колено и подпирая руками подбородок, она задумчиво спросила своего старого друга, сидевшего на соломенном тюфяке:

— Что вы думаете обо всем этом, Морис?

— Думаю, что эти люди дают философу и любителю зрелищ обильный материал для раздумий и развлечений, но что для вас, дорогая, было бы лучше, если бы вы находились за пределами Франции.

— Морис, куда это нас приведет?

— Тот же вопрос вы мне задали, Луиза, как-то в коляске, по дороге в дез Илетт, ведущей вдоль берега Шера, когда наша лошадь, закусив удила, понеслась бешеным галопом. Ну и любопытны же женщины! И сегодня вам хочется знать, к чему мы идем. Спросите у гадалок. Я, моя милая, не предсказатель, а философия, даже самая здравая,— слабая помощница, чтобы предвидеть будущее. Это кончится, потому что всему бывает конец. Мне представляется несколько исходов. Победа коалиции и вступление союзников в Париж. Они уже недалеко, но все-таки я сомневаюсь, чтобы они пришли сюда. Республиканские солдаты сражаются с пылом, который ничто не в силах угасить. Возможно, что Робеспьер женится на дочери короля и провозгласит себя протектором королевства до совершеннолетия Людовика Семнадцатого.



«Боги жаждут»

— Вы думаете? — воскликнула гражданка, сгорая от нетерпения вмешаться в эту замечательную интригу.

— Возможно также,— продолжал Бротто,— что одержит верх Вандея и что над грудами развалин и горою трупов снова утвердит свою власть духовенство. Вы, дорогая, не отдаете себе отчета, сколько человеческих туш насчитывают в своем стаде эти пастыри... Я хотел сказать «душ», но обмолвился. Вероятнее же всего, на мой взгляд, что Революционный трибунал вызовет падение режима, которому он обязан своим существованием: слишком большому количеству голов угрожает это судилище. Числа нет людям, которые трепещут пред ним; они объединятся и, чтобы уничтожить его, уничтожат весь политический строй. Если не ошибаюсь, вы способствовали назначению присяжным молодого Гамлена. Он добродетелен — он будет страшен. Чем больше я думаю над этим, мой милый друг, тем больше я прихожу к мысли, что Трибунал, призванный спасти Республику, погубит ее. Конвент захотел, подобно королевской власти, учредить свой чрезвычайный суд, установить свои выездные сессии и поручить заботу о государственной безопасности судьям, назначаемым им и зависимым от него. Но насколько праздники Конвента уступают праздникам монархии и насколько его чрезвычайный суд менее дальновиден, чем суд Людовика Четырнадцатого! В Революционном трибунале господствует дух примитивной справедливости и пошлого равенства, который вскоре вызовет к нему ненависть и отвращение всех решительно. Знаете ли вы, Луиза, что этот Трибунал, собирающийся посадить на скамью подсудимых французскую королеву и двадцать одного законодателя, вчера приговорил к смертной казни служанку, вина которой заключается в том, что она, с целью погубить Республику, злонамеренно крикнула: «Да здравствует король!»? Наши судьи в черных плюмажах действуют в духе Вильяма Шекспира, столь любезного сердцу англичан, который вводит в наиболее трагические сцены самое грубое шутовство.

— Скажите, Морис, вы по-прежнему счастливы в любви? — спросила гражданка.

— Увы,— вздохнул Бротто,— голуби порхают вокруг новенькой голубятни и не садятся на развалины башни.

— Вы нисколько не изменились... До свиданья, друг мой!

В тот же вечер драгун Анри, явившись без приглашения к г-же де Рошмор, застал ее, когда она запечатывала конверт, на котором он прочитал адрес гражданина Ролина в Верноне.

Это письмо, он знал, должно было уйти в Англию... Ролин, получая с дилижансом корреспонденцию г-жи де Рошмор, пересылал ее через торговку рыбой в Дьепп. Там один судохозяин ночью переправлял письма на британский корабль, крейсировавший вдоль берегов; в Лондоне их получал эмигрант, г-н д'Экспийи, и в тех случаях, когда находил это целесообразным, передавал их Сен-Джемскому кабинету.

Анри был молод и красив: сам Ахилл, облаченный в доспехи, подаренные Улиссом, не мог бы поспорить изяществом и силой с юным драгуном. Однако гражданка Рошмор, недавно еще неравнодушная к чарам юного героя Коммуны, отвратила от него и взоры и мысли с тех пор, как ее предупредили, что юный воин, заподозренный якобинцами в неискренности, может скомпрометировать и погубить ее. Анри сознавал, что разрыв с г-жой де Рошмор, пожалуй, не будет для него слишком большим горем, но ему было неприятно, что она уже не отличала его. Он рассчитывал на нее, чтобы возместить некоторые издержки, понесенные им на службе Республике. Кроме того, думая о крайностях, на которые способны женщины, и о том, как быстро они переходят от самой пылкой нежности к самому холодному безразличию, как им легко отказаться от того, чем они дорожили, и погубить то, чему поклонялись, он был недалек от мысли, что в один прекрасный день обворожительная Луиза может посадить его в тюрьму, дабы развязаться с ним. Благоразумие подсказывало ему вернуть сердце охладевшей к нему красавицы. Потому-то он и явился к ней во всеоружии своих чар. Он то приближался к ней, то удалялся, вновь подходил, слегка касался ее и внезапно отстранялся, следуя балетным правилам обольщения. Наконец он сел в кресло и своим неотразимым голосом, перед которым не могла устоять ни одна женщина, стал превозносить красоты природы, прелесть уединения и, вздыхая, предложил ей совершить прогулку в Эрменонвиль.

Она меж тем водила рукой по струнам арфы и кидала вокруг себя нетерпеливые и скучающие взоры. Вдруг Анри, поднявшись с мрачным и решительным видом, заявил, что уезжает в армию и через несколько дней будет уже под Мобежем.

Не выказав ни сомнений, ни удивления, она одобрительно кивнула головой.

— Вы находите разумным мое намерение?

— Вполне разумным.

Она ждала прихода нового друга, который ей нравился бесконечно и близость с которым сулила ей множество выгод. Он был полной противоположностью Анри: воскресший Мирабо,

Дантон, обтесавшийся и сделавшийся поставщиком, лев, поговаривавший о том, что всех патриотов пора бросить в Сену. Каждую минуту ей чудился его звонок, и она испуганно вздрагивала.

Чтобы поскорее избавиться от Анри, она умолкла, зевнула, перелистала ноты и зевнула еще раз. Видя, что он не собирается уходить, она сказала, что ей нужно выйти из дому, и прошла к себе в будуар.

Он крикнул ей взволнованным голосом:

— Прощайте, Луиза!.. Увижу ли я вас когда-нибудь еще?

А руки его между тем шарили в ящике письменного стола.

Очутившись на улице, он распечатал письмо, адресованное гражданину Ролину, и с интересом прочел его. Письмо действительно было любопытным отражением настроений во Франции. В нем сообщалось о королеве, о Розе Тевенен, о Революционном трибунале, цитировались совсем не предназначенные для огласки суждения милейшего Бротто дез Илетта.

Окончив чтение, Анри положил письмо в карман и на минуту задумался; затем, как человек, принявший твердое решение и убежденный, что чем скорее все произойдет, тем лучше, направился к Тюильрийскому дворцу и вошел в приемную Комитета общественной безопасности.

В тот же день, в три часа пополудни, Эварист Гамлен впервые занял место на скамье присяжных среди четырнадцати других заседателей, с большинством которых он был знаком; все это были простые, честные люди и патриоты: ученые, художники или ремесленники — один живописец, как и он, один рисовальщик, оба чрезвычайно талантливые, хирург, башмачник, бывший маркиз, неопровержимо доказавший свою преданность Революции, типограф, несколько мелких торговцев,— словом, представители всех слоев парижского населения. Они явились сюда в рабочем платье или в костюме буржуа, остриженные по-римски в кружок или с короткой косицей, перехваченной бантом, в треуголке, надвинутой на глаза, в круглой шляпе, съехавшей на затылок, или в красном колпаке, натянутом на уши. Одни были в жилете, фраке и коротких панталонах, как при старом режиме, другие — в карманьоле и полосатых штанах на манер санкюлотов. Обутые в высокие сапоги, в туфли с пряжками или в деревянные башмаки, они являли своим видом все разнообразие мужской одежды, бывшей тогда в ходу. Каждый из них заседал уже не в первый раз, поэтому они чувствовали себя на скамье присяжных непринужденно, и Гамлен завидовал

их спокойствию. Сердце у него учащенно билось, в ушах звенело, глаза заволакивал туман, и все окружающее принимало тусклый оттенок.

Когда судебный пристав объявил: «Суд идет!», трое судей, поднявшись на небольшое возвышение, уселись за зеленым столом. На них были треуголки с кокардами, украшенные пышным черным плюмажем, и судейские мантии; на груди, на трехцветной ленте, висела большая серебряная медаль. Впереди них, у подножия эстрады, в таком же костюме сидел товарищ общественного обвинителя. Секретарь занял место между судейским столом и пустым креслом обвиняемого. Гамлен видел этих людей, непохожих на тех, какими он знал их до сих пор; они казались более красивыми, более величественными, более грозными, хотя держались очень просто: перелистывали бумаги, подзывали судебного пристава, откинувшись назад, выслушивали сообщение какого-нибудь присяжного или дежурного офицера.

Над местами для судей висели таблицы с Декларацией прав человека; по обеим сторонам от них, у старинных, феодальных стен,— бюсты Лепелетье де Сен-Фаржо и Марата. Напротив судейского стола, в глубине зала, находилась трибуна для публики. Первый ряд занимали женщины: блондинки, брюнетки, седые — все в высоких чепцах, плиссированные кружева которых затеняли им щеки; на груди, которой мода придавала однообразную полноту груди кормилицы, лежала крест-накрест белая косынка или топорщился нагрудник синего передника. Все сидели, скрестив руки на перилах трибуны. Позади них ступеньки лестницы были усеяны гражданами, одетыми с тем разнообразием, которое придавало тогда парижской толпе странный и живописный вид. Направо, у входа, за сплошным барьером, были стоячие места для публики. На этот раз там было мало народу. Дело, подлежавшее рассмотрению этой секции, привлекало немногих зрителей: видимо, в других секциях Трибунала, заседавших одновременно, разбирались более интересные дела.

Это обстоятельство несколько успокаивало Гамлена: он был слишком взволнован, чтобы вынести лихорадочную атмосферу крупных процессов. Он подмечал мельчайшие подробности: вату в ухе секретаря, чернильное пятно на папке обвинителя. Словно сквозь увеличительное стекло, видел он капители, изваянные в эпоху, когда было утрачено всякое понимание классических стилей, и венчавшие гирляндами крапивы и остролиста готические колонны. Но взгляд его ежеминутно обращался к старомодному креслу, обитому алым утрехтским бархатом, по-

тертым на сиденье и потемневшим на ручках. У всех входов стояли вооруженные национальные гвардейцы.

Наконец под конвоем гренадеров появился обвиняемый. Как полагалось по закону, он не был закован в кандалы. Это был мужчина лет пятидесяти, худощавый, сухой, смуглый, почти совсем лысый, со впалыми щеками, с тонкими фиолетовыми губами, одетый по старинной моде во фрак цвета бычьей крови. У него, вероятно, была лихорадка, ибо глаза блестели, как драгоценные камни, а щеки, казалось, были покрыты лаком. Он сел, скрестив непомерно худые ноги, и обхватил колени большими руками с узловатыми пальцами. Звали его Мари-Адольф Гийерг, и обвинялся он в хищениях по интендантским поставкам Республике. Обвинительным актом ему инкриминировалось множество серьезных злоупотреблений, но ни одно из них не было доказано безусловно. На вопрос, признает ли он себя виновным, Гийерг отверг большинство приписываемых ему деяний, остальные же объяснил в благоприятном для себя смысле. Он выражался чрезвычайно точно и сдержанно, удивительно искусно и производил впечатление человека, с которым лучше не иметь деловых сношений. У него находился ответ на все. Когда судья задавал ему затруднительный вопрос, его лицо было все так же спокойно, а речь уверенна, но руки, сложенные на груди, судорожно сжимались. Гамлен заметил это и шепнул на ухо своему соседу, художнику:

— Посмотрите на его большие пальцы!

Первый свидетель, которого выслушали, дал крайне невыгодные для подсудимого показания. На них-то и было построено все обвинение. Следующие свидетельства, напротив, были благоприятны для Гийерга. Обвинитель выступил с горячей речью, но не доказал ничего определенного. Адвокат говорил с подкупающей искренностью и этим завоевал своему подзащитному симпатии, которые тот сам не мог вызвать у суда. Объявили перерыв, и присяжные удалились в комнату для совещаний. Там, после довольно путаных и ничего не выяснивших прений, голоса разделились приблизительно поровну. На одной стороне оказались безучастные, холодные резонеры, остававшиеся бесстрастными при любых обстоятельствах; на другой — те, которые давали волю чувству, мало считались с доводами разума и судили, слушаясь сердца. Эти всегда выносили обвинительный приговор. То были подлинные патриоты: они думали только о Республике и не заботились об остальном. Их позиция произвела сильное впечатление на Гамлена, который сознавал себя солидарным с ними.

«Этот Гийерг, —размышлял он,— ловкий мошенник, негодяй, спекулировавший на фураже нашей кавалерии. Оправдать его — значит отпустить на свободу изменника, предать отечество, обречь армию на разгром». И Гамлену уже мерещились республиканские гусары на спотыкающихся лошадях, изрубленные неприятельской конницей... «А что, если Гийерг невиновен?»

Он вспомнил вдруг о Жане Блезе, которого тоже подозревали в злоупотреблениях при поставках. А сколько их еще, таких Гийергов и Блезов, играющих на руку врагам Республики, подготовляющих ее гибель? Необходим устрашающий пример! Но если Гийерг невиновен?..

— Нет улик,— произнес вслух Гамлен.

— Бесспорных доказательств никогда не бывает,— возразил, пожимая плечами, старшина присяжных, испытанный патриот.

В конце концов семь голосов высказались за осуждение и восемь за оправдание.

Присяжные вернулись в зал, и заседание возобновилось. Каждый должен был мотивировать приговор, и все по очереди говорили перед пустым креслом подсудимого. Одни были многоречивы; другие ограничивались двумя-тремя словами; некоторые говорили совсем невразумительно.

Когда дошла очередь до Гамлена, он встал и произнес:

— Чтобы обвинить кого-либо в столь тяжком преступлении, как лишение защитников отечества средств к победе, нужны неопровержимые улики, а их у нас нет.

Большинством голосов подсудимый был признан невиновным.

Гийерга опять ввели в зал суда; его появление вызвало среди публики благожелательный шепот, возвещавший ему оправдательный приговор. Теперь это был совсем другой человек. Сухие черты расправились, рот смягчился. Весь его вид внушал уважение, лицо выражало невинность. Председатель взволнованным голосом прочитал постановление суда, объявлявшее его свободным; зал разразился рукоплесканиями. Жандарм, который привел Гийерга, кинулся ему в объятия. Председатель поздравил его и братски облобызал. Присяжные расцеловали его, Гамлен обливался слезами радости.

Во дворе суда, освещенном последними лучами солнца, гудела толпа. Четыре секции Трибунала вынесли накануне тридцать смертных приговоров, и «вязальщицы», примостившись на ступенях парадной лестницы, ожидали отъезда телег. Но Гамлен, спускаясь вниз вместе с присяжными и публикой, не

видел, не слышал ничего; он думал лишь об акте справедливости и человеколюбия, который он только что совершил, и радовался, что ему удалось распознать невинного. Во дворе Элоди, бледная, улыбаясь сквозь слезы, кинулась к нему в объятия и замерла в них. Придя немного в себя, она заговорила:

— Эварист, вы прекрасны, вы добры, вы великодушны! Здесь, в зале, звук вашего голоса, мужественный и мягкий, пронизывал меня всю магнетическими волнами. Я была наэлектризована им. Я все время любовалась вами там, на скамье. Я видела только вас. А вы, друг мой, и не догадывались о моем присутствии? Ничто не подсказало вам, что я здесь? Я сидела на трибуне, во втором ряду, направо. Боже, как приятно делать добро! Вы спасли этого несчастного. Если бы не вы, все было бы кончено: он бы погиб. Вы вернули его жизни, ласкам близких. В эту минуту он, должно быть, благословляет вас, Эварист, я счастлива и горда тем, что люблю вас!

Под руку, тесно прижавшись друг к другу, шли они по улицам и чувствовали себя такими легкими, словно крылья выросли у них за плечами.

Они направились к «Амуру Живописцу».

— Пройдем не через магазин,— сказала Элоди, когда они уже свернули на улицу Оратории.

Войдя через ворота во двор, она поднялась с ним во второй этаж. На площадке она вынула из ридикюля большой железный ключ.

— Можно подумать, что это ключ от тюрьмы,— заметила она.— Эварист, вы будете моим узником.

Они прошли через столовую и очутились в спальне девушки.

Эварист чувствовал на губах свежесть губ Элоди. Он сжал ее в своих объятиях. Откинув голову, томно закатив глаза, изогнув стан так, что волосы рассыпались у нее по плечам, почти теряя сознание, она выскользнула из его рук и поспешно задвинула засов...

Было уже далеко за полночь, когда гражданка Блез отперла своему любовнику дверь квартиры и шепнула ему в темноте:

— Прощай, любовь моя! Сейчас должен вернуться отец. Если услышишь шаги на лестнице, быстро поднимись этажом выше и не спускайся, пока не убедишься, что опасность миновала. Внизу постучи три раза в окно привратнице — она выпустит тебя на улицу. Прощай, жизнь моя! Прощай, моя душа!

Очутившись на улице, Эварист увидел, как приоткрылось окно в комнате Элоди, и алая гвоздика, сорванная маленькой ручкой, упала, точно капля крови, к его ногам.

XII

Однажды вечером, когда старик Бротто принес двенадцать дюжин картонных плясунов гражданину Кайу, владельцу лавки на улице Закона, торговец игрушками, обычно вежливый и обходительный, встретил его, среди своих кукол и паяцев, крайне неприветливо.

— Берегитесь, гражданин Бротто,— сказал он,— берегитесь! Не всегда время шутить, и не всякая шутка уместна. Член Комитета общественной безопасности нашей секции, посетивший вчера мое заведение, видел ваших плясунов и нашел, что они контрреволюционны.

— Он пошутил! — ответил Бротто.

— Как бы не так, гражданин, как бы не так. Этот человек шуток не любит. Он сказал, что эти фигурки — прямое издевательство над представителями нации, что в некоторых из них можно определенно узнать карикатуры на Кутона, Сен-Жюста и Робеспьера, и он их забрал. Для меня это чистый убыток, не говоря уже об опасности, которой я подвергаюсь.

— Как? Эти Арлекины, Жили, Скарамуши, Колены и Колетты, которых я рисую так же, как рисовал их Буше полвека назад,— карикатуры на Кутона и Сен-Жюста? Да ни один разумный человек этому не поверит.

— Возможно,— возразил гражданин Кайу,— что вы действовали без злого умысла, хотя никогда не мешает относиться с опаской к остроумцам вроде вас. Но это все-таки игра с огнем. Незачем далеко ходить за примером: позавчера арестовали за неблагонадежность владельца театрика на Елисейских полях, Натуаля; его обвиняют в том, что он Полишинелем высмеивает Конвент.

— Взгляните еще раз на эти маски и лица,— сказал Бротто, поднимая холстину, которой были прикрыты его маленькие висельники,— ведь это же персонажи комедий и пасторалей! Как же вы позволили себя уверить, гражданин Кайу, что я высмеиваю Национальный конвент?

Бротто был изумлен. Зная, как беспредельна человеческая глупость, он все же никогда бы не подумал, что его Скарамуши и Колинетты могут кому-то показаться подозрительными. Он вступился за них, отстаивая свою и их невинность. Но гражданин Кайу и слышать не хотел ни о чем.

— Забирайте обратно ваших плясунов, гражданин Бротто. Я почитаю, я высоко ценю вас, но не желаю, чтобы меня поносили и беспокоили из-за вас. Я уважаю закон. Я хочу быть

благонадежным гражданином и таковым считаться. До свиданья, гражданин Бротто! Забирайте своих плясунов!

Старик Бротто побрел домой, унося на плече, на кончике жерди, своих опальных человечков; по дороге ребята осыпáли его насмешками, воображая, что это продавец крысиного мора. Мысли его были печальны. Конечно, он жил не одними только плясунами; он рисовал под воротами и в винном погребке на рынке, окруженный «вязальщицами», портреты по двадцати су за штуку, и главными его заказчиками были молодые люди, уезжавшие в армию и желавшие оставить свой портрет подруге сердца. Но эта грошовая работа чрезвычайно претила ему, и надо было очень стараться, чтобы портрет вышел таким же удачным, как картонный плясун. Иногда он исполнял обязанности писца у рыночных торговок, но это значило впутываться в роялистские заговоры и рисковать слишком многим. Он вспомнил, что на улице Нев-де-Пти-Шан, недалеко от бывшей Вандомской площади, есть другой торговец игрушками, гражданин Жоли, и решил завтра же предложить ему товар, от которого малодушно отказался Кайу.

Стал накрапывать мелкий дождь. Бротто побоялся, как бы не пострадали его плясуны, и прибавил шагу. Проходя по Новому мосту, мрачному и безлюдному, и собираясь свернуть на Тионвильскую площадь, он увидал при свете фонаря худощавого старика, сидевшего на тумбе: истощенный голодом и усталостью, в дырявом плаще, без шляпы, незнакомец все-таки сохранял полную достоинства осанку; на вид ему было лет за шестьдесят. Приблизившись к несчастному, Бротто узнал в нем отца Лонгмара, которого полгода назад спас от петли, когда они оба стояли в очереди у булочной на Иерусалимской улице. Оказанная тогда монаху услуга побудила Бротто подойти к нему и напомнить, что он тот самый мытарь, который как-то во время голода очутился рядом с ним в толпе, дожидавшейся выдачи хлеба; Бротто спросил, не может ли он быть ему чем-нибудь полезен.

— Вы, по-видимому, очень устали, отец мой. Вам надо подкрепиться.

И Бротто извлек из кармана своего коричневого сюртука небольшой пузырек с водкой, который обретался там вместе с Лукрецием.

— Выпейте. Я помогу вам добраться домой.

Отец Лонгмар отстранил от себя пузырек и попробовал подняться. Но тотчас же снова опустился на тумбу.

— Сударь, уже три месяца, как я живу в Пикпюсе,— сказал он слабым, но твердым голосом.— Узнав, что вчера в пять часов пополудни приходили арестовать меня, я не вернулся домой. У меня нет пристанища; я брожу по улицам и немного устал.

— В таком случае, отец мой,— сказал Бротто,— позвольте просить вас оказать мне честь и поселиться у меня на чердаке.

— Но поймите, сударь, я ведь под подозрением,— возразил варнавит.

— Я тоже,— ответил Бротто,— и мои плясуны также, что, пожалуй, хуже всего. Вот они здесь, под жалкой холстиной, на дожде, от которого мы дрогнем. Надо вам сказать, отец мой, что, после того как я был мытарем, я теперь зарабатываю себе на хлеб игрушками.

Отец Лонгмар принял руку, протянутую ему бывшим финансистом, и согласился воспользоваться предложенным гостеприимством. В своей мансарде Бротто угостил его сыром, хлебом и вином, которое он предварительно поставил охладить в желоб, так как был сибаритом.

— Сударь,— заговорил отец Лонгмар, утолив голод,— я должен рассказать вам об обстоятельствах, вынудивших меня бежать и доведших до печального состояния, в котором вы нашли меня на тумбе. После того как меня изгнали из монастыря, я жил на жалкое пособие, установленное мне еще Учредительным собранием; я давал уроки латыни и математики и сочинял брошюры о преследованиях церкви во Франции. Я даже написал довольно объемистый труд, с целью доказать, что конституционная присяга священников противоречит церковной дисциплине. Успехи Революции лишили меня всех учеников, а пенсию мне перестали выплачивать, так как я не мог представить требуемое законом свидетельство о гражданской благонадежности. За этим-то свидетельством я и отправился в мэрию, вполне убежденный, что заслуживаю его. Являясь членом ордена, учрежденного самим апостолом Павлом, который гордился своим римским гражданством, я льстил себя надеждой, что поступаю по его примеру, как добрый французский гражданин, относящийся с уважением ко всем человеческим законам, если только они не идут вразрез с законами божескими. Я подал свое прошение господину Колену, колбаснику и муниципальному чиновнику, ведающему выдачей такого рода удостоверений. Он спросил меня о моем звании. Я сказал, что я священник. Тогда он осведомился, женат ли я, и, получив отрицательный ответ, заявил, что тем хуже для меня. Наконец, после целого

ряда вопросов, он спросил, доказал ли я свой патриотизм десятого августа, второго сентября и тридцать первого мая. «Свидетельство гражданской благонадежности,— прибавил он,— выдается только тем, кто доказал свой патриотизм в эти дни». Мой ответ не удовлетворил его. Тем не менее он записал мое имя и адрес и пообещал в ближайшее же время навести обо мне необходимые справки. Он сдержал слово, и в результате наведенных справок два комиссара никпюсского Комитета общественной безопасности, в сопровождении вооруженной силы, явились в мое отсутствие ко мне на дом, дабы отвести меня в тюрьму. Не знаю, в каком преступлении меня обвиняют. Но согласитесь, нельзя не пожалеть господина Колена, рассудок которого изрядно помрачен, раз он может упрекать лицо духовное в том, что тот не доказал своего патриотизма десятого августа, второго сентября и тридцать первого мая. Человек, способный думать таким образом, поистине достоин жалости.

— У меня тоже нет удостоверения,— ответил Бротто.— Мы оба находимся под подозрением. Но вы устали, отец мой. Ложитесь спать. Завтра мы обсудим, как устроить вас понадежнее.

Он уступил было гостю матрас, а сам уже собирался лечь на соломенный тюфяк; но монах так настоятельно просил уступить тюфяк ему, что Бротто пришлось удовлетворить просьбу: иначе отец Лонгмар улегся бы на голом полу.

Покончив с приготовлениями, Бротто задул свечу — из экономии и из осторожности.

— Сударь, я сознаю, как много вы делаете для меня,— сказал монах.— Но, увы, я ничем не могу отблагодарить вас. Да вознаградит вас за все господь: это было бы для вас гораздо существеннее. Но бог не считает заслугой то, что делается не во славу его и что является лишь выражением природной добродетели. Поэтому умоляю вас, сударь, сделайте во имя его то, что вы намеревались сделать ради меня.

— Не утруждайте себя какой бы то ни было признательностью, отец мой,— возразил Бротто,— и не благодарите меня. Все, что я сейчас делаю и значение чего вы сильно преувеличиваете, я делаю не из любви к вам: ибо в конце концов, хотя вы и приятны мне, отец мой, я все-таки слишком мало знаю вас, чтобы любить. Я поступаю так и не из любви к человечеству: ибо я не настолько наивен, как Дон-Жуан, чтобы, подобно ему, полагать, будто человечество имеет какие-то права; этот предрассудок в человеке, столь просвещенном, как он, меня даже огорчает. Я действую так из эгоизма, который внушает

человеку все великодушные и самоотверженные поступки: ибо эгоизм помогает человеку узнавать самого себя во всяком страждущем, предрасполагает оплакивать в чужом несчастье свое собственное, побуждает оказывать поддержку ближнему, до того похожему на тебя и своей природой и судьбой, что, помогая ему, ты как бы помогаешь себе самому. Я поступаю так еще и от безделья: жизнь до такой степени бесцветна, что надо развлекаться какой угодно ценой; благотворительность — развлечение довольно пошлое, но ему предаешься за отсутствием других, более приятных; я поступаю так из гордости и чтобы иметь преимущество перед вами; наконец, я поступаю так из любви к системе и из желания показать вам, на что способен безбожник.

— Не клевещите на себя, сударь,— ответил отец Лонгмар.— Я сподобился от господа бога бóльших милостей, чем те, какими он взыскал вас по сей день; но я не стою вас и уступаю вам во всех достоинствах. Позвольте мне, однако, сказать вам, что у меня есть одно преимущество перед вами. Не зная меня, вы не можете меня любить. А я, сударь, не зная вас, люблю вас больше, чем самого себя: так повелевает мне господь.

С этими словами отец Лонгмар опустился на колени, прочел молитвы, затем растянулся на соломенном тюфяке и спокойно заснул.

XIII

Эварист Гамлен второй раз заседал в Трибунале. Перед началом заседания он беседовал с товарищами по суду о новостях, полученных утром. Были среди них неточные и ложные, но то, что не вызывало сомнений, было ужасно: союзные армии, завладев всеми путями к Парижу, наступали разом. Вандея побеждала, Лион восстал, Тулон уже сдан англичанам, которые высадили там четырнадцать тысяч человек.

Для присяжных это были факты, непосредственно их касавшиеся, а не только события, за которыми следил весь мир. Твердо зная, что гибель отечества будет их собственной гибелью, они рассматривали благо государства как свое личное дело. Интересы нации, слитые с их личными интересами, определяли их чувства, страсти, поступки.

Гамлен, уже сидя на скамье, получил письмо от Трюбера, секретаря Комитета обороны: это было извещение о назначении Эвариста секционным комиссаром по снабжению войск порохом и селитрой:

Произведи обыск во всех подвалах, в пределах секции, с тем чтобы изъять оттуда все вещества, необходимые для приготовления пороха. Неприятель, быть может, завтра будет под стенами Парижа,— надо, чтобы отечественная почва породила молнию, которой мы поразим врага. Посылаю тебе при сем инструкцию Конвента об устройстве селитроварен. Братский привет!

В эту минуту ввели обвиняемого. Это был один из последних разбитых врагом генералов, которых Конвент отдал суду Трибунала,— едва ли не самый незначительный из них. Увидев его, Гамлен вздрогнул: ему показалось, что это тот самый военный, которого три недели назад судили и отправили на гильотину, когда он, Гамлен, сидел в местах для зрителей. Это был тот же человек, упрямый и ограниченный; это был тот же процесс. Подсудимый отвечал так угрюмо и резко, что портил самые выигрышные из своих ответов. Придирки, словесные уловки, обвинения, возводимые им на подчиненных, заслоняли почетную задачу, которую он выполнял, защищая свою честь и жизнь. В этом деле все было неясно и спорно: расположение армий, численность войск, количество боевых припасов, приказы полученные, приказы отданные, передвижение частей,— ни в чем не было определенности. Никто ничего не понимал в этих операциях, запутанных, нелепых, бесцельных, приведших к катастрофе: защитник и даже сам подсудимый понимали не больше, чем обвинитель, судьи и присяжные; но, странное дело, никто не признавался ни другим, ни самому себе, что он ничего не понимает. Судьи с явным удовольствием зарывались в планы, обсуждали вопросы тактики и стратегии; обвиняемый обнаружил свою прирожденную склонность к крючкотворству.

Спорили без конца. А Гамлену во время этих прений чудилось, как на ухабистых дорогах севера вязнут в грязи зарядные ящики, опрокидываются в канавы пушки, по всем направлениям бегут в беспорядке разбитые колонны, меж тем как неприятельская кавалерия надвигается отовсюду сквозь покинутые проходы. И ему казалось, что он слышит чудовищный вопль армии, преданной своими полководцами, вопль, обвиняющий генерала. К концу прений в зале уже было темно, и бюст Марата неясным призраком белел над головой председателя. Мнения присяжных разделились. Гамлен глухим, застревающим в горле голосом, в котором, однако, звучала решимость, объявил, что подсудимый виновен в измене Республике, и шепот одобрения, прошедший по толпе, был наградой его молодому рвению. При-

говор прочли при свете факелов, и багровый их отблеск дрожал на впалых висках осужденного, покрывшихся каплями пота. У выхода, на ступеньках лестницы, где копошились досужие кумушки с кокардами на чепцах, Гамлен услышал, как называли его имя: оно уже становилось известным посетителям Трибунала; толпа «вязальщиц» преградила юному заседателю дорогу и, потрясая кулаками, требовала казни Австриячки.

На другой день Эваристу пришлось высказаться по вопросу о виновности некоей бедной женщины, вдовы Мерион, разносчицы хлеба. Она развозила свой товар в ручной тележке, отмечая зарубками на деревянной дощечке, висевшей у нее на поясе, количество проданного хлеба. Зарабатывала она восемь су в день. Товарищ общественного обвинителя проявил особую жестокость по отношению к этой несчастной, которая якобы не раз кричала «Да здравствует король», вела контрреволюционные речи в домах, куда она ежедневно доставляла хлеб, и участвовала в заговоре, имевшем целью способствовать бегству жены Капета. Допрошенная судьей, она признала инкриминируемые ей факты; то ли по простоте, то ли из фанатизма, она с чрезвычайным воодушевлением высказала свои роялистские симпатии и этим сама себя погубила.

Революционный трибунал стремился к торжеству идеи равенства и поэтому карал грузчиков и служанок так же сурово, как аристократов и финансистов. Гамлен не допускал мысли, чтобы это могло быть иначе при демократическом режиме. Он счел бы позором, оскорблением для народа, если бы наказание не распространялось и на него. Это значило бы признать народ, так сказать, недостойным кары. Сохранить гильотину для одних аристократов, по его мнению, было бы равносильным установлению несправедливой привилегии. В глазах Гамлена идея возмездия получала религиозную, мистическую окраску; оно становилось чем-то положительным, приобретало какие-то достоинства. Он считал, что кара есть долг по отношению к преступникам и что лишать их ее значит умалять их права. Он объявил, что считает вдову Мерион виновной и заслуживающей смертной казни, но выразил при этом сожаление, что фанатики, погубившие ее и более виновные, нежели она, остались на свободе и не разделяют ее участи.

Почти каждый вечер Эварист отправлялся на собрания якобинцев, происходившие на улице Оноре, в старинной доминиканской церкви, известной в просторечии под именем «якобин-

ской». Во дворе, где росло дерево Свободы — тополь, листья которого вечно трепетали и шелестели,— стояла невзрачная, угрюмая церковь, придавленная тяжелой черепичной кровлей с оголенным щипцом; фасад здания был прорезан слуховым оконцем и сводчатой дверью, над которой красовалось трехцветное знамя, увенчанное колпаком Свободы. Якобинцы, подобно кордельерам и фельянам, захватили у изгнанных монахов не только помещение, но и имя. Гамлен, в свое время не пропускавший ни одного заседания кордельеров, не заметил у якобинцев ни деревянных башмаков, ни карманьол, ни криков дантонистов. В клубе Робеспьера царили чиновничья сдержанность и буржуазная степенность. С тех пор как Друга народа не было в живых, Эварист внимал наставлениям Максимилиана, подчинившего авторитету своей мысли Клуб якобинцев и оттуда, при посредстве нескольких тысяч местных клубов, простиравшего свое влияние на всю Францию. Пока читали протокол, он скользил взором по голым унылым стенам, которые прежде служили приютом духовным сынам беспощадного борца с ересью, а теперь были свидетелями сборищ не менее ревностных борцов с преступлениями против отечества.

Здесь пребывала без пышности и проявляла себя в слове самая могущественная власть в стране. Она управляла Парижем, государством, диктовала свои декреты Конвенту. Эти основоположники нового строя, столь уважавшие закон, что оставались роялистами в 1791 году и, из упрямой приверженности к Конституции, даже после Варенна, эти друзья установленного порядка, не изменившие ему и после резни на Марсовом поле, никогда не восставшие против Революции, чуждые народным движениям,— эти люди питали в своей мрачной и могучей душе любовь к отечеству, сумевшую создать четырнадцать армий и воздвигнуть гильотину. Эварист восхищался их бдительностью, прозорливостью, догматичностью мышления, любовью к порядку, государственной мудростью и умением управлять.

Публика, наполнявшая залу, время от времени единодушно и размеренно вздрагивала, как листья на дереве Свободы, раскинувшемся у входа.

В этот день, одиннадцатого вандемьера, на трибуну поспешно поднялся молодой человек, остроносый, рябой, с покатым лбом, выступающим подбородком и бесстрастным выражением лица. Он был в слегка напудренном парике и голубом фраке, обрисовывавшем талию. У него была та сдержанность движений, та рассчитанность поз, которые позволяли одним насмешливо утверждать, что он похож на учителя танцев, а дру-

гим — именовать его более почтительно — «французским Орфеем». Робеспьер звонким голосом произнес громовую речь против врагов Республики, он обрушился с убийственными метафизическими доводами на Бриссо и его сообщников. Он говорил долго, цветисто и плавно. Витая в небесных сферах философии, он поражал молниями заговорщиков, пресмыкавшихся на земле.

Эварист услышал и понял. До сих пор он обвинял Жиронду в том, что она подготовляет восстановление монархии или торжество орлеанистов и замышляет гибель героического города, который освободил Францию и со временем освободит весь мир. Теперь же, внимая голосу мудреца, он прозревал более возвышенные и более чистые истины; он постигал революционную метафизику, подымавшую его дух над преходящими явлениями грубой действительности, уводившую прочь от заблуждений чувств в область абсолютной достоверности. Все вещи сами по себе запутаны и полны неясностей; события так сложны, что в них можно потеряться. Робеспьер упрощал ему все, представлял добро и зло в простых, ясных формулах. Федерализм, неделимость: в единстве и неделимости заключается спасение, в федерализме — вечные муки. Гамлен испытывал глубокую радость верующего, который знает, в чем спасение и в чем погибель. Отныне Революционный трибунал, как некогда церковные суды, будет иметь дело с преступлением абсолютным, с преступлением словесным. И так как Эварист обладал религиозным складом ума, он воспринимал эти откровения с мрачным энтузиазмом; его сердце радостно трепетало, воспламенялось и ликовало: отныне он знает, как распознать преступление и невинность. О сокровища веры, вы заменяете людям всё!

Мудрый Максимилиан разъяснял ему также коварные намерения тех, кто желает уравнять имущественные блага, разделить землю, уничтожить богатство и нищету и установить для всех благодатную посредственность. Увлеченный их теориями, Эварист сначала одобрял подобные намерения, ибо считал, что они вполне соответствуют принципам истинного республиканца. Но Робеспьер своими речами в Якобинском клубе разоблачил их происки и вывел на чистую воду людей, которые под благовидным предлогом стремятся к ниспровержению Республики и возбуждают богачей лишь для того, чтобы в их лице законная власть приобрела могущественных и непримиримых врагов. В самом деле, при первой же угрозе собственности все население, тем более привязанное к своему имуществу, чем это имущество незначительнее, восстанет как один человек против Рес-

публики. Затрагивать материальные интересы значит плодить заговоры. Якобы подготовляя всеобщее счастье и царство справедливости, те, кто предлагает гражданам добиваться равенства и общности имущества, являются в действительности изменниками и злодеями, более опасными, чем федералисты.

Но главное, на что ему открыл глаза мудрый Робеспьер,— это гнусный, преступный характер атеизма. Гамлен никогда не отрицал существования бога: он был деистом и верил в провидение, которое бдит над людьми. Не сознаваясь самому себе, что он крайне неясно постигает природу Верховного существа, и будучи убежденным сторонником свободы совести, он охотно допускал, что даже честные люди могут, по примеру Ламетри, Буланже, барона Гольбаха, Лаланда, Гельвеция, гражданина Дюпюи, отрицать существование бога, устанавливая наряду с этим основы естественной морали и находя в самих себе источник справедливости и принципы добродетельной жизни. Он даже испытывал сочувствие к атеистам, когда видел, что их поносят или преследуют. Максимилиан просветил его ум, снял пелену с глаз. Своим возвышенным красноречием этот великий человек вскрыл перед ним подлинную сущность безбожия, его природу, его тенденции, его последствия; он доказал, что эта доктрина, возникшая в салонах и будуарах аристократии,— наиболее коварное измышление врагов народа, стремившихся таким путем развратить и поработить его; что преступно лишать несчастных утешительной надежды на провидение, которое каждому воздает по заслугам, и оставлять их без руководства, без сдерживающего начала, во власти страстей, унижающих человека и делающих из него гнусного раба; что, наконец, монархический эпикуреизм какого-нибудь Гельвеция ведет к безнравственности, к жестокости, ко всем преступлениям. И с тех пор как уроки великого гражданина просветили его, он возненавидел атеистов, в особенности если они обладают жизнерадостным, веселым характером, вроде старика Бротто.

В следующие дни Эваристу пришлось одного за другим судить: бывшего дворянина, изобличенного в уничтожении зерна с целью довести народ до голода; трех эмигрантов, вернувшихся во Францию, чтобы разжечь гражданскую войну; двух девиц из Пале-Эгалите; четырнадцать заговорщиков-бретонцев — женщин, стариков, юношей, хозяев и слуг. Преступление было доказано, закон — точен. В числе подсудимых была женщина лет двадцати, в расцвете молодости и красоты, которой близость

неизбежного конца сообщала особое очарование. Ее золотистые волосы были перевязаны голубой лентой, а батистовая косынка прикрывала гибкую белую шею.

Эварист неуклонно голосовал за смертную казнь, и всех обвиняемых, за исключением одного старика садовника, отправили на эшафот.

В течение следующей недели Эварист и его товарищи скосили сорок пять мужчин и восемнадцать женщин.

Судьи Революционного трибунала не делали различия между мужчинами и женщинами, руководствуясь в этом отношении принципом не менее древним, чем само правосудие. И если председатель Монтане, тронутый мужеством и красотою Шарлотты Корде, пытался спасти ее, прибегнув ради этого к подлогу, за что и был смещен с должности, то в большинстве случаев женщин опрашивали без всяких поблажек, в соответствии с общими правилами судопроизводства. Присяжные побаивались женщин, опасались их лукавства, их всегдашнего притворства, их чар. Не уступая в смелости мужчинам, они тем самым давали Трибуналу основания обращаться с ними так же, как с мужчинами. Большинство тех, кто их судил, люди, в которых чувственность спала или пробуждалась лишь в положенное время, нисколько этим не смущались. Они приговаривали женщин к гильотине или оправдывали их, руководствуясь совестью, предрассудками, рвением, степенью своей любви к Республике. Почти все женщины являлись в суд тщательно причесанными и одетыми с той изысканностью, какая только была возможна в их грустном положении. Но между ними было мало молодых и еще меньше красивых. Тюрьма и заботы иссушали их, яркий свет в зале выдавал их усталость, их страх, подчеркивал поблекшие веки, нездоровый румянец, бледные, судорожно сжатые губы. Но все-таки в роковом кресле не раз можно было увидать молодую, прекрасную, несмотря на бледность, женщину, глаза которой были подернуты мрачной тенью, словно томною поволокой страсти. Сколько присяжных при таком зрелище испытывали нежность или раздражение! Сколько их, в глубине своей развращенной души, пытались проникнуть в самые сокровенные тайны этого создания, которое они представляли себе одновременно живым и мертвым! Сколько таких судей, вызывая перед собой сладострастные и кровавые картины, не отказывали себе в жестоком удовлетворении предать в руки палача вожделенное тело жертвы! Обо всем этом следовало бы, может быть, умолчать, но отрицать это, зная мужчин, нельзя никак. Эварист Гамлен, холодный и сведущий художник, признавал только

античную красоту, и красота не столько волновала его, сколько внушала ему уважение. Его классический вкус был до того строг, что редкая женщина нравилась ему: он был нечувствителен к прелести миловидного личика так же, как к краскам Фрагонара или формам Буше. Чтобы испытать желание, он должен был глубоко любить.

Как большинство его товарищей по Трибуналу, он считал женщин опаснее мужчин. Он ненавидел бывших принцесс, которые представлялись ему в ночных кошмарах изготовляющими, вместе с Елизаветой и Австриячкой, пули для убийства патриотов; он ненавидел также всех подруг сердца финансистов, философов, писателей, повинных в том, что они предавались чувственным и духовным наслаждениям и жили в такое время, когда жилось привольно. Он ненавидел их, не признаваясь самому себе в этой ненависти, и когда ему приходилось судить одну из таких женщин, он приговаривал ее к смерти, давая волю кипевшей в нем злобе, но убежденный, что действует справедливо и в интересах общего блага. И его честность, его мужское целомудрие, его холодная рассудительность, его преданность государству, его добродетели подводили под секиру одну трогательную головку за другой.

Но что случилось, что означает это чудо? Еще недавно надо было разыскивать виновных, прилагать старания, чтобы обнаружить их в убежищах, и чуть не силою вырывать у них признание. А теперь это уже не охота со сворою ищеек, не преследование пугливой дичи: теперь жертвы уже со всех сторон сами предлагают себя. Дворяне, девицы, солдаты, публичные женщины потоком устремляются в Трибунал, торопят судей, медлящих с приговором, требуют смерти, как права, которым им не терпится воспользоваться. Как будто недостаточно того множества людей, которыми наполнили тюрьмы ревностные доносчики и которых общественный обвинитель со своими помощниками с трудом успевают провести перед Трибуналом,— надо еще заботиться о казни тех, кто не хочет ждать! А сколько есть и таких, еще более горячих и гордых, которые, не желая уступать эту честь судьям и палачам, сами убивают себя! Жажде убийства сопутствует жажда смерти. Вот, в Консьержери, молодой военный, красавец, пышущий здоровьем, любимый; он оставил в тюрьме прелестную любовницу, которая сказала ему: «Живи для меня!» Но он не хочет жить ни для нее, ни для любви, ни для славы. Обвинительным актом он разжег трубку. И, республиканец до мозга костей, ибо он страстно любит свободу, он

объявляет себя роялистом для того, чтобы умереть. Трибунал прилагает все старания, чтобы оправдать его, но обвиняемый оказывается сильнее: судья и присяжные вынуждены уступить.

От природы беспокойный и добросовестный ум Эвариста под влиянием уроков якобинцев в окружающей жизни стал подозрителен и тревожен. Когда ночью, направляясь к Элоди, Эварист проходил по плохо освещенным улицам, ему казалось, что сквозь каждую отдушину он видит в погребе доску для печатания фальшивых ассигнаций; за пустой лавкой булочника или бакалейного торговца ему мерещились целые склады, ломящиеся от съестных припасов, припрятанных с целью спекуляции; за ярко освещенными окнами ресторанов ему чудились речи биржевиков, обсуждающих за бутылкой шабли или бонского вина, как довести страну до гибели; в зловонных переулках он видел гулящих девок, готовых под рукоплескания молодых щеголей втоптать в грязь национальную кокарду; на каждом шагу он встречал заговорщиков и изменников. И он думал: «Республика! Против стольких врагов, тайных и явных, у тебя одно только средство. Святая гильотина, спаси отечество!..»

Элоди ожидала его в своей голубой спаленке над «Амуром Живописцем». Чтобы он знал, что можно войти, она ставила на подоконник, рядом с горшком гвоздики, зеленую леечку. Теперь он внушал ей ужас, казался каким-то чудовищем: она боялась его и в то же время обожала. Всю ночь напролет кровожадный любовник и сладострастная девушка, не размыкая неистовых объятий, молча обменивались яростными поцелуями.

XIV

Встав на рассвете, отец Лонгмар подмел комнату, затем отправился на улицу Ада прослушать обедню в часовне, где обязанности пастыря нес священник, отказавшийся присягнуть Конституции. В Париже было множество таких убежищ, в которых ослушное духовенство тайно собирало небольшие паствы. Секционная полиция, несмотря на всю настороженность и подозрительность, закрывала глаза на эти потаенные приюты веры, из опасения возмутить верующих, а также из остатка благоговения перед святыней. Варнавит попрощался со своим хозяином, который с трудом уговорил его вернуться к обеду, да и то лишь после того, как гостю было обещано, что трапеза не будет ни обильной, ни изысканной.

Оставшись один, Бротто затопил маленькую плиту; готовя трапезу монаха и эпикурейца, он перечитывал Лукреция и размышлял о человеческой судьбе.

Этот мудрец нисколько не удивлялся, что жалкие существа, ничтожные игралища стихийных сил, обычно оказываются в нелепом и тяжелом положении, но он имел слабость думать, будто революционеры злее и глупее других людей, что, разумеется, было уже идеологией. Впрочем, он не был пессимистом и не находил, чтобы жизнь была из рук вон плоха. Он восхищался природой в некоторых ее проявлениях, особенно небесной механикой и физической любовью, и кое-как приспособлялся к тяготам жизни, в ожидании того неизбежного дня, когда ему уже не придется испытывать ни страха, ни желаний.

Он тщательно раскрасил несколько плясунов и сделал Церлину, походившую на Розу Тевенен. Эта женщина нравилась ему, и в качестве эпикурейца он вполне одобрял сочетание атомов, ее составлявших.

В этих делах он провел все время до возвращения варнавита.

— Я предупредил вас, отец мой, что трапеза будет скудная,— сказал он, открывая ему дверь.— У нас нет ничего, кроме каштанов. Да и приправить их нечем.

— Каштаны! — воскликнул, улыбаясь, отец Лонгмар.— Что может быть лучше. Мой отец, сударь, был бедным лимузинским дворянином, все имущество которого заключалось в разрушенной голубятне, запущенном плодовом саде и небольшой каштановой рощице. Вся его семья, состоявшая из жены и дюжины ребят, и сам он питались только зелеными крупными каштанами, однако все мы выросли сильными и здоровыми. Я был самым младшим и самым буйным: отец, шутя, говаривал, что мне следовало бы отправиться в Америку и заняться там морским разбоем... Ах, сударь, как чудесно пахнет ваш суп из каштанов! Он напоминает мне стол, окруженный венцом ребятишек, которым улыбалась моя мать.

После обеда Бротто отправился к Жоли, торговцу игрушками с улицы Нев-де-Пти-Шан, который купил у него плясунов, отвергнутых Кайу, и заказал не двенадцать дюжин, как тот, а для начала целых двадцать четыре дюжины сразу.

Дойдя до бывшей Королевской улицы, Бротто увидел на площади Революции сверкающий стальной треугольник между двумя деревянными брусьями: это была гильотина. Несметная веселая толпа зевак теснилась вокруг эшафота, ожидая прибытия телег с осужденными. Женщины с лотками у живота вы-

кликали свой товар — нантерские пирожки. Продавцы целебных настоек звонили в колокольчик; у подножия статуи Свободы старик показывал передвижные картины в райке, на верху которого сидела на качелях обезьяна. Под эшафотом псы лизали кровь, оставшуюся со вчерашнего дня. Бротто повернул назад, на улицу Оноре.

Возвратясь к себе на чердак, где варнавит читал молитвенник, он тщательно вытер стол, затем поставил на него ящик с красками и все свои инструменты и материалы.

— Отец мой,— сказал он,— если вы не считаете это недостойным священного сана, которым вы облечены, помогите мне, пожалуйста, мастерить плясунов. Сегодня утром я получил крупный заказ от некоего господина Жоли. Вы оказали бы мне большое одолжение, если бы согласились вырезывать по этим патронкам головы, руки, ноги и туловища, а я буду раскрашивать уже готовые фигурки. Лучших образцов не найти: они срисованы с картин Ватто и Буше.

— Я думаю, сударь, что Ватто и Буше действительно были мастерами на такие безделушки,— ответил Лонгмар,— не сомневаюсь, что их слава только выиграла бы, если бы они ограничились этими невинными паяцами. Я был бы счастлив пособить вам, но боюсь, что окажусь недостаточно искусным помощником.

Отец Лонгмар был прав, сомневаясь в своих способностях: после нескольких неудачных попыток пришлось признать, что у него решительно нет таланта вырезывать из тонкого картона перочинным ножиком изящные контуры. Но когда по его просьбе Бротто дал ему веревки и большую иглу с тупым концом, он проявил настоящее искусство, приводя в движение крошечные существа, которых не умел мастерить, и уча их танцевать. Он проверял их, заставляя каждого проделывать несколько па гавота, и, когда бывал ими доволен, легкая улыбка скользила по его суровым губам.

— Сударь,— сказал он, дергая в такт за веревочку Скарамуша,— эта фигурка напоминает мне странную историю. Дело происходило в тысяча семьсот сорок шестом году. Кончался срок моего послушничества под руководством отца Мажито, человека почтенного возраста, глубокой учености и весьма строгих правов. В ту пору, если только вы помните, плясуны, предназначенные прежде на забаву детям, вызывали к себе необычайный интерес у женщин и даже у мужчин, у стариков и молодежи,— они производили в Париже настоящий фурор. Лавки торговцев, бывших тогда в ходу, ломились от паяцев. Даже люди знатные заводили их себе, и нередко можно было встре-

тить важную особу, которая, прогуливаясь, дергала за веревочку паяца. Ни возраст, ни характер, ни сан отца Мажито не уберегли его от общей заразы. Видя, как у всех вокруг пляшет в руках картонный человечек, он чувствовал зуд в пальцах, вскоре ставший совсем нестерпимым. Однажды он отправился по весьма важному делу, касавшемуся всего ордена, на дом к господину Шовелю, адвокату при парламенте, и, увидав подвешенного к камину плясуна, испытал сильнейшее желание дернуть его за веревочку. Лишь с великим трудом поборол он в себе искушение. Но это легкомысленное желание продолжало смущать его и не давало ему покоя. Оно преследовало его во время научных занятий, в часы размышлений и молитв, в церкви, в капитуле, в исповедальне, на кафедре. Проведя несколько дней в ужасном смятении, он рассказал об этом необыкновенном случае командору ордена, по счастью находившемуся об эту пору в Париже. Это был ученый муж и один из князей миланской церкви. Он посоветовал отцу Мажито удовлетворить желание, невинное по существу, но чрезвычайно неприятное по своим последствиям, ибо, если не дать ему выхода, оно угрожало внести в обуреваемую им душу великое смятение. По совету или, вернее, по приказанию командора, отец Мажито снова поехал к господину Шовелю, который, как и в первый раз, принял его в кабинете. Там, увидев плясуна, подвешенного к камину, он быстро подошел к нему и попросил у хозяина позволения подергать веревочку. Адвокат охотно разрешил и признался, что нередко, обдумывая предстоящие выступления в суде, он сам заставляет плясать Скарамуша (так звали паяца) и что еще накануне он составил под его движения речь в защиту женщины, несправедливо обвиненной в отравлении мужа. Отец Мажито с трепетом схватил веревочку и увидел, как по его воле Скарамуш запрыгал и заметался, точно одержимый, из которого изгоняют бесов. Удовлетворив таким образом свою прихоть, он избавился от наваждения.

— Ваша история меня не удивляет, отец мой,— сказал Бротто.— В жизни человека бывают наваждения. Но не всегда их вызывают картонные фигурки.

Отец Лонгмар, хотя и был монахом, никогда не говорил о религии. Бротто, напротив, заговаривал о ней постоянно. А так как он чувствовал к варнавиту некоторое расположение, ему доставляло удовольствие смущать его и ставить в тупик доводами против различных пунктов христианского вероучения.

Однажды, мастеря вместе с Лонгмаром Церлин и Скарамушей, Бротто заметил:

— Размышляя над событиями, которые привели нас к нынешнему положению, я не могу сказать, какая из партий проявила себя наиболее безумной среди повального безумия, охватившего всех, и порою склонен думать, что первенство в этом отношении принадлежит придворной партии.

— Сударь, все люди теряют рассудок, когда их, как Навуходоносора, покидает бог,— ответил монах.— Однако ни один из наших современников не погряз столь глубоко в невежестве и заблуждении, никто не оказался для королевства столь роковым человеком, как аббат Фоше. Поистине господь сильно разгневался на Францию, если послал ей аббата Фоше!

— Мне кажется, мы видели злодеев, ни в чем не уступавших несчастному Фоше.

— Аббат Грегуар натворил также немало зла.

— А Бриссо, а Дантон, а Марат, а сотни других? Что скажете вы о них, отец мой?

— Сударь, это миряне: миряне не несут такой ответственности, как духовенство. Они не так вознесены, и содеянное ими зло не может иметь столь общее значение.

— А ваш бог, отец мой? Что вы скажете о его поведении в переживаемой нами революции?

— Не понимаю вас, сударь.

— Эпикур сказал: либо бог хочет воспрепятствовать злу, но не может, либо он может, но не хочет, либо он не может и не хочет, либо, наконец, он хочет и может. Если он хочет, но не может, он бессилен; если он может, но не хочет, он жесток; если он не может и не хочет, он бессилен и жесток; если же он может и хочет, почему он этого не делает, отец мой?

И Бротто торжествующе взглянул на собеседника.

— Нет ничего более жалкого, чем приводимые вами доводы, сударь,— ответил монах.— Когда я рассматриваю аргументы, на которые опирается неверие, мне кажется, что я вижу перед собой муравьев, пытающихся несколькими былинками преградить дорогу потоку, низвергающемуся с гор. Разрешите мне не вступать с вами в спор: у меня много доказательств, но мало находчивости. К тому же вы найдете опровержение ваших суждений у аббата Гене и у множества других духовных писателей. Скажу только, что слова Эпикура, которые вы привели,— глупость: ваш мудрец подходит к богу, как простому смертному, подчиненному законам человеческой морали. Что ж! Неверующие, начиная с Цельсия и кончая Бейлем и Вольтером, всегда водили за нос дураков при помощи таких же парадоксов.

— Вот видите, отец мой, на что толкает вас вера,— возразил Бротто.— Мало того что для вас вся истина в теологии — вы не находите ни крупинки истины в произведениях стольких гениев, мыслящих иначе, чем вы.

— Вы глубоко ошибаетесь, сударь,— ответил Лонгмар.— Напротив, я убежден что нет такой неверной мысли, которая была бы ложной до конца. Атеисты находятся на низшей ступени познания мира; но и тут можно встретить проблески понимания и зарницы истины; даже в тех случаях, когда человек целиком погружен во мрак, он подъемлет кверху чело, которое господь осеняет светом разума: таков удел Люцифера.

— Ну, сударь, я не буду столь великодушен и признаюсь, что во всех сочинениях богословов не нахожу ни атома здравого смысла,— сказал Бротто.

Тем не менее он утверждал, что не нападает на религию, так как он считает ее необходимой для народа; ему только хочется, чтобы ее служителями были философы, а не спорщики. Он сожалел, что якобинцы желают заменить ее более молодой и более вредной религией, религией свободы, равенства, республики, отечества. Он убедился, что в раннюю пору своего расцвета религии бывают всего яростнее и свирепее, а под старость становятся значительно мягче. Поэтому он стоял за сохранение католицизма, который в эпоху расцвета поглотил немало жертв, а теперь, отяжелев с годами, проявляет гораздо меньший аппетит, довольствуясь четырьмя-пятью поджаренными еретиками в столетие.

— Впрочем,— прибавил он,— я всегда отлично уживался с богоедами и христопоклонниками. У меня в дез Илетт был свой священник: каждое воскресенье он служил обедню в присутствии всех моих гостей. Среди них философы были самыми сосредоточенными, а оперные фигурантки самыми ревностными. Тогда я был счастлив и насчитывал много друзей.

— Друзей! — воскликнул отец Лонгмар.— Друзей!.. Ах, сударь, неужели и вы полагаете, что они вас любили, все эти философы и куртизанки, которые до такой степени извратили вашу душу, что сам господь с трудом узнал бы в ней один из храмов, воздвигнутых им во славу свою!

Целую неделю прожил отец Лонгмар у бывшего откупщика, и никто его за это время не потревожил. Он соблюдал, насколько это было возможно, правила ордена и в урочные часы поднимался с тюфяка, чтобы на коленях читать ночные молит-

вы. Хотя оба они питались крайне скудно, он соблюдал пост и воздержание. Философ, с грустной улыбкой следивший за этим самоистязанием, однажды спросил:

— Неужели вы в самом деле думаете, что богу приятно видеть, как вы страдаете от холода и голода?

— Сам господь,— ответил монах,— подал нам пример страдания.

На девятый день пребывания варнавита на чердаке у философа Бротто, когда уже стемнело, понес своих плясунов торговцу игрушками с улицы Нев-де-Пти-Шан. Он возвращался довольный, что расторговался, как вдруг на бывшей площади Карусели навстречу ему устремилась, прихрамывая, молоденькая девушка в голубой атласной шубке, отделанной горностаем. Она бросилась к нему в объятия и обхватила его руками, как это делали во все времена те, кто молит о защите.

Она дрожала; сердце ее громко и часто билось. Восхищенный тем, сколь патетична была она при всей ее вульгарности, старый театрал Бротто подумал, что даже мадемуазель Рокур могла бы извлечь из этого зрелища кое-какую для себя пользу.

Девушка говорила прерывающимся голосом, понижая его до шепота из опасения, что ее услышат прохожие:

— Уведите меня, гражданин, спрячьте меня, умоляю вас! Они у меня в спальне, на улице Фроманто. Пока они подымались по лестнице, я укрылась у Флоры, моей соседки, а потом выпрыгнула из окна на улицу и повредила себе при этом ногу... Они гонятся за мной; они хотят засадить меня в тюрьму и казнить... На прошлой неделе они казнили Виргинию.

Бротто понял, что она говорит о делегатах Революционного комитета секции или о комиссарах Комитета общественной безопасности. Коммуна имела в ту пору добродетельного прокурора гражданина Шометта, преследовавшего публичных женщин как самых опасных врагов Республики. Он хотел очистить нравы. Правду сказать, девицы из Пале-Эгалите были неважные патриотки. Они сожалели о старом порядке и не всегда скрывали это. Некоторых из них уже гильотинировали как заговорщиц, и их трагическая судьба побудила многих им подобных последовать их примеру.

Гражданин Бротто спросил у девушки, чем вызвала она приказ об аресте.

Она поклялась, что ничего не знает, что ей не в чем себя упрекнуть.

— В таком случае, дитя мое, ты вне подозрений: тебе нечего бояться,— сказал Бротто.— Иди спать и оставь меня в покое.

Тогда она призналась во всем:

— Я сорвала с себя кокарду и крикнула: «Да здравствует король!»

Он пошел с ней вдоль пустынных набережных. Опираясь на его руку, она рассказывала:

— И не так уж я его люблю, короля-то; сами понимаете, я его никогда и не видала, и, быть может, он мало чем отличается от других людей. Но нынешние очень злы. Они жестоко обращаются с бедными девушками. Они меня мучат, притесняют и всячески оскорбляют; они хотят помешать мне заниматься моим ремеслом. Другого-то ведь у меня нет. Можете мне поверить, что, будь у меня другое ремесло, я бы не занималась этим... Чего они хотят? Они бесчеловечно преследуют слабых и беззащитных — молочника, угольщика, водоноса, прачку. Они успокоятся только тогда, когда восстановят против себя весь бедный люд.

Он посмотрел на нее — она показалась ему совсем ребенком. Ей уже не было страшно. Теперь она улыбалась и шла легко, лишь чуточку прихрамывая. Он спросил, как ее зовут. Она ответила, что ее имя Атенаис и что ей шестнадцать лет.

Бротто предложил отвезти ее, куда она хочет. У нее не было знакомых в Париже, но в Палезо была тетка-служанка, которая, может быть, приютит ее у себя.

Бротто принял решение.

— Пойдем, дитя мое,— сказал он.

И, взяв ее под руку, повел к себе.

В мансарде он застал отца Лонгмара за чтением молитвенника.

Он указал ему на Атенаис, которую держал за руку:

— Отец мой, это девушка с улицы Фроманто; она крикнула: «Да здравствует король!» Революционная полиция гонится за ней по пятам. Ей негде преклонить голову. Вы позволите ей переночевать здесь?

Отец Лонгмар захлопнул молитвенник.

— Если я вас правильно понял,— сказал он,— вы меня спрашиваете, сударь, может ли эта молодая дева, которой так же, как и мне, угрожает арест, ради своего временного спасения провести ночь в одной комнате со мной?

— Да, отец мой.

— На каком же основании я мог бы противиться этому? Разве я уверен, что я лучше ее, чтобы считать себя оскорбленным ее присутствием?

Он расположился на ночь в старом колченогом кресле, уверяя, что прекрасно выспится в нем. Атенаис легла на матрас. Бротто растянулся на соломенном тюфяке и задул свечу.

На колокольнях отзванивали часы и половины. Бротто не спал и прислушивался к дыханию монаха, смешивавшемуся с дыханием девушки. Взошла луна, образ и свидетельница его былых любовных утех, и ее серебряный луч, проникнув в мансарду, осветил белокурые волосы, золотистые ресницы, тонкий нос и пухлые пунцовые губы Атенаис, которая спала, сжав кулачки.

«Вот,— подумал он,— страшный враг Республики!»

Когда Атенаис проснулась, было уже совсем светло. Монах ушел. Бротто у оконца читал Лукреция и учился у латинской музы жить без страха и без желаний. Однако его одолевали и сожаления и тревоги.

Открыв глаза, Атенаис с удивлением заметила у себя над головой голые балки чердака. Но потом вспомнила все, улыбнулась своему спасителю и доверчиво протянула ему прелестные грязные ручки.

Приподнявшись на ложе, она указала пальцем на ветхое кресло, в котором провел ночь монах.

— Он ушел?.. Как по-вашему, он не донесет на меня?

— Нет, дитя мое. Трудно найти более порядочного человека, чем этот старый безумец.

Атенаис спросила, в чем проявляется его безумие. Когда же Бротто сказал, что он помешан на религии, она с серьезным видом стала укорять его, зачем он так говорит, и заявила, что люди без религии хуже скотов; что же касается ее, она часто молится богу в надежде, что он простит ей все грехи и по великой милости своей примет ее в лоно свое.

Заметив в руках у Бротто книгу, она решила, что это требник.

— Вот видите, и вы тоже молитесь богу! — воскликнула она.— Господь вознаградит вас за все, что вы сделали для меня.

Бротто ответил, что эта книга не требник и что она написана в то время, когда никаких треб еще не существовало; тогда она подумала, что это сонник, и спросила, нет ли в нем объяснения странному сну, который она видела этой ночью. Она не умела читать и понаслышке знала только эти два рода сочинений.

Бротто ответил, что книга эта объясняет только жизненный сон. Найдя ответ непонятным, красотка отказалась от мысли постигнуть его и окунула кончик носа в глиняную чашку, за-

меняшую Бротто серебряные тазы, которыми он пользовался прежде. Затем она тщательно и чрезвычайно деловито стала приводить в порядок свою прическу перед зеркальцем для бритья, принадлежавшим ее хозяину. Запрокинув белые руки над головой, она роняла время от времени несколько слов.

— По-моему, вы когда-то были богаты.

— Откуда ты это взяла?

— Сама не знаю. Но вы были богаты, и вы аристократ, я в этом уверена.

Она вынула из кармана серебряную иконку божьей матери в круглой оправе из слоновой кости, кусочек сахару, нитки, ножницы, огниво, два-три игольника и, отобрав то, что было ей нужно, принялась зашивать юбку, порванную в нескольких местах.

— Ради собственной безопасности, дитя мое, приколите вот это себе к чепцу! — сказал Бротто, протягивая ей трехцветную кокарду.

— Охотно сделаю это, сударь,— ответила она,— но это будет из любви к вам, а не из любви к народу.

Одевшись и тщательно прихорошившись, она взялась обеими руками за юбку и, как учили ее этому в деревне, сделала Бротто реверанс:

— Ваша покорнейшая слуга, сударь.

Она готова была отплатить своему благодетелю любым способом, но находила вполне уместным, что он от нее ничего не требовал и что она ничего не предлагала: ей казалось, что будет очень мило, если они так и расстанутся, соблюдая все правила приличия.

Бротто сунул ей в руку несколько ассигнаций, чтобы она могла добраться в почтовой карете до Палезо. Это была половина его состояния, и, хотя он славился своей щедростью по отношению к женщинам, ни с одной он еще не делился так по-братски всем, что имел.

Она спросила, как его зовут.

— Меня зовут Морис.

Он с сожалением раскрыл перед нею дверь мансарды.

— Прощайте, Атенаис.

Она поцеловала его.

— Господин Морис, если вы когда-нибудь вспомните обо мне, называйте меня Мартой: этим именем меня крестили, этим именем звали в деревне... Прощайте... Благодарю вас... Ваша покорнейшая слуга, господин Морис!

XV

Надо было разгрузить переполненные тюрьмы, надо было судить,— судить без отдыха и передышки. Сидя вдоль стен, декорированных пучками ликторских прутьев и красными колпаками, подобно тому как их предшественники заседали среди королевских лилий, члены Революционного трибунала хранили важность и ужасающее спокойствие королевских судей. Общественный обвинитель и его помощники, измученные усталостью, изнуренные бессонницей и алкоголем, с величайшим усилием стряхивали с себя оцепенение: вконец расшатанное здоровье делало их трагичными. Присяжные, люди различные по происхождению и по характеру, одни образованные, другие невежественные, подлые или великодушные, кроткие или свирепые, лицемерные или искренние,— все они перед лицом опасности, угрожавшей отечеству и Республике, испытывали или притворялись, будто испытывают, одну и ту же тревогу, одно и то же пламенное горение; все они, жестокие из добродетели или из страха, составляли одно существо, одну глухую, разъяренную голову, одну душу, одного апокалипсического зверя, который, выполняя свое естественное назначение, обильно сеял вокруг себя смерть. Эмоциональные как в снисходительности, так и в беспощадности, они иногда под влиянием внезапного порыва жалости, со слезами на глазах, оправдывали обвиняемого, которого час назад, осыпав градом насмешек, отправили бы на эшафот. По мере того как они подвигались вперед в осуществлении своей задачи, эти люди все порывистее следовали велениям своего сердца.

Они судили в лихорадочно-дремотном состоянии, вызванном переутомлением, судили, подстрекаемые извне, подчиняясь приказам свыше, под угрозами санкюлотов и «вязальщиц», толпившихся на трибунах и местах для публики, судили, основываясь на вынужденных показаниях свидетелей и бредовых обвинениях, в духоте, отравлявшей мозг, вызывавшей шум в ушах и боль в висках, застилавшей глаза кровавым туманом. В народе смутно поговаривали, что некоторые присяжные подкуплены обвиняемыми. Но на эти слухи суд в полном составе отвечал негодующими протестами и беспощадными приговорами. Словом, это были люди не хуже и не лучше других. Безупречность чаще всего дело счастья, а не добродетель: всякий, кто согласился бы стать на их место, действовал бы точно так же, как они, и выполнял бы с грехом пополам возложенные на них чудовищные задачи.

Долгожданная Антуанетта, вся в черном, села наконец в роковое кресло, и ее появление сопровождалось таким взрывом ненависти, что только всеобщая уверенность в исходе процесса позволила соблюсти нужные формальности. На задаваемые ей убийственные вопросы обвиняемая отвечала, то руководствуясь инстинктом самосохранения, то движимая своим обычным высокомерием, а однажды, в ответ на гнусную выходку одного из обвинителей,— и с величием матери. Свидетелям разрешались только оскорбления и клевета; защита онемела от страха. Трибунал, скрепя сердце соблюдавший все правила судопроизводства, ждал, когда все это кончится, чтобы швырнуть в лицо Европе голову Австриячки.

Три дня спустя после казни Марии-Антуанетты Гамлена позвали к гражданину Фортюне Трюберу, умиравшему на складной кровати, в келье изгнанного варнавита, в тридцати шагах от канцелярии Военного комитета, где он окончательно надорвал себе здоровье. Его бледная голова глубоко ушла в подушки. Невидящим взором стеклянных глаз он посмотрел на Эвариста; иссохшая рука схватила руку друга и сжала ее с неожиданной силой. На протяжении двух последних дней у него три раза шла горлом кровь. Он сделал попытку заговорить; голос, сначала глухой и слабый, как шепот, окреп, зазвучал громче:

— Ватиньи! Ватиньи!.. Журдан разбил неприятеля в его лагере... принудил снять осаду с Мобежа... Мы снова захватили Маршьен. Ça ira... ça ira...

И он улыбнулся.

Это не было бредом больного. Ясное сознание действительности еще освещало этот мозг, на который надвигался вечный мрак. Отныне вторжение врага было, по-видимому, приостановлено: терроризованные генералы убедились, что им не остается ничего другого, как побеждать. То, чего нельзя было создать путем вербовки добровольцев,— мощную и дисциплинированную армию,— создали принудительным набором. Еще усилие — и Республика будет спасена.

Пролежав около получаса в забытьи, Фортюне Трюбер, на лицо которого смерть уже наложила свою печать, оживился, приподнял руки.

Он указал пальцем на ореховый письменный стол, составлявший всю обстановку в его комнате, и слабым задыхающимся голосом, но в полном сознании, проговорил:

— Друг мой, как Евдамид, я завещаю тебе свои долги: триста двадцать ливров... список там... в красной тетради... Прощай, Гамлен. Бодрствуй. Стой на страже Республики. Ça ira.

Вечерние сумерки уже сгущались в келье. Слышно было, как тяжело дышит умирающий и как его пальцы царапают одеяло.

В полночь он обронил несколько бессвязных слов:

— Еще селитры... Отберите ружья... Здоровье?.. Отлично... Снимите эти колокола...

В пять часов утра он испустил дух.

По распоряжению секции тело выставили в бывшей церкви варнавитов, у подножия алтаря Отечества, на походной койке, покрыв его трехцветным знаменем и возложив на голову покойника дубовый венок.

Двенадцать стариков, в римских тогах, с пальмовой ветвью в руках, и двенадцать девушек, в длинных покрывалах и с гирляндами цветов, окружали смертное ложе. У ног покойного двое детей держали по опрокинутому факелу. В одном ребенке Эварист узнал дочку консьержки Жозефину, своей детской серьезностью и очаровательной красотой напомнившую ему тех гениев Любви и Смерти, которых римляне изваивали на саркофагах.

Под пение Марсельезы и «Ça ira» погребальное шествие направилось на кладбище Сент-Андре-дез-Ар.

Запечатлевая прощальный поцелуй на челе Фортюне Трюбера, Эварист плакал. Он оплакивал самого себя, завидуя тому, кто, исполнив свой долг, покоился вечным сном.

Возвратившись домой, он получил извещение, что назначен членом Генерального совета Коммуны. Уже четыре месяца он числился кандидатом и теперь был избран, не имея конкурентов, после нескольких баллотировок, всего тридцатью голосами. Избирать было некому: секции обезлюдели; и богатые и бедные всячески старались уклониться от общественных повинностей. Даже самые крупные события не возбуждали уже ни энтузиазма, ни любопытства; газет никто не читал. Эварист сомневался, найдется ли среди семисот тысяч обитателей столицы три-четыре тысячи настоящих республиканцев.

В этот самый день начался процесс «Двадцати одного».

Неповинные или виновные в несчастьях и преступлениях Республики, тщеславные, неосторожные, честолюбивые и легкомысленные, в одно и то же время умеренные и неистовые, нерешительные и в терроре и в милосердии, торопливые в объявлении войны и медлительные в ее ведении, привлеченные к суду по примеру, который они сами дали, эти люди и теперь

«Боги жаждут»

еще были ослепительной молодостью Революции; а вчера они были ее очарованием и славой. Этот судья, который сейчас станет их допрашивать с изощренным пристрастием; этот обвинитель с бескровным лицом, там, у своего столика, готовящий им смерть и бесчестие; эти присяжные, которые не пожелают даже выслушать защиту; эта публика на трибунах, встречающая их бранью и свистом,— все они, судья, присяжные, народ, еще недавно рукоплескали их красноречию, превозносили их таланты, их добродетели. Но теперь они не помнят об этом.

Верньо был когда-то для Эвариста богом, а Бриссо — оракулом. Но он совершенно забыл об этом, и если в его памяти еще сохранился какой-то след былого преклонения, то лишь настолько, чтоб относиться к этим людям как к чудовищам, увлекшим за собою лучших граждан.

Возвращаясь после заседания домой, Гамлен услыхал душераздирающие вопли. Это кричала маленькая Жозефина, которую мать секла за то, что, играя на площади с ребятишками, она перепачкала прелестное белое платьице, которое на нее надели для участия в похоронах гражданина Трюбера.

XVI

Три месяца кряду изо дня в день приносил Эварист в жертву родине людей знаменитых и безвестных, пока наконец ему не пришлось быть судьей в процессе, касавшемся лично его: одного из обвиняемых он сделал своим обвиняемым.

С тех пор как Гамлен заседал в Трибунале, он жадно выискивал в толпе привлеченных к суду, проходившей у него перед глазами, соблазнителя Элоди: в своем неугомонном воображении он составил себе образ этого человека, причем некоторые его черты представлялись ему совершенно ясно. Он рисовал его себе юным, красивым, дерзким и почему-то был уверен, что тот эмигрировал в Англию. Ему почудилось, что он обнаружил его в лице молодого эмигранта Мобеля, который, возвратившись во Францию, был арестован в Пасси по доносу содержателя гостиницы и дело которого, вместе с несколькими сотнями однородных дел, находилось в производстве у Фукье-Тенвиля. При задержанном оказались письма, в которых следствие усматривало доказательства заговора, составленного Мобелем и агентами Питта; в действительности же это были письма лондонских банкиров, у которых эмигрант поместил свои деньги. Мобель, молодой красавец, по-видимому, больше всего был занят любов-

ными делами. В его записной книжке нашлись заметки, свидетельствовавшие о сношениях с Испанией, с которой Франция в то время вела войну; эти записи носили, в сущности, совершенно интимный характер, и если суд еще не постановил прекратить дело Мобеля за отсутствием улик, то лишь в силу принципа, что никогда не следует торопиться с освобождением арестованного.

Ознакомившись с подробностями первого допроса Мобеля, Гамлен был поражен сходством характера молодого аристократа с теми чертами, которые он приписывал человеку, злоупотребившему доверием Элоди. С тех пор Эварист, запираясь на целые часы в кабинете секретаря Трибунала, с жаром изучал дело. Его подозрения чрезвычайно усилились, когда он наткнулся в старой занисной книжке эмигранта на адрес «Амура Живописца», правда рядом с адресами «Зеленой Обезьяны», «Портрета (бывшей) Дофины» и еще других лавок, торговавших эстампами и картинами. Но когда он узнал, что в той же записной книжке нашли несколько лепестков красной гвоздики, тщательно переложенных папиросной бумагой, то, помня, что красная гвоздика — любимый цветок Элоди, который она взращивает у себя на окне, носит в волосах, дарит (он сам это знал) в знак любви, Эварист уже больше не сомневался.

Теперь, когда его предположения перешли в уверенность, он решил допросить Элоди, утаив от нее, однако, обстоятельства, которые помогли ему обнаружить преступника.

Подымаясь по лестнице к себе, он еще на нижней площадке почувствовал одуряющий запах фруктов и в мастерской застал Элоди, помогавшую гражданке Гамлен варить айвовое варенье. Пока старая хозяйка, растапливая плиту, прикидывала в уме, как бы сэкономить уголь и сахарный песок без ущерба для качества варенья, гражданка Блез, сидя на соломенном стуле, в сером холщовом переднике, с грудой золотистых плодов на коленях, чистила айву и, разрезая на четвертинки, бросала в медный таз. Боковые рюши ее чепца были отведены назад, пряди черных волос спускались ей на влажный лоб; от всего ее существа исходило очарование домашнего уюта и непринужденной грации, которое вызывало нежные мысли и не будило чувственности.

Не двигаясь с места, она подняла на своего любовника прекрасные глаза цвета расплавленного золота.

— Видите, Эварист, мы хлопочем для вас,— сказала она.— Всю зиму вы будете есть восхитительное желе из айвы: это укрепит вам желудок и улучшит настроение.

Но Гамлен, подойдя, шепнул ей на ухо:

— Жак Мобель...

В эту минуту в приотворенную дверь мастерской сунул свой красный нос сапожник Комбало. Вместе с башмаками, к которым приделал новые каблуки, он принес счет за прежние починки.

Из опасения прослыть плохим гражданином он пользовался новым календарем. Гражданка Гамлен, любившая ясность в счетах, совершенно терялась в фрюктидорах и вандемьерах.

Она вздохнула:

— Господи Иисусе! Всё-то они хотят переиначить: дни, месяцы, времена года, солнце и луну! Боже мой, господин Комбало, что это за пара галош восьмого вандемьера?

— Взгляните на ваш календарь, гражданка, и вам все станет ясно.

Она сняла со стены календарь, взглянула на него и тотчас отвела глаза.

— Он какой-то совсем не христианский! — воскликнула она в испуге.

— Мало того, гражданка,— подхватил сапожник,— у нас теперь только три воскресенья вместо четырех. И это еще не все: скоро переменят нашу систему счета. Не будет больше ни ливров, ни денье, за основу счисленья будет взята дистиллированная вода.

При этих словах у гражданки Гамлен дрогнули губы. Она подняла глаза к потолку и вздохнула:

— Это уж слишком!

Пока она сокрушалась, напоминая своим видом тех святых жен, которых изображают у подножия сельских распятий, головешка, разгоревшаяся на пылающих углях, наполнила мастерскую смрадом, что вместе с одуряющим запахом айвы делало воздух невыносимым.

Элоди стала жаловаться, что у нее першит в горле, и попросила открыть окно. Но как только сапожник ушел и гражданка Гамлен вернулась к плите, Эварист вторично шепнул на ухо гражданке Блез:

— Жак Мобель!

Она взглянула на него, немного удивленная, и с невозмутимым спокойствием, продолжая разрезать айву на четвертинки, спросила:

— Ну и что же?.. Жак Мобель?..

— Это он!

— Кто он?

— Тот, которому ты подарила красную гвоздику.

Она сказала, что ничего не понимает, и потребовала, чтоб он объяснил, в чем дело.

— Аристократ! Эмигрант! Подлец!..

Она пожала плечами и с глубокой искренностью стала уверять, что не была знакома ни с каким Жаком Мобелем.

И действительно она его не знала.

По ее словам, она никому, кроме Эвариста, не дарила красных гвоздик. Но в этом пункте, пожалуй, память ей и изменяла.

Он плохо знал женщин и не слишком хорошо изучил характер Элоди, однако считал, что она способна притворяться и может легко обмануть человека и более опытного, чем он.

— Зачем отпираться? — сказал он.— Я знаю.

Она снова попыталась убедить его, что никогда не была знакома ни с каким Мобелем. И, кончив чистить айву, попросила дать ей воды: у нее липли пальцы.

Гамлен принес таз с водой.

Моя руки, она снова стала разубеждать его.

Он повторил, что знает все, и на этот раз она ничего не возразила.

Она не догадывалась, куда клонятся расспросы ее любовника, и была бесконечно далека от мысли, что этот Мобель, о котором она никогда не слыхала, должен будет предстать перед Революционным трибуналом; она ничего не понимала в подозрениях, которыми ей докучал Эварист, но знала всю их неосновательность. Поэтому, не надеясь их рассеять, она и не стремилась сделать это. Она больше не отрицала, что знакома с Мобелем, предпочитая направить ревнивца по ложному следу, ибо в любую минуту малейшая случайность могла навести его на верный путь. Прежний избранник ее сердца, юный писец, превратившийся в патриота-драгуна, был теперь в ссоре со своей любовницей-аристократкой. Встречая Элоди на улице, он смотрел на нее взором, который, казалось, говорил: «Ну, ну, моя красотка! Чувствую, что скоро я прощу вам свою измену и не сегодня-завтра верну вам благосклонность». Поэтому она больше не старалась излечить возлюбленного от того, что называла его причудами, и Гамлен остался в убеждении, что Жак Мобель — соблазнитель Элоди.

В последующие дни Трибунал занимался без передышки изничтожением федерализма, который, как гидра, угрожал поглотить свободу. Это были страдные дни, и присяжные, изне-

могая от усталости, поспешили отправить на эшафот гражданку Ролан, вдохновительницу или соучастницу преступления бриссотинцев.

Между тем Гамлен каждое утро являлся в суд, настаивая на скорейшем рассмотрении дела Мобеля. Важные документы, касающиеся этого дела, находились в Бордо; он добился того, что за ними отправили на почтовых комиссара. Наконец они прибыли.

Помощник общественного обвинителя ознакомился с ними, поморщился и сказал Эваристу:

— Ну, бумаги-то твои не из важных, ничего существенного. Всякий вздор! Будь у нас хотя бы уверенность, что этот бывший граф Мобель эмигрировал!..

Наконец Гамлен добился своего. Молодой Мобель получил обвинительный акт и девятнадцатого брюмера предстал перед Революционным трибуналом.

С самого начала заседания у председателя было угрюмое и зловещее выражение, которое он стремился придать своему лицу всякий раз, когда дело было неясное. Товарищ общественного обвинителя пером почесывал себе подбородок и всячески старался принять вид человека, совесть которого чиста. Секретарь огласил обвинительный акт; всех поразила его необоснованность.

Председатель спросил у подсудимого, знал ли он о законах, изданных против эмигрантов.

— Да, я знал их и соблюдал,— ответил Мобель.— Когда я уезжал из Франции, мой паспорт был в полной исправности.

По поводу обстоятельств, вызвавших его путешествие в Англию и возвращение на родину, он дал вполне удовлетворительные объяснения. Лицо у него было приятное; откровенность и достоинство, с которым он держался, располагали в его пользу. Женщины, завсегдатаи трибун, смотрели на него благосклонным взором. Обвинение утверждало, что он проживал в Испании уже в то время, когда эта страна находилась в состоянии войны с Францией. Он же утверждал, что в ту пору не покидал Байонны. Один только пункт оставался невыясненным. В бумагах, которые он в момент ареста бросил в камин и от которых остались лишь клочки, можно было разобрать испанские слова и имя «Ниевес».

Жак Мобель наотрез отказался дать по этому поводу какие бы то ни было объяснения. А когда председатель указал

ему, что в интересах самого подсудимого осветить это обстоятельство, он ответил, что не всегда должно руководствоваться своими интересами.

Гамлен старался изобличить Мобеля лишь в одном преступлении: три раза он заставлял председателя спрашивать у подсудимого, может ли тот объяснить, что это за гвоздика, высохшие лепестки которой он так тщательно хранил.

Мобель ответил, что не считает себя обязанным отвечать на вопрос, не имеющий к суду никакого отношения, ибо в этом цветке не нашли спрятанной записки.

Присяжные удалились в совещательную комнату, настроенные в пользу молодого человека, в запутанном деле которого главное место, по-видимому, занимали любовные тайны. На этот раз даже самые горячие, самые правоверные патриоты охотно высказались бы за оправдательный приговор. Один из них, бывший дворянин, доказавший свою преданность Революции, спросил:

— Неужели ему вменяют в вину его происхождение? Я, например, тоже имел несчастье родиться аристократом.

— Да, но ты порвал с этой средой,— возразил Гамлен,— а он остается в ней и поныне.

И он с такой яростью обрушился на этого заговорщика, на этого эмиссара Питта, на этого сообщника Кобурга, отправившегося чуть ли не на край света, чтобы поднять против свободы ее врагов, он с таким жаром добивался осуждения изменника, что всколыхнул в суровой душе патриотов тревогу, всегда готовую пробудиться.

Один из них цинично заявил ему:

— Есть услуги, в которых нельзя отказать товарищу.

Смертный приговор был вынесен большинством одного голоса.

Осужденный выслушал его с невозмутимой улыбкой. Взгляд, которым он спокойно окинул весь зал, натолкнувшись на лицо Гамлена, исполнился невыразимым презрением.

Приговор был встречен гробовым молчанием.

Жака Мобеля отвели в Консьержери, и там, в ожидании казни, которая должна была состояться в тот же вечер, при свете факелов, он набросал письмо:

Дорогая сестра, Трибунал отправляет меня на эшафот, доставляя мне этим единственную радость, которую я еще могу испытать после смерти моей обожаемой Ниевес. Они отняли у меня последнее, что мне от нее оста-

валось,— цветок граната, который они почему-то называли гвоздикой.

Я любил искусство: в Париже, в счастливые времена, я собрал коллекцию картин и гравюр; они теперь спрятаны в надежном месте и будут тебе переданы при первой возможности. Прошу тебя, дорогая сестра, сохрани их на память обо мне.

Отрезав прядь волос, он вложил ее в письмо, запечатал конверт и надписал:

Гражданке Клеманс Деземери, урожденной Мобель. Ла Реоль.

Он отдал все находившиеся при нем деньги тюремщику с тем, чтобы тот вручил письмо по назначению, затем спросил бутылку вина и в ожидании принялся пить его маленькими глотками.

После ужина Гамлен поспешил к «Амуру Живописцу» и стремительно вбежал в голубую комнату, где каждую ночь его ожидала Элоди.

— Ты отомщена! — сказал он.— Жака Мобеля уже нет в живых. Телега, в которой его повезли на казнь, проехала под твоими окнами, окруженная факелами.

Она поняла.

— Негодяй! Это ты его убил, а он не был моим любовником! Я не знала этого человека... никогда не видала его... Каков он был собою? Наверно, молод, красив?.. И ни в чем не повинен!.. А ты убил его, негодяй! Негодяй!

Она лишилась сознания. Но и в обмороке, так походившем на смерть, она чувствовала, как, вместе с ужасом, ее заливает волною страсть. Она наполовину пришла в себя: из-под отяжелевших век показались белки глаз, грудь вздымалась, бессильно повисшие руки искали любовника. Она сжала его в своих объятиях, впилась ему в тело ногтями и, прильнув судорожно раскрытым ртом, запечатлела на его губах самый немой, самый глухой, самый долгий, самый скорбный и самый восхитительный из поцелуев.

Она тянулась к нему всем телом, и чем ужаснее, беспощадней и свирепей он ей представлялся, чем больше обагрял он себя кровью своих жертв, тем сильнее жаждала она его.

XVII

Двадцать четвертого брюмера, в десять часов утра, когда лучи солнца, окрасив небо в розовый цвет, уже разгоняли холод ночи, в бывшую церковь варнавитов явились граждане Гено и Делурмель, делегаты Комитета общественной безопасности, и потребовали, чтобы их провели в Наблюдательный комитет секции, в залу капитула, где находился в это время гражданин Бовизаж, подкладывавший поленья в камин. Но из-за его маленького роста вошедшие не сразу заметили его.

Надтреснутым, слабым, как у большинства горбунов, голосом гражданин Бовизаж предложил делегатам присесть и заявил, что он к их услугам.

Гено спросил его, не знает ли он бывшего дворянина дез Илетта, проживающего близ Нового моста.

— Это субъект, которого мне поручено арестовать,— прибавил он.

И он предъявил приказ Комитета общественной безопасности.

Бовизаж, порывшись немного в памяти, ответил, что не знает никого по имени дез Илетт; что подозрительная личность, носящая эту фамилию, возможно, даже не живет в их секции: ведь некоторые участки секций Музея, Единства, Марата и Марселя тоже расположены близ Нового моста; что если этот человек и живет в их секции, то не под именем, которое обозначено в приказе Комитета, но что тем не менее он будет немедленно разыскан.

— Не будем терять времени! — сказал Гено.— Нашу бдительность пробудило письмо одной из его сообщниц, которое было перехвачено и доставлено в Комитет еще недели две тому назад, но гражданин Лакруа только вчера вечером получил возможность ознакомиться с его содержанием. Мы завалены доносами: они поступают отовсюду и в таком изобилии, что мы не знаем, за кого раньше приняться.

— Доносы стекаются и к нам, в Наблюдательный комитет,— не без гордости ответил Бовизаж.— Одни доносят из чувства гражданского долга, другие — ради награды в сто су. Есть много детей, которые доносят на родителей, зарясь на наследство.

— Это письмо,— снова заговорил Гено,— исходит от бывшей дворянки Рошмор, распутной женщины, у которой играли в бириби, и адресовано оно гражданину Ролину, но в действи-

тельности предназначено какому-нибудь эмигранту, находящемуся на службе у Питта. Я захватил письмо с собою, чтобы сообщить вам все, что касается дез Илетта.

Он вынул письмо из кармана.

— Начинается оно длинным перечнем членов Конвента, который, по словам этой женщины, можно было бы подкупить деньгами или обещанием предоставить им крупный пост при новом правительстве, более прочном, чем теперешнее. Затем идет следующее место:

Я только что была у господина дез Илетта, живущего близ Нового моста, на чердаке, где его сам черт не найдет; он вынужден зарабатывать себе на хлеб, делая картонных паяцев. В его суждениях много здравого смысла, вот почему я передаю вам наиболее существенное из того, что он говорил мне. Ему не верится, что настоящее положение вещей продержится долго. Он не думает, что конец нынешнему порядку наступит только с победой коалиции, и события, по-видимому, подтверждают его мнение: вы ведь знаете, что за последнее время вести с войны далеко не отрадны. Он считает более вероятным исходом восстание простонародья, восстание, в котором сыграют видную роль и женщины, еще глубоко приверженные религии. Он полагает, что ужас, внушаемый Революционным трибуналом, вскоре объединит всю Францию против якобинцев. «Этот трибунал,— заметил он шутя,— который судит французскую королеву и разносчицу хлеба, похож на Вильяма Шекспира, столь любезного сердцу англичан...» По его мнению, не исключена возможность, что Робеспьер женится на дочери короля и провозгласит себя протектором королевства.

Я была бы вам весьма признательна, милостивый государь, если бы вы прислали причитающуюся мне сумму, а именно тысячу фунтов стерлингов тем путем, каким вы всегда это делаете, но остерегайтесь писать господину Морхардту: его только что арестовали, посадили в тюрьму...

— Господин дез Илетт делает паяцев,— заметил Бовизаж,— это ценная примета... хотя у нас в секции немало мелких ремесленников такого рода.

— Это напомнило мне, что я обещал принести куклу моей младшей дочке, Натали,— сказал Делурмель.— У нее скарла-

тина. Вчера показалась сыпь. Болезнь эта не опасная, но требует ухода. А Натали очень умный ребенок, развита не по возрасту, но здоровье у нее слабое.

— У меня,— сообщил Гено,— один только мальчик. Он катает обручи от бочек и пускает воздушные шары, надувая бумажные мешочки.

— Дети чаще всего забавляются предметами, не имеющими ничего общего с игрушками,— заметил Бовизаж.— Мой племянник Эмиль — очень смышленый семилетний мальчуган — целый день возится с кубиками, сооружает из них постройки. Не хотите ли?..

И Бовизаж протянул делегатам раскрытую табакерку.

— Ну а теперь пойдемте прихлопнем нашего молодчика,— сказал Делурмель, носивший длинные усы и свирепо вращавший глазами.— Я сегодня не прочь позавтракать потрохами аристократа и запить их стаканом белого вина.

Бовизаж предложил делегатам отправиться на площадь Дофина, в лавку его товарища Дюпона-старшего, который, по всей вероятности, знает дез Илетта.

Они шли в сопровождении четырех секционных гренадеров, дыша прохладным воздухом.

— Видели вы «Королей на Страшном суде»? — спросил спутников Делурмель.— Пьесу стоит посмотреть. Автор выводит в ней королей Европы, укрывшихся на необитаемом острове, у подножья вулкана, который в конце концов поглощает их. Произведение патриотическое.

Делурмель указал на углу улицы Арле на тележку, блестевшую, точно внутренность часовни; ее толкала старуха в клеенчатой шляпе, надетой поверх чепца.

— Чем она торгует? — спросил он.

Старуха сама ответила:

— Вот, взгляните, господа. Выбор у меня большой: четки всех сортов, нательные кресты, образки святого Антония, плащаницы, платки святой Вероники, Ecce homo, Agnus Dei, охотничьи рога и кольца святого Губерта и всякие предметы для благочестивых людей.

— Да ведь это настоящий арсенал фанатизма! — возмутился Делурмель.

Он решил обстоятельно допросить старуху, но та на все его вопросы отвечала одной и той же фразой:

— Сынок, вот уж сорок лет, как я торгую этим товаром.

Один из делегатов Комитета общественной безопасности,

увидав проходившего мимо солдата, приказал ему, к удивлению старухи, отвести ее в Консьержери.

Гражданин Бовизаж заметил Делурмелю, что, собственно говоря, арестовать торговку и отправить ее в секцию должен был бы Наблюдательный комитет и что вообще никто не знает, какой политики следует придерживаться относительно бывшего культа, чтобы действовать согласно видам правительства: надлежит ли все разрешать или же все запрещать.

Подходя к мастерской столяра, делегаты и комиссар услыхали яростные крики, скрип пилы и громкое шуршанье рубанка. Это ссорились столяр Дюпон-старший и его сосед, консьерж Ремакль. Причиной ссоры была гражданка Ремакль, которую неодолимая сила постоянно влекла в столярную мастерскую, откуда она возвращалась домой вся в стружках и опилках. Оскорбленный консьерж толкнул ногою собаку столяра как раз в ту минуту, когда его дочь Жозефина нежно обнимала Мутона. Возмущенная Жозефина накинулась с проклятиями на отца, а столяр вне себя от гнева заорал:

— Негодяй! Не смей бить мою собаку!

— А ты,— ответил Ремакль, замахиваясь на него метлой,— не смей...

Он не докончил фразы: фуганок столяра пролетел у него над самой головой.

Заметив издали гражданина Бовизажа в сопровождении делегатов, он устремился к нему навстречу.

— Гражданин комиссар, будь свидетелем, что этот разбойник чуть не убил меня! — крикнул он.

Гражданин Бовизаж, в красном колпаке, отличительном признаке занимаемой им должности, умиротворяюще простер свои длинные руки.

— Сто су тому из вас,— сказал он, обращаясь к консьержу и к столяру,— кто укажет местонахождение подозрительной личности, разыскиваемой Комитетом общественной безопасности,— бывшего дворянина дез Илетта, делающего паяцев.

Оба, и консьерж и столяр, в один голос назвав квартиру Бротто, стали теперь пререкаться лишь из-за ассигнации в сто су, обещанной доносчику.

Делурмель, Гено и Бовизаж, в сопровождении четырех гренадеров, консьержа Ремакля, столяра Дюпона и дюжины соседских мальчишек, поднялись гуськом по ступенькам, дрожавшим под ногами, затем вскарабкались по приставной лесенке на самый верх.

Бротто на своем чердаке вырезывал плясунов, а отец Лонгмар, сидя напротив него, соединял ниткой разрозненные части тела и улыбался, видя, как у него под руками возникают ритм и гармония.

Когда на площадке раздался стук ружейных прикладов, он весь затрясся,— не потому, чтобы был трусливее, чем Бротто, сохранивший невозмутимое спокойствие, но потому, что уважение окружающих избавляло его до сих пор от необходимости заботиться об осанке. По вопросам гражданина Делурмеля Бротто сообразил, откуда исходит удар, и немного поздно убедился, что нельзя доверяться женщинам. Получив предложение последовать за гражданином комиссаром, он взял с собой Лукреция и все три сорочки.

— Этот гражданин — мой подручный,— заявил он, указывая на отца Лонгмара,— я взял его к себе в помощь, мастерить плясунов. Он живет здесь же, в мансарде.

Но так как монах не мог представить свидетельства о гражданской благонадежности, его арестовали вместе с Бротто.

Когда шествие проходило мимо каморки консьержа, гражданка Ремакль, опираясь на метлу, окинула своего жильца взглядом добродетели, торжествующей при виде преступника в руках правосудия. Малютка Жозефина, на хорошеньком личике которой было написано презрение, удержала за ошейник Мутона, когда пес захотел лизнуть руку старому приятелю, не раз кормившему его сахаром. Толпа любопытных наполняла Тионвильскую площадь.

На нижней площадке лестницы Бротто встретил молоденькую крестьянку, собиравшуюся подняться наверх. На одной руке у нее висела корзина с яйцами, в другой она держала большую лепешку, завернутую в кусок холста. Это была Атенаис, привезшая из Палезо своему спасителю в знак благодарности эти скромные гостинцы. Увидев, что какие-то должностные лица и четыре гренадера уводят с собой «господина Мориса», она остолбенела, не веря своим глазам, потом подошла к комиссару.

— Ведь не собираетесь же вы увести его? — ласково спросила она.— Это невозможно... Вы просто не знаете его! Он добрее господа бога.

Гражданин Делурмель отстранил ее и приказал гренадерам идти вперед. Тогда Атенаис разразилась неистовой бранью, осыпая самыми бесстыдными ругательствами делегатов и гренадеров, которым казалось, что на их головы выли-

вают помои изо всех лоханок Пале-Рояля и улицы Фроманто. Затем голосом, прозвучавшим на всю Тионвильскую площадь и ужаснувшим толпу зевак, она крикнула:

— Да здравствует король! Да здравствует король!

XVIII

Гражданка Гамлен любила старика Бротто и считала его самым любезным и почтенным человеком из всех, кого она встречала на своем веку. Она не попрощалась с ним, когда его арестовали, потому что боялась проявить этим неуважение к властям и потому что, привыкнув в своем скромном положении смиряться перед сильными, вменяла трусость себе в долг. Но это происшествие было для нее потрясением, от которого она никак не могла оправиться.

Кусок не шел ей в горло, и она сокрушалась, что утратила аппетит как раз в то время, когда наконец получила возможность удовлетворять его. Она продолжала восхищаться сыном, но боялась даже думать о странных обязанностях, выполняемых им, и радовалась тому, что она простая невежественная женщина, которая вправе не иметь собственного мнения.

Бедная мать нашла на дне чемодана старые четки; она не знала толком, как с ними обращаться, но беспрестанно перебирала их дрожащими пальцами. Прожив до старости без религии, она теперь стала набожной: по целым дням, сидя у печки, она молила бога спасти ее сына и добрейшего господина Бротто. Нередко ее навещала Элоди; не смея взглянуть друг другу в глаза, они говорили, усевшись рядом, о незначительных, глубоко безразличных им вещах.

В один из дней плювиоза, когда от снега, падавшего крупными хлопьями, потемнело небо и звуки города доносились совсем глухо, гражданка Гамлен, находившаяся одна в квартире, услыхала стук в дверь. Она вздрогнула: уже несколько месяцев малейший шум повергал ее в трепет. Она открыла дверь. Не снимая шляпы, в мастерскую вошел молодой человек лет восемнадцати — двадцати. На нем был бутылочного цвета каррик, трехъярусный воротник которого, закрывая грудь, доходил до самого пояса, и английские ботфорты с отворотами. Каштановые волосы локонами спускались ему на плечи. Он прошел до середины комнаты, как будто желая, чтобы весь

свет, проникавший через запорошенное снегом окно, падал на него, и несколько мгновений неподвижно и молча постоял на месте.

Видя, что гражданка Гамлен смотрит на него в недоумении, он наконец спросил:

— Ты не узнаешь своей дочери?

Старуха всплеснула руками:

— Жюли!.. Это ты!.. Возможно ли?

— Разумеется, я. Поцелуй же меня, мама!

Вдова Гамлен сжала дочь в объятиях и уронила слезу на воротник каррика.

— Ты! В Париже! — с тревогой в голосе воскликнула она.

— Ах, мама, почему я не приехала одна! Меня-то никто не узнает в этом наряде.

В самом деле, каррик скрывал ее формы, и она ничем не отличалась от множества юношей, носивших, как она, длинные волосы, расчесанные на прямой пробор. Ее тонкое, очаровательное личико, загорелое, изможденное от усталости, огрубевшее от невзгод, выражало мужество и смелость. Худощавая, стройная, с длинными прямыми ногами, она держалась совершенно непринужденно; только слишком звонкий голос мог выдать ее.

Мать спросила, не голодна ли она. Жюли ответила, что охотно закусила бы, и когда мать поставила перед ней хлеб, вино и ветчину, она с жадностью принялась за еду, опершись локтем о край стола, прекрасная, как проголодавшаяся Церера в хижине старой Баубо.

Продолжая отпивать глотками вино, она спросила:

— Ты не знаешь, мама, когда вернется брат? Я пришла поговорить с ним.

Мать в замешательстве посмотрела на дочь и ничего не ответила.

— Мне надо повидать его. Мужа сегодня арестовали и отвели в Люксембург.

Она называла мужем Фортюне де Шассаня — бывшего дворянина и офицера одного из полков Буйе. Он сошелся с нею, когда она работала мастерицей у модистки на Ломбардской улице, затем похитил и увез ее в Англию, куда он эмигрировал после десятого августа. Он был ее любовником, но она находила более приличным, говоря о нем с матерью, называть его супругом. Она действительно считала, что невзгоды сочетали их прочными узами и что несчастие — то же таинство.

Не одну ночь провели они вдвоем на скамейке в лондонских парках, и не раз приходилось им подбирать корки хлеба под столом в тавернах Пиккадилли.

Мать не отвечала и уныло глядела на нее.

— Ты не слушаешь меня, мама? Время не терпит, мне необходимо немедленно повидать Эвариста: он один может спасти Фортюне.

— Жюли,— ответила мать,— лучше тебе не говорить с братом.

— Как? Что ты сказала, мама?

— Я сказала, что лучше тебе не говорить с братом о господине Шассане.

— Однако это необходимо, мама!

— Дитя мое, Эварист до сих пор не может простить господину Шассаню, что он похитил тебя. Ты знаешь, с какой яростью он говорил о нем, какими именами он называл его.

— Да, он называл его соблазнителем,— с резким смехом сказала, пожимая плечами, Жюли.

— Дитя мое, он был смертельно оскорблен. Эварист дал себе слово не произносить никогда имени господина де Шассаня. И вот уже два года, как он ни одним словом не обмолвился ни о нем, ни о тебе. Но чувства его не изменились. Ты знаешь его: он не простил вас.

— Но, мама, ведь Фортюне обвенчался со мною... в Лондоне...

Бедная мать, подняв глаза кверху, развела руками.

— Достаточно того, что Фортюне аристократ и эмигрант, чтобы Эварист относился к нему как к врагу.

— Ответь мне прямо, мама. Неужели ты думаешь, что, если я попрошу Эвариста похлопотать за Фортюне перед общественным обвинителем и в Комитете общественного спасения, он не согласится? Мама, ведь надо быть извергом, чтобы отказать мне в этом!

— Твой брат, дитя мое, порядочный человек и отличный сын. Но не требуй, заклинаю тебя, не требуй от него, чтобы он заступился за господина де Шассаня... Послушай, Жюли: он не посвящает меня в свои мысли, да, вероятно, я и не поняла бы его... Но он судья; у него твердые убеждения; он действует по совести. Не проси его ни о чем, Жюли.

— Вижу, что ты узнала его теперь. Ты знаешь, что это холодный, бесчувственный, злой человек, властолюбивый и тщеславный. А ты всегда предпочитала его мне. Когда мы жили все вместе, ты ставила его мне в пример. Его рассчитанные

движения и степенная речь производили на тебя впечатление: ты находила в нем все добродетели. Меня же ты всегда осуждала, приписывала мне всевозможные пороки только потому, что я не притворялась и лазила по деревьям. Ты меня не выносила. Ты любила его одного. Так знай же: я ненавижу твоего Эвариста! Это лицемер.

— Замолчи, Жюли! Я была хорошей матерью и для тебя и для него. Я дала тебе в руки ремесло. Не моя вина, если ты не осталась честной девушкой и не вышла замуж за человека из нашей среды. Я нежно любила и люблю тебя. Но не отзывайся дурно об Эваристе. Он прекрасный сын. Он неустанно заботится обо мне. Когда ты ушла от меня, дитя мое, когда ты забросила свое ремесло и магазин и перебралась к господину де Шассаню, что сталось бы со мной, если бы не он? Я умерла бы от нужды и от голода.

— Не говори так, мама; тебе отлично известно, что мы с Фортюне окружили бы тебя заботами, если бы ты под влиянием Эвариста не отвернулась от нас. Не убеждай меня: он не способен на доброе дело. Он притворяется, будто заботится о тебе, только для того, чтобы ты возненавидела меня. Он любит тебя?.. Да разве он может любить кого-нибудь? У него нет ни сердца, ни ума. Он совершенно бездарен, совершенно бездарен... Чтобы быть живописцем, надо иметь более тонкую натуру.

Она скользнула взором по полотнам Эвариста и нашла их в том самом состоянии, в каком оставила.

— Вот она, его душа! Холодная и мрачная, она вся в его полотнах. Его Орест, его Орест с бессмысленным взором, с отвратительным ртом, похожий на человека, которого посадили на кол, да ведь это он сам, в точности... Слушай, мама, разве ты не понимаешь? Я не могу оставить Фортюне в тюрьме. Ты ведь знаешь их, этих якобинцев и патриотов, всю эту шайку Эвариста. Они убьют его! А я его люблю! Я люблю его! Он был так добр ко мне, и мы так много перестрадали вместе! Вот и каррик, что на мне,— с его плеча. У меня не осталось даже сорочки. Один из приятелей Фортюне одолжил мне куртку, и в Дувре я поступила на службу в кабачок, а он работал подмастерьем у парикмахера. Мы знали, что, возвращаясь во Францию, рискуем жизнью; но нам предложили отправиться в Париж с важным поручением... Мы согласились: мы приняли бы поручение к самому дьяволу. Нам дали денег на дорогу и чек к одному из парижских банкиров. Но его контора оказалась закрытой: сам он в тюрьме, и не сегодня-завтра его гильотинируют. У нас в кармане не было ни гроша. Все лица, с

которыми мы были связаны и к которым мы могли бы обратиться, либо бежали, либо арестованы. Ни одной двери, куда можно бы постучаться. Мы ночевали в конюшне на улице Безголовой Женщины. Сердобольный чистильщик сапог, спавший вместе с нами на соломе, одолжил моему другу ящик, щетку и банку с ваксой, уже на три четверти пустую. Фортюне две недели зарабатывал на жизнь нам обоим, чистя сапоги на Гревской площади. Но в понедельник к нему подошел какой-то член Коммуны и, поставив ногу на ящик, предложил почистить сапоги. Раньше он был мясником, и Фортюне как-то дал ему хорошего пинка в зад за то, что мошенник обвесил его. Когда Фортюне поднял голову, чтобы получить причитающиеся ему два су, мерзавец узнал его, обозвал аристократом и пригрозил арестовать. Собралась толпа; в ней были и порядочные люди, но несколько негодяев стали кричать: «Смерть эмигранту!» — и звать жандармов. Как раз в эту минуту я принесла суп для Фортюне. У меня на глазах его повели в секцию и заперли в церкви святого Иоанна. Я хотела обнять его, но меня оттолкнули. Я провела ночь, как собака, на церковной паперти... А сегодня утром его отвезли...

Жюли не могла договорить: рыдания душили ее.

Она бросила шляпу на пол и упала перед матерью на колени.

— Сегодня утром его отвезли в Люксембургскую тюрьму. Мама, мама, помоги мне спасти его! Сжалься над своей дочкой!

Вся в слезах, она распахнула каррик и, чтобы в ней легче было признать любящую женщину и дочь, обнажила грудь; схватив руки матери, она прижала их к трепещущей груди.

— Дочка моя дорогая, Жюли, моя Жюли! — вздохнула вдова Гамлен.

И прильнула влажным от слез лицом к щекам молодой женщины.

Несколько мгновений они хранили молчание. Бедная мать соображала, как бы помочь дочери, а Жюли не сводила взора с ее заплаканных глаз.

«Быть может,— думала мать Эвариста,— быть может, если я с ним поговорю, мне удастся его смягчить. Сердце у него доброе, нежное. Если бы политика не ожесточила его, если бы он не подпал под влияние якобинцев, у него не было бы этой суровости, которая пугает меня, потому что я не понимаю ее».

Она взяла в обе руки голову Жюли.

— Послушай, дочка. Я поговорю с Эваристом. Я подготовлю его к встрече с тобой. А то, неожиданно увидав тебя, он может прийти в ярость... Я боюсь его первого движения... И потом, я ведь знаю твоего брата: этот наряд неприятно поразил бы его; он строго относится ко всему, что касается нравов, приличий. Я сама была немного удивлена, увидав мою Жюли в мужском костюме.

— Ах, мама, эмиграция и страшные события в стране сделали переодевание вещью совсем обычной. На это идешь, чтобы заняться ремеслом, чтобы не быть узнанной, чтобы иметь возможность жить по чужому паспорту или свидетельству о благонадежности. В Лондоне я видела молодого Жире, переодетого в женское платье: он казался прехорошенькой девушкой, но согласись, мама, что такой маскарад гораздо неприличнее моего.

— Дитя мое дорогое, тебе незачем оправдываться передо мной ни в этом, ни в чем-либо другом. Я — твоя мать: для меня ты всегда будешь невинной. Я поговорю с Эваристом, я скажу ему...

Она не докончила фразы. Она догадывалась, что такое ее сын,— догадывалась, но не хотела верить, не хотела знать.

— У него доброе сердце. Он сделает для меня... для тебя все, о чем я его попрошу.

И обе женщины, бесконечно уставшие, замолчали. Жюли уснула, положив голову на те самые колени, на которых засыпала ребенком. Убитая горем мать, перебирая четки, плакала в предчувствии несчастий, неслышно подступавших в тишине этого снежного дня, тишине, когда безмолвствовало все: шаги, колеса, само небо.

Вдруг своим чутким слухом, еще обостренным беспокойством, она расслышала, что ее сын подымается по лестнице.

— Эварист! — шепнула она.— Спрячься.

И втолкнула дочь к себе в спальню.

— Как вы себя чувствуете, матушка?

Эварист повесил шляпу на вешалку, снял с себя голубой фрак и, надев рабочую блузу, уселся перед мольбертом. Уже несколько дней он набрасывал углем фигуру Победы, возлагающей венок на голову солдата, умершего за родину. Он с увлечением отдался бы этой работе, но Трибунал отнимал у него все время, поглощал его целиком. Его рука, отвыкшая рисовать, двигалась медленно и лениво.

Он стал напевать «Ça ira».

— Ты поешь, дитя мое,— сказала гражданка Гамлен,— ты в веселом настроении.

— Как же не радоваться, матушка: получены хорошие вести. Вандея раздавлена, австрийцы разбиты; Рейнская армия прорвала линию неприятельских укреплений в Лаутерне и Вейсенбурге. Близок день, когда победившая Республика проявит свое милосердие. Но почему дерзость заговорщиков растет по мере укрепления сил Республики и почему изменники изощряются в тайных кознях против родины в то время, когда она поражает врагов, которые открыто нападают на нее?

Гражданка Гамлен, продолжая вязать чулок, наблюдала за сыном поверх очков.

— Твой старый натурщик, Берзелиус, приходил за десятью ливрами, которые ты остался ему должен. Я отдала ему деньги. У малютки Жозефины были сильные колики в животе: она объелась вареньем, которым ее угостил столяр. Я приготовила ей настойку... Заходил Деман. Он сожалел, что не застал тебя, и говорил, что с удовольствием взялся бы выгравировать один из твоих рисунков. Он находит, что у тебя большой талант. Славный малый рассматривал твои наброски и восхищался.

— Когда мы заключим мир и уничтожим всех заговорщиков,— сказал художник,— я снова примусь за Ореста. Я не люблю хвастать, но это голова, достойная Давида.

Величественной линией он наметил руку своей Победы.

— Она протягивает пальмовые ветви,— сказал он.— Но было бы лучше, если бы самые руки ее были пальмовыми ветвями.

— Эварист!

— Что, матушка?

— Я получила известие... угадай от кого...

— Не знаю.

— От Жюли... от твоей сестры... Ей живется совсем не сладко.

— Было бы возмутительно, если бы ей жилось хорошо.

— Не говори так, дитя мое: она тебе сестра. Жюли неплохой человек. Она способна на добрые чувства, а несчастие еще взрастило их. Она тебя любит. Могу тебя уверить, Эварист, что она стремится зажить честной, трудовой жизнью и только о том и думает, как бы опять сблизиться с нами. Почему бы тебе не повидаться с нею? Она вышла замуж за Фортюне Шассаня.

— Она писала вам?

— Нет.

— Как же вы получили известия от нее?

— Я узнала это не из письма, дитя мое; я...

Он поднялся и прервал ее голосом, от которого ей стало страшно.

— Замолчите, мама! Не говорите мне, что они оба вернулись во Францию... Раз они должны погибнуть, пускай это произойдет без моего участия. Ради них, ради себя, ради меня сделайте так, чтобы я не знал, что они в Париже... Не открывайте мне глаз на то, чего я не желаю видеть, иначе...

— Что ты хочешь этим сказать, дитя мое? Ты мог бы, ты дерзнул бы?..

— Матушка, выслушайте меня: если бы я знал, что моя сестра находится в этой комнате... (он показал пальцем на запертую дверь), я немедленно заявил бы об этом в Наблюдательный комитет секции.

Бедная мать, лицо которой стало белым, как ее чепец, выронила вязанье из дрожащих рук и еле слышно прошептала:

— Я не хотела верить, но теперь вижу сама: это — чудовище...

Побледнев не меньше, чем она, Эварист с пеной у рта выскочил из комнаты и бросился к Элоди, чтобы в ее объятиях найти забвенье, сон, восхитительное предвкушение небытия.

XIX

Пока отца Лонгмара и девицу Атенаис допрашивали в секции, Бротто под конвоем двух жандармов препроводили в Люксембург; но привратник отказался принять его, заявив, что у него нет больше мест. Старого откупщика доставили в Консьержери и ввели в канцелярию, маленькую комнату, разделенную надвое стеклянной перегородкой. Пока письмоводитель вносил его имя в реестр арестованных, Бротто успел рассмотреть за стеклом двух человек, лежавших на дрянных матрасах; они лежали неподвижно, как мертвецы, и, устремив глаза в одну точку, казалось, ничего не видели. Тарелки, бутылки, остатки хлеба и мяса валялись вокруг них на полу. Это были приговоренные к смертной казни, дожидавшиеся телеги.

Бывшего дворянина дез Илетта отвели в подземную темницу, где при свете фонаря он разглядел две простертые на полу фигуры: у одного из арестантов лицо было свирепое, изуродованное отвратительными рубцами, у другого — привлека-

тельное и кроткое. Оба заключенных уступили ему немного соломы,— прогнившей, кишевшей насекомыми,— чтобы ему не пришлось ложиться на голую землю, загаженную испражнениями. Бротто опустился на скамью, охваченный со всех сторон зловонным мраком, и, прислонив голову к стене, сидел не двигаясь, не говоря ни слова. Его отчаяние было так велико, что, будь у него достаточно сил, он размозжил бы себе голову о стену. Он задыхался. Глаза заволоклись туманом; протяжный шум, спокойный, как безмолвие, наполнил ему уши; он почувствовал, что все его существо погружается в сладостное небытие. В течение одного ни с чем не сравнимого мгновенья все вокруг него стало гармонией, прозрачной ясностью, благоуханием, сладостью. Затем он перестал существовать.

Когда он снова пришел в себя, первым его душевным движением была горестная мысль о том, что обморок кончился: оставаясь философом даже в минуты самого страшного отчаяния, он подумал, что ему надо было спуститься в каменный мешок и ждать гильотины, чтобы пережить острейшее наслаждение, на какое когда-либо были способны его чувства. Он попытался снова впасть в обморочное состояние, но это ему не удавалось,— наоборот, он чувствовал, как зараженный воздух, проникая ему в легкие, вместе с ощущением жизненного тепла, мало-помалу возвращает ему сознание невыносимой действительности.

Между тем оба соседа приняли его молчание за жестокое оскорбление. Бротто, человек общительный, постарался удовлетворить их любопытство, но, узнав, что он один из тех, кого называют «политическими», то есть человек, все преступление которого выразилось только в слове или образе мыслей, они сразу утратили к нему всякое уважение и симпатию. Им обоим вменялись в вину более тяжкие деяния: старший из них был убийца, другой занимался подделыванием ассигнаций. Они вполне освоились со своим положением и даже находили в нем какое-то удовлетворение. Бротто вдруг вспомнил, что у него над головой живет и движется шумная, залитая светом улица, что хорошенькие продавщицы Пале-Рояля улыбаются за своими прилавками с парфюмерией и галантереей свободному, счастливому прохожему, и эта мысль еще усилила его отчаяние.

Наступила ночь, незаметная во мраке и молчании темницы, но тем не менее гнетущая и зловещая. Протянув одну ногу на скамейке и опершись спиною о стену, Бротто уснул. Ему приснилось, что он сидит у подножия густолиственного бука, в ветвях которого поют птицы; заходящее солнце покрывает

поверхность реки жидким пламенем, а края облаков окрашены пурпуром. Ночь прошла. Он горел в мучительной лихорадке и жадно пил прямо из кувшина воду, от которой его недуг только усиливался.

На следующее утро тюремщик, принесший похлебку, предложил Бротто перевести его за известную мзду в другое помещение, где заключенные содержались за свой собственный счет; он обещал сделать это, как только освободится место, чего, по его словам, придется ждать недолго. Действительно, через день он велел старому откупщику выйти из камеры. С каждой ступенькой, на которую поднимался Бротто, он чувствовал, как к нему возвращаются силы и жизнь, а когда на кирпичном полу комнаты, куда его ввели, он увидел перед собою складную койку, прикрытую плохоньким шерстяным одеялом, он заплакал от радости. Раззолоченная кровать с целующимися голубками, которую он некогда заказал для красивейшей из танцовщиц Оперы, менее радовала его взор и не сулила стольких наслаждений.

Койка помещалась в большой, довольно опрятной зале, где находилось еще семнадцать таких же коек, отгороженных одна от другой высокими переборками. Новые соседи, в большинстве своем бывшие дворяне, торговцы, банкиры и ремесленники, пришлись по вкусу старому откупщику, который умел уживаться со всякого рода людьми. Он заметил, что эти несчастные, подобно ему лишенные всяких развлечений и осужденные погибнуть от руки палача, проявляют веселость и большую склонность к шуткам. Не слишком расположенный восхищаться людьми, он объяснял хорошее настроение своих товарищей их легкомыслием, которое мешало им призадуматься как следует над собственной участью. Он утвердился в этом мнении, увидев, что наиболее умные из них были печальны. Вскоре он обнаружил, что большинство его соседей черпало бодрость в вине и в водке, сообщавших их веселью неистовый и безрассудный характер. Не все они обладали мужеством, но все старались выказывать его. Бротто нисколько не был удивлен этим: он знал, что мужчины охотно сознаются в жестокости, в гневе, даже в скупости, но в трусости — никогда, так как подобное признание подвергло бы их смертельной опасности не только среди дикарей, но и в цивилизованном обществе. Именно поэтому, думал он, все народы — народы героические, и все армии состоят из одних храбрецов.

Еще сильнее, чем вино и водка, действовали на заключенных,— одних повергая в грусть, других доводя до бреда и

исступления,— лязг оружия, звяканье ключей, скрежет замков, оклики часовых, топот ног у дверей Трибунала. Некоторые перерезывали себе горло бритвой или выбрасывались из окна.

На четвертый день после перевода в новое помещение Бротто узнал от тюремного сторожа, что отец Лонгмар томится на гнилой, кишащей насекомыми соломе, в обществе воров и убийц. Тогда он добился, чтобы Лонгмара перевели в ту же камеру, где жил он, на только что освободившуюся койку. Обязавшись платить за содержание монаха, старый откупщик, у которого денег было в обрез, принялся рисовать портреты по экю за штуку. Он раздобыл через тюремщика маленькие черные рамочки и вставлял в них миниатюрные изделия из волос, которые он мастерил довольно искусно. Среди людей, желавших оставить своим близким что-нибудь на память о себе, эти вещицы пользовались большим успехом.

Отец Лонгмар держался мужественно и стойко. В ожидании часа, когда ему надо будет предстать перед Революционным трибуналом, он готовился к защите. Не отделяя своего личного дела от дела церкви, он собирался растолковать судьям беспорядки и соблазны, жертвой которых пала невеста Христова в результате гражданского устройства духовенства. Он намеревался изобразить старшую дочь церкви святотатственно ополчившеюся против папы; французских священников — лишенными последнего достояния, оскорбляемыми, поставленными в гнусную зависимость от мирян; монахов, подлинное воинство Христово,— ограбленными и рассеянными по лицу земли. Он цитировал Григория Великого и святого Иринея, приводил множество ссылок из кодекса канонического права и целые параграфы Декреталий.

Весь день, сидя у изножья кровати, он что-то торопливо набрасывал у себя на коленях, макая огрызки перьев в чернила, в сажу, в кофейную гущу; он покрывал мельчайшим почерком бумагу из-под свечей, оберточную бумагу, газеты, форзацы книг, старые письма, старые счета, игральные карты и даже намеревался использовать для этого свою сорочку, предварительно накрахмалив ее. Он исписывал лист за листом и, показывая на неразборчивую мазню, говорил:

— Когда я предстану перед судьями, я ослеплю их светом истины.

Однажды, окинув довольным взором свою неудержимо растущую защитительную речь и думая о судьях, которых ему не терпелось пристыдить, он воскликнул:

— Не хотел бы я быть на их месте!

Заключенные, которых судьба свела вместе в этой камере, были либо роялистами, либо федералистами; среди них затесался даже один якобинец. Они придерживались различных мнений насчет системы государственного управления, но ни у кого из них не сохранилось и следа христианских верований. Фельяны, конституционалисты, жирондисты находили, подобно Бротто, что им бог не нужен, но что он необходим для народа. Якобинцы ставили на место Иеговы якобинского бога для того, чтобы возвести самое якобинство на недосягаемую высоту; но поскольку ни те, ни другие не могли допустить, что есть наивные люди, способные верить в какую бы то ни было религию откровения, постольку они, видя, что отец Лонгмар вовсе не глуп, считали его плутом. А так как он, желая, должно быть, подготовиться к мученическому венцу, исповедовал свою веру перед первым встречным, то чем с бо́льшим чистосердечием он это делал, тем больше товарищи по заключению склонны были принимать его за обманщика.

Напрасно Бротто ручался, что монах — человек честный и убежденный; все считали, что и сам Бротто не особенно верит тому, что говорит. Его идеи были слишком своеобразны, чтобы казаться искренними, и никого не удовлетворяли вполне. Он отзывался о Жан-Жаке как о пошлом мошеннике. Напротив, Вольтера боготворил, хотя все же не ставил на одну доску с любезным его сердцу Гельвецием, с Дидро или бароном Гольбахом. По его мнению, величайшим гением последнего столетия был Буланже. Он также очень уважал астронома Лаланда и Дюпюи, автора «Трактата о происхождении созвездий». Присяжные шутники всячески издевались над бедным варнавитом, но он не замечал ничего: его прекраснодушие разрушало все козни.

Стараясь отогнать мысли, не дававшие им покоя, и не страдать от безделья, заключенные играли в шашки, в карты и в триктрак. Иметь при себе музыкальные инструменты было запрещено. После ужина пели хором или читали стихи. «Орлеанская девственница» Вольтера вносила некоторое веселье в сердца этих несчастных, и они с удовольствием выслушивали по нескольку раз наиболее удачные места. Но так как им не удавалось окончательно избавиться от гнетущей мысли, гнездившейся у них в сердце, они иногда старались превратить ее в развлечение, и в камере, где помещалось восемнадцать коек, играли перед сном в Революционный трибунал. Роли распределялись в соответствии с наклонностями и способностями

каждого. Одни представляли судей и обвинителя, другие — обвиняемых или свидетелей, остальные — палача и его помощников. Все процессы неизменно заканчивались казнью осужденных, которых укладывали на койке, опуская им на шею доску. Затем действие переносилось в ад. Наиболее искусные актеры, завернувшись в простыни, изображали духов. Молодой адвокат из Бордо, по фамилии Дюбоск, маленький, черный, косой, горбатый, кривоногий, воплощенный Хромой Бес, подходил, устроив себе рога, к отцу Лонгмару, стаскивал его за ноги с койки и объявлял ему, что он осужден на вечные муки за то, что сделал из творца вселенной существо завистливое, глупое и злое, врага веселья и любви.

— А-а-а! — надрывался чудовищным криком черт.— Ты учил, старый бонза, что богу нравится, когда его создания изнуряют себя постом и молитвой, воздерживаясь от самых лучших его даров. Обманщик, лицемер, ханжа, сиди на гвоздях и питайся до скончания века яичной скорлупой!

Отец Лонгмар ограничивался репликой, что в этой речи из-под личины дьявола выглядывает философ и что самый ничтожный из духов ада никогда не наговорил бы столько глупостей, так как набрался кое-каких сведений в богословии и уж, конечно, менее невежествен, чем любой энциклопедист.

Но когда адвокат-жиронди́ст называл его капуцином, он выходил из себя и уверял, что человек, не умеющий отличить варнавита от францисканца, не заметит и мухи в молоке.

Революционный трибунал разгружал тюрьмы, которые комитеты беспрестанно наполняли; за три месяца камера восемнадцати наполовину обновилась. Отец Лонгмар лишился своего маленького беса. Адвокат Дюбоск, представший перед Революционным трибуналом, был приговорен к смерти как федералист и как участник заговора против единства Республики. Выйдя из Трибунала, он, как и все осужденные, проходил коридором, тянущимся из одного конца тюрьмы в другой и ведущим мимо двери той самой камеры, которую он в течение трех месяцев оживлял своей веселостью. При прощании с товарищами он сохранял свой обычный легкомысленный тон и жизнерадостный вид.

— Простите, сударь, за то, что я стаскивал вас за ноги с постели,— обратился он к отцу Лонгмару.— Больше не буду.

Повернувшись к старику Бротто, произнес:

— Прощайте, я раньше вас погружаюсь в небытие. Я охотно возвращаю природе элементы, составляющие меня, и же-

лаю, чтобы в будущем она лучше использовала их, ибо, надо сознаться, я совсем не удался ей.

И он спустился в канцелярию; Бротто было подавлен, а отец Лонгмар задрожал и позеленел, как лист: монах перепугался насмерть, видя, что нечестивец смеется и на краю бездны.

Когда с жерминалем вернулись ясные дни, Бротто, по натуре человек чувственный, по нескольку раз на день спускался во двор, куда выходили окна женского корпуса, к водоему, где узницы по утрам стирали белье. Двор был перегорожен пополам решеткой, но не настолько частой, чтобы руки не могли обменяться пожатием, а губы слиться в поцелуе. Под покровом снисходительной ночи к решетке приникали пары. В таких случаях Бротто скромно отходил к лестнице и, усевшись на ступеньке, доставал из кармана своего коричневого сюртука томик Лукреция. При свете фонаря он прочитывал несколько сурово-утешительных изречений: «Sic ubi non erimus... Когда мы перестанем существовать, ничто уже не будет в состоянии волновать нас,— даже небо, земля и море, смешавшие воедино все, что от них осталось...» Но, упиваясь этой высокой мудростью, Бротто все же завидовал безумию варнавита, скрывавшему от него вселенную.

Террор усиливался с каждым месяцем. Еженощно пьяные тюремщики, обходя со своими сторожевыми псами камеры, разносили обвинительные акты, выкрикивали хриплым голосом имена и фамилии, коверкая их, будили заключенных и из-за двадцати намеченных жертв повергали в смертельный ужас двести человек. По коридорам, полным кровавых теней, каждый день проходили без единой жалобы двадцать, тридцать, пятьдесят осужденных — стариков, женщин, юношей, столь различных по общественному положению, характеру, убеждениям, что невольно возникал вопрос, не по жребию ли их отобрали.

А узники продолжали играть в карты, пить бургундское, строить всякие планы, ходить по ночам на свидания к решетке. Население тюрьмы, почти целиком обновившееся, состояло теперь главным образом из «крайних» и «бешеных». Тем не менее камера восемнадцати все еще служила приютом изысканного обращения и хорошего тона и сохраняла свой прежний облик: за исключением двух арестантов, граждан Наветта и Бэлье, недавно переведенных в Консьержери из Люксембурга и подозреваемых в том, что они «наседки», то есть шпионы, все остальные были люди порядочные, относившиеся друг к другу с доверием. В этой камере праздновали с бокалами в

руках военные успехи Республики. Там нашлось и несколько поэтов, которых всегда можно встретить в обществе ничем не занятых людей. Наиболее искусные сочиняли оды в честь победоносной Рейнской армии и с пафосом декламировали их. Им шумно рукоплескали. Один лишь Бротто весьма умеренно похваливал и победителей, и их певцов.

— Еще со времен Гомера среди поэтов наблюдается странная мания воспевать воинов,— заметил он однажды.— Война — не искусство, и только случай решает судьбу сражения. Из двух одинаково бездарных полководцев, действующих друг против друга, один неизбежно должен оказаться победителем. Будьте готовы к тому, что рано или поздно какой-нибудь из этих солдафонов, которых вы обожествляете, проглотит вас всех, как в басне журавль глотает лягушек. Тогда-то он в самом деле станет богом! Ибо боги познаются по их аппетиту.

Бротто никогда не трогала слава оружия. Он нисколько не радовался победам Республики, которые еще раньше предвидел. Ему не нравился политический строй, укреплявшийся с каждой новой победой. Он был недоволен. Недовольными становились и по менее веским причинам.

Однажды утром заключенным сообщили, что комиссары Комитета общественной безопасности произведут у них обыск, причем будут отобраны ассигнации, золотые и серебряные вещи, ножи, ножницы; что такие обыски уже были произведены в Люксембурге и что там забрали письма, бумаги, книги.

Каждый постарался найти укромное местечко и спрятать туда то, что ему было дороже всего. Отец Лонгмар охапками снес свою защитительную речь к водосточной трубе и засунул ее в желоб. Бротто зарыл своего Лукреция в пепел камина.

Когда комиссары с трехцветными лентами на шее явились для обыска, они нашли лишь то, что заключенные сочли нужным оставить для них. После их ухода отец Лонгмар кинулся к желобу и подобрал остатки защитительной речи, сильно пострадавшей от ветра и воды. Бротто вытащил из камина своего Лукреция, черного от сажи.

«Будем наслаждаться настоящим часом,— решил он,— так как по некоторым признакам я вижу, что времени в нашем распоряжении уже очень мало».

В теплую прериальскую ночь, когда над тюремным двором в побледневшем небе сверкал серебром двурогий месяц, старый откупщик сидел на ступеньке каменной лестницы, перечитывая, по обыкновению, Лукреция, как вдруг его окликнул женский голос, очаровательный голос, показавшийся ему

совсем незнакомым. Бротто спустился во двор и увидал за решеткой женскую фигуру; он не узнал ее, так же как и голоса, но по изящным и неясным очертаниям она напоминала ему всех женщин, которых он любил. Лунный свет заливал ее лазурью и серебром. Вдруг Бротто узнал миловидную актрису с улицы Фейдо, Розу Тевенен.

— Вы, дитя мое? Что за жестокая радость — видеть вас здесь! Давно ли и почему вы тут?

— Со вчерашнего дня.

Она прибавила шепотом:

— На меня донесли как на роялистку. Меня обвиняют в том, что я принимала участие в заговоре, имевшем целью освободить королеву. Зная, что вы здесь, я сразу постаралась отыскать вас. Выслушайте меня, мой друг... вы ведь позволите мне называть вас так? У меня есть знакомства среди людей с положением... Я пользуюсь, мне это известно, симпатиями и кое у кого из Комитета общественного спасения. Я поручу друзьям похлопотать — они освободят меня, а я, в свою очередь, освобожу вас.

Но Бротто голосом, в котором звучала настойчивая мольба, стал отговаривать ее:

— Во имя всего, что вам дорого, дитя мое, не предпринимайте ничего! Не пишите никому, не ходатайствуйте ни перед кем! Заклинаю вас, ни о чем никого не просите, пускай о вас забудут совсем.

Она, по-видимому, не сознавала важности его слов; поэтому Бротто принялся умолять ее еще настойчивее:

— Храните молчание, Роза, пускай вас забудут: в этом — спасение. Все, что попытались бы сделать ваши друзья, только ускорило бы вашу гибель. Старайтесь выиграть время. Теперь уже остается ждать немного, надеюсь, совсем немного... Но, главное, откажитесь от мысли разжалобить судей, присяжных, какого-нибудь Гамлена. Это не люди, это — неодушевленные предметы, а с неодушевленными предметами бесцельно вступать в объяснения. Пускай о вас забудут. Если вы последуете моему совету, друг мой, я умру, счастливый тем, что спас вам жизнь.

— Я послушаюсь вас,— ответила она.— Не говорите о смерти.

Он пожал плечами.

— Моя жизнь кончена, дитя мое. А вы — живите и будьте счастливы.

Она взяла его руки и прижала их к груди.

— Выслушайте меня, друг мой... Я видела вас только в течение одного дня, и все-таки вы мне не безразличны. И если то, что я вам скажу, может хоть немного привязать вас к жизни — знайте: я буду для вас всем... чем вы пожелаете.

И, прильнув к решетке, они поцеловались.

XX

Во время одного из продолжительных заседаний Трибунала Эварист, сидя на судейской скамье в душном воздухе, размышляет, закрыв глаза:

«Злодеи, заставившие Марата прятаться по темным углам, превратили его в ночную птицу, птицу Минервы, чье око настигало заговорщиков и во мраке. Теперь холодный и спокойный взор голубых глаз видит насквозь врагов Республики и разоблачает изменников с проницательностью, которой не знал даже Друг народа, уснувший навеки в саду Кордельеров. Новый спаситель, не менее ревностный, но еще более прозорливый, чем первый, замечает то, чего никто не замечает, и его поднятый перст порождает вокруг ужас. Он различает мельчайшие неуловимые оттенки, отделяющие зло от добра, порок от добродетели; не будь его, их бы смешивали в ущерб отечеству и свободе; он проводит тонкую, прямую черту, вне которой направо и налево только заблуждение, преступление и злодейство. Неподкупный разъясняет, как служат внешнему врагу те, которые впадают в крайности или обнаруживают чрезмерную слабость; те, кто преследует религиозные культы во имя разума, и те, кто во имя религии оказывает сопротивление законам Республики. Не в меньшей степени, чем негодяи, убившие Лепелетье и Марата, служат внешнему врагу те, кто воздает им божеские почести с целью набросить тень на их память. Агентом заграницы является всякий, кто отвергает идеи порядка, благоразумия и своевременных мероприятий; агентом заграницы является и тот, кто бросает вызов морали, оскорбляет добродетель и в своей чудовищной разнузданности отрицает бога. Фанатики-священники заслуживают смерти; но есть и контрреволюционный способ борьбы с фанатизмом; в иных случаях отречение бывает преступным. Человек умеренный губит Республику, неистовый тоже губит ее.

О, страшные обязанности судьи, указанные мудрейшим из людей! Уже надо поражать не одних только аристократов, федералистов, злодеев-орлеанистов, этих явных врагов отечества.

Заговорщик, агент заграницы — Протей, принимающий всевозможные личины. Он прикидывается патриотом, революционером, врагом королей; он уверяет, будто его сердце бьется для одной лишь свободы; он возвышает голос и повергает в трепет врагов Республики: это — Дантон; его неистовые выступления плохо прикрывают его гнусную умеренность, и в конце концов всем становится ясной его продажность. Заговорщик, агент заграницы,— это тот красноречивый заика, который первым прикрепил к своей шляпе революционную кокарду; это тот памфлетист, который с жестокой иронией примерного гражданина называл себя «прокурором фонаря»; это — Камиль Демулен. Он выдал себя, защищая изменников-генералов и настаивая на совершенно неуместном милосердии при назначении кары. Это — Филиппо, это — Эро, это — презренный Лакруа. Заговорщик, агент заграницы,— это отец Дюшен, унижающий свободу своей подлой демагогией, Дюшен, чья отвратительная клевета внушила многим сочувствие даже к Антуанетте. Это Шометт; правда, стоя во главе Коммуны, он выказывал себя человеком кротким, доступным, умеренным, благожелательным и добродетельным, но он был атеистом! Заговорщики, агенты заграницы,— это все санкюлоты в красных колпаках, карманьолах, в деревянных башмаках, старавшиеся во что бы то ни стало перещеголять якобинцев патриотизмом. Заговорщик, агент заграницы,— это Анахарсис Клоотс, защитник рода человеческого, осужденный на смерть монархиями всего мира; но от него можно было ожидать всего: ведь он был пруссак.

Теперь все эти злодеи, неистовые и умеренные, все эти изменники, Дантон, Демулен, Эбер, Шометт, погибли на плахе. Республика спасена: согласный хор похвал несется из всех комитетов, из всех народных собраний навстречу Максимилиану и Горе. Добрые граждане восклицают: «Достойные представители свободного народа, тщетно сыны Титанов подняли высокомерную главу: благодетельная Гора, покровитель Синай, из твоих кипящих недр изошла спасительная молния...»

В этом хоре известная часть похвал приходится и на долю Трибунала. Как приятно быть добродетельным и как любезна сердцу неподкупного судьи признательность общества!

Но вместе с тем может ли подлинный патриот не изумляться и не испытывать тревоги? Как? Значит, для того чтобы предать интересы народа, было недостаточно Мирабо, Лафайета, Байи, Петиона, Бриссо? Понадобились, оказывается, еще и те, кто изобличал этих изменников. Как? Все эти люди, совершившие Революцию, сделали это только для того, чтобы

ее погубить? Эти великие вдохновители великих идей подготовляли, вкупе с Питтом и Кобургом, воцарение династии Орлеанов или опеку над Людовиком XVII? Как? Дантон это был Монк? Как? Шометт и эбертисты, еще более вероломные, чем федералисты, которых они отправили на гильотину, замышляли гибель государства? Но среди тех, кто толкает в объятия смерти вероломных Дантонов и вероломных Шометтов, не найдут ли завтра голубые глаза Робеспьера еще более вероломных? Где же оборвется проницательность Неподкупного и омерзительная цепь предающих друг друга предателей?»

XXI

Между тем Жюли Гамлен, в своем бутылочного цвета каррике, ежедневно отправлялась в Люксембургский сад и там, сидя на скамье в конце аллеи, поджидала минуту, когда ее любовник покажется в одном из слуховых окон дворца. Они обменивались знаками, разговаривали на немом языке, который сами изобрели. Таким путем ей стало известно, что заключенный помещается в довольно сносной камере, в приятной компании, что он нуждается в одеяле и в грелке и что он нежно любит свою подругу.

Не одна Жюли высматривала любимое лицо в окнах дворца, превращенного в тюрьму. Рядом с ней молодая мать не сводила взоров с одного из окон, и, как только оно открывалось, она поднимала как можно выше младенца, которого держала на руках. Старая дама в кружевной вуали по целым часам неподвижно сидела на складном стуле в тщетной надежде увидать хотя бы на мгновение сына, который, чтобы не растрогаться при виде матери, занимался метанием диска на тюремном дворе до тех пор, пока не закрывали сада.

Во время этих долгих ожиданий, и в ясную и в дождливую погоду, на соседней с Жюли скамейке располагался пожилой, довольно полный, чрезвычайно опрятно одетый мужчина, то игравший брелоками и табакеркой, то разворачивавший газету, которую, однако, никогда не читал. Он был одет по старинной буржуазной моде: треуголка, отделанная золотым галуном, красно-фиолетовый фрак и голубой, вышитый серебром жилет. Он производил весьма почтенное впечатление. Судя по флейте, конец которой торчал у него из кармана, он был музыкантом. Ни на минуту не спускал он глаз с переодетого юноши, беспрестанно улыбался ему и, как только за-

мечал, что тот собирается уходить, тоже поднимался и следовал за ним на расстоянии. Несчастную, одинокую Жюли трогало тайное сочувствие, которое проявлял к ней этот старик.

Однажды, когда она выходила из сада, незнакомец подошел к ней и, раскрыв огромный красный зонт, ибо накрапывал дождь, попросил разрешения укрыть ее от непогоды. Она тихо ответила своим ясным голосом, что согласна. Но, услыхав этот голос и почувствовав, быть может, неуловимый запах женщины, он поспешно удалился, оставив Жюли под проливным дождем; она поняла все и, хотя на душе у нее было невесело, не могла удержаться от улыбки.

Жюли жила в мансарде на улице Шерш-Миди и выдавала себя за приказчика-суконщика, ищущего места. Вдова Гамлен, убедившись наконец, что ее дочь нигде не подвергается такой опасности, как у нее в доме, постаралась поселить молодую женщину подальше от Тионвильской площади и от секции Нового моста и помогала ей по мере возможности продовольствием и бельем. Жюли готовила себе скромный обед, ходила в Люксембургский сад, чтобы взглянуть на своего возлюбленного, и возвращалась к себе в конуру; однообразие жизни немного усыпляло ее горе, и, так как она была молодая и сильная, то всю ночь спала глубоким сном. Смелая по характеру, побывавшая во всяких переделках и, пожалуй, чувствовавшая себя свободнее благодаря своему мужскому костюму, она отправлялась иногда по вечерам в кабачок под вывеской «Красный крест» на улице Дюфур, где собирались всякие люди и женщины вольного поведения. Там она читала газеты и играла в триктрак с каким-нибудь сидельцем лавки или военным, пускавшим ей дым из трубки прямо в нос. В этом заведении пили, играли в карты, занимались любовью, и драки были там обычным явлением. Как-то вечером один из посетителей, услыхав на улице конский топот, приподнял штору и, узнав начальника национальной гвардии, гражданина Анрио, проскакавшего галопом со своим штабом, процедил сквозь зубы:

— Робеспьеровский прихвостень!

При этих словах Жюли громко расхохоталась.

Но какой-то усатый патриот резко положил этому конец.

— Тот, кто позволяет себе подобные выражения,— г... аристократ, и я с удовольствием увижу, как его голова упадет в корзину к Сансону. Да будет всем известно, что генерал Анрио — честный патриот, который сумеет в случае нужды защитить Париж и Конвент. Вот этого-то роялисты и не прощают ему.

«Боги жаждут»

И, взглянув в упор на Жюли, продолжавшую заливаться смехом, усач прикрикнул на нее:

— Эй, ты, молокосос! Смотри, как бы я не влепил тебе такого пинка в зад, который научит тебя относиться с уважением к патриотам.

Раздались возгласы:

— Анрио — пьяница и дурак!

— Анрио — честный якобинец! Да здравствует Анрио!

Образовались два лагеря. Завязалась драка, кулаки заработали, продавливая шляпы, столы опрокинулись, стаканы полетели во все стороны, лампы погасли, женщины принялись пронзительно визжать. Жюли, к которой подступили несколько патриотов, вооружилась скамейкой, но была сбита с ног и, защищаясь, стала царапаться и кусаться. Каррик на ней распахнулся, и из разорванного жабо выглянула трепещущая грудь. На шум прибежал патруль, и молодая аристократка еле ускользнула из рук жандармов.

Каждый день переполненные телеги увозили осужденных.

— Не могу же я допустить, чтобы они казнили моего возлюбленного! — говорила Жюли матери.

Она решила ходатайствовать, хлопотать, пойти в комитеты, в канцелярии, к народным представителям, к судьям — всюду, куда только понадобится. У нее не было женского платья. Мать достала для нее у гражданки Блез полосатое платье, косынку, кружевной чепец, и Жюли в женском и патриотическом наряде отправилась к судье Ренодену, в сырой и мрачный дом на улице Мазарини.

Вся дрожа, поднялась она по деревянной, выложенной изразцами лестнице; судья принял ее в невзрачном кабинете, все убранство которого состояло из соснового стола и двух соломенных стульев. Обои клочьями висели на стенах. Реноден, с черными, слипшимися волосами, с угрюмым взглядом, с поджатыми губами и выступающим вперед подбородком, знаком предложил ей говорить и молча выслушал ее.

Она сказала, что она сестра гражданина Шассаня, заключенного в Люксембургскую тюрьму, изложила, как могла искуснее, обстоятельства, при которых он был арестован, изобразила его несчастной, ни в чем не повинной жертвой, проявила огромную настойчивость.

Он был равнодушен и непоколебим.

Она с мольбой упала к его ногам и заплакала.

Как только он увидел слезы, его лицо изменилось: красновато-черные глаза загорелись огнем, огромные синие челюсти

задвигались, точно он хотел освежить слюной пересохшее горло.

— Гражданка, все необходимое будет сделано. Не беспокойтесь.

И, распахнув дверь, он втолкнул просительницу в маленькую розовую, с расписанными простенками гостиную, где были фарфоровые группы, золоченые стенные часы и канделябры, глубокие кресла, диван с гобеленом, изображавшим сцену из пастушеской жизни по рисунку Буше. Жюли была готова на все, лишь бы спасти своего друга.

Реноден действовал грубо и быстро. Когда она поднялась, оправляя нарядное платье гражданки Элоди, ее взгляд встретился с его жестоким и насмешливым взглядом; она тотчас же почувствовала, что принесла бесполезную жертву.

— Вы обещали мне освободить брата,— сказала она.

Он усмехнулся.

— Я сказал тебе, гражданка, что все необходимое будет сделано, то есть что с твоим братом поступят по закону, ни больше, ни меньше. Я сказал тебе, чтобы ты не беспокоилась, да и чего тебе беспокоиться? Революционный трибунал всегда справедлив.

Ей хотелось кинуться на него, искусать его, выцарапать ему глаза. Но, сознавая, что этим она окончательно погубила бы Фортюне Шассаня, она стремительно вышла из комнаты и, поспешно вернувшись к себе в мансарду, сбросила осквернённое платье Элоди. И всю ночь напролет она проплакала от ярости и горя.

На другое утро, придя в Люксембург, она увидала, что сад занят жандармами, которые выгоняют оттуда женщин и детей. Часовые, расставленные в аллеях, не позволяли прохожим переговариваться с заключенными. Молодая мать, приходившая каждый день с ребенком на руках, сообщила Жюли, будто носятся слухи о заговоре в тюрьмах и будто женщин обвиняют в том, что они собираются в саду с целью вызвать в народе движение в пользу аристократов и изменников.

XXII

Внезапно в Тюильрийском саду выросла гора. Небо безоблачно. Максимилиан в голубом фраке и желтых панталонах, с букетом колосьев, васильков и маков в руке, шествует впереди своих товарищей. Он всходит на гору и возвещает уми-

ленной Республике бога Жан-Жака. О чистота! О кротость! О вера! О античная простота! О слезы сострадания! О благодатная роса! О милосердие! О братское единение людей!

Тщетно подымает еще свой омерзительный лик безбожие: Максимилиан хватает факел; пламя пожирает чудовище, и на смену ему является Мудрость, одной рукой указуя на небо, а другой держа венец из звезд.

На помосте, возведенном напротив Тюильрийского дворца, Эварист, среди растроганной толпы, проливает слезы радости и благодарит бога. Он видит, что наступает эра блаженства.

Он вздыхает:

«Наконец-то мы будем счастливы, чисты и невинны, если только злодеи не станут нам поперек пути!»

Увы, злодеи стали поперек пути. Нужны еще казни; нужно еще проливать потоками нечистую кровь. Три дня спустя после празднования нового союза и примирения неба с землей Конвент издает прериальский закон, отменяющий с чудовищным благодушием все обычные законные формы, все, что еще со времени справедливых римлян было придумано для защиты заподозренной невинности. Отныне нет ни следствия, ни допросов, ни свидетелей, ни защитников: любовь к отечеству заменяет все. Обвиняемый, хороня у себя в груди свое преступление или свою невинность, молча проходит мимо судьи-патриота. И за это время нужно разобраться в его деле, порою сложном, нередко запутанном и темном. Как теперь судить? Как отличить в одно мгновение честного человека от злодея, патриота от врага родины?

После минутного замешательства Гамлен понял, в чем состоит отныне его долг, и приспособился к своим новым обязанностям. Он видел в сокращении процедуры истинное воплощение того спасительного и грозного правосудия, исполнителями которого являются не ученые буквоеды, неторопливо взвешивающие на своих устарелых весах все доводы за и против, но санкюлоты, руководствующиеся патриотическим озарением и постигающие истину во мгновение ока. Между тем как право защиты и меры предосторожности погубили бы все, порывы честного сердца все спасают. Надлежало следовать внушениям природы, этой доброй матери, которая никогда не ошибается; надо было судить сердцем, и Гамлен взывал к тени Жан-Жака: «Вдохнови меня, добродетельный муж, на любовь к людям и на ревностное служение делу их возрождения!»

Большинство его товарищей испытывало то же, что и он. Это были по преимуществу люди простые, и, когда процес-

суальные формы упростились, они почувствовали себя превосходно. Сокращенное судопроизводство удовлетворяло их. При его ускоренном темпе уже ничто их не смущало. Они осведомлялись только об убеждениях обвиняемых, не допуская, что можно, и не будучи злодеем, мыслить иначе, чем они. Они полагали, что обладают истиной, мудростью, высшим благом, и поэтому приписывали своим противникам заблуждения и злобу. Они чувствовали себя сильными: они воочию зрели бога.

Они воочию зрели бога, эти присяжные Революционного трибунала. Верховное существо, признанное Максимилианом, пламенем спускалось на них. Они любили, они веровали.

Кресло подсудимого заменили большим помостом, на котором могло поместиться пятьдесят человек: теперь судили только целыми партиями. Общественный обвинитель соединял в одно дело и обвинял как сообщников людей, которые нередко встречались в первый раз в Трибунале. С ужасающей легкостью, на которую ему давал право прериальский закон, Трибунал разбирал дела о мнимых тюремных заговорах, следовавших по времени за осуждением дантонистов и Коммуны и пристегнутых к ним путем всевозможных ухищрений изворотливой мысли. Чтобы констатировать в них оба существенных признака заговора против Республики, организованного на заграничное золото,— неуместную умеренность и нарочитую крайность,— чтобы видеть в них, кроме того, преступление дантонистов и преступление эбертистов, во главе их поставили еще двух обвиняемых, двух совершенно разных женщин: вдову Камиля, очаровательную Люсиль, и вдову эбертиста Моморо, однодневную богиню и веселую болтушку. Обеих ради симметрии заключили в одну и ту же тюрьму, где они вместе плакали на одной и той же каменной скамье; обеих ради симметрии отправили на эшафот. Это было слишком остроумным символом, шедевром равновесия, измышленным, вероятно, какой-нибудь прокурорской душой, но честь этого изобретения приписывали Максимилиану. Этому представителю народа приписывали все события, счастливые или несчастные, происходившие в стране,— законы, нравы, смену времен года, урожаи, эпидемии. И это было заслуженной несправедливостью, ибо щуплый, невзрачный, чистенький человек с кошачьим лицом имел неограниченную власть над народом...

В этот день Трибунал отправлял на тот свет участников большого тюремного заговора, около трех десятков заговорщиков из Люксембурга, чрезвычайно смирных заключенных, но заведомых роялистов и федералистов. Обвинение целиком по-

коилось на показаниях единственного доносчика. Присяжные совершенно не были знакомы с делом: они не знали даже фамилий заговорщиков. Гамлен скользнул взором по скамье подсудимых и увидал среди них Фортюне Шассаня. Любовник Жюли, исхудавший за время долгого заключения, бледный, с чертами лица, казавшимися резче из-за яркого освещения судебного зала, сохранил еще частицу присущего ему изящества и гордости. Взор его встретился со взором Гамлена и загорелся презрением.

Гамлен поднялся, охваченный холодной яростью, попросил слова и, устремив глаза на бюст древнего Брута, высившийся над головами судей, произнес:

— Гражданин председатель, хотя между одним из подсудимых и мною существуют узы, которые, носи они гласный характер, могли бы быть сочтены узами родства, тем не менее я не ходатайствую об отводе. Оба Брута не требовали для себя отвода, когда ради спасения Республики или ради дела свободы им пришлось осудить сына, поразить насмерть приемного отца.

Он снова уселся на свое место.

— Какой негодяй! — процедил сквозь зубы Шассань.

Публика осталась равнодушной к выступлению присяжного, то ли потому, что всем уже надоели возвышенные характеры, то ли потому, что Гамлен слишком легко одержал верх над естественными чувствами.

— Гражданин Гамлен,— сказал председатель,— по точному смыслу закона, всякий отвод должен быть заявлен в письменной форме за сутки до начала прений. Но тебе и незачем было делать это: патриот-присяжный выше всех страстей.

Допрос каждого подсудимого продолжался не больше трех-четырех минут. Обвинитель требовал смертной казни для всех. Присяжные высказались за нее единогласно, односложной репликой или просто кивком головы. Когда дошла очередь до Гамлена, он произнес:

— Все подсудимые уличены, а закон ясен и не допускает никаких толкований.

Когда он спускался по лестнице суда, его резко остановил юноша лет семнадцати — восемнадцати, одетый в каррик бутылочного цвета. На нем была круглая, сдвинутая на затылок шляпа, поля которой образовали черный ореол вокруг его прекрасного бледного лица. Загородив присяжному дорогу, он крикнул ему голосом, полным ненависти и отчаяния:

— Негодяй! Изверг! Убийца! Рази и меня, злодей. Я — женщина! Прикажи меня арестовать, прикажи гильотинировать, Каин! Я — твоя сестра.

И Жюли плюнула ему в лицо.

Толпа «вязальщиц» и санкюлотов к тому времени уже не отличалась прежней революционной бдительностью; их патриотический пыл поостыл; вокруг Гамлена и его обидчика произошло лишь нерешительное движение. Жюли протиснулась сквозь кучку любопытных и исчезла в сумерках.

XXIII

Эварист Гамлен был утомлен и никак не мог отдохнуть: ночью он раз по двадцать внезапно просыпался, преследуемый кошмарами. Только в голубой комнате, в объятиях Элоди, ему удавалось заснуть на несколько часов. Во сне он разговаривал, кричал и будил ее, но она не понимала его слов.

Однажды утром, после того как ночью ему приснились Эвмениды, он пробудился, измученный страшными видениями и слабый, как ребенок. Бледные стрелы зари уже пронизывали оконные занавеси. Волосы Эвариста, спутавшиеся на лбу, черной дымкой застилали ему глаза; Элоди, сидя у изголовья, осторожно отводила назад непокорные пряди. На этот раз она смотрела на него с сестринской нежностью и носовым платком вытирала ему со лба холодный пот. Тогда он вспомнил прекрасную сцену из Еврипидова «Ореста» — ту, что он набросал для своей картины, которая, закончи он ее, могла бы стать его шедевром: сцену, где несчастная Электра удаляет пену, выступающую на губах у брата. И ему казалось, что Элоди, как Электра, обращается к нему кротким голосом: «Выслушай меня, милый брат, пока фурии не отняли у тебя рассудка...»

«И все-таки,— думал он,— я не убийца своей матери. Напротив, именно движимый сыновней любовью, я проливал нечистую кровь врагов моей родины».

XXIV

Конца не было этим тюремным заговорам. Еще сорок девять человек посадили на скамью подсудимых. Морис Бротто занимал почетное место в верхнем ряду направо. На нем был его коричневый сюртук, который он накануне тщательно вычистил и заштопал в том месте, где томик Лукреция в конце концов протер дыру в кармане. Рядом с Бротто сидела гражданка Рошмор, накрашенная, набеленная, разряженная, чудовищная.

Отца Лонгмара посадили между нею и девицей Атенаис, которая вновь обрела в Мадлонет всю свежесть ранней юности.

На скамью подсудимых жандармы пригнали людей, которых никто из перечисленных лиц не знал и которые, быть может, не знали друг друга, что не мешало объявить соумышленниками всех этих депутатов, поденщиков, бывших дворян, мещан и мещанок. Гражданка Рошмор заметила Гамлена на скамье присяжных. Хотя он ни разу не ответил на ее настойчивые письма, на ее неоднократные послания, она тем не менее надеялась и кинула на него умоляющий взор, стараясь пленить и растрогать его. Но холодный взгляд молодого судьи разрушил все ее иллюзии.

Секретарь прочел обвинительный акт; как ни мало уделялось в нем внимания каждому подсудимому в отдельности, все же чтение его заняло много времени из-за большого числа обвиняемых. Широкими штрихами набрасывал он картину заговора, организованного в тюрьмах, с целью утопить Республику в крови народных представителей и парижского населения; останавливаясь на отдельных подсудимых, акт отмечал:

«Один из наиболее опасных инициаторов этого гнусного заговора некий Бротто, прежде — дез Илетт, откупщик податей в царствование тирана. Эта личность, даже во времена тирании выделявшаяся своим развратным поведением, является наглядным доказательством того, что распутство и безнравственность — величайшие враги свободы и благоденствия народов: действительно, растратив казенные суммы и расточив в кутежах значительную часть народного достояния, этот субъект вошел в сношения со своей бывшей сожительницей, подсудимой Рошмор, чтобы поддерживать переписку с эмигрантами и изменнически осведомлять зарубежных заговорщиков о состоянии наших финансов, о передвижениях наших войск, о переменах в общественном настроении.

Бротто, который в этот период своего презренного существования сожительствовал с девицей Атенаис, проституткой, подобранной им в грязи улицы Фроманто, без особого труда втянул ее в свои планы и подговорил к контрреволюционным выступлениям, выразившимся в бесстыдных возгласах и непристойных призывах.

Несколько изречений этого зловредного человека ясно характеризуют его гнусные идеи и пагубную цель. Говоря о патриотическом Трибунале, ныне призванном покарать его, он нагло утверждал: «Революционный трибунал похож на пьесу

Вильяма Шекспира, в которой самые кровавые сцены перемежаются с пошлейшим шутовством». Он неустанно проповедовал безбожие как наиболее верное средство ослабления и развращения народа. В тюрьме Консьержери, где он содержался, он оплакивал, как худшие бедствия, успехи наших доблестных армий и старался навлечь подозрение на полководцев, неоднократно доказавших свой патриотизм, приписывая им стремления к захвату государственной власти. «Будьте готовы,— угрожал он на своем чудовищном языке, который перо не решается передать,— будьте готовы к тому, что один из этих солдафонов, которым вы обязаны своим спасением, проглотит вас всех, как в басне журавль проглотил лягушек».

Далее обвинительный акт гласил:

«Рошмор, бывшая дворянка, сожительница Бротто, виновна не менее его. Она не только переписывалась с заграницей и получала денежную поддержку от самого Питта, но в сообществе с подкупленными лицами, а именно Жюльеном (из Тулузы) и Шабо, и состоя в сношениях с бывшим бароном де Батцем, она совместно с этим злодеем изобретала всевозможные махинации с целью понизить курс акций Индийской компании, чтобы, скупив их за бесценок, поднять затем их стоимость путем противоположных махинаций, нанося таким образом вред собственности частной и собственности государственной. Находясь в заключении в Бурбе и Мадлонет, она и в тюрьме не переставала принимать участие в заговорах, в биржевых спекуляциях, одновременно пытаясь подкупить судей и присяжных.

Луи Лонгмар, бывший дворянин, бывший капуцин, уже давно принимал участие во всяких гнусностях и преступлениях, раньше чем решился посвятить себя делу измены, за что и привлекается теперь к ответственности. Живя в постыдной связи с девицей Горкю, именуемой Атенаис, под одной кровлей с Бротто, он является сообщником вышеназванной девицы и бывшего дворянина. Во время заключения в Консьержери он ни на один день не прекратил писания пасквилей, посягающих на свободу и на общественное спокойствие.

По поводу Марты Горкю, именуемой Атенаис, уместно будет отметить, что публичные женщины — величайший бич народных нравов, которые они оскорбляют, и позор для общества, которое они бесчестят. Но к чему распространяться об омерзительных преступлениях, в которых подсудимая сама бесстыдно сознается!..»

Обвинительный акт переходил затем к остальным пятидесяти четырем подсудимым, которых ни Бротто, ни отец Лонг-

мар, ни гражданка Рошмор совсем не знали, если не считать того, что кое-кого из них они видали в тюрьмах, но которые вместе с ними были объявлены соучастниками «гнусного заговора, не имеющего себе примера в летописях народов».

Обвинительный акт требовал смертной казни для всех обвиняемых.

Первым допросили Бротто.

— Ты принимал участие в заговоре?

— Нет, не принимал. В только что оглашенном обвинительном акте все — ложь.

— Вот видишь: ты и сейчас злоумышляешь против Трибунала.

И председатель перешел к подсудимой Рошмор, отвечавшей на все вопросы отчаянным отрицанием, слезами и уловками.

Отец Лонгмар всецело положился на волю божию. Он даже не захватил с собой написанной им защитительной речи.

На все предложенные ему вопросы он отвечал с полным самоотречением. Однако, когда председатель назвал его капуцином, в нем пробудился прежний человек.

— Я не капуцин,— сказал он,— я — священник и член ордена варнавитов.

— Это одно и то же,— благодушно возразил председатель.

Отец Лонгмар посмотрел на него с возмущением.

— Трудно допустить более странную ошибку, чем смешение капуцина с членом ордена варнавитов, основанного самим апостолом Павлом.

В публике раздались хохот и шиканье.

Отец Лонгмар, принимая эти насмешки за выражение несогласия с ним, заявил, что он готов умереть членом святого ордена Варнавы, одеяние которого он носит в сердце.

— Признаешь ли ты,— спросил председатель,— что участвовал в заговоре вместе с девицей Горкю, именуемой Атенаис, которая дарила тебя своими презренными ласками?

Отец Лонгмар устремил к небу скорбный взор и ответил на этот вопрос молчанием, выражавшим изумление чистой души и суровость монаха, опасающегося всяких суетных слов.

— Девица Горкю,— обратился председатель к юной Атенаис,— признаешь ли ты, что участвовала в заговоре с Бротто?

— Господин Бротто, насколько я понимаю, делал только добро,— кротко ответила она.— Побольше бы таких людей на свете! Я не знаю человека лучше его. Те, кто говорит о нем противное, заблуждаются. Вот и все, что я могу сказать.

Председатель спросил ее, сознается ли она в том, что находилась с Бротто в незаконном сожительстве. Пришлось разъяснить ей этот термин, которого она не понимала. Когда же она уразумела, о чем идет речь, она ответила, что остановка была только за ним, но что он никогда не предлагал ей этого.

В трибунах послышался смех, и председатель пригрозил девице Горкю, что ее выведут вон, если она еще раз позволит себе ответить так бесстыдно.

Тогда она назвала его ханжой, постной рожей, рогоносцем, обрушила на него, на судей, на присяжных потоки площадной брани и продолжала неистовствовать до тех пор, пока жандармы не стащили ее со скамьи и не удалили из зала.

Затем председатель кратко допросил остальных подсудимых в том порядке, в каком они сидели на скамьях. Некий Наветт ответил, что он не мог быть участником заговора в тюрьме, ибо находился там всего четыре дня. Председатель признал это объяснение заслуживающим внимания и попросил граждан присяжных принять его к сведению. То же ответил некий Бэлье, и председатель опять обратился к присяжным с замечанием в его пользу. Одни истолковывали эту благосклонность судьи как следствие достохвальной справедливости, другие же считали ее наградой за донос.

Слово взял заместитель общественного обвинителя. Он только развил основные положения обвинительного акта и поставил следующие вопросы:

— Доказано ли, что Морис Бротто, Луиза Рошмор, Луи Лонгмар, Марта Горкю, именуемая Атенаис, Эзеб Роше, Пьер Гитон-Фабюле, Марселина Декурти и прочие составили заговор, средствами к достижению которого были: убийства, голод, подделка ассигнаций и металлических денег, развращение общественной нравственности, общественного мнения и мятеж в тюрьмах, а целью: гражданская война, роспуск народного представительства, восстановление королевской власти?

Присяжные удалились в совещательную комнату. Они единогласно признали виновными всех подсудимых, за исключением вышеназванных Наветта и Бэлье, на которых сначала председатель, а за ним общественный обвинитель указали как на людей, в известной мере непричастных к делу. Гамлен мотивировал свой приговор следующим образом:

— Виновность подсудимых совершенно очевидна, наказание их необходимо для блага нации, и они сами должны желать для себя смертной казни как единственного средства искупить свою вину.

Председатель огласил приговор в отсутствие подсудимых. В дни больших процессов, вопреки требованию закона, осужденных не вводили в зал, чтобы объявить им постановление суда,— очевидно, потому, что опасались взрыва отчаяния со стороны такого значительного количества людей. Напрасный страх, ибо в то время покорность жертв не имела предела! Секретарь спустился вниз прочесть приговор; его выслушали в таком безмолвии и с таким спокойствием, что невольно хотелось сравнить эти прериальские жертвы с деревьями, предназначенными к рубке.

Гражданка Рошмор заявила, что она беременна. Среди присяжных оказался лекарь, которому и поручили осмотреть ее. В обмороке ее унесли в тюрьму.

— Эти судьи достойны глубокого сожаления,— сокрушенно заметил отец Лонгмар,—их душевное состояние поистине плачевно. Они путают все и смешивают варнавита с францисканцем.

Казнь должна была совершиться в тот же день у заставы Поверженного Трона. Осужденные, которым остригли волосы и вырезали ворот сорочки, ожидали палача, загнанные, как скотина, в небольшое помещение, отделенное от канцелярии стеклянной перегородкой.

Когда прибыл со своими помощниками палач, Бротто, спокойно читавший Лукреция, заложил на начатой странице закладку, захлопнул книгу, сунул ее в карман сюртука и сказал варнавиту:

— Меня бесит, преподобный отец, что мне уже не удастся переубедить вас. Мы оба сейчас заснем последним сном, и я не смогу дернуть вас за рукав и разбудить, чтобы сказать вам: «Вот видите, вы больше ничего не чувствуете и не сознаете: души у вас нет. То, что следует за жизнью, ничем не отличается от того, что ей предшествует».

Он хотел было улыбнуться, но внезапно ощутил такую острую боль в груди, что едва не упал в обморок.

Однако он продолжал:

— Не скрою от вас свою слабость, отец мой, я люблю жизнь и расстаюсь с ней не без сожаления.

— Сударь,— кротко ответил монах,— обратите внимание на то, что хотя вы и мужественнее меня, тем не менее смерть повергает вас в большее смятение. Ведь это означает, что я вижу свет, которого вы еще не видите.

— А может быть, это объясняется тем,— возразил Бротто,— что я сожалею о жизни, которой пользовался лучше, чем вы, ибо вы все время старались сделать ее подобием смерти.

— Сударь,— сказал отец Лонгмар, бледнея,— сейчас тор-

жественная минута. Да поможет мне господь! Теперь уже ясно, что мы умрем без причастия. Вероятно, я некогда принимал святые дары без должного трепета и благодарности, если небо отказывает мне в них сегодня, когда я так в этом нуждаюсь.

Телеги уже ожидали внизу. Осужденных со связанными руками усадили вплотную друг к другу. Рошмор, у которой лекарь не нашел признаков беременности, втащили на один из возков. Собрав последние силы, она пристально всматривалась в толпу зрителей, надеясь, вопреки всякой надежде, найти среди них спасителей. Ее глаза были полны мольбы. Стечение народа было значительно меньше, чем прежде, и состояние умов менее возбужденное. Только несколько женщин кричали: «Смерть им!» — или издевались над теми, кому предстояло сейчас умереть. Мужчины же пожимали плечами, отворачивались и хранили молчание не то из осторожности, не то из уважения к закону.

Трепет пробежал по толпе, когда Атенаис переступила порог: она казалась совсем ребенком.

Она склонила голову перед монахом.

— Господин кюре, дайте мне отпущение грехов,— попросила она.

Отец Лонгмар торжественно прошептал слова молитвы и потом сказал:

— Дочь моя, вы дошли до ужасного падения, но я желал бы вознести к престолу всевышнего сердце, столь же бесхитростное, как ваше.

Она легко впорхнула в телегу и там, выпрямившись, гордо вскинув свою детскую головку, крикнула:

— Да здравствует король!

Она сделала Бротто знак, что рядом с ней есть место. Бротто помог взобраться варнавиту и затем поместился между монахом и простодушной девушкой.

— Сударь,— обратился отец Лонгмар к философу-эпикурейцу,— прошу вас, как о милости: помолитесь за меня богу, в которого вы еще не веруете. Как знать: быть может, вы даже ближе к нему, чем я. Одно мгновение может все решить. Чтобы стать любимым сыном господа, нужен всего лишь миг. Помолитесь за меня, сударь.

Все время, пока колеса, скрипя, катились по мостовой обширного предместья, монах и сердцем и устами твердил отходную.

Бротто вспоминал стихи вдохновенного певца природы: «Sic ubi non erimus...» Руки его были связаны, он подскакивал при

каждом толчке, но и в позорной телеге он сохранял спокойную осанку и даже как будто старался устроиться поудобнее. Рядом с ним Атенаис, гордая тем, что умирает так же, как королева Франции, окидывала толпу высокомерным взглядом, и старый откупщик, взглядом знатока созерцая белую грудь молоденькой женщины, сожалел о том, что его жизнь сейчас оборвется.

XXV

Между тем как окруженные конными жандармами телеги приближались к площади Поверженного Трона, везя на казнь Бротто и его сообщников, Эварист сидел, задумавшись, на скамье в Тюильрийском саду. Он поджидал Элоди. Солнце, склоняясь к горизонту, пронизывало огневыми стрелами густую листву каштанов. У садовой решетки Слава верхом на крылатом коне неустанно трубила в свою трубу. Газетчики выкрикивали последнее сообщение о крупной победе под Флерюсом.

«Да,— размышлял Гамлен,— победа на нашей стороне. Но мы дорого заплатили за нее».

Ему мерещились тени осужденных за бездарность генералов: он видел их в кровавой пыли на площади Революции, где они сложили головы. И он гордо улыбнулся, подумав, что без суровых мер, в осуществлении которых и он принимал участие, лошади австрийцев сейчас обгладывали бы тут кору с деревьев.

«О, спасительный террор, святой террор! — мысленно восклицал он.— В прошлом году, в эту самую пору, нашими защитниками были побежденные герои в отрепьях; неприятель попирал почву нашей родины; две трети департаментов были охвачены мятежом. Теперь же наши войска, хорошо снаряженные, хорошо обученные, под начальством искусных полководцев переходят в наступление и готовы разнести свободу по всему свету... На всей территории Республики царит мир... О, спасительный террор, святой террор! О, бесценная гильотина! В прошлом году, в эту пору, Республику раздирали на части заговоры, гидра федерализма чуть-чуть не пожрала ее. А ныне тесно сплоченные якобинцы простирают свою мудрую власть над всем государством...»

И все-таки он был мрачен. Глубокая морщина прорезала ему лоб, горькая складка залегла у рта. Он думал: «Мы говорили: *победить или умереть*. Мы ошиблись. Надо было сказать: *победить и умереть*».

Он посмотрел вокруг себя. Дети играли песком. Гражданки, сидя под деревьями на стульях, шили или вышивали. Изящ-

ные мужчины во фраках и странного покроя панталонах возвращались к себе домой, занятые делами и развлечениями. И Гамлен чувствовал себя среди них одиноким: он не был ни их соотечественником, ни их современником. Что же такое произошло? Каким образом на смену энтузиазму прекрасных лет явились безразличие, усталость, а быть может, и отвращение? Эти люди явно не желали больше слышать о Революционном трибунале и отворачивались от гильотины. Она уже слишком намозолила всем глаза на площади Революции, и ее загнали в самый конец Антуанского предместья. Но и там вид роковых телег вызывал ропот. Говорят, будто несколько голосов однажды даже крикнули: «Довольно!»

«Довольно, когда есть еще изменники и заговорщики! Довольно, когда следует обновить комитеты, очистить Конвент! Довольно, когда негодяи позорят народное представительство! Довольно, когда даже в Революционном трибунале замышляют гибель Праведника! Страшно подумать, но тем не менее это так: сам Фукье подготовляет заговор, и именно для того, чтобы погубить Максимилиана, он торжественно принес ему в жертву пятьдесят семь человек, которых, точно отцеубийц, доставили к эшафоту в красных рубахах! Откуда же эта преступная жалость, внезапно овладевшая Францией? Значит, ее необходимо спасать вопреки ее воле, когда она умоляет о пощаде, затыкать себе уши и разить. Увы, это было предначертано роком: отечество проклинало своих спасителей. Пускай оно клянет нас, лишь бы оно было спасено!

Мало приносить безвестные жертвы — аристократов, финансистов, публицистов, поэтов, какого-нибудь Лавуазье, Руше, Андре Шенье. Необходимо поразить всесильных злодеев, загребающих золото обагренными кровью руками, всех этих Фуше, Тальенов, Роверов, Каррье, Бурдонов, которые готовят гибель Горе. Надо освободить государство от всех его врагов. Если бы восторжествовал Эбер, Конвент был бы разогнан и Республика скатилась бы в пропасть; если бы восторжествовали Демулен и Дантон, Конвент, дойдя до нравственного падения, отдал бы Республику на растерзание аристократам, биржевикам и генералам. Если восторжествуют Тальены и Фуше, эти чудовища, упившиеся кровью и грабежами, Франция потонет в преступлениях и позоре... Ты спишь, Робеспьер, а изверги, пьяные от ярости и ужаса, замышляют покончить с тобой и навеки похоронить Свободу. Кутон, Сен-Жюст, почему вы медлите с изобличением заговорщиков?

Как! Прежнее государство, тираническое чудовище, утвер-

ждало свою власть, ежегодно заточая в тюрьму по четыреста тысяч человек, вешая по пятнадцать тысяч, колесуя по три тысячи, а Республика никак не может решиться пожертвовать несколькими сотнями голов в интересах собственной безопасности и могущества? Пусть мы захлебнемся в крови, но мы спасем отечество...»

Он все еще размышлял над этим, когда, бледная, небрежно одетая, подбежала к нему Элоди:

— Что ты хотел мне сказать, Эварист? Почему ты не пришел в «Амур Живописец», в голубую комнатку? Зачем ты вызвал меня сюда?

— Чтобы навек проститься с тобой.

Она пролепетала, что он безумец, что она ничего не понимает...

Он остановил ее еле заметным движением руки:

— Элоди, я больше не могу принимать твою любовь.

— Замолчи, Эварист, замолчи!

Она предложила ему отойти подальше: здесь их могут увидеть, могут подслушать.

Он прошел шагов двадцать и заговорил совершенно спокойно:

— Я принес в жертву родине и жизнь и честь. Я умру опозоренным и ничего не смогу завещать тебе, несчастная, кроме всем ненавистного имени... Любить друг друга? Но разве меня еще можно любить?.. И разве я могу любить?

Она еще раз назвала его сумасшедшим, стала уверять, что любит и будет любить всегда. Она говорила пылко, искренне. Однако, так же как он, и даже лучше его, она сознавала всю правоту его слов. Она спорила против очевидности.

— Я ни в чем не упрекаю себя,— продолжал он.— Я и впредь поступал бы так, как поступал до сих пор. Ради отечества я подверг себя отлучению. Я проклят. Я поставил себя вне человечества и никогда не вернусь к нему! Нет! Великая задача еще не завершена. Милосердие! Прощение!.. А разве изменники прощают? Разве заговорщики милосердны? Предателей родины с каждым часом становится все больше и больше; они вырастают из-под земли, они стекаются со всех границ: молодые люди, которым более пристало бы погибать в рядах наших армий, старики, дети, женщины, напяливающие на себя личины невинности, чистоты и грации. А когда их казнят, на их месте появляются другие, в еще большем количестве... Ты сама видишь, что я должен отказаться от любви, от утех, от всякой радости в жизни, от самой жизни.

Он умолк. По своей природе склонная к мирным наслаждениям, Элоди за последнее время уже не раз с ужасом замечала, что к сладострастным ощущениям, которые она испытывала в объятиях своего трагического любовника, все чаще примешиваются кровавые картины. Она ничего не ответила. Эварист, как горькую чашу, испил молчание молодой женщины...

— Ты сама видишь, Элоди: мы с головокружительной быстротой стремимся вперед. Наше дело поглощает нас. Наши дни, наши часы — это годы. Мне скоро исполнится сто лет. Посмотри на мое чело, разве это чело любовника? Любить!..

— Эварист, ты мой, я не отпущу тебя, я не верну тебе свободы.

Это было самопожертвованием. Он почувствовал это по интонации. Да и сама она это чувствовала.

— Элоди, решишься ли ты когда-нибудь подтвердить, что я был верен своему долгу, что помыслы мои были честны и душа чиста, что я не ведал иной страсти, кроме заботы об общественном благе, что по натуре я был человеком чувствительным и нежным? Скажешь ли ты: «Он исполнил свой долг»? Нет! Ты этого не скажешь. И я не прошу тебя об этом. Пускай бесследно исчезнет память обо мне! Вся моя слава схоронена у меня в сердце, а окружает меня позор. Если ты меня любила, никогда ни единым словом не упоминай обо мне.

В эту минуту ребенок лет восьми-девяти, кативший обруч, с разбегу уткнулся в колени Гамлену.

Эварист подхватил его на руки.

— Дитя! Ты вырастешь свободным, счастливым человеком и этим будешь обязан презренному Гамлену. Я свиреп, так как хочу, чтобы ты был счастлив. Я жесток, так как хочу, чтобы ты был добр. Я беспощаден, так как хочу, чтобы завтра все французы, проливая слезы радости, бросились друг другу в объятия.

Он прижал его к груди.

— Малыш, когда ты станешь мужчиной, ты будешь обязан мне своим счастьем, своей невинностью. А между тем, услыхав мое имя, ты предашь его проклятию.

И он спустил на землю ребенка, который в страхе кинулся к матери, уже спешившей ему навстречу.

Молодая мать, красивая женщина в белом батистовом платье, судя по наружности — аристократка, с надменным видом увела своего мальчика.

Гамлен, дико сверкнув глазами, обернулся к Элоди:

— Я расцеловал этого ребенка, а его мать, быть может, я отправлю на эшафот.

И он удалился большими шагами, держась в тени деревьев.

С минуту Элоди простояла неподвижно, опустив взор и глядя в одну точку. Потом она вдруг кинулась вслед своему любовнику; в порыве исступления, с развевающимися, как у менады, волосами, она схватила его, словно желая растерзать, и сдавленным от слез голосом крикнула:

— Ну что ж, и меня, возлюбленный мой, пошли на гильотину! Прикажи и мне отрубить голову!

И, представив себе, как нож касается ее шеи, она почувствовала, что все ее тело содрогается от ужаса и сладострастия.

XXVI

Термидорианское солнце уже садилось в кровавом пурпуре. Эварист, мрачный и озабоченный, бродил по аллеям Марбефского сада, ставшего национальной собственностью и местом прогулок праздных парижан. Там пили лимонад, ели мороженое; были там и карусель и тиры для юных патриотов. Под деревом мальчик-савояр в отрепьях и черном колпаке играл на волынке, и под ее резкие звуки плясал сурок. Стройный, довольно моложавый мужчина в голубом фраке, с напудренными волосами, шедший в сопровождении большой собаки, остановился послушать эту сельскую музыку. Эварист узнал Робеспьера. Он заметил его бледность, его худобу; лицо стало жестче, и на лбу залегла скорбная морщина.

«Сколько трудов, сколько страданий наложили печать на это чело! — подумал он.— Как тяжело работать для счастья человечества! О чем размышляет он сейчас? Отвлекает ли его от дел и забот звук горной волынки? Думает ли он о том, что заключил договор со смертью и что недалек уже час расплаты? Изыскивает ли он способы победоносно вернуться в Комитет общественного спасения, из которого ушел вместе с Кутоном и Сен-Жюстом из-за мятежного большинства? Какие надежды, какие опасения скрываются за этими непроницаемыми чертами?»

Максимилиан меж тем улыбнулся мальчику, кротким благожелательным голосом задал ему несколько вопросов о его родной долине, о хижине, о родителях, которых бедняжка покинул, бросил ему мелкую серебряную монету и направился дальше. Пройдя несколько шагов, он обернулся и подозвал собаку, которая, почуя грызуна, оскалила зубы на ощетинившегося сурка.

— Браунт! Браунт!

Потом он углубился в сумрак аллеи.

Гамлен из уважения не пожелал нарушить его одиночество. Но, наблюдая издали тонкий силуэт, сливавшийся с окружающей тьмою, он мысленно обратился к нему с речью:

«Я видел твою грусть, Максимилиан; я понял твою мысль. Скорбь, усталость и даже выражение ужаса, застывшее у тебя во взгляде,— все в тебе говорит: «Пусть прекратится террор и наступит братство! Французы, будьте едины, будьте добродетельны, будьте мягкосердечны. Любите друг друга...» Ну что ж! Я помогу тебе в осуществлении этих намерений; чтобы, мудрый и благостный, ты мог положить конец гражданским распрям, угасить братоубийственную ненависть, сделать палача огородником, который будет срезать не человеческие головы, а капусту и латук, я вместе с товарищами по Трибуналу уготовлю стези милосердию, уничтожая заговорщиков и изменников. Мы удвоим нашу бдительность и суровость. Ни один виновный не ускользнет от нас. И когда голова последнего врага Республики падет под ножом, тогда ты сможешь быть милосердным, не совершая преступления, и установишь во Франции царство невинности и добродетели, о отец отечества!»

Неподкупный был уже далеко. Двое мужчин в круглых шляпах и нанковых панталонах, из которых один, высокий, худой, свирепый на вид, с бельмом на глазу, был похож на Тальена, встретились с ним на повороте аллеи, искоса взглянули на него и, притворившись, будто не узнали, прошли дальше. Отойдя на достаточное расстояние и уверившись, что их никто не слышит, они зашептались:

— Вот он, наш король, наш папа, наш бог. Ибо он действительно бог. А Катерина Тео — его пророчица.

— Диктатор, предатель, тиран! И на тебя найдутся Бруты!

— Трепещи, злодей! Тарпейская скала недалеко от Капитолия.

К ним приблизился пес Браунт. Они замолчали и ускорили шаг.

XXVII

Ты спишь, Робеспьер! Часы уходят, драгоценное время бежит...

Наконец восьмого термидора, в Конвенте, Неподкупный поднимается и хочет говорить. Солнце тридцать первого мая, неужели ты восходишь во второй раз? Гамлен ждет, надеется.

Робеспьер навсегда изгонит с опозоренных ими скамей законодателей, более преступных, чем федералисты, более опасных, чем Дантон... Нет, еще не сейчас! «Я не могу,— говорит он,— решиться разорвать до конца завесу, прикрывающую глубокую тайну беззакония». И молния, рассеивающаяся в воздухе, не поражая никого из заговорщиков, приводит их всех в трепет. Уже две недели шестьдесят человек из их числа не решались почевать у себя дома. Марат — тот называл предателей по именам, он указывал на них пальцами. Неподкупный колеблется, и с этой минуты обвиняемый — он.

Вечером в Клубе якобинцев невероятная давка — в зале, в коридорах, во дворе.

Здесь все налицо — шумные друзья и немые враги. Робеспьер читает им речь, которую Конвент выслушивает в страшном молчании и якобинцы покрывают бурными рукоплесканиями.

— Это мое завещание,— говорит он,— вы увидите, как я, не дрогнув, выпью чашу цикуты.

— Я выпью ее вместе с тобой,— отвечает Давид.

— Все мы, все мы выпьем! — кричат якобинцы и расходятся, не приняв никакого решения.

В то время как враги готовили Праведнику смерть, Эварист спал сном учеников Христовых в Гефсиманском саду. Утром он отправился в Трибунал, где заседали две секции. Та из них, в которую входил он, разбирала дело двадцати одного участника заговора в Сен-Лазарской тюрьме. А в это время уже распространялась весть: «Конвент после шестичасового заседания постановил привлечь к ответственности Максимилиана Робеспьера, Кутона, Сен-Жюста, а также Огюстена Робеспьера и Леба, пожелавших разделить участь обвиняемых. Все пятеро заключены под стражу».

Становится также известным, что председатель секции, помещающейся в соседнем зале, гражданин Дюма, арестован во время исполнения обязанностей, но что заседание продолжается. Слышно, как трубят сбор и бьют в набат.

Эваристу на скамье присяжных вручают приказ Коммуны отправиться в ратушу для участия в заседании Генерального совета. Под звон набата и бой барабанов он вместе с товарищами выносит приговор и бежит к себе — обнять мать и надеть трехцветную перевязь. Тионвильская площадь безлюдна. Секция не решается высказаться ни за Конвент, ни против него. Прохожие робко жмутся к стенам, норовят поскорее скрыться в воротах, попасть к себе домой. На звуки набата и барабанную

дробь откликаются захлопывающиеся ставни и громыхающие засовы дверей. Гражданин Дюпон-старший спрятался у себя в мастерской; консьерж Ремакль запирается в своей привратницкой. Малютка Жозефина боязливо сжимает в объятиях Мутона. Вдова Гамлен сокрушенно вздыхает о дороговизне съестных припасов — причине всех бед. На нижней площадке лестницы Эварист сталкивается с Элоди. Она запыхалась, пряди черных волос прилипли к влажной шее.

— Я искала тебя в Трибунале. Ты только что ушел оттуда. Куда ты?

— В ратушу.

— Не ходи туда! Ты погубишь себя: Анрио арестован... секции не выступят. Секция Пик, оплот Робеспьера, спокойна. Я знаю наверняка: мой отец ведь член ее. Если ты отправишься в ратушу, ты напрасно погубишь себя.

— Ты хочешь, чтобы я был трусом?

— Напротив: сейчас мужество заключается в верности Конвенту и в повиновении закону.

— Закон мертв, если торжествуют злодеи.

— Эварист, послушайся своей Элоди, послушайся своей сестры: сядь рядом с ней, чтобы она успокоила твою смятенную душу.

Он взглянул на нее: никогда еще не казалась она ему такой желанной; никогда этот голос не звучал для него так страстно, так убедительно.

— Два шага, только два шага, мой любимый!

Она увлекла его к высокому газону, на котором находился пьедестал опрокинутой статуи. Вокруг стояли скамьи, пестревшие нарядными мужчинами и женщинами. Торговка галантереей предлагала купить у нее кружева. Продавец целебной настойки, с бутылью за плечами, звонил в колокольчик; девочки играли в серсо. На отлогом берегу рыболовы застыли в неподвижных позах с удочкой в руке. Погода была ветреная, небо в тучах. Гамлен, склонившись над парапетом, смотрел на остров, заостренный, точно корабельный нос, слушал, как стонут на ветру верхушки деревьев, и чувствовал, что всем его существом овладевает бесконечное желание покоя и уединения.

И, словно сладостный отголосок его мысли, звучал рядом тихий голос Элоди:

— Помнишь, как при виде полей тебе захотелось быть мировым судьею где-нибудь в деревушке? Ведь это было бы счастьем.

Но, покрывая шелест листьев и голос женщины, до него доносились звуки набата, барабанный бой, отдаленный конский топот и громыханье пушек по мостовой.

В двух шагах от него молодой человек, беседовавший с изящной гражданкой, сказал:

— Слыхали последнюю новость?.. Оперу перевели на улицу Закона.

Однако все уже было известно: шепотом произносили имя Робеспьера, но делали это с опаской, так как он продолжал еще внушать страх. И женщины, боязливо передавая из уст в уста слух о его падении, старались сдержать улыбку.

Эварист Гамлен схватил руку Элоди и тотчас же выпустил ее.

— Прощай! Я приобщил тебя к своей ужасной судьбе, я погубил твою жизнь. Прощай! Постарайся забыть меня!

— Смотри не возвращайся сегодня ночью к себе,— ответила она.— Приходи к «Амуру Живописцу». Не звони: кинь камешком мне в ставни. Я сама отопру дверь и спрячу тебя на чердаке.

— Либо я вернусь к тебе победителем, либо не вернусь совсем. Прощай!

Подходя к ратуше, он услышал подымающийся к нависшему небу гул, как в минувшие великие дни. На Гревской площади раздавался лязг оружия, пестрели трехцветные перевязи и мундиры, выстраивались в боевом порядке пушки Анрио. Он поднимается по парадной лестнице, у входа в зал совета расписывается на листе. Члены Генерального совета Коммуны в числе четырехсот девяноста одного единогласно высказываются в пользу обвиняемых.

Мэр отдает распоряжение принести таблицу Прав Человека и читает вслух статью, где говорится: «Когда правительство нарушает народные права, восстание является священнейшим и необходимейшим долгом народа». И главное должностное лицо Парижа объявляет, что государственному перевороту, совершенному Конвентом, Коммуна противопоставляет народное восстание.

Члены Генерального совета клянутся умереть на своем посту. Двум муниципальным офицерам поручается отправиться на Гревскую площадь и предложить народу присоединиться к Коммуне, в целях спасения отечества и свободы.

Люди ищут друг друга, обмениваются новостями, подают советы. Здесь, среди магистратов, мало ремесленников. Коммуна, члены которой тут собрались, имеет то лицо, какое ей придала якобинская чистка, это — судьи и присяжные Революционного трибунала, художники, вроде Бовале и Гамлена, рантье и учителя, зажиточные мещане, крупные торговцы в напудрен-

ных париках, с брелоками на животе; тут почти не видно деревянных башмаков, широких штанов, карманьол, красных колпаков. Их много, этих буржуа, и все они полны решимости. Но, в сущности, ими почти исчерпывается все, что есть в Париже подлинно республиканского. Они сгрудились в ратуше, как на скале свободы, окруженные со всех сторон океаном равнодушия.

Между тем приходят благоприятные вести. Все тюрьмы, куда заключили обвиняемых, раскрывают двери и отпускают их на волю. Огюстен Робеспьер, явившийся из Форс, первым приходит в ратушу; его встречают аплодисментами. В восемь часов становится известно, что Максимилиан, после продолжительных колебаний, тоже направляется в Коммуну. Его ждут, он сейчас должен явиться, он явился: чудовищный гром рукоплесканий сотрясает своды старинного муниципального здания. Его торжественно вносят на руках. Этот щуплый, опрятный человечек в голубом фраке и желтых панталонах,— это он. Он занимает свое место, он говорит.

Не успевает он переступить порог, как Генеральный совет приказывает немедленно иллюминировать ратушу. В нем воплощена сама Республика. Он говорит, говорит своим высоким голосом, тщательно выбирая выражения. Он говорит изысканно, пространно. Те, кто здесь собрался, кто жизнью рискует из-за него, с ужасом замечают, что это говорун, умеющий ораторствовать в комитетах и на трибуне, но неспособный на быстрое решение, на революционный шаг.

Его увлекают в зал совещаний. Теперь они все в сборе, эти славные преступники: Леба, Сен-Жюст, Кутон. Робеспьер говорит. Половина первого ночи — он все еще говорит. Между тем Гамлен, прижавшись лбом к стеклу, в зале совета, тоскливо всматривается в темноту; он видит, как чадят плошки во мраке ночи. Пушки Анрио выстроились перед ратушей. На совершенно черной площади волнуется встревоженная, растерянная толпа. В половине первого из-за угла улицы Ваннри показываются факелы — они окружают делегата Конвента, облеченного знаками своего достоинства. Он разворачивает бумагу и, залитый красным светом факелов, читает вслух декрет Конвента, постановившего объявить вне закона членов мятежной Коммуны, членов Генерального совета, действующих с ней заодно, и всех граждан, которые откликнутся на ее призыв.

Объявление вне закона, казнь без следствия и суда! От одной мысли об этом даже самые решительные бледнеют. Гамлен чувствует, как на лбу у него выступает холодный пот. Он смотрит на толпу, которая торопливо покидает Гревскую площадь.

Он поворачивается и видит, что зал, где только что яблоку негде было упасть, почти пуст.

Но напрасно бежали все эти члены Генерального совета: они ведь расписались.

Два часа ночи. В соседнем зале Неподкупный совещается с Коммуной и магистратами, объявленными вне закона.

Гамлен устремляет безнадежный взор на черную площадь. При свете фонарей он замечает, как со стуком, словно кегли, ударяются друг о дружку деревянные подпорки у навеса бакалейной лавки. Фонари покачиваются и мерцают: поднялся сильный ветер. Минуту спустя разражается гроза; площадь окончательно пустеет: тех, кого не разогнал ужасный декрет, обращают в бегство несколько капель дождя. Пушки Анрио покинуты на произвол судьбы. И когда войска Конвента при вспышках молнии подходят одновременно с набережной и с улицы Антуан, у подъездов ратуши нет уже никого.

Наконец Максимилиан решается обратиться за поддержкой против Конвента к секции Пик.

Генеральный совет приказывает доставить ему сабли, пистолеты, ружья. Но лязг оружия, шум шагов, звон разбиваемых стекол уже наполняет здание. Словно лавина, проносятся войска Конвента через зал совещаний и устремляются в зал совета. Раздается выстрел — Гамлен видит, как падает с раздробленной челюстью Робеспьер. Гамлен выхватывает карманный нож, тот самый дешевый нож, которым когда-то, в дни голода, он отрезал ломоть хлеба для бедной матери, тот самый, который прелестным вечером на ферме в Оранжи лежал на коленях у его возлюбленной во время игры в фанты; он раскрывает его и хочет вонзить себе в сердце; лезвие натыкается на ребро, гнется, и он ранит себе два пальца. Гамлен падает, обливаясь кровью. Он лежит неподвижно, но страдает от страшного холода, и в шуме и сумятице ужасной борьбы, попираемый ногами, явственно слышит голос молодого драгуна Анри:

— Тирана уже нет в живых! Его приспешники разбиты. Революция снова пойдет своим величественным и грозным путем.

Гамлен теряет сознание.

В семь часов утра лекарь, присланный Конвентом, перевязал ему раны. Конвент очень заботился о сообщниках Робеспьера: он желал, чтобы ни один из них не избежал гильотины. Художника, бывшего присяжного, бывшего члена Генерального совета Коммуны, на носилках доставили в Консьержери.

XXVIII

Десятого термидора, когда Эварист, после лихорадочного сна, вдруг очнулся в невыразимом ужасе на тюремной койке, Париж, огромный и прекрасный, радостно улыбался солнцу; в сердцах узников воскресала надежда: торговцы весело открывали лавки, буржуа чувствовали себя богаче, молодые люди — счастливее, женщины — красивее, и все это благодаря падению Робеспьера. Только горсточка якобинцев, несколько священников, присягнувших конституции, да десяток старух трепетали при мысли, что власть перешла в руки людей дурных и порочных. Революционный трибунал отправил в Конвент делегацию в составе общественного обвинителя и двух судей с поздравлениями по случаю пресечения заговора. Собрание постановило, что эшафот опять будет воздвигнут на площади Революции. Оно хотело, чтобы богачи, щеголи, красивые женщины могли со всеми удобствами смотреть на казнь Робеспьера, которая должна была состояться в тот же день. Диктатор и его приспешники были объявлены вне закона; достаточно было двум муниципальным чиновникам удостоверить их личность, чтобы Трибунал немедленно передал их палачу. Но тут возникло неожиданное затруднение: удостоверение личности не могло быть совершено с соблюдением требуемых законом формальностей, так как вся Коммуна была объявлена вне закона. Ввиду этого собрание разрешило Трибуналу удостоверить личность преступников при помощи обыкновенных свидетелей.

Триумвиров и их главных сообщников повлекли к эшафоту среди криков восторга и ярости, среди проклятий, смеха и танцев.

На следующий день Эвариста, который уже оправился и кое-как мог держаться на ногах, вывели из камеры, доставили в Трибунал и усадили на помосте, на том самом помосте, где он не раз видел толпу осужденных и где до него перебывало столько знаменитых и безвестных жертв. Теперь помост стонал под тяжестью семидесяти человек, в большинстве своем членов Коммуны; некоторые из них были, как и Гамлен, присяжными, объявленными, как и он, вне закона. Гамлен увидел свою скамью, спинку, к которой обычно прислонялся, место, откуда он наводил ужас на несчастных, место, где ему пришлось выдержать взгляды Жака Мобеля, Фортюне Шассаня, Мориса Бротто, умоляющие взоры гражданки Рошмор, стараниями которой его назначили присяжным и которую он отблагодарил

смертным приговором. Над возвышением, где на трех креслах красного дерева, обитых алым утрехтским бархатом, заседали судьи, он увидел бюсты Шалье и Марата и бюст Брута, чью тень он однажды призвал в свидетели. Ничто не изменилось: ни секиры, ни ликторские прутья, ни красные колпаки на обоях, ни оскорбления, которыми «вязальщицы» осыпали с трибун тех, кому предстояло умереть, ни душа Фукье-Тенвиля, упрямого, трудолюбивого, усердно роющегося в своих человекоубийственных документах и отправляющего, как безупречный судья, своих вчерашних друзей на эшафот.

Гражданин Ремакль, консьерж и портной, и гражданин Дюпон-старший, столяр с Тионвильской площади, член Наблюдательного комитета секции Нового моста, удостоверили личность Гамлена (Эвариста), художника, бывшего присяжного Революционного трибунала, бывшего члена Генерального совета Коммуны. Они свидетельствовали за вознаграждение в сто су ассигнациями, выплаченное им секцией. Но так как они находились с Гамленом в добрососедских и даже приятельских отношениях, им было совестно смотреть ему в глаза. Кроме того, было жарко, им хотелось пить, и они поспешили уйти, чтобы осушить по стакану вина.

Гамлен не без труда взобрался на телегу: он потерял много крови, и рана причиняла ему жестокую боль. Возница хлестнул свою клячу, и шествие тронулось под улюлюканье столпившихся зевак.

Женщины, узнавшие Гамлена, кричали:

— Туда тебе и дорога, кровопийца! Убийца, подрядившийся за восемнадцать франков в день!.. Он уже не смеется: смотрите, какой он бледный... трус!

Это были те же самые женщины, которые недавно осыпали бранью заговорщиков и аристократов, крайних и умеренных — всех, кого Гамлен и его товарищи посылали на гильотину.

Телега свернула на набережную Морфондю и не спеша двинулась по Новому мосту и Монетной улице: дорога вела на площадь Революции, к эшафоту Робеспьера. Лошадь прихрамывала; кучер поминутно стегал ее кнутом по ушам. Веселая, оживленная толпа любопытных замедляла движение конвоя. Публика приветствовала жандармов, которым приходилось сдерживать коней. На углу улицы Оноре оскорбления удвоились. Молодые люди, сидевшие за столиками в залах второго этажа модных ресторанов, высыпали к окнам, с салфетками в руках.

— Каннибалы! Людоеды! Вампиры! — кричали они.

Когда телега застряла в куче нечистот, которых не убирали за эти два дня всеобщего смятения, золотая молодежь пришла в восторг:

— Телега увязла в навозе!.. Там вам и место, якобинцы!

Гамлен был занят своими мыслями, и ему казалось, что он все понимает.

«Я заслуживаю смерти,— думал он.— Все мы поделом терпим поношения, которыми в нашем лице осыпают Республику и от которых нам следовало оградить ее. Мы проявили слабость. Мы грешили снисходительностью. Мы предали Республику. Мы заслужили свой жребий. Робеспьер, безупречный, праведный Робеспьер, и тот повинен в кротости и в снисходительности; он искупил эти ошибки своим мученичеством. Подобно ему, я тоже предал Республику; она погибает,— справедливость требует, чтобы я умер вместе с ней. Я щадил кровь других — пускай же прольется моя собственная кровь! Пусть я погибну! Я это заслужил...»

Предаваясь этим размышлениям, он вдруг заметил вывеску «Амура Живописца»; воспоминания, и горестные и сладостные, бурным потоком нахлынули на него.

Лавка была заперта; жалюзи на всех трех окнах во втором этаже были спущены донизу. Когда телега проезжала под левым окном, окном голубой спальни, женская рука с серебряным кольцом на безымянном пальце слегка приподняла край жалюзи и кинула Гамлену красную гвоздику, которую он не мог поймать, так как руки у него были связаны, но он впился в нее взглядом, ибо она была для него символом и образом красных благоуханных уст, столько раз даривших прохладу его губам. Глаза его наполнились слезами, и, еще весь проникнутый очарованием этого последнего привета, он увидел на площади Революции сверкающий над толпою окровавленный нож.

XXIX

На Сене уже показался первый лед нивоза. Бассейны Тюильри, ручейки, фонтаны замерзли. Северный ветер поднимал на улицах облака снежной пыли. У лошадей шел из ноздрей белый пар. Горожане, проходя мимо лавок оптиков, взглядывали на термометр. Приказчик протирал заиндевелые окна «Амура Живописца», и любопытные останавливались поглазеть на модные эстампы: на Робеспьера, выжимающего над чашей человеческое сердце, словно лимон, чтобы напиться крови, и на большие аллегорические картины, вроде «Тигрократии Робеспьера», представлявшей сплошное нагромождение гидр,

змей, страшных чудовищ, которых тиран спустил на Францию. Тут же были выставлены: «Ужасный заговор Робеспьера», «Арест Робеспьера», «Смерть Робеспьера».

В этот день, после обеда, Филипп Демаи с папкой под мышкой вошел в лавку Жана Блеза. Он принес ему доску, на которой выгравировал пунктиром «Самоубийство Робеспьера». Язвительно-насмешливый резец гравера изобразил Робеспьера настолько отвратительным, насколько это было возможно. Французский народ еще не насытился подобными произведениями, пытавшимися увековечить чудовищные и позорные деяния человека, которого теперь винили во всех преступлениях Революции. Однако торговец эстампами, хорошо знавший публику, предупредил Демаи, что отныне он будет заказывать ему только военные сюжеты.

— Нам теперь понадобятся победы и завоевания, сабли, султаны, генералы. Мы вступили на путь славы. Я это чувствую по себе; сердце у меня усиленно бьется при рассказах о подвигах наших доблестных армий. А когда я испытываю какое-нибудь чувство, редко бывает, чтобы все не испытывали его одновременно со мной. Воины и женщины, Марс и Венера — вот что нам нужно.

— Гражданин Блез, у меня остались еще два-три рисунка Гамлена, которые вы дали мне гравировать. Надо ли с этим поторопиться?

— Совершенно незачем.

— Кстати о Гамлене: вчера, проходя по бульвару Тампль, я видел у одного старьевщика, лавка которого помещается как раз напротив дома Бомарше, все полотна этого несчастного, в том числе его «Ореста и Электру». Голова Ореста, похожая на самого Гамлена, прекрасна, уверяю вас... голова и плечо великолепны... Старьевщик мне сказал, что эти холсты покупают у него художники, которые заново будут писать на них свои картины... Бедняга Гамлен! Из него, быть может, выработался бы первоклассный живописец, не займись он политикой.

— У него была душа преступника! — возразил гражданин Блез.— Я вывел его на чистую воду вот на этом самом месте, еще в ту пору, когда он не давал воли своим кровожадным инстинктам. Этого он никак не мог мне простить... О, это был редкий мерзавец!

— Бедняга! Он был искренен. Его погубили фанатики.

— Надеюсь, вы не станете оправдывать его, Демаи?.. Ему нет оправдания.

— Да, гражданин Блез, оправдания ему нет.

Гражданин Блез похлопал красавца Демаи по плечу.

— Времена изменились. Теперь, когда Конвент зовет изгнанников обратно, вас можно называть «Барбару»... Знаете, Демаи, что мне пришло в голову? Выгравируйте-ка портрет Шарлотты Корде.

В лавку вошла закутанная в меха высокая красивая брюнетка и по-приятельски кивнула гражданину Блезу головой. Это была Жюли Гамлен; но она уже не носила этой обесчещенной фамилии, она называла себя вдовой Шассань, и под шубкой на ней была надета красная туника в честь красных рубашек эпохи террора.

Сначала Жюли испытывала недобрые чувства к любовнице Эвариста: все, что имело какое-либо отношение к брату, было ей ненавистно. Но гражданка Блез после смерти Эвариста приютила его несчастную мать в каморке под самой крышей «Амура Живописца». Жюли на первых порах тоже нашла там убежище, затем она получила место в модной лавке на Ломбардской улице. Волосы, коротко остриженные в стиле «жертвы гильотины», аристократическая внешность, траур привлекали к ней симпатии золотой молодежи. Жан Блез, с которым Роза Тевенен почти рассталась, начал проявлять к ней усиленное внимание, и она не отвергла его ухаживаний. Как в прежние трагические дни, Жюли любила одеваться в мужской костюм: она заказала себе щегольской фрак и часто отправлялась с огромной тростью в руке в Севр или в Медон поужинать там со знакомой модисткой в каком-нибудь кабачке. Мужественная Жюли все еще не могла утешиться после смерти молодого дворянина, чье имя она носила, и только в ярости находила некоторое облегчение своей скорби: встречая якобинцев, она натравливала на них прохожих, подстрекала к расправе с ними. Матери она уделяла мало времени, и та, одна в своей каморке, по целым дням перебирала четки: трагическая гибель сына до того потрясла ее, что она даже не чувствовала горя. Роза также стала близкой подругой Элоди, которая обладала способностью отлично уживаться со своими «мачехами».

— Где Элоди? — спросила гражданка Шассань.

Жан Блез покачал головой. Он никогда не знал, где его дочь: это было правилом, которого он твердо держался.

Жюли зашла за ней, чтобы вместе отправиться к Розе Тевенен, в Монсо, где у актрисы был маленький домик с английским садом.

В Консьержери Роза Тевенен познакомилась с гражданином Монфором, занимавшимся крупными поставками на армию.

Когда ее благодаря хлопотам Жана Блеза выпустили на свободу, она добилась освобождения гражданина Монфора, и тот сейчас же по выходе из тюрьмы занялся поставками провианта в воинские части, а также стал скупать земельные участки в квартале Пепиньер. Архитекторы Леду, Оливье и Вайи настроили там целый ряд хорошеньких домиков, и в какие-нибудь три месяца цена земли поднялась втрое. Монфор со времени совместного заключения в Люксембурге был любовником Розы Тевенен; он подарил ей небольшой особняк близ Тиволи, на улице Роше. Дом этот стоил больших денег, но Монфору, можно сказать, достался даром, так как продажа соседних участков с излишком покрыла все расходы. Жан Блез был человек воспитанный: он полагал, что надо мириться с тем, чему мы не в силах воспрепятствовать,— он уступил Розу Тевенен Монфору без ссоры.

Вскоре после прихода Жюли в лавку спустилась нарядно одетая Элоди. Несмотря на мороз, на ней под шубкой было надето открытое платье из белой ткани; лицо ее побледнело, талия стала тоньше, глаза подернулись томностью, и все ее существо дышало сладострастием.

Женщины отправились к Розе Тевенен, которая ждала их. Демаи поехал с ними: актриса, обставляя свой особняк, пользовалась его советами, а он был влюблен в Элоди, которая уже почти решилась избавить его от дальнейших мук ожидания. Когда они проезжали мимо Монсо, где под слоем извести были зарыты казненные на площади Революции, Жюли заметила:

— Пока стоят холода, это еще ничего; но весной трупный запах отравит половину города.

Роза Тевенен приняла подруг в гостиной, выдержанной в античном стиле; все диваны и кресла были исполнены по рисункам Давида. По стенам, над статуями, над бюстами, над канделябрами, раскрашенными под бронзу, висели одноцветные копии с римских барельефов. Актриса носила белокурый, цвета соломы, парик в буклях. По парикам в ту эпоху сходили с ума: их клали по шести, по двенадцати, по восемнадцати штук в свадебные корзины. Платье «в стиле Киприды», узкое, как чехол, облегало ее тело.

Накинув на плечи манто, она повела приятельниц и гравера в сад, который разбивали по плану Леду, но в котором пока были свалены голые деревья и груды щебня. Тем не менее она показала им Фингалов грот, готическую часовню с колоколом, храм, поток.

— Здесь,— вздохнула она, подведя гостей к группе елей,—

я хотела бы воздвигнуть кенотафию в память несчастного Бротто дез Илетта, к которому я не осталась равнодушной. Изверги убили его; я пролила немало слез. Демаи, нарисуйте мне урну на колонне.

И почти сейчас же вслед за тем прибавила:

— Ужасно... Я хотела дать бал на этой неделе, но все скрипачи приглашены за три недели вперед. У гражданки Тальен танцуют каждый вечер.

После обеда коляска Розы Тевенен отвезла трех приятельниц и Демаи в театр Фейдо. Там собралось все, что было наиболее изящного в Париже: женщины, причесанные в стиле «античном» или в стиле «жертвы», в сильно декольтированных платьях, пурпурных или белых, усеянных золотыми блестками, мужчины в очень высоких черных воротниках и в широких белых галстуках, в которых утопали подбородки.

В этот вечер ставили «Федру» и «Собаку на сене». Весь зал потребовал исполнить «Пробуждение народа» — гимн, любимый щеголями и золотой молодежью.

Взвился занавес, и на сцену вышел толстый, низкорослый человек: это был знаменитый Лаис. Прекрасным тенором он спел:

Народ французский, все мы братья!

Раздался такой гром рукоплесканий, что зазвенели хрустальные подвески люстры. Затем послышался невнятный ропот, и голос какого-то гражданина в круглой шляпе ответил из партера «Гимном марсельцев»:

Вперед, сыны отчизны милой!
День вашей славы засверкал...

Ему не дали кончить. Раздались свистки и крики:

— Долой террористов! Смерть якобинцам!

И Лаис, вызванный еще раз, снова спел гимн термидорианцев:

Народ французский, все мы братья!

В зрительных залах решительно всех театров на колонне или на цоколе стоял бюст Марата; в театре Фейдо этот бюст возвышался на пьедестале в одной из ниш, расположенных по обе стороны рампы.

Во время исполнения оркестром увертюры из «Федры и Ипполита» какой-то молодой щеголь крикнул, указывая на бюст концом трости:

— Долой Марата!

И весь зал подхватил:

— Долой Марата! Долой Марата!

Из общего гула вырвались отдельные красноречивые возгласы:

— Позор, что этот бюст еще здесь!

— Гнусный Марат, к стыду нашему, царит еще повсюду! Бюстов его не меньше, чем голов, которые он хотел отсечь.

— Ядовитая жаба!

— Тигр!

— Черная змея!

Вдруг какой-то франт взбирается на выступ ложи, толкает бюст и сбрасывает его. Осколки гипса падают на головы музыкантам под рукоплескания всего зрительного зала, который подымается и стоя поет «Пробуждение народа»:

Народ французский, все мы братья!

Среди наиболее восторженных певцов Элоди узнала красавца драгуна Анри, прокурорского писца, свою первую любовь.

После спектакля Демаи позвал кабриолет и отвез гражданку Элоди к «Амуру Живописцу».

В коляске молодой человек взял руку Элоди в обе руки:

— Верите вы, Элоди, что я вас люблю?

— Верю, потому что вы любите всех женщин.

— Я люблю их в вашем лице.

Она улыбнулась.

— Я взяла бы на себя нелегкую задачу, даже несмотря на модные теперь черные, белокурые и рыжие парики, если бы решилась заменять вам женщин всех типов.

— Элоди, клянусь вам...

— Что? Клятвы, гражданин Демаи? Либо вы меня считаете наивной, либо вы сами слишком наивны.

Демаи не нашелся что ответить, и она с удовольствием подумала, что он от нее без ума.

На углу улицы Закона они услыхали пение и крики; вокруг костра суетились какие-то тени. Это была кучка щеголей, которые по выходе из Французского театра сжигали чучело, представлявшее Друга народа.

На улице Оноре кучер задел шляпой карикатурное изображение Марата, повешенное на фонаре.

Придя в веселое настроение, возница обернулся к седокам и рассказал им, как накануне продавец требухи на улице Монторгей вымазал кровью бюст Марата, приговаривая: «Это он любил больше всего на свете»; как затем десятилетние маль-

чишки бросили бюст в сточную канаву и как присутствовавшие при этом граждане воскликнули: «Вот его Пантеон!»

Во всех ресторанах и кабачках, мимо которых они проезжали, публика пела:

Народ французский, все мы братья!

Когда они очутились у ворот «Амура Живописца», Элоди, выпрыгнув из кабриолета, сказала:

— Прощайте!

Но молодой человек так нежно, так настойчиво и вместе с тем так кротко стал умолять ее, что у нее не хватило решимости захлопнуть перед ним дверь.

— Уже поздно,— сказала она.— Я впущу вас только на минутку.

В голубой спальне она сбросила шубку и осталась в белом «античном» платье, обрисовывавшем ее формы и согретом ее телом.

— Может быть, вам холодно? — спросила она.— Я разведу огонь: дрова уже приготовлены.

Она высекла огонь и положила горящую лучинку в камин.

Филипп заключил ее в объятья с той нежной осторожностью, которая свидетельствует о силе, и это доставило ей какое-то особое удовольствие. Уже почти не сопротивляясь его поцелуям, она вдруг высвободилась из его рук:

— Оставьте меня!

Стоя перед каминным зеркалом, она медленно сняла шляпу, затем взглянула с грустью на кольцо, которое носила на безымянном пальце левой руки, маленький серебряный перстенек со сплющенным, полустертым изображением Марата. Она смотрела на него, пока слезы не затуманили ей глаза, потом тихонько сняла его и кинула в огонь.

И лишь после этого, улыбаясь сквозь слезы, похорошев от нежности и любви, она бросилась в объятья Филиппа.

Было уже далеко за полночь, когда гражданка Блез отперла своему любовнику дверь квартиры и шепнула ему в темноте:

— Прощай, любовь моя!.. Сейчас должен вернуться отец. Если услышишь шаги на лестнице, быстро поднимись этажом выше и не спускайся, пока не убедишься, что опасность миновала. Внизу постучи три раза в окно привратнице: она выпустит тебя на улицу. Прощай, жизнь моя! Прощай, моя душа!

Последние угли догорели в камине. Элоди, счастливая и усталая, бессильно опустила голову на подушку.

ПРИМЕЧАНИЯ

ПРЕСТУПЛЕНИЕ СИЛЬВЕСТРА БОНАРА, АКАДЕМИКА

Первый роман А. Франса, «Преступление Сильвестра Бонара, академика», явился результатом творческого переосмысления более ранних замыслов. В декабре 1879 и январе 1880 г. в журнале «Revue Alsacienne» была опубликована новелла Франса «Фея», впоследствии составившая первые три главы второй части романа. В ноябре 1880 г. в том же журнале появился эпизод, озаглавленный «Очень старая любовная история, страничка из записок Сильвестра Бонара, академика». Этот эпизод был также включен затем в текст романа. Наконец, в ноябре 1880 г. в журнале «Jeune France» Франс опубликовал еще один фрагмент под названием «Военная хитрость, рассказ, извлеченный из неопубликованных записок Сильвестра Бонара, академика», который в роман не вошел, но был частично использован в другом произведении Франса, «Книга моего друга» (ч. II, гл. IX).

Весь роман в первоначальном варианте увидел свет на страницах журнала «Nouvelle France» в декабре 1880 — январе 1881 г. В апреле 1881 г. он вышел отдельной книгой в издательстве Кальман-Леви и вскоре удостоился академической премии. Однако Франс не прекращал работы над уже опубликованным и имевшим успех произведением. В издание 1902 г., «пересмотренное и исправленное», он внес значительные, по сравнению с первым изданием, изменения, исключил некоторые эпизоды, изменил характеристики (например, смягчил высказывание студента Жели об историке Мишле). Вторая часть романа, прежде озаглавленная «Дочь Клементины», теперь получила новое название: «Жанна Александр», а сама героиня сделалась уже не дочерью Клементины, былой возлюбленной Сильвестра Бонара, а ее внучкой. Бла-

годаря этому изменению двусмысленное истолкование участия, которое старый академик принимает в судьбе девочки, делается еще более нелепым.

Время показало, что первый роман Франса остался дорог ему до конца жизни. В 1918 г. в соавторстве с Пьером Фронде он пишет пьесу «Преступление Бонара», обращаясь все к тому же сюжету. Незадолго до смерти, в 1923 г., готовя новое издание романа, он снова перерабатывает его: меняет последовательность отдельных событий, приближает время действия к современности. Теперь последняя запись в дневнике Сильвестра Бонара помечена не 1869 г., как было в прежних изданиях, а 1882 г. Получается, что сатирическим изображением пансиона мадемуазель Префер и нелепостей законодательства автор метит не во Вторую империю, как было прежде, а в порядки буржуазно-республиканской Франции.

Вскоре после выхода в свет первого французского издания «Преступление Сильвестра Бонара» начали издавать в других странах. Первое отдельное издание на русском языке появилось в 1899 г. в Петербурге. В советское время роман Франса выходил шесть раз в разных переводах, в том числе дважды в собраниях сочинений А. Франса.

Стр. 33. *Лувр династии Валуа* — то есть наиболее старинная часть дворца, служившая в XIV в. резиденцией королям династии Валуа. Дворец Лувр, заложенный в первые годы XIII в., в последующие столетия постоянно расширялся, достраивался и был завершен только в XIX в.

Гамилькар.— Любимый кот Сильвестра Бонара носит имя знаменитого карфагенского полководца (III в. до н. э.).

Болландисты — монахи, составлявшие многотомные «Жития святых»; название — от имени антверпенского иезуита Болланда (XVII в.), который первым начал этот труд.

Стр. 34. *Палеография* — вспомогательная историческая дисциплина, которая по особенностям рукописи определяет ее происхождение и время написания. *Дипломатика* — определяет подлинность исторических документов.

Гомункул (лат. homunculus) — человеческое существо, которое будто бы умели искусственно создавать средневековые алхимики. Гете в «Фаусте» (ч. II) рисует гомункула как символ мещанской ограниченности. В близком смысле употребляет это слово и Сильвестр Бонар.

История Нельской башни.— Башня старинного Нельского особняка в Париже связывалась с именем французской королевы Маргариты Бургундской, жены Людовика X, которая была будто бы удушена (1315) по приказу короля за любовную связь с капитаном Буриданом. Этот сюжет, не раз использованный в литературе, приобрел популярность благодаря романтической драме А. Дюма-отца «Нельская башня» (1832).

Стр. 35. *Любовь Элоизы и Абеляра.*— Сохранившаяся переписка средневекового богослова и поэта Пьера Абеляра и его возлюбленной Элоизы (XI в.) рисует трагическую историю насильно разлученных любовников, ставших жертвами религиозного фанатизма и ханжества.

Стр. 38. *«Венчанье Прозерпины»* — сюжет из античной языческой религии, в противоположность христианскому сюжету миниатюры *«Сретенье господне».*

Стр. 39. *Аббатство Сен-Жермен-де-Пре* — древнее французское аббатство, было основано в VI в. королем Хильдебертом I из династии Меровингов. Ко времени жизни Сильвестра Бонара от него осталась только церковь в центре Парижа, на левом берегу Сены.

Агиография — род церковноисторической литературы, включает «Жития святых» и жизнеописания деятелей церкви.

Полен Парис (1800—1881) — ученый-филолог, специалист по средневековой литературе Франции.

...из собрания Кольбера...— Жан-Батист Кольбер (1619—1683), министр короля Людовика XIV, был любителем старинных книг и владел большим собранием рукописей, которое впоследствии под названием «Кольбертины» вошло в фонд парижской Национальной библиотеки.

Балюз Этьен (1630—1718) — библиотекарь Кольбера, был широко образованным человеком, автором исторических трудов.

Собрание Биго.— Эмери Биго (1626—1689) — известный в свое время эрудит, составил богатейшую библиотеку, где имелись драгоценные старинные издания.

Стр. 40. *Плеяда.*— Имеется в виду кружок поэтов французского Возрождения, сформировавшийся в середине XVI в. и сыгравший важную роль в развитии национальной литературы. Центральная фигура «Плеяды» — поэт Пьер Ронсар.

...изящный маскарад Ватто...— Сюжетами картин французского художника Жана-Антуана Ватто (1684—1721) часто служили придворные празднества, маскарады, галантные и театральные сцены.

Морион — легкая каска с высоким гребнем, принадлежавшая к доспехам стрелков, вооруженных аркебузами.

Стр. 42. *Морери* Луи (1643—1680) — автор «Большого исторического словаря».

Стр. 44. *...к дяде моему, капитану Виктору...*— Прототипом этого персонажа А. Франсу послужил его дед со стороны матери, Дюфур, в прошлом — сержант наполеоновской армии.

Стр. 46. *Луарский разбойник.*— После разгрома наполеоновской армии при Ватерлоо (1815) остатки ее под командованием маршала Даву были отведены за реку Луару, там интернированы союзниками, а затем распущены. Отсюда бранная кличка «луарский разбойник», применительно к бывшим наполеоновским офицерам, пущенная в оби-

ход сторонниками «реставрированных» на французском престоле Бурбонов.

Стр. 47. *Ребенок, не видевший улыбки матери...* — завершающие стихи из четвертой эклоги Вергилия (книга «Буколики»).

Стр. 48. *...поручает древнему Косоносцу дать зрителям отчет...* — Четвертое действие «Зимней сказки» Шекспира открывается монологом старца Времени, заменяющего хор древней трагедии: он рассказывает зрителям о том, какие события произошли за шестнадцать лет, отделяющие третье действие от четвертого. *Пэрдита* — дочь короля Леонта, героиня «Зимней сказки».

Стр. 49. *...тени Елен, Франческ, Джульетт, Юлий и Доротей* — то есть поэтические образы прекрасных женщин из мировых литературных памятников: Елена Троянская (греч. миф.), Франческа да Римини (Данте, «Божественная Комедия», «Ад», песнь V), шекспировская Джульетта, героини романа Ж.-Ж. Руссо «Юлия, или Новая Элоиза» (1761) и поэмы Гете «Герман и Доротея» (1797).

Стр. 51. *«Дай мне теперь, Аретуза...»* — начальная строка десятой эклоги Вергилия (книга «Буколики»). Аретуза — нимфа, именем которой назван источник в Сицилии.

Стр. 53. *Подобные советы давал своим друзьям и Гораций.* — Гораций (Квинт Гораций Флакк; 65 г. до н. э.— 8 г. н. э.) в своих «Одах» призывал наслаждаться радостями быстротечной жизни, «ловить день». В оде 14 (кн. II) поэт обращается с таким советом к другу, которого называет Постумом; в оде 11 (кн. I) — к женщине по имени Левконоя.

Стр. 55. *Филипп Бергамский* (1434—1520) — итальянский летописец; ему принадлежат жизнеописания знаменитых женщин, в том числе Жанны д'Арк (Орлеанской девы).

Стр. 56. *...две недели, как я в Сицилии.* — А. Франс не бывал в Сицилии; для ее описания он воспользовался статьями историка и философа Эрнеста Ренана «Двадцать дней в Сицилии», напечатанными в журнале «Ревю де де Монд» в 1875 г.

Стр. 57. *...стихи афинского поэта...* — Цитируются строки из пролога к трагедии «Антигона» Софокла (V в. до н. э.).

Стр. 59. *...коробки с портретами Гарибальди и Мадзини...* — Джузеппе Мадзини (1805—1872) и Джузеппе Гарибальди (1807—1882) — герои национально-освободительного и демократического движения в Италии. В 1860 г. Гарибальди во главе «тысячи» (добровольцев) занял Сицилию, а затем высадился в Неаполе и освободил его от власти Бурбонов. Мадзини в 1870 г. организовал республиканское восстание в Сицилии.

Сбиры (ит ал.) — презрительная кличка полицейских.

Джирдженти (итальянизированная форма названия Агригент) — город на южном берегу Сицилии, выросший на месте древнего города Агригента.

Эрикс — древнее название горы в Сицилии (ныне Монте Сан-Джульяно) и города, расположенного у ее подножия.

Стр. 60. *Величие античной Цереры еще реет над этими бесплодными холмами...* — В античные времена остров Сицилия был отнюдь не бесплодным, а, напротив, славился своими тучными землями; в Сицилии был распространен культ богини земного плодородия Цереры (у греков — Деметры).

Менал — гора в Сицилии.

Селинунт — город и мыс в Сицилии.

Стр. 61. *...божественная Нестис агригентца Эмпедокла...* — Древнегреческий поэт и философ Эмпедокл (V в. до н. э.) был уроженцем Агригента. Эмпедокл считал, что в основе мира лежат четыре стихии, которые олицетворялись для него в образах богов: эфир (Зевс), земля (Гера), огонь (Андоней) и вода (Нестис).

Стр. 63. *Джулио Кловио* (1498—1578) — итальянский художник-миниатюрист, который иллюстрировал книги религиозного содержания.

Стр. 66. *Блажен, кто, как Улисс...* — начальная строка сонета Жоашена Дю Белле (1522—1560), одного из поэтов Плеяды; прожив долгое время в Италии, Дю Белле выразил в этом стихотворении тоску по родной французской земле.

Стр. 67. *...экземпляр часослова Симона Вотра́...* — Симон Вотра — французский книгоиздатель, издавал молитвенники с многочисленными гравюрами.

...Витрувий раскрыл... свои мастерские гравюры кариатид и теламонов. — Во французском издании трактата «Об архитектуре» римского зодчего Витрувия (I в. до н. э.), выпущенного в XVII в., была сделана попытка восстановить его подлинные чертежи и рисунки.

Стр. 68. *Инкунабулы.* — Так называются первопечатные книги, изданные до 1500 г.; по внешнему виду они еще походят на рукописные.

Стр. 69. *«Иудейская война»* — сочинение древнеиудейского историка Иосифа Флавия (I в. н. э.).

Стр. 71. *То не заплаканный Амур, и я не старик Анакреон...* — намек на античную оду «Посещение Эрота», которая во времена Франса приписывалась греческому поэту Анакреонту (VI в. до н. э.): ночью в дверь к поэту постучался промокший, заплаканный ребенок Эрот (бог любви Амур), поэт отогрел Эрота, но тот коварно ранил его стрелою в сердце.

Стр. 77. *...вернется к пасхе или к троице, как то поется в песне...* — Имеется в виду песенка «Мальбрук в поход собрался, один бог знает, когда он вернется...», в которой выразилась насмешка французского народа над английским полководцем герцогом Мальборо (1650—1722), командовавшим английскими войсками в так называемой войне за испанское наследство.

Стр. 78. *...вопреки положеньям телемитов...* — В книге Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» (кн. I, гл. VII) описано Телемское аббатство, обитатели которого, телемиты, свободны от всяческих уставов, правил и законов: «Вставали они когда вздумается, пили, ели, трудились, спали когда заблагорассудится».

...как старику в басне.. — Речь идет о басне Лафонтена «Старик и Смерть», в которой столетний Старик просит у Смерти отсрочки для того, чтобы завершить земные дела: составить завещание, достроить дом и т. д.

Стр. 79. *Пальмирские храмы.* — Пальмира — город древней Сирии, разрушенный в III в. римлянами.

Стр. 81. *Картуларий* — собрание грамот (в копиях), оформлявших имущественные, главным образом поземельные, отношения в Западной Европе в средневековый период.

Стр. 83. *Госпожа Рекамье* Юлия-Аделаида (1777—1849) — хозяйка блестящего парижского салона времен Реставрации, где собирались сливки общества, привлеченные ее умом и красотой.

Ампер Жан-Жак (1800—1864) — историк и филолог, сын известного физика.

Стр. 84. *Гиппогриф* — крылатый конь, описанный в поэме итальянского поэта Лодовико Ариосто (1474—1533) «Неистовый Роланд».

Стр. 91. *Терраса Люксембургского дворца.* — Люксембургский дворец расположен недалеко от здания Французской академии и от набережной Малакэ, где жил Сильвестр Бонар. К дворцу примыкает сад, расположенный террасами.

Готье де Куэнси (1177—1236) — французский монах, автор религиозных песнопений и записей легенд.

Стр. 92. *...в тех гомеровских стариках, которые... держались вдалеке от боя...* — эпизод из Илиады (песнь III, стихи 145—155).

...как обезьяна в басне Лафонтена... — В басне Лафонтена «Обезьяна и Леопард» Обезьяна, зазывая зрителей в свой балаган, хвастается, что приехала в город на трех лодках.

...они не носили, как мы, длинных волос... — Юность Сильвестра Бонара пала на годы романтизма во Франции, когда в моду вошли взвинченные страсти и увлечение средневековьем; литературная молодежь той поры щеголяла невероятными костюмами и прическами, бросая вызов буржуазной «благопристойности».

Стр. 93. *Архивная школа* (основана в 1821 г.) — высшее учебное заведение, готовящее архивариусов, текстологов и библиотекарей. Помещалось на улице Паради-о-Маре

Читаешь Мишле? — Да, я люблю романы. — Выдающийся французский историк Жюль Мишле (1798—1874) отличался напряженно-эмоциональной манерой повествования.

Дом Жермен — Жермен Мишель (XVII в.), автор «Истории монастырей бенедиктинского ордена». Дом (от лат. dominus) — звание, которое давалось некоторым влиятельным деятелям ордена.

Стр. 94. *Куражо* Луи (1841—1896) — французский историк искусства.

Тамизе де Ларок (1828—1888) — ученый-филолог, издавший ряд старинных рукописей.

Кишра Жюль (1814—1882) — ученый-археолог, автор исследований по средневековой истории Франции.

Стр. 98. *...экземпляры Рейналя и Мабли.*— Рейналь Гийом (1713—1796) — философ и историк, связанный с Просвещением, автор «Философской и политической истории учреждений и торговли европейцев в обеих Индиях», проникнутой страстным протестом против рабства и колониализма. Мабли (аббат Габриель Бонно; 1709—1785) — публицист, близкий к просветителям, утопический коммунист, автор труда «Общественное право в Европе».

Декре Дени, герцог (1762—1820) — французский адмирал, был морским министром Наполеона I. В 1804 г. император готовил морскую флотилию для вторжения в Англию, но французы потерпели поражение при *Трафальгаре* (1805).

Стр. 99. *Шарле* Никола-Туссен (1792—1846) — рисовальщик и литограф, был известен сценами из военной жизни.

«Котидьен» («Quotidienne»; 1792—1847) и *«Белое знамя»* («Drapeau blanc»; 1819—1830) — реакционные монархические газеты, связанные с иезуитами и ратовавшие за укрепление власти Бурбонов.

Король Ивето.— Имеется в виду популярная песенка Беранже «Король Ивето», написанная им в 1813 г. и рисующая добродушного и миролюбивого короля, сатирически противопоставленного Наполеону I.

Стр. 100. *Маршал Ней* Мишель (1769—1815) — один из маршалов Наполеона, был расстрелян за поддержку его во время «Ста дней».

Денон Доминик, барон (1747—1825) — французский гравер, при Наполеоне занимал пост главного директора парижских музеев.

Стр. 101. *...в заговоре Жоржа...*— Жорж Кадудаль, один из главарей контрреволюционных мятежей периода революции конца XVIII в., организовал в 1800 г. монархический заговор против Наполеона, который тогда еще не был императором и носил титул «первого консула».

Мильтиад Младший (V в. до н. э.) — афинский полководец, одержавший победу над персами в сражении при Марафоне, в 490 г. до н. э.

Фемистокл (V в. до н. э.) — афинский государственный деятель, под руководством которого греческий флот в 480 г. до н. э. одержал победу над персидским в сражении у острова Саламина.

Фабий Максим Квинт (ум. в 203 г. до н. э.) — римский полководец, прославившийся в сражениях против карфагенского полководца Ганнибала. Неоднократно избирался консулом.

Стр. 102. *...Марию, сидящему среди развалин Карфагена...*— Марий (I в. до н. э.) — римский военачальник и консул, противник Суллы. По преданию, скрывался от его преследований среди развалин Карфагена.

Стр. 103. *...только в романах Мармонтеля...*— Мармонтель Жан-Франсуа (1723—1799), французский писатель, близкий к просветителям; ему принадлежат два романа на исторические темы: «Велизарий» и «Инки», в которых он ставил морально-философские проблемы.

...в эпоху Авраама, Менеса и Девкалиона — иными словами, в глубокой древности: Авраам, согласно Библии,— родоначальник еврейского народа; Менес (нач. II тысячелетия до н. э.) — первый фараон, подчинивший своей власти Верхний и Нижний Египет; Девкалион (греч. миф.) — единственный, кто вместе с женой спасся от ниспосланного Зевсом потопа и создал новый род человеческий из камней.

Стр. 104. *...легитимист и вольтерьянец...*— Такое сочетание было возможно потому, что политически умеренная программа Вольтера («просвещенная монархия») не противоречила стремлению легитимистов (от франц. légitime — законный) — партии, враждебной Наполеону,— восстановить на французском престоле «законную» династию Бурбонов.

Арфа Давида.— По библейской легенде, юноша Давид успокаивал игрою на арфе припадки ярости и печали израильского царя Саула.

Стр. 105. *...соседа из обсерватории — великого Араго.*— Имеется в виду известный физик Доминик-Франсуа Араго (1786—1853).

Стр. 115. *...сведется к песенке о Ля Палисе.*— Во французской народной песенке о господине Ля Палисе, убитом в сражении при Павии в 1525 г., поется:

Минут за десяток до смерти,
Ей-богу, он был живой!

Эти строчки вошли в поговорку, как комическое выражение прописной истины.

Стр. 117. *Петер Шефер* (XV в.) — немецкий типограф, помощник Иоганна Гутенберга.

Лувр эпохи Ренессанса.— См. прим. к стр. 33.

Стр. 118. *Амбруаз Паре* (1517—1590) — знаменитый в свое время французский хирург, прославился применением при ампутациях лигатуры для перевязки сосудов вместо принятого ранее прижигания раны.

Пти-Радель Луп-Шарль (1756—1836) — французский археолог.

Стр. 119. *Октавий, рассуди...*— реплика Октавиана Августа из трагедии Корнеля «Цинна» (1641).

Шпренгель Христиан Конрад (1750—1816) — немецкий ученый-ботаник, автор труда «Открытие тайны строения и плодоношения цветов» (1793).

Стр. 120. *...евангельская мудрая дева...*— намек на евангельскую

притчу о девах разумных и девах неразумных: первые держат в руках зажженные светильники — символ добродетели, а вторые — опрокинутые светильники.

Кризаль — персонаж комедии Мольера «Ученые женщины» (1672) — невежественный и простодушный буржуа.

Стр. 125. *...маркиза, философка, бывшая в молодости другом Гельвеция...* — В салоне французского философа Клода-Адриена Гельвеция (1715—1771), видного деятеля Просвещения, собирались образованные представители придворной знати.

...и без нее поднять свою вязанку — намек на басню Лафонтена «Дровосек и Смерть»: старый Дровосек, изнемогая от труда и нищеты, призывает Смерть, но когда она является, уверяет, что звал ее только затем, чтобы она помогла ему взвалить на спину вязанку хвороста.

Стр. 128. *...по учению Платона... на высшую ступень в иерархии душ.* — По идеалистическому учению Платона (427—347 гг. до н. э.), мир идей является первичным по сравнению с чувственным миром. Познание истины достигается путем воспоминания бессмертной души об идеях, которые она созерцала до вселения в смертное тело. В зависимости от глубины этого созерцания человеческие души, по Платону, образуют иерархию от мудрых и благородных до низменных, коим доступны лишь чувственные удовольствия.

Стр. 131. *...как неразумному Тезею...* — В трагедии Расина «Федра» (1677) внутренний голос предостерегает Тезея, который испросил у богов гибели для своего сына Ипполита, оклеветанного мачехой.

Стр. 135. *...Виргинии, уцелевшей при кораблекрушении...* — Героиня романа Жака-Анри Бернардена де Сен-Пьера «Поль и Виргиния» (1787) — олицетворение девичьей прелести и чистоты — гибнет во время кораблекрушения на глазах своего возлюбленного.

Стр. 137. *...с невинной грацией шарденовской хозяйки.* — Имеются в виду жанровые картины французского художника Жан-Батиста-Симона Шардена (1699—1779), которые поэтизировали обыденную жизнь простых людей.

Стр. 138. *Фульский король хранил золотой кубок...* — Имеется в виду баллада Гете «Фульский король» (1774), впоследствии включенная им в «Фауста».

Сарматский вкус — то есть варварский, грубый вкус.

Стр. 143. *Жан Фуке* (ок. 1420 — ок. 1480) — французский художник, прославившийся своими миниатюрами.

...препоясанный веревкою сынов святого Франциска... — Монахи нищенствующего ордена францисканцев (последователей итальянского мистика Франциска Ассизского; 1182—1226) носили рясу, подпоясанную веревкой.

Стр. 145. *Философ-пирроник* — то есть скептик; древнегреческий

философ Пиррон (365—275 гг. до н. э.) — родоначальник античного скептицизма.

Стр. 146. *Арган* — персонаж комедии Мольера «Мнимый больной» (1673) — богатый буржуа, который, отличаясь крайней мнительностью, постоянно кутается и пичкает себя лекарствами.

Стр. 148. *Ролен* Шарль (1661—1741) — французский историк, автор труда о Древнем Риме.

Академические пальмы — нагрудный знак, учрежденный в 1808 г. во Франции для награждения лиц, имеющих большие заслуги в области науки и искусства (лента), либо народного образования (розетка).

Стр. 154. *«Жерар Русильонский»* — средневековая эпическая поэма на франко-провансальском диалекте; записана около 1170 г.

Капитулярий — королевский указ; термин употреблялся в раннефеодальную эпоху (VIII—X вв.).

Кодекс Наполеона — Гражданский кодекс, то есть свод законов, введенный в 1804 г. и юридически закрепивший победу буржуазных отношений во Франции. Лег в основу последующего французского законодательства.

Стр. 156. *«Тристан»* — то есть французский средневековый рыцарский роман о любви Тристана и Изольды (одна из многочисленных литературных обработок этой кельтской легенды).

Стр. 158. *Поль Мейер* (1840—1917) — французский ученый-филолог, изучавший культуру средневековья.

Стр. 160. *«Эрот непобедимый...»* — цитата из трагедии Софокла «Антигона» (третий стасим); хор прославляет бога любви Эрота. Далее упоминается сюжет трагедии Софокла «Эдип в Колоне», где изображены скитания слепого Эдипа и его смерть.

Изограф — писец, воспроизводящий все особенности древней рукописи вплоть до заставок, буквиц и рисунков.

...великие Фориели и Тьерри.— Фориель Клод (1772—1844) и Тьерри Огюстен (1795—1856) — французские ученые-историки буржуазно-либерального направления.

Стр. 162. *Господин Скриб всегда отворяет двери с умыслом...*— Французский драматург Огюстен-Эжен Скриб (1791—1861), чрезвычайно популярный во времена Сильвестра Бонара, упомянут здесь как мастер строить искусственные и неожиданные театральные эффекты.

Стр. 163. *Парни* Эварист-Дезире (1753—1814) — французский поэт, в чьем творчестве большое место занимают эпикурейские мотивы.

Стр. 165. *...отца Люции и Пертской красавицы...*— Имеется в виду писатель Вальтер Скотт (1771—1832). Люция — героиня его романа «Ламмермурская невеста» (1819); роман «Пертская красавица» вышел в 1828 г.

Стр. 166. *Будь счастлив, Кассандр! Возвеселись, Бартоло!* — Кассандр — традиционный персонаж старинной итальянской комедии: подозрительный старик, которого обманывают молодые влюбленные. Бартоло — персонаж комедии Бомарше «Севильский цирюльник» (1775), ревнивый и обманутый опекун Розины.

Стр. 169. *Броль* — деревушка неподалеку от Фонтенбло. Там одно время жил друг детства А. Франса, Этьен Шараве, некоторые черты которого запечатлены в образе Сильвестра Бонара.

Сказка о голубой птице.— Имеется в виду волшебная сказка «Голубая птица» французской писательницы Марии д'Онуа (ум. в 1705 г.).

ОСТРОВ ПИНГВИНОВ

«Остров пингвинов» первоначально представлял собой небольшой рассказ из восьми главок — пародию на жития святых и церковные чудеса. Здесь говорилось о житии святого Маэля, об искушении его королевой Гламорганой и о том, как в старости он по ошибке окрестил пингвинов, которые, по решению небесного совета, были превращены после этого в людей. В таком виде, под заголовком «Остров пингвинов, рождественский рассказ», новое произведение А. Франса появилось 17 декабря 1905 г. в рождественском номере газеты «New York Herald» (иллюстрированное приложение к европейскому изданию этой газеты).

Однако этим не исчерпывались все сатирические возможности найденного Франсом сюжета; уже 8 апреля 1906 г. в той же газете был напечатан «Дракон острова Альки» — рассказ из одиннадцати главок, с некоторыми изменениями использованных впоследствии в романе.

К концу года писатель отдает в «New York Herald» (рождественский номер, 16 декабря 1906 г.) новый рассказ «Агарик и Корнемюз, пингвинская история», где в рамке сюжета о пингвинах повторяются мотивы «Современной истории» — показывается реакционная роль церкви в политической борьбе Третьей республики.

Только через год появляется свидетельство более широкого замысла: 15 декабря 1907 г. в рождественском номере «New York Herald» напечатана «История без конца», которая с некоторыми изменениями составит впоследствии заключительную часть романа.

В окончательной редакции «Остров пингвинов» вышел отдельной книгой в издательстве Кальман-Леви 14 октября 1908 г. В том же 1908 г. роман появился в русском переводе в Петербурге (в издательстве «Шиповник»; перевод был сделан с рукописи). Предвидя цензурные затруднения, переводчица Зинаида Венгерова проявила, как выразился в своем донесении начальству цензор, «похвальную осторожность», смягчив или выпустив многие острые места, в результате чего русский текст

романа Франса существенно отличался от подлинника. Печальна была судьба второго русского перевода «Острова пингвинов», сделанного Я. Мацкевичем и И. Хвойником и вышедшего в начале 1909 г. в Москве, в книгоиздательстве «Заря». Уже 15 мая Московский комитет по делам печати доносил прокурору Московского окружного суда:

«Красной нитью через все произведение проходит наглокощунственное глумление над христианством и специально над святыми таинствами крещения и причастия и над поклонением святым мощам».

Таким образом, царскую цензуру встревожил прежде всего антирелигиозный характер «Острова пингвинов». Комитет по делам печати наложил на книгу арест и потребовал привлечения к судебной ответственности всех лиц, причастных к изданию. Приговором Московского окружного суда от 10 февраля 1911 г. было постановлено книгу Франса уничтожить.

В двенадцатитомное собрание сочинений Анатоля Франса, выпущенное в 1910 г. М. Саблиным (хотя оно и названо «полным»), «Остров пингвинов» не вошел. Подлинный текст этого произведения русские читатели получили только после Октября. В советское время оно издавалось в разных переводах десять раз, в том числе дважды в собраниях сочинений Анатоля Франса.

В настоящем томе «Библиотеки всемирной литературы» роман Анатоля Франса публикуется в переводе Валентины Дынник под редакцией покойного Д. Горбова; впервые этот перевод был напечатан в восьмитомном собрании сочинений Анатоля Франса, том 6, Гослитиздат, М. 1959.

Стр. 173. *Луи-Филипп I.*— Ирония заключается в том, что король Луи-Филипп Орлеанский, свергнутый революцией 1848 г., был первым носившим такое имя и в то же время последним французским королем.

...Иоанна Тальпы, монаха Бергардинского монастыря.— Тальпа по-латыни значит «крот»; Бергардинский — название, созвучное названию бернардинского монашеского ордена, распространенного во Франции.

Стр. 175. *«Belgica»* — норвежское судно, совершившее в 1896—1899 гг. антарктическую экспедицию, первое судно, перезимовавшее в южных льдах.

Стр. 176. *Шарко* Жан-Батист (1867—1936) — сын известного врача Шарко, видный океанограф; совершил два путешествия в Антарктику (1903 и 1908 гг.).

...эти птицы получили название «pinguinos», очевидно, за свою тучность.— Это объяснение носит пародийный характер. В действительности название пингвинов происходит от слов pen gwen, что на бретонском языке означает «белая голова».

Гиперборейцы.— Древние греки называли так жителей Севера.

Стр. 177. *Алька* — слово, созвучное научному названию группы перепончатолапых птиц, в которую входят пингвины.

Жако Философ.— В этом имени кроется насмешка автора: Жако — принятая во Франции кличка попугаев.

Стр. 178. *...из страны дельфинов...*— Автор имеет в виду Англию.

Стр. 179. *Тапир* — млекопитающее с вытянутым в виде хоботка носом.

Стр. 183. *Поэт Вергилий возвестил о ней в Сивиллиных песнях...*— Сивиллы — древнегреческие странствующие пророчицы. Далее приведено начало стиха из четвертой эклоги древнеримского поэта Вергилия (70—19 гг. до н. э.). Дева, о которой идет речь в стихотворении,— богиня справедливости, дева Дике; согласно мифу, она покинула землю, но, по мысли поэта, вернулась к людям с воцарением в Риме императора Августа (27—14 гг. до н. э.). Средневековые богословы истолковали это место у Вергилия как предсказание о пришествии девы Марии.

Стр. 184. *Колон* — мелкий земледелец в рабовладельческом Риме, юридически свободный, но фактически прикрепленный к земле.

Стр. 185. *«Я — твоя Ависага. Я — твоя Сунамитянка...»* — Согласно Библии, юная сунамитянка Ависага была подругой старости царя Давида (Третья книга Царств, гл. 1, стихи 3—4).

Стр. 189. *Стовратные Фивы* — один из семи крупнейших городов Древнего Египта.

Левиафан — морское чудовище, упоминаемое в Библии; изображался в виде огромного кита.

Маленький мальчик, начни...— строка из четвертой эклоги Вергилия. В средние века эти слова считались пророчеством о пришествии Христа.

Стр. 192. *Св. Патрик* — по церковному преданию, проповедник, живший в середине V в. и обративший в христианство жителей Ирландии.

Св. Галл (551—646) — христианский проповедник в Ирландии, основатель в Швейцарии Сен-Галленского аббатства.

Стр. 194. *Св. Августин* (354—430) — епископ гиппонский, один из «отцов церкви». Назывался также Блаженным Августином.

...на родине философа Апулея...— Мадавра, родина древнеримского философа Апулея (II в.), славилась колдунами и ворожеями. В романе «Метаморфозы, или Золотой осел» Апулей нарисовал широкую картину суеверий своего времени.

Стр. 195. *Проб* (лат. probus) — честный, скромный.

Гордиан — римский император с 238 по 244 г.

Стр. 197. *...во имя отцов, сынов и святых духов...*— образец невежества средневекового духовенства, искажение латинской богослужебной формулы «Во имя отца и сына и святого духа».

Луи де Поттер (1786—1859) — бельгийский политический деятель, боровшийся за независимость Бельгии; автор трудов по истории церкви.

Но вернемся к нашим пингвинам — перефразировка крылатого выражения из средневекового французского фарса «Адвокат Патлен»: «Но вернемся к нашим баранам».

Св. Ириней (II в.) — епископ города Лиона; католическая церковь считала его христианским мучеником.

Тертуллиан (ок. 160—222) — христианский писатель родом из Карфагена.

Стр. 198. *Григорий Назианзин* — византийский богослов, председатель Первого Вселенского собора христианской церкви в Константинополе (381 г.).

Лактанций (ум. в 325 г.) — христианский проповедник, прозванный за свое красноречие «христианским Цицероном».

Сын Моники — то есть Блаженный Августин.

Стр. 199. *...достаточно сравнить Ветхий завет с Новым.*— Образ сурового, карающего бога из Ветхого завета сильно отличается от более человечного образа Иисуса Христа из Нового завета (Евангелие).

Екатерина Александрийская — одна из самых популярных католических «святых». По легенде, отличалась такой ученостью, что приводила в смущение языческих философов, побудив таким образом многих из них перейти в христианство. Приговоренная к колесованию, была спасена ангелом, который сломал колесо и разметал в стороны палачей.

...в девичьих одеждах...— Девятилетнего Ахиллеса переодела в женское платье его мать Фетида, чтобы уберечь от участия в Троянской войне, в которой он, согласно предсказанию, должен был погибнуть (греч. миф.).

Стр. 200. *...единственный праведник, если не считать императора Траяна...*— Римский император Траян (98—117) в условиях кризиса рабовладельческого хозяйства принимал меры для борьбы против обнищания граждан (раздавал деньги, хлеб); вокруг его имени возникли легенды, изображающие его «праведным царем».

Святой Павел — один из легендарных основателей христианства, о котором рассказывается в «Деяниях апостолов».

Стр. 201. *Вторая Ева искупила грех первой.*— Вторая Ева — богородица, праматерь верующих христиан.

Павел Орозий (V в.) — христианский писатель и историк.

Боссюэ Жак-Бенинь (1627—1704) — французский епископ, один из видных идеологов абсолютизма.

Геродот, Фукидид, Полибий, Диодор Сицилийский, Дион Кассий — греческие историки; *Тит Ливий, Веллей Патеркул, Корнелий Непот, Светоний, Лампридий, Тацит* — римские историки; *Манефон* (III в. до н. э.) — египетский жрец, которому приписывается «История Египта».

Стр. 202. *Церковь торжествующая, церковь воинствующая.*— Согласно богословской фразеологии, церковь воинствующая означает: верующие в их земной жизни; церковь торжествующая — верующие, которые вкушают райское блаженство после смерти.

Стр. 210. *Бэда Достопочтенный* (начало VIII в.) — англосаксонский монах, один из виднейших историков раннего средневековья.

Стр. 212. *Гретоки, герцоги Скаллские.*— Греток (Great auk, а н г л.) — Великий пингвин; скалл (Skull, а н г л.) — череп.

Стр. 215. *Литтре.*— А. Франс ссылается на известный толковый словарь, составленный французским ученым Эмилем Литтре (1801—1881).

Стр. 217. *Джакомо Казанова* (1725—1798) — итальянский авантюрист, автор скандальных мемуаров.

Стр. 219. *...месяц, посвященный... богу Марсу...*— то есть март.

...месяца, название которого... означает «открытие»...— то есть апреля (от л а т. aperire — открывать).

Стр. 221. *Колхида* — древнее название Кавказа. Далее приводятся сюжеты нескольких греческих мифов. *Ясон* — предводитель аргонавтов (пловцов на корабле «Арго»), отправившихся в Колхиду за золотым руном, которое сторожил дракон. *Гесперuды* — дочери великана Атланта — ухаживали за садом с золотыми яблоками, который охранялся страшным драконом Ладоном. *Кастальский ключ* — источник у подножья горы Парнаса, посвященный музам и считавшийся способным пробуждать поэтическое вдохновение. *Андромеда* — прекрасная дочь царя Эфиопии, которая была принесена в жертву дракону, но спасена героем Персеем. А. Франс иронически указывает на совпадение языческих и христианских мифов.

Стр. 224. *Гнатон* — персонаж римской комедии, «паразит» (блюдолиз в богатом доме).

Стр. 231. *Плиний Старший* (24—79) — римский писатель и ученый.

Стр. 233. *...стала небесной покровительницей Пингвинии.*— История святой Орброзы — пародия на церковную легенду о святой Женевьеве, покровительнице Парижа, которая будто бы спасла город от нашествия вождя гуннов — Аттилы.

Стр. 236. *Лукреция* — по античному преданию, римлянка, имя которой стало олицетворением добродетели; будучи обесчещена сыном царя Тарквиния Гордого (VI в. до н. э.), она заставила своего мужа и отца принести клятву мести и закололась у них на глазах; этот случай, согласно легенде, послужил причиной народного восстания и падения царской власти в Древнем Риме.

Стр. 239. *Королева Крюша.*— По-французски cruche значит — «кружка», «кувшин»; в переносном смысле — «дура».

Стр. 240. *Семирамида, Пентесилея, Саломея* — легендарные краса-

вицы. Семирамида — ассиро-вавилонская царица; Пентесилея — по греческим сказаниям, царица амазонок, племени женщин-воительниц, будто бы живших на побережье Черного моря; Саломея — по библейской легенде, иудейская царевна, пленившая своей красотой царя Ирода и добившаяся от него головы Иоанна Крестителя.

«Деяния пингвинов» — название, пародирующее «Деяния апостолов».

Стр. 242. *Амикус* (Amicus) — по-латыни «друг», Инимикус (Inimicus) — «враг».

Стр. 245. *...времен последних Валуа и Генриха IV.*— Французские короли династии Валуа правили с 1328 по 1589 г.; правление Генриха IV, первого французского короля династии Бурбонов, падает на 1589—1610 гг.

Братья Ван-Эйки, Мемлинг, Рогир ван-дер-Вейден, Амброджо Лоренцетти, старые умбрийцы.— Братья Ван-Эйки — знаменитые нидерландские живописцы XVII в.; Мемлинг и Рогир ван-дер-Вейден — нидерландские живописцы XV в.; Амброджо Лоренцетти — итальянский живописец XV в.; умбрийцы — итальянская школа живописи второй половины XV в.

Маргаритоне — итальянский живописец XIII в.

Стр. 246. *Прерафаэлизм* — эстетское направление в английской живописи, возникшее в середине XIX в. Прерафаэлиты считали вершиной искусства творчество предшественников Рафаэля и стремились возродить мистицизм и наивность средневековых художников. Главные представители прерафаэлизма — Данте Габриель Россетти, Медокс Браун, Берн-Джонс.

Стр. 247. *Вазари* Джорджо (1511—1574) — итальянский живописец, архитектор и историк искусства.

Стр. 248. *Болонская школа* — академическое направление в итальянской живописи, возникшее в Болонье во второй половине XVI в.

Стр. 249. *«Плавание святого Брендана»* (XII в.) — англо-нормандская поэма; *«Видение Альберика»* (XIII в.) — латинская поэма; *«Чистилище св. Патрика»* (XII в.) — ирландская поэма о загробном мире.

Град Елены и Великого Константина — город Византия, впоследствии переименованный в Константинополь. В 1453 г. Константинополь был захвачен турками.

Дидона — карфагенская царица, возлюбленная Энея; когда Эней, по велению богов, покинул ее, чтобы плыть к берегам Италии, Дидона, взойдя на погребальный костер, закололась мечом («Энеида» Вергилия).

...поэзия Мантуанца...— Вергилий был родом из Мантуи; похоронен в Неаполе.

Сын Анхиза — Эней.

Стр. 250. *Дочь царя Приама* — Кассандра (греч. миф.), одна из

дочерей троянского царя Приама, обладавшая даром зловещих пророчеств.

Марон — Вергилий (полное имя Публий Вергилий Марон).

Стр. 251. *Борей* (греч. миф.) — бог северного ветра.

...Сивилла, охранительница священной Авернской рощи... — Авернская роща находилась близ Неаполя, окружала озеро с серными испарениями; это послужило основанием для веры в то, что там находится вход в Аид.

...золотую ветвь, любезную прекрасной Прозерпине. — По античному мифу, Прозерпина, дочь богини плодородия Цереры, была похищена богом подземного царства мертвых Плутоном, заманившим ее в лес зрелищем прекрасной ветки граната.

Стр. 252. *Стикс* (греч. миф.) — река в подземном царстве; через другую реку, Ахерон, перевозчик Харон перевозит души умерших.

...судит смертных Минос. — Минос — персонаж греческих мифов, царь Крита, сделанный за свою справедливость судьей в загробном мире. В «Божественной Комедии» Данте Минос сидит у врат ада с весами в руках и определяет вину и меру наказания каждого грешника.

...влачатся жертвы любви... — Далее перечисляются персонажи античных мифов: *Федра* — молодая жена царя Тезея, погибшая из-за преступной любви к своему пасынку Ипполиту; *Прокрида* — верная жена героя Кефала, убитая по ошибке собственным мужем; *Эрифила* — дочь царя Тезея и Елены, пленница Ахилла, влюбленная в него. В трагедии Расина «Ифигения в Авлиде» Эрифила пытается погубить свою соперницу Ифигению, но должна быть принесена в жертву богам вместо нее и кончает самоубийством; *Эвадна* — жена одного из участников похода против Фив, бросилась в погребальный костер своего мужа; *Пасифая* — дочь бога солнца Гелия, воспылала страстью к быку; *Лаодамия* — жена героя Троянской войны Протесилая, которая так любила своего мужа, что оживила заклинаниями его статую, а когда он умер, умерла вместе с ним; *Кения* — одна из нимф.

Елисейские поля, обитель Дия. — Елисейские поля (описаны Вергилием в «Энеиде») — обитель блаженства умерших героев; Дий — то же, что Плутон.

Гесиод, Орфей, Еврипид, Сафо. — Гесиод (VIII—VII вв. до н. э.) — первый известный нам древнегреческий поэт, автор дидактической поэмы «Труды и дни»; Орфей — легендарный поэт Древней Греции, по преданию, сдвигавший камни силой своих песен; Еврипид (V в. до н. э.) — один из трех великих греческих поэтов-трагиков; Сафо (VII в. до н. э.) — греческая поэтесса.

Гораций, Варий, Галл. — Гораций (65—8 гг. до н. э.) — выдающийся римский поэт; Варий (I в. до н. э.) — римский поэт, автор трагедий и

поэм; Галл (I в. до н. э.) — римский поэт, воспевавший в своих элегиях куртизанку *Ликориду* (Ликорис).

Авзонийские музы.— Авзония — древнее, сохранившееся в поэзии название Италии.

Стр. 253. *Партенопея* — древнее название Неаполя.

Стр. 254. *Макр* (ум. в 16 г. до н. э.) — римский поэт, друг Вергилия и Овидия.

...что «Копа» принадлежит Вергилию.— «Копа» («Сора», по-латыни «Трактирщица») — поэма, приписываемая Вергилию.

Стр. 255. *Сирон* — древнегреческий философ-эпикуреец, содержавший в Неаполе школу, где учился Вергилий.

Зенон из Китиона (III в. до н. э.) — древнегреческий философ, основатель школы стоиков.

Александрийцы.— Греческие ученые эпохи эллинизма (IV—III вв. до н. э.), когда центр культуры переместился в Александрию, систематизировали греческую науку и искусство классического периода.

Нерей (греч. миф.) — бог моря.

Аристарх Самосский (III в. до н. э.) — древнегреческий астроном.

Сын Реи, мать энеадов, Пан, Силен.— Сын Реи — Зевс; Рея — дочь Урана и Геи (Неба и Земли). Матерью Энея считалась богиня Венера; энеады — потомки Энея. Пан — бог гор и рощ, воплощение сил природы. Силен — постоянный спутник Диониса, бога вина и земледелия.

Эгле — одна из нимф.

...преемнику Юпитера.— Здесь — христианскому богу.

Стр. 256. *Коммодион* (III в.), *Пруденций* (IV в.), *Фортунат* (V в.) — латинские христианские поэты.

Он был высокого роста...— Внешность Данте описана Франсом в соответствии с портретом великого итальянского поэта на картине Микеланджело «Страшный суд».

Божественный Юлий — Юлий Цезарь.

Фезулы (ныне Фьезоле) — городок близ Флоренции — родина Данте.

Сулла (138—78 гг. до н. э.) — римский полководец и государственный деятель.

...воздыхающей о приходе нового Августа.— Воцарение Августа положило конец периоду гражданских войн в Риме.

Он не знал ни поэзии, ни науки греков, ни даже их языка...— Греческий язык стал известен в Италии только в XV в., когда турки захватили Константинополь (1453) и многие греки бежали в итальянские города.

Стр. 257. *...одно из их должностных лиц...*— Данте до своего изгнания был членом Совета приоров — высшего правительственного органа купеческой республики Флоренции.

Порсена (VI в. до н. э.) — этрусский царь, воевавший с римлянами после свержения ими царя Тарквиния Гордого, союзником которого он был.

...стихи... на новом наречии, которое он называет народным языком... — Данте был основоположником общеитальянского литературного языка, в основе которого лежит тосканское наречие. О преимуществах итальянского языка перед латынью, непонятной в его время простому народу, Данте писал в трактате «О народном языке».

Бавий и Мевий — римские поэты, жившие в I в. до н. э. Их имена стали синонимами самодовольной бездарности в литературе.

Асфодели — цветы, растущие, по описанию Вергилия, на Елисейских полях.

Стр. 258. *...ко вратам из рога.* — По античному мифу, через врата из рога вылетали из Аида пророческие сны. Франс использовал этот образ в своем романе «На белом камне» (1904).

Жиль Луазелье — французское имя, которое в латинизированной форме звучит как Эгидий Авкупис. Второе слово на обоих языках значит — «птицевод», но латинское слово означает, кроме того, еще «болтун», «пустослов».

Кьюзи и Корнето — местности в Северной Италии, где сохранились в изобилии памятники древней этрусской культуры.

Орканья (XIV в.) — флорентинский художник и архитектор.

Стр. 259. *Эринское море* — Ирландское море (Эрин — древнее название Ирландии).

Стр. 260. *Эразм Роттердамский* (1466—1536) — выдающийся нидерландский гуманист, автор сатиры «Похвала Глупости».

Стр. 261. *Симплициссимус,* так же как *Овидий Капито,* — смысловые имена: Симплициссимус по-латыни значит «величайший простак», Капито — «большеголовый».

Делос — один из Цикладских островов; по греческому мифу, плавучий остров, на котором родились Аполлон и Артемида.

...знаменитый отрывок из «Опыта о нравственности». — В нижеследующих строках Франс в сатирических целях перефразирует высказывания французских просветителей.

Стр. 262. *Пий X* — папа римский (1903—1914), крайний реакционер, преследовавший демократические течения в христианстве.

...король предан смертной казни... — Далее Франс намекает на события французской буржуазной революции конца XVIII в.

Месяц цветов — то есть флореаль, один из весенних месяцев по календарю французской революции.

Стр. 264. *...подобно Агриппине, вынашивала в своем чреве своего собственного убийцу.* — Агриппина (I в.) — мать императора Нерона, убитая по его приказанию.

Анахарсис (VII—VI вв. до н. э.) — скиф из царского рода; движимый жаждой знаний, совершил путешествие в Грецию и был впоследствии причислен греками к величайшим мудрецам древности.

«Путешествие молодого Джамби по Пингвинии» — ироническая аналогия названию книги французского писателя и историка Жан-Жака Бартелеми «Путешествие юного Анахарсиса в Грецию» (1779).

Стр. 267. *«Общественное дело».*— Слово «Республика» (Res publica) по-латыни буквально значит «общественное дело».

Новая Атлантида — подразумеваются США.

Титаннорт — Нью-Йорк.

Стр. 268. *Планета Старца* — то есть планета Сатурн; бог Сатурн изображался в виде согбенного старца с длинной бородой.

Гигантополис — Вашингтон.

Стр. 272. *Эргастулы* — в древнеримском государстве — обширные подземелья, где содержались закованные в цепи провинившиеся рабы, выполнявшие там тяжелые работы.

Формоз.— В этом образе содержится намек на деятельность французского буржуазного политического деятеля Сади Карно (1837—1894), который был избран президентом в 1887 г.

Конгрегация — объединение католических монастырей, принадлежавших к одному и тому же монашескому ордену.

Стр. 277. *Читтерлингс* (англ. chitterlings) — «требуха».

Стр. 279. *Сепле* (франц. sept plaies) — «семь ран».

Де Плюм (от франц. plume) — «перо».

Тортиколь (франц. torticolis — искривление шеи) — «Кривошей».

Стр. 283. *Полковник Маршан* — Маршан Жан-Батист (1863—1934) — французский офицер, впоследствии генерал, командовал колониальными войсками, подавлял боксерское восстание в Китае (1904); участник первой мировой войны.

...битвой при Ялу...— Ялу (Ялуцзян) — пограничная река между Маньчжурией и Кореей, где во время русско-японской войны 1 мая 1904 г. произошло первое сражение между русской и японской армиями, окончившееся победой японцев.

Шатийон.— Под этим именем выведен генерал Жорж Буланже (1837—1891). Беспринципный авантюрист, связанный с монархическими кругами, Буланже в конце 80-х годов XIX в. готовил реакционный государственный переворот. Вскоре, однако, Буланже был разоблачен, в 1889 г. бежал в Бельгию и в 1891 г. застрелился на могиле своей возлюбленной г-жи де Бонмэн.

Стр. 285. *Коннетабль* — высшее военное звание в феодальной Франции.

Стр. 286. *Рем* — один из легендарных основателей Рима. «Потомки Рема» — итальянцы.

Стр. 287. *Он любил ее безумно.*— Роман Шатийона и виконтессы Олив намекает на роман генерала Буланже и г-жи де Бонмэн.

Стр. 291. *«Мельница деньжат»* (Moulin de la Galette) — название кафешантана. На парижском уличном жаргоне galette значит «деньги».

Стр. 295. *Барботан.*— Под этим именем выведен министр внутренних дел Констан, спровоцировавший побег Буланже.

Стр. 297. *«Теперь надлежит пить»* — слова из оды Горация, посвященной победе Октавиана Августа над флотом Антония и Клеопатры.

Стр. 301. *Пиро.*— Под этим именем подразумевается Дрейфус. 14 сентября 1894 г. военный министр Мерсье (в сатире Франса — Гретоk) выдвинул против офицера генерального штаба Альфреда Дрейфуса заведомо ложное обвинение в продаже Германии секретных военных документов. Несмотря на полное отсутствие улик, военный суд приговорил Дрейфуса к пожизненной каторге. Этот процесс использовала реакция для борьбы против республиканского режима и демократических свобод.

Стр. 306. *В эту клетку, пустовавшую уже триста лет, заключили Пиро...*— После суда Дрейфус был сослан на Чертов остров, во французскую колонию Кайенну, где содержался в крайне тяжелых условиях в каторжной тюрьме.

Граф де Мобек де ла Дандюленкс.— Дандюленкс (dent du lynx) по-французски значит «рысий зуб». Под этим именем изображен светский авантюрист, офицер французского генерального штаба граф Эстергази, истинный виновник преступления, ложно приписанного Дрейфусу.

Стр. 308. *Робен Медоточивый* — премьер-министр Мелин (1896—1898), который в деле Дрейфуса поддерживал реакционеров.

Стр. 309. *Коломбан.*— Под этим именем выведен Эмиль Золя.

Стр. 310. *Грубые животные!* — Намек на действительный факт: Золя, после вынесения ему обвинительного приговора, в ответ на выкрики реакционеров воскликнул: «Каннибалы!»

Стр. 312. *Пиротисты.*— Под именем «пиротистов» подразумеваются дрейфусары — сторонники пересмотра дела Дрейфуса; под именем «антипиротистов» или «патриотов» — антидрейфусары, противники пересмотра «дела», которых поддерживала реакция.

Стр. 321. *Товарищ Феникс.*— Под этим именем выведен руководитель реформистского крыла французских социалистов Жан Жорес (1859—1914). Группа Жореса не поняла сущности дела Дрейфуса и защищала обвиняемого как личность с позиций буржуазного гуманизма, отказываясь использовать борьбу для решения самостоятельных задач рабочего класса.

Стр. 322. *Товарищ Сапор* (лат. sapor — вкус, остроумие).— Под этим именем выведен Жюль Гед (1845—1922) — один из основателей французской рабочей партии, впоследствии один из лидеров II Интер-

национала. В деле Дрейфуса Гед и его сторонники держались порочной политики нейтралитета, полагая, что это борьба двух буржуазных группировок, которая не может интересовать рабочих.

Стр. 323. *Товарищ Лаперсон.*— В образе Лаперсона Франс заклеймил французского «социалиста» Мильерана (1859—1943), который в 1899 г. впервые в истории рабочего движения вошел в реакционное буржуазное правительство (кабинет Вальдека — Руссо).

Товарищ Лариве (от франц. l'arrivé — сделавший карьеру).— Прототип этого персонажа — французский «социалист» Аристид Бриан (1862—1932), который в 90-х годах примыкал к Жоресу и щеголял «левыми» фразами, в 1902 г. вошел в парламент и превратился в реакционного буржуазного политика, открыто враждебного рабочему классу.

Стр. 326. *Полковник Астен.*— Прототип этого образа — начальник информационного бюро французского генерального штаба полковник Пикар, который в 1896 г. выступил с разоблачением судебных махинаций в деле Дрейфуса и с обвинением Эстергази.

Стр. 327. *Вермийяр* (от франц. vermiller — рыться в земле).— В эпизоде с экспертизой записной книжки Пиро содержится сатира на аналогичный эпизод дела Дрейфуса — тенденциозную экспертизу клочков письма, подобранного на полу в германском посольстве в Париже и приписанного Дрейфусу.

Отец Дуйяр — фамилия, образованная от франц. douillet — душегрейка.

Стр. 328. *Леена* (VI в. до н. э.) — афинская куртизанка, которая знала о заговоре против тирании и, несмотря на пытки, которым ее подвергли, не выдала заговорщиков; за это ей был поставлен памятник.

Эпихарида (I в.) — греческая вольноотпущенница, участница заговора против римского императора Нерона; была схвачена и покончила с собой, чтобы не выдать соучастников.

Стр. 331. *...как Саул истребил филистимлян...*— По библейскому преданию, первый иудейский царь Саул (XI в. до н. э.), воевавший с филистимлянами, истребил их по велению бога.

Стр. 332. *Эдилы* — в Древнем Риме чиновники, ведавшие благоустройством города.

Стр. 333. *Шоспье* (франц. Chaussepied) — «Обуй ногу».

Стр. 334. *Ла Тринитэ* (франц. la Trinité) — троица.

Пениш (франц. péniche) — лодка.

Стр. 335. *Ван-Жюлеп* — имя, образованное от франц. julep — прохладительное питье.

Стр. 336. *Эльбивор* — фамилия, созвучная с франц. herbivore — жвачное животное.

Стр. 337. *В этом втором процессе...*— В 1899 г. под давлением общественности дело Дрейфуса было пересмотрено. Однако вторичный про-

цесс снова окончился его осуждением. Впоследствии Дрейфус был помилован.

Стр. 341. *Граф Робер де Монтескью* (1885—1921) — второстепенный французский поэт.

Стр. 349. *Тэн* — Ипполит Тэн (1828—1893) — французский философ-позитивист, историк искусства и литературы, автор реакционной книги «История французской революции».

Климент Александрийский (III в.) — видный богослов.

Колесница Джаганнатхи.— Джаганнатхи (Джагернаут) — одно из имен индийского бога Вишну. Во время празднества «шествия колесницы» религиозные фанатики бросались под колеса священной колесницы Джаганнатхи.

Стр. 351. *Леон Блюм* (1872—1950) — лидер французских правых социалистов, предатель рабочего движения.

Стр. 354. *Мария Лещинская, Мария-Жозефа.*— Мария Лещинская (1703—1768) — французская королева, жена Людовика XV; Мария-Жозефа Саксонская (1731—1767) — жена ее старшего сына, мать короля Людовика XVI.

Брюнхильда, Сигурд.— Брюнхильда (Брунгильда) — в древнегерманских и скандинавских сказаниях прекрасная валькирия (воинственная дева), дочь верховного бога Одина (Вотана); за неподчинение отцу она обречена была спать волшебным сном на горе, окруженной огненным кольцом, пока ее не разбудит тот, кто решится проникнуть сквозь огонь. Это совершил рыцарь Сигурд (в германских сказаниях — Зигфрид).

Стр. 357. *Министерство Визи́ра.*— После вторичного процесса над Дрейфусом реакционная «Лига патриотов» пыталась в феврале 1899 г. произвести государственный переворот. Провал этой авантюры, повлекшей за собой массовые рабочие демонстрации, побудил вчерашних противников — дрейфусаров и антидрейфусаров — объединиться против рабочего класса. Внешним выражением этой сделки различных буржуазных группировок было образование в июне 1899 г. умеренно республиканского правительства Вальдека — Руссо (выведено в романе под названием министерства Визира).

Стр. 358. *Бук* (франц. bouc) — козел.

Дебоннер (франц. débonnaire) — добродушный.

Мюрен (франц. murène) — угорь.

Стр. 360. *...военного и финансового протектората над Нигритией.*— Здесь и далее намек на захват Францией г. Томбукту в Судане и продвижение французских войск по реке Нигеру (ниже названа рекой Гиппопотамов).

Стр. 381. *...РСБГЕЙГЬКТГЙЕЖУЖМЭ.*— Этот эпиграф представляет собой криптограмму; чтобы ее расшифровать, нужно каждую букву

заменить предыдущей буквой алфавита, и тогда получится следующий текст:

«После того как французы освободились из-под власти королей и императоров, после того как они трижды провозглашали свою свободу, они подчинились воле финансовых компаний, которые располагают богатствами страны и при помощи купленной прессы воздействуют на общественное мнение.

Правдивый свидетель».

В газетной публикации романа на месте этого эпиграфа стоял другой, взятый из Библии: «И ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и все произрастания земли (Книга Бытия, XIX, 25)».

...концентрированной энергии...— Здесь и ниже, в разговоре анархистов относительно радия, подразумевается явление радиоактивности, открытое супругами Кюри незадолго до написания «Острова пингвинов», в 1903 г. Высказывание, приписанное английскому химику Уильяму Рамзаю (1852—1916), принадлежит самому А. Франсу.

Было так, что бедность навеки сроднилась с Элладой...— Эти строки, принадлежащие греческому историку Геродоту (V в. до н. э.), появились лишь в отдельном издании «Острова пингвинов»; в газетной публикации был другой вариант эпиграфа:

«Своим счастьем эллины были обязаны бедности».

Стр. 388. *...из костей гемионов...*— то есть диких лошадей.

БОГИ ЖАЖДУТ

Исторический роман «Боги жаждут» впервые появился в журнале «Revue de Paris», где он печатался главами с 15 ноября 1911 г. до 1 января 1912 г.; отдельным изданием вышел в свет 12 июня 1912 г. в издательстве Кальман-Леви. Впоследствии, еще при жизни автора, в 1923 г., роман был переделан в пятиактную драму, которая шла в театре «Одеон» под названием «Боги жаждут».

А. Франс еще в молодости задумал роман из истории французской буржуазной революции конца XVIII в.— «Алтари страха», который не был осуществлен, но доставил материал для нескольких новелл, включенных в сборник «Перламутровый футляр» (1892). Позднее он собирался написать историческое исследование об одном из деятелей революции в духе своей работы о Жанне д'Арк. Сперва А. Франс выбрал Дантона, которого незадолго до того сделал героем своей драмы Ромен Роллан («Дантон», 1900), потом Робеспьера; однако ни один из этих

замыслов не был приведен в исполнение. От вождей революции писатель перешел к ее рядовым участникам. Его внимание привлекает фигура деятеля революции, художника Пьера Прюдона (1758—1823), от которого уже недалеко до героя романа «Боги жаждут» Эвариста Гамлена. Даже имя Гамлена Франс нашел во французской истории XVIII в. С другой стороны, некоторые черты этого образа наметились уже в замысле новеллы «Инквизитор», которая так и не была написана.

По свидетельству самого автора, высказанному им в газетном интервью в 1911 г., роман окончательно сформировался и систематическая работа над ним началась около 1908 г., после завершения «Жизни Жанны д'Арк». В течение последующих лет Франс внес в роман много изменений, главным образом касавшихся освещения исторических событий и политических вопросов периода революции.

Если в ранних новеллах Франс следовал за реакционными буржуазными историками, в частности за И. Тэном, и освещал события тенденциозно, вразрез с исторической правдой, то теперь он опирался на труды либеральных и демократических исследователей, в частности на книгу А. Олара «Политическая история французской революции» (1901). Франс пересмотрел свое былое отрицательное отношение к якобинцам. В одном газетном интервью тех лет он назвал Робеспьера «единственным подлинно государственным деятелем революции»; в последнюю минуту он включил в роман «Боги жаждут» заново написанную главу (ныне глава XXVI), в которой ясно выразил новую оценку личности и роли Робеспьера; главным героем романа стал якобинец.

Однако, изменив взгляд на якобинскую диктатуру, А. Франс дал в романе «Боги жаждут» ее неполное, одностороннее изображение. Народные массы, их подлинная роль в революции здесь не показаны; массы фигурируют в повествовании лишь как страдающая, доверчивая и темная толпа, которая не разбирается в существе событий и только несет на себе их бремя. В романе не раскрыта классовая борьба, лежавшая в основе борьбы политических партий периода революции, поэтому писатель не мог до конца разъяснить исторический смысл якобинской диктатуры.

С одной стороны, он справедливо критиковал ее действительно слабые стороны: мечты о «справедливом» обществе, построенном на частной собственности, политику в области религии, робеспьеровский культ Верховного существа; с другой стороны, всю сложную проблематику революции он фактически свел к вопросу о революционном терроре, масштабы которого в романе сильно преувеличены. В действительности якобинский террор был направлен не против всего населения Франции, в том числе против простых людей, как это представлено в книге Франса, а в основном и главным образом против активных врагов рево-

люции; в значительной мере он явился ответом на террористические акты контрреволюционеров и их зверские жестокости в провинциях.

Правда, следует отметить, что, повинуясь своему художественному чутью, А. Франс сосредоточил действие романа преимущественно на весне 1794 г., когда границы Франции были уже в безопасности, когда обнаружились противоречия между якобинским Конвентом и большинством народа и террор стал превращаться из революционной необходимости в средство для Робеспьера и его сторонников удержать власть в своих руках.

Франс с большой силой художественного проникновения показал этот переломный момент революции, но социально-исторические причины событий ему недостаточно ясны. А. Франс не видит реальной почвы для осуществления надежд своих героев на будущее. Это будущее представало взору писателя в облике ненавистной ему, столько раз заклейменной в его творчестве буржуазной Третьей республики. И в своем страстном отрицании буржуазного общества А. Франс отказывался видеть исторически прогрессивное значение буржуазной революции конца XVIII в.

Надо также иметь в виду, что в недоверии А. Франса к французской революции конца XVIII в. содержалась скрытая полемика с современными ему реакционными историками, которые идеализировали эту революцию как буржуазную, противопоставляя ее пролетарским движениям конца XIX и начала XX в., Парижской коммуне и революции 1905 г.

Философские и политические вопросы, поставленные в историческом романе Франса, имели для него и более общее значение и волновали его в связи с современностью. В вопросе о вмешательстве личности в жизнь общества, о перспективах революционной борьбы, о возможности преобразовать общество на основе справедливости писатель проявит еще немало сомнений и колебаний, пока исторический опыт Октябрьской социалистической революции не поможет ему твердо стать на путь признания массового революционного движения как средства борьбы за светлое будущее человечества.

Первый русский перевод романа «Боги жаждут» появился в том же 1912 г., когда роман вышел во Франции. После Октябрьской социалистической революции произведение А. Франса вызвало такой интерес у читателей, что за первые двадцать лет Советской власти оно издавалось более десяти раз в разных переводах и неоднократно переиздавалось в последующие годы.

Стр. 399. *Давид* Жак-Луи (1748—1825) — выдающийся французский художник, главный представитель революционного классицизма в живописи, активный деятель французской буржуазной революции конца XVIII в., близкий к Робеспьеру.

...член секции... — В период французской буржуазной революции конца XVIII в. Париж был разделен на секции, которые являлись первичными ячейками городского самоуправления.

Церковь варнавитов — находилась на площади напротив Дворца правосудия. Варнавиты — католический монашеский орден, основанный в 1530 г. в Милане. Назван по имени св. Варнавы — по церковному преданию, одного из первых христианских священников.

...бюстами Брута, Жан-Жака и Лепелетье. — Юний Брут (I в. до н. э.), римский патриций, убивший Юлия Цезаря, в период французской революции конца XVIII в. почитался как образец республиканской добродетели. Жан-Жак Руссо был одним из главных философских учителей якобинцев. Лепелетье де Сен-Фаржо Луи-Мишель (1760—1793) — видный деятель революции, пламенный якобинец, последователь просветителей, считавший, что решающая роль в преобразовании общества принадлежит воспитанию и труду. Был убит роялистом накануне казни короля; это событие привело к открытому разрыву между якобинцами и жирондистами (партией крупной буржуазии).

Декларация прав человека (точнее — Декларация прав человека и гражданина) — один из важнейших программных документов французской революции конца XVIII в., провозгласивший принципы буржуазной демократии; принята Учредительным собранием 26 августа 1789 г.

Карманьола — короткополая куртка с несколькими рядами металлических пуговиц, какую носили жители города Карманьолы в Пьемонте. В сочетании с длинными черными штанами, трехцветным жилетом и красным колпаком — одежда, широко распространенная в народе в период французской революции конца XVIII в. Отсюда и название революционной народной песни и танца «Карманьолы».

Стр. 400. *Санкюлоты* — в период французской революции конца XVIII в. широко принятое название революционных народных масс. Слово «санкюлот» буквально значит — человек, который не носит коротких штанов (одежды аристократов).

Стр. 401. *Коммуна.* — Революция уничтожила старое, средневековое административное деление Франции. По декретам 1789—1790 гг. страна была разделена на департаменты, дистрикты (округа), кантоны и коммуны. Речь идет о городском совете Парижа, игравшем большую роль в системе якобинской диктатуры.

Стр. 402. *Кюстин* Адам-Филипп, маркиз (1740—1793) — французский политический и военный деятель. В 1792—1793 гг. командовал войсками Французской республики и одержал ряд значительных побед; в условиях углубления революции проявил предательское бездействие и сдал войскам монархической коалиции город Майнц. Был казнен по приговору якобинского Революционного трибунала.

Стр. 403. *Дюмурье* Шарль-Франсуа (1739—1823) — французский генерал и политический деятель, честолюбивый авантюрист; был близок к жирондистам; командуя центральной армией Французской республики, вел предательские переговоры с австрийским командованием о совместном походе на Париж для восстановления монархии, но солдаты не поддержали изменника, и в апреле 1793 г. он перебежал к австрийцам.

Парламент — высший судебный орган в дореволюционной феодальной Франции. Во всей стране было двенадцать парламентов.

Стр. 406. *Реньо, Жерар.*— Реньо Жан-Батист (1754—1829) — французский художник, примыкавший к классицизму XVIII в., жил в Италии; приобрел популярность благодаря размноженной в гравюрах картине «Обучение Ахилла». Жерар Франсуа (1770—1837) — художник, в начале революции работавший в мастерской Давида; известен серией портретов исторических деятелей и коронованных лиц своего времени.

Грёз, Фрагонар, Гуэн.— Грез Жан-Батист (1725—1805) — французский художник, близкий к просветителям; писал сентиментальные картины из буржуазного быта, прославляя семейные добродетели. Фрагонар Оноре (1732—1806) — выдающийся французский художник-пейзажист, автор картин на бытовые и «галантные» сюжеты; в период революции был хранителем Национального музея в Париже. Гуэн Клод (1750—1817) — живописец, рисовальщик и гравер, ученик Греза.

Прюдон, Копиа.— Прюдон Пьер-Поль (1758—1823) — французский художник, горячий сторонник революции; в 80—90-е годы сильно бедствовал, зарабатывал себе на пропитание рисунками пером, миниатюрами и портретами. Наиболее удачной его работой считался портрет жены гравера Копиа.

Эннекен, Викар, Топино-Лебрен.— Эннекен Пьер-Антуан (1763—1833) — художник, ученик Давида, пылкий революционер, примыкавший к левым якобинцам; автор полотен, запечатлевших события революции; в период правления Наполеона создал картину «Орест, преследуемый фуриями». Викар Жан-Батист-Жозеф (1762—1834) — художник, ученик Давида, вместе с ним в 1785 г. уехал в Италию и более не возвращался на родину; автор картин в духе классицизма на исторические сюжеты. Топино-Лебрен Франсуа-Жан-Батист (1769—1801) — художник, ученик Давида; активный деятель революции, присяжный Революционного трибунала; якобинцы подозревали его в близости к одному из самых левых политических течений того времени — эбертистам.

...Ореста, которого сестра его Электра приподымает на ложе скорби.— Согласно античному мифу, Орест, мстя за отца, убил свою мать, и за это богини мщения фурии (у греков Эринии, или Эвмениды, то есть «Милостивые») терзают его так, что доводят до безумия.

Стр. 408. *Бриссо* Жак-Пьер (1754—1793) — видный деятель французской революции, вождь и теоретик жирондистов («бриссотинцев»), идео-

лог крупной буржуазии. Отвергая все требования трудящихся о борьбе со спекуляцией, провозгласил лозунг «неограниченной экономической свободы собственников»; требовал «кончить революцию», распустить Парижскую коммуну и закрыть Якобинский клуб. После восстания народных масс 31 мая 1793 г. был исключен из Конвента и 31 октября казнен по решению Революционного трибунала.

...предательство Петионов и Роланов! — Петион де Вильнев Жером (1756—1794) — политический деятель, одно время близкий к Робеспьеру. С ноября 1791 до сентября 1792 г. был мэром Парижа и приобрел на этом посту огромную популярность; избранный в Конвент, стал его первым председателем. После изгнания жирондистов и победы якобинцев бежал из Парижа и принял активное участие в контрреволюционном «федералистском» мятеже жирондистов; в связи с разгромом мятежников покончил самоубийством. Ролан де ла Платьер Жан-Мари (1734—1793) — один из главарей жирондистов, враг монтаньяров и Парижской коммуны. После падения жирондистов бежал из Парижа и покончил жизнь самоубийством, узнав о казни своей жены Манон.

Стр. 409. *...о Мирабо и Лафайете...* — Политические интриги Мирабо (Оноре-Габриель-Виктор Рикети, граф де Мирабо; 1749—1791) были разоблачены Маратом. После смерти Мирабо его предательство было документально доказано, и прах его из Пантеона перенесен на кладбище для преступников. Лафайет Мари-Жозеф-Поль, маркиз (1757—1834) — видный французский политический деятель, участник американской войны за независимость; в начале французской революции был начальником национальной гвардии, затем примкнул к контрреволюции, лично руководил расстрелом республиканской демонстрации 17 июля 1791 г. на Марсовом поле, возникшей после неудачной попытки короля бежать за границу. После свержения королевской власти 10 августа 1792 г., став генералом, пытался двинуть войска на революционный Париж. Бежал из Франции и вернулся уже после победы реакции.

Дамьен Робер-Франсуа (1715—1757) — человек из народа, который в 1757 г. ранил перочинным ножом короля Людовика XV, желая «предупредить его, что Франция погибает».

Стр. 410. *Де Лалли* Томас Артур, граф (1702—1766) — ирландец по происхождению, губернатор французских владений в Индии. Ввиду неудачных военных действий против англичан был обвинен в предательстве интересов французского короля и обезглавлен. В 1773 г. Вольтер поднял голос в защиту памяти де Лалли и добился его реабилитации.

Стр. 411. *Австриячка* — прозвище ненавистной народу французской королевы Марии-Антуанетты, которая была дочерью австрийского императора Франца Габсбурга.

Стр. 412. *Буше* Франсуа (1703—1770) — французский живописец и гравер, крупнейший представитель стиля рококо — порождения умирав-

шей дворянской культуры. Его искусство носит развлекательный характер, отличается декоративностью и пристрастием к эротическим темам.

Буайи Луи-Леопольд (1761—1845) — французский художник, автор картин на бытовые темы и популярных в его время литографий.

Дебюкур Филибер-Луи (1755—1832) — художник и гравер, известный жанровыми картинками.

Карл Верне (1758—1835) — художник, рисовавший главным образом лошадей, поездки и прогулки; позднее обратился к политической карикатуре и военным сюжетам.

Аэростаты.— 26 июня 1794 г. французские войска под командованием генерала Журдана одержали крупную победу над превосходящими силами австрийцев в Бельгии, при селении Флерюс. В этом сражении французы впервые в истории применили наблюдение за полем боя с привязного воздушного шара. Сражение при Флерюсе дважды послужило темой для картин французских художников: Белланже (1836) и Манзюисса (1837).

Стр. 413. *Фрагонар-сын* Александр-Эварист (1780—1850) — художник и скульптор, ученик Давида; выдвинулся уже после революции, во время Наполеоновской империи и реставрации Бурбонов.

Нежон Жан (1753—1832) — художник, ученик Давида, писал на античные сюжеты.

...прослыть... сообщницей Питта.— Питт Младший Уильям (1759—1806) — английский политический деятель, главный организатор коалиций европейских держав против революционной, а затем наполеоновской Франции. В годы революции правящие круги Англии не останавливались перед выпуском во Франции фальшивых ассигнаций с целью усилить голод и дороговизну.

Стр. 414. *Фавн Боргезе* — античная скульптура, изображающая танцующего сатира; хранилась в Риме, в «Вилле Боргезе», принадлежавшей старинному богатому роду князей Боргезе, где собраны были многочисленные сокровища искусства.

Шарден.— См. прим. к стр. 137.

Стр. 415. *Фрески Геркуланума.*— Геркуланум — древний город в Кампании (Италия), у подножия Везувия. Погиб вместе с Помпеями во время извержения 79 г. С XVIII в. начались раскопки Геркуланума, при которых было извлечено большое количество памятников живописи и скульптуры.

Арики́я — персонаж трагедии французского драматурга Жана Расина «Федра» (1677), юная царевна, возлюбленная Ипполита, отвергшего преступную страсть своей мачехи Федры.

Стр. 416. *Базаны, Дидо.*— Базан Пьер-Франсуа (1723—1797) — популярный во Франции издатель эстампов. Дидо — семья знаменитых французских книгоиздателей-типографов XVIII—XIX вв.

Сен-Пьер и Флориан.— Жак-Анри Бернарден де Сен-Пьер (1737—1814) во время революции был далек от политики; известный не только как писатель, но и как естествоиспытатель, он занимал пост интенданта Ботанического сада в Париже. Флориан Жан-Пьер (1755—1794) — автор галантно-идиллических пастушеских романов, комедий и новелл.

Стр. 417. *Меч Гармодия.*— Гармодий и Аристогитон — легендарные древнегреческие герои-тираноборцы; убили брата тирана Гиппия во время празднества, куда отправились, спрятав мечи в пучках мирта.

Стр. 418. *Марсий* (антич. миф.) — силéн (козлоногий), который, будучи искусным флейтистом, осмелился вступить в музыкальное состязание с богом Аполлоном; за это Аполлон повесил его на сосне и содрал с него кожу.

Стр. 419. *...мудрецы, герои, Катон, Руссо, Ганнибал...*— Катон Утический Марк Порций (95—46 гг. до н. э.) — вождь аристократической республиканской партии в Древнем Риме; узнав о падении республики, покончил с собой. Ганнибал Барка (247—189 гг. до н. э.) — карфагенский полководец, заклятый враг римлян, боровшийся с ними всю жизнь. Покончил с собой, чтобы избежать позорного плена.

Бартолоцци Франческо (1727—1815) — выдающийся гравер; работал в Италии, потом в Лондоне и Лиссабоне. Славился чистотой и изяществом рисунка.

Стр. 420. *Тарпейская скала* — утес с западной стороны Капитолийского холма в Риме, откуда в древние времена сбрасывали приговоренных к смерти преступников.

Неккеры... Байи... Манюэли...— Неккер Жак (1732—1804) — женевский банкир, переселившийся во Францию, руководил финансовым ведомством, сыграл видную роль в созыве Генеральных штатов 1789 г.; вынужденная отставка Неккера послужила сигналом к восстанию 14 июля, но возвращенный к власти Неккер разошелся с Национальным собранием и удалился от дел. Байи (Бальи) Жан-Сильвен (1736—1793) — деятель французской революции, идеолог крупной буржуазии; ученый-астроном. После взятия Бастилии — мэр города Парижа, один из организаторов кровавой расправы над республиканской демонстрацией на Марсовом поле 17 июля 1791 г. Манюэль Луи-Пьер (1751—1793) — член Конвента, прокурор Парижской коммуны до сентября 1792 г. Ушел в отставку после решения о казни короля.

Стр. 421. *Конде* Луи-Жозеф (1736—1818) — принц из династии Бурбонов, главнокомандующий войск дворян-эмигрантов в Кобленце, сражавшихся против Французской республики.

...медные твердыни Дике.— См. прим. к стр. 183.

Стр. 422. *Барбарý* Шарль-Жан-Мари (1767—1794) — член Конвента, жирондист, враг якобинцев; был казнен после неудачной попытки под-

нять восстание против Конвента. Барбару славился своей красотой и любовными похождениями.

Стр. 429. *Друг народа* — прозвище Марата, издававшего газету под этим названием.

Стр. 431. *...все люди по самой природе своей честны* — одно из главных положений просветительской этики. Утверждая, что человек по природе добр, просветители требовали полного освобождения его от средневековых социальных и религиозных пут.

Стр. 433. *Заговор орлеанистов.*— Орлеанисты — сторонники герцога Орлеанского Филиппа (представителя младшей ветви династии Бурбонов); демагогически заигрывали с Конвентом; сам герцог отказался от своего титула и принял имя Филиппа Эгалите (Равенство); однако к 1793 г. обнаружилась причастность орлеанистов к заговору генерала Дюмурье против Французской республики, и Филипп Эгалите был казнен по обвинению в стремлении захватить королевский престол.

Группа «Двадцати одного» — депутаты-жирондисты, которые готовы были пойти на сделку с реакцией. В результате народного восстания в Париже 31 мая — 2 июня 1793 г. группа «Двадцати одного» была выведена из состава Конвента (см. также прим. к стр. 512).

«Эрот» Праксителя.— Имеется в виду скульптура древнегреческого ваятеля Праксителя (IV в. до н. э.), известная под названием «Эрот Ченточелле»; отличается тонким изяществом.

Стр. 434. *Сивилла из Панзуста,* или Панзуйская сивилла,— персонаж из книги Франсуа Рабле (1494—1553) «Гаргантюа и Пантагрюэль».

Стр. 436. *Сентябрьские дни.*— 2—5 сентября 1792 г. при известии о падении Вердена, о роялистских волнениях в Вандее парижский народ стихийно начал казни заключенных в тюрьмы врагов революции (священников, аристократов, фальшивомонетчиков и т. д.), в том числе заключенных в тюрьму Шатле.

Тенирс Давид Младший (1610—1690) — крупный фламандский живописец, писал жанровые картины, изображающие народный быт («Крестьянская свадьба», «Деревенский праздник»).

Стр. 437. *Стен, Остаде.*— Стен Ян (1626—1679), Остаде Адриан (1610—1685) — видные представители реалистического направления в голландской живописи XVII в. Изображали сельские пирушки, свадьбы и другие бытовые народные сцены. В том же духе писал художник Исаак Остаде, брат Адриана.

Ван-Лоо — семья французских живописцев (нидерландцев по происхождению). Здесь, очевидно, имеется в виду Шарль-Андре Ван-Лоо (1705—1767) — директор французской Академии художеств и «первый живописец короля». Писал религиозные и мифологические композиции, портреты и «галантные сцены».

Бодуэн Пьер-Антуан (1723—1769) — французский художник, ученик Буше, писал галантно-эротические сценки.

Стр. 442. *Гольбах* Поль-Анри (1723—1789) — выдающийся французский просветитель, философ-материалист. Его салон стал центром передовой мысли предреволюционной Франции.

Кальвин Жан (1509—1564) — крупный деятель религиозной Реформации, основатель нового направления в протестантстве — кальвинизма. Жил в Женеве; считал суровую буржуазную мораль основой человеческой и религиозной нравственности, отличался исключительной нетерпимостью к инакомыслящим.

Стр. 443. *...три тисненных золотом островка...*— Фамилия дез Илетт образована от франц. слова îlet — островок.

Стр. 446. *В июле 1790 года... рыла землю на Марсовом поле.*— 14 июля 1790 г. в Париже состоялся праздник Федерации в честь годовщины взятия Бастилии; к этому массовому народному торжеству необходимо было провести огромную подготовку: насыпать вокруг Марсова поля земляной амфитеатр для зрителей, выстроить триумфальные арки и т. д.; 15 тысяч рабочих не смогли в срок выполнить эти работы, и тогда к ним присоединились в патриотическом порыве 300 тысяч добровольцев из населения города.

Стр. 448. *«Псише»* — большое зеркало, укрепленное на шарнирах, позволяющих наклонить его под нужным углом.

Стр. 449. *Шабо* Франсуа (1759—1794) — деятель французской революции, присоединившийся к монтаньярам, в прошлом монах-капуцин. Женившись на дочери австрийского банкира, был втянут в финансовые интриги барона *де Батца* и получил деньги, чтобы подкупить членов Конвента (в частности, *Жюльена* из Тулузы и *Делоне*) с целью фальсификации декрета о порядке ликвидации бывшей Ост-Индской компании. Казнен по обвинению в коррупции.

Лакруа, Фабр д'Эглантин.— Лакруа Жан-Франсуа (1754—1794) — друг и соратник Дантона, вместе с ним три раза побывал в Бельгии (1793) и подозревался в сношениях с предателем генералом Дюмурье. Был казнен вместе с Дантоном 5 апреля 1794 г. Фабр д'Эглантин Филипп-Франсуа-Назэр (1755—1794) — также друг и политический приверженец Дантона, казненный вместе с ним; драматург и поэт. Якобинцы подозревали его в причастности к финансовым спекуляциям.

Стр. 450. *Леклерк, Жак Ру.*— Жак Ру (1752—1794) — видный деятель французской революции, вождь группы «бешеных», отражавшей интересы плебейских масс. Требовал от якобинского Конвента установить максимум на цены и под страхом смерти запретить спекуляцию. Арестованный и присужденный к казни по ложному обвинению в присвоении общественных средств, покончил самоубийством. Леклерк Теофиль — соратник Жака Ру.

Стр. 451. *...я знаю Робеспьера-старшего; его брат часто ужинает у меня.*— Младший брат вождя революционных якобинцев Максимилиана Робеспьера (1758—1794), Огюстен Робеспьер (1763—1794), был также активным деятелем революции, ближайшим соратником своего брата и после падения якобинской диктатуры сам пожелал разделить его судьбу.

Дюма Рене-Франсуа (1757—1794).— В 1793 г. был назначен Робеспьером на пост председателя Революционного трибунала.

Фукье — Фукье-Тенвиль Антуан-Кантен (1746—1795), с марта 1793 г. был общественным обвинителем Революционного трибунала. После победы контрреволюции казнен.

Стр. 452. *...убили Марата.*— Марат был убит 13 июля 1793 г связанной с жирондистами Шарлоттой Корде.

Стр. 453. *Вимпфен* Феликс (1745—1814) — французский генерал, в 1793 г. командовал армией в районе Шербура; узнав об изгнании из Конвента жирондистов, с которыми он был связан, собрал небольшую группу добровольцев, принявших название «департаментской армии», и стал грозить якобинскому правительству походом на Париж. Однако его люди разбежались при первой же стычке с посланными из Парижа войсками. Вимпфен бежал.

Бирон Арман-Луи, герцог (1747—1793) — республиканский генерал; в 1792 г. командовал французскими войсками на Рейне, а в 1793 г. начал кампанию против роялистских мятежников в Вандее. Заподозренный в связях с герцогом Орлеанским, был смещен и казнен по приговору Революционного трибунала.

Диллон Артур, граф (1750—1794) — генерал, командовавший Северной армией Французской республики, служил под начальством Дюмурье. Был приговорен к казни по обвинению в переписке с немецкими князьями

Аргонны — холмистая возвышенность на северо-востоке Франции, покрытая лесами.

...у подножия алтаря отечества.— Алтарь отечества воздвигался посреди Марсова поля во время массовых народных празднеств.

Стр. 454. *...на языке Юлии и Сен-Прё...*— Юлия и Сен-Пре — герои романа Жан-Жака Руссо «Юлия, или Новая Элоиза», которые в чувствительных письмах друг к другу красноречиво описывают свою любовь.

Стр. 455. *Эрман* Арман-Марсиаль-Жозеф (1759—1795) — друг Робеспьера, в 1793 г. был председателем Революционного трибунала. Казнен после термидорианского переворота.

Стр. 456. *Эллевью, Тальма́, Виже.*— Эллевью Жан (1769—1842) — певец, выступавший в годы революции в парижской Опере. Тальма́ Франсуа-Жозеф (1763—1826) — замечательный французский трагический актер; выступал в пьесах революционного репертуара, стремясь выразить

на сцене идеи революции конца XVIII в. Виже Луи-Жан-Батист (1768—1820) — второстепенный французский поэт и драматург, продолжатель галантно-аристократической салонной литературы; в годы революции писал патриотические стихи.

Франсуа — Франсуа де Нефшато Никола-Луи (1750—1828), второстепенный французский писатель, участник революции. 1 августа 1793 г. состоялась премьера его комедии *«Памела»,* написанной по одноименному роману английского писателя Ричардсона (1740). Одно место в этой пьесе было воспринято как критика Конвента, что привело к запрещению пьесы, аресту автора и всей труппы театра Сен-Жерменского предместья.

Ланж Анна-Франсуаза-Элизабет (1772—1825) — французская актриса, сыгравшая в 1793 г. роль Памелы в пьесе Нефшато. Это была одна из ее первых ролей; известность она приобрела позднее.

Лейа́ Жан-Луи (1763—1833) — французский драматург. Его пятиактная комедия в стихах *«Друг законов»* была поставлена в театре Нации (бывшем театре Французской Комедии) 2 января 1793 г. во время судебного процесса короля; пьеса вызвала большой шум, так как в ней содержалась сатира на Конвент и в карикатурном виде был выведен Марат. Автор находился под арестом до падения якобинцев.

Бафилл — юноша, воспетый в стихах древнегреческим поэтом Анакреонтом (VII—VI вв. до н. э.).

...заговоры Капета и оргии Антуанетты! — Капет (от средневековой династии Капетингов) — официальное наименование короля Людовика XVI после его низложения; как и прочим дворянам, ему было предложено отбросить все титулы и называться по фамилии. Королева Мария-Антуанетта, жена Людовика XVI, стояла с самого начала революции в центре всех контрреволюционных заговоров и интриг.

Стр. 458. *Бридуа* — персонаж романа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль», сатирический образ судьи.

Дюпати Жан-Батист-Мерсье (1746—1788) — французский писатель, близкий к просветителям; был адвокатом в городе Бордо и прославился своей борьбой с феодальным беззаконием; его высоко ценил Робеспьер.

Беккария Чезаре (1738—1794) — итальянский публицист и общественный деятель, распространявший в Италии идеи французских просветителей. Боролся против средневекового законодательства во имя гуманности; прославился книгой «О преступлениях и наказаниях».

Стр. 465. *Юбер Робер* (1733—1808) — французский художник; его излюбленная тема — развалины античных архитектурных памятников, пейзажи с античными руинами.

Стр. 468. *Его восхищали колорит Корреджо, изобретательность Аннибала Каррачи, рисунок Доменикино...*— Корреджо (ок. 1489 или

1494—1534), Аннибал Карраччи (1560—1609), Доменикино (Доменико Дзампиери; 1581—1641) — художники итальянского Возрождения.

Помпео Баттони (1708—1787) — один из наиболее видных художников итальянского классицизма XVIII в., автор композиций на исторические темы и на сюжеты из Священного писания, а также портретов, выполненных в более реалистической манере.

Менажо Франсуа-Гильом (1744—1816) — французский художник, ученик Буше; позднее перешел к академической живописи в духе классицизма. Работал в Италии.

Госпожа Лебрен — Мари-Анна-Элизабет Виже-Лебрен (1755—1842), французская художница-портретистка; писала портреты королевы Марии-Антуанетты и придворной знати; в самом начале революции уехала в Италию. Приобрела популярность портретами знатных лиц в Англии, в России и других странах Европы.

Анжелика Кауфман (1741—1807) — знаменитая в свое время художница-портретистка; была приглашена в Лондон, чтобы написать портреты королевской фамилии, много лет работала в Италии.

Лесюэр, Клод, Пуссен.— Лесюэр Эсташ (1617—1655) — французский художник, автор картин на мифологические и религиозные темы; расписал несколько аристократических особняков. Клод — художник Клод Лоррен (1600—1682); как и Никола́ Пуссен (1594—1665) — один из крупнейших художников французского классицизма.

Стр. 469. *...более уместные в книге Винкельмана...*— Имеется в виду «История искусства древности» (1764) немецкого историка искусства Иоганна Иоахи́ма Винкельмана, оказавшая большое влияние на формирование французского классицизма эпохи Революции.

Стр. 470. *...Каде-Руссель и Мадам Анго.*— Каде-Руссель — персонаж французской популярной песенки, впервые вошедшей в моду среди волонтеров 1792 г. У Каде-Русселя — бескорыстного воина революции — всего по три: три коня, три собаки, три глаза, три башмака и т. д., и все его состояние составляет три гроша. Мадам Анго — популярный комический персонаж французского театра времен Директории (начиная с 1795 г.): вульгарная простолюдинка с повадками знатной дамы, разбогатевшая во время революционной смуты.

Калло Жак (1592—1635) — французский художник и гравер, мастер своеобразного реалистического гротеска.

Дюплесси Берто-Жан (1747—1813) — французский гравер-офортист, сторонник революции, отразивший ее события в своих произведениях; реалистически изображал сцены труда, бытовые, театральные и военные сцены. Опирался на традиции Калло.

Стр. 471. *«Визитандинки»* — двухактная комическая опера Девьена, либретто Пикара, впервые поставленная в парижском театре Фейдо

7 июля 1792 г. Сюжет оперы построен на ошибке слуги, принявшего женский монастырь за гостиницу.

Стр. 474. *...в нее влюбляется юный Вертер.*— Роман Гете «Страдания юного Вертера» (1774) был уже в 1776 г. переведен на французский язык и пользовался популярностью в предреволюционные годы.

Стр. 475. *Гримо де ла Реньер* (1758—1838) — французский литератор, автор шуточного «Альманаха гастрономов».

Сент-Илер — Жоффруа Сент-Илер Этьен (1772—1844), французский зоолог и анатом, один из предшественников Дарвина.

Стр. 476. *«Орлеанская девственница»* — антицерковная сатирическая поэма Вольтера, который ниже назван *«французским Ариосто»* (Лодовико Ариосто — итальянский поэт XVI в., которому принадлежит шутливая поэма «Неистовый Роланд», 1532).

Свинью... (не вашу ли, святой Антоний?) — По церковному преданию, святой Антоний, удалившись в пустыню, где его искушал дьявол, в знак смирения взял с собою кабана, чтобы ежечасно созерцать в его образе свое ничтожество.

Стр. 490. *Пикпюс* — поселок близ Парижа, окружавший монастырь и кладбище.

Стр. 491. *...десятого августа, второго сентября и тридцать первого мая.*— 10 августа 1792 г. в результате народного восстания был свергнут король Людовик XVI и Франция объявлена республикой; 2 сентября 1792 г.— день массовых казней врагов революции в тюрьмах Парижа; 31 мая 1793 г.— день народного восстания, приведшего к установлению якобинской диктатуры.

Стр. 495. *...даже после Варенна...*— то есть после неудачной попытки бегства королевской семьи, задержанной на пути к границе, близ города Варенна в июне 1791 г.

Резня на Марсовом поле.— См. прим. к стр. 409. Лафайет.

Стр. 497. *Ламетри, Буланже, Лаланд, Дюпюи.*— Ламетри Жюльен-Офре (1709—1751) — выдающийся французский философ-материалист; Лаланд Жозеф-Жером-Франсуа (1732—1807) — французский астроном, автор пятизначных логарифмических таблиц; Буланже Никола-Антуан (1722—1759) — французский литератор, философ, близкий к просветителям, автор трудов о происхождении религий и суеверий, опубликованных уже после его смерти. Дюпюи Шарль-Франсуа (1742—1809) — французский философ, депутат Конвента; автор книги «Происхождение всех культов, или Универсальная религия» (1795).

Стр. 504. *...как Навуходоносора, покидает бог...*— По библейской легенде, вавилонский царь Навуходоносор был за свою гордыню наказан богом: он был отлучен от людей и, превращенный в чудовищное животное, в течение семи лет питался травой на лугах.

Аббат Фоше Клод (1744—1793) — священник, ставший депутатом

Законодательного собрания 1791—1792 гг. и потребовавший свободы культов. Впоследствии присоединился к жирондистам, помог Шарлотте Корде проникнуть к Марату; был казнен вместе с жирондистами.

Аббат Грегуар Анри (1750—1831) — священник, примкнувший к революции, член Конвента. По предложению Грегуара Конвент 21 сентября 1792 г. провозгласил Францию республикой.

Цельсий Андрес (1701—1744) — шведский астроном и физик.

Бейль Пьер (1647—1706) — французский писатель и философ, предшественник просветителей, враг религиозного догматизма. Главный труд — «Исторический и критический словарь».

Стр. 511. *Журдан* Жан-Батист (1762—1833) — видный французский полководец, одержал ряд побед, командуя одной из революционных армий. Впоследствии стал маршалом наполеоновской армии.

Стр. 512. *Евдамид.*— Здесь имеется в виду один эпизод из «Диалога о дружбе» греческого писателя Лукиана Самосатского (II в.): неимущий житель Коринфа Евдамид перед смертью завещал одному другу свою старуху мать, чтобы тот ее кормил, а другому другу — свою дочь, чтобы тот выдал ее замуж. Этот сюжет стал популярен во Франции благодаря картине Никола Пуссена «Смерть Евдамида».

Процесс «Двадцати одного».— После изгнания жирондистов из Конвента народ стал требовать суда над ними. Процесс состоялся 24—31 октября 1793 г. Все обвиняемые (21 человек) вожди жирондистов были приговорены к смерти за измену революции.

Стр. 515. *...пользовался новым календарем.*— Декретом Конвента от 5 декабря 1793 г. был узаконен новый календарь: следующий день после свержения короля и провозглашения республики (22 сентября 1792 г.) объявлялся первым днем Первого года Свободы, вводились новые названия дней недели и месяцев. *Фрюктидор* (месяц плодов) и *вандемьер* (месяц сбора винограда) — название двух осенних месяцев по новому календарю. (Отменен с 1 января 1806 г., при Наполеоне.)

Стр. 526. *...проголодавшаяся Церера...*— По римскому мифу, богиня плодородия Церера, бродя по земле в поисках своей дочери Прозерпины, зашла в хижину старухи Баубо, которая приняла и накормила ее.

Стр. 537. *...называл его капуцином...*— Капуцин здесь то же, что францисканец. Капуцинами стала называться одна ветвь францисканского ордена после его реформы в 1530 г.; в отличие от собственно францисканцев, ходивших с непокрытой головой, капуцины носили остроконечные капюшоны (откуда и произошло их название).

Стр. 538. *«Крайние»* — пестрая по политическому составу группировка в Конвенте 1793—1794 гг.

Стр. 541. *...Друг народа, уснувший навеки в саду Кордельеров.*— В старом монастыре нищенствующего монашеского ордена кордельеров

помещался «Клуб кордельеров» — один из самых массовых демократических клубов французской революции конца XVIII в., связанный с народными низами; здесь же был центр одной из административных единиц города Парижа — секции Кордельеров. В помещении бывшей подземной церкви монахов-кордельеров была расположена типография Марата, в которой печаталась его газета «Друг народа». По требованию секции Марат был похоронен в саду монастыря, а его сердце торжественно перенесли в зал заседаний секции. Позднее прах Марата был водворен в Пантеон.

Неподкупный — прозвище Робеспьера.

Стр. 542. *...красноречивый заика... первым прикрепил к своей шляпе революционную кокарду...* — 12 июля 1789 г., когда в Париже началось народное восстание, Камиль Демулен (1760—1794) произнес речь перед толпой в саду королевского дворца Пале-Рояль и прикрепил на шляпу зеленый листок — символ единения патриотов, который назавтра превратился в трехцветную кокарду. Камиль Демулен, адвокат по профессии, от природы слегка заикался. Будучи талантливым публицистом, он прославился памфлетом «О фонаре»; позднее примкнул к дантонистам и вместе с ними скатился к контрреволюции.

Филиппо Пьер (1754—1794) — политический деятель, дантонист; летом 1793 г. в качестве комиссара Конвента был послан в мятежную Вандею для борьбы против монархистов.

Эро де Сешель Мари-Жан (1760—1794) — друг Дантона; арестованный за укрывательство эмигранта-аристократа, был вовлечен в тюремный заговор дантонистов и казнен вместе с ними.

Лакруа Жан-Франсуа (1754—1794) — член Конвента, дантонист; вместе с Дантоном выполнял поручения Конвента в Бельгии и был обвинен в использовании своего положения для личного обогащения.

Отец Дюшен.— Под этим псевдонимом писал Жак-Рене Эбер (1757—1794), один из вождей левой политической группировки — эбертистов, который с 1791 г. издавал газету «Отец Дюшен», пользовавшуюся огромным влиянием в массах. В марте 1794 г. Эбер возглавил неудавшееся восстание против робеспьеристского Конвента, после чего вместе с группой своих сторонников (эбертистов) был казнен.

Шометт Пьер-Гаспар (1763—1794) — активный революционер, один из вождей эбертистов, прокурор Парижской коммуны; был страстным противником католической религии и одним из основателей атеистического культа Разума; распорядился закрыть в Париже все церкви. В вопросе о религии столкнулся с Робеспьером; был казнен по приговору якобинского Революционного трибунала.

Анахарсис Клоотс (1755—1794) — деятель революции, философ и публицист, автор утопического проекта «Всемирного братства» — всемир-

ной атеистической республики. Отец Клоотса был прусский барон из голландского рода.

Гора — название якобинской группы депутатов Конвента; в зале заседаний, во дворце Тюильри, они занимали самые верхние скамьи; поэтому якобинцев называли также монтаньярами («горцами»).

Синай — гора в Аравии; по библейской легенде, пророк Моисей получил здесь от бога скрижали закона.

Стр. 543. *Монк* Джордж (1608—1669) — английский генерал; командовал войсками Кромвеля и по его приказу отправился на усмирение восстания в Шотландии. В начале 1660 г. повел свою армию на Лондон будто бы для восстановления древних народных вольностей, без боя занял столицу и способствовал восстановлению на английском престоле династии Стюартов, свергнутой во время буржуазной революции 1648 г.

Стр. 544. *Анрио* Франсуа (1761—1794) — деятель революции, якобинец, близкий к Марату; в 1793 г. Парижская коммуна назначила его главнокомандующим национальной гвардии. В день контрреволюционного переворота 9 термидора Анрио не смог сопротивляться наступающим на парижскую ратушу, где помещалась Коммуна, войскам Конвента, был арестован и гильотинирован вместе с Робеспьером.

Стр. 547. *...бога Жан-Жака.*— Робеспьер в вопросах религии был последователем «Общественного договора» Жан-Жака Руссо. Он отвергал атеизм и считал, что «гражданская религия» нужна государству из политических соображений, ибо она заставляет граждан любить свой долг и уважать законы.

Прериальский закон.— По декрету Конвента от 22 прериаля (10 июня 1794 г.) упрощалось судопроизводство в Революционном трибунале: предварительный допрос обвиняемых и институт защитников отменялись, присяжным достаточно было «моральных доводов» (внутреннего убеждения в виновности обвиняемого) для вынесения приговора; для всех дел, подлежащих рассмотрению в Трибунале, предусматривалась лишь одна мера наказания — смертная казнь. Кроме того, было расширено понятие «подозрительный».

Стр. 548. *...вдову Камиля, очаровательную Люсиль...*— Вдова казненного вместе с Дантоном Камиля Демулена, Люсиль Демулен (1771—1794), была казнена как участница заговора генерала Диллона, ставившего целью освободить из тюрем противников якобинской диктатуры.

...вдову эбертиста Моморо, однодневную богиню...— Деятель революции Антуан-Франсуа Моморо (1756—1794) был атеистом, организатором антирелигиозных празднеств Разума, в которых участвовала его жена, изображавшая аллегорическую фигуру богини Разума и Свободы.

Стр. 558. *Лавуазье, Руше, Андре Шенье.*— Ученый-химик Антуан-Лоран Лавуазье (1743—1794) с 1779 г. занимал пост генерального откупщика, поэтому Гамлен называет его финансистом; в мае 1794 г. был

арестован и казнен по указу Конвента о смертной казни всем откупщикам. Руше Жан-Антуан (1745—1794) — второстепенный поэт, автор дидактической поэмы «Месяцы года». С начала революции защищал конституционную монархию; был арестован и казнен как «подозрительный». Андре Шенье (1762—1794) — талантливый поэт, поклонник классической древности. Противоречивым отношением Шенье к революции, которое привело к его аресту и казни, объясняется тот факт, что в последующие годы в Шенье видели то жертву революции, то певца свободы (Пушкин, «Андрей Шенье»).

Фуше, Тальен, Ровер, Каррье, Бурдон.— Жозеф Фуше (1759—1820) — буржуазный политический деятель; в молодости был священником, примкнул к революции, выдавал себя за левого якобинца; будучи комиссаром Конвента в одном из районов Франции, действовал с крайней жестокостью и был отозван Робеспьером. Затем стал одним из организаторов контрреволюционного переворота 9 термидора. Тальен Жан-Ламбер (1767—1820) — участник революции, примыкал к якобинцам. Осенью 1793 — весной 1794 г. был комиссаром Конвента в Бордо и использовал власть для личного обогащения. Один из организаторов и руководителей контрреволюционного переворота 9 термидора. Ровер Станислав-Робер-Франсуа (1748—1798) — сын богатого буржуа, выдававший себя за потомка угасшего аристократического рода; пытался сделать карьеру на революции, был послан в качестве комиссара на юг Франции, но вскоре отозван, так как компрометировал Конвент жестокостями. Вместе с Баррасом командовал 9 термидора вооруженными силами, направленными против робеспьеристов; впоследствии проявил себя как ярый реакционер. Каррье Жан-Батист (1756—1794) — в 1793—1794 гг. комиссар Конвента в городе Нанте, был отозван в связи со злоупотреблением властью и ненужными жестокостями; примыкал к эбертистам, после их разгрома стал одним из организаторов переворота 9 термидора, накануне которого Робеспьер пытался привлечь его к суду; был казнен уже после победы контрреволюции. Бурдон Леонар (1758—1815) — сперва монтаньяр, потом (зимой 1793/94 г.) ярый эбертист, враждебный Робеспьеру; один из организаторов переворота 9 термидора, принимал личное участие в аресте вождей якобинцев.

Кутон, Сен-Жюст, почему вы медлите...— Кутон Жорж-Огюст (1755—1794) — один из наиболее близких к Робеспьеру вождей якобинцев. Несмотря на то что у него были парализованы ноги, развивал энергичную деятельность, неоднократно посылался комиссаром в провинции. Сен-Жюст Луи-Антуан (1767—1794) — выдающийся деятель революции, ближайший соратник Робеспьера, как и Кутон. Талантливый теоретик и оратор. Был вместе с Робеспьером и Кутоном казнен без суда на следующий день после термидорианского переворота.

Стр. 562. *Катерина Тео* — полусумасшедшая старуха, которая в

1794 г. проповедовала в Париже пришествие нового мессии. Враги Робеспьера в Конвенте, пытаясь его скомпрометировать, распустили слухи, что это делалось с целью прославления Робеспьера и с его ведома и являлось частью заговора против Республики. Робеспьеру удалось добиться отсрочки процесса Катерины Тео; это была его последняя победа.

Тарпейская скала недалеко от Капитолия — поговорка, означающая: «От славы недалеко до падения»; см. также прим. к стр. 420.

Солнце тридцать первого мая...— то есть дня восстания, приведшего к падению Жиронды и установлению якобинской диктатуры (1793).

Стр. 563. *...учеников Христовых в Гефсиманском саду.*— По евангельской легенде, после тайной вечери Христос всю ночь до кровавого пота молился на Масличной горе в Гефсиманском саду, а ученики его заснули, хотя на заре их учителю суждено было принять мученическую кончину.

Стр. 567. *...падает с раздробленной челюстью Робеспьер.*— Когда войска термидорианского Конвента осадили ратушу, где помещалась Парижская коммуна — оплот якобинцев, Робеспьер пытался застрелиться, но лишь раздробил себе челюсть (по другой версии, его ранил молодой жирондит Мерда). Наутро раненый Робеспьер был отправлен на эшафот.

Стр. 568. *Триумвиры* — в Древнем Риме союз из трех лиц для захвата власти; здесь — вожди якобинцев: Робеспьер, Сен-Жюст и Кутон.

Стр. 572. *...в Севр или в Медон...*— Севр и Медон — в XVIII в. селения в девяти-десяти километрах от Парижа, на берегу Сены.

Стр. 573. *Фингалов грот, готическую часовню... храм, поток...*— В конце XVIII в. во многих европейских странах распространилась мода на «английские парки» (запущенные парки с искусственными руинами, урнами и гротами), так же как мода на готику в архитектуре. Фингал — герой раннесредневекового кельтского эпоса, стал широко известен благодаря нашумевшей книге шотландского поэта Макферсона «Песни Оссиана» (1760), которую автор выдал за публикацию на английском языке подлинных песен древнего кельтского барда.

Стр. 574. *Кенотафия* («Пустая могила») — в Древней Греции и Риме памятник усопшему, воздвигнутый не на месте его погребения.

«Федра» — трагедия французского драматурга Расина.

«Собака на сене» — комедия испанского драматурга Лопе де Вега.

Лаис Франсуа (1758—1831) — знаменитый в свое время французский певец-тенор, участник революции; с 1792 г. в начале каждого театрального представления в Опере пел «Марсельезу», вдохновляя зрителей на патриотические подвиги; после термидора пел в парижских театрах гимн реакции «Пробуждение народа».

С. Брахман

СОДЕРЖАНИЕ

Валентина Дынник Сатирик в поисках социальной правды . . . 5

ПРЕСТУПЛЕНИЕ СИЛЬВЕСТРА БОНАРА, АКАДЕМИКА. *Перевод Е. Корша*

Первая часть. Полено 33
Вторая часть. Жанна Александр . . 74

ОСТРОВ ПИНГВИНОВ. *Перевод Валентины Дынник*

Предисловие 173

КНИГА ПЕРВАЯ
Происхождение

Глава I Жизнь святого Маэля 181
Глава II. Апостольское призвание святого Маэля . . . 182
Глава III. Искушение святого Маэля 186
Глава IV Плавание святого Маэля по Ледовитому океану . . 188
Глава V. Крещение пингвинов 190
Глава VI Совещание в раю 192
Глава VII. Совещание в раю (Продолжение и окончание) 199
Глава VIII. Превращение пингвинов 203

КНИГА ВТОРАЯ

Древние времена

Глава I. Первые одежды 205
Глава II. Первые одежды (Продолжение и окончание) 209
Глава III. Межевание полей и возникновение собственности 210
Глава IV. Первое собрание Генеральных штатов Пингвинии 213
Глава V. Брак Кракена и Орброзы 215
Глава VI. Алькский дракон 217
Глава VII. Алькский дракон (Продолжение) 219
Глава VIII. Алькский дракон (Продолжение) 221
Глава IX. Алькский дракон (Продолжение) 223
Глава X. Алькский дракон (Продолжение) 225
Глава XI. Алькский дракон (Продолжение) 227
Глава XII. Алькский дракон (Продолжение) 230
Глава XIII. Алькский дракон (Продолжение и окончание) 232

КНИГА ТРЕТЬЯ

Средние века и Возрождение

Глава I. Бриан Благочестивый и королева Гламоргана 234
Глава II. Драко Великий. Перенесение мощей святой Орброзы . . . 237
Глава III. Королева Крюша́ 239
Глава IV. Письменность. Иоанн Тальпа́ 242
Глава V. Искусства. Примитивы пингвинской живописи 244
Глава VI. Марбод 248
Глава VII. Знаки на луне 258

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

Новое время

Тринко

Глава I. Рукенниха 260
Глава II. Тринко 264
Глава III. Путешествие доктора Обнюбиля 266

КНИГА ПЯТАЯ

Новое время

Шатийон

Глава I. Преподобные отцы Агари́к и Корнемюз 271
Глава II. Принц Крюшо 277
Глава III. Тайное сборище 279
Глава IV. Виконтесса Олив 283

Глава V. Князь де Босено 286
Глава VI. Падение эмирала 291
Глава VII. Заключение 297

КНИГА ШЕСТАЯ

Новое время

Дело о восьмидесяти тысячах копен сена

Глава I. Генерал Гретон, герцог Скаллский 301
Глава II. Пиро 304
Глава III. Граф де Мобек де ла Дандюленкс 307
Глава IV. Коломбан 309
Глава V. Преподобные отцы Агарик и Корнемюз 312
Глава VI. Семьсот родичей Пиро 315
Глава VII. Бидо-Кокйй и Манифлора. Социалисты 319
Глава VIII. Процесс Коломбана 324
Глава IX. Отец Дуйяр 329
Глава X. Советник Шоспье 333
Глава XI. Завершение 337

КНИГА СЕДЬМАЯ

Новейшее время

Госпожа Серес

Глава I. Салон госпожи Кларанс 341
Глава II. Религиозное общество святой Орброзы 345
Глава III. Ипполит Серес 348
Глава IV. Женитьба политического деятеля 353
Глава V. Министерство Визйра 357
Глава VI. Диван фаворитки 361
Глава VII. Первые последствия 364
Глава VIII. Новые последствия 367
Глава IX. Окончательные последствия 372

КНИГА ВОСЬМАЯ

Будущее время

История без конца 381

БОГИ ЖАЖДУТ. *Перевод Бенедикта Лившица* 399

Примечания *С. Брахман* 579

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

СЕРИЯ ТРЕТЬЯ

Том 193

Анатоль Франс

ПРЕСТУПЛЕНИЕ СИЛЬВЕСТРА БОНАРА

ОСТРОВ ПИНГВИНОВ

БОГИ ЖАЖДУТ

*

Редактор М. Ваксмахер

Оформление «Библиотеки» Д. Бисти

Художественный редактор Л. Калитовская

Технический редактор Л. Заселяева

Корректор М. Доценко

*

Сдано в набор 14/V 1969 г. Подписано к печати 7/VIII 1969 г. Бумага типографская № 1 60×84 1/16. 39 печ. л., 36,39 усл. печ. л., 37,34 уч.-изд. л. + 6 накидок + + 1 вкл. = 38,12 л. Тираж 300 000 экз. Заказ № 3815. Цена 1 р. 62 к.

Издательство «Художественная литература» Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

*

Ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР Москва, М-54, Валовая, 28

1р.62к.